Мариэтта Шагинян

СЕМЬЯ УЛЬЯНОВЫХ

●







БИБЛИОТЕКА «ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ СОВЕТСКОГО РОМАНА»

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

СЕМЬЯ УЛЬЯНОВЫХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА • 1970

Р 2
Ш 15

Послесловие В. ГОЛЬЦЕВА

Художник Н. КРИВОВ

7-3-2

СЕМЬЯ УЛЬЯНОВЫХ

РОМАН-ХРОНИКА



Припомним основные черты крестьянской реформы 61-го года. Пресловутое «освобождение» было бессовестнейшим грабежом крестьян, было рядом насилий и сплошным надругательством над ними. По случаю «освобождения» от крестьянской земли отрезали в черноземных губерниях **свыше** $^{1}/_{5}$ части. В некоторых губерниях отрезали, отняли у крестьян до $^{1}/_{3}$ и даже до $^{2}/_{5}$ крестьянской земли. По случаю «освобождения» крестьянские земли отмежевывали от помещичьих так, что крестьяне переселялись на «песочек», а помещичьи земли клином вгонялись в крестьянские, чтобы легче было благородным дворянам кабалить крестьян и сдавать им землю за ростовщические цены. По случаю «освобождения» крестьян заставили «выкупать» их собственные земли, причем содрали **вдвое** и **втрое** выше действительной цены на землю. Вся вообще «эпоха реформ» 60-х годов оставила крестьянина нищим, забитым, темным, подчиненным помещикам-крепостникам и в суде, и в управлении, и в школе, и в земстве.

В. И. Ленин

Жить — значит... чувствовать непрестанно новое, которое бы напоминало, что мы живем... Ничто так не стесняет сего потока, как невежество; мертвою, прямою дорогою провожает оно жизнь от колыбели к могиле. Еще в низкой доле изнурительные труды необходимости, мешаясь с отдохновением, услаждают ум земледельца, ремесленника; но вы, которых существование несправедливый случай обратил в тяжелый налог другим, вы, которых ум отупел и чувство заглохло, вы не наслаждаетесь жизнью. Для вас мертва природа, чужды красоты поэзии, лишена прелести и великолепия архитектура, незанимательна история веков.

Н. И. Лобачевский



ГЛАВА ПЕРВАЯ

ВСТРЕЧА В ПЕНЗЕ

В полдень 23 ноября 1861 года в большом зале Пензенского дворянского института служители сдвигали стулья к ежегодному акту. Институт был в новом здании, построенном всего какой-нибудь десяток лет назад. Но уже успели, за недостатком средств на покраску, обветшать и потемнеть его стены. И зал, выходивший окнами на передний двор, в этот снежный денек тоже выглядел сумрачным с его облупленными кариатидами, подпиравшими давно не беленный потолок. На стене зала висел огромный портрет Александра Второго, и еще молодое холерическое немецкое лицо с косо срезанным лбом, трижды перекрученным пухлым усом недоуменно вскидывало под потолок свои выпуклые, водянистые глаза моржа. Наверху, в третьем этаже, где были дортуары, одевались к празднику воспитанники и острили по поводу темы предстоящей торжественной речи: о грозе и громоотводах.

С торжественными речами институту вообще не везло. Преподаватель Ауновский, к примеру, представил было патриотическое сочинение «О месторождениях каменного угля в России», но получил от округа пожелание «употребить свое время и силы на работу более совершенную».

— В нашей губернии и без угля жарко,— комментировали воспитанники, намекая на пензенские крестьянские восстания, усмиренные только в апреле.

А в прошлом году словесник Логинов выступил с самой эзоповской речью, говорил примерами из Кантемира и Фонвизина о нравах далекого прошлого и даже кончил фигурой риторики — «возблагодарим вседержителя за то, что живем не в старые времена»,— но фигура эта не спасла Логинова: дворянство выставило его из института за клевету, а Казани и педагогическому совету влетело.

Воспитанники это знали и, застегивая высокие расшитые воротнички своих мундиров, смеялись, как бы не вышло чего и с милейшим физиком: тема о грозе тоже скользкая, хотя бы и с громоотводом...

Гости опаздывали. Но все приедут: и губернский предводитель, и губернатор, и стяжавший позорную славу усмиритель кандеевских крестьян генерал Дренякин, и купечество, и архиерей, и дамы-патронессы. Дворянский институт не гимназия, и хотя весь он в долгу,— в долг кормит воспитанников, задолжал учителям, а папаши-дворяне упорно отказываются его содержать; хотя нищета и бестолочь в финансах этого учреждения надоели всем в городе,— все же в слове «дворянский институт» есть что-то такое... Даже сторож в сенях чувствует это, открывая парадные двери.

Воспитанники института позволяли себе вольности, невозможные для гимназистов. Несколько лет назад один из них, Вася Слепцов, во время церковного служения в храме, когда священник с амвона читал «Верую», громко и ясно, на всю церковь, сказал: «А я не верую». И сейчас среди этих мальчиков, небрежных в прическе и движениях, плохо дисциплинированных, развязных и начитанных, было немало поклонников пострадавшего за неверие Слепцова. Портрет царя в зале не помешал вырасти в институте тому, кто через пять лет первым поднимет руку на Александра Второго,— воспитаннику Каракозову.

— Идемте, господа, сейчас молебен!

Воспитанники гурьбой стали спускаться с третьего этажа на второй.

В эту минуту показался в воротах старший учитель физики, тот самый, чью речь о грозе и громоотводе должны были слушать на акте. Быстрый в движениях, весь осыпанный снегом, он сперва забежал направо, где перед флигелем, на заснеженной горке, стояла рейка его метеорологической станции. Подошел и к стене взглянуть на реомюр, вывешенный под защитой деревянной планочки от ветра. И, раздеваясь, торопливо спросил у швейцара, не забыл ли младший надзиратель записать утренние показатели. Швейцар принял с его плеч шинель, отряхнул ее в сторонке и густым шепотом ответил ему. Он гордился, как чином, сложным искусством над-

смотра над самой погодой и тем, что обсуждает его с господином педагогом, как равный с равным.

Учитель физики остановился перед большим трюмо, вынул из кармана длиннейшего сюртука сложенный вчетверо носовой платок и, не разворачивая, а, наоборот, закомкав рукой, несколько раз быстро-быстро обсушил им мокрые от снега глаза и губы. Он был невысок ростом и бледен той белизной меловатого оттенка, что говорит о сильном душевном волнении. С высокого овального лба его, как у поэта или музыканта, спускались вдоль щек прямые темные волосы, длинные по моде тех лет. И хотя физик был еще очень молод — ему недавно исполнилось тридцать,— и молодо блестели его карие добрые глаза, но волосы у него на макушке уже поредели, грозя преждевременной лысинкой. Он заспешил в зал, на ходу пряча в карман платок.

Длинный стол, крытый сукном, с бронзовыми канделябрами, мягкие кресла, а в них туши с орденскими лентами через плечо, шепот в задних рядах, и третий ряд,— в третьем ряду сидят дамы: жена директора института, жена инспектора института... Старший учитель физики, только что поднявшийся на трибуну, увидел рядом с женой инспектора Веретенникова, добрейшей Анной Александровной, незнакомую девушку.

«В первый раз мне выпало на долю говорить перед вами, милостивые государи, говорить о предмете, мною изучаемом,— говорить о природе».

Учитель физики картавил. И это шло к его крупному, калмыцкого рисунка, рту, к его бледным щекам, чуть приподнятым резкими косточками скул. Говоря, он положил руку за борт сюртука и слегка покачивался над белым листом рукописи.

— Но quand même [1] в нем *есть,*— шепотом определила старуха с лорнеткой (словцо, подслушанное примерно в те самые годы графом Львом Толстым у таких же женщин).

«...Молнии разделяют на три класса. Пелетье объясняет... Доктор Гук говорит... Де ля Рив делает интересное сравнение...»

В президиуме были совершенно довольны. Первый ряд, где сидели отцы города, успокоенно следил за ора-

[1] Все-таки.

тором. Высокий мир — мир чистой науки,— высота неба, где в сгущении паров рождается электрическая разрядка, и шум этой чудовищной встречи двух полюсов в облаках, гром, как его называют люди, иностранные имена ученых — все было доброкачественно-академично.

«Берман уверяет...»

Но здесь оратор допустил, как говорится, маленький «ляпсус»:

«В Швейцарии, где зарницы, то есть безгромные молнии, очень обыкновенны, сельские жители называют их ячменными молниями, потому что они чаще всего случаются в августе, когда поспевает ячмень... и у нас в деревнях,— оратор оживился и улыбнулся, даже отступил на секунду от кафедры, словно урок давал.— у нас в деревнях говорят, что зарница происходит от созревания ржи».

Он еще раз взглянул на незнакомую девушку. Кто она? Кем доводится Ивану Дмитриевичу?

«...Но куда бы ни упала молния, она стремится преимущественно к проводникам и металлам. Может случиться, что молния действует на один только металл, а окружающие его тела остаются без повреждения. В пример этому приводят рассказ о двух дамах, из которых одна, имея на руке золотой браслет, протянула из окна руку во время грозы; в это мгновение ударила молния, и браслет исчез так, что не нашли никаких следов, а дама чувствовала небольшое сотрясение. У другой дамы одна только шляпа была превращена в пепел, потому что состояла из тонкой проволоки, на которой держалась материя».

Старшего учителя физики очень любили в институте. Речь его живо объясняла сухой предмет, давала простое, толковое знание о молнии и громе, и на много лет, если не на всю жизнь, те, кто слышал эту речь, остались грамотными по части грозы. Специалисты знали, как хорошо и глубоко подготовился физик, и вполне оценили его начитанность, знакомство с самоновейшими источниками, каким был, например, Де ля Рив, еще не переведенный в России с французского...

Но в зале нашлись критиканы. Учитель словесности Захаров явно соскучился, он вспомнил острую речь Логинова. Ученик Странден вертелся и писал записки. В записках стояло: «Молния сжигает металлы, а чурба-

ны целы». Васильев, выпускник и хороший рисовальщик, быстро кончал зарисовку в альбом: оратор с длинными, по разночинной моде, волосами, начесанными на уши, с поределой макушкой, заложив руку за борт, а ногу на ногу, был представлен в виде зигзага молнии, тщетно бьющего в первый ряд, где, развалясь, сидел чурбаноподобный губернатор. Он уже начал подписывать внизу: «Илья-пророк». Из-за плеча смотрели, шептали: «Покажи, покажи»; спереди грозно шикнули.

А учитель физики увлекся. Бледные щеки его затлели на скулах розовыми пятнышками. Он описывал устройство громоотвода. Всякие механизмы, дававшие власть над материей, всегда занимали его. Еще недавно, получив от милейшего Осипа Антоновича Больцани, из мастерской Казанского университета, свою метеорологическую аппаратуру, бывшую там в починке, поминал он добром этого замечательного ученого-опытника... Чего, чего только не изобретает Больцани у себя в мастерской!

«...Вот как Академия предлагает устраивать громоотводы...»

Делая пояснительные жесты, словно отмеривая размеры железного прута, физик вдруг преобразился в педагога, желающего не речь сказать, а передать нужные, практические знания:

«Вообще предполагают, что громоотвод может защитить круглое пространство, описанное радиусом, равным двойной высоте громоотвода, и применяют это правило на практике, причем один и тот же проводник может служить для нескольких громоотводов, лишь бы эти последние имели между собой металлическое соединение. Но это правило не совершенно верно, потому что многое зависит от формы конца громоотвода и от вещества, из которого сделано здание. Итак, наука дает человеку средства оградить себя от ударов молнии, борется с предрассудками и побеждает их самыми неопровержимыми доказательствами — фактами!»

Речь кончилась, занявши времени ровно столько, чтобы не утомить.

Ноябрьский день отходил за окном; институтский сторож, в мягких туфлях незамеченно скользя по залу, длинной палкой с привязанным на конце ее горящим огарком одну за другой зажигал свечи в люстрах. Быст-

рые чьи-то пальцы пробежали, пробуя, по клавишам — вечером будут танцы.

Учитель, наклонившись к кафедре, собирал свои листки, когда к нему подошли две женщины. Одна вела, немного принуждая и таща за собой, другую, ступавшую медленно и улыбаясь. Обе они были одеты по моде — в тяжелые пышные платья с турнюром, собранные в складки у талии, с небольшим треном, шуршавшим за ними. Волосы у обеих были зачесаны гладко со лба и разбиты низким, пышным, широким узлом на затылке, в форме груши, спрятанной в сетку. Одна была Анна Александровна Веретенникова, другая — незнакомая девушка, замеченная учителем с кафедры.

— Илья Николаевич! Спасибо, спасибо вам за прекрасную речь, за ячмень, вы прямо неузнаваемы сделались, когда про ячмень сказали! Мы ведь с сестрой деревенские. Машенька, Илья Николаевич Ульянов. Илья Николаевич, будьте знакомы — сестра моя, Мария Александровна Бланк.

И две руки, одна небольшая, другая совсем маленькая, встретились и пожали друг друга. Но ответить физик не успел: мимо них, охорашивая усы рукой, шел пензенский предводитель.

— Безгромные зорюшки... Нашли выражение! Вы в своей ученой отрешенности, как в башне, засели, господин Ульянов! Поглядели бы, какие у нас там аржаные зарницы полыхают!

Хотя Пензенская губерния была усмирена, но и в ней и в Казанской стояли военные части, среди крестьян шло брожение, и память о событиях была так свежа, как если б это вчера было. Да и каждый день прибавлял к ним все новое и новое — то суд над казанцами, то награждение усмирителя, графа Апраксина, то волнение студентов, то опять бунты в соседних губерниях, приезды из имений перепуганных помещиков, чтение писем, ходивших из рук в руки... Вышло так, что и на торжественном директорском обеде за первой же рюмкой «аполитичная» речь физика клином вошла в политику, и гости принялись отводить душу, благо и губернатор с предводителем и генерал Дренякин тотчас после акта уехали домой.

— Разве же можно было на Волге, в пугачевых местах, оглашать манифест? И перед кем? Перед «ярман-

кой», перед симбирскими инородцами, потомками пугачевских бунтарей!

— Но государь и так медлил, помилуйте,— подписал девятнадцатого февраля, а публикацию сделали только в марте месяце...

— Да нет, не в том дело, знаете вы, как все это спустя рукава сделано было? Помилуйте, двадцать три миллиона крепостных, двадцать три миллиона темных голов с бреднями о какой-то якобы полной воле, о царевом указе, вписанном в голубиную книгу, толкуемом в скитах всякими отшельниками и расстригами,— сюда бы свету, толковых людей, наконец две-три сотни тысяч печатных оттисков манифеста, а что сделали в Петербурге? Выпустили «Положение» на разных листах, да еще разрозненно, перепутали даже губернии — в черноземные пошло то, что имело касательство к степной полосе; какую же пищу это дало злонамеренным!

— А манифест отпечатали чуть не в десятках! Народ ответил своей легендой: что настоящий указ подменили, настоящий указ помещики украли, а этот — обманный. Стеной ставить между монархом и нашим дворянством бюрократию, питать эту бюрократию соками нашего сословия, выплачивать ей из казны чудовищные деньги и получать от нее вот этакую бездарную работу, ниже качеством старых писарей и ратманов,— допустимо ли? Куда заведет?

— Поспешил государь с манифестом...

— Ах, оставьте, напротив того — чересчур помедлил. Нельзя было, сказавши А, медлить с Б, допускать брожение в народе... Нужно учесть было положение дворянства в наших губерниях! Шутка сказать: пережить в просвещенный век ужасы Бездны и пензенскую Кандеевку... Есть от чего с ума сойти, как сошли с ума у несчастных Веригиных.

Бездна, деревня Казанской губернии, стала центром недавних больших событий. О том, что в народе брожение, знали не только в деревне, знали и горожане. Все города были переполнены оброчными, служившими в дворниках, приказчиках, ездившими в извозчиках. Очевидцы рассказывали, как при первом городском слухе о том, что «вышел указ», в Петербурге остановилось движение, извозчики, побросав лошадей, кинулись в лавки, а там уже толпились люди всех профессий и ви-

дов — от нарядного, в крахмальном воротничке, актера до рыночного торговца сбитнем, и все они — врачи, художники, ремесленники, сермяжники, такая обычная городская публика,— тут, в лавке, вдруг оказались не просто людьми, как все в городе, а чьими-то «душами», собственностью таких-то и таких-то «господ». Все нарасхват брали и требовали царский указ про волю.

Но если в городе еще можно было бежать в книжную лавку, то в деревне узнать про указ решительно было не у кого. И вот бездненцы в глухих раскольничьих скитах, среди дремучих лесов, нашли себе вожака, человека, пустившегося толковать и объяснять им волю,— толковать так, как того хотели сами крестьяне. Из Антона Петрова, бездненского вождя, Пугачева не вышло. Антон Петров был начетчик, прослывший за свою жизнь в скиту божьим пророком. Было что-то глубоко и потрясающе сильное в этом человеке, вычитывавшем по складам, жарко припав к книге и водя по ней пальцем, запутанные глаголы о полной воле — воле с землей и со всем барским добром на ней. Бунт охватил три губернии. Мужики шли в Бездну, вооруженные чем попало, вступали в отряды, громили усадьбы. Антон Петров руководил ими. Когда стало слышно, что идут солдаты, Бездна кликнула клич к трем губерниям, и десять тысяч крестьян, с бабами, детьми и добром, на телегах съехались отстоять Петрова. Залегли лагерем вокруг избы, где спрятался пророк, и выдержали настоящую осаду.

Бездненская история в главных ее подробностях была известна далеко не всем. Кое-кто, впрочем, читал о ней даже в запретных тетрадках «The Bell» — герценовского «Колокола», но были такие, что попросту затыкали уши и ничего слышать не хотели про этот последний, как они говорили, позор русский. В том же году неизвестный аноним из их круга писал Чернышевскому, что в русском народе есть, конечно, «человекоподобное нечто», но за развитие его нужно взяться «умно, практично, без нежностей, а нежностей ваших они не поймут, наплюют на вас и найдут себе другого Антона Петрова, о котором так искренне сожалеет ваша хамская натура».

— Вы знаете, какое у них было смешное представление о трех залпах?

— Господа, господа, меняем тему, точка, еще по маленькой!

— Нет, я слушаю, скажите, что́ три залпа?

— Войска обычно стреляют при усмирении три раза вхолостую для острастки. Из этого мужик вывел, что больше трех раз стрелять не повелено. И представьте огромную толпу вповалку вокруг пророка — на телегах, на изгородях, на крышах, на земле — в полнейшем спокойствии. В них, наконец, стреляют, а они все надеются переждать свои три раза, закрываются рукавицами и кричат: «Воля!»

— Это правда, что было свыше трехсот раненых и убитых?

— Вранье!

— Нет, сударь, не вранье! Поболее трехсот!

— А мне сказывали, что, когда Антона Петрова казнили, один солдат в обморок упал.

Антона Петрова вывели из избы в рубахе, простоволосого. Он шел со свечкой в руке, не озираясь, и громко, торопливо молился, ежеминутно, без надобности, снимая пальцем нагар со свечи. Волосы его падали чуть не до плеч, ноги были босы. Солдаты целили в него, жмурясь, и все слышали молитвенное бормотание, пока не грянул залп.

— Бросьте вы жантильничать. Вспомните пензенского Егорцева. Мало ли таких «пророков»! Штыки, штыки — вот им что надо! На пророков этих любители мутной воды, свистуны в «Современнике», подлецы всякие ставку ставят!

Совсем расклеился разговор. «Подлецы» покоробило даже ухо директора. Но «свистуны» — слово, выхваченное у Герцена, называвшего так писателей в отделе «Свисток» в «Современнике»,— и скрытое в речи указание на недавнюю подметную прокламацию — это было уж слишком! Директор насупился, растерянно ковырнул рыбу в тарелке.

Между тем богатый пензенский купец, известный своей слабостью по части всяких новшеств, хотя и ходивший у себя дома в поддевке и смазных сапогах, подсел с бокалом к Илье Николаевичу. Он выспрашивал его, кто в здешнем крае мог бы научно и без изъяна воздвигнуть громоотвод. Ему хотелось первому в губернии поставить громоотвод над своими складами.

А в самом отдаленном углу, где закуска и вина были попроще, беседа велась шепотком. Кто-то показывал старое, полученное из Казани письмо «очевидца», где приводились слова Щапова, сказанные им в апреле на знаменитой панихиде по мученикам Бездны. Что казанский профессор русской истории, Афанасий Прокопьевич Щапов, произнес на этой панихиде смелую речь против правительства, знали все. Но тут аккуратно переписанные, заключенные в кавычки, стояли его доподлинные слова, обращенные к убитым бездненцам, и от смелости этих слов просто дыхание перехватывало.

«Вы первые нарушили наш сон, разрушили... наше несправедливое сомнение, будто народ наш не способен к инициативе политических движений,— так говорил Щапов.— Земля, которую вы возделывали, плодами которой питали нас, которую теперь желали приобрести в собственность и которая приняла вас мучениками в свои недра,— эта земля воззовет народ к восстанию и свободе. Мир праху вашему и вечная историческая память вашему самоотверженному подвигу! Да здравствует демократическая конституция!..»

— Молодец Щапов! — забыв осторожность, воскликнул Захаров.

— Он приглашен был в прошлом году читать лекции по русской истории,— услышав фамилию Щапова, отозвался со своего места Илья Николаевич, не терявший связи с казанцами.— Говорят, украшение кафедры!

И хотя то, о чем шептались в углу, уже потухло, разговор о Щапове, как огонек по сухим веточкам, быстро перекинулся и побежал вокруг стола.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЗЕМЛЯ И ЗВЕЗДЫ

Торжественный актовый обед был окончен, задвигались стулья. Но праздник еще не прошел. Этому дню по правилу предстояло завершиться бостоном для стариков и музыкой для молодежи в квартире инспектора Ивана Дмитриевича Веретенникова, но уже только между своими — меж педагогами и их женами.

Инспектор Иван Дмитриевич Веретенников — новый человек в Пензе, только три месяца назад перевелся сюда из Самары, а уже все его знали и знали его семью, привыкли к его жене, ее голосу, грубоватым чертам лица и такой милой, сварливой манере подходить к человеку. Анна Александровна была романтик и прирожденный рассказчик, какие случаются в семьях, и знакомые без конца советуют: «Да вы бы записывали, да это хоть сейчас в печать». Она и записывала в тетрадку по секрету ото всех, но ее сочный и складный русский язык, ее начитанность и вкус к людям так и остались безвестными в жизни.

Вечера у них были сплошное удовольствие. Нянечка уложит детей, дети уснут, и хозяйка вся в хлопотах, вся в гостях, а сегодня еще прибавилось вдобавок, что свояченица инспектора, приехавшая по первопутку из-под Казани зимовать у них в городе, что эта свояченица — диво-певица и музыкантша. Красива она была — это уже заметили. Лучше и тоньше самой Веретенниковой, темноволоса, темноглаза, держалась и не застенчиво и не развязно; холостые учителя прослышали, кстати, что тут есть нечто вроде своей деревни или какой-то части деревни,— словом, не одно только платье да серьги в ушах. Но день был решительно заколдован, и, прежде чем начаться удовольствию, опять вспыхнул разговор — вспыхнул ни с того ни с сего, как в засуху самовозгорается без искры валежник.

В небольшой комнате, меблированной казенной мебелью, у Веретенниковых стоял круглый стол под турецкой шалью, и на нем книги, большею частью из институтской, довольно хорошей, библиотеки. Анна Александровна любительница была и прозы и поэзии. Илья Николаевич сперва молчаливо прошелся по этой комнате, где еще не начали ни в карты играть, ни музицировать, ни танцевать, а потом, облокотясь на стол и не присаживаясь, стал листать первое, что попалось под руку, и спросил невольно:

— Как мы ни далеки от столицы, а все же, Иван Дмитриевич, недозволительно так запаздывать в чтении журналов. Помилуйте, что ж это у вас за новинка? «Русский вестник» за прошлый год, «Отечественные записки» за прошлый год...

— Это не я, это жена...— отозвался Веретенников,

занятый подсчетом карточных колод,— мне и времени нет, Илья Николаевич.

— Ах, дайте мне эти книги!

— Но почему же?

— Секрет, Илья Николаевич, дайте, дайте!

Заинтересованный физик шутя задержал объемистый «Русский вестник». Анна Александровна, раскрасневшись, вырвала у него более тонкую книжку «Отечественных записок». Она кокетничала и секрет преувеличивала. Невольно, без уговору, с какой-то обоюдной симпатией учитель физики и сестра инспекторши вскинули глаза друг на друга, словно поделились мыслью.

— Смеяться нечего,— перехватила их взгляд Веретенникова.— Машенька, стыдно тебе, сама же взасос читаешь, вот не дам продолжение, и сиди без книг.

Секрет был в новинке любимой писательницы, многими ставившейся чуть не наряду с Жорж Занд,— англичанки Джордж Эллиот. Ее роман «Адам Бид» печатался в прошлом году в «Отечественных записках», и обе сестры поплакали над ним. Но что же было интересного в старом номере «Русского вестника»? Неужели этот дрянной, пошлейший, сентиментальный, судя по отдельным строчкам, переводный роман «Жизнь за жизнь»?

— Нет, он совсем неинтересен,— негромко сказала Мария Александровна,— да и мы с ней давно прочитали обе книжки, она дразнит вас.

И Мария Александровна взяла у сестры «Отечественные записки» и передала их учителю.

Опустив глаза, он все листал и листал книгу, уже не глядя. Но девушка отошла. И мало-помалу — тут одна строчка, там другая — «Отечественные записки» оттянули его от гостей, и он стал читать всерьез. Его привлек отдел рецензий. Краевский умеет составить отдел рецензий — лучшее, кажется, что у него есть. Целые полки новинок проходят перед глазами, разобранные толково, честно, с примерным остроумием, с насмешкой, где это нужно: вот несчастный какой-то Росновский, что от него осталось? Отповедь, достойная пера Добролюбова. А вот разбор Адама Смита, грамотно, специально. А это что?.. Он зачитался рецензией. Он знал немецкий язык не больше чем в объеме гимназии, но читал на нем, рецензия же была о немецкой книге. Физик забыл, что дал себе слово отдохнуть в этот

день, глаза его разгорались, маленький, нервный, он весь ушел в необычные строки... Как это никто не заметил? Ах, это прекрасно, это до странности хорошо.

— Господа, господа, слушайте!

На голос Ильи Николаевича встал учитель Захаров, пробовавший одним пальцем какую-то новую пьесу на роялино. Опять поднял голову Веретенников. Подбежал быстрый, щуплый естественник Ауновский в пенсне. Подошли женщины. А он все стоял, повторяя: «Как хорошо»,— и сам хорошел от удовольствия.

Заметку прочитал вслух Ауновский, а Илья Николаевич, поддакивая, дирижировал общим вниманием. И в самом деле, заметка была интересна. Можно бы рассказать ее своими словами, но пусть уж лежит она вся, как читана: «Die Sterne und Erde»[1], Leipzig, 1859.

«Эта книжка имела странную судьбу. В 1846 году вышла в Бреславле, без имени автора, брошюра «Созвездия и всемирная история» («Die Gestirne und die Weltgeschichte»). Никто на нее не обратил особого внимания, но она случайно попала в Лондон, и там книгопродавец Вальер издал ее перевод на английский язык, не показав, впрочем, нигде, что это перевод. На берегах Темзы книга имела неожиданный успех. Шесть изданий, от десяти до двенадцати тысяч экземпляров в каждом, было раскуплено. Этот успех обратил внимание немецкого переводчика Фойгтс Рэпа, который в полном убеждении, что перед ним оригинальное произведение христианского мышления, перевел немецкую книгу с английского языка опять на немецкий и напечатал под заглавием, которое мы привели выше. Тогда сделалось известно и самое имя ее настоящего автора — Эберти. Посмотрим же вкратце содержание этой книги.

Автор выходит из положения, что небесные тела видимы нам не так, как они в самом деле есть, но так, как они были за несколько часов, лет, веков или тысячелетий, смотря по их расстоянию от Земли. Отсюда следует, что обитатели этих небесных тел видят Землю в разные эпохи ее истории. Зритель, помещенный на звезде двенадцатой величины, увидел бы Землю во времена Авраама. Если он может в короткое время, например в час, перейти оттуда на наше Солнце, то перед ним в этот час

[1] «Звезды и земля».

пройдет вся человеческая история земного полушария, к нему обращенного. Другая мысль автора состоит в следующем: если б скорость движения Земли вокруг Солнца удвоилась, то мы бы не заметили изменения. То же самое произошло бы, если бы первое увеличилось, а второе уменьшилось в четыре раза, в тысячу, в миллион и более раз, но одинаково,— поэтому мы можем представить себе всю историю, сжатую в неизмеримо малый промежуток времени, и это изменение могло бы остаться для нас незаметным. Подобным же образом автор находит возможным представить себе сокращение всех расстояний и мер, нами употребляемых. Этим путем автор приходит к мысли, что можно себе представить мир вне всякого пространства, времени и получить ясное понятие о его создании. Не мудрено, что Германия, давно привыкшая к фантазиям получше Эберти, не обратила внимания на эту брошюру, но трудно себе представить, как она могла иметь такой огромный успех в практической Англии».

Не дав другим высказаться, физик взял себе первое слово. Мысли Эберти, правда, чистейшая спекуляция, но все же это гениальные фантазии близкой ему сферы, и он только что, днем, побывал в этой сфере, правда совсем низко, в подвальном этаже, в земной атмосфере. Он заговорил об астрономических расстояниях, о том, как далеки от нас звезды и в чем остроумие автора: до сих пор мы исходим *из нашего* взгляда на звезды, говорим о дохождении *их* света до нас. Мертвые, исчезнувшие, не существующие сами по себе, они все еще, через бездну атомов, через поля вселенной, идут к нам в своем отпечатке и почти бессмертны в нем,— так много лет мы еще будем видеть и наблюдать этот их отпечаток. Ну, а что сделал автор? Он посмотрел *с них*, с этих звезд, на нашу планету. И представьте себе такую вещь...

Илья Николаевич выбежал на середину комнаты, выдвинул кресло и усадил в него улыбающуюся Анну Александровну, а вокруг на разных расстояниях — у стены, у роялино, ближе, еще ближе, на стульях — рассадил всех присутствующих.

— Представьте такую вещь: Анна Александровна — планета Земля, она живет и стареет, прошла архейский, палеозойский, мезозойский периоды, она в совре-

менных веках, в античном, феодальном, городском строе... Она мерно ворочается вокруг своей оси,. а люди копошатся на ней, и она стареет вместе с людьми. И вот представьте, что каждый из вас — звезда. И на каждой звезде — наблюдатель. А у вас изобретены телескопы чудовищной силы, нет, даже не телескопы, не стекла — магнетические увеличители, бьющие прямо на глазные нервы, как молнии. И вы глядите и видите из разных эпох в одно и то же время все периоды жизни Земли. Для вас живет прошлое. Вам кричит Архимед, выбегая из бани. На вас ползет ихтиозавр. Скрещиваются мечи Алой и Белой роз... И если заснять все это и получить дагерротип мировой истории...

— Позвольте, на чем же сидеть, ведь этих звезд так же нет, как и нашего прошлого? — сказала Мария Александровна.

Физик остановился и вдруг расхохотался. Он не хохотал, а прыскал со смеху, сгибаясь вдруг пополам, как перочинный ножик,— хохотал оглушительно, весело, до колик, до слез на глазах.

— Браво, браво, Мария Александровна! — закричали вокруг.

Но, ко всеобщему удовольствию звезд и планет, их в этой роли еще удержал преподаватель Захаров. Милый был человек преподаватель Захаров. Илья Николаевич снимал у него комнату. Воспитанники института Ишутин и двоюродный его брат Каракозов одно время тоже квартировали у него. На уроках он был неровен, когда воодушевлялся — заслушаешься. Но влияние Захарова шло и помимо уроков: в беседе, во встречах исходило от него на других благородное и возвышенное, чудаковатое немного благожелательство чистейшего идеалиста. Заложив руки за спину, он сказал своим сиповатым голосом отчаянного курильщика:

— И ежели сличить-с дагерротипы — как раз между ними, между снимками, и останется самое главное-с...

— Скажите, скажите: что, по-вашему, самое главное?

— А то, добрейшая моя Анна Александровна, посредством чего происходит прогресс в человечестве.

У Захарова была своя теория. Илья Николаевич слышал ее от него не один раз. Теория была по-своему не меньшей оригинальности, нежели мысли Эберти. Что

движет исторической переменой? Какая сила сменяет одну стадию развития на другую, старую эпоху на новую? По глубокому убеждению Захарова, ее сменяет своим вмешательством поколение новых людей, особый, новый тип народившегося человека, подготовленный как бы на смену в недрах самого общества,— примерно так, как изготовляется руками людей оружие, которому суждено убить своих же создателей. Задолго до перемены из самых недр общества глашатаи его — литераторы — начинают как бы подбирать и выковывать черту за чертой потребный для перемены тип человека со свойствами, так сказать, будущего дня мира, чтобы позднее осуществить этот литературный идеал путем подбора уже в самой жизни.

— Наши критики — Белинский, Добролюбов, Чернышевский,— читайте подряд их статьи-с, в любом анализе производят это великое складывание. Читайте, что интересует их. Разберите, в чем новизна и сила мысли их. Куда бьют они? Что приветствуют? Человека, нового нашему строю жизни. Человека неверующего, афея, но вместе глубоких принципов, человека правдивого, но вместе политика, человека мыслящего, но вместе практика... В этом нерв их подхода к литературному произведению, к авторам и к читателю...

— Что ж, это еще Руссо говорил о новом человеке,— сказал Ауновский.

— Нигилисты, по-вашему, новые люди?

— А скажите, мы как-нибудь, ну хоть немного, хоть чем-нибудь приспособлены произвести будущую перемену?

— Добрейшая Анна Александровна, не вам, не вам и не вам, Иван Дмитриевич, и не вам, Валерий Иванович, и не вам, Владимир Александрович...— он оглядывал всех по кругу необыкновенно серьезно,— и не мне суждено вертать колесо истории. Мы люди своего периода времени, дагерротип, так сказать.

— А я? А я? — со всех сторон пристали к Захарову, и он, медля и всматриваясь, словно гадалка какая-нибудь, играючи отвечал им все «нет» да «нет». Промолчал на вопрос Марии Александровны: «Мало, мало имею чести знать вас, барышня», и решительно сказал «нет» на вопрос Ильи Николаевича.

— Но почему?

— Ты верующий — это раз, ты мирный труженик — это два.

— Ну, зарезал,— принужденно ответил физик,— этак мы все недорого стоим с твоими рекомендациями.

— Музыку, музыку, довольно!

Того, кто крикнул «музыку», сразу поддержали все в комнате — так почему-то грустно сделалось людям от игры Захарова.

Немного утомленная разговором и поздним часом, Мария Александровна встала и подошла к роялино. В комнате было душно. Из столовой донесся запах жаркого, был почти готов обильный, как всегда у Веретенниковых, ужин.

Она перебрала ноты, вытащила тетрадку, раскрыла ее и села перед инструментом. Села не как любительница, а со следами хорошей домашней школы, придвинувши сколько надо сиденье, прикрывши ступней педаль, чтоб не очень громко звучало, и руки на клавиши положила правильно, как учила тетка.

Тихие, мягкие, глубокие звуки бетховенского «Фиделио» бархатно рассыпались по комнате. Илья Николаевич встал, на цыпочках подошел и сел ближе. Тонкий профиль музыкантши освещали, мигая, две свечи. Она закончила прелюдию, вдохнула воздуху, чуть приоткрыла губы и запела приятным низким, словно матовым, голосом, словно про себя думая песней. И это было отличительной, оригинальной чертой ее музицирования.

Поздно за полночь Захаров шел вместе с Ильей Николаевичем восвояси. Они жили внизу, в демократической части Пензы.

— Какая приятная девушка — свояченица Веретенникова! — сказал Захаров, а потом вдруг вернулся к давешнему их разговору, словно и не было вечера и ни о чем другом разговаривать не хотелось.

— Ужели, друг, ты всерьез убежден в идеальности манифеста? Ведь этот же манифест даже самых последних крепостников привел в замешательство — так безобразно выкроили его бюрократы. Ужели ты не чувствуешь, как сильно разочарован народ, как оскорблены лучшие силы общества этим нелепейшим, даже вредным, я бы сказал, документом грабежа? Дать мужику свободу без земли, на коей он испокон веку работал, как на своей,— это попросту обворовать мужика. И каково же

теперь положение наших париев, наших дворовых людей? Уж и козырь дворянству, умильная тема Каткову и разным Аксаковым: дворовые-де ревмя ревут от такой свободы, кидаются господам в ноги, чтоб только остаться при них,— какой изворот, какое мерзостное, безумное лицемерие выдавать это за преданность мужика своим барам! Ну куда, скажи, пойдут эти дворовые? А еще хвастались в «Русском вестнике», что Россия идет своим, особым путем, что у нас нет язвы пролетариата... И ты доволен, счастлив, не замечаешь, что вся Россия докатилась до «Бездны»!

— Не бъюзжи, не бъюзжи,— проворковал физик.— Для него это документ высочайшего морального смысла, глубокий, как эти звуки бетховенского романса. Потому что ведь факт остается фактом: ведь клеймо рабства снято с двадцати трех миллионов людей, ведь...— Илья Николаевич поднял в темноте ночи добрые карие глаза на Захарова и сказал неожиданно, с большим чувством:

— Рабство на Руси уничтожено, вот смысл манифеста!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ВОСПОМИНАНИЯ ОДНОГО ДЕТСТВА

В полутемной спальне, при одном ночнике, уже раздетая, Мария Александровна сидела на постели и смертельно хотела спать, а неугомонная сестра, стоя перед ней в папильотках, шепотом, чтоб не разбудить детей, доказывала:

— Он, кажется, из простого звания, но образованный выше всей здешней публики. Ваня то же говорит. Он такой обаятельный, Машенька. Вот увидишь!

Тихая маленькая фигурка няни в шлепанцах прошелестела по комнате — это значило: «Пора и честь знать, барыня, детей, не дай бог, перебудите»,— как большому ребенку, она улыбалась своей хозяйке, а гостье, Марии Александровне, словно из двух сестер эта и была старшая, кинула умоляющий выразительный взгляд.

В няне был толк, и она прекрасно разбиралась в людях. Машенька, хоть и младшая, казалась ей куда рассудительней, чем словоохотливая тридцатилетняя Аннушка. Да и годы самой «Марьи Ляксандровны», по

нянином деревенскому разумению, тоже были не малые — годков, почитай, двадцать шесть, на деревне в такие годы бабы свое семейство растят. И няня обращалась за содействием не к хозяйке, а к тихой и спокойной младшей барышне.

Сложное поколение предков работало для создания этих двух женских характеров.

Отец обеих девушек, Александр Дмитриевич Бланк, был родом из местечка Староконстантинова Волынской губернии. Окончив в Житомире поветовое училище, он приехал с братом в Петербург, поступил в Петербургскую медико-хирургическую академию и закончил ее в звании лекаря, прослужил год с лишним в смоленской глуши и вернулся опять в Петербург. Здесь он семь лет расширял и углублял свой опыт лекаря «на все руки» в беспокойной должности полицейского врача: спасал «утопавших и угоравших», ездил в далекий Олонец на эпидемию пресекать «болезнь на людях»; произведен был в штаб-лекари и признан акушером. Через семь лет все это надоело ему до крайности. Он подал в отставку, отдыхал больше года, потом поступил ординатором в больницу, состоявшую под покровительством герцога Максимилиана Лейхтенбергского. Женат он был на немке, Анне Ивановне Грошопф, и рано овдовел, оставшись со старшим сыном Дмитрием и пятью девочками — Аннушкой, Любонькой, Катенькой, Машенькой и Софинькой — на руках. Но и Петербург ненадолго удержал его. В начале сороковых годов Александр Дмитриевич подался на горнозаводской Урал. Раннее свое детство Аннушка и Машенька провели в Перми и Златоусте. Златоуст с постоянным дождиком и яркой густой зеленью обступивших его гор, Златоуст с его рабочими и знаменитой Оружейной фабрикой, со строгой военной обстановкой в госпиталях, где Александр Дмитриевич был медицинским инспектором, хорошо запомнился девочкам. Они росли под чужим присмотром, отца видели не часто, а в летние месяцы доктор Бланк брал длительный отпуск и уезжал в большом заводском рыдване в далекое путешествие — за границу, на Карлсбадские минеральные воды. Дети Бланк хранили привезенные им оттуда окаменевшие в горячих водах куриозы.

В 1847 году доктор Бланк вышел в отставку, купил небольшое именьице под Казанью, приписался к дворян-

ству Казанской губернии и навсегда перебрался в деревню. Там он стал полным хозяином над своей женской армией — пятью дочерьми и свояченицей, Катериной Ивановной Эссен, заменившей им мать.

Как врач Александр Дмитриевич был человек незаурядный и выделялся своими крайними взглядами в медицине. Удалившись в деревню, он писал книгу под необычным названием: «Чем живешь, тем лечись». В то время немецкие врачи только что начинали проповедовать физические методы лечения, развитые позднее модным доктором Платтеном: вода, вода и вода — вот лечебный, воспитательный, цивилизующий фактор, вода внутрь, вода снаружи. Доктор Бланк славился на всю округу своими компрессами и окутываниями. На ночь он обвертывал своих девочек в мокрые простыни, чтоб укрепить им нервы. Пища обсуждалась и нормировалась — ничего острого, ничего смешанного. Доктор Бланк любил цитировать за столом знаменитый стих из Фауста:

Ernähre dich mit ungemischter Speise.

Водился он с одним чудаком в отставке — Пономаревым, поселившимся у него в Кокушкине. Оба приятеля, сойдясь, спорили до хрипоты, а когда ссорились, посылали друг другу письма из комнаты в комнату. Пономарев утверждал необходимость животного белка — без белка нет питания.

— А если так, почему вы не едите собак? Какая разница — собака, свинья, баран? Какая? Какая?

— Что ж, можно есть и собаку, поскольку в ней имеется животный белок.

— Ага! Можно! Василий! Иди поймай на деревне собаку, не чью-нибудь, а так, неизвестную собаку, доставь ее повару, и чтоб он немедленно изжарил ее к столу, с картошкой подай!

Вся дворня сбежалась смотреть, как ухмыляющийся Василий ловил неизвестную собаку. Для повара, словно это было величайшее испытание, ниспосланное богом, наступил суровый час жизни. Засучив рукава и отвратив лицо, он линчевал ножом поплоше, который потом

---

[1] Питайся несмешанной пищей. (Слова Мефистофеля в «Кухне ведьмы».)

негодующе выбросил, худое и жилистое собачье мясо. Василий подал жареную собаку на стол.

— Ну как, ели господа? — спрашивал потом повар, выбрасывая остатки жаркого на помойку.

— Кушали,— ответил Василий,— ковырнули по кусочку, изжевали, говорят: «Что ж, ничего, на зайца похоже, есть вполне можно»,— а только больше кушать не стали,— отнеси, говорят, на кухню.

Характером Александр Дмитриевич был крутоват и с давней, еще уральской, поры любил настоять на своем. Бывало, правда, что и ему отвечали тем же, или, как шутливо говаривали про него в златоустинской конторе, «найдет коса и на камень». Так, однажды нашелся «камень» среди уральских лекарей — амбициозный поляк Понятовский. Александр Дмитриевич, по своему обычаю, затребовал от него каталог медикаментов, писанный по форме. Понятовский ему отказал. Тогда Александр Дмитриевич, говоря языком казенного документа, «вошел с представлением об уклончивости лекаря Миасского завода господина Понятовского». Но Понятовский позиций своих не сдал. Часов пять сидел он над пыльными томищами свода законов Горного устава и нашел-таки статьи 888 и 904, по которым выяснил равные свои с медицинским инспектором права и ненадобность ему подчиняться. Тогда настала очередь пропотеть и обербергмейстеру главной конторы, господину Бояршинову, чтоб уладить конфликт косы и камня. Долго искал он и, наконец, тоже нашел подходящее в законах постановление, которое и отписал по всем правилам на жалобу Бланка. Машенька помнит, как отец ее, саркастически поджав губы и подняв колючие брови, читал вслух это соломоново решение:

«Согласно разуму изложенных здесь постановлений, не должны в хорошо устроенных госпиталях существовать раздор и несогласие между начальниками медицинской и хозяйственной части, но, напротив, каждый из них обязан не токмо исполнять со всею точностью порученную ему по части его должность, но в встретившихся случаях помогать друг другу по чести и совести взаимными советами, уклоняться от всякой личности и иметь беспрестанно в виду только пользу службы».

— Пуф-пуф! Честь и совесть! Взаимные советы! — вырывались у него комментарии во время чтения. И дол-

го еще вскипал он и заливался яркой краской, когда напоминали ему о лекаре Поиятовском и решении златоустинской главной конторы, испортившем ему его формулярный список.

Беда была ослушаться Александра Дмитриевича и дома. Старшие дочери часто плакали с досады в подушку от папенькиных экспериментов. Они тянулись на волю. Анна повенчалась с учителем Веретенниковым. Любонька рано вышла замуж за Ардашева, родила девять человек детей, овдовела и, чтоб поднять детей, вышла вторично, за Пономарева, получавшего хорошую пенсию. Софья пошла за Лаврова и как-то оторвалась от семьи.

Но Машеньку отец любил нежно и больше всех. Машенька была его любимица, его Антигона. В Машеньке он усматривал серьезность и правоту своих педагогических идей. Она выросла краше и крепче сестер, отлично усвоила от тетки три языка, терпеть не могла пустой болтовни или безделья.

— Nur nicht vertändeln! — кричала тетка.— Только не балбесничать, не проворонивать время!

Она и шила, и готовила, и вставала в доме раньше всех, и во всем ее облике была та строгая внутренняя культура, которую так любил Александр Дмитриевич.

— *Моя* дочка,— говорил он соседям.

Тетка Екатерина Ивановна ворчливо вставляла:

— Ach, was! Seien Sie ruhig, Машенька ist ein vernünftiges Wesen.— Чего там, будьте покойны! Машенька разумное существо, а ваши художества сбивают мне девушек, Александр!

Еще своеобразнее была родня Бланков по материнской линии — с ее традицией больших, оригинальных характеров и тонкой петербургской культуры. Легендарный дедушка, отец их рано умершей матери, Анны Ивановны Грошопф, никогда не хворал. Под старость он усвоил твердое правило: каждое первое число каждого месяца выпивать столовую ложку касторки для профилактики — очистки машины, как он говаривал. Он был женат на шведке Анне Карловне Östedt. Двое из их сыновей, дяди девочек, Карл и Густав Грошопфы, вышли в большие люди: Карл вице-директорствовал в департаменте внешней торговли, Густав заведовал таможней в Риге. После смерти деда главой семьи стал Карл Ивано-

вич; унаследовал отцовский дом на Васильевском острове, и к нему переселилась старая бездетная сестра бабушки Анны Карловны, Каролина Карловна Остедт — высокая, умнейшая, костлявая старая шведка, с проницательными глазами и скрипучим, наставительным, твердым голосом.

Каролину Карловну уважали в семье. Она смолоду ушла гувернанткой в богатое семейство Топорниных, уфимских помещиков, выходила, вынянчила и образовала там девять человек детей, сама готовила по всем предметам в Пажеский корпус старших сыновей, и никогда никаких учителей, кроме Каролины Карловны, молодые Топорнины не имели.

Аннушка в детстве ходила в гости к дяде Карлу и бабушке Каролине в большой, чинный дом на Васильевском острове. Сами они жили тогда с отцом на Петербургской стороне, но своей квартиры Аннушка не запомнила, а вот у дяди что было, все так и стоит перед глазами — длинные, скользкие, до блеска натертые паркетные полы с отраженными в них ножками лакированных столиков, запертые книжные шкафы с чудными книгами в коже и позолоте, скульптурные торсы в углах на подставках черного дерева и — скрипки, скрипки.

Дядя Карл безумно любил музыку. Скрипки были душой его жизни, об одной из них он говорил, как о женщине; ее нежное тельце, пахнувшее пальмовой пылью, он берег и вынимал в редчайших случаях, а играл задумчиво, большой и величавый, и скрипка пела у него глуховатым человеческим голосом. Дети присаживались, уплывала комната, уплывал Петербург, уплывали все мелочи дня, школьные уроки, и, словно в большой лунной полосе, плыл в вечность челнок. Потом они пытались было потрогать скрипку пальцами, но дядя Карл это предвидел: «Oculis, non manibus!» [1] Подняв палец и приложив его сперва к глазу, а после к скрипке, он отрицательно качал головой, и это было как волшебное заклинание. Девочки выучили латинскую фразу, узнали ее смысл, но именно потому, что она латинская, а не русская или немецкая, эта фраза наложила запрет на вещи, и дети не трогали скрипок, а только жадно смотрели на них.

---

[1] «Глазами, не руками!» — то есть смотри, но не трогай *(лат.)*.

Еще запомнила Аннушка ужасное, крикливое гоготанье двух ссорившихся женщин — ее родной бабушки Анны Карловны с двоюродной бабушкой, или, как дети называли, гранд-тантой, Каролиной Карловной. Разговаривали и ругались они всегда по-шведски и крепко возвышали при этом голоса, похожие на клокотанье в курятнике разгневанных индюшек; Аннушка вообразила с тех пор, что шведский язык — самый негармоничный в мире. И Каролина Карловна, чей авторитет был всегда выше в семье, побеждала более женственную характером родную их бабку.

Подчиняясь прочной семейной традиции, девочки Бланк обязаны были писать Каролине Карловне на пасху и рождество, а тетя Катерина Ивановна всегда переписывалась с ней по-французски. Когда Аннушка выходила за Веретенникова, Каролина Карловна прислала ей мудрое наставление в письме:

«Tache que l'amour, que ton fiancé a pour toi, change en veritable amitié, ne te fais pas illusion de croire, que cet amour puisse durer toujours comme le font beaucoup de jeunes filles par inexperience. Cherche rendre l'interieur de ta maison agréable à ton mari, c'est le grand art d'une femme»[1].

Такова была эта семья, лучшим цветком которой распустилась четвертая дочка, Машенька. Культура быта, крепкое здоровье, имя Анна по женской линии, значение тетки, свояченицы в воспитании сирот, и эти женщины, рожавшие из поколения в поколение по восемь, по десять человек детей, доживавших до глубокой старости,— так оно повелось и по материнской линии, в роду Грошопфов и Östедтов, и по отцовской линии, у Бланков. По наследству передавались навыки к труду и дисциплине, выдержка, воспитанность и глубокая любовь к музыке. Но в Аннушке Бланк эти черты приняли один уклон, а в Машеньке Бланк — другой.

Анна Александровна бунтовала против мокрых простыней отца, назиданий гранд-танты Каролины, однообразной солдатской муштры в Кокушкине; в ней бро-

[1] Постарайся, чтобы любовь, которую к тебе питает твой жених, перешла в настоящую дружбу, и не воображай, что эта любовь может длиться вечно, как это думают по неопытности многие девушки. Стремись сделать домашний очаг приятным для мужа, в этом великое женское искусство.

дил талант, не нашедший выхода. Страстная и истеричная, она казалась моложе душой всех своих детей, когда они подросли. Уже будучи матерью, писала стихи, до слез увлекалась Некрасовым, тяжело пережила его смерть, влюблялась в актеров, в самоубийц, и вокруг нее всегда собирались отвести душу умные, разговорчивые, широкодушные мужчины и женщины шестидесятых годов.

Мария Александровна выросла гораздо более тихой, чем бунтовавшая против отца, но сумасбродная, как отец, Аннушка. Спокойно, просто, с прирожденной грацией, она усвоила отцовский режим, подчинилась порядку и сама завела порядок. Разговаривать не любила, в обществе больше молчала. Ее влекло к книге, к ученью, которого не дал отец. Что учиться не пришлось, это ей тягостно связывало мысль. Но в характере ее была легкая, изящная наблюдательность. Помолчит, помолчит, а вставит словцо — и обернутся на нее с удивлением: так свежо прозвучит словцо.

Ложиться спать в полночь ей, деревенской, было до того тяжко и невмоготу, что даже воспитанность и терпение не могли сдержать досады в ее голосе, когда она в ответ на болтливость сестры и взгляд няни почти крикнула:

— Спать же ведь пора, Аннушка!

Засыпая, Мария Александровна не думала ни о происхождении старшего учителя физики, ни о разговорах за столом. Она крепко, по-деревенски, натянула одеяло на плечи и, выбросив поверх него густую косу и левую руку, как учил отец, а правую ладонь сунув под подушку, тотчас же заснула здоровым, молодым сном, по всем правилам гигиены — на правом боку.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ВОСПОМИНАНИЯ ДРУГОГО ДЕТСТВА

Совсем иные силы, иная обстановка трудились над созданием характера старшего учителя физики. Он стоит сейчас спиной к теплой печке при слабом свечном огарке, оплывшем чуть не до подсвечника, не раскрыв постели и не раздевшись; глаза застоялись на красном пятне света, и спать не тянет,— в характере Ильи Николаевича

есть припадки такой задумчивости, инерции, вдруг пригвождающей его к одной позе, к одному движению, к хождению по комнате, к стоянию, заложив руки за спину.

Он живет в угловой комнате у своего коллеги Захарова, рядом жил раньше воспитанник Ишутин, а сейчас квартирует другой. Жена Захарова столует своих жильцов, утром вносится к ним на подносе пузатый медный тульский самовар с чистенькой салфеточкой под его крышкой, где варятся в кипящей воде два-три яйца. В комнате железная кровать, круглый ломберный стол, и на нем несколько книг.

Он сохранил кой-какие студенческие привычки, хотя вот уже шесть лет как перестал быть студентом: переписывает любимые стихи в тетрадь; читая, делает птички на полях и отмеченное перечитывает вторично, словно к экзамену; не заводит в быту баловства, как иные его товарищи, мечтающие о собственном выезде; по недосугу не ищет даже отдельной квартиры.

Сегодня Илья Николаевич задумался как-то сразу обо всем вместе, о прошлом, о будущем. Сколько деятельности, сколько возможностей, если сравнить, откуда он вырос, вышел! Призакрыв лоб рукой — жест почти непроизвольный, сохранившийся с детства,— он увидел в воображении своем Астрахань.

Вдалеке, на горе, каменная стена Кремля, золото куполов, город; внизу, на Косе, запах рыбы, пестрая бахрома качающихся парусов у берега, тени верблюдов, несущих в цейхгаузы тюки и тюки, говор греческих моряков; он запомнил только слово «таллята-таллята» (море), общее в ново- и древнегреческом. Веселые армяне с подносами халвы и коротким присловьем «джан» — «Гарегин-джан», «Арташес-джан»,— словно бубенцом на верблюжьих веревках; и полные, женственные персы с ярко-красной от хны шевелюрой под высокими шапками; и дорогой продукт у мальчишек — вода, простая питьевая вода в длинных глиняных кувшинах на голове... Звон, лязг якорной цепи, солнце, жаркая пыль, нескончаемое движение баркасов и лодок к далекому, невидимому за устьем рейду, где, осыпаясь из труб искрами, пришвартовываются пароходы из Решта и Энзели,— мальчишеское раздолье, но не очень-то, впрочем, раздолье!

Он вспомнил низенький дом в полтора этажа, куплен-

ный в рассрочку у флотского матроса Липаева, невыразимого пьяницы. Отец сухими, старыми пальцами, исколотыми иглой,— он портняжил,— считает в ладонь из кошеля серебряные рубли и прячет под образа очередную расписку. Отец был стар, беден и выбился из нищеты, кажется, только к шестидесяти годам, тогда же и жену взял. Отца Илья Николаевич сильно боялся в детстве и почти не помнит, мать он любит нежно и жалостливо, и сестру Федосью, и сестру Машу, и Васю — если б не Вася, быть бы ему астраханским приказчиком в конторе у господ Сапожниковых!

Он сказал Захару о «рабстве на Руси». Бог знает как понял его Захаров — может быть, он подумал о павшем на Руси крепостном праве, и только. Но старший учитель физики думал в ту минуту не об одном крепостном праве. Он мог бы порассказать Захарову о проданных в рабство купцам маленьких калмыцких девочках,— проданных от крайней нужды и нищеты их родными отцами и матерями. Свежее, совсем свежее предание, а уже с трудом и вспомнится. Когда это? За пятнадцать лет до его рождения, сорок пять годов назад,— давно, очень давно, а ведь остается что-то вроде белого шрама давнишней, давнишней раны.

В том, как их семья медленно восходила в его лице из тьмы к свету, была одна отличительная особенность: мать его, Смирнова, вышла из уважаемого в астраханском мещанстве крещеного калмыцкого рода. Священник Ливанов, именитый астраханский иерей, был покровителем их семьи. Он поспособствовал брату Васе — бедному брату Васе, с его честными, истовыми мужицкими глазами, с его крестьянским скуластым лицом, затянутому в модный сюртучишко над полосатым жилетом,— за руку ввести меньшого брата в гимназию, где учились дети чиновников, дворян и купцов.

Почти каждый из его сверстников гордился своим родом, мог насчитать прадедов и прабабок. А он знал понастоящему только отца, и отец казался ему первым в роду. Ведь недаром и фамилия их еще не стала устойчивой — отец был записан в книге мастеров как Ульянинов, в отцовской метрике стояло Ульянин, сам же отец расписывался Ульянов.

Илья Николаевич помнит, как он топал босиком снизу, с Косы, в гору каждое утро, загодя до уроков, из эко-

номии неся башмаки в сумке, как он вечерами в кухне учил и учил уроки, как медленно раскрывался перед ним мир понятий и образов, отдалявший его и возвышавший его над этой кухней, по астраханскому обычаю увешанной под потолком красными стручками перца, причудливыми фигурками полосатых тыкв, ожерельями лука. Василий, ставший ему вместо отца, смолоду потянул лямку соляного объездчика, тянет и по сегодня, и не женился, не учился, а ведь мог бы Василий, ведь он способный!

И все же, если оглянуться на прошлое, само время помогло ему тогда учиться. Стоило только вспомнить весь этот приказный мир, бумаги и «определенья», выписки и «сказки», оторванные от языка современности, туманные, тяжелые, как утюги... Государство нуждалось в грамотеях. Время думских дьяков, в приказах поседелых, оставило страшный приказный словарь. К нему прибавились новые словечки, и все смешалось — магистрат с казенной палатой, секретарь с повытчиком, канцелярская тарабарщина сделалась непонятной даже тому, кто писал ее,— и время потребовало смести эту тарабарщину, смести ратманов и повытчиков, поставить взамен грамотных письмоводителей, счетоводов, экономов, управляющих, учителей. А как туго и высокомерно учились в гимназии дети дворян, как вяло обучались его сверстники! Ильюша вспомнил учителя Степанова, мучительно вдалбливавшего теоремы в ленивых его одноклассников. Учебный округ вдруг начал тянуть школу, поощрять хороших учеников, объявлять благодарность учителям за успешный выпуск. Учебный округ ослабил рогатки, не дававшие доступа в школу поповичам и мещанам, детям вчерашних крепостных. Ему самому дважды давали денежную награду, классное сочинение его отправили в округ с похвальным отзывом директора. Да, само время помогало им, разночинцам.

Ничтожнейший срок — десять лет — прошел с того вечера, как сестра Маша с мужем, стриженным в скобку, среднего достатка купцом Горшковым, дедушка Смирнов, головастый мещанский староста, на которого Илья Николаевич, кстати, больше всех и лицом вышел, и почетный гость, отец Николай Ливанов, пришли поздравить его, кончившего гимназию. Сестра Феня, повязанная платком, внесла ароматный калмыцкий чай в чугунке,— с тех пор Илья Николаевич нигде не пил этого чаю, а он,

признаться, любил его, и кусочки масла в нем, и соленый вкус, смешанный с запахом травянистого настоя, и горку сухарей перед пьющими. В этот вечер его спросили, как думает дальше, а Илья Николаевич ответил, прокашляв горло: «В Казань, в университет». Горшковы и Смирновы ахнули. А брат поддержал. И опять трудное восхождение, и все дальше черта между ними, как меж бортом отплывающего парохода и пристанью. Из их гимназии только двое и поступили в университет.

Теперь наплыла во всем ее великолепии Казань, многоязычная Казань с чугунными плитами университетской аллеи, где каждая плита под ногой строго приветствует студентов, напоминая о годах прошедших, Казань математиков и физиков, овеянная славой ученых, о которых легенды сказывались,— астронома Литтрова, видного математика Бартельса, таинственного масона Броннера... Как живой, возник перед ним образ не по годам одряхлевшего, полуслепого Лобачевского, каким довелось увидеть Николая Ивановича перед самой его смертью: судорожно выпрямив спину, глядя прямо перед собой потухшими, прекрасными серыми глазами, идет он, нетвердо ступая и опираясь на руку нетерпеливой, еще молодой супруги, словно умирающий лев в лесу, ждущий со всех сторон укусов, издевки, унижения. И знающим его так живо передается, так сердцем чувствуется страстное, закипающее в нем, бессильное его раздражение.

Старший физик чтил покойного Лобачевского и был ему многим обязан. Это ведь Лобачевский устроил его, совсем молодого студента, к Александру Григорьевичу Савельеву — помогать в разъездах, в проверке метеорологических станций, в работах по метеорологии. И какой свежей, интересной оказалась его работа... Да нет, разве он один обязан Лобачевскому? Физик вспомнил рассказы товарищей о популярном ныне профессоре Осипе Антоновиче Больцани,— что было бы с этим Больцани, если б не Лобачевский? Мальчишка-приказчик у Дациаро, развозивший по русской земле эстампы, альбомы да картины на продажу и рекламы своей торговой фирмы,— вот была будущность. Но зоркий взгляд профессора Попова подметил, как этот приказчик лучше всякого студиозуса штудирует механику Пуассона. Казанские знакомые рассказывали старшему физику, что Больцани в молодости говаривал, будто бы корень их рода, Больцани, из итальян-

ского города Боцена, имел прирожденный дар к математике, и не он один, а и старшая ветвь того же Больцани, женившегося на чешке в Богемии, отличалась в науке... Но хорош был бы дар, не будь Лобачевского,— ведь это Николай Иванович выпестовал, выучил, вытянул его на широкую дорогу.

От Больцани мысли старшего физика перенеслись к метеорологической станции. В каком безобразном положении была эта станция, когда он приехал в Пензу! Сифонный барометр с термометром старый-престарый, термометр и нониус безбожно врали; термометр был системы Цельсиуса — и надо сидеть и переводить цифры на Реомюра; для наблюдения над количеством осадков один-единственный дождемер. Все это теперь в исправности, в действии,— спасибо мастерской Больцани! Но был, значит, Лобачевский хорошего мнения о нем, Илье Николаевиче, если именно ему, персонально ему, отклонив других кандидатов, предложил это интересное дело — вести метеорологические наблюдения в институте!

Илья Николаевич не подумал при этом, что кандидатов было вовсе уж не так много, что вести кропотливое измерение изо дня в день, из года в год, да еще бесплатно, охотников мало, или, вернее, как грубо выразился его коллега-математик, «дураков нет». Илья Николаевич с любовью принял и вел свою станцию, а сейчас он вспомнил тепло и ярко — на столе тепло и ярко вспыхнул умирающий огарок,— что завтра войдет в девять часов утра, когда еще пасмурно, во двор института и взглянет, как всегда, направо, где его станция, а в окне инспекторской квартиры при лампе увидит, может быть, уже не один только невыспавшийся, желчный немного облик Анны Александровны...

И так начнется у него день.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ЛИЦО ПОКОЛЕНИЯ

Учитель Захаров был словесник. Он и Ульянов считались лучшими преподавателями в институте, но учили по-разному и предмет любили по-разному, да и сами были несхожи.

Физик забирал учеников исподволь. Вначале он казался классу потешным, вбегал перепелочкой, мелко семеня, отирал платком начинающую лысеть макушку, забавно картавил — ни «р», ни «л» у него никуда не годились,— и разыграть его классу ничего не стоило. Но удивительное дело: класс его не разыграл — так много в этом первом появлении учителя раскрылось неожиданной для молодежи редчайшей деликатности.

Воспитанники института привыкли и к порке, и к карцеру, и к язвительным, враждебным действиям со стороны учителя, когда обе стороны находятся «в состоянии войны», а находились они в этом состоянии часто. Воспитанники грубели в самозащите, чтобы, не моргнув, вынести способ, какой они называли между собой «битьем по самолюбию», а между тем очень часто ими же выведенный из терпенья учитель хватался за этот способ с отчаяния, как за последнее средство. Два лагеря залегали друг против друга в классе, как хищники. На последних партах громко жевали, переплевывали друг другу, виртуозно рассчитав пространство, резиновые шарики, читали книги, почесывали голову, иной раз больше от озорства, нежели по надобности. Задние парты нарочно бесили своим неряшеством, расстегнутыми мундирами, засаленными воротниками, перхотью, длинными, неприглаженными волосами. Учитель, клокоча внутренне от ненависти, окапывался в словах и жестах, к которым по виду нельзя придраться, но жалил и жалил, как овод, вонзаясь в самые чувствительные места, в слабости и привычки, симпатии и антипатии, во все, что подглядывал и примечал за противником. Таких «занозил» воспитанники ненавидели больше, чем открыто шедших на них врагов, вооруженных розгами и карцером. Но и розги, и карцер, и «битье по самолюбию» год от году усиливались в институте, невыносимо озлобляя обе стороны,— главным образом потому, что сгущалась общая атмосфера.

А общая атмосфера для института значила очень многое. Содержался он на средства дворян, облагавших для этого своих крепостных особой подушной податью,— но вот уже полгода как вышел, наконец, манифест, и «крепостные души» оказались свободными, хотя, правда, временнообязанными, то есть в течение двух лет все еще прикованными в прежних своих обязанностях к поме-

щику,— но попробуй-ка возьми с них сейчас лишнюю подушную подать!

Дворяне кричали о разорении, и никто копейки платить не желал, хотя предводитель, разводя руками, и говаривал свое отеческое: «Господа, господа...»

Учителя по месяцам не получали жалованья. Было ясно, что дальше так некуда и что заведение должно быть закрыто и преобразовано. Старшие классы даже не знали, тут ли, в Пензе, они будут кончать. И в этой разрухе удержать класс, вести как ни в чем не бывало преподавание, заставить забыть все вокруг и слушать урок было огромное, трудное искусство. Физику Илье Николаевичу оно удавалось не только потому, что он любил свой предмет и увлекался, когда говорил о нем. Не только потому, что говорил он очень просто, понятно, втолковывая самому туголобому так, что выскакивали доброохотцы из-за парт и начинали тотчас подсоблять учителю, словно давно знают вопрос, а не только что, с голоса учителя, подхватили и поняли его. А удавалось оно физику из-за редчайшей его деликатности к человеку.

Деликатность и такт — свойства трудные и более редкие, чем талант. Их нельзя представить или разыграть, не сорвавшись. Их нужно иметь, и тогда они скажутся сами собой в тысяче пустяков, в том молчаливом, невидимом на поверхности, странном внутреннем сговоре, в каком обиженная или огрубелая, дикая или порочная, но не совсем пропащая душа человечья, вдруг как бы выйдя из защитной своей скорлупы, из военной маскировки, из полумертвой спячки, словно на тайную, ей одной слышимую мелодию, безоружно, в полном доверии, приближается к другой душе,— а та и поет-то свою мелодию без всякого умысла, просто потому, что ей свойственно петь ее.

Илье Николаевичу было свойственно почти физически чувствовать чужое бытие — характер, натуру, настроение ученика,— чувствовать с подлинным внутренним равенством — главным условием деликатности. Обидеть, заподозрить, хотя чем-нибудь уязвить человека, нанести удар по самолюбию было для всей его собственной натуры так же отвратно, как съесть кусок железа, и в классе тотчас почувствовали, что в каждом из них он видит и уважает равного себе человека. К тому же он весь

светился добрыми своими карими глазами, когда вскидывал их на отвечающего,— и ученики просто влюблялись в этот мягкий взгляд, стерегли физика по коридорам, чтобы гурьбой пойти с ним, взять его с двух сторон под руки или даже, осмелев, обнять за талию, повиснуть на нем.

Словесник Захаров держал класс совсем по-другому. Рассеянный и близорукий, он не был чуток к воспитанникам совершенно так, как и себя не щадил,— наоборот, весь класс сливался перед ним, когда он рассказывал, в одно единое лицо. В манере жить и действовать у Захарова была какая-то романтическая стремительность, вызванная именно тем, что всегда и всюду видел он перед собой это единственное лицо.

Чье оно было? Захаров не мог бы сказать, какие у него глаза, нос и рот, но это было лицо поколения, желаемый икс, то, что слушает, понимает, кивает, то, что, может быть, иные назвали бы «двойником», думая, что Захаров противопоставлял себе не кого другого, как себя же. Но двойник этот обладал для Захарова той важной особенностью, что он всегда рос и увеличивался в удельном весе. В него и ему бросал Захаров пригоршнями и свое знанье и все страстное свое увлечение литературой.

Когда в первый раз, боком открыв дверь, неуклюжий, в скрипучих дешевых ботинках, по-добролюбовски волосатый,— волосы росли у него под ушами и на шее, и по тогдашней моде он их сбривал только вокруг рта,— Захаров вошел в класс и держал свою первую речь, он успеха у класса не имел, и его причислили даже к разряду «допекающих». Резким контрастом с физиком было то, что этот мохнач со словоерсами не дал себе ни малейшего труда увидеть их или хоть разобраться в списке фамилий, лежавшем на кафедре. До последнего дня пребывания в институте он путал фамилии, называл Мосолова Мусатовым, Сергея — Георгием, и это свойство обидело и оттолкнуло от него чуть ли не всех. На первом уроке он избрал для знакомства с ними старую грамматику Ломоносова.

Только двое-трое слушали Захарова с удивлением. Мохнач повел речь о силе слова. О великом счастье мыслить на языке русском. Этот язык — оружие, какого еще не было в мире, язык будущих деяний истории, язык встречи для всего человечества.

Открыв принесенный с собой старый фолиант, обтянутый стершейся на углах кожей, тисненной тоже порядком истертым золотом, он прочел из него голосом грубым, немного сиплым, но рвущимся от волнения, как птица в полете от коршуна, торопясь и сбиваясь, следующие слова:

«Карл Пятый, римский император, говаривал, что ишпанским языком с богом, французским с друзьями, немецким с неприятелями, италианским с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно. Ибо нашел бы в нем великолепие ишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность италианского и, сверх того, богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка... Сильное красноречие Цицероново, великолепная Виргилиева важность, Овидиево приятное витийство не теряют своего достоинства на российском языке...»

— Каков Ломоносов! Да-с, так другой в наше время не скажет-с! Какова мысль!

Захаров не сразу и вспомнил, что перед ним класс. Когда кончился урок, он выбежал разгоряченный, в восторге, нимало не подозревая, что разгорячение и восторг шли только с его, с захаровской, стороны в классе.

Но уже на втором уроке сила его дала себя знать. С языка русского он перешел на «славное воинство, этим оружием подвизающееся», — на писателей, носителей света, от архангельского мужика — рыбаря Ломоносова, никогда не гнувшего спины и умевшего любого вельможу отбрить, до презоркого немца фон-Визина, не зря обрусевшего, — перекидываясь от книги к книге, от имени к имени, как бы начерчивая программу занятий в классе на целый год, Захаров сумел вдруг зажечь класс тем внутренним чувством к писателю, какое жило, живет и будет жить в каждом поколении людей, пока есть книга и есть читатели книг.

Началось со спора, возгоревшегося вокруг барона Брамбеуса. Разгуливая по классу и жестикулируя, Захаров нежданно-негаданно увидел, что Странден — он долго не мог запомнить его фамилии — читает под партой толстенький томик «Фантастических путешествий», На смешных местах Странден поеживался, как от ще-

котки. Странден был умница и сам насмешник, и не дай бог в его присутствии задеть Брамбеуса. Но Захаров вытащил книгу, поглядел и швырнул на кафедру, преувеличив, по правде сказать, свое неуважение к «барону», может быть, потому, что только на днях спорил со своим квартирантом Ульяновым, который тоже читал Брамбеуса. Много лет спустя и Странден и другие ученики Захарова, одни в ссылке, другие в чине сенатора, будут вспоминать эту первую захаровскую «филиппику», как они обозвали ее:

— Не советую, не советую-с! Чем он плох, ты спрашиваешь? А я тебе скажу, чем он плох. Сенковскому было отпущено. Сенковский имел талант. Имел щедро, обучен был дюжине языков. Редко кто обладает таким даром постигнуть язык, как Сенковский. И что же, скажи пожалуйста, создал на свете твой Сенковский с этим великим даром, с легкой способностью к выражению? Он запустил руку в ящик с сокровищем и вынул оттуда сушеную муху. Не протестуй. Книги пишут не с тем, чтобы развлечь на полчаса. Язык дан не с тем, чтоб балакать с соседом. Книга должна быть так писана, чтоб идти впереди, расти, всегда расти. Ты что именно читал — «Путешествие сентиментальное», где человек сквозь Этну в нутро земли к антиподам провалился? Так, так. А теперь возьми сочинение Ионатана Свифта «Гулливер». Тоже сказка. Но литератор воспользовался богатым положением своего сюжета, чтоб дать затаенные свои думы, вывернуть душу свою навстречу истине, он осмеял в карликах, раскрыл в великанах пошлость, глупость и низость человеческие, он разил, его книга имела прицел, она сдвинула гору, она таранила, кричала, стреляла, билась флагом на фронте истории, а твой Брамбеус потешился своим сюжетом, отпустил две-три безобидные шутки, надорвал животики — и все. На что ему была богатая тема! Стыд. Жалость. Бессмертие — помни это, помните все — получает не книга, есть тысячи очень талантливых книг, канувших в Лету,— бессмертие получает писатель, создавший книгу, то есть *человек,* отложивший в книге свою *человечность!* Маленький человек с малыми пожеланиями при всем таланте может остаться только Брамбеусом и ничем больше!

Удивительно было для всех в классе, что Странден не обиделся на Захарова. Напротив: умница Странден

именно с этого дня и стал как бы срастаться с тем символическим лицом поколения, какое видел перед собой Захаров в своих странствованиях по классу, — он то и дело вмешивался в его филиппики вопросами и замечаниями, подогревая учителя на большее и большее. Ходил к нему на дом с просьбами «указать книжку».

И однажды в классе появился и побежал по рукам трепаный старый номер «Современника». Он был засален, его углы стали так хрупко-прозрачны, что светились насквозь. Переплет был бережно обернут чистой серой бумагой. Страстная жажда узнать всю «правду» и вера еще до встречи, до знания в то, что пришло настоящее, пришел человек, который их всех невозвратно захватит и покорит, — прямо лихорадка какая-то овладела воспитанниками, когда они увидели подпись, уже смутно и тревожно знакомую: *Н. Чернышевский.* Это был первый номер за пятьдесят восьмой год со статьей Чернышевского «Кавеньяк».

Тотчас образовался кружок, засевший читать эту статью. Жили воспитанники в пансионе, читать надо было очень осторожно. Вначале как-то не понравилось — сухо, напыщенно. И, однако, никто не признался себе, что не понравилось,— до того им хотелось, чтоб нравилось.

Помнит ли кто из нас, людей совсем иного времени и поколения, первую решающую встречу с книгой, которой суждено стать вашим вторым рождением в мире? Неясный большой ком идет к горлу и спирает дыхание. Вы не видите частностей. Не соображаете своих прошлых привычек и мыслей, может быть совсем не похожих на то, что сейчас. Вы не критикуете — наоборот, у вас потребность тотчас же, высоким, еще ломающимся, безусым голосом, с невероятной верой, невероятным апломбом говорить, говорить, говорить, не слушая, презирая всякое возражение, — говорить о том, что в один миг стало для вас непреложной истиной. И это самый естественный, самый чистый миг в человеческой жизни, подобный тому, как с треском лопается сухая чешуйка, отдавая созревшие семена, — миг вашей гражданской зрелости.

В обширном наследстве Чернышевского нет другой такой статьи для того, чтоб сразу покорить и взять человека, нежели эта работа о вожде умеренных республиканцев, возвышенном чистоплюе, расстрелявшем в Па-

риже сорок тысяч безоружных рабочих. В «Кавеньяке» русский читатель был ошеломлен и прикован абсолютнейшей точностью мысли. Смотри, вот правда, — голову прямо, не вертись, не дергайся, вот она — раз, раз, раз, раз. С невероятной и беспощадной логикой ум Чернышевского в неудержимом потоке анализа, очень простого по форме и такого легкого на вид, что каждому кажется, будто это он и сам давно знает, дал в этой статье сражение всякой неясности, лжи и романтике, всякой недодуманности, выдаваемой за глубину, к каким привыкли мы в жизни и в чтении.

— Д-да! — кряхтели воспитанники, сталкиваясь головами над страницей. Учитель истории у них был устрица. Нечего и говорить, что никто из них ничего не слышал об июньском восстании парижских рабочих в 1848 году, но знание приходит в горячие головы с быстротой телеграфного толчка, дай только шифр. Они уже превосходно во всем разбирались: и в том, как умеренные республиканцы победили монархистов при помощи работников (Чернышевский называл в статье парижских пролетариев работниками), и в том, как эти республиканцы ничем не помогли работникам в благодарность за их помощь, какие бессмысленные, издевательские были открыты ими «национальные мастерские», где платили деньги за видимость труда, как постепенно перетянулись в эти мастерские все рабочие Парижа, а «умеренные республиканцы» так же глупо, как открыли, сразу же и закрыли их, оставивши сотни тысяч людей без хлеба. Вся трагикомедия «умеренных» у власти, их бессилие, неумение управлять, их пустой и жалкий теоретизм, смешное благородство, переходящее в тупую жестокость, их провокация с рабочими, лишенная здравого смысла, вызвавшая революцию, — и потом расстрел, расстрел из пушек регулярной армии десятков тысяч голодных, обобранных, обманутых, сбитых с толку пролетариев, чьими руками они поднялись к власти; короткая, блестящая страница истории; урок, рассказанный Чернышевским удивительно просто и ясно, так потряс их, как будто они заглянули в тайну мироздания.

— Это сама истина, — сказал Странден.

Статья обрывалась на половине, и вот уже с месяц как Захаров обещал им принести номер, где помещено продолжение, и не приносил. Несколько человек в клас-

се рассуждали и спорили об «умеренных» и «работниках», словно заправские политики. Никого из читавших статью не оказалось на стороне «умеренных», хотя Чернышевский и соблюдал как будто в статье ученое беспристрастие. Но что же дальше, чем кончилось, когда же книга?

А Захаров вошел в этот день в класс темнее ночи. Ученики сразу увидели, что расстройство его адресовано не к ним. Он сел рассеянно, потом встал, упрятал руку в шевелюру, зашагал взад и вперед, нехотя, путая фамилии, вызывал, и хотя вызванные плели, что в голову придет, Захаров явно не слушал их.

За три дня до институтского акта, 20 ноября, Петербург хоронил юношу Добролюбова, умершего от чахотки. Народу на похоронах было мало, но тотчас прошел слух, докатился он и до Пензы, что Чернышевский выступил на похоронах с очень смелой речью. Про Чернышевского все знали, какой это умница и тонкий политик, как бережется он, — комар носа не подточит! — а тут вдруг такая неосторожность. Вчера приехала к Захарову из Петербурга сестра, передовая девушка, одна из тех первых девушек русских, что гостями начали ходить в университеты, слушать лекции вместе со студентами, — смелое дело, сперва начальством не возбранявшееся. Она-то и рассказала подробности. Захаров был полон всем этим. Он знал и другое, — как не узнать в Пензе? Любая секретная бумага колесом катится по пензенской улице. Губернатор — все губернаторы русские — получил предписание не выдавать литератору Чернышевскому заграничного паспорта, буде ему вздумается исходатайствовать таковой через пензенскую власть. Вот, значит, до чего дошло дело. И он представил себе, как Чернышевский, потрясенный утратою Добролюбова, стоял под холодным ноябрьским ветром на могиле, задетый, обиженный малолюдством толпы, и, забыв всю свою тактику конспирации, листал озябшими пальцами осиротелый дневничок покойного: «Мы потеряли в лице Добролюбова блестящий, огромный талант. Пусть же знают, кто ускорил его кончину, кто помог смерти угасить этот дух...» И читал коротко, громко, сухо: «Сегодня вызывали к цензору... Правил статью... опять исчеркали... ездил, убеждая до хрипоты... получил выговор... изъято почти пол-листа... Опять у цензора...» В этих метаниях больно-

го чахоткой, защищавшего каждое свое слово от удушения, так и чувствовались припадки кашля, роковое потенье в передних, крик до хрипоты, до сплева крови в платок, борьба одного против могучего левиафана государства, против тупого самодержавного строя. Это было ужасно, должно быть, — речь на могиле, и так мало народу, чтобы услышать ее! Захаров растерянно в ответ себе помотал головой и уж собрался в учительскую, как кто-то остановил его в дверях. Ученик, заикаясь немного, — Захаров выглядел сегодня таким сердитым, — напомнил про обещанное. Уж очень хочется дочитать статью! Узнать, как провалились умеренные...

Лицо поколения, дорогое расплывчатое лицо, становилось реальностью, оживало, принимало черты.

— Друзья, друзья! — начал Захаров, воротясь в класс и присев на парту. — Закройте дверь. Крепко. Так. И слушайте меня. Автор «Кавеньяка» Николай Гаврилович Чернышевский, лучший человек нашего времени, схоронил своего друга и помощника, молодого критика Добролюбова. Не могу не сказать вам, как велика наша потеря. Но прибавлю: низко, очень низко, возмутительно низко вели себя весь год писатели дворянского сословия, недостойно светлой памяти декабристов, недостойно своих собратьев по классу — Пушкина, Лермонтова.

Среди дворянчиков, собравшихся вокруг Захарова, как ветер, прошло движение. Бледноухий и тонкий, с пробором в реденьких, золотушных волосах племянник губернатора презрительно оттопырил губы. Он тоже знал от матери про бумагу и получил строгий наказ: поменьше болтать лишнего в классе. Слова Захарова чем-то не нравились глуповатому юноше. А Захаров сжато и энергично, поглядывая то на часы, то в глаза, окружавшие его, — серые, карие, черные, голубые, внимательные, настороженные, бездонные глаза молодости, впитывающей все, как губка, — рассказал про то, как весь год докучали Некрасову, издателю «Современника», и знаменитый писатель Тургенев, и молодой офицер Лев Толстой, и критик Дружинин, стараясь выставить Чернышевского из «Современника». Григорович не постеснялся написать на него низкий пасквиль, Лев Толстой задумал, как говорят, целую пьесу, что-то вроде «Зараженного семейства», где издевательски вывести хочет Чернышевского. Тургенев в обществе назвал его клоповоняющим...

— Господа, иаше дворяиство любит говорить о дворяиской чести. Где оиа сейчас, эта честь? Поимаете вы людей, вдруг где-иибудь за столом, в гостииой распоясывающихся среди своих и выдающих самое свое главиое, нутро свое, что они — баре, барами родились, барами и быть хотят, а другие люди для иих, в сущности, проходимцы, которым они виду ие показывают, что считают их ниже себя. Ну, а тут задело за шкуру и прорвалось, и вместо того, чтобы спорить по сути, о взглядах, о том спорить, что кому дорого, что каждый считает лучшим для нашего отечества, оии вдруг выдали себя криками: семииарист, попович, мещаиии, прихожей пахиет, клопами воияет, вои из-за стола! Вот где косточка заговорила. Вот где аргумеита недостало! Господа молодые дворяие, вы вырастете, вы — иовое поколеиие, слушайте меия. Среди вас могут иайтись иастоящие люди — стойте горой за таких представителей человечиости, как Чернышевский!

Уже он ушел, и швейцар ие торопясь развериул перед иим шубу, а в классе жестоко дрались. Страидеи дал в зубы губернаторскому племяннику за то, что тот бессмысленно выкрикнул:

— За политику и того-с! Не маленькие! Я вот скажу дяде...

— Ах ты, Кавеньяк, сволочь! Дубииа! Доносчик!

— Потише вы все-таки, он не имел права в дворянском институте, да еще в классе...

И воспитанники тут же надавали друг другу жарких затрещин, перешедших в бой.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ПРИЗНАНИЕ

Дело это для Захарова так ие прошло. Доиес или ие доиес губериаторский племяиник, ио губериатор узнал, директору было сделаио виушеиие, и Захарова освободили от должности. Терять ему, впрочем, и иечего было — ходил упориый слух, что иистcovered вот-вот закроют.

Захаров тепло простился с воспитаниками, успевшими стать ближе к нему. Даио было обещаиие писать, спрошеиы адреса, старательио записаиы иазвания книг,

рекомендованных Захаровым для прочтения, и совет, где их можно достать. Года полтора перебивался он в Пензе уроками, а потом нежданно-негаданно укатил искать места в Нижний. Квартирант его, физик, не прощался с ним надолго. Он тоже делал первые шаги, чтоб выбраться из чертова болота, Пензы, в более приличное место.

Смерть Добролюбова потрясла Илью Николаевича не меньше Захарова — подумать только, всего двадцать пять лет, на целых пять лет моложе его самого, и сгорел человек, но сгорел, успев многое сделать. Старший физик читал в «Современнике» умнейшие статьи Добролюбова, дивясь его знаниям и логике, — особенно те, что интересовали его преимущественно: рецензии на книги по физике, — о магните и магнетизме, о близкой его сердцу науке метеорологии, о внутренней жизни земного шара, гипотезы о которой сильно занимали вулканистов и других ученых-геологов... Но особенно любил он прочитанную им в 1858 году рецензию в десятом номере «Современника» и даже поспорил о ней с Захаровым. Тому нравилось у Добролюбова совсем другое. А Илья Николаевич повторял с удовольствием, своими словами: «Две тенденции в обществе — к дармоедству и к труду».

Он даже переписал в свою заветную тетрадку: «В глазах истинно образованного человека нет аристократов и демократов, нет бояр и смердов, браминов и парий, а есть только *люди трудящиеся и дармоеды.* Уничтожение дармоедов и возвеличение труда — вот постоянная тенденция истории... Нигде дармоедство не исчезло, но оно постепенно везде уменьшается с развитием образованности».

— Учить, учить надо, идти с букварем к народу, — жарко настаивал старший физик, споря с Захаровым. — У Добролюбова то и хорошо, что он просветитель народа... А как у него сказано об инородцах! — Это был особый для старшего физика предмет, задевавший его за самое сердце... — «Настоящий патриотизм... не уживается с неприязнью к отдельным народностям!»

Захаров нетерпеливо отмахивался от спора: все это одни лишь частности, частности. Все это лишь частные детали борьбы, их много, они замечательны, каждый взмах пера остер, смотрите, как высек Добролюбов казанского ретрограда профессора Берви, против которого

бушевали студенты-казанцы. Но не в этом, не в частностях у Добролюбова главное!

И вот теперь Захаров освобожден от должности, словно в подтверждение своих слов о частностях. У Ильи Николаевича сжималось почему-то сердце, словно от чувства вины перед ним, перед собой — чувства вины «без вины виноватого».

Но Илья Николаевич был человек ежедневной упорной, добросовестнейшей работы. Такая работа, хочешь не хочешь, разгоняет мысли, облегчает сердце. По метеорологии, которою Захаров совсем не интересовался, да кстати же и всей Пензенской губернией тоже, накопилось множество цифр, груда цифр. Из них надо было сделать выводы, продумав эти цифры до тонкости, а время не ждет. Стоило институту из-за неисправности механизмов запоздать с отсылкой таблиц, как уже господин Морозов, президент Общества сельского хозяйства Юго-Восточной России, торопя, обратился с письмом: «Эти выписки служат полезным руководством для изучения климата и вместе с наблюдениями, производимыми по распоряжению Общества в разных местах Пензенской и Саратовской губерний, составляют любопытный и поучительный запас сведений». Его отчеты были *полезными* для отечества, для научного подхода к земледелию — разве это не шаг вперед к уменьшению «дармоедства» при помощи образования?

Ко всем этим скрытым внутренним утешениям прибавлялось еще одно. Не смея вполне признаться себе, физик был счастлив.

Каждый вечер у Веретенниковых собирались, как сердито шутил инспектор, «соискатели»: все холостые преподаватели ухаживали за Машенькой Бланк. Оттанцуют, отмузицируют и даже отужинают, а все не расходятся, и, бывало, один стремится пересидеть другого у круглого стола, за альбомом под абажуром лампы, или в амбразуре окна, у фисташковой, не первой свежести занавески с бахромой, или мешкая в разговоре уже одетым в передней и все опять и опять возвращаясь к теме, давно исчерпанной, — лишь бы постоять лишний миг возле стройной девичьей фигурки. Но самым последним как-то всегда оказывался старший преподаватель физики.

Он и днем заходил сюда: Машенька Бланк взялась усовершенствовать его в языках. Сидя рядом за иност-

ранной книгой, наклонив головы, они серьезно занимались чтением и переводом.

Илья Николаевич знал в чужих языках не больше того, что дала гимназия, прибавил и самоучкой, но ему было ново свободное обращение с языком, знакомство не с падежами и правилами, а как бы с самой стихией речи, как это было у его молодой учительницы. В первые дни, когда они занимались французским, он чувствовал себя бесконечно ниже ее по образованию. Но как ни медленно раскрывалась она перед ним, как ни скрытно лежали в ней мысли, он стал подмечать постепенно, сколь тяготит ее недостаток систематических знаний. Воспитанная без школы и без учителей, на одном чтении, Мария Александровна вдруг вспыхивала чуть не до слез от своего «невежества», как говорила себе. Ей не хватало истории, географии, она не знала множества простых вещей, не умела их связывать во времени и в пространстве. Условные обозначения науки, до этого времени как-то обходившие ее, как-то выслушивавшиеся в пол-уха и выговаривавшиеся легко и без запинки — «средние века», «античная литература», «русский ренессанс», «век Екатерины», «Византия», «страны славянской культуры», «удельный период», — все это вставало теперь мучительным частоколом, сквозь который нельзя было продраться не застрявши. И однажды у нее вырвалось:

— Позанялись бы и вы со мной, Илья Николаевич, общими предметами. Я ведь не кончала гимназии.

С тех пор уроки языков неизменно чередовались у них уроками общих предметов. Илья Николаевич из ученика превращался в учителя и так ясно, с таким увлечением передавал ей свои знания, что Машенька Бланк незаметно для себя стала усваивать вместе с науками и педагогические приемы Ульянова. Как это часто бывает меж людьми, постепенно срастающимися душевно, ей непроизвольно переходили его интонации, манера наклонять голову при вслушиванье, даже характерное движенье плечом, и подчас она повторяла их в его отсутствие, при разговоре с Веретенниковыми, а сестра ее, Анна Александровна, подмечая это, хитро подшучивала над «обезьянничаньем с милейшего педагога».

Но и Ульянов незаметно для себя подражал своей ученице-учительнице в выговоре и лицевой мимике. Мария Александровна умела думать и по-французски и

по-немецки, и, думая, она словно ритмически, во внутреннем жесте повторяла те навыки, приемы, тот стиль среды, где говорили на изящном, всегда приподнятом, французском и многословном, не гибком, но глубокомысленном немецком языке. Ее душа растворялась в этом стилевом жесте, и физик хотел найти эту неуловимую душу, найти свою Марию Александровну, девушку своего времени и среды.

Как-то над английским текстом, где говорилось о милой Мэри, он назвал свою учительницу уменьшительным именем Мэри, и она вскинула на него глаза, покраснела и улыбнулась такой своей собственной, такой прочно, внутренне своей улыбкой, что Илья Николаевич стал часто называть ее и много лет потом называл Мэри.

Она забирала над ним постепенно власть. Видно было, что и в семье Веретенниковых идет от нее устраивающее, хозяйственное начало. Старшая девочка Веретенниковых дружила с теткой, как с подругой, а няня советовалась с «молодой барышней», как со старшей в доме; инспектор часто, обводя взглядом жену и свояченицу, спрашивал: «А ну, как думает мой парламент?», и Машеньку звал в шутку — эта шутка тоже укрепилась в семье на долгие годы — «ganz akkurat», подделываясь под немецкий акцент.

Они объяснились совсем неожиданно, в дверях пансионской библиотеки, куда Машенька Бланк пошла, наконец, сдавать оба журнала, то есть и не объяснились даже, а учитель физики понял по взгляду, когда он столкнулся с девушкой, что только ее, и никого другого на свете, хочет иметь женой.

— Запишите эти книги на меня, — сказал Илья Николаевич библиотекарше. Он хотел держать их в руках, раскрыть и тут же на месте загадать — будет или не будет, хотел перечитывать строки, читанные ее глазами, — в этом сдержанном небольшом человеке, умевшем хохотать, как младенец, покатываться с хохоту, ласковом в классе, твердом в обязанностях и тоже по-своему «совсем аккуратном», горячей волной встала вдруг кровь, он был в один миг ослеплен и порабощен тем, что почувствовал, тем, что в нем зрело все эти дни и поднималось к сердцу так медленно.

— Будьте вечером, после класса, в саду. — И Мария Александровна ответила: «Хорошо», а может быть, и не

ответила, а только голову наклонила, но оба они встретились вечером на горе, где сейчас Парк культуры и отдыха и стоит высокая башенка обсерватории имени Ильи Николаевича Ульянова.

В те годы на этом месте дико и пышно рос мелкий кустарник, стояли вязы и липы, шли путаные дорожки с двумя-тремя серыми от дождей деревянными скамьями, и это место прогулок спускалось вниз по самый дремучий овраг, за которым тогда еще стоял лес.

Весь день, перед тем как подняться туда, Илья Николаевич чудачил в классе от невероятной растерянности. Десятки пар глаз проницательно следили за ним; он говорил о явлениях магнетизма дрожащим от счастья голосом; на задних партах вдруг прыснул кто-то, и чья-то лохматая голова поднялась. Следя взглядом за взглядом хитрющего, небрежно причесанного мальчишки, Илья Николаевич обернулся и мог заметить, как торопливые пальцы вызванного им к доске любимца быстро-быстро стирали только что мелом написанное слово «Маша». Ну что было поделать с ними? И что было поделать с собой? Предчувствуя великий, счастливейший перелом в своей жизни, сам испуганный бурной нежностью, ломившей его, этот человек, бледный, с сияющими глазами, едва не оборвал урока. Огромным усилием воли он сдержал себя, чтобы продолжить его и не выбежать в нетерпении из класса.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

АРЕСТ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Весной 1863 года Машенька Бланк и старший учитель физики были помолвлены, а летом она успешно выдержала экзамен на домашнюю учительницу.

Машенька выехала раньше его в имение отца Кокушкино, где должна была состояться свадьба, а Илья Николаевич занялся устройством дел.

Оставаться в Пензе, где все разваливалось, было попросту невозможно. Он даже не мог дополучить за несколько месяцев жалованья и вынужден был написать брату Василию. В Астрахани весть о его свадьбе с барышней Бланк, дочерью петербургского хирургического

врача, вызвала радостное волнение в доме. Старушка мать, сестры и брат готовили невесте подарок, Василий наскреб денег и послал брату, чтобы выручить Илюшу перед самой свадьбой. Взволновался и Александр Дмитриевич Бланк, выдавая свою Антигону. Он громогласно разделил маленькое Кокушкино на пять равных частей, наделив каждую из дочерей особой частью, но сам жил хозяином, держа этот родительский дележ больше «в уме» и не желая, как подшучивал, быть в старости «казанским королем Лиром».

Немногочисленные крестьяне деревни Кокушкино все уже знали, что «младшая, Мария Лександровна, замуж выходит» и что «дома шьют не нашьются приданого», только вот ездить в Казань за материей, кружевами и лентами было «боязно». Казань была на военном положении из-за открытого в ней заговора. Приданое — то, что в те времена полагалось девушке ее круга и средств,— и в самом деле шилось в Кокушкине, шилось больше ее же собственными прилежными руками. Выбирался фасон поскромней, материя попрочней, чтобы дольше хватило. Милые сердцу мелочи, французские и немецкие книги, Шекспир в издании Бодри с гравюрами, ноты с ее монограммой на переплете «М. Б.», ее старый рояль — все это было уже упаковано и ждало отправки. Да, но куда же? Где начнется ее новая жизнь?

Не прощаясь с Захаровым надолго, Илья Николаевич почти был уверен, что скоро они опять встретятся. В том же году стал хлопотать о своем переводе из Пензы в Нижний.

Нижний Новгород по сравнению с Пензой был почти столица. Купечество застроило его, подняло благоустройство, жило широко, ворочало миллионами. Макарьевская ярмарка, перенесенная в Нижний, собирала в него раз в год лучшее, что есть в России. Это отзывалось и на театре и на школах. Но главное дело было в том, что в Нижнем преподавал его старый казанский учитель, Степанов, и туда же, в Нижний, переехал директором гимназии и тамошнего дворянского института друг и сослуживец его, Александр Васильевич Тимофеев.

Друг этот был не просто друг. Он прошел через всю жизнь Ильи Николаевича и был в этой жизни своего рода судьбой. Талантливый словесник, Тимофеев учи-

тельствовал в астраханской гимназии, когда маленький Ильюша, сын портного, сидел в ней за партой. Тимофеева непрерывно повышали — от учителя в директора, от директора в округ. Но куда бы ни забрасывало его это восхождение, он неизменно звал с собой и своего бывшего ученика: устроил его в Пензе, помог ему устроиться в Нижнем и встретиться с ним спустя шесть лет в Симбирске.

Илья Николаевич списался с Тимофеевым и ждал назначения. Личные его дела и политические события были так напряжены в этот последний пензенский год, что физик чувствовал себя как бы на бивуаке. Он не был революционером. Образование досталось ему так дорого, память о жертве брата Василия, непрестанное ощущение горделивого, радостного внимания к себе и своим успехам со стороны этих милых сердцу, безобидных и простых существ в астраханском домишке — матери в темном платочке, сестры, брата — было так живо и так сильно в нем, что благодарность за бытие, за труд, за личное счастье заливала ему душу, как мальчику. И он верил, что есть бог, вечная справедливость. И он был влюблен.

Но политика вторгалась в эти личные чувства и сминала их.

Шел переломный 1863 год в истории Российской империи, и люди, самые, казалось бы, далекие от политики, начинали вдруг чувствовать, что одинокой судьбы, независимой жизни в мире нет, а есть судьба общества, изживаемая сообща. Точь-в-точь как с лошадью на повороте: спущенная постромка вдруг натянулась, и человек сразу почувствовал тягло, которое он до той поры вез нечувствительно и легко.

А перелом был в том, что менялись уже на деле, на практике все привычные, вековые отношения между хозяином и работником. В это лето кончались те переходные два года после «высочайшего» манифеста, в продолжение которых крепостные должны были оставаться еще «временнообязанными», и теперь, наконец, для них наступала «полная воля». Два года в бесчисленных канцеляриях целая армия чиновников и писарей готовилась к этому дню. Отпечатаны были договорные книжки по найму; отныне «раб» превращался в наемную рабочую силу, а «барин» — в работодателя,

и книжка должна была лечь между ними символом нового хозяйственного отношения.

Но ни эти книжки, ни статьи в газетах, ни призывы к патриотизму и высоким чувствам не могли прикрыть и наладить всеобщее неустройство, вытекавшее из плохо обдуманной и половинчатой реформы. В деревнях стоял хаос. Помещики капризничали, объявляли о продаже имений, переводили деньги за границу. Все видней была разница между их интересами в разных губерниях: на севере, под Петербургом, поместья стояли брошенные, помещики угрюмо щеголяли перед царем своей показной нищетой, а на юге и там, где выгодней была наемная сила, быстро возник кулак и определился помещик-буржуа. По привычной российской прохладце учреждения к этому оказались неподготовленными, тысячи запросов и жалоб с мест навалились на присутствия мучительной неразберихой, чиновники отмахивались, а тут еще упорный слух, вычитанный из прокламаций и раздутый III отделением, о неминуемой кровавой революции именно в этом году, году выпуска обобранных, издевательски обезземеленных крепостных на волю.

Физик доживал в Пензе последние дни и только-только собрался из опустелой квартиры Захарова к будущему своему зятю Веретенникову, как поздним вечером на почтовых опять прикатила из Петербурга в Пензу сестра Захарова, главная передатчица всех петербургских новостей. В низенькой пустой спальне, еще не подметенной после хозяина, усевшись на табуретку, она шепотом, во всех подробностях, описывала прошлогодний арест Чернышевского. Про большие петербургские аресты в Пензе говорилось глухо, да и мало кто знал о них, а знавшие не представляли себе полного их значения. О Чернышевском даже слухи ходили, что его вот-вот выпустят. Так уверяли приезжие саратовцы, своими ушами слышавшие об этом в доме родичей Чернышевского, Пыпиных. Будто бы молодежь пыпинская писала из Петербурга, из самых верных источников, что писателя ждут домой.

— Нет, это вряд ли возможно,— возразила Захарова.— Такого человека правительство не выпустит.

Перед ней на подоконнике сидели Странден и маленький изжелта-смуглый Ишутин. Сжимая ладони, с

горячей на лице краской девушка в сотый раз передавала слышанное. Света в комнате не было, лишь с угла мерцал в окна уличный фонарь. Странден слушал, стиснув ладонью подбородок, обросший первым кудрявым пухом, и ему казалось, что все это он видит своими глазами: светлый, длинный, болезненный питерский вечер с неуходящим пыльным солнцем на пустом небе, темную квартиру Чернышевского, типично петербургскую. Все в этой квартире уложено, заперто, заколочено, в коридоре корзины, мебель в чехлах. Жена Чернышевского с обоими мальчиками уехала к родным в Саратов и даже лишнюю посуду в буфете заперла. Николай Гаврилович будто бы пошутил за чаем: «Ольга Сократовна все уложила и пересыпала гвоздикой с перцем, оставила только меня и то, что на мне». За чаем сидели Антонович и еще кто-то. Ждал ли он ареста? Ну, такой человек всю жизнь был готов к аресту: Антонович знает, что он перечитал все старые письма, выскоблил все фамилии и адреса, каких не надо знать полиции, и все уложил пакетами, ясно, понятно — для будущего обыска. Но сказать, что он ждал ареста,— это нет.

— Вы подробно, последовательно!

И Захарова опять начинала про чай, про то, как ходил Николай Гаврилович по комнате, заложив руки, и вдруг раздается звонок, все сразу повернулись к дверям, в дверях заголубело и щелкнула шпора, тут уж всем стало ясно, кто пожаловал. А Чернышевский быстро-быстро повернулся на каблуках, приглашая за собой жандарма. У всех было чувство, как перед дальней поездкой, как на проводах: вот присядут на стулья, а потом встанут, обнимут друг друга...

— Ну что ж, прощай, дорогой Николай Гаврилович.

Она сказала это неожиданно громко, звонко, отрывисто, с душевной решимостью, словно осиротело все ее поколение.

Странден выходил молча, а Ишутин, захлебываясь от возбуждения, шептал всю дорогу, делая два мелких шажка на один крупный и широкий шаг своего товарища. Они теперь жили у родственников, в верхней части города.

— Мракобесию не сдаваться! — сурово проговорил

Странден, отвечая скорей на собственные свои мысли, нежели на жаркие слова Ишутина.

На следующий день Илья Николаевич перебрался в квартиру инспектора. Пензенская земля горела под ним: он ждал, дождаться не мог своего назначения. И когда, наконец, пришло назначение, собрался и упаковался в одну минуту.

— Послушай! — Инспектор Иван Дмитриевич Веретенников сидел с ним по-холостяцки в кухмистерской: Анна Александровна с детьми была уже в Кокушкине.— Хоть ты и будущий, как говорят, бофрер, но дружба дружбой, а служба службой. Верни, брат, книги из библиотеки, на сей раз от тебя как инспектор требую. Держишь, держишь, чуть не два года. Думаешь в Нижний забрать — нет, извини, брат, бумагу пришлю! Штраф с тебя возьму!

И Веретенников сдержал слово. В самый день отъезда курьер принес старшему физику бумагу с казенной печатью. Илья Николаевич принял бумагу и расписался в получении. В ней за подписью инспектора ставилось на вид, что за старшим учителем физики Ульяновым числится книг из библиотеки Пензенского дворянского института четыре названия:

> *Брамбеус. «Фантастические путешествия»;*
> *Тургенев. «Записки охотника»;*
> *«Отечественные записки», 1860 г., №№ 1 и 2;*
> *«Русский вестник», 1860 г., № 3.*
> *Каковые книги со старшего преподавателя физики подлежит взыскать или натурой, или денежною их стоимостью...*

Неизвестно, отдал ли физик два перечисленных выше журнала или увез их с собой в Нижний, но бумага за подписью инспектора еще и сейчас хранится в Пензенском государственном архиве.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

Осенью вверх по обмелевшей Волге шел нарядный пассажирский пароход общества «Кавказ и Меркурий», по тогдашнему времени чудо техники. Он шел от Казани к Нижнему и вез в каюте второго класса молодых супругов Ульяновых, только что повенчавшихся.

Ехать по Волге в медовый месяц было в те годы самым обычным делом, но только весной, когда высока вода, и вниз к Тетюшам, к Ставрополю, к зеленеющим Жигулевским горам, подолгу останавливаясь на шумных, заваленных всякой всячиной пристанях, скупая у болгар нарядные, красивые вышивки, полотнища ручных тканей, у чувашей всякие вязки и плетенья, а у немцев под Саратовом знаменитую сарпинку и деревянные ложки, у татар яркую пестроту посуды, и все, чем богат гений народа, или, лучше, народов, по обоим берегам великой русской реки.

А этот месяц, да еще вверх по реке, был для свадебного путешествия уже и прохладен и неудобен. На мелководных местах пароход неприятно постукивал, скребся о самое дно и дышал от усилий тяжелым, с копотью, дымом, простаивая в пути. Внизу на корме был смрад от сотни замученных переездом крестьян. В онучах, с грудными ребятами, мешками, лукошками или «струментом», они валялись там в одури, пожевывая из ладони скупые корки или кусок огурца, и даже песен не пели, даже не слыхать было, чтобы разговаривали между собой, и сухой плач грудных тотчас же пресекался непрестанным ожесточенным подбрасыванием: «Кш! Кш! Чтоб тебя!» — пока не захватит дух у младенца.

Наверху, в первом классе, убранном с отменною роскошью,— гордость и козырь акционеров, только что пощипанных в Петербурге и журналистикой и вмешательством гласности в их келейные дела,— ехали крупные астраханские рыбопромышленники. Все, чем богата Волга с осенней путины,— янтарные ее осетры, тяжелые налимы, стерлядки малые, колечком в ухé, стерлядки аршинные, варившиеся на пару в белом вине,— надо всем этим колдовал повар, в каждой повадке показывая, что служит он, подает и угодить хочет не кому-нибудь, а господам. Но в первом классе капризно требовали щи, дупеля, телятину, персики, только не осточертевшую рыбу.

Физик ехал с женой во втором классе не потому только, что денег у него было в обрез и требовалась экономия на переезд и устройство, а потому, что по своему положению в то время и он и жена его отходили к публике второго класса. Явной черты, разделяв-

шей людей по виду в их чине, звании и доставке на пассажиров первого и второго класса, как будто и не было, но по нашему времени даже трудно представить себе, до чего это деление, без всяких исключений из правил, в точности соблюдалось жизнью. Молодожены ехали среди людей «своего круга»: некрупных чиновников, мелкопоместных помещиков, начинающих адвокатов — словом, людей «средней руки».

По всему новенькому, только что сшитому, по букетам и коробкам конфет и по многому другому соседи уже догадывались, что едут молодожены, и досаждали им сочувственно-любопытствующими взглядами. Марии Александровне это было несносно, Илья Николаевич попросту не замечал ничего. Вечером он никак не мог удержаться, подавая жене теплую мантильку, чтобы не прижать ее к себе закутанную, не провести с быстрой, немного дикой лаской по щеке и по лбу ее нежными пальцами, хотя знал, что ее это все еще заставит оглянуться вокруг — не видят ли, и сдвинуть бровки. Он выходил с ней под руку на палубу, ставил рядом два легких витых кресла, сажал ее, заботливо спрашивая, не дует ли, не принести ли платок, не хочется ли жене того, другого, третьего.

— Не суетитесь... Не суетись! Сядь же возле,— тихонько говорила жена.

И учитель садился так, чтоб быть к ней возможно ближе, чувствовать ее, и чаще всего они так и сиживали с биноклем в руке, почти молча.

В небе висел осколок месяца. Перед ними уходила назад обмелевшая, сине-розовая на последнем закате река. Навстречу им вниз по течению, разбрасывая миллионы искр по воде, шумно бежали пассажирские пароходы, скользили тихие баржи; вдоль берегов, у самой воды, загорались огоньки от ранних костров. На перекатах они угадывали в темноте веревки, и кто-то тянул и тянул вдалеке, завывая, ухая, бесконечно печальную, однообразную, дикую мелодию, и темная махина, груженная доверху, тенью шла мимо их палубы,— они уже наслушались, наговорились о бурлаках, о стихах Некрасова.

Илья Николаевич впервые был с ней так долго, так прочно наедине. Он привык сразу и целиком, словно и не жил никогда без нее. Но женщина привыкала мед-

ленно и все не могла привыкнуть. Десятки мелких привычек вставали в ней ропотом, глухо щемил девичий стыд, не сдаваясь по мелочам, не позволяя открыть плечи, распустить волосы. Он засыпал поздно, она хотела лечь пораньше, он долго не вставал с постели, наслаждаясь видом ее возле себя, счастьем говорить и делиться, планы рассказывать, прошлое вспоминать, а ей не терпелось, как птице, поскорей встать, умыться и начать день. Трудней всего было ей сдерживаться, чтобы сидеть сложа руки, не обидеть его внезапным вставаньем, уходом за рукодельем, уборкой каюты, хлопотами насчет завтрака или обеда.

— Ну неужели скучно тебе так, Маша, Мэри? Иди садись, слушай, что я тебе скажу...

О Волге он мог рассказывать без конца. Вначале, когда еще шли казанские берега и гористый правый берег Волги шел от них по левую руку, а далекие луговые горизонты низменного левого берега двигались справа, Мария Александровна и сама, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, с увлечением показывала мужу на знакомые места. Вот пригоршней, как пасхальные яички в зеленом овсе, рассыпались по высокому склону крыши большого села, Верхнего Услона, сюда они ездили на лодках... А там, напротив, возле устья Казанки, места сырые и топкие, и сама Казанка — неприглядное место, хоть и заслужила она песню:

Вдоль да по речке,
Вдоль да по Казанке...

Но Казань все отходит, отходит, и уже устье реки Свияги, словно сизая ленточка, повязавшей старинный город Свияжск с богатым помещичьим Симбирском. Знакомо Марии Александровне и левобережное дачное сельцо Васильево, где казанцы проводят лето, и село Беловолжское на правом берегу, где родился казанский профессор, любимый ее мужем,— Николай Иванович Лобачевский. Но дальше места пошли уже неизвестные, да и быстро падал осенний вечер, стирая все краски на берегу.

И тогда слово брал Илья Николаевич. Покуда стоял пароход у яичной пристани Козловки, куда сбежали за дешевыми яйцами чуть ли не все их попутчики, он смешил жену меткими волжскими народными прибаутка-

ми — ведь что в народе родится, то и останется, как приклеенное: тверитяне — ряпушники, старичане — петуха хлеб-солью встречали, ярославцы — пуд мыла извели, родимца с лица не свели, ростовцы — озеро соломой палили, у нас-ти чесноку-ти, луку-ти, а навоз-ти не простой, а коневий...

— Какой же тут смысл? — дивилась Мария Александровна, не желая смеяться.

— А вот мы, астраханцы,— чилимники, а нижегородцы, куда мы с тобой жить-поживать едем, это самое страшное. Про нижегородцев народ сказывает: либо мот, либо вор, либо пьяница, либо жена гулявица.

Он везде подхватывал любопытные поговорки и запоминал их, и ему хотелось поддразнить ими свою серьезницу жену, вызвать ее улыбку. А жена не поддавалась на поддразниванья, в свою очередь, из-под опущенных ресниц приглядывалась к нему, по-новому изучая его в повседневной жизни. Многое в нем она открывала впервые.

Илья Николаевич любил точность. С первых дней брака она заметила, как упрямо он сам доискивался определения того, что только «плывет в мыслях» — плывет, но еще не схвачено, не сформулировано или полузабыто — не вспомнится. Он искал словари, обходил соседей, спрашивал специалистов, спрашивал так толково и мягко-придирчиво, что и ответ невольно стремился быть точным. Мальчонка ли промычит на пристани ни то ни се вместо цены — он будет настаивать: «Одиннадать или двенадцать?»; рассказчик ли заговорится, противореча себе,— Илья Николаевич непременно добьется, чтоб все было ясно продумано и чтоб важность знать самому, о чем ты хочешь сказать другому, стала понятна и его собеседнику. «Если не знаешь, уж лучше молчать»,— говаривал он, когда слышал: «кажется... погоди, если не ошибаюсь... по моему мнению... кажись, что так, а може, и не так... нехай буде по-вашему...»

Это свойство ей нравилось в муже. Оно отвечало ее собственной ненависти к безделью в быту, скуке с пустыми людьми, досаде, когда берутся за то, чего не знают. Но это свойство напоминало, как много она еще и сама не знает и как много для нее пустых мест, лишенных всякого представления, в разговоре других людей, да подчас и в собственных, до сих пор легко, с чужого

голоса произносимых словах. Она стала избегать называть понятия, под которыми ничего ясно не видела. Но не решалась побороть самолюбие, чтобы спросить мужа.

А он — педагог, великий мастер деликатности — заметил все это, невыразимо стыдился дать ей понять, что заметил,— и нежность к жене опаляла ему душу.

В такой сложной душевной работе, ощупью находя друг друга, жили они двое суток бок о бок, а Волга все уходила, уходила вниз. Приближался Нижний. Пароход заворачивал на середине реки, надвигались люди на пристани, горы арбузов, дынь, гуси и щипаные цыплята на руках, саженные рыбы в садках, скрипела разматываемая цепь, и опять стояли, стояли.

В одну из таких стоянок, когда на палубе никого не осталось — все сошли на берег,— Илья Николаевич стал тихонько рассказывать ей со всем обаянием умелого лектора про эту большую тихую реку, прорезавшую не только всю русскую землю, но и всю русскую историю.

— Как ее не любить, Маша, ведь я и родился и вырос на ней, и круг жизни очерчен ею,— буду вот колесить с тобой по ее городам, нынче здесь, завтра в другом месте. Ты заметила, сколько мы встретили разных народностей? Ведь и сейчас в Кокушкине у вас соседи татары, у нас в Астрахани калмыки — я сам отчасти калмык,— чуваши, киргизы, немцы, мордва, башкиры, болгары — кого только мы с тобой не насмотрелись в дороге! Знаешь, откуда они? Река текла с севера к югу, и древние русы шли с нею вместе, осваивали каждую пядь и сами на ней осваивались. Строили, и замечательно строили свои городки-крепостцы. Учили тех, кого покорят, и сами учились у каждого. И как талантлив, до чего многогранен русский народ! У нас в Астрахани есть Успенский собор, ты увидишь, когда поедешь к нам, что это за собор, какая в нем гармония! Глаз не оторвать! Когда Петр Великий приезжал с женой в Астрахань, он сказал про этот собор: «Во всем моем государстве нет такого лепотного храма». А кто его строил? Простой русский мужик, Дорофей Мякишев. Двести шестьдесят с лишним лет назад. И знаешь, Машенька, сколько он получил за него? Сто рублей за все про все — был сам и архитектором, и чертежником, и начальником работ, и плотником, чуть ли не сам даже камни клал. Вот какие самородки в русском народе! Тебе не холодно, милая?

— Нет, нет, рассказывайте дальше.

— Что же это — я тебе «ты», а ты мне «вы»? Штраф, Маша.

— Перестаньте, увидят...

Но Илья Николаевич все-таки поцеловал жену, поцеловал крепко в щеку и остался так, голова с головой, досказывая уже тихим шепотом:

— А в Нижнем был другой самородок, и тоже из простого народа, механик Иван Кулибин. Этот Иван Петрович Кулибин нигде не учился, никаких школ не кончал, но был от природы до того одарен, что самоучкой осилил механику. Изготовил электрическую машину, телескоп, микроскоп, изготовил знаменитые свои часы. Екатерина Великая поставила его главным механиком над всеми русскими мастерскими и повелела, как тогда говорилось, «делать нескрытное показание академическим художникам во всем том, в чем он сам искусен». Не скрытно, заметь,— а чтоб широко разойтись знанию. И подумай, ведь этот народ был насильственно, словно древний раб, закрепощен помещику... Сколько же талантов он даст освобожденный!

В немой ласке она дотронулась рукой до его непокрытых волос, похолодевших от ветра.

Муж притянул к себе эту ласковую руку, и ему захотелось опять услышать, как она поет, облокотиться на спинку стула в гостиной Веретенниковых, впитывать мягкие, бархатные звуки «Фиделио» и вообразить на минуту, что это чужая, гордая Машенька Бланк, и все для того, чтоб открыть глаза и увидеть, что это не Машенька Бланк, а Машенька Ульянова.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

НА НОВОМ МЕСТЕ

В один из свободных вечеров в Нижнем, а их оказалось совсем мало, Мария Александровна села писать сестре.

Проставила число и месяц, вывела «Дорогая Аннушка» и долго сидела над бумагой. Ей хотелось начать с описания Нижнего Новгорода. По сравнению с Пензой и Казанью это была настоящая столица — так шумно,

такие большие здания, лавки, театры, храмы. Улицу пройти надо с оглядкой — такие лихие тут выезды, и чего только, каких только нет и карет и повозок! Но ее поразило не столько это. Ей хотелось как-нибудь передать сестре то особенное ее впечатление от Нижнего, что он из всех виденных ею городов самый русский.

Правда, муж ей все время читал лекции по истории, но даже и без этих лекций в Нижнем на каждом шагу ее поражала русская история, не мертвая, а живая и живущая во всем обиходе — в веселом, вольном окающем говоре населения, в ресторанной еде, лакомствах, зрелищах, в приходящих на рынок со всех окрестностей торговать каких-то дремучих, саженных ростом, суровых иконописных мужиках, в ярмарке, конец которой они с мужем еще застали.

Раньше на театрах она часто видела пьесы из старины, на маскараде и сама один раз нарядилась половецкой девушкой; она знала, как русские испокон веку и дрались, и торговали с монголами, но одно дело слышать об этом, как о далеких временах, а другое — видеть незнакомый народ своими глазами. На ярмарке в новомодных одеждах, среди самой современной обстановки, в пестроте населения ей почуялось множество исторических типов,— не те времена, не те костюмы, но чем-то древним-древним из-под этих костюмов веяло на нее от торговцев-татар, заезжих персов и греков, от цыган с их медведями и гадалками, от каруселей, от ходивших по ярмарке крестьян в национальных костюмах, от разных привезенных хоров и танцовщиков — мордовских, украинских, черкесских, и все эти чужие типы ярче и понятней оттеняли для нее русский тип, словно в лицах рассказывали про русское прошлое.

Муж показал ей домик Петра Великого, где Петр, неугомонный царь-путешественник, останавливался, когда плыл на Азов и Астрахань; она уже знала, что здесь, в Нижнем, знаменитыми новгородскими плотниками еще в шестнадцатом веке строились и спускались на Волгу первые русские суда. Она подробней узнала и про тот народный подвиг, когда Москву осаждали ляхи и литовцы, а в Нижний пришел за помощью князь Дмитрий Михайлович Пожарский, поклонился вольным посадским людям — не дворянам и не знати, а людям простого звания,— и как «нижегородские жители, всяких чинов

люди, выбрали нижегородца посадского человека доброго Косму Минина в полк к князю...» Все это она как будто еще видела на улицах Нижнего, в чертах потомков, сохранивших тип и характер предков, в старинной стене Кремля, в Коромысловой башне, в вольной суетне, ничем не похожей на сонную дворянскую Пензу и даже на университетскую Казань.

Но вместо того, чтобы как-нибудь излить сестре на бумагу свои впечатления, Машенька обидно почувствовала, что она никакая не писательница, и письмо вышло в две странички: о том, что живет она с мужем счастливо, хотя муж непоседа, набрал себе множество уроков— почти его и не видишь. О том, что тут, кроме Ауновских, еще Захаровы,— про Захарова ходят слухи, будто он лишен права преподавания. Много тут и воспитанников Пензенского института, между прочим тот самый сорвиголова Странден, который столько испортил крови Ивану Дмитриевичу, первый ученик Васильев и еще кое-кто.

Сестра ответила очень длинно. Она жаловалась на «своего» и прибавила: «Мог бы в первый год брака быть повнимательней, подомоседливей хоть твой-то! Ведь умеет же он быть внимательным к своим обязанностям. Я нахожу — это чересчур. В эмансипации меня не упрекнешь, терпеть стриженых не могу, но со стороны мужа такая abondance, всего себя делу, это тоже излишне, это забыть, что жена имеет право на вас».

А Илья Николаевич, и правда, набрал себе сразу много дела. Был старшим учителем в мужской гимназии, преподавал в женском училище да еще взял на себя обучение планиметрии молодых землемеров: при гимназии открылись на летнее время землемерно-таксаторские классы. И, кроме всего, стал с первого сентября еще и воспитателем при пансионе дворянского института. Надобности соглашаться на последнюю должность Илья Николаевич не видел, но уступил Тимофееву.

Это была новая, очень важная, по мнению министерства, должность. Не один только Пензенский институт — почти все дворянские институты переживали в этот год жестокий кризис. Там, где и денег много и учителя хорошие, все-таки вмешивался «дух времени», как говорилось в обществе, а «дух времени» был явно против сословных закрытых заведений, против изживших себя

пансионов с их полуграмотными, грубыми надзирателями. И министерство в виде опыта, желая все же сохранить интернаты, ввело в новом уставе гимназий вместо прежнего надзирателя новую должность воспитателя с университетским образованием.

Илья Николаевич искренне думал, что эта новая должность введена министерством из соображений чистой гуманности, чтоб с детьми был воспитатель образованный, знакомый с педагогикой, понимающий душу ребенка. Он бегал с Благовещенской площади, где была гимназия, за угол, на Варварку, где находился дворянский институт, едва успевая побыть дома и превращаясь из доброго учителя в такого же доброго воспитателя. Но, удивительное дело,— гимназисты любили и уважали учителя Ульянова, а институтские воспитанники чурались и бегали от воспитателя Ульянова, хотя и человек и метод оставались одни. Это его раздражало и мучило, и к жене он приходил пасмурный, жалуясь на переутомление, а ей казалось, что ему скучно дома.

В каждом браке есть одна такая пробная минута испытания, когда гвоздь, на котором все держится, как будто начал шататься и вот-вот выпадет. И тут все дело в том, как будет дальше,— пойдет ли еще расшатывать его жизнь или двумя-тремя крепкими ударами вколотит уже так глубоко, что и не вынешь потом.

В жизни Ульяновых этой пробной порой была первая зима в Нижнем. Мария Александровна видела, что муж живет ею,— но как живет ею? Не будь ее, уйди она сейчас — и словно вынесут лампу из комнаты, так потемнеют и посереют для него мысли, какими, поднимая с подушки голову, бывало, делится он с ней, сонной, и люди, к каким все бегает, и говорит, говорит о своей педагогике, о детях. Но лампа ведь не на себя светит в комнате, и люди смотрят не на нее в ее свете.

Машенька видела множество семейных ссор вокруг, где занятый муж мельком замечает жену, а она делает ему так называемые «сцены» за это. Видела она и другое: как расстроенная жена ищет сочувствия в детях, в няне, выхватывает из кроватки спящего ребенка, прижимает его к себе, зацелует — все это были нервы, женские нервы; какая страшная, разрушительная вещь эти самые нервы! Она искала мысленно, за что ухватиться, чтоб у них никогда не было такого, не появлялось жела-

ния всплакнуть в подушку, скапризничать, раздражиться. И первое время, как все женщины в мире, она помогала себе тем безотчетным чувством блаженства, какое кажется вечным и неисходным. Оно волной шло от мужа к ней, вязало их мысли в работе. Он прибегал на большой перемене, между уроками, среди дня, находил ее в кухне в фартуке за чисткой картофеля, встречал на улице, когда она шла с корзинкой купить что-нибудь. После коротенькой встречи оставалось сиянье внутри, делавшее такими спокойными, рассудительными, добрыми ее деловые разговоры, отношения к людям. Ей долго казалось, что это только у них и что ее сдержанность хранит это счастье, а у других нет и не может быть этого, но вот в счастье стали врываться какие-то диссонансы. Два-три раза она приревновала его совсем без смысла. Ей делалось тяжело в его отсутствие. Появилась и раздражительность — это жадным становилось то самое чувство, в котором она искала опоры от нервов. Чувство медленно пожирало все остальные интересы, музыку, даже порядок в доме, и, что вовсе было несвойственно ей, она стала залеживаться по утрам, растягивая свою лень, стала задумываться и, не делая ничего, вдруг мелко, часто позевывать от утомления, накоплявшегося от этого все растущего чувства.

В тот день, когда она писала письмо Аннушке и в нем невольно нажаловалась на мужа, ей стало от этого неприятно и совестно, а все-таки она вышла на Варварку и сама отдала письмо на почту, а выходя с почты, лицом к лицу столкнулась с учителем Захаровым.

— Легки на помине — я только сию минуту в письме о вас написала!

— Значит, хоть одна добрая душа меня помнит, Мария Александровна. Ну что, как муж ваш, как его самочувствие?

Захаров с виду опустился немного. Наросла щетина вокруг рта, где он раньше сбривал, возле глаз собрались морщины, цвет лица был желтый, и на пальто недоставало средней пуговицы. Но он ей обрадовался, и она ему, безотчетно. Узнав, что Мария Александровна идет в ряды, он взял из ее рук «пéщер» — плетеную корзину с крышкой — и захотел проводить.

— Илья Николаевич учительствует, воспитательствует...

— То есть как-с?

— В институте. Нельзя было отказаться, Тимофеев сам просил, и я почти что не вижу его.

— Зачем, зачем он это, экий он! — Захаров остановился даже и пещером взмахнул.— Э-эх, Илья Николаевич! Что такое эти воспитатели? Прежние наши фельдфебели, если на то пошло, честнее были, драли и в карцер сажали, донос делали за курение табачишки в ретираде — извините за грубое слово,— а от этих ждут, чтоб дипломатничали, политику разнюхивали... Да-с, Мария Александровна, дорогая моя молодаюшка, в гнусные времена живем!

Он быстро оглянулся вокруг — март, чудесный месяц март. Звук в морозном воздухе висит прозрачно, как сосулька с крыши, дремлют в тулупах извозчики, выпятив ватные зады, солнце, и соглядатаев нет,— все-таки он снизил голос:

— Вы присмотритесь, что только делается. В Казани прошлой весной, думаете, был заговор? Люди собирались, по-российскому турусы разводили, «революцию больше в уме пущали», как выражается наш сатирик,— а на них военным положеньем, арестами, ссылками. У меня сейчас тут проездом приятель один, Красовский Александр Александрович, тоже словесник, он в Вятке в семинарии учительствует, так его ученики были замешаны в это дело, он рассказывал в подробностях. На каждого из нас, носителей света, гончую держат — молодежь в интернатах, в пансионах, как горючий материал, тонкими, образованными, благонадежными воспитателями приглушить, так сказать, хотят, ну и культурнее поразобраться в ней, чем она дышит...

— Боже мой, что вы такое говорите!

— Слышали про здешнего учителя Копиченко, нет? Арестован-с. У меня обыск, обыск произвели за честность мыслей. Лучшей молодежи хребты ломают. Да вы читайте журналы, между строк видно.

Она шла со стесненным сердцем и больше ему не возражала. Ей сразу стало ясно, что угнетало Илью Николаевича. До сих пор она вместе с ним видела в этой новой должности «прогрессивную меру», шаг вперед, победу нового духа времени, а слова Захарова все перевернули в ее голове. Он довел ее до мясного ряда, подал пещер, поглядел добрыми, все такими же сослепу на всех

глядящими, в одну точку упершимися глазами из-под неаккуратно разросшихся бровей, и она с уважением почувствовала, что в этой одной своей точке он видит куда больше и лучше, чем другие видят в целой окружности.

— Прощайте, Мария Александровна, бог ведает, когда еще приведется. Я в губернию, в управляющие еду. Жить-то ведь надо, вопрос, так сказать, насущного хлеба-с. Кланяйтесь Илье Николаевичу.

Она все была задумчива, покупая мясо, все была задумчива, гуляя из конца в конец, глубоко под вечер, дожидаючись мужа, по длинной их квартире. Квартира была при мужской гимназии и состояла из четырех комнат. Шли они все в ряд. Если открыть двери из крайней и стать на пороге, то можно было увидеть и всю анфиладу, сквозную, как в музее. Но в ней не было однообразия — и обои разные, и цвет мебели, и назначение у каждой свое. Самая светлая и крайняя приготовлена под детскую; за нею небольшое зальце с дубовыми креслами и трельяжем и ее рояль у стены. За этим зальцем — веселая, в ситце, столовая, а за столовой кабинет Ильи Николаевича, куда был поступ со стороны коридора, и не только членам семьи или гостям, а и гимназистам, заходившим по делу, и сослуживцам. Общую спальню они не сделали, и так пошло с Нижнего, что Илья Николаевич, когда появились дети, спал на диване у себя, а мать — с детьми.

Дверь в кабинет скрипнула очень осторожно — Илья Николаевич входил на цыпочках, думая, что жена уже спит. Но с несвойственной ей горячностью Машенька уже летела к нему навстречу, опустила вдруг обе руки ему на плечи и бурно его притянула к себе, с жалостью чувствуя, что он маленький, чуть не меньше ее, и худой, и от его одежды пахнет той человечьей большой усталостью, когда весь день одежда работает на человеке в службе, не смененная, не встряхнутая, не снятая хоть после обеда на полчаса. Поддаваясь ее неожиданной горячности, муж прижался к ней, как ребенок.

— Душа моя, что ты сегодня такая хорошая у меня? И не спишь почему? Что это, Машенька, зажги свет?

Все три вопроса сделаны были разным тоном — первый ласковый, не вопрос даже, а промурлыкал его, откликаясь на ласку и думая, что у нее настроение такое,

Но в следующую минуту он сердцем понял в ее объятии что-то неладное, и уже третий вопрос зазвучал тревожно, по-деловому.

Он сам зажег лампу на столе в кабинете и опять подошел к жене. Но Мария Александровна уже стягивала с него мундир, уже подняла кувшин с водой — полить ему на руки, уже звенела тарелками в столовой, звала Настю с горячим ужином из кухни, и постепенно, отдаваясь отдыху, вдыхая запах подогрстого жаркого и разжевывая пышный, вкусный, с хрустящей корочкой хлеб, Илья Николаевич успокоился, а вернее — вернулся к тому скверному, пасмурному настроению, с каким всякий раз возвращался из института, со своей воспитательской должности.

— Знаешь, Маша, Розинг этот уже ничем не стесняется, ведет под Тимофеева такой подкоп, что даже ученики заговорили.

Розинг был интриган, желавший устроиться на место Тимофеева директором института. О нем все знали, что он невежда и картежник, брал на старой службе взятки, и на его происки сам попечитель округа заявил, что таким, как господин Розинг, не должно быть и не будет места ни в одном учебном заведении. До сих пор Мария Александровна глазами мужа глядела и на Розинга и на его подкоп под Тимофеева, считая, что никто не допустит заменить культурного и энергичного Тимофеева подозрительным Розингом и что происки его — прямо позор, прямо анекдот. Но сегодня и тут ей все показалось по-другому:

— Им больше ко двору Розинг, чем Тимофеев!

— Да что ты, Маша!

— Убеждена в этом. Правительство как раньше защищало свою власть, так и теперь защищает, только старается это умней делать. Я сегодня видела Захарова...

— А-а!

— Нет, не а-а,— покраснев, она передразнила мужа, но тут же подложила ему вкусный хрящик из соуса.— Я сама знаю, что это так. Ты вот жалуешься на институтских мальчиков, а тебя в гимназии в классе обожают. Что ж, мальчики, что ли, другие, какая-нибудь порода особенная? Всюду дети одни, только ты в институте для них враг и надсмотрщик, и сколько ты ни старайся, они

тебя не полюбят, Илья Николаевич. У них секреты свои, они вот по ночам, Захаров сказал, от руки, целиком, всю новинку Чернышевского — роман «Что делать?» — переписали, а скажут они это тебе? Нет, не скажут, а если бы сказали, ты что должен? Довести до директора, на то и воспитатель. Ну как же им, скажи, любить тебя, чего ты от них дождешься?

Ей было ясно теперь, что не скука дома — до того ли ему,— а, должно быть, давно уже Илья Николаевич думал и думал над смыслом этой своей «прогрессивной» должности, и пасмурнее он был в эти дни совсем по другой причине, гораздо глубже, чем даже ей казалось.

— Ильюша, милый, откажись от этой службы! Нам хватит по горло, не гонись за жалованьем. А Тимофеев— пусть себе Розинг подсидит Тимофеева, ему тоже лучше уйти из института.

Она редко называла его Ильюшей, и сейчас это вырвалось у нее не намеренно. Голос, обычно сдержанный, слова, всегда своим тоном напоминавшие барышню Бланк, его милую учительницу иностранных языков, зазвучали сейчас так просто, так *по-народному,* словно в Астрахани мать воскликнула.

Илья Николаевич встал с места и заходил по комнате, и все молча ходил и ходил, пока она, тоже молча убирала со стола. А потом вдруг, обняв жену за плечи, он потянул и ее ходить с ним, вот так, из комнаты в комнату, по всей анфиладе, и стал ей рассказывать о своих пробных уроках в землемерно-таксаторских классах:

— Маша, это прямо какая-то особенная порода людей пошла: хватают теорему с полслова и сейчас же в практику; вот я теперь на опыте замечаю, какая разница — детям преподавать и взрослым. А главное — работы, работы в деревне! Эх, надо бы нам с тобой тоже в деревню, Мэри!..

По голосу мужа, по тому, как он переменил разговор, перешиб собственные мысли, и как, идя с ней рядом, шаг в шаг, нога в ногу, не отвечая прямо, отозвался на тревогу ее, Мария Александровна почувствовала то понимание без слов, ту жизнь во внутреннем единстве, какой раньше, в первые нижегородские месяцы, как будто еще не хватало им...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ВОСПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Розинг действительно подсидел Тимофеева. Нижегородское дворянство, мимо округа, подало прошение прямо на имя царя, и царь, «в уважение к ходатайству» и «неизменно благосклонный» к дворянству нижегородскому, лично назначил Розинга директором, а чтоб попечитель округа не обиделся, пожаловал его чином тайного советника.

Илье Николаевичу было приятно развязаться с институтом, и он ушел. А Мария Александровна именно с этого вечера, как ей казалось, нашла себя,— или медовый месяц закончился, заменясь буднями? Но только однажды, когда за мужем захлопнулась дверь и в квартире сделалось пусто, она поймала себя на новом чувстве.

Раньше, бывало, весь интерес уходил ему вслед и кормился памятью, ожиданием его присутствия, и ей нравилось делать лишь то, что имело прямое касанье к нему,— готовить любимые его кушанья, вытирать пыль с его книг, раскрывая и перечитывая те места, где Илья Николаевич подчеркивал карандашом, или просто вдруг останавливаться перед висевшим на гвоздике домашним халатом мужа, соображая, где и что починить ему,— словом, и двигалась она и ходила в круге времени своего мужа. А тут вдруг, не успела захлопнуться дверь, какое-то воровское чувство своего времени охватило ее, и ей казалось, что она рада, что Илья Николаевич вышел из дому.

На самом деле это был возврат — возврат к той личной деятельности, которой не могло быть в присутствии мужа, когда круг его времени совершенно и полностью поглощал ее время. С каким-то новым, приятным волнением, в полном одиночестве, она вкусила это спокойное, свободное, свое собственное время, а свое время ведь тоже любишь не меньше, чем человека, и у каждого в жизни должно быть это свое время.

Оставаясь теперь одна, Мария Александровна думала. Голова у нее яснее работала. Сотни упущенных мелочей становились на место. Нервное напряжение, расход сил на чувствование заменялись глубоким, здоровым выдохом. И, даже если не клеилась работа, одиночество

целило и восполняло ее, и нервная убыль, как выбоина в кристалле, затягивалась и заживлялась своим же внутренним веществом.

Но и сам Илья Николаевич стал больше просиживать дома. Он еще в Пензе с 1859 года начал с особым, свежим интересом разворачивать ведомственные книжки журнала министерства народного просвещения, в который его коллеги заглядывали разве что по долгу службы — просмотреть назначения и приказы. Между тем этот журнал с конца пятидесятых годов, когда во главе его стал Константин Дмитриевич Ушинский, делался все интересней и содержательней. В нем находил Илья Николаевич множество новых сведений о той высшей, по его убеждению, науке, которую и наукой-то стали звать совсем недавно,— науке воспитания и образования человека.

Еще будучи гимназистом, он как-то получил у своего любимого учителя математики, Степанова, старый номер «Казанского вестника». Этот номер — за август месяц 1832 года,— вышедший в свет, когда Ильюше Ульянову был только один годик от роду, показался ему, кончающему гимназию, и по шрифту и по языку, очень уж выспреннему и малопонятному, чем-то совсем устарелым, если б не одна статья, ради которой Степанов и берег его благоговейно. То была речь математика Лобачевского «О важнейших предметах воспитания».

Степанов дал ему прочесть эту речь, чтобы обратить внимание любимого своего ученика на места, подчеркнутые красным карандашом, места, имевшие касание к математике. В виде напутствия Ильюше, мечтавшему перейти из стен астраханской гимназии под своды Казанского университета, должны были служить эти подчеркнутые строки: «Не столько уму, сколько дару слова одолжены мы всем нашим превосходством пред прочими животными». Но из всех языков мира самый лучший — это «искусственный, весьма сжатый язык, язык математики». Именно «математики открыли прямые средства к приобретению познаний». Мир чисел не выдумывается из головы, он лежит под покровом вещей, он отвлекается от самой природы, выводится из ее законов. «Их указал нам знаменитый Бэкон. Оставьте, говорил он, трудиться напрасно, стараясь извлечь из одного разума всю мудрость; спрашивайте природу, она хранит все истины и на вопро-

сы ваши будет отвечать вам непременно и удовлетворительно».

— Прочитал эти рассуждения? — спросил на следующий день Степанов. Ильюша не признался тогда учителю, что совсем не подчеркнутые красным строки, а другое в речи Лобачевского понравилось ему больше всего и заставило задуматься. Так понравилось, что много раз потом он вспоминал эти слова и находил в них помощь и опору.

Большой ученый, стоявший во главе самого знаменитого университета российского, посчитал великим, серьезным делом воспитание человека! Этот ученый спросил себя: «Чему должно нам учиться, чтоб постигнуть своего назначения? Какие способности должны быть раскрыты и усовершенствованы, какие должны потерпеть перемены; что надобно придать, что отсечь, как излишнее, вредное?» Спросил — и сам же себе ответил: «Мое мнение: ничего не уничтожать и все усовершенствовать. Неужели дары природы напрасны? Как осмелимся осуждать их?.. Всего обыкновеннее слышать жалобы на страсти, но, как справедливо сказал Мабли: чем страсти сильнее, тем они полезнее в обществе; направление их может быть только вредно. Что же надобно сказать о дарованиях умственных, врожденных побуждениях, свойственных человеку желаниях? Все должно остаться при нем, иначе исказим его природу и повредим его благополучию...»

И сколько еще необыкновенных мыслей заложено было в этой речи! О том, что человек может и должен жить до двухсот лет. О том, что жизнь сокращается от незнания человеком меры, от невежества — от невежества! И «наставник юношества» должен помнить все это, должен формировать совершенного человека, его вкус, его умение наслаждаться жизнью, умение знать меру и «чувствовать непрестанно новое», потому что «единообразное движение мертво» и «покой приятен после трудов».

Вся сложная наука, все тонкое искусство образовывать человека еще чем-то смутным, не вдруг понятным, но уже пленившим воображение, как внутренний жар, охватило Ильюшу Ульянова от прочтения этой речи. И каким огромным богатством показался ему человек! Вот стоит дитя на улице. Его держит за руку няня. А это дитя, как семя какой-нибудь пальмы или кедра ливанского, держащее в малом своем объеме все царственно-

прекрасное дерево, несет в себе множество даров природы — умственных, сердечных, телесных, и ни один не надо отсекать — надо только развивать и растить их и доводить до совершенства.

С тех пор прошло четырнадцать лет. Он собирался пойти на юридический. А стал математиком. Он видел страшную старость Лобачевского — где уж дожить до двухсот лет! Но наука о воспитании, мысль о важнейших предметах воспитания никогда не оставляла его, принимая все более простые, разумные, человеческие очертания. Илья Николаевич много читал в эти годы и понимал, что та же мысль — о «естественности», об уважении к природе человека, о воспитании как о помощи самой природе, а не насилии над ней — лежит во всех современных ему учениях о педагогике. Не чистая доска, на которой пиши что хочешь, не «tabula rasa», нет, ребенок — это человек, и подходить к нему надо как к человеку. Но миллионы детей, море человеческое, остаются без школы, без наставника, без грамоты, словно травинки в поле, вытаптываемые ногами... Невежество, сокращающее жизнь!

И никто из его коллег, кроме, может быть, Александра Васильевича Тимофеева, не понимал, как может он с таким страстным вниманием штудировать старые номера министерского журнала. А там были читанные и зачитанные им статьи Ушинского, там проскальзывала жизнь, практика жизни даже в сухих приказах. Там речь шла о десятках мер, принимавшихся русским обществом, чтоб догнать в просвещении другие, более передовые страны. И простая строчка о каждой новой открытой школе, о звуковом методе обучения грамоте звучала для него, как песня.

Ушинский в двух старых номерах 1857 года так замечательно написал о народности в общественном воспитании. Он рассказал о различных педагогиках в различных странах, и физик Ульянов, так страстно любивший путешествия, но так мало ездивший по белу свету, словно собственными глазами видел перед собою школы английские с их воспитанием характера, выдержки, здравого смысла; школы немецкие с обширностью их образовательных предметов, с уклоном в философствование и теорию; школы французские с их внешним многознайством, с умением болтать по методу Жакото, отбросившего обу-

ченье грамматике и «налегшего на детскую память», на обезьянничанье, на легкость подражания и заучивания с налету... Но каждый народ вкладывает в школу понятие о своей народности, черты своего общего характера, сложившегося исторически.

«А мы, русские? Как и чему обучать, какую школу создать?» — спрашивал себя Илья Николаевич над книгами, делая выписки из статей Ушинского. И прежде всего самое главное — трудиться, трудиться на этой ниве, умножать освещенные места на огромнейшей темной карте Российской империи. Как выразился Ушинский о деятельности, о труде? «Труд сам по себе... так же необходим для душевного здоровья человека, как чистый воздух для его физического здоровья...»

Лампа в его кабинете начинала коптить: керосин выгорал. Встав на цыпочки, прерывая весь нескончаемый поток дорогих ему мыслей, он дунул в стекло, потушил огонь и тотчас прикрыл стекло бумагой, чтоб заглушить чадный запах дымящегося фитиля, отравивший ночной воздух.

Ощупью шел он по анфиладе комнат в спальню жены, зная, что она еще не заснула и ждет, когда он ляжет. Наклонясь к ней и ощупью найдя лицо ее, он приложился щекой к ее щеке, в безмолвной ласке передавая ей свое сегодняшнее возбуждение мысли. Она отыскала и пожала ему тихонько руку. И установившееся между ними прочное внутреннее единство, когда и слов не нужно, сразу охватило его большим благодарным чувством душевного успокоения.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

МУЗЫКА И МЕРА

Каждое двадцатое число Илья Николаевич, посмеиваясь, приходил к жене прямо из передней; едва скинув пальто, вытягивал из грудного кармана толстый бумажник, налистывал, смочив большой палец, оттуда бумажек на десятки рублей, потом прятал бумажник и доставал из брючного кармана круглый кошелек. Из кошелька сыпал поверх этой кучи несколько золотых, большие серебряные рубли и мелкие деньги и, весело сказав: «считай,

хозяюшка», брал себе сверху один рубль «на баню» и спешил снять мундир, вымыть руки и выйти в столовую к обеду.

На эти деньги она должна была сделать очень многое, счетом за месяц, и научилась так поступать с ними: завела ровно столько конвертов, сколько разных трат, надписывала: «сестре Федосье Николаевне в Астрахань», «за квартиру», «за дрова», «керосин», «Насте жалованье», «Илье Николаевичу починка обуви», «извозчики» и прочее и прочее,— и еще один, тайный конвертик — «маленькому на туалет».

Деньги были для нее совсем новая вещь. Она никогда раньше их не имела и привыкла обращаться в жизни с продуктами, а не с деньгами. В деревне на ее руках было почти все хозяйство — куры, огород, плодовый сад. Она отлично знала, как квохчет курица, когда ходит «пустая», и как меняется квохтание, когда несется; как надо вовремя заметить наседку и посадить ее, чтоб не исчезла в саду на целый месяц, устроившись где-нибудь в густой крапиве. Умела ухаживать и за плодовым садом, опрыскивать яблони, не дать молодой яблоньке раньше времени вскормить гибельные для молодого роста плоды, а сорвет первые четыре-пять зеленых яблок и зароет тут же, у корня дерева. Все это была наука, своеобразная физиология природы, и она имела еще одну сторону: всякий раз, как эти, дорого дававшиеся и так медленно создаваемые куриные яйца, фунты клубники, молодые цыплята, сливы и яблоки обращались в деньги, то оказывалось, что деньги — неслыханно дорогая вещь, до того их мало дают за вложенный человеком в природу сложный и долгий труд. Ей была поэтому понятна скупость крестьян, продававших свои продукты, постоянно торгуясь, и ей тоже всегда казалось, что за продукты дается меньше, чем они стоят.

Когда из города привозили шерстяной отрез, Мария Александровна и его невольно прикидывала в уме — не на деньги, а на яйца, фунты яблок и ягод, битых цыплят.

А сейчас приходилось отвыкать считать на фунты и цыплят и привыкать считать на рубли и копейки, но хотя фунт мяса стоил на деньги очень дешево, все же Марии Александровне было противно и невозможно привыкнуть выливать прокисший суп, нерасчетливо наварив его столько, что и съесть некому, или мышей плодить в не-

нужных запасах. Она пыталась найти меру — покупать и готовить ровно столько, сколько нужно, и подметила, как соседние дамы, учительские жены, осуждают ее за это. Раза два Настя ей передала, что директоршина Агафья или шапошниковская Нила «говорят, будто бы ихние барыни говорят, что будто бы Мария Александровна скупенька». А в лицо ей восклицали: «Вы, Мария Александровна, удивительная хозяйка!»

Рядом с ними жили директор Садоков с женой, муж и жена Шапошниковы, историк Виноградский. В первые дни приезда, когда в гимназии начиналось ученье, а ей пришлось обживаться на новом месте, обзаводиться нужными по хозяйству вещами, она не имела времени на частые встречи с соседями. Но скоро в семье директора, Константина Ивановича, обнаружилось нечто очень притягательное для нее, сильно поспособствовавшее более близкому знакомству.

Садоковы жили не сказать роскошно, однако же с той степенью культурного барства, какая неуловимо отличала их квартиру от соседних учительских квартир. Было это не по причине высокого положения Садокова в Нижнем — кроме своего директорства, он служил некоторое время главным цензором, редактировал местную газету — «Нижегородские губернские ведомости»; и не потому, что жалованье его намного превышало обычный заработок учителя. Но жена Садокова, Наталья Александровна, была на редкость образованной женщиной, владеющей многими языками, и отличной музыкантшей. И Мария Александровна, с детства привыкшая видеть в музыке не только удовольствие в досужий час, а и одну из необходимейших потребностей своего рабочего дня, сразу почувствовала живой интерес к ней. В гостиной Садоковых стоял рояль куда лучший, чем ее собственный, кокушкинский. В углу были тесно приставлены друг к другу пюпитры для нот, и это означало, что здесь частенько музицируют не на одном только рояле. Этажерка для нот возле окна ломилась от папок. В первый же визит к ним Мария Александровна сразу заметила на стене в рамке какой-то печатный документ на немецком языке. Ей захотелось прочесть его, но тотчас неловко стало,— она и без того уже отделилась несколько от остального общества, собравшегося сюда в этот хмурый осенний денек.

Между тем ее интерес к документу заметил один из гостей. Это был стройный человек с лицом мягкого славянского типа, больше польского, нежели русского. Подойдя к ней, он улыбнулся — лицо необыкновенно, по-женски похорошело,— снял документ со стены и подал ей, поклонившись:

— Вот почитайте, каков наш город в глазах Европы!

То была вырезка из немецкой музыкальной газеты «Neue Berliner Musik-Zeitung»[1], вырезка давнишняя, от 1850 года. Она быстро пробежала ее глазами:

«В середине великого пространства русского царства, почти в равном расстоянии от г. Санкт-Петербурга и Уральского хребта, отделяющего Европу от Сибири, лежит Нижний Новгород. Уже несколько лет тому назад и между жителями этого города, которых число превышает 30 000, постепенно распространяющаяся в образованном классе наклонность к музыкальным наслаждениям нашла сочувствие, и музыка насчитывает теперь уже значительное число образованных почитателей, которые с ревностью и любовью следуют своему музыкальному призванию. Во многих домашних кругах города, как благодетельные последствия этого направления, образовались маленькие музыкальные собрания, в которых нашли бы наслаждение истинные друзья музыки».

И дальше перечислялось, что играли на этих собраниях. Перед Марией Александровной мелькнули имена Гайдна, Бетховена, Моцарта, Мендельсона-Бартольди, Шпора, Феска, Рейсигера... а за ними фамилии исполнителей. Но разобрать их она не смогла: тень упала на строчки — это Илья Николаевич подошел сзади и через плечо ее стал тоже читать документ. Он читал медленно, добросовестно шевеля вслед чтению губами, и вдруг остановился, нахмурившись. Образованный класс, среди образованного класса!.. Как будто любовь к музыке не родилась в народе, как будто не поет, не играет народ...

— Что вас тут остановило? — грудным, приятным голосом спросила, подходя к ним, директорша, а вслед за нею и другие гости, беседовавшие ранее с директором. Медленно, шагая вразвалку, подошел и сам Константин Иванович.

---

[1] «Новая берлинская музыкальная газета».

— Да вот ссылка на образованные классы...— прокартавил Илья Николаевич, быстро оборачиваясь и делая любимое свое движение плечом, выражавшее недоумение.— Немцам тем более стыдно писать это. Немцы так много исследовали народную песню... Разве одни только высшие классы любят музыку?

— Ах, господин Ульянов, речь не о народе, не о деревенском мужике. Посмотрели бы вы, какое общество застал тут папаша!

— Александру Дмитриевичу пришлось изрядно потрудиться над здешними жителями, чтобы превратить их в меломанов! — вставил Садоков и свое слово.

А молодой человек с милым славянским лицом, кого здесь называли Александром Серафимовичем, стал подробно рассказывать об отце директорши, Александре Дмитриевиче Улыбышеве.

Впрочем, про Улыбышева Ульяновы и сами уже знали. Как-то, проходя с учителем рисования Дмитриевым по Малой Покровке, они увидели большой каменный особняк. Пять лет назад умер его хозяин, и весь Нижний шел за гробом, сказал их спутник. И как много интересного услышали они об этом большом барине, засыпавшем, словно в тридцатые годы, только под сказки своей дворовой нянюшки; об его прелестном помещичьем доме в Лукине, где учитель рисования бывал не один раз; о страстной его любви к музыке, к театру, о квартетах, составлявшихся у него на дому, об его почти что религиозном культе великого Моцарта!

— Я не знала, что вы урожденная Улыбышева,— сказала Мария Александровна, внимательней вглядываясь в пухлое, круглое лицо директорши с умными, немного властными серыми глазами.— Ваш батюшка имеет печатные труды по музыке?

— Вот они,— отозвалась директорша и тотчас невольно перешла на французский язык, может быть потому, что книги отца были написаны по-французски: — Ils sont bien disputés dans le monde musical [1].

— Et bien connus [2],— тотчас же вставил Садоков.

Мария Александровна взяла из рук директорши три маленьких томика с длинным заглавием: «Nouvelle Biog-

---

[1] Они сильно дискутируются в музыкальном мире.

[2] И очень известны.

rahie de Mozart, suivie d'un aperçu sur l'histoire générale de la musique et de l'analyse des principales oeuvres de Mozart par Alexandre Oulibicheff, membre honoraire de la société philharmonique de St.-Petersbourg»[1]. Они были изданы в Москве ровно двадцать лет назад.

— Дискутируют, собственно, главным образом не «Моцарта», а вторую, вот эту книгу папаши,— добави ла уже по-русски Наталья Александровна, протяг новый, отлично изданный том.— Она вышла толь год до его смерти за границей.

Вторая книга выглядела солидней, и заглавие ее было чуть короче: «Beethoven, ses critiques et ses glossateurs»[2].

— В нашей семье очень любят Бетховена,— краснея, сказала Мария Александровна. Ей захотелось прочитать обе книги, попробовать этот чудесный концертный рояль Садоковых. А среди гостей пошли бесконечные воспоминания об Улыбышеве.

Александр Дмитриевич был действительно колоритнейшей фигурой в колоритном Нижнем Новгороде, и зять его нисколько не преувеличил, сказав, как много пришлось ему потрудиться, чтоб сделать из своих сограждан меломанов.

— Не в народе, а именно в нашем так называемом высшем обществе был дикий взгляд на музыку, и с ним пришлось бороться Александру Дмитриевичу,— горячо заговорил Александр Серафимович.

Шепотом справившись у соседа, Илья Николаевич узнал, что фамилия молодого оратора Гацисский. А тот продолжал:

— Чем занято было общество? Единственные разговоры: кто сколько нанес кому визитов или кто сколько полек отхватил без передышки. В театре судили не пьесу, не игру актера, а пышные формы госпожи такой-то на сцене... Это сейчас мы говорим о судебной реформе, о волостных судах, о судах присяжных, а в те дни прислушались бы вы к нашему образованному классу! Вкусы в му-

---

[1] «Новая биография Моцарта с приложением обзора всеобщей истории музыки и анализом основных произведений Моцарта, написанная Александром Улыбышевым, почетным членом филармонического общества С.-Петербурга».

[2] «Бетховен, его критики и комментаторы».

зыке дальше модной кадрили «Десять невест и ни одного жениха» да пародии на гусарский романс «Крамбамбули» не заходили. А господин Улыбышев страстно горел музыкой, сам прекрасно играл на скрипке, приглашал из Москвы знаменитых исполнителей. Дом его был открыт для любого причастного искусству — от графинь до уличного бродяги-певца. К нему ездили и многие литера-
чел своим долгом зайти за месяц до его смерти
ссыльный поэт, известный Тарас Шевченко, проездом из Оренбургской ссылки. Правда, уже был тогда прикован к постели Александр Дмитриевич, и свидание не состоялось... Но вы бы послушали, как хорошо говорил Александр Дмитриевич о музыкальном образовании народа... Да, да, господин Ульянов,— повернулся он к Илье Николаевичу,— вы совершенно тут правы, народ — исток музыки, но речь идет не о стихийности, не о песне устной — о той самой музыкальной грамоте, которая, как и словесная грамота, нуждается в школе, школе и школе.

Увидя внимательные лица вокруг, Александр Серафимович чуть кашлянул, чтобы согнать хрипотцу, и продолжал с увлечением:

— Когда я в первый раз облачился в студенческий мундир — а вы знаете наш мундир с этакими чуть не гвардейскими обшлагами и стоячим воротничком с золотом, под самые щеки,— пошел представиться в новом своем виде Александру Дмитриевичу. Он меня мальчиком знал, когда я на флейте играл. Так вот, посмотрел на меня. «Из этакой маленькой флейты,— говорит,— и вдруг такой большой фагот!» Меня после этого в Нижнем так и называли большим фаготом. И тут мы с ним хорошо поговорили. Он мне в подробностях рассказал, как проезжал чешскую землю и буквально из каждого деревенского окошка то флейту слышал, то скрипку, то фагот, а на какой-то станции четыре крестьянина угостили его таким гайдновским квартетом, что дай бог в Петербурге услышать. Это не народная песня. Это музыкальная культура народа. «Я гордился, что славянин,— говорил мне господин Улыбышев,— но я хотел бы учить наш великий, наш музыкальный народ, чтоб он с листа читал музыку, держал дома инструмент, находил, как чехи, в музыке выражение души своей»...

Гацисский весь раскраснелся, и его необыкновенно привлекательное овальное лицо с глубокими, большими

глазами, его чуть вспотевшие на висках волнистые, длинные волосы показались Илье Николаевичу вдруг удивительно знакомыми.

— Погодите, погодите! — неожиданно воскликнул он, вглядываясь в него попристальней.— Да ведь, Александр Серафимович, я вас знаю. Вместе учились. Вы на юридическом... Вы в Казанском университете кончали?

Но Гацисский, хоть и учился одновременно с физиком, никак не мог припомнить его. Зато они сразу вместе, перебивая друг друга, разворошили множество общих воспоминаний.

С того дня Ульяновы ближе познакомились с соседями. Почти в каждой квартире нашлись музыканты. Наталья Александровна пела, учитель Шапошников играл на скрипке, а Виноградский мог играть решительно на всех инструментах, требуя себе на подготовку не больше как полчаса. Умел он и сам их изобретать из щипцов, гребешков, ликерных графинчиков и дразнил Марию Александровну, составляя шутовские ансамбли.

Так не хитро и не скучно повелось у них проводить вечера — с музыкой для одних, с картами для других,— то в одной, то в другой квартире. Заведено было и чтение вслух — читали романы из «Русского вестника» и зажигательную полемику между «Современником» и «Русским словом» со статьями Писарева и Зайцева. Общим любимцем был знаменитый Дудышкин из «Отечественных записок».

Илья Николаевич завел себе токарный станок и в короткие промежутки между занятиями выточил фигурки к любимой игре своей — шахматам. Часто под тихую женину музыку поигрывал он теперь в эти собственного изделия фигурки с забредшим на огонек сослуживцем.

Ему очень хотелось еще разок повидать их случайного знакомого, Александра Серафимовича Гацисского. Как и писатель Короленко несколько лет спустя, как и другой нижегородец, Максим Горький, увлекшийся Гацисским уже после его смерти, Илья Николаевич почувствовал сердечную тягу к Гацисскому. Но Александра Серафимовича в те дни поймать было почти невозможно. Садоков взвалил ему на плечи редактирование «Нижегородских губернских ведомостей». Один-одинешенек —

впрочем, вдвоем с единственным наборщиком,— ухитрялся он сам и составлять, и набирать, и печатать газету, необычайно оживляя ее «Неофициальный отдел». Поднимал в нем новые вопросы, отовсюду выискивал свежую информацию, даже почин положил неслыханному в газетах новшеству: привлек десятки доброхотцев-корреспондентов из Балахны, из окрестных деревень. Когда нижегородская гимназия вместе с дворянским институтом устроила заседание педагогического совета, чтоб сообща обсудить устав общеобразовательных учебных заведений, Гацисский показался на совете, сидел, слушал и заносил в книжечку. Поговаривали, что он пишет большую и смелую статью. Илья Николаевич очень ждал эту статью, но она не появилась. Ее запретила цензура.

Летом 1864 года Мария Александровна почувствовала себя неважно и прилегла — она ждала в августе ребенка.

Ей было двадцать девять лет. Для первых родов это считалось серьезным возрастом, особенно в те годы, когда девушек выдавали замуж в пятнадцать лет. Илья Николаевич не на шутку взволновался и как-то, присев к ней на кровать, предложил выписать свою мать из Астрахани. Он не часто говорил о семье, жена только угадывала в нем горячую скрытую любовь к этой семье. Но у нее вырвалось:

— Нет, уж если выписывать, лучше папу выписать, он врач.

Илья Николаевич вздохнул и уступил, но сердце в нем сжалось, вспомнилась сухонькая старушка мать, за неграмотностью продиктовавшая брату Василию свое благословение на брак, и ее ласковые шершавые ладони, какими она взяла его за голову, чтобы прижать к себе, когда он знатным гостем, кончив университет, заехал домой.

— Ну что ж, ты права, напишем в Кокушкино.

Но Марии Александровне уже стало стыдно. Она отвернулась лицом в подушку, держа мужа за руку. Слегка пожала его ладонь:

— Никого не надо выписывать, обойдусь и сама.

Скоро у них родилась дочка. Обе бабушки, с материнской и отцовской стороны, были Анны, и своего первенца Ульяновы назвали Анной.

Теперь в детской стояла люлька. Илья Николаевич прибегал в комнату на цыпочках, и все в этой комнате, ставшей немного таинственной для него, приобрело какой-то особенный звук и запах. Звуков он различал два: легонький сип, как тогда на пароходе, словно ногой наступили на мячик или мехи захлопывают и выходит воздух наружу,— это существо в люльке располагалось к плачу; и легонький чмок, когда в полутьме комнаты жена сидела в кресле, приподняв одну ногу на скамеечку, расстегнутая, с белой набухшей грудью поверх лифчика,— и дочка вбирала эту грудь в кулачки своими тоненькими, едва ощутимыми пальцами. Ножки ее, прикрытые простыней, тоже сгибались в ступнях и опять растопыривались в такт чмоканью и сосанью.

— Мне, Илья Николаевич, не нравится ее нервность. В кого она такая нервнушка?

— Да в чем ты видишь ее нервность?

Он глядел и видел ребенка, каких тысячи и миллионы. А мать уже разбиралась, в ней рос свой опыт, отдельный от его, отцовского.

Она видела в Ане черточки, унаследованные, как ей казалось, от неслаженности и шероховатости их первого года в Нижнем. Стоило во время кормления хоть шепотом заговорить с кухаркой или с мужем, девочка резко откидывала головку и затягивалась плачем. Приходилось брать ее на руки, долго носить и носить, а потом ловко подсунуть сосок к губам, чтоб, забыв обиду, она снова начала чмокать. И мать стала по-своему с первых дней искоренять эту нервность. Сколько раз ей хотелось исцеловать свою девочку, когда та, лежа перед ней распеленатая, еще не держа головки и не сводя глаз в фокус, закатывала большие молочные белки под самое веко и пузырила слюнки на губешках в неизъяснимом удовольствии житья-бытья на белом свете. Но Мария Александровна, к удивлению соседок, вела себя с ней, как с десятым ребенком: и материнскую страстность сдерживала, и от плача головы не теряла. Оставив капризницу кричать, сколько ей вздумается, она методично готовила все, что нужно для пеленания.

Так в хлопотах прошла вторая зима в Нижнем, прошло лето, и опять началось учение в классах под снежные ветры и вьюги с Заволжья, под трескучий мороз и сухой воздух, снежинкой налетающий в фортку.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ВЫСТРЕЛ КАРАКОЗОВА

В первый же праздник рождества в семье Ульяновых зажгли елку. Илья Николаевич никогда в детстве не был на елке, да у них в Астрахани и достать-то ее было неоткуда. Но Мария Александровна задолго до праздника съездила в магазин и привезла домой вату, клей, цветную папиросную бумагу, золотую и серебряную бумагу, позолоту в баночке, проволоку, картон. С большого стола в детской убрали скатерть, зашуршала бумага под маленькими железными ножницами, запахло клеем, посыпались на пол красивые пестрые обрезки.

Мария Александровна золотила грецкие орехи и кончиком ножниц втыкала туда, где оторвался орех от стебля, петельку из канители, клеила длинные цепочки из тонко нарезанной золотой и серебряной бумаги, делала из картона баульчики и корзиночки, обклеивала их цветной бумагой и украшала переводной картинкой. Проволоку она обертывала в зеленые обрезки, на конце укрепляла разноцветные лепестки, и в одну минуту из-под пальцев ее выходили мак, незабудка, маргаритка, но венцом этой кропотливой волшебной работы был белый ватный дед-мороз в остроконечной позолоченной шапке, с палкой в руке и мешком за плечами.

Пальцы у Марии Александровны становились сухими от клея и ножниц, она покашливала,— в воздухе летали ворсинки ваты, даже прическа растрепывалась, даже передвигались часы обеда и ужина,— и однажды утром над спящей в люльке Аней, в самом углу комнаты, поставили тяжелое лапчатое дерево. Елка была свежая, густая и крепкая, она стояла прочно на деревянной крестовине. От нее шел чудесный дух праздничного кануна, дух вечного детства. Когда зажгли свет, на стене колыхнулась от нее тень, и вся комната стала прозрачной.

Украсив елку, Мария Александровна ушла в столовую, села за открытый рояль. И долго, за полночь, играла свои любимые песни, подпевая себе. В этот день она не захотела пойти к соседям, хотя их звали и были готовы зеленые ломберные столы для игры.

Жизнь страны доходила до них глухо, как море. Казалось, что история катилась по ровной дороге и что все

было прочно. Весной, когда Аню стали сажать на высокий деревянный стул и прикармливать толокном из тарелочки, Нижний Новгород вместе с другими русскими губернскими городами готовился к торжественному юбилею. Исполнялось сто лет со дня смерти великого самоучки Михайлы Ломоносова. Журналы напечатали предложение отметить день этот учреждением ломоносовской поощрительной премии. Учителя словесности готовили речи на актах, печатались приглашения посетить гимназию и прослушать художественные номера музыкально-литературного утренника. Но перед самым юбилеем торжество было сорвано.

К Шапошникову приехал сын его и наследник, студент Гавря, будущий Гавриил Гавриилович второй, прикатил неудачно домой, и не один, а с таким позором всему их дому и положению в городе, с таким срамом для отца, статского советника, что не до Ломоносова, не до юбилейного скандала было учителю словесности: Гавря приехал, исключенный из университета, под негласный надзор полиции.

В первые дни квартира Шапошниковых была наглухо заперта для посторонних. Даже кухарка Шапошниковых отмалчивалась и сторонилась чужих кухарок. Не слышалось в коридоре и криков, хотя законоучитель, отец Варсонофий, высказался в том духе, что сгоряча не худо бы отцу и посечь сына. Потом двери открылись, но квартира была уже пуста — Гаврю отправили в деревню к тетке. И тут у Гавриила Гаврииловича развязался язык, и оказалось, что он получил от сына в спорах и разговорах множество драгоценных сведений на самые животрепещущие темы. И, между прочим, насчет юбилея.

Юбилейный скандал учинил, оказывается, Писарев в журнале «Русское слово». После ареста Чернышевского и шестимесячного закрытия петербургский «Современник» едва дышал. Книги его еще раз сверкнули читателю романом «Что делать?», написанным в крепости и как-то счастливо и неожиданно проскользнувшим в печать по недосмотру цензуры, но это было последней его вспышкой. «Современник» правел и плыл в тихую заводь статей Антоновича. На смену ему в Петербурге гремели тощие книжечки «Русского слова», где Писарев жестоко кусал Антоновича, задевал даже Чернышевского, чье имя нельзя было произносить в печати. А перед самым юбилеем

Писарев напечатал о Ломоносове статью, где превознес черты народные и самобытные богатырской его личности, для контраста сопоставив их с Пушкиным, над которым и учинил он знаменитую свою расправу.

Чем и почему был велик Ломоносов? Тем и потому, что он был выходцем из бедного крестьянского рода,— так ответил сам себе Писарев,— пришел в Москву по столбовой дороге, полуграмотный и в лаптях, брал науку с боя, теснил к стенке дворянских недорослей, привык к независимости, никак и ни разу не поклонился ни в чьей передней. Пушкин же, мол, был представителем изъеденного низкопоклонством, оторванного от народа, утерявшего самобытность, ничтожного и пустого дворянского класса, и недостатки его характера, легкость и поверхностность—все это были роковые черты среды его,— вот что вычитывалось из статьи Писарева. Это была классовая критика — и в то же время критика класса. «Отечественные записки» ответили благородно-негодующе. Молодежь зачитывалась Писаревым и глумилась над Онегиным и Татьяной. Ломоносовский юбилей провалился. И еще потому провалился, что...

— Вы представляете моего Гаврю, мо-его Гаврю! — Шапошников развел руками.— Отец — словесник, двадцать лет учит Пушкина понимать, а родной сын — писаревец. И знаете,— тут Шапошников понизил голос и шепотом, оглянувшись по сторонам, пробормотал: — Четвертое апреля... Вот в чем секрет. Вот почему наверху не было сочувствия юбилею. Четвертое апреля, понимаете?

Юбилей Ломоносова не был поддержан царским правительством, на него не было отпущено ни копейки, и в этот день царь и двор, министры и министерства, быть может, и проснулись бы и заснули, даже не вспомнив о Ломоносове: «русской власти» ни малейшего не было дела до русских народных гениев и их юбилеев, не подоспей донесение III отделения об осторожности в отношении даты.

Четвертое апреля сделалось пугалом. Дописывая в крепости последние страницы «Что делать?», Чернышевский, в томлении по жене, позволил себе, как он часто делал потом, помечтать о своей «голубочке», и тоска его вылилась в образе «дамы в черном», вдовы живого мужа, чье имя нельзя произнести вслух.

Но черная дама спустя два года оделась в розовое, человек средних лет едет с нею в коляске. Злонамеренный автор подразумевает, конечно, себя и свою свободу, он дает срок, он предрекает революцию, раскрывающую перед ним стены крепости... И под страницей, заканчивающей роман, поставив точку, пишет дату — четвертое апреля.

«Сие может оказаться дурным пророчеством и призывом к революции на четвертое апреля»,— говорили в III отделении. И ломоносовский юбилей был негласно приглушен.

Через полтора года после рождения первой дочери, в четверг на каникулах, тридцать первого марта 1866 года, у Ульяновых родился сын. Аня ходила вокруг него, обеспокоенная вторжением чужого, потом, не вытерпев, подошла к люльке — люлька была ее собственная и мама была ее собственная,— ухватившись за край люльки, она стала изо всех сил трясти ее, чтоб вывалить непрошеного гостя.

— Ай, стыд какой, барышня! Ай, нехорошо!

Мария Александровна подняла с подушки томные глаза на дочку. Вот уже у нее их двое, и новый так тих — это мальчик; в семье у них было пять девочек и только один братец, но так намного старше ее... Она закрыла опять глаза.

— Уведите ее погулять, Настя.

В последнее от пасхальных каникул воскресенье Илья Николаевич провел весь день с нею и детьми. С утра выставили рамы, раскрыли окна, и в них потек легкий дух весны, смешанный, как вода с вином, еще пополам с осенью — с запахом прошлогоднего прелого лета и подсохшей земли. Его беспокоило состояние жены, непонятное, не похожее на прежнюю деятельную ее натуру, нежелание подняться, побороть слабость. Подсев к ней, он рассказывал городские новости и, увлекшись, опять говорил о своих таксаторах, с которыми скоро должен был начать занятия. Прибудет и заработка, сейчас это не пустяк...

Но как ни старался Илья Николаевич, он не мог растормошить ее,— в страшной тоске после вторых родов, равнодушная к таксаторам и к лишней сотне, бледная от потери крови, жена лежала весь день, лежала и следующий.

В понедельник, четвертого, он опять сел за стол один, а после обеда прилег по привычке на полчаса уснуть у себя на диване.

Все в доме спокойно, шторы спущены, захожий итальянец крутит на дворе тягучую баркаролу, и звуки шарманки коротко, сипло выскакивают, как молоточками молотят, а им вторят первый весенний грохот колес по булыжнику, дальний гудок чугунки — только-только открылась московско-нижегородская железная дорога,— и вдруг громкий и частый стук — не на улице, не на дворе. Стучат из коридора в кабинет мужа. То могла быть почта, мог быть курьер, но, непонятно пугаясь, она встала с постели, схватила запеленатого из люльки и, качаясь от слабости, чтобы не потерять равновесия, быстро побежала через все комнаты в кабинет.

Муж сидел в спущенной рубахе на диване, а в дверях стоял бледный до дурноты Шапошников и дошептывал:

— Четвертое апреля помните?

— Тише! Не пугайте жену!

Но она уже слышала:

— Что такое? В царя стреляли? Кто? Когда?

— Сегодня по телеграфу передавали... Царь жив, сейчас начались молебны в церквах...

Мария Александровна неровной походкой, клоня руки с ношей от слабости, пошла из кабинета. Настя выхватила у нее ребенка.

Известие было дико, думали, что это ошибка, что стрелял сумасшедший. Весь Нижний, знакомые и незнакомые толковали о происшедшем на папертях, в оградах церквей, среди улиц и тротуаров. Извозчики и ломовые останавливали лошадей в толпе и тоже вступали в разговор. «И-их, и разорвать бы его на клочки,— говорили про убийцу.— Это он за волю в царя стрелял, не иначе как помещик».

По мелочам, из писем, газет, шепотов и разговоров по секрету, со дня на день составлялся связный рассказ о том, что произошло в Петербурге.

Царь любил прогуливаться в Летнем саду. Об этих прогулках знал весь Петербург. Провинциалы, приезжая в столицу, шли на царя, как в театр,— у выхода из Летнего всегда была толпа. И четвертого апреля он, как обычно, медленно ходил по дорожкам, мелькая между

деревьями военной шинелью с аксельбантами, а потом вышел из сада и уже был в двух шагах от экипажа. Народ подался вперед,— царь шел своей гибкой, танцующей походкой, и за отворотом шинели был виден его уланский мундир в обтяжку и любимый царем прусский орден на груди. Вдруг высокий сутулый человек выступил из толпы, выхватил из-под длинной своей крылатки пистолет и выстрелил. Но пуля пролетела мимо: костромской мужик Осип Комиссаров спас царя. Он почти непроизвольно, как в драке, ударил убийцу кулаком по руке, и тот промахнулся.

Стрелявший кинулся бежать. Его окружили, схватили, подмяли. Царь нутряным, не своим голосом приказал подвести к нему убийцу. Десятки доброхотцев, тяжело дыша, в полубезумном, охотничьем угаре подвели к нему пойманного человека. Бред горел горячечным румянцем на лицах людей, бред горел и в моржовых, выпуклых глазах царя.

— Ты не русский?

— Чистый русский.

— Почему стрелял?

— Потому что ты обманул народ! Обещал землю и не дал земли.

Царь махнул рукой — на сутулого опять навалились и яростно, в собачьем торжестве и ненависти, когда хотят и не смеют разорвать дичь в зубах, втолкнули его в карету.

Арестованного допрашивали день и ночь — он молчал. В III отделение сыпались письма советчиков: предлагали особые виды пыток, допроса, казни. Отставной коллежский регистратор Михаил Маринин писал: «Опыт допрашивания посредством сонных бредов преступников, предложенный мной вашему превосходительству, я полагаю, очень важен к злодею царя. Это не есть пытка, но нужно знать, чем вывести бред, в какое время, с чего начать опрос и предложение, что впоследствии удивит бессознательного, и он должен будет подтвердить прочитанное, а к этому нужна небольшая магнетизация, почему предлагаю мои услуги для исполнения». На этом письме III отделение пометило: «Принять к сведению».

Чтоб не дать ему спать, два жандарма сидели день и ночь рядом с ним и будили его. Он стал болтать ногой

в дреме, приучая себя к механическому движению во сне. Жандармы заметили хитрость и стали толкать его каждые пять минут.

Царь ежечасно запрашивал у комиссии, как идет следствие. Но ответить царю было нечего: арестованный упорно ни в чем не признавался.

Через три дня был назначен в следственную комиссию сам усмиритель поляков, граф Муравьев, любивший говорить о себе: «Я, господа, не из тех Муравьевых, которых вешают, я из тех, кто сам вешает...»

А в обеих столицах тем временем праздновали спасенье царя. Комиссарова, возведенного в дворянское звание, и жену его, сочинившую себе титул «супруги спасителя», возили по бесконечным банкетам, поили шампанским, восхищались манерами, выговором, словечками Комиссарова, находили в нем, словом, «истинно русскую душу» на французский манер.

В немецком юмористическом журнале «Кладдерадач» предки Патов и Паташонов, два болтливых соседа — Шульц и Миллер — высунулись из своих окошек и разговаривали:

— Вы слышали, что в царя стреляли?

— Слышал, слышал. А не знаете кто?

— Дворянин.

— А кто спас царя?

— Мужик.

— А что дали ему за это?

— Возвели в дворянство!

Писатель Лесков-Стебницкий в «Отечественных записках» подал царю «челобитную». Он был прозаик, но «челом бил царю» былинными верноподданными стихами, словно базарная кумушка вдруг нараспев запричитала:

> Мы, надежда-царь, не вступаемся
> В дело страшное, на Руси святой
> Небывалое! От *«него»* вся Русь
> Отрекается.

«Он», напечатанный жутким в стихах курсивом, был все еще неизвестен.

Через неделю Илья Николаевич вошел после уро-

ков в свой кабинет с серым лицом и негромко сказал жене:

— Маша, узнали фамилию убийцы.

Она подняла голову от шитья.

— Каракозов... пензенский... наш.

Он походил, походил по комнате, взглянул на нее тяжелыми глазами, словно ночь целую не спал:

— И Странден тоже арестован!..

Илья Николаевич не сказал жене, что из пензенцев арестованы не только Странден, а в их числе и те, кому он сам, своей рукой дал рекомендательные письма, чтобы облегчить им доступ в университет.

— Ну, давай есть.

Он ел медленно, тяжело, не доел обеда, вышел на улицу. Ему хотелось говорить и слушать, понять что-то. Чего хотят эти люди? Он вспомнил Каракозова — высокий, болезненный, с перхотью на плечах, чуть заика, с бесхарактерными бровями и точно удивленным, скошенным ртом,— подбил его кто-нибудь на такое дело? И, боже мой, что ждет его!

Вот бы Захарова встретить! Но нет, уж лучше не надо Захарова.

А Захаров сидел в низкой, душной харчевне, куда с улицы шли вниз пять ступеней, пил чай рядом с извозчиком. Он знал, что его притянут, и ждал ареста. «Авантюрист, истерик»,— раздраженно думал Захаров о Каракозове, и тут же едкая боль за ученика пронзала ему сердце.

Сменив чай на стопку, а стопку на косушку, закусывая черным хлебом, круто посоленным, он ломал в воображении какие-то высокие дворцы, ломал на куски лицо поколения, и это любимое лицо осыпалось, переставлялось, как печатают на афишах разноцветные половинки цирковых клоунов, не сходящиеся в аккурат. Снова выплывая из сумрака его помраченной памяти, представлялись ему то маленький желтолицый Ишутин с его манерой вечно на что-то таинственно намекать, то этот долговязый его Лепорелло, несчастный Митя Каракозов,— и острая, горячая волна ненависти, истекающей любовью, как бывает, когда твой самый близкий, твой кровный натворит что-то в непоправимый вред себе, охватывала его физической, невыносимой дрожью. И бешенство от страшного бесплодия этого выстрела!.. Так ли бороться надо, бо-

роться, чтобы вывести к свету общество? Новый тип человека, вертающий колесо истории, выброшен был, казалось Захарову, слизистым комком, недоноском, не тем, не того отца, не той матери. Где они — сильные, ясные, добрые, умные,— «их еще мало, но будет все больше»,— где воздух и тон романа, писанного в Алексеевском равелине, верный и точный звук, поданный камертоном Николая Гавриловича? Куда идем мы? Что будет с Россией? Он встал, сутулясь, обеими руками натягивая картуз на глаза,— он никогда раньше не пил.

Поднявшись по скользким ступеням в мучные ряды, перепачканный белым, он шел тихонько вдоль стен, словно терся о них своим старым мундиром,— мера его понимания жизни исполнилась: учитель Захаров сходил со сцены...

Уже Каракозова сняли с виселицы и в простом гробу, обвязанном веревкой, увезли с места казни, мимо глазеющего народа. Уже Ишутина отправили в вечную каторгу — сходить с ума и бегать в арестантском халате от стены к стене, бормоча несвязные речи. В двадцатилетнюю каторгу — полного сил и жизни умницу Страндена — за то, что готовил побег Чернышевскому из Сибири. Обыски, аресты, взятие под полицейский надзор посыпались на самых, казалось, благонадежных. И делать газету в провинции становилось все трудней и трудней.

Гацисский, правда, еще не сдавался. Но доносы, один за другим, поступали на него губернатору от местных тузов. «Преувеличенно и тенденциозно пишете»,— ставил губернатор на вид Гацисскому, повторяя выражения жалобщиков. Издание местного «Нижегородского сборника» — мечта Гацисского — провалилась. По Нижнему ходило крылатое словцо Валуева: «России не нужна областная печать».

А Герцен в «Колоколе» писал: «Выстрел 4 апреля растет не по дням, а по часам в какую-то *общую беду* и грозит вырасти в страшнейшие... бедствия. Полицейское бешенство достигло чудовищных размеров... Темные силы еще выше подняли голову, и испуганный кормчий (так поэтически назвал Герцен Александра Второго) ведет на всех парусах чинить Россию в такую черную гавань, что при одной мысли о ней цепенеет кровь и кружится голова».

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

ИГРА В ПУТЕШЕСТВИЕ

Ульяновы назвали своего мальчика Александром, по деду с материнской стороны.

У них уже третий ребенок — дочь Ольга,— не жилица на белом свете, как шепотом, глядя на ее тихие, грустные глаза, судачат кумушки в коридоре.

Опять пошла жизнь, но что-то произошло в этой жизни, как тогда в Пензе,— Илью Николаевича потянуло вон из Нижнего, вон из привычной, знакомой среды, подальше от ставшей ему постылой квартиры и соседей по коридору, знакомых шумливых улиц с хрустом железных колес по булыжникам, с пылью и вонью пристаней,— уйти, уйти, но куда уйти? Он хотел прежней широкой замашки на жизнь и работу, ночных часов бдения над книгами и тетрадями, яркого звездного неба над головой,— а ему пошел тридцать шестой, он уже начал, наскучив бритьем, отпускать себе бороду, и возбужденные, яркие, талантливые минуты, когда кровь приливает к мозгу, стали сменяться тяжестью и усталостью.

Преподавание Ульянова тоже стало меняться. Раньше, бывало, он юношей вбежит в класс, возьмет классный журнал, подсядет сбоку на первую парту и делает вид, что ищет, кого бы вызвать, а вызовет все равно по алфавиту:

— Авейкиев!

Рыжий Аверкиев не спеша встает, не спеша чешет раннюю бородку и задушевным басом, словно это между ними заранее условлено, сообщает:

— Я, Илья Николаевич, сегодня не читал.

— Ай-яй, Авейкиев, как же это? Опять не пъиготовили уока? Вот я вам точку поставлю, а в съедующий г'аз спъошу вас.

И маленькая, деликатная точка ставится в журнале, чтоб от нее женственным почерком физика мелко и опрятно отросли в дальнейшем два полукружия тройки или даже сама четверка. Но кончился опрос, физик кладет журнал на кафедру и медленно, заложив руки за спину, опустив голову, начнет прохаживаться по классу. На партах движение. Близорукие Городецкий и Доброзраков шумно выходят из задних парт и, тесня первый ряд, усажи-

ваются поближе к Илье Николаевичу, глуховатый Трифонов оттопыривает ухо горстью, кое-кто раскрыл тетрадь, карандаш наготове, и уже Илья Николаевич подходит к доске, и уже под скрипящим и вдруг осыпающимся крошками на мундир мелком возникают ажурные миры на доске, и глаза следят за их кружевным хороводом, завороженные.

Но сейчас и на уроке не тот Илья Николаевич. Он думает о таксаторах. Вспоминает бородатые лица, окающие волжские простонародные голоса, большие руки на партах, вопросы о самом жизненном,— запах земли, древний запах земли вдруг мерещится ему в пыльном классе, и опять странное, необузданное желание уехать, уехать, сняться с места мучает Илью Николаевича. Он уже не вызывает и по алфавиту. Утомленно ищет среди ленивых лиц повыразительнее, посмышленее.

А дома жена с тяжелыми красными веками над заплаканными глазами. Третий ребенок, девочка Ольга, и в самом деле умер, и матери кажется, что Оленька была краше и лучше всех, что не будет конца тоске по ней, разве вот только еще родить девочку и назвать, как покойную. А Саша и Аня забыли сестричку.

Пока стареют и устают родители, для них этот родительский мир словно первая весна на земле. Ане четыре года. Саше два с половиной. Они гуляют за руку по откосу, играют вместе на коврике, и Ане кажется, что весь мир для них особенный, мама особенная, и никогда никто никуда не уйдет из этого мира. Аня худа и смугла, обещает хорошенькую. Ее портят большие уши. Но Саша и сейчас красив. Тихий мальчик, задумчивый, очень спокойный,— хворает редко, плачет редко, не жадничает на игрушки. Мать обшивает детей сама — для Саши русские рубашки и шаровары в сапожки, для Ани узкие платьица, расшитые тесьмой, криво чуть-чуть, но по моде, и длинные кружевные панталончики из-под платья.

Няни нет — все делает мама. И гулять на откос водит мама. Она опять стройна, как в девушках, а ей уже за тридцать. Прохожие заглядываются на нее.

Соседки уже привыкли к ее манере хозяйничать и воспитывать детей, но за глаза нет-нет да и посудачат. По-европейски культурная Наталья Александровна, рыхлая и добродушная Шапошникова, веселая Виноградская, затевающая суматоху с детьми,— они были во всем разные,

у каждой было что вспомнить из собственного детства. Одна выросла в дворянском поместье, где все велось на широкую ногу; другая — в купеческом доме, с киотами по углам комнат, мерцавшими днем и ночью желтым огнем лампад; третья — в полковых переездах, в постоянно сменяемых, на скорую руку обставленных офицерских квартирах. Но при всей разнице в воспитании они сходились на том, что Мария Александровна «мудрит с детьми». В чем мудрит — было не совсем ясно.

Если разобраться, дел и забот у взрослых всегда по горло, и дети — так думалось Наталье Александровне — естественный сопровождающий элемент в семье. «Как это можно — без детей»,— говорила и Шапошникова, а Виноградская иной раз, вспоминая собственную жизнь, вздохнет, и вырвется у нее: «Что вы там ни говорите, а дети — такая обуза! Дети пойдут — и скажи прости личной жизни».

На дочерей в семье Улыбышевых ничего не жалелось. Сколько бонн и гувернанток встает в памяти Натальи Александровны! Бонны выписывались из Германии; гувернантки — англичанка, швейцарка, француженка — переходили с рекомендациями из других знатных семей. И с первого дня, как приезжал новый человек в дом, Наташа Улыбышева подсматривала из-за дверей, а эти новые люди — худая англичанка с длинной шеей и влажными, словно слезились они, глазами; круглая, кудреватая швейцарка, стучавшая по паркету каблучками; или очень бледная, кареглазая, с нездоровым лицом и в рюмку стянутой талией француженка,— обязательно, прежде чем с девочками, знакомились со взрослыми и позднее тоже как будто интересовались больше взрослыми, чем своими питомицами. Наталья Александровна помнит, как они проходили в кабинет к отцу, и скоро неслись оттуда непринужденные речи на иностранных языках о том, о сем, больше о принципах воспитания вообще. И обязательно выслушивал новый человек родовую историю странной фамилии Улыбышевых, как защитил грудью один храбрый русский воин князя Димитрия Донского и тот отдал за него в благодарность свою единственную дочь Улыбу; «мы народ улыбающийся, nous sourions à nos malheurs»,— шутил отец. Гувернантки улыбались в ответ. В общем это было превосходное воспитание и образование при всей безалаберщине и суете в доме. Но когда





устраивались балы или музыкальные вечера в их деревянном лукинском доме, полы трещали и стены дрожали в детской, двери хлопали в коридоре, голос француженки, спешившей послушать музыку, только досадой звучал, когда она забегала в детскую: «Пст, пст, dormez, dormez, ma mignonne»,— словно девочка сама была источником шума и не желала заснуть; и никто не обращал внимания на перекочевку ее из классной куда-нибудь в мезонин, передвижку ее завтраков и обедов во времени, если это требовалось распорядком дня взрослых. Жизнь детей приноравливалась к жизни по-европейски культурного отца. И все вокруг постоянно говорили, что Улыбышевы ничего не жалеют для образования дочерей, да и сама Наталья Александровна думала так.

А склад жизни Ульяновых резко отличался от этого привычного склада. Мария Александровна совсем не баловала и, казалось, вовсе не ласкала своих детишек, между тем жизнь ее и мужа ее, молодых еще людей, как будто приноравливалась к тому, что нужно и полезно растущим детям.

— Как вы считаетесь с такими малышами! — удивленно сказала ей на пятый год знакомства Наталья Александровна, когда Ульянова прекратила в столовой какой-то неподходящий, осуждающий ближнего разговор, а вечером отказалась устроить в столовой фанты, сославшись на то, что дети разволнуются и не заснут вовремя.

— В этом возрасте образовываются привычки,— отозвалась Мария Александровна,— я смотрю на это как на фундамент к характеру.— И тотчас покраснела слегка, но разговор продолжила, хотя собственные слова показались ей чересчур книжными:— Надо с детства приучать детей к своему времени во всем, чтоб не было хаоса. Тогда у них выработается внимание, уважение к себе.

— Ну, это вы чересчур мудрите, голубушка Мария Александровна! — воскликнула Шапошникова, вслух высказав общее мнение.

В одну из своих прогулок с детьми по откосу Мария Александровна вдруг вскрикнула и закрыла глаза ладонями: маленький Саша кубарем покатился с откоса. Аня, раскрыв рот и оцепенев, глядела, как он секунду мячиком катится вниз с дорожки на дорожку, а на третьей дорожке стоит большой дядя в длинном желтом сюртуке,

с пышным бархатным бантом на шее, расставил ноги и руки — стоп — и подхватил Сашу, как мячик. У Саши лицо смешное и трепаное, из-за пояса углом вылезла рубашечка, но он стал на ножки и ничуть не плачет...

— Мама, мамулечка, гляди, Сашу дядя опять на ножки поставил!

Мария Александровна раскрыла глаза, переконфуженная за свою слабость.

— Благодарю, благодарю вас! Ах, Сашенька...

Всем усилием воли она подавила волнение, словно и не произошло ничего, только оправила рубашечку на взъерошенном сынишке. И дети от этого спокойного движения материнской руки и ее лица, такого знакомого и всегдашнего, тоже мгновенно успокоились и, взявшись за руки, пошли дальше. Она не сказала им, чтоб они «не смели ходить близко к откосу», не поругала Сашу за неосторожность, а дочь за то, что выпустила Сашину руку. Она только сама передвинулась с края дорожки на самую ее середину, и Аня, поглядевши на мать, озабоченно подтянула брата подальше от скользкого откоса, тоже на середину дороги.

Вечерами они и теперь, всем коридором, собирались друг у друга, чтоб почитать вслух. Чтение уже было другое, в журналах начал меняться весь тон. Лесков-Стебницкий явно пошел в гору, Тургенев написал «Дым», разруганный либералами. В «Отечественных записках» беспокоятся о сусликах, что они объедают поля; а писательница Марко Вовчок, нахваленная еще Добролюбовым за смелую повесть о крепостной девочке, пишет роман на модную тему о «пострадавших» — сосланных и томящихся в тюрьмах, выводя их ничтожными болтунами. Сегодня они должны были читать большой, печатавшийся по частям патриотический роман графа Льва Толстого «Война и мир». Толстой выводил в нем исконное старинное среднее дворянство, далекое от двора, от чиновных выскочек, выводил Москву как бы в противовес придворному Петербургу, и его роман становился знаменем для нового поколения. Каждое десятилетие люди читают книгу по-своему, и большая книга растет с человечеством, а маленькая умирает со своим поколением.

Марии Александровне очень хотелось слушать продолжение «Войны и мира». Но в этот вечер она осталась с детьми и затеяла с ними такую интересную игру, что

всякое воспоминание о падении с откоса испарилось из головок детей. Саша давно уже спокойно спит, рассыпав длинные волнистые волосы на подушке, но уйти от детей она никак не может. Аня засыпает куда медленней, чем Саша. Коротко остриженная девочка лежит с открытыми глазенками, изо всех сил стараясь согнать с ресниц сон. И все просит мать посидеть с ней, все держит мать за руку. Мария Александровна потянет тихонько руку и соберется встать, а девочка опять сжимает ее и целует горячими губами.

— Мама, мамуленька...

Ей хочется сказать матери, чтоб они всегда так играли, хочется выразить, как она благодарна ей, какая особенная, ни на кого не похожая, лучше всех, всех, всех мама у них, но слов нет, и противный сон тянет вниз за ресницы. Аня выпустила руку, отвернулась к стенке и заснула.

А игра в этот вечер и в самом деле вышла замечательная. Они играли в дорогу.

Мать сдвинула стулья, на передний стул взобрался с кнутиком Саша за ямщика, он погонял два опрокинутых толстых кресла по их бахромчатым бокам и кричал: «Ни-о! Но-но-но!» А они с мамой сели в платках на стулья сзади него, и это была большая дорожная почтовая колымага, с ящиком под сиденьем, с буфетным отделением, с ножами, ложками и вилками, бутербродами в бумажке из вкусного ситного хлеба с маслом и бутылкой теплого молочка. Едут они, а мама рассказывает:

— Вот бежит, бежит дорога, версты по сторонам, въехали в густой-густой лес. Солнце не светит сквозь лес, стволы стоят белые, и ветви поникли, и сумрак внизу, между стволами,— это буковый лес. Вдалеке трясет бородой седой старик, он едет медленно, борода его вьется между стволами, на голове корона, глаза, как у филина, горят,— гони, гони, Сашенька, это царь лесных гномов, он гонится за нами, он вытянул руку, но...— Аня хохочет, жмется к матери, а другой рукой крепко хватает Сашу за пояс,— но он нас не тронет...

И мать вполголоса запевает детям тихую Шубертову мелодию на бессмертную балладу Гёте, перефразируя последний стих по-своему, в чудный, благополучный конец.

Они едут дальше, лес давно позади, перед ними деревня над овражком — это их старое милое Кокушкино.

— Видите, детки, вот нас встречают тетя, и другая тетя, и множество ребятишек — это все ваши братики и сестрицы. «Здравствуйте, тетеньки!» — «Здравствуйте, Аня, здравствуйте, Саша, приезжайте к нам непременно гостить летом!» — «А что мы будем у вас делать?» — «Будем рыбку удить, малину собирать, в выручалочки играть, будем в речке купаться, на лошадках кататься, в поле ходить, цветы поливать...»

И дальше, дальше бегут лошадки.

— Вон на небе всходит луна. Степь пахнет разными травами, богородицына трава, вереск, мята, шалфей, клевер — все тут есть. Вон висят они у папы в гербарии под стеклом, подрастем — будем каждую в поле распознавать. А теперь ну-ка, распрягай, Сашенька, лошадей, пусти их на травку. Лошади ступают тихо, ноги у них застреножены, ищут губой травку повкуснее, для них это ведь не просто сено, одно и то же, а каждая травинка особое блюдо: одна слаще, другая горше, одна солона, другая кисловатенькая, и эта жирней, а та водянистей. Жуют, жуют лошади, и мы сядем пить молочко.

У Ани даже слюнка закипела. Она откусывает хлеб по маленькому кусочку, как разную травку, и жует, жует его. А Саша прилег к маме головенкой и опустил кнутик.

— Куда же мы едем, мама?

— Мы едем в такую страну, да-алекую, далекую, где нет ни старых, ни молодых, а все люди как дети.

— Все добрые?

— Все добрые и хорошие... И наша Олечка там...— И она запела вполголоса, прижимая к себе разомлевшего мальчика, без слов, что-то сочиненное ею тут же.

Когда Аня заснула, Мария Александровна совсем было собралась к соседям, но неожиданно вернулся муж. Он ходил к Тимофеевым, и она его так рано домой не ждала.

Илья Николаевич вернулся в душевной приподнятости, не вошел, а вбежал.

— Знаешь, какая новость? Постой, я разденусь, сядем на диван. Ну, слушай, жена, хочешь выехать из Нижнего?

Жена молчит.

— А я, ты сама знаешь, сплю и вижу уехать отсюда, засиделся, не тот человек совсем. Маша, подумай, родная,— учреждается инспектура народных школ, Тимофеев предлагает. Он может меня устроить инспектором. Работа новая, свежая, разъездная, буду колесить по деревням, народ увижу. Маша, я тут непомерно засиделся, ну что хорошего в такой жизни? И тянет меня, признаюсь тебе, тянет, очень тянет.

— Да ведь служба эта министерская? Ты заранее не очень идеализируй. Все-таки сейчас ты педагог, а там будешь чиновник.

— Я душу в нее вложу...

— То-то вот ты во все душу вкладываешь,— она положила голову к мужу на плечо и вдруг совсем неожиданно всплакнула.

— Да ты что это, Маша? — Он приподнял обеими руками лицо жены.— Ты мне правду скажи: ехать не хочешь?

— Разволновалась из-за Саши — с откоса упал. Да сиди, ничего не случилось, даже не поцарапался, а мне все что-то боязно за него. Ну, Ильюша, хочешь ехать — поедем.

Илья Николаевич обнял жену и крепко прижал к себе.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В НИЖНЕМ

Он страстно хотел ехать. Живой человек не мог не хотеть ехать, когда все двигалось и менялось вокруг,— за таксаторами пошли в деревню фельдшера, учителя, врачи, заработало земство, сели в канцелярию первые женщины на жалованье в двадцать пять рублей. Но не только это.

По всей стране поднималась волна интереса к народу. Все чаще и чаще звучало в обществе слово «народ». Петербург и Москва ставили первые «народные спектакли». Молодежь тянулась в деревню.

Учить народ, изъездить большие пространства, дышать воздухом деревенских просторов — от одной этой мысли он чувствовал, как молодеет в нем загустелая от сидения кровь и горячо и сильно бежит по жилам.

Было тут еще, пожалуй, одно — есть люди единственной какой-нибудь специальности, в которую они входят с годами все глубже, теряя способность делать, кроме нее, что-нибудь другое. Илья Николаевич не был таким. Он донашивал до отказа одежду, называя это «обжить себе рубаху», и злился не на шутку, когда жена чуть не насильно навязывала ему новенький, с иголочки, еще враждебно-чужой и немилый костюм. Но в работе Илья Николаевич постоянно искал новое и тоже, может быть инстинктивно, как берут свежую спичку, чтобы получить искру, подводил и ставил себя под все новые обстоятельства, чтобы опять и опять вспыхивать на работе, опять пережить чувство весны. Новая должность сулила ему привлекательную разносторонность: инспектору народных школ предстояло знать все новейшие течения педагогики и быть плотником школьных зданий, создавать людей и вникать в учебники, в отношения на деревне, в мужика, в деревенский быт, колесить по бесконечным дорогам и всюду, во всем, на каждой сходке обнаруживать толк и знание дела.

Как только стало известно место его нового назначения — Симбирск, он отправил жену с детьми к своей матери в Астрахань и стал прочитывать о Симбирске все, что под руку попадало,— от «Капитанской дочки» и «Багрова-внука» до «Сна Обломова». И где ни встретит в обществе человека из тех мест, он непременно подсядет к нему и прислушается.

Все ему было так ново и любопытно, словно роман читал. Сидит у Садокова заезжий помещик, снисходительный симбирский дворянин с какими-то пестрыми от крашения усами и со следом монокля в разношенном, старом, птичьем веке, из промотавшихся заграничных праздношатаев, а Илья Николаевич и тут ухитрится что-нибудь выпытать,— о том, например, что в имениях кой у кого завелись было и машины, молотилки конные и даже паровые, и веялки, и навоз собирать стали на удобрение,— но «машины машинами, а способ обработки земли все старый, далеко нам до заграницы: ни травосеяние, ни плодопеременная система даже как опыт не идут, не прививаются; ну и от машин нет проку, особенно с освобождением крестьян; рухнула культура земли, рухнула и охота возиться с ней...»

— А у вас самих?

— У меня все на испольной работе, мужики сеют и мне и себе, собирают и мне и себе, а что соберут — на́ровно пополам,— и легко и просто.

Он записал для себя и про испольную работу, и о травосеянии, и каков старый способ хозяйства,— по деревням ездить и с мужиками говорить нельзя неучем, обо всем придется сказать свое слово, и надо, чтоб слово это было самое точное.

Попался ему и настоящий купец-симбиряк; его Илья Николаевич завел к себе в опустелую квартиру поить чаем и чуть не пять-шесть часов выспрашивал подряд, что там и как. Купец был польщен беседой с господином учителем. Он торговал в Симбирске лучшими каретами и выездами, имел дом на Московской, каретное заведение во дворе дома, рабочих и даже агентов для разъезда по губернии. Фамилия купца была Шестериков. На персонажей Островского он походил мало и отзывался о них неуважительно,— в том смысле, что писатели ныне сильно отстали от жизни, таких дурачков в смазных сапогах, да с поклоном до земли, да у матерей, у жен под туфлей или, к примеру, самодуров, окромя водки в рот ничего не берущих,— этого сейчас на Руси меньше, чем музейных чучел. Купец уже с десять годов как привык и к речи другой и к фасону другому — иначе ведь и капитала себе не составишь. А это не купцы, что у господ писателей на театре,— это скорей помещичьи старосты; ну, да ведь и понятно: что писателю больше знакомо в жизни, с того образца и подобия он и пишет.

Сам он одет был в добротный сюртук и в ботинки мягкой кожи на такой подошве, что и скрипу не давали. Но рому себе в чай налить не отказался, напротив.

От этого купца Илья Николаевич узнал, чем губерния живет и дышит. Купец рассказал ему про восемьдесят две ярмарки в год; самая большая — симбирская сборная — открывается в понедельник на первой неделе великого поста. Конечно, не чета макарьевской, но товаров привозят и на шесть, а то и на семь миллионов, оборот делают когда как и считают его не меньше трех-четырех миллионов. Своих промыслов немало,— вот, к примеру, «кошатники», с мелочи начали, а теперь тысячи огребают: торговали вразнос по селам деревянными ложками — до самой до Перми, до Сибири, а взамен брали кошачьи шкурки и шкурки эти продавали на Жадовском базаре,

а сейчас эти самые шкурки, крашеные да подбитые паром, за границей ходят как последняя мода. А село Астрадамовка славится рукавицами, а село Ховрино — сапогами. И вино курим у себя, и стекло дуем, и кожу тянем, и сукно валяем — вот только соль ввозим...

Выходило, по его словам, совсем обратное рассказу помещика: тот все представил так, будто в губернии и земля дичает, и культура глохнет, и жить глухо, и вообще самое печальное место на Руси эта Симбирская губерния, с ее падающими урожаями, уходящими в воспоминание богатствами заливных лугов, исчезающим зверьем в лесу, да и лесами, отступающими из году в год. А по купцу — губерния росла и росла. Промыслы открываются на каждом углу, мужику воля впрок пошла. Он через торговлю и промысел начал богатеть, и о дорогах заботы больше, и главное, вот бы и вы нам, господин будущий инспектор, помогли: кое-кто у нас шибко задумывается насчет чугунки, не мешало бы к нам чугунку провести, как в Нижнем,— уж очень край на отлете. А дорога стоящая, в самую Сибирь, а Сибирь, это теперь все говорят,— будущая наша Америка, вон оно что. И будете коляску себе покупать — милости прошу, выберем на совесть, а лучше шестериковских колясок и в Москве не найдете!

Только сейчас, когда в Нижнем осталось ему доживать последние дни, Илья Николаевич вдруг почувствовал, что успел привязаться к этому большому, шумному городу, к его окающему говорку, к его людям, к педагогической своей работе в нем.

Тут, в Нижнем, доживала свой век вдова Лобачевского.

В Нижнем на каждом шагу встречал он своих однокашников, бывших казанских студентов.

В Нижнем сложилась и окрепла его семейная жизнь, такая прочная, так не похожая на неустойчивые семейные очаги его товарищей,— нежность к жене, как свет, излучающий внутреннее сияние, вдруг жарко охватила его в разлуке.

Все это срослось с Нижним, с его шумными, вкривь и вкось бегущими улицами, с крутым подъемом к Кремлю, с благолепными церквами, с их звучным, переливчатым колокольным гомоном, вспугнувшим тысячи голубей над просыпанным в снегу овсом... Нижний, Нижний...

Сюда постоянно кто-нибудь приезжал, и не только на ярмарку. Это был город торжественных встреч, закатываемых на широкую ногу обедов, длинноречивых тостов, любопытствующих иностранцев, видевших в Нижнем кусочек Азии. Особенно любили сюда наезжать писатели, серьезные писатели, исследователи жизни русской. Еще в первый год, как он сюда переехал, принимали и потчевали нижегородцы писателей Арсеньева, Безобразова, Мельникова. Имена их в те годы говорили многое, особенно волжанам. И наезжали сюда мимоездом, делая порядочный крюк на пути, представители совсем новой формации, которых в обществе и в печати уважительно называли «деятели на ниве народной».

То было время начавшегося необычно быстрого передвижения, век строительства железных дорог. Чугунка поражала людей неслыханной быстротой пожирания пространства: сегодня сел человек в вагон, а завтра на месте. Патриоты прежних почтовых трактов и ямщицкого бубенца держались, правда, за старый способ — они злорадно перечисляли железнодорожные катастрофы, сравнивали неопытного машиниста с бывалым ямщиком, а мелькание видов из вагонного окошка — с богатейшим, медленным движением природы и жизни вдоль столбовых дорог. Но чугунка соблазняла сбережением времени, и люди ездили, надо не надо, по дальним губерниям, заезжали на сторону, в провинцию, чтоб понаведаться, поделиться опытом с единомышленником, держать связь с обществом.

Город Нижний к тому же был на большом водном пути к югу и чугуннорельсовом в Москву. Вот почему «деятели на ниве народной» — в большинстве своем выходцы из поповского звания, откуда вышли и духовные вожди эпохи — саратовец Чернышевский и нижегородец Добролюбов,— заглядывали частенько в Нижний, по дороге и не по дороге.

К тому, что писалось в журналах и газетах, прибавлялись бесчисленные рассказы очевидцев. Имена многих педагогов становились известны широким кругам чуть ли не наравне с именами виднейших писателей. Рассказывали, например, о молодом преподавателе харьковской духовной семинарии Сергее Иринеевиче Миропольском, по собственному почину открывшем воскресную школу для подготовки народных учителей. В то время

на всю Российскую империю только и были две учительские семинарии — одна в западной, Виленской губернии, в местечке Молодечно, другая в чинном, онемеченном Дерпте. Рассказывали и о просвещенном помещике бароне Корфе. Илья Николаевич слышал о Миропольском, но особенно заинтересовали его дела барона Николая Александровича Корфа в Екатеринославской губернии. Вся образованная Россия говорила в ту пору об этих делах — о создании образцовых народных школ в целом уезде степной полосы, где еще два года назад дети тамошних немецких колонистов по восемь лет сидели в одном классе, а выходили, не зная русской грамоты, и на весь обширный уезд были фактически только две грязные, ненавистные крестьянам полуразвалившиеся школы-избы...

Как же обрадовался и разволновался Ульянов, прослыша, что в Нижний, возвращаясь в Москву кружным путем, заехал нужнейший ему человек — член Московского комитета грамотности, только что обследовавший, по поручению комитета, школы барона Корфа.

В старом своем служебном кителе, блестевшем по швам, забыв, как всегда, надеть шляпу, поспешил он в гостиницу, где, по его сведениям, остановился приезжий, и еще на лестнице столкнулся с Александром Серафимовичем Гацисским, спешившим туда же.

Разбитной половой уже внес в номер большой, из начищенной, как солнце, латуни самовар, дышавший жаркими парами и чуть припахивавший угольком. Половой настежь раскрыл окно, чтоб, избави боже, не угорели господа чиновники. А в окно вместе с воздухом городского лета ворвались влекущие, тревожные шумы пароходных гудков, резкого стука извозчичьих колес о булыжник, протяжного гула отходившего от вокзала поезда.

Приезжий, договорившийся с Гацисским о встрече, очень обрадовался знакомству с Ульяновым. Он усадил гостей за чайный стол, заказал еще стакан и тут же, не дожидаясь чая, принялся рассказывать. Впечатления были так еще свежи, так захватили его, что наслаждение было делиться ими. Гацисский по старой привычке газетчика вынул записную книжку и придвинул к себе чернильницу. Ульянов, желая помочь хозяину, разлил по стаканам чай.

— Дорога,— начал рассказывать комитетчик,— кошмарная. От станции Константиновки девяносто верст, лошадей нет, ямского двора нет, одна корчма, а чай в буфете двадцать пять копеек золотник. Степь, мазанки, голытьба, речь малорусская, пшеница и ни единого деревца. Пыль — хоть ломтями режь. Два года назад там у немецких колонистов деревня была — точный стиль осьмнадцатого века, учебник в школе 1795 года, да не славянина Ко́менского, тот прелесть, а черт его знает какой...

— По Ко́менскому наш нижегородец Лобачевский учиться мог! Гёте учился! — воскликнул, перебивая его, Гацисский.

— Палочная расправа в полном ходу,— продолжал рассказчик,— такова была действительность. И вот приезжает Николай Александрович Корф. Организует в пятьдесят седьмом году первый уездный училищный совет. Кстати, господин Ульянов,— обернулся он к физику,— вы изволите ехать на новую должность инспекции народных училищ. А знаете ли, барон Корф не очень этой новой должности сочувствует, считает ее ненужным контролем за земством, за училищными советами.

— Контроль само собой, и при том, что вами описано, в уезде контроль очень необходим, но главное — помощь школе, я так понимаю новую должность,— ответил физик.

— Пожалуйста, пожалуйста, не отвлекайтесь,— снова перебил Гацисский,— это все изумительно интересно для нашей губернии. Говорите, как на театре,— место действия, пейзаж, действующие лица, каков этот барон,— и подряд, подряд, со всеми деталями!

Не торопясь и отхлебывая из стакана по глоточку, чтоб увлажнить горло, комитетчик повел свой подробный рассказ о новом опыте Николая Александровича Корфа. Гостям казалось, они путешествуют вместе с ним, подъезжают к культурнейшей усадьбе этого екатеринославского помещика, и вот среди голой пыльной степи — цветущий сад, дивные аллейки и клумбы, где благоухают тысячи цветов, большие французские окна распахнуты на веранду, барышня за роялем играет гаммы, а потоку этих до-ре-ми-фа-соль из сада отзываются соловьи. Ветер поддувает полы чесучовой рубашки барона, пока он водит гостя по аллеям парка, приглу-

шенным баском рассказывая ему о своем увлекательном школьном творчестве. Круглое лицо барона с легким намеком на будущие баки по сторонам сияет улыбкой, он необыкновенно быстр и суетлив в движениях, несмотря на свою полноту. Корф зовет и жену и дочь «душенька» и шутливо по-немецки «кокхен-пуппхен», и вдруг, становясь серьезным, почти раздраженно кричит о себе: «Я — утилитарист, убежденный утилитарист!» Более всего на свете боится барон Корф оскорбительной клички «фантазер» или «идеалист».

Но вот они с гостем уселись на длинную южнорусскую линейку, спиной друг к другу, боком к кучеру, у которого барон то и дело брал из рук вожжи, нетерпеливо показывая, как ближе проехать, хотя кучер лучше барина знал дорогу. И начался объезд замечательных школ, созданных в Александровском уезде бароном Корфом. Время было вакационное, школы стояли пустые, но ученики, прослышав, что едет с помещиком гость из Москвы, возвращались кое-где с полевых работ и стайками весело вваливались в школу. Один паренек, нанявшийся на лето в пастухи, пришел в школу за восемнадцать верст.

Было на что посмотреть московскому гостю и что послушать!

— Представьте себе чудо,— говорил комитетчик,— иначе как чудом я это не могу назвать. Земство отпустило в этом году пять тысяч рублей. Школы — те же избы, но чистые, теплые, окна вдвое больше обычных. Оборудование, мебель — все в полном порядке, на стенах картины Шрейбера, за три года куплено двадцать тысяч книг, восемьсот сорок дюжин стальных перьев — гусиными никто не пишет,— двести пятьдесят стоп бумаги. Учителя стоющие, преданные, образованные, Корф им жалованье поднял, установил премиальные. Ну, словом, чудо. А когда дети пришли, я просто развел руками. Простите меня, господа, но таких детей на деревне я в первый раз увидел!

Барон Корф торжествовал, показывая москвичу своих ребят. Без капли застенчивости или страха они решали у доски задачки, пересказывали басни, спели чисто и, глядя на ноты, молитву. Особенно удивило москвича сочинение, написанное на тему «О вреде и пользе водки».

— Ну, это уж слишком,— вырвалось у Гацисского.— Какая может быть польза от водки?

— Вот и я точь-в-точь этими словами сказал Корфу,— воодушевился рассказчик.— Какая же, позвольте, польза? Корф мне сначала ни звука. Дети сидят и пишут. Написали. Он собрал сочинения, прочел и показывает — читайте! Ну и удивили меня эти сочинения! Один пишет: «Полезна — из нее лекарства приготовляют; вредна, потому что мужик ее пьет не дурно (не даром то есть), купляет ее за свои деньги, если кто напьется и имеет деньги в кармане, то он их выронит или кто вытащит, хозяйство рушит за водку, а если кто напьется в грязный путь (в грязную погоду), то он свою одежду в грязь замарает». Другой пишет: «А пользовита она потому, что едешь куда, да смерзнешь», или еще: «И какую шкоду сделаешь, то купишь кварту или две, то сейчас ты прав будешь над ним, с кем ты завязывался за что-нибудь».

— Это даже и непонятно,— сказал физик.

— И какой голый практицизм! — воскликнул Гацисский.

— Боже, как вы далеки от жизни! Корф именно и хвастается практицизмом, он ненавидит красные слова. Весь быт деревенский отражается в этих сочинениях, жизнь, как она есть: нагрешил, обидел, подрался, нашкодил, а откупился двумя квартами — и опять ты прав. Ведь это же сама жизнь. Корф назвал этот урок изучением деревенского быта. Он превозносит такой здравый смысл в деревенских детях!

И гость перешел на метод барона Корфа, на урок арифметики, запоминание цифр с голоса учителя, по тысячам, сотням, десяткам и единицам, то есть на работу памяти не над единым образом всей большой цифры, а расчлененно, над каждой составной частью цифр. Важно, что получается в результате. Реальнейший успех, и крестьяне, два года назад ничего не желавшие и слышать о школе, сейчас толпами приходят на экзамены, часов пять-шесть на ногах выстаивают, слушая, как бойко и знающе отвечают их дети. Звуковой метод, наглядное обучение, собственный учебник барона Корфа, его неутомимость — каждую осень, несмотря ни на какую погоду, он лично в течение двух месяцев объезжает все школы в уезде... «Слава заслуженная,— добавил под са-

мый конец комитетчик, убирая со стола множество бумажек, по которым он кое-что считывал в своем рассказе.— Я буду всенепременно делать мои наблюдения достоянием широкой гласности!»

Илья Николаевич прослушал рассказ с живым интересом. Он не сказал, впрочем, что не во всем полностью соглашается с Корфом,— конечно, великое, замечательное дело, спасибо за него, учиться и учиться им всем у Корфа, но в подчеркнутом утилитаризме и практицизме барона ему все же почудился тот, барский немного, привкус восторженной тяги к народу, когда хочешь не столько дать, сколько получить, позаимствовать, погреться, попользоваться у народа его здоровой и нетронутой цельностью. Сам из простой среды, далекий от всего барского, Илья Николаевич выслушал прочитанные из детских сочинений отрывки не как образчики живого, конкретного и совершенно оригинального, не по-городскому, решения темы, а с невольным критицизмом педагога, которому не восхититься, а поправить надо. «Нельзя оставлять ребят с таким путаным способом выражения, наклеив на это ярлык здравого смысла»,— как-то безотчетно подумал он. И не любование, а острая, теплая жалость прошла по душе его. Он их уже как бы видел перед собой во всей узости темной деревенской жизни. Какими будут дети в его собственной, Симбирской, губернии? Когда к ним, скоро ли?

Но последнее слово о Симбирской губернии сказали Илье Николаевичу мужики. Это было, впрочем, уже на пароходе, когда он с женой подъезжал к месту своей будущей жизни, а до тех пор надо еще рассказать, как проводила это последнее нижегородское лето Мария Александровна.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

У АСТРАХАНСКОЙ БАБУШКИ

Брат Вася давно уже в письмах слезно просил Илью Николаевича потешить старуху мать и прислать невестку с внучатами, тем более что и мать, по всему видно, уже недолга.

И в это лето для Ани и Саши чудесно сбылась мамина игра. Они втроем сели и поехали в Астрахань с такой же совсем точно провизией, как в игре, и даже игру продолжали в дороге, но только вода колыхалась вокруг настоящая, и встречи были живые — плыли, качаясь, чайки, похожие на летучих рыб, скользили тихие баржи, а на них домики с окошками, улицы, фонари, а в домиках занавески, и люди, как в городе. На белокурого красавца Сашу заглядывался весь пароход, как он прохаживался, подражая отцу, словно взрослый, заложив обе ручонки за спину. Аня заметила эти взгляды и гордилась братиком, подбегала к нему и прихорашивала, делая вид, что им нет никакого интереса в чужих взглядах, а играют они и гуляют сами для себя. То пригладит брату кудри на головешке, то шаровары заложит получше в сапожки, то рубашечку обдернет. Терпеливый Саша молча сносил беспокойные Анины ручки на себе и стоял тихо, покуда она усердствовала над ним, а потом снова начинал пресерьезно прогуливаться.

Но стоило только сказать кому-нибудь: «Мальчик, здравствуй, дай ручку» и остановить Сашу, как уже Аня летела, готовая, если понадобится, отбивать брата у чужих.

В Астрахани на пристани Марию Александровну встретил бледный от волнения дядя Василий Николаевич и церемонно дважды приложился к ее руке. В ярком астраханском солнце Василий Николаевич, нарядно разодетый в полосатые брюки, модный жилет и сюртук, расшитый тесьмой, с бархатным бантом на манишке, усатый и щедро напомаженный, да еще так странно и церемонно поздоровавшийся, чуть даже напугал детей. Но пока он их вез в крытой извозчичьей карете, держа обоих на коленях,— тучи голубей на улицах, непонятные крики продавцов, ослики, верблюды с кладью,— молчать стало выше сил, и восхищенные дети вертелись и восклицали, не заметив, как уже обнимают странного дядю за шею в тугом воротнике.

На пороге домика ждала бабушка. По обычаю старых людей она раскинула обе руки в стороны, с вывернутыми ладонями, жестом душевного своего изумления на присутствие дорогих гостей, а потом крепко к сердцу прижала их этими старыми, натруженными руками и вся осыпалась мелкими слезинками. Она и ласкала и отодвигала

от себя внуков, любуясь ими, и снова, бормоча что-то сквозь слезы, притягивала их к себе, а дядя Василий носил вещи в верхнюю, лучшую комнату, а тетя Федосья, сухая и маленькая, быстро уставляла стол тарелками. Аня дичилась, а трехлетний Саша, тихий, как всегда, охотно сам шел к старушке и прижимал мягкое личико к ее морщинистой щеке, точь-в-точь так, как она это сделала.

— Ах ты, голубенок мой беленький! — шептала восхищенная бабушка.

Весь этот день они то сидели за столом и откушивали, то отдыхали в спальне, прикрывшись кисейкой от мух. И чего-чего не было на столе, каких только удивительных пирогов не напекла тетя Феня, и какие странные леденцы были в вазочках — зеленого, красного, голубого, желтого цвета, перекрученные колечками, и пряники в виде сердца и лиры, и варенье из моркови, из розовых лепестков, из дыни, и наливки всевозможных букетов, собственноручно настоянные и процеженные бабушкой, и азиатский пилав с поджаренным миндалем и изюмом,— ну, разве съесть все за один раз! Мария Александровна скажет: «Довольно, довольно, совсем ребят избалуете», а бабушка знай подкладывает, а потом опять ведет полежать и отдохнуть, запирает ставни, выгнав полотенцем назойливых мух, и не успеют гости встать с постели, как уж опять стол накрыт, а мухи в комнате — тучами.

— Мамочка, мы лопнем! — шепчет Аня.

К вечеру пришли почетные гости, старые други семейства, и опять за столом говорили и говорили. Про маленького Илью Николаевича рокотал бархатный басок священника Ливанова:

— Старик Николай Васильевич детей держал строго. Раз он дает гривенник будущему вашему благоверному — а Илюше был тогда шестой годок,— посылает в лавочку за чаем, на пятачок чаю купить, пятачок сдачи принести. Ждем, пождем — нет мальца. Пропал. Что-то, старик говорит, нету мальчика, погляди, Вася, на улицу. Василий открыл дверь в сени и глядит, а в сенцах, как в шкафу, ни жив ни мертв — Илюша. Стоит весь в грязи и войти боится, и постучать боится, и заплакать не смеет,— это он в лужу упал и покупку перепачкал. Строговат был ваш покойный свекор. Да и хлеб ему дорого давался. И лета были патриаршьи — под семьдесят.

Вспомнил он и про давнишнее посещение Астрахани блаженной памяти покойным опальным стихотворцем Тарасом Шевченкой, стихи которого знал и любил, несмотря на их вольность.

— Колбасу в нашем городе искал,— рассказывал, усмехаясь, батюшка,— привык, должно быть, в немецком граде Питербурхе к пословице «немец, перец, колбаса»; ходит по улице, встретил моего отца дьякона и спрашивает, есть ли тут сарептские немцы, чтоб у них копченых колбас на дорогу купить. Долго искал. Но у нас, знаете, запросто. Что нужно, сами себе дома на потребу изготовляем. Свекровь ваша, Марья Александровна, славится своей хозяйственностью. Так и уехал не солоно хлебавши! — И отец Николай Ливанов пригубил рюмочку.

То был незнакомый ей мир. Но Марии Александровне, воспитанной в совсем других условиях, он казался понятней, чем рауты у директорши Садоковой.

Черный труд выпал на долю семьи мужа: до смерти трудился свекор, испитой и желтый под старость; трудился Василий в соляных объездчиках, а потом в приказчиках,— вот и завтра ему вставать спозаранку, раньше всех; беспросветный труд, среди горшков и ухватов, выпал матери мужа. Такая простая жизнь; о такой жизни столько она прочитала романов, сеющих уважение и жалость к народу! И разве Илья Николаевич, вечный труженик, не плоть от плоти судьбы народной?

Между тем время отъезда в Симбирск приближалось. Илья Николаевич заканчивал последние свои нижегородские дела. В беготне по городу без шляпы он загорел и окреп, даже на маковке, где у него быстро лысело, опять пошли волосы, и шея обросла вьющейся от самых ушей бородой.

Ауновские писали, что нашли Ульяновым на Стрелецкой улице — правда, не в центре, но место считается высокое, сухое, здоровое — дешевый отдельный флигелек во дворе.

В то утро, когда он снова встретился с женой в Нижнем, Мария Александровна, соскучившаяся по мужу, воскликнула:

— Да ты поздоровел без меня, Илья Николаевич!

А для него в ней тоже была новизна — от ее загара, от детских разговоров и привезенных кулечков с подарками веяло родным городом Астраханью, материнскими

объятиями, воздухом детства,— словно теперь только они сблизились самой последней близостью.

Полные новых впечатлений, каждый по-своему в одиночку разбогатевшие, они опять были два отдельных человека, перед тем как слить две жизни в одну.

Лето почти прошло. За окном лежала дорога в столбах и звала их, плыл мир в грядущее и звал их, и уж действительно плыл на грузовой барже весь их семейный быт, в сундуках и рогоже, ящиках и корзинах,— рояль, стулья, кровати, посуда, книги, трюмо, зимние вещи — все плыло из Нижнего в Симбирск и тоже звало их.

Илья Николаевич был в это время в полном расцвете своей мужской зрелости: ему исполнилось тридцать восемь лет. Жене его шел тридцать пятый. Когда, наконец, оба они ступили на симбирские сходни, Мария Александровна носила в себе четвертого своего ребенка.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

ПРИЕЗД В СИМБИРСК

В те два года на Волге стояла засуха. Урожай пропал до последнего колоска. Крестьяне голодали подряд две зимы, голодали отчаянно, вымирали деревнями и волостями, людоедствовали, обугливались в тифу, а потом пришла еще холера и покосила народ. Но в конце сентября 1869 года — время приезда Ульяновых в Симбирск—хлеб как будто взошел хорошо. На пристанях мордовки уже продавали калачи, бублики и пироги с медом. Веселей с виду становилась и публика четвертого класса,— только перед самым Симбирском нижнюю палубу запрудила странная в своем молчании толпа.

В лежащих вповалку людях, в истомленных, худых лицах баб, повязанных по-великорусски — не на затылке, а под самый подбородок, в молчаливых мужиках, уткнувших головы в руки, в их убогих узлах, продетых на палку, в молчании грудных ребят было что-то неподвижное до жуткости. Даже незаметно было, когда они пьют или едят. Казалось, что ехали души умерших через Стикс, только вместо гребца Харона хрипел и чавкал паровой котел.

Что была за притча в этом безмолвии?

Илья Николаевич попробовал спросить раз и другой, ему отвечали односложно и вяло, даже не вскидывая шапку поверх лба, и желтовато-восковые губы шевелились нехотя, словно с болью. И вдруг, никем не спрошенная, из угла пронзительно заговорила баба:

— Из деревни мы, барин, ушедши. Свой-то хлеб неубран оставили, завлеклись, позарило нас. Да, видишь, какое дело: тыщ нас пятнадцать мужиков и баб, ушло в Заволжье, сулили по четвертной за жнитво с десятины-то и обманули нас, милостивец, кругом обманули, без ножа зарезали. Что будешь делать! Свое-то хозяйство прахом, вот теперь и каемся, да локтя не укусишь, вчерашнего не воротишь!

Он ничего не понял. Долго приступал и к ней и к другим с расспросами. Какой-то мещанин в картузе, хвативший, видимо, еще с утра лишнего, словоохотливо пустился объяснять, но говорил маловразумительно и больше пословицами, сочно упирая на букву «о»:

— Аво́ся жда́нки съели, господин чиновник. Так оно на роду у русского мужичка написано. Вот и горюет теперича. Не евши тощо́, а поевши тошно́...

И только машинист рассказал Илье Николаевичу страшную историю этих разоренных людей.

Урожай с весны обещал быть хороший, и помещичьи агенты, желая завербовать для уборки огромных поместий заранее батраков, с весны смутили крестьян большим посулом, что-де за Волгой дадут им по двадцать пять рублей за каждую сжатую десятину. Такая цена — аховая цена, но мужики поверили, потому что и прошлые годы стояли вздутые цены. Рассчитали они так: заплатят дома у себя за уборку своих полей по четыре-пять рублей, а сами на уборке возьмут выше той цены впятеро и вшестеро да на прибыль и справят хозяйство. Но вышло иначе. Пятнадцать тысяч человек, снявшихся с места и ушедших на заработки за Волгу, отошли вглубь на сотни верст, а там батраков оказалось свыше, чем надобно, как помещики и построили свой расчет; идти назад не солоно хлебавши тоже не на что, и вот крестьяне нанимались жать и по три рубля за десятину, лишь бы не помереть с голоду, лишь бы живыми домой добраться. Три четверти ушедших не заработали ничего и возвращались, имея перед собой еще долг за уборку своего хлеба.

— Эх, славны бубны за горами! — кончил рассказ ма-

шинист.— Серый народ, их обкрутить легче, чем вшу поймать, ваше благородие.

Илья Николаевич содрогнулся. Теплой струей пробежала у него по телу не жалость даже, а острая нежность к этим побитым жизнью, нежность, похожая на страдание. Так бывало с ним за чтением любимого поэта Некрасова. Он вез с собой его старенький томик, изданный в 1863 году, тот самый, про который Тургенев воскликнул: «А стихи-то Некрасова, собранные вместе, жгутся!» И сейчас, войдя в каюту, рассеянный и омраченный, походил-походил, как зверь в клетке, от стены к стене, а потом раскрыл книгу, уронил щеку в ладонь и стал по-новому перечитывать знакомые строки:

> Раз я видел, сюда мужики подошли,
> Деревенские русские люди,
> Помолились на церковь и стали вдали,
> Свесив русые головы к груди;
> Показался швейцар. «Допусти»,— говорят
> С выраженьем надежды и муки.
> Он гостей оглядел: некрасивы на взгляд!
> Загорелые лица и руки,
> Армячишка худой на плечах,
> По котомке на спинах согнутых,
> Крест на шее и кровь на ногах,
> В самодельные лапти обутых
> (Знать, брели-то долгонько они
> Из каких-нибудь дальних губерний).
> Кто-то крикнул швейцару: «Гони!
> Наш не любит оборванной черни!»
> И захлопнулась дверь. Постояв,
> Развязали кошли пилигримы,
> Но швейцар не пустил, скудной лепты не взяв,
> И пошли они, солнцем палимы,
> Повторяя: суди его бог!
> Разводя безнадежно руками,
> И покуда я видеть их мог,
> С непокрытыми шли головами...
> За заставой, в харчевне убогой
> Все пропьют бедняки до рубля
> И пойдут, побираясь дорогой,
> И застонут... Родная земля!
> Назови мне такую обитель,
> Я такого угла не видал,
> Где бы сеятель твой и хранитель,
> Где бы русский мужик не стонал?
> Стонет он по полям, по дорогам,
> Стонет он по тюрьмам, по острогам,
> В рудниках, на железной цепи;
> Стонет он под овином, под стогом,

Под телегой, ночуя в степи;
Стонет в собственном бедном домишке,
Свету божьего солнца не рад;
Стонет в каждом глухом городишке,
У подъезда судов и палат...
Волга, Волга! Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля...

Он читал, и его глаза увлажнились. Это было написано одиннадцать лет назад. Вчерашний раб ныне свободен — и что же? Он такая же темная, безответная жертва хитрости и подлости, все так же на нем, как на скотине, ездят другие в свою пользу и выгоду... Учить его, учить, вывести его из темноты к свету!..

Новый инспектор народных училищ, коллежский советник Ульянов, по чину еще только начинающий восходить по лестнице, был уже лицом, о прибытии которого печатают в губернских газетах. Ему предстояло появляться всюду, где присутствуют верхи города, — на торжественных молебнах, открытиях, похоронах, юбилеях. И Мария Александровна была теперь тоже супругой должностного лица. Оба почувствовали это, как только подъехали к Симбирску.

Снизу, с пристани, город наплыл на них красотой русской ранней осени. В золоте сквозили сады под горой, наверху сверкали соборные колокола, в прозрачной ясности были остро слышны звуки, падал, ухая, куль на землю, визжала где-то пила, неслись низко, шурша крылом, птицы, зазывали извозчики, и — надо всем этим — бархатно-ясно, малиновым звоном, пробили, разносясь далеко надо всем городом, знаменитые часы с Васильевской церкви, подарок графа Орлова-Давыдова городу Симбирску.

Как ступил Илья Николаевич на землю, пожимая руки встречающим и на ходу что-то уже спрашивая и говоря, так Мария Александровна сразу и потеряла его чуть не на всю зиму.

Чиновники, его встречавшие, с первого взгляда почуяли в этом быстром, картавящем, сутуловатом человеке, одетом вовсе не по-столичному, в его улыбке и пожатии настоящего труженика, простую душу, какие тянут обыкновенно гуж всерьез и за совесть, одни за всех.

Он выехал в предварительный объезд по губернии, не дожидаясь, пока семья распакуется на новом месте, чтоб не пропустить хорошую погоду, и с первым же крепким ветром на околице понял, что теперь пришло к нему главное дело его жизни. Скошенные поля с вороньем, крылья мельницы за пригорком, болота, заросшие очеретом с тяжелой, грязной кувшинкой; избы, как горсть опят на мокрой земле под неожиданным холодноватым дождем, переливчатый ямщицкий бубенец, отвязанный от дуги и зазвеневший вовсю, чуть отъехали от города; родные землистые бородатые лица — все это было теперь его, здесь будет он проезжать хозяином необъятной пажити, и он страстно желал работы на ней.

Ему даже совестно было, что так хорошо, по душе, дается эта работа, во всей прелести деревенского воздуха, отнятого у городских жителей.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

ОБЪЕЗД ГУБЕРНИИ

Еще в Нижнем Илья Николаевич хорошо изучил губернию, по которой предстояло ему колесить. Но только на месте узнал он в точности о дорожных своих маршрутах.

Уездов в губернии считалось восемь. На юг, к Сызрани, шла протоpенная дорога с хорошими почтовыми станциями. Здесь ездили на чугунку, и дорога эта проходила по двум уездам: Сенгилеевскому и Сызранскому. Да и верст она захватывала сравнительно немного: сто тридцать три с четвертью по прямой, не больше двухсот с заездами по деревням.

В центре губернии сообщение тоже было не трудное. Два уезда, Симбирский и Карсунский, лежали бок о бок и были подробней других освещены в отчетах уездных училищных советов. Сюда чаще ездили из губернского центра, и отсюда в Симбирск то и дело гоняли перекладных.

Зато северный маршрут — триста двадцать верст по прямой, а поколесишь по тамошним школам, наберешь и все полтысячи — был не только самый сложный по состоянию дорог, но и требовал больше времени.

Чуть ли не в первый час приезда исполнявший инспекторскую должность до него господин Вишневский повел Илью Николаевича к себе в служебный кабинет, чтоб вооружить его, как он выразился, цифрами и фактами. Он расстелил на столе обширную, на кальке схематически вычерченную карту губернии, покрытую крестиками церквей, кубиками ямских станций, двойными кружками школ, змейками грунтовых и пунктиром проселочных дорог, и начал, входя во вкус своей задачи, можно сказать, с Адама: с закладки окольничьим Хитрово в 1648 году первых домов Симбирска; с чумы, посетившей город в 1654 году; с приезда в 1666 году грузинской царицы Елены; с осады Симбирска спустя четыре года вором и разбойником Стенькой Разиным; со вторичного посещения Симбирска государем Петром Алексеичем, раскинувшим, по преданию, палатку на берегу...

Но тут, утомленный этой официальной историей, Илья Николаевич смущенно прервал Вишневского неожиданным вопросом:

— Как Симбирская губерния в отношении телеграфа?

Телеграф был в те годы еще новинкой, распространявшейся медленно. По уездам, которые предстояло ему объезжать, телеграфных станций пока нигде, кроме Сызрани, не было. Но Вишневский ответил, что в Промзине достраивается и буквально на днях будет открытие. Илья Николаевич поискал Промзино на карте. Это и был трудный северный маршрут, шедший по четырем северным уездам: Карсунскому, Ардатовскому, Алатырскому и Курмышскому. До Промзина, через Тетюши, Тагай, Урень и Русский Кандарат, было верст сто пятнадцать.

Илья Николаевич откашлялся и проговорил мягким своим говорком:

— Вот и начну с Промзина, а приеду — буду изучать цифры. Природа начинает с внутреннего — interiora prius, — полушутя процитировал он запомнившуюся ему латинскую цитату из чьего-то восторженного пересказа латинской дидактики Амоса Ко́менского. — Ведь общий очерк губернии я уже знаю, — поторопился он добавить, увидя, как поднялись брови у Вишневского.— Знаю и число школ и соотношение национальностей в губернии.

— Как вообще на Волге, нам приходится учитывать свыше тридцати процентов инородцев — татар, мордвы, чувашей, — подхватил Вишневский. — С татарами трудно: их муллы крепко держат, они только и знают свои медресе, но бедны, бедны до крайности... Чуваши и мордва на редкость трудолюбивы. Чуваши хорошие пчеловоды, самый лучший мед в губернии у них. Мордва толкова, переимчива, быстра на новинки. В общем, вы сами увидите. Со школами, конечно, туго у нас, но училищные советы кой-где работают недурно. К вашему приезду собрали много отчетов с мест, их придется обработать...

Илья Николаевич попросил себе карту и стал готовиться к отъезду.

Какой-то помещик, объездивший пол-Европы в собственном необыкновенном дормезе на рессорах, где все было предусмотрено для дорожной жизни, говорил ему как-то полушутя-полусерьезно, что на свете все относительно, и колесный способ передвижения с пристяжной тройкой или даже шестеркой цугом ничуть может быть не медленнее современной паровой железной дороги и, во всяком случае, много удобней:

— Рельсы вы не сдвинете и вагон ваш с этих рельсов по желанию свести не сможете. А лошадей свернете, куда хотите, и дорогу выбираете, где вздумаете, лишь бы лошадям было куда ступить. А скорость — иной чин в эполетах, с особой подорожной, так пронесется, что любому поезду его не догнать, был бы документ да деньги в кармане, да ямщика в спину тузи. Техника — понятие относительное!

Насчет выбора путей этот оригинал, может, и недалеко ушел от истины. По каким только дорогам, куда и носу не сунет чугунка, пробирались лошадиные копыта по матери-земле!

Ездить можно было, в зависимости от цели и средств, на разный манер. Не к спеху — и вы едете «на долгих», произнося это техническое для своего времени слово с ударением на последнем слоге. Выехали из вашего города на одних лошадях с одним ямщиком — и на тех же лошадях и с тем же самым ямщиком доедете до места своего назначения, проезжая по пять-шесть часов в сутки; остановитесь, где положено, на ночлег, погуляете по городу, забредя к знакомому, а то, на манер Чичико-

ва, даже к окрестному помещику. И пока сами отдыхаете, отдыхают и лошади, а там назавтра — опять дорога, бубенчики, ямщицкая песня, придорожные трактиры, заяц через дорогу.

Есть спех — вы избираете «перекладные», и тут действительно мчишься, как выпущенное чугунное ядро из доброй старой пушки времен Очакова. Через каждые пять часов — стоп у ямщицкой станции; молча, с дугами и сбруей на потных спинах, пышущих жаром, отводит ямщик лошадей от коляски, словно паровоз от состава, а из конюшни уже ведут к вам и приставляют в оглобли свежую тройку с расчесанными хвостами, и новый, незнакомый вам кучер, отоспавшийся, вскакивает на облучок, на ходу подбирая вожжи. Не успели оглянуться — и опять мчитесь, опять однотонная музыка дороги, крапчатый дождь простучит по верху дорожной коляски, уминая дорожную пыль, вспыхнет и замрет вдалеке собачий лай. Ночью вы спите, вытянув ноги. Вы привыкли к колыбельному качанью рессор. У вас и голова не кружится, и сны легкие, и свежий ночной воздух летит к вам под полог с дороги, навевая их. Раза три переменят тройку, покуда вы отоспитесь и спросите наутро у незнакомого ямщика: «Что, брат, за станция?»

Но для Ильи Николаевича Ульянова оба эти манера оказались, в сущности, литературной иллюзией, отвлеченной, как и всякая иная иллюзия. Он выехал в казенной бричке, набившей ему в первый же час до боли бока. Пыль столбом стала по выезде из города. Ровная и унылая дорога плыла медленно, вдоль древнего вала, тянувшегося отсюда невысоким, непрерывным ребром до самой Москвы — остаток древней русской истории, когда наступала на эти равнины орда. Часами только и мелькало перед Ильей Николаевичем, немилосердно подбрасываемым на жестком сиденье, белое с черным, — это сливались в глазах бежавшие вдоль дороги «вёрсты полосаты». Переехали реку Свиягу, и стало совсем невмоготу. Сильные осенние дожди прошли недавно в этих местах. Вокруг — до самого горизонта — раскис чернозем, лежавший под паром. Кой-как, мимо бедной деревушки Баратаевки, где дали лошадям отдых, добрались на ночлег до Тетюшей. И что это был за ночлег!

Илья Николаевич еще не знал дорожных правил и не захватил с собой ни погребца, ни персидского порошка.

Похлебав на ночь из одного котла с ямщиком, он улегся было на лавке, но до утра не мог сомкнуть глаз. Вдоль бревенчатых, плохо законопаченных стен непрерывным потоком шуршали клопы, обжигавшие ему непокрытую голову, лицо и руки. Воздух в ямщицкой избе был невыносимо спертый, керосиновая лампочка, всю ночь горевшая, светила тускло, как в шахте. Два крохотных оконца не имели и подобия форточки, но открыть их ему не удалось, — стекло было наглухо вделано в неподвижную раму. А рядом спали еще люди, он слышал тяжкий храп, видел изнеможенные от усталости лица — сон свалил их, как только тело опустилось на лавку.

Но утро, холодная струя из рукомойника, острый озон свежего, деревенского воздуха принесли ему облегчение. От Тетюшей до Тугая идти пришлось пешком, чтоб не пали лошади. Дорога пошла по болотам. Сперва пробирались по гатям — искусственным насыпям, обложенным щебнем, щепками, прошлогодней соломой. Потом пошли зажоры — ямы с водой, чуть прикрытые неожиданно пошедшим ранним снегом. Лошади до колен проваливались и, хрипя, вытягивали из ям ноги под отчаянную ругань ямщика. Он тоже шел рядом, по пояс в грязи, а впереди были версты и версты все тех же гатей с теми же, полными черной воды, зажорами. Лишь на восьмой день добрались они до широко разлившейся под дождями и снегом полноводной Суры. На том берегу ее, поднимаясь над рекой, раскинулось Промзино. Неуклюжий паром ходил по Суре, и они едва нашли себе место между крестьянскими возами, мычавшими коровами, выпряженными конями, стоявшими понурившись и прикрыв ресницами усталые глаза. Илья Николаевич заметил впервые седину старости в лошадиных гривах и ресницы у лошадей, совсем как у людей. Но мысли его лишь мельком коснулись этих подробностей: он неотступно думал о том, что встретил в дороге.

За семь дней пути, всюду, где мог, он сворачивал в деревни, где была или должна была быть школа. Он посетил три из них и сейчас думал об этих школах. В одном месте его повели в караулку без окон. Зимою она освещалась из открытой двери. С десяток ребят сидели в этой сторожке за двумя наспех сколоченными столами. Старинным способом, по складам, их обучала полуграмотная попадья, покуда муж ее отправлял дальнюю требу.

— И часто приходится вам заменять мужа? — спросил ее инспектор, войдя в сторожку.

— Коли время есть, отчего ж не заменить, дело не хитрое,— словоохотливо отозвалась попадья, еще не зная, кто пожаловал к ним.

Разутые, с посинелыми носами, хотя стужа еще по-настоящему и не началась, дети сидели нахохлясь, и было видно, что их привели сюда точь-в-точь так, как, развязывая тряпицу, отдают мужики, вздыхая, дорого доставшуюся гривну на школьный сбор: заплачено — отрабатывайте.

За инспектором в сторожку вошел, сконфуженно улыбаясь, местный староста — маленький рябой мужичонка. Он не видел никакого проку в грамоте, которой и сам не обучался; он не видел проку загонять сюда детей, чтоб тянули нараспев склады, когда могут подсоблять взрослым по хозяйству.

— Второй год одно тянут, рази ж это школа! — произнес он с явным неодобрением.

В другой деревне для школы отведена была грязноватая, с русской печью и заплеванными сенцами изба. Ночью в ней спал на печке сам учитель, отставной солдат.

— Детей почем зря колотит,— пожаловались на него бабы,— а напивается, на всю деревню горланит. Чему такой научит?

В третьем месте его встретила молодая, культурная помещица, с лицом тургеневской девушки. Явно гордясь, она повела его в светлую, большую комнату при барском доме, уставленную выписанными из города крашеными пюпитрами. Помещица оборудовала школу на свой счет и будет вносить на ее содержание триста рублей ежегодно. Вот только нет подходящего учителя. Ее племянницу не удалось уговорить остаться. Училищный совет обещал прислать... И она занимается пока сама.

— А где же учащиеся? — спросил ее инспектор, разглядывая картинки на стенах, чистые, нетронутые тетради на пюпитрах и большую аспидную доску с нетронутым мелком.

— Дети пока еще очень нерегулярно ходят,— ответила помещица, вспыхнув. Ей стыдно было признаться, что никто из детей не заходил в эту комнату, вспугнутые

пронзительным ее окриком — снять сапоги с налипшей грязью. Что сталось бы с этой красавицей-комнатой, если б дети пришли сюда как они есть! Она твердо решила построить баню и сперва привести их в порядок, сколько бы это ни стоило, вот только управляющий... С ним надо торговаться.

Школа, но без ребят в одном месте; ребята — и без школьного помещения в другом, а главное — главное было в отсутствии центральной фигуры — настоящего школьного учителя. Илья Николаевич за семь дней пути уже освоился со всеми неудобствами дороги, привык к ним и замечать перестал; даже насморк, с каким выехал он еще из Нижнего, прошел от непрерывных, так хорошо согревавших его усилий в дороге, когда, помогая ямщику, он подталкивал бричку или просто с трудом месил и месил ногами дорожную грязь. Ветер и дождь исхлестали ему щеки, он был необычно румян, похудел, подтянулся, и трудности ничуть не испугали его. Он втягивался в предстоящее ему большое дело, зная, что уже ни за что не уйдет от него. И ему было ясно, с чего надо начать. Методика, звуковой способ, замечательные, бесспорные законы дидактики, о которых он уже столько читал и слышал,— все это так, но это не может зажить, стать действенным, открыть настоящую свою цену без живого носителя педагогической науки, без подготовленного учителя. Здание, оборудование, книги и пособия — все это так, обо всем этом надо начать хлопотать,— но люди, люди... Поставить школьное дело во вверенной ему большой губернии, чтоб это дело стало реальностью, можно лишь с помощью учителей, десятков учителей, для которых родным станет дело обучения крестьянских ребят. И он дал себе слово: как вернется в город, первым долгом начать подготовку учителей.

Паром медленно двигался по реке, а гребцы в раздувшихся от ветра рубахах мерно поднимали и опускали в воду длинные, похожие на лопаты, весла. Вот он подплыл к пристани, полетела на берег тяжелая цепь, и кто-то в один миг закрепил ее на причале. Возы один за другим стали съезжать с парома. Было заметно, что они приехали не в простой день недели,— Промзино шумело праздничной жизнью. Трехцветный флаг Российской империи болтался на шесте, как в праздник; у церкви толпился народ, слышалась разухабистая гармонь — было

четвертое октября, день торжественного открытия в Промзине своей телеграфной станции.

«Станцию открывают — наверняка первым долгом есть для нее телеграфист,— невольно подумал Илья Николаевич.— Вот так надо открывать и школы».

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

РОЖДЕНИЕ СЫНА

Тем временем Мария Александровна устраивалась на новом месте. Ей было трудно. Мужа она почти не видела: неделями он не ночевал дома. Кроме семьи Ауновских, ей не у кого было спросить совета, одолжиться необходимым. Соседей, близких, как в Нижнем, по общему коридору, здесь совершенно не было, весь склад жизни оказывался другим.

Стрелецкая улица, где Ауновский нанял для них флигель, одним своим концом выходила к небольшой Никольской церкви, ныне снесенной, а другим упиралась в Старый Венец, в тюрьму, чуть не за город. На этом дальнем конце, во дворе двухэтажного дома, и помещался нанятый флигелек.

После нижегородской «анфилады» он показался Марии Александровне тесен, она не могла даже распаковать всю мебель, и часть ее была снесена на чердак. Но хозяин уверял, что скоро освободятся верхи в большом доме, окнами на улицу.

На Старом Венце — крутом откосе над Волгой, занесенном желтыми мокрыми листьями,— уже веяло близкой зимой. Резким холодом несло от деревянных, тоже мокрых скамей. Внизу в дивном просторе вилась Волга, и небо над ней было исчеркано, словно мелом по синеве, густым пером облаков. Сюда по воскресеньям приходили мастеровые сорить семечками, грызть сладкие черные стручки и наигрывать на «тальянке». Тюрьма, огороженная стеной, выходила окнами прямо на Венец. Сквозь решетки постоянно налипали бледные жадные лица и выбритые головы. В будни, когда народу было меньше, приходилось посылать сюда на прогулку Аню и Сашу.

Одной Насте уже трудно становилось управиться, и Мария Александровна письмом попросила сестру Ан-

нушку подослать ей к весне из Пензы няню, такую же опытную, как веретенниковская.

В первый день, приехав и едва разложившись, Мария Александровна была новым городом, несмотря на тесноту флигеля, даже довольна — все ей напоминало деревню. Тихие особнячки с деревянной резьбой, скамейки перед воротами, пыльная, немощеная улица, дощатые тротуары, куры, копающиеся в навозе, унылое кукареку с чужого двора и приглушенность, обособленность их собственной жизни, канувшей сюда, словно капля дождя в песок,— так все хорошо, «вольготно» было тут, по выражению Насти, тотчас же с парохода принявшейся во дворе за стирку, чего уже никак не позволялось на гимназическом дворе в Нижнем.

На центральных улицах, правда, деревня уже отступала, но словно бы не перед городом, а перед поместьями. Статные, белые с желтым, особняки; малиновые с белым, изукрашенные кирпичными зубчиками под крышами и на карнизах, казенные заведения; тяжелые «ряды» прошлого царствования — все это носило особый, не похожий на нижегородский, колорит. Здесь с гордостью показывали ей белый дом господ Языковых, где проездом останавливался Пушкин; длинное, похожее на хлебные амбары, здание, где в богатой купеческой семье родился писатель Гончаров; называли своих симбирцев — Минаевых, Воейковых; поэт Минаев родился тут в 1835 году, Анненков Павел Васильевич — в 1812-м, а в их же губернии в 1766-м родился Николай Михайлович Карамзин. И словно во внимание к этой чести здесь тоже, казалось, царила тишина.

Но тишина обманывала.

На второй день по приезде Ульяновых перед домом Прибыловского задержалась карета — это приехали первые визитерши. Мария Александровна вышла, как была, с доброй улыбкой на красивых губах, милая и приветливая. Тотчас же было замечено, что инспекторша держится хорошо, прямо, как институтка, и губы у нее с лукавством,— народ говорит про такие: «губы сердечком»,— тонкие, чуть пухлые на середке, словно еще не раскрытая в бутоне улыбка, а над губой справа большая родинка. Печенье же инспекторши прямо «во рту тает».

Но за первыми визитерами нахлынуло их множество.

В деревяииых особнячках с резьбой жили дворяие, купцы и чииовники; у них служило по пять-шесть человек бывших дворовых. Осеиью из деревии приказчик посылал дворяиам возы битой дичи, мешки с мукой, бочки соленого и квашеиого, ящики сушеиья и печенья.

Через иеделю, когда собственное иадоедало жевать, иачииались «гости» — весь город ходил жевать друг к другу. Люди иазывали это «проводить время». А у Марии Алексаидровиы время было самый драгоцеииый продукт ее хозяйства; она высчитывала и выкраивала каждый его обрезок, чтоб успеть хоть на иочь, иа полчаса, вынуть и для себя киигу из комода, заложениую закладкой, и почитать при лампе, поворачивая листы, как это оиа одиа умела, с верхиего края, осторожно и ие загиув угла. И добро бы шли эти люди для разговоров, заменяющих иной раз хорошую книгу, как это повелось у иих в Нижием. Переливали из пустого в порожнее — вот был симбирский разговор в гостях. Музыка тут любовью ие пользовалась, театр пустовал; когда показали «Горячее сердце» Островского, десятка зрителей ие было в зале!

И приходилось отгоиять гостей разными хитростями: всякий раз будто только-только еще приехали они в Симбирск, будто и не успела смеиить рабочей одежды, и даже безмолвиая выразительность ее спущеииой поверх пояса блузки иад приподнятым животом,— ну как тут «прииимать» и самой «выезжать»? Прежияя нижегородская застеичивость, заставлявшая ее так часто и легко вспыхивать, уже прошла. Уже оиа различала, кому ие стоило отвечать улыбкой иа дешевую и привычиую светскую улыбку.

Скоро между симбирскими дамами и ею повеяло холодком отчуждеиия. Опять, как в Нижием, прошел стороной иеприятный слушок о том, что-де Марии Алексаидровне не хватает «широкой русской иатуры».

Великим постом приехала от сестры Аннушки из Пензенской губериии со своей подушкой и деревяииым суидуком, коваииым по углам железом, иовая ияня Варвара Григорьевиа — толстая, строгая, средних лет, с бровями кустиком, где иад мелкими русыми бровиками росли другие потемиее и подлиниее.

На страстиую неделю мороз сдал сразу, и сделалось

душно, как в парнике; белый Симбирск осунулся, повисли дымные очертания его церквей. В воздухе, в снегу, в скованной Волге, в почтовых трактах, уходивших из города в белые поля, шло неотвратимое, медленное движение к весне.

Марии Александровне нужно было готовиться к пасхе. В среду на страстной с кухаркой Настасьей она поехала по магазинам.

Неимоверно были грязны улицы; рынок забит возами со всякой снедью, битыми индейками и пулярками, балыком, осетриной, кадушками со сметаной и творогом, мешками муки всех сортов помола, корзинами свежих яиц. Мужики ночевали тут же в рогожах, пряча выручку за онучи. Извозчики стояли и ждали стайками, крича заранее: «пятиалтынный», «две гривны», даже «пожалте за гривну, по воздуху домчу!» Паперти кишели нищими.

Мария Александровна не задумывалась, верит она в бога или нет, но не любила разговоры о религии и не откликалась, когда перед ней разливались на эту тему. В глубине души она была скорей неверующей, и чем дальше, тем больше. Представить себе бога она могла не иначе как насильственно, отрешившись от всех обычных представлений о жизни и предметах, и ей просто трудно было найти ему в воображении место, еще не занятое другим чем-нибудь. И уж чего она решительно не понимала, так это обращения к религии в поисках истины, в желании объяснить, откуда произошла жизнь. Если даже есть бог, думала она, то ведь это значит, он должен быть такой сложный и такой окончательный, раз к нему сводится весь смысл жизни, что он труднее, сложнее всякой науки, дальше от ума, чем все законы природы, и, чтобы постичь его, надо больше потратить времени и учения, чем на постижение одного какого-нибудь из его маленьких законов! А если он дается людям легче науки, так в нем не может быть истины, это самообман вроде звона в ушах.

Но мыслями своими она мало с кем делилась и обряды соблюдала вместе с семьей. В страстной четверг зашла она в битком набитую Никольскую церковь, где, знала, должен присутствовать и муж. Но невозможно было увидеть его в толпе. Нестерпимейшая духота охватила ее, потная, промасленная; и Мария Александровна





вспомнила правило своего отца: хочешь прожить долго, живи на воздухе; свежий воздух — комфорт умного человека.

Она не выдержала, не стала дожидаться конца службы, а вернулась тихонько домой, не зажгла нигде лампы и сама прилегла, как была, одетая.

Утром в пятницу, десятого апреля, Илья Николаевич поехал из дому прямо в типографию «Симбирских губернских ведомостей», чтоб просмотреть и выправить идущий в завтрашнем, субботнем, номере, последнем перед пасхой, отчет о состоянии симбирских народных школ. Отчет был длинный, и газета согласилась провести его в трех номерах. Завтрашнее начало и его продолжение шли за подписью И. Вишневского, и только окончание отчета подписал он сам, хотя вложил свой труд и в первые два. Со вниманием просмотрев гранки, подписанные Вишневским, он еще раз пробежал глазами остальную рукопись.

То был его первый инспекторский отчет, где подводилась всесторонне освещенная общая, итоговая картина образования народного в целой губернии. Тут были цифры, присланные с мест и проверенные на местах, были характеристики, данные уездными училищными советами, и были его, Ильи Николаевича, собственные выводы, к которым пришел он не на одном лишь анализе уездных отчетов, а побывав за полгода в каждой деревне, где только имелась народная школа. Многое после первой поездки показалось ему не так уж плохо, многое успел он переоценить, передумать. Сколько раз и сам он, собрав сход, говорил с крестьянами, убеждая их видеть в школе свое личное, важное, нужное дело,— и научился простыми, ясными словами затрагивать их интерес. И отыскались ведь кое-где не одни бестолковые дамы-патронессы, безграмотные попадьи, пьяные солдаты, тупые писаря и батюшки, поспешавшие на требу за яичками, курочками и рублями, а настоящие учителя, с искрой в душе, с пониманием дела, помещики — патриоты школ, горячие земские деятели...

Илья Николаевич уже ясно, как на ладони, видел перед собой всю свою будущую работу, а карта губернии перестала быть для него только белыми кружевами на кальке. Он быстро читал про себя:

«Число учащихся обоего пола в 430 сельских школах

по губернии простирается до 9717... Обучающихся мальчиков с лишком в 5 раз больше девочек... Крестьяне, даже из чуваш, начинают сознавать пользу грамоты для мальчиков, но... не могут понять, для чего нужна грамота женщинам. Для этой цели постепенно вводится в женские школы обучение простому рукоделью...»

«Училища имеют различные помещенья: бывшие удельные имеют особые дома, более или менее приспособленные к делу обучения... хотя некоторые уже приходят в ветхость и холодные во время сильных морозов... Женские школы... или в домах священно- и церковнослужителей, или в крестьянских избах, или в церковных караулках, иногда сырых и холодных. Необходимо озаботиться заменой неудобных во всех отношениях церковных караулок более удобным помещением, потому что в сырых и холодных караулках... нельзя ожидать успешного хода учения».

«Методы преподавания в школах различны: в одних употребляются до сих пор старые приемы, постепенно оставляемые дельными преподавателями, в других употребляется метод Золотова и, наконец, в немногих начинает постепенно вводиться прием барона Корфа».

«В некоторых училищах употребляются следующие дисциплинарные средства: занесение фамилий лучших учеников на красную доску, худших на черную, постановление ленивых, шалунов на ноги во время класса за столом и поодаль на колени... Из всех этих мер желательно было бы постепенно выводить из употребления ставление на колени, как меру чисто физическую, а вводить, по возможности, меру нравственного влияния на учеников».

«Число учащих в губернии 526, в том числе: священников 294, мулл 3, учителей с их помощниками 199 и учительниц 30. Учителя большей частью из крестьян (59), затем из духовного звания (31), мещан (20); есть также сельские церковнослужители, чиновники, сельские писаря и унтер-офицеры».

«Губернское земское собрание, заботясь об улучшении народного образования по всей губернии, открыло педагогические курсы при симбирском уездном училище с целью приготовления народных учителей, для чего и ассигновало в прошлом, 1869 году, 1850 руб.»

Илья Николаевич вздохнул — маловато, конечно. Важен, однако, самый почин, а почин положен, тут и его меду капля.

«Степень... сочувствия крестьян школе находится в прямой зависимости от пользы, приносимой училищем их детям, а польза в свою очередь, прямо обусловливается личными качествами и добросовестным ведением дела преподавателя».

Он дочитал и увидел, что рукопись еще не подписана, поискал глазами перо, взял у хозяина типографии и тут же вывел свою подпись: *И. Ульянов.*

У него было хорошо на душе: дело двигается, завтра весь день — отдых в семье с детьми, с женой. Машенька что-то прихворнула утром...

Весело он вышел на улицу и распахнул пальто — так тепел был воздух. На город неудержимо шла весна, с треском и шумом ломались волжские льды внизу.

Перед флигелем его остановили — входите тише!

Соседка их по квартире, Анна Дмитриевна Ильина, маленькая, круглая, с черным пушком над губой — «научная фельдшерица», как ее называли в городе, а попросту — первая симбирская повитуха с медицинским образованием, уже стала хозяйкой во флигеле.

Он тихо открыл дверь. Праздник остался — на столах и в кастрюлях, на кухне и в кладовке — начатый и неоконченный. Яйца не докрашены, остуделое тесто задвинуто в угол. Сквозь запах ванили и шафрана, купленных только вчера, бил в нос другой запах — аптечный.

Жена лежала в спальне, распустив волосы, улыбаясь, в бледной испарине, вся в чистом, и комната была белая, как белоснежный халат Анны Дмитриевны.

— Айда, айда, Илья Николаевич, это не ваше мужское дело, и без вас справимся!

— Вот не вовремя, Ильюша,— шепнула Мария Александровна, виновато взглянув на него.

А уже через час он опять входил в комнату, и тот, кто так просто по-свойски пришел в мир, разворошив праздник, лежал, как и все младенцы, кумачово-красный и орал на столе, потому что Анна Дмитриевна, как того требует обычай, здорово его нашлепала.

Отец подошел и нагнулся. Перед ним лежал четвертый его ребенок, крохотный Ильиченыш, старообразный, как все новорожденные, с огромным, глыбастым лбом в рыжем пуху и маленькими лукавыми глазенками из-под него, словно подмигивающими отцу на быстроту и непрошенность своего вторжения.

Анна Дмитриевна с утра уже знала, как назовут дочь, если будет дочь, и как назовут сына, если будет сын.

— А ну, берите нас, папаша,— затянула она голосом всех акушерок мира,— поздравьте нас, папаша, с новым жителем на земле, Владимиром Ильичем!

1937—1957. Ульяновск—Москва

ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ

РОМАН-ХРОНИКА



ГЛАВА ПЕРВАЯ

«ЗАТЕЯ ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЕ?»

1

За два месяца до рождения Владимира Ильича,— а именно 10 февраля 1870 года,— министр народного просвещения граф Дмитрий Толстой сидел у себя в служебном кабинете. Слева от него лежала пачка документов, уже составивших то, что на языке департамента называется «делом», хотя и представляет собою чаще всего только бумагу. Справа, в красивой вазочке, белели своими хвостиками тонко обчищенные гусиные перья. Хотя уже всюду, в том числе и в его министерстве, вводили в обиход стальные перья, министр любил, особенно для черновиков официальных писем, употреблять гусиные. Почерк у него был мелкий и женственный. Почтовая бумага для личных нужд — заграничная, цветная и тоже мелкого дамского формата. Но сегодня перед ним лежал казенный бланк, и на казенном бланке министр принялся поскрипывать гусиным пером:

Господину Главному Начальнику III Отделения собственной Его Императорского Величества Канцелярии...

Письмо было длинное. Во время писанья он приподымал большой палец левой руки, придерживавшей на столе пачку документов, высматривал в них уже готовое, нужное ему, слово или выражение и опять опус-

кал на них палец, словно зажимку. К концу письма на лице его проступило то неискренее и двусмысленное выражение, когда думаешь одно, а делаешь другое. Окружающие знали это выражение на лице министра, и смельчаки, в тесном чиновничьем кругу, даже, случалось, мимицировали его. Это выражение называлось в департаменте: «Лично я — против».

Граф Дмитрий Толстой писал:

> *«Признавая весьма полезным осуществление вышеизъясненного предположения Общества любителей естествознания, я, предварительно какого-либо по сему распоряжения, долгом считаю обратиться к Вашему Сиятельству с покорнейшей просьбой почтить меня уведомлением: не встречается ли с Вашей, Милостивый Государь, стороны препятствия к устройству означенной...»*

Тут был целый клубок лицемерия, совершенно ясный для писавшего и для адресата.

Во-первых, министр органически не переваривал любителей естествознания — и скопом, и в одиночку: лишь недавно он в борьбе отстоял и ввел новый устав для российских гимназий, где порядком урезал в пользу классики часы, раньше отводившиеся для наук о природе. Он отлично осведомлен был, как действовало естествознание на религиозные воззренья гимназистов и студентов и кто именно из бунтовщиков, атеистов, вредных для Российской империи деятелей, заканчивал именно этот факультет. Когда перед ним, в своем кругу, кто-нибудь рисковал защищать науку о природе, ссылаясь даже на Лукрециево «De rerum natura», он поднимал брови: а Герцен? а Писарев?.. И явно не мог поэтому признавать «весьма полезным» любое начинание Общества любителей естествознания.

Во-вторых, фраза «предварительно какого-либо по сему распоряжения», в переводе с канцелярского на человеческий язык означавшая «прежде чем что-либо сделать самому»,— была просто обоюдным обманом. Хорош был бы министр, если б вздумал не распорядиться, а начальник III Отделения — усмотреть препятствия в деле, на которое сам государь повелел отпу-

стить из сумм министерства государственных имуществ две тысячи рублей, а все великие князья уже состояли в почетных членах этого «выше изъясненного».

И в-третьих, наконец, и сам граф Толстой, и все III Отделение, добавившие еще один документ к распухавшему делу,— если б могли, задушили его в зародыше, как и много подобных дел, разводивших только лишнее беспокойство на Руси и подкапывавших ее устои...

Министр позвонил, и чиновник принял из его рук исписанный бланк. На таком же бланке «департамента по делам ученых учреждений» писец размашистым почерком переписал все послание, в конце которого министр поставил свою подпись. После этого бумага пошла ходить по кабинетам министерства, получила свой номер — 1490 — и обрела действенную плоть официального документа.

Но что же это было за «означенное» и «вышеизъясненное», что министр, скрепя сердце, признал «весьма полезным»?

Оно зародилось в головах милейших и очень уважаемых людей, профессоров и ученых, после успешно организованной несколько лет назад «Этнографической выставки». На этой выставке, не говоря уж об ее успехе у широкой публики, ученым удалось встретиться и завязать связи со своими коллегами из других стран и особенно из Австрии, называвшейся «лоскутной монархией» именно в силу этнографической пестроты ее населения. А в результате выставки возник в Москве такой нужный музей, как этнографический, получивший прозвание Дашковского.

Вся Европа охвачена была манией выставок после того, как Англия первая устроила такую у себя. Они окупались. Они укрепляли промышленные и торговые связи. На них можно было открыто изучать, что делалось у стран-соперниц. Словом, выставки — одна за другой — начинали устраиваться в разных местах Европы и заменять собой дипломатические ассамблеи. Но для России, для русских ученых они имели особо важное значение. Россия так явно отставала и в культурном, и в коммерческом отношении, и это так вредило ее международному престижу! Молодой русский капитализм только начал голову высовывать из пеленок, а

в Европе давно кричали о выгоде приложения капитала в России, о дешевке рабочей силы в ней... Английские, бельгийские, французские промышленники и фабриканты плотно оседали на русских окраинах, там, где поблизости уголь, руда, леса. А русские фабриканты задыхались от этой дешевой силы,— от ее темноты, неумелости, непроизводительности; им не хватало мастеров, командиров производства, низшего технического персонала... все упиралось в технику. И когда, после успеха этнографической выставки в Москве и мануфактурной в Петербурге, профессора на своих собраниях вдруг произнесли: «Политехническая выставка», первыми зашевелились и откликнулись купцы. О выставке сразу заговорили, как о частном предприятии на частные средства. Частные средства потекли большими, тысячными пожертвованиями от именитых торговых фирм Губонина, братьев Поповых, Шаблыкина, от самого Тимофея Саввича Морозова, от железнодорожного туза-миллионщика Карла Федоровича фон Мекка. Первый в царстве помещик, Романов, тоже откликнулся пожертвованием из своих частных средств; и князь Сергей Михайлович Голицын, пустившийся в коммерческие аферы вслед за купцами, тоже оказался в числе жертвователей. Министр финансов, Михаил Христофорович Рейтерн, охотно принял звание почетного члена комиссии, когда эта комиссия была создана,— ведь его министерству раскошеливаться не пришлось.

Во всех этих разноликих силах и влияниях явно было только одно: время для серьезного вопроса о технике, о необходимости поднять и усилить отечественную технику — очень назрело; и «Политехническая выставка» была нужна государству и обществу, со всех сторон нужна: и как смотр всего наличного, что имелось в стране, и как показ его не себе только, а и наружу, за рубежи, чтоб знали и видели; и как место, где на ходу можно и поучиться, и поднять назревшие вопросы. Но помимо таких общих целей, у каждого из участников была своя цель, и если представить себе цели, как оттенки всевозможных цветов, получилась бы довольно пестрая палитра — «борьба ко́леров», как сказал бы художник, до выработки единого колорита.

Хотя, если судить на отдалении времени, вот сейчас,

с наших вершин сознания,— в идее выставки в самом начале преобладал один, очень могучий колорит. Выставка задумана была как московская. В те годы «Москва» и «Петербург» еще не лишены были,— да, впрочем, вряд ли когда и вполне лишатся,— того специфического идейного наслоения на прямом их словесном смысле, какое выработал и придал им дуализм русского исторического развития. В Москве все еще, по старой памяти, несмотря на смерть Хомякова и Константина Аксакова, княжили в своих домах славянофилы, с летами и сединами лишь набираясь бо́льшей густоты того «духа», какой, за неимением лучших наименований, определяли и как дух «искони русский», и как дух «Москвы-матушки» или «расейский» — понятие не то географическое, не то совместившее в себе по звучанию нечто и от «расы», и от «россиян».

Москва, к счастью для нее, была, кроме всего прочего, и провинциальная, широко открытая для гостей и разговоров, фрондирующая в своих гостиных, всегда несколько чем-то и за что-то в обиде и потому имевшая на кого-то и на что-то зуб. Один из хозяев города сам был славянофил,— Юрий Самарин, много лет сидевший простым гласным в Московской Думе, но заправлявший всеми ее делами. Злые языки говорили про него (или доносили при случае), что все доклады, какие в Думе делаются, пишет он сам за всех, и все решения, какие в Думе проводятся, решает он сам за всех.

А в Петербурге — Петербург был хоть и детищем Петра — Преобразователя сермяжной Руси,— но и столицей Империи, местонахождением двора и центром той симметричнейшей паучьей ткани, какая протянута была над Империей,— центром чиновничества. «Западников» в нем осталось,— за вычетом тех, кто сидел по тюрьмам и пребывал на чужбине,— раз, два и обчелся, да и те были кандидатами на выезд. Но что-то оставалось, что-то... несмотря на железные скребницы III Отделения, жандармскую метлу, серые тени Гороховой улицы, просиженные департаментские стулья... что-то. В чем, где? Москвичи говорили: петербургский душок, петербургское веянье,— отнюдь не разумея ни острого пера петербургских журналистов, ни чего-то придворно-полицейского. Откуда рождалось это веянье над призрачным городом берегов Невы, эфемерное, не вмещаемое в по-

нятия и, казалось бы, так мало приспособленное к удушливым испареньям каналов, острой игле, пронзающей небо, непримиримой прямизне проспектов? Но вот же было оно, было бесспорно, и веянье это всякий раз встряхивало славянофилов, как электрический ток, воскрешая исконную, неистребимую ненависть. Быть может, исходило оно нескончаемой эманацией от красоты его фасадов, перламутрово змеившихся в черноте каналов, от ненаглядного рисунка чугунных решеток,— глядишь не наглядишься,— от тяжелой головы Исаакия, уходящей по самые плечи фронтонов и, несмотря на тяжесть,— прекрасной своей непостижимой четкостью в небе, своим отношеньем к пространству вокруг. Поставь эту четкость, обозримость, графическую тонкость линий, этот постоянный простор небесный и водный, охватывающий, как две створки раковины, жемчужную красоту города,— поставь это все рядом ну хоть с уцелевшими от пожара пухлыми московскими особнячками, с пряником юсуповского дома, со всеми этими храмами и хоромами,— криво-горбатыми переулочками, вшивыми, каретными, черногрязскими, сивцевыми,— горками, рядами, проездами, переездами, овражками— покрытыми поверху россыпью ярко-золоченых либо зеленых церковных луковиц, а внизу — круглой дребеденью булыжников,— и сразу почуешь разницу. Веянье шло, как из дальних морей-океанов на глухой континент, словно сквознячком из пробитого окошка. А за этим окошком мерещилась Европа со всей ее чуждой утварью, со всем ее несоответствием русской земле,— парламентами, дерзостными речами, скандалами в министерствах, вотумами и запросами...

Те, кто впервые замыслил Выставку, отнюдь не были ни славянофилами, ни западниками, о которых в семидесятых годах и думать уже не стоило, как о прошлогоднем снеге. Но оттенки сохранились. И уж одно то, что идея зародилась в Обществе, состоявшем при Московском университете, не могло не придать ей свой, московский, оттенок. Местом для Выставки предположили Московский Кремль. Цари посещали его лишь во время коронаций, и он был открыт для публики. Предполагалось разместить павильоны во всех его садах,— на все полторы версты узкого Александровского и на зеленых пятачках в самих стенах Кремля, от Боровицких до

Спасских ворот, захватить Манеж и всю набережную Москва-реки против Кремля. Об этом уже была договоренность и с московской дворцовой конторой и с министром императорского двора. Но, разумеется, ни этого разрешения, ни купеческих пожертвований, ни самой Выставки не могло бы состояться, если б навстречу идее не засветилась подходящая дата. В мае 1872 года исполнялось двухсотлетие со дня рождения Петра. И задумавшие Политехническую выставку удачно соединили ее именно с этой датой, отчасти примирив таким образом Москву с Санкт-Петербургом.

Когда родится на свет ребенок, родители видят в нем свое произведение и подобие. На самом деле в крохотном кусочке материи, получившем бытие на земле, родители — только одно из миллионных звеньев происхождения ребенка. Все, чем жила вся цепь его предков,— от «Адама», потому что во всей бездне веков не было самозарождения человека, а рождала его мать, тоже рожденная матерью,— вся цепь человеческой эволюции со всем, что входило в ареал, как ботаники говорят, в окружение каждого звена этой цепи, история, природа, лично содеянное и прибавленное этим звеном — все это не только участвовало в появленье ребенка, но и было воспроизведено в нем, хотя расслоить и рассмотреть все слагаемые сделалось уже невозможным. Так и рождение любимого дела, задуманного человеком, подобно рождению этого ребенка. Вот оно пришло в голову одному, двум, трем; им занялась избранная комиссия; оно начало осуществляться и осуществляясь — затрагивать и втягивать десятки интересов других людей, других учреждений; и уже десятки перевалили за сотню, и в этой сотне интересов, как в банке с пауками, начались свои противоречия, нелады, взаимопоеданья; и даже те, кто, казалось бы, не затронут и не втянут, придали свою частицу участия в рождаемом деле — тем, что высказались о нем, установили на него свою точку зрения и этим стали оплетать его новым покровом бытия, р е п у т а ц и е й. А созданная современниками репутация рожденного дела стала как бы собственной его тенью, и когда умерло дело, забыто и пеплом засыпано,— стала жить в веках или в летописях истории именно эта тень,— его условная «репутация».

Я пишу «условная» потому, что тысячи дел истории

глядят на нас из прошлого этими своими тенями созданных искусственно репутаций, похожих на бумажки, составлявшие в недалеком прошлом curriculum vitae, «круг жизни» человека, предъявлявшиеся при поступленье на службу. Конечно, все эти бумажки говорят о фактах, датах, перемещениях, награждениях, утратах, выговорах и вообще о достоверных вещах, как верстовые столбы на дорогах. Но отложите их в сторону, забудьте их и взгляните на человека. Он встанет над своим curriculum vitae, живой, дышащий, преходящий, меняющийся, непроницаемый, как тело над тенью. И по тени, пусть взяла она свои пульсирующие очертанья от его тела и света,— никак нельзя ни увидеть, ни понять самого человека.

У колыбели рождавшегося в Российской империи отнюдь не очень великого дела, первой на Руси Политехнической выставки, историк-романист, если он любит глядеть не на верхушки, а на корни вещей, не сможет миновать вот этих, приведенных мною выше, размышлений. Если говорить о бумажках, о curriculum vitae Выставки, то рассказать о ней было бы просто и немногословно. А если вглубь заглянуть, вся жизнь человеческого общества, с поставленным перед ней знаком времени, все характеры и состоянья ее, медь и солома, сталь и воск, железо и дерево,— все вдруг поднимется из глубины, раскинет над вами свою крону, зашумит,— и только лови, не потеряй эти звуки, разбирайся в них, коснись каждой ветви, каждого зеленого побега. Тут одна музыка, может быть, в силе передать великое многосплетение бытия, да и то лишь в симфонии, десятками разных инструментов, поющих свою партию...

2

Благожелательность к Выставке, проявленная в высших сферах Империи, отчасти была обязана личному влиянию военного министра, тезки графа Толстого,— Дмитрия Алексеевича Милютина. Но кроме имени, у этих двух русских министров не было ровно ничего общего. Среди вольнодумцев даже ходили слова: Дмитрия М. посадить бы над школами, а Дмитрия Т. командовать взводом. Дмитрий Милютин не только сам был

читающим и думающим человеком, но хотел бы всю свою армию, все русское крестьянство видеть читающими и думающими по-европейски; он был уверен, что опора трона только тогда может быть крепкой, когда она сознательна, и всякое служение только тогда полезно, когда оно сознательно. Дмитрий Милютин был монархист того, уже исчезающего типа, какими были сторонники единоначалия в век просвещенского абсолютизма. Он почти физически страдал от российского отставания, от российского невежества, от российского холуйства. Не очень крепкий здоровьем, с ноющим от полученной на Кавказе раны плечом, блестящий военный историк, он был любим в армии, очень популярен в штабе между молодыми генералами и, когда надо, проявлял твердость и даже своего рода элегантную властность в решении государственных вопросов, опять напоминавшую что-то от министров восемнадцатого века. С первых же дней он и его энергичный помощник, генерал-адъютант Николай Васильевич Исаков, ухватились за идею Выставки, заняв в ней ведущую роль. Был разработан обширный план военного отдела, истории русской армии, двенадцатого года; были предназначены особые павильоны в самом Кремле и в манеже, или, как тогда говорили, экзерциргаузе, для последовательного показа русской военной техники, роли Петра Первого в ее развитии. Исторический «ботик Петра Великого», как священный эмбрион русского флота, должен был с торжественными почестями доставлен быть по воде и посуху, с почетным эскортом, из Питера в Москва-реку, и возле него, на все время Выставки, сменяться караул в мундирах эпохи Петра. Но то были юбилейные, праздничные планы, цель их — поднять самоуваженье у русского посетителя Выставки, пробудить в нем законную гордость. А главной задачей министра Милютина было использовать Выставку для широкого просвещения масс, для целей русского образованья. Когда началась подготовка к Выставке и уже по-настоящему, не перьями по бумаге, а полозьями по снегу, колесами по рытвинам,— заскрипели, задвигались в Москву-белокаменную подводы с бесчисленными экспонатами, съехались застройщики, и назначенный главным архитектором Выставки Дмитрий Николаевич Чичагов приступил к возведению эфемерного чудо-городка на обширном пространстве

кремлевской возвышенности,— военный министр Милютин задумал устройство в манеже педагогических лекций для народных учителей. И здесь натолкнулся на резкое противодействие своего тезки, министра просвещения.

«Суется не в свое дело! Привык воевать — казуса бэлли[1] захотел! — говорил Дмитрий Андреевич Толстой своим ближайшим друзьям, тоже неодобрительно смотревшим на военного «просветителя».— Как это соединять всякие курсы с торжеством Выставки, с юбилеем царя Петра! Мало у нас смуты! И это в ту пору, когда нечаевское дело слушалось, когда приходится сотни циркуляров в учебные округа рассылать о неблагонадежности разных народных учителей из нигилистов да студентов-недоучек, чистить, чистить и чистить, а тут вдруг напусти их в Москву на курсы, в Москву, куда Августейшая фамилия приедет!»

Но время было против министра просвещенья. Заглянув немного вперед по календарю, ко дню открытия Выставки, мы попали бы на примечательный для тогдашней Руси съезд. Он носил название Четвертого Промышленного, хотя и в числе докладчиков, и в числе участников главными его заправилами были, в сущности, не промышленники и не коммерсанты, а профессора и ученые. Очень известного среди москвичей, Виктора Карловича Делля-Вос, директора Московского технического училища,— избрали тут же на съезде его председателем; докладчики тоже были не из рядов русской индустрии, а уполномоченные Общества технических знаний — и темы докладов, как и всего, в сущности, съезда касались промышленности лишь боком, а решали насущную для России задачу: каким должно быть техническое образование.

Задавленное реформами Дмитрия Толстого и наехавшими в Россию еще с давних времен учителями-классицистами; загнанное классической гимназией на самые задворки,— техническое образование отомстило за себя стыдом и позором для русского промышленника. Делать-то машины, а машинами делать продукцию, а для машин сталь и чугун лить, а для чугуна и ста-

[1] Casus belli — повод, конфликт, ведущий к войне *(лат.)*

ли — железо из земных недр добывать, уголь копать, шахты ставить — никак нельзя было греческим языком, при всем его благозвучии, и латынью, при всей прелести ее периодов,— нужны были для этого совсем другие знания, другие человеческие руки Мизерно поставленные ремесленные и технические училища явно не удовлетворяли спроса времени. Едва собрался Четвертый Промышленный съезд, как уже в его адрес из Тверской губернской земской управы пришла просьба: составить проект низшей технической школы. То была лишь одна просьба из десятков ей подобных, но она как бы дала ключ к съезду, к образованию разных комиссий съезда, изучавших формы технических школ в Англии и Швеции, и к спору, разгоревшемуся на самом съезде. Спор был очень примечательный, очень интересный для всей истории культуры в России. Что техника русскому человеку позарез нужна и технические школы необходимы, как хлеб насущный, с этим были согласны все. Но вот только ли одна голая техника и можно ли ее взять тоже голыми руками, здесь прошел между присутствующими непроходимый водораздел.

Докладчики вынесли на съезд как бы уже готовое решение: только лица, получившие общее образование, могут освоить техническое; без общего, без грамоты, арифметики, черчения, общего кругозора по истории отечественной и вообще истории,— нельзя приступить к овладению техникой; и вот почему в первую голову надо позаботиться о повсеместном устройстве элементарных школ, то есть о широком народном образовании.

Когда читались докладчиком эти готовые выводы, в густом конце зала, где тесно сидели промышленники, прошло движенье. Послышался чей-то шепоток: «сказка про белого бычка... начинай сказочку сначала...» Тимофей Саввич Морозов не выдержал и взял слово. Он начал с того, что говорить не мастак, да и нечего тут говорить, поскольку дело ясное и заворачивать оглобли в сторону от главного момента, время терять — не к чему, не согласен, да и многие не согласны: нам нужны мастера, мастеровые нужны, и получить их надо поскорей... Его тотчас же услужливо, с живописными взмахами рукой в воздухе, поддержал некто Марецкий: совершенно прав Тимофей Саввич, пока что — нам нужны

мастера неученые, а ученые — бог с ними, времени нет дожидаться. В эту, несколько сознательно подчеркнуто-русскую, верней — простецкую речь с простонародными интонациями, суховато вступил маститый москвич Крыжовников, приверженец церкви и православия. Он заговорил книжно: нам нужен контингент (слово «контингент» он даже заметно и по складам растянул) для пополнения крайне ощущаемого промышленностью недостатка в подготовленных чернорабочих (слово «чернорабочих» он также протянул, словно хотел на место поставить докладчика с его широковещательными замашками). Чернорабочих! Повторил он суховато, и запах его сукна, с примесью не то гвоздики, не то персидского порошка, не то какой-то духовитой пыли с церковного амвона, специфический для его рослой ссутуленной фигуры, дошел до президиума. Как бы овеянный и этим запахом, и скрипом дорогих шагреневых сапог Морозова, и видом приглаженных на височках репейным маслом рыжих волос какого-то купчика, сидевшего рядом с ним, вскочил думский гласный и домовладелец Живаго, о котором ходили в Москве слухи, как о самом крайнем любителе порядка и устоев: «Где же, наконец, предел этого общего образования? И что, собственно, вам нужно от низшей технической школы,— теоретик или рабочий? До каких, наконец, пор будет этот рабочий сидеть и учиться вместо того, чтобы стать на работу?» Интеллигентность и даже некая барственность отличила этот брезгливый выпад Живаго от его соседей. В английском клубе, случалось, он поигрывал с ними в вист. Но в критику проекта он внес свою ноту и свой тон,— как бы отделяя себя от них разницей воспитания.

В Москве уже начал в ту пору играть роль человек, слывший необыкновенного ума и необыкновенного безобразия; он был женат на самой красивой москвичке и в противоположность ему эта москвичка была столь же миловидно недалека, сколь безобразно умен ее муж. То был профессор математики, Николай Васильевич Бугаев. Сын его, Боренька, тогда еще не рожденный, любил, будучи уже крупным поэтом, Андреем Белым, говаривать о себе в шутку, что красотой он вышел в отца, а умом — в мать. Профессор Бугаев, быстрый и ловкий в движеньях, пролил в бушующее море страстей — мас-

ло спокойствия. Он очень любезно, словно беседовал в салоне с дамами, сперва как будто поддакнул гласному Живаго: да, да, мы именно это и хотим установить, время, сроки, объем... Наша цель выработать срок обученья, составить программу. Мы проникнуты целью сделать работника не просто машиной, а сознательной, разумной личностью, и для этого прежде всего нужно общее образованье. В нашем обществе глубоко укоренился предрассудок, что образованье помешает рабочему, отвлечет его,— людей, разделяющих этот предрассудок — легионы. Между тем именно темнота, именно отсутствие общего образования делает рабочих плохими рабочими, отвлекает их на любой призыв... вам понятно, что я хочу сказать. Общее образование сделает технику доступной, повысит производительность, сосредоточит и направит внимание на процесс работы... Общество боролось, борется и будет бороться с предрассудками. Оно выработало свою программу общего образования для низших технических школ исходя из интересов нашей промышленности. Присутствующих мы просим подтвердить наш проект сделать из рабочего сперва разумного человека, а затем уже успешного мастера. Вы можете, господа, выразить свое мнение голосованием,— за или против...

Так мастерски были прекращены прения. Общество по распространению технических знаний имело большинство на съезде и знало об этом. Голосование утвердило проект. А длинная и расплывчатая речь Бугаева, ведшая к этой цели, как-то с толку сбила державшихся монолитно коммерсантов. В ней чуялись даже некие намеки на политику — ограждение рабочих от любых призывов, надо понимать — политических, что ли? И они проголосовали вместе со всеми за двухклассную низшую техническую школу, задуманную по европейскому образцу,— с геометрией, историей, географией и естественной историей, не считая чтения, письма и арифметики. В проекте школы были пункты с примечаниями, составлявшие гордость Общества,— и за них тоже, «оптом», как выразился один из купцов,— проголосовали промышленники. Эти пункты с примечаниями имели важное значение. Они врезались в память народных учителей и долго еще служили предметом спора многих передовых деятелей семидесятых годов. От них, от этих

пунктов, во всей их нереальности для своего времени и своего места,— веяло великими идеями Лобачевского, мыслями Пирогова, Ушинского, Миропольского, Корфа, писателя Льва Толстого и вообще всех светлых умов, в свою очередь захваченных светом далекого прошлого: Миропольский переводил в те годы, а Журнал Министерства Народного Просвещения, руководимый Ушинским, печатал из номера в номер основной труд Яна Амоса Ко́менского о дидактике. И «пункты» во всей их нереальности для своей эпохи,— не устарели для начальных технических школ и посейчас; они влились в атмосферу Выставки, как маленький чистый ручеек в мутную и бурную реку, и не только «пункты», а и «примечания» к ним:

«Пункт 6. Техническое рисование и черчение, которое немцы справедливо называют языком техники, должны быть главными предметами преподавания в технических курсах.

Примечание. Рисование и черчение имеют чрезвычайно важное значение как для общего, так и для технического образования; они развивают вкус к изящному, научают замечать внешние характеристические особенности в телах и явлениях природы, отыскивать в природе прекрасное, и научают наглядно передавать бумаге свои мысли и проекты.

Пункт 7. Наравне с умственным развитием необходимо иметь в виду и развитие физических сил учащихся, для чего в число предметов преподавания вводится гимнастика.

Примечание. Гимнастика развивает мускулы, приучает их к деятельности, делает человека ловким в работе.

Пункт 8. Для физического и вместе с тем эстетического развития учащихся следует ввести пение.

Примечание. Пение развивает органы дыхания и изощряет вокальные способности; притом же рабочий класс находит отраду в песне. Пение духовное возбуждает религиозное чувство...»

Выходя после совещанья и громко сморкаясь в боль-

шой цветной платок, один из промышленников попроще сказал очутившемуся возле него, быстренько пробиравшемуся к выходу, профессору Бугаеву:

«Оно, конечно, духовное пение... Дак ведь мы рабочих вербуем не из скопцов или там беспоповцев. Станет мужик на фабрике духовное петь! Эх, Николай Васильевич, Николай Васильевич...»

Бугаев, не оборачиваясь, отшутился: «Для вас, для вас, дорогой мой,— ввернули! Для вас, с вашего позволения...» И он быстро, юркнув плечом в щель, исчез за толпой.

3

Но все это, как я уже сказала, происходило «вперед по календарю», куда мы заглянули, перевернув преждевременно страницы. А если идти по месяцам, без перескоков, то повернем эти страницы обратно, одну за другой, к осенним месяцам 1871 года. Осенняя Москва, известно, не очень казиста; если сентябрь еще ясен и в чистом, сухом воздухе звонко несется голос ее,— криками продавцов, поставивших ларьки свои прямо на тумбы вдоль тротуаров; грохотом железных колес по булыжникам; перекличкой сорока сороков и вливающимся в них заунывным щельканьем шарманки, под рукой заезжего неудачника, крутящего и крутящего полусломанную ручку ее; если, повторяю, сентябрь еще ясен в Москве и весь еще пестрит белыми билетиками на окнах и подворотнях «сдаецца угол», «сдаецца комната, тут же шкап и вешалок»,— то месяц ноябрь уже смахнул своими ливнями продавцов и дворников, загнав их в далекие подворотни; уже туманами, как ватой, обложил золотой колокольный перезвон, инфлуэнцей прикончил беднягу-итальянца с шарманкой и очень круто расправился с белыми билетиками. Не ветры, а рука хозяина заблаговременно начала срывать их и припрятывать. Сперва москвичи, обладатели углов и комнат, возликовали было,— так много понаехало съемщиков. Словно желтые осенние листья, гнало этих съемщиков тучами на объявленья «сдаецца». Рязанские плотники, вятские мастера резьбы по дереву и укладки бревен, подмосковные из соседних деревень конопатчики, просто какие-то

бородатые дяди со «струментом», позвякивающим в мешке,— все они просились на объявленья. Одни переночевать, покуда оглядятся, другие с намерением серьезным, приторговываясь на житье и даже доставая из тряпочки пятиалтынный, чтобы расположить к себе дворника. Публика почище,— ремесленные мастера и подрядчики брали не торгуясь помещенья, сдававшиеся каждую зиму господам студентам. И тут пошли слухи, неизвестно, кто первый пустил их, что не лучше ли попридержать, не продешевить бы, наедет-то ведь народу видимо-невидимо... Верней всего, пустил этот слух первый домовладелец, поднявший квартирную плату. Откликнулось и в трактирах, где стали подавать суточные щи с накидкой в полкопейки,— вздорожало якобы мясо. А мясники спешили договариваться с гуртовщиками, пригонявшими убойную скотину на грязные московские окраины, где даже в зимнее время над кровавыми лужами не переводились мухи: там были городские бойни.

Бабы, продававшие на рынках бублики, а также приезжие из соседних губерний мешочники, платившие гривну за свое место на рынке и приступавшие, благословясь, к торговле, подхватывали слух от людей духовного звания, из тех, кто был попроще, дьячков и псаломщиков. «Бойтесь, православные, наступающего,— остерегали дьячки, — нынешний пройдет и наступит високосный. А високосные, как дознано самой наукой, на все падают чижало, на продукцию, хлеба, семейность и погоды». А если возле дьячка в ту минуту обретался на рынке кто-нибудь в картузе и с подкрашенной ранним приложением к рюмке усатой физиономией,— швейцар в благородном доме или курьер при учрежденьи, он прибавлял с авторитетом, что действительно, наступающий тысяча восемьсот семьдесят второй — будет високосный, а в високосные случается большая смертность. Мудрено ли, что Москва заволновалась еще и до праздников рождества, когда цены на мясо и масло и без того чуть поднимались. Но вот вступил в действие, отпразднованный, как полагается, Новый год, и окраины зарокотали, словно это глубь морская начала подкатываться к самому сердцу Белокаменной. Новый, 1872-й год наступил в субботу и хотя это был первый день в году, тихий и не рабочий, и падал на Москву теплый,

мокрый снег, а тучи висели низко, по самые крыши убеленных домов, и внизу капало и таяло; хотя уставшие за неделю хозяйки и хлебнувшие горькой под праздник мужья их; хотя объевшиеся новогодними пирогами приказчики и мелкие торговцы, крепко, ставнями закрывшие окна своих лавок,— все они смерть как хотели прилечь и отдохнуть,— в этот первый день Нового года совсем не по обычаю и против всяких правил церкви были полным-полны, словно в обыкновенный субботний вечер.

Бог весть чего боялся весь этот люд, жизнью приученный всего бояться. Ведь мимо их окон, по бесчисленным улицам от застав Смоленской и Калужской, Проломной и Дорогомиловской, Рогожской и Серпуховской и всех восемнадцати числом, а также вдоль всего Камер-Коллежского вала, днем и ночью двигались крытые фургоны и подводы, везомые тучными першеронами, стучавшими копытом по камню с таким громом, словно гробы в земле трескались и покойники восставали в день судный. Мокрый снег, смешанный с лошадиным навозом, дышал под колесами тяжелым паром. Это везли строительные материалы. И это наступали на Выставку бесчисленные экспонаты из русских, а также иностранных городов, приглашенных к участию на Выставке. А вместе с возами и фургонами вливались со всех восемнадцати сторон в Москву новые и новые квартиранты, новые и новые едоки, новые и новые четырехкопытные, потребители овса и сена...

Между тем 4 марта 1872 года в адрес начальника губернии пришло письмо, написанное интеллигентным почерком и за подписью «Москвич».

В этом письме с непривычной смелостью сообщалось о трудном положении на московских окраинах. Еще год назад, по словам автора, один человек из рабочего класса мог прожить на пять, на шесть рублей, а сейчас ему не хватает и 12-ти, а летом, когда развернется Выставка, не хватит и 20-ти рублей. Москвич писал, что при таких условиях «бедный народ, доведенный до ожесточения, естественно стремится уничтожить причину зла, а в среде народа всегда найдутся руки, которые не дрогнут покуситься на самые решительные меры, причем Выставка является им причиною зла и поджечь ее дело весьма не трудное, так как все здания легкие, де-

ревянные, удобовоспламеннмые. А московская полиция до такой степени опустилась, что преступления грабежа совершаются не только ночью, но и днем на улицах Москвы и на глазах полицейских служителей, которые невозмутимо смотрят на такие происшествия, чтобы не заводить истории и не тревожить свое начальство... Единственные благоразумные средства предупредить такое несчастие (пожар всей Выставки и святынь Кремля) заключаются: 1) в том, чтобы немедленно установить теперь и на все время Выставки умеренную таксу на главные необходимые продукты потребления народа,— мясо, хлеб, масло скоромное и постное, капусту, грибы и овощи; 2) очистить и обновить московскую полицию за счет петербургских и 3) принять меры к спасению Выставки на случай пожара...»

Письмо, получив входящий нумер, отправилось в странствие по департаментам; чиновник Горянский снял с него копию, оригинал был вручен генералу Слезкину, копия графу Шувалову. Письмо прочли в Петербурге и в Москве, оно обошло III Отделение, шефа жандармов, начальника полиции, московского губернатора, множество рук, надушенных и протабаченных, с кольцами и без оных, жирных и тщательно омытых,— в очень малый для шествия документов срок, всего девятнадцать дней. Оно успокоилось, наконец, за номерами и печатями, в «первом столе», откуда двинулось в путь. Нельзя сказать, чтоб обстоятельства, изложенные на письме, не заставили начальство задуматься и обсудить меры. Нет, высокое начальство задумывалось и обсуждало. Но из Москвы в Петербург писалось о том, что, по выяснении фактов, хотя цены действительно подорожали, однако не по вине Выставки, на которую публика еще и не начала съезжаться. Причиной тому постоянный приток населения, наводняющего Москву,— далее следовала статистика, которой в тот год хвастали все печатные органы, от «Русских Ведомостей» до «Современных Известий»: в Москве проживало, при наличии 23 849-ти жилых строений и 46 843-х квартир,— 611 970 человек жителей обоего пола, то есть на много более полумиллиона. И при постоянном въезде иногородних может получиться затор, которым пользуются торговцы и домовладельцы, повышая в силу трудностей свои цены. Но на муке и крупе, главном питании неимущего населения,

цены никак не отразились. Что же до Выставки, то наблюдается и обратное: в ожидании многочисленной публики торговцы делают заготовление товаров в значительно больших, чем прежде, размерах. Жалобы на спекулянтов, идущие от населения, не имеют, следовательно, почвы под собой...

Значило ли это, что письмо оставили вовсе без внимания? Отнюдь. Обсудив и составив значительную переписку, скрепленную в очередное «Дело за номером», додумались и до принятия мер. Генерал-адъютант князь Долгоруков предложил для пресечения беспокойства графу Петру Андреевичу Шувалову: «Послать надзор за зданием Выставки 24 городовых при 2 старших унтер-офицерах, и 6 человек пожарных чинов с ручным инструментом, а с 1-го мая, когда на Выставке начнется размещение предметов, еще 156 городовых при 6 офицерах и 100 пожарных при одном брандмейстере на добавочное содержание во все время Выставки до первого октября». Содержание, то есть добавка к обычному жалованью, была вычислена копейка в копейку и оказалась, по мнению князя, не стоящей разговора, всего сорок тысяч семьсот девяносто три рубля — о чем говорить? И они были бы выплачены, как полагается, Московской Думой, если б думский гласный и городской заправила, Юрий Самарин,— не изволил отказаться платить их из средств городской Думы. Отказался платить их, хотя князь Долгоруков явственно представил графу Шувалову неуместность присылки петербургской полиции, не знающей ни улиц, ни свойств Москвы. Собственным, московским,— отказался платить!

Но дело на этом еще не закончилось. Кроме содержания письма москвича, оставался ведь совершенно невыясненным сам таинственный «Москвичь». А тут мнения Москвы и Санкт-Петербурга резко разделились, как, впрочем, не в первый раз. Петербург был озадачен: кто он? что он? Петербург не мог оставить личность невыясненной. Он заметил в стиле и тоне письма нечто схожее с журнальными перьями покойных «Современника» и «Русского Слова». Нечто недопустимое и политическое чудилось ему в мелком интеллигентском почерке письма. Но Москва попросту усмехалась. По примеру уголовных сыщиков, которые любят говорить, что «знают свои кадры», она гордилась знанием своей публики. По

глубокому убеждению ее — ни один политический, кроме разве заграничного хитреца в маске, не станет обращаться в письмах к «Вашим Сиятельствам» и «Вашим Превосходительствам», он ними должен по взглядам своим, отлично изложенным у господ русских романистов,— наплевательски пренебрегать. А кроме того, в секретном донесении московскому губернатору от 23 марта, московский полицмейстер не зря напоминал, как еще в конце прошлого, 1871 года газета «Современные Известия» в трех номерах разжигала население против торговцев и спекуляторов. Газета «Современные Известия» любила печатать колкости под видом вымышленных писем к редактору. Письма эти, по мнению московской полиции, ничем не отличались от пресловутого «Москвича» и статей самого господина Гилярова-Платонова, их редактора. Они, так сказать, восходили к первоисточнику, общему у них и у «Москвича». А значит — и тут на сцену выступал «московский дух», пахнувший отчасти даже елеем, отчасти даже хорошими блинами из кухмистерской, и он не пугал ни губернатора, ни полицию, а совсем наоборот. Втиснувши в левый глаз стеклышко монокля, обер-полицмейстер мог бы развернуть доставленные ему каверзные номера «Современных Известий» и, поискав немного, показать, с домашней, незлобивой, всепонимающей улыбкой, одно из критических писем редактору, где некто за подписью «Порфирий Кленус» («и придумают же»,—шутил полицмейстер), как будто совсем подобно «Москвичу», писал о дороговизне, требовал таксы на солонину, чтоб была она доступна как богатым, так и бедным... Но... но... И холеным указательным пальцем он мог бы навести тех, кто глядел с ним вместе, на дальнейшие строки. А дальнейшие строки проясняли лик автора, как прожектором: там обращалось внимание на большое количество евреев, проживавших в Москве неизвестно на какие средства: «сотни их проживают под предлогом делания кваса, о котором и понятия не имеют».

— Вот,— говорил обер-полицмейстер в личной беседе с близкими ему сотрудниками, когда те напоминали о беспокойстве III Отделения,— вот вам «Москвичь» demasqué[1]... Нет у газеты гражданской храбрости ска-

[1] Demasqué — размаскированный *(франц.)*.

зать от себя, в открытую,— и сочиняют эдакого Порфирия Кленуса... А в Петербурге понять не могут, что «Современные Известия» — это им не «Современник». Не тот коленкор.

И тут, надо полагать, обер-полицмейстер показал во взгляде то самое выражение, какое принимают лица уголовных следователей,— когда они говорят о знании своих кадров. Разница во мнениях и в тактике двух охранительных органов, московского и петербургского, была широко известна в салонах, где, как во всякую эпоху, старую и новую, неведомые миру остряки тотчас сочиняли анекдоты, и эти безымянные анекдоты начинали хождение из уст в уста. Хотя на переписке о письме «Москвича» и на самом письме его стояло жирным почерком «Секретно», об этом секрете сразу заговорили в Москве, от городовых, ожидавших прибавки к жалованью, до журнальных кругов. Какой-то шутник из чиновников на одном вечере, где праздновались именины, изобразил «Москвича» под видом графа Нулина, III Отделение — в виде оскорбленного мужа, а московскую полицию как помещика Лидина. Муж — Петербург принял дело всерьез:

Он очень этим оскорблялся,
Он говорил, что граф дурак,
Молокосос; что если так,
То графа он визжать заставит,
Что псами он его затравит.

А соседу — Москве, знавшему дело интимно, от этой серьезности Петербурга было только смешно!

Смеялся Лидин, их сосед,
Помещик двадцати трех лет

Так и случилось, что выраженное в Санкт-Петербурге желание выяснить личность анонимного автора письма осталось не подхваченным услужливостью московских органов, убежденных, что «Москвичь» — один из близких людей к славянофильским кругам, публике хоть и каверзной, однако своей и безвредной. И все дело закончилось посылкой на территорию Выставки лишних пожарных со своими инструментами, да распоряжением

московским извозчикам иметь на спине под затылком бляху с номером, а ломовикам иметь этот номер густо начертанным на дуге.

4

Пресловутая проницательность московского полицмейстера на этот раз, однако же, обманула его. Таинственный «Москвичь» с мягким знаком,— а в те годы писали его с твердым знаком и уж одно это должно бы дать пищу аналитическому уму его превосходительства; таинственный «Москвичь», оставленный полицией без внимания,— был, если начать с приема исключения, ни тем, ни другим, ни третьим. Он не стоял ни в какой связи с петербургскими нигилистами и революционерами. Он не любил и не понимал московских славянофилов, не читал «Современных Известий», как газету пустую, болтливую и несерьезную. И — тут уж совсем удивительно и что с его стороны изобличило единственную хитрость,— совсем не был москвичом. Сын разорившегося помещика, он перепробовал много всяких дел. Когда в 1867 году министру просвещения, графу Дмитрию Толстому, пришло вдруг в голову открыть в Петербурге, как бы в противовес университетским факультетам, Историко-Филологический Институт, наш мнимый «Москвичь» одним из первых стал в нем учиться и не кончил его. Потом он уехал в Бельгию и там для чего-то начал было одолевать серьезное техническое образование с коммерческим уклоном, а потом перешел в архитектурный. И это он бросил, проев до конца оставшиеся от продажи именья деньги. Нужно было служить. Совсем еще молодой, охваченный жадностью к самым разным наукам и профессиям, хотевший все на себе перепробовать, немного инженер, чуть-чуть архитектор, классический филолог и историк древности,— он имел, в сущности, только один шанс: устроиться по части иностранных языков. Языки европейские были ему знакомы с детства, классические по школе. И вот, попав как-то на глаза важному члену Казанского учебного округа, знавшему и даже отчасти родственнику его покойного отца, он получил приглашение на хорошую, хотя и временную, работу («а там дальше — видно будет») — переводчиком и чем-то вроде обер-гида для сношений с иностранцами

на создававшейся в Москве Первой Политехнической выставке.

«Москвичь» — Федор Иванович Чевкин — был охвачен восторгом и тотчас же, задолго до утвержденья на службе, выехал в Москву. Он плохо знал Москву и не имел знакомых и первый, можно сказать,— на собственном кармане,— ощутил вздорожание московских гостиниц. Вид у него был заграничный,— мягкая шляпа, купленная в Брюсселе, совсем не похожая на высокие шляпы москвичей; брюки уже не так в обтяжку, какими щеголяли модники в Москве, выбирая к тому же полосатую материю, а он их носил одноцветными; перчатки и башмаки без скрипа и блеска, оставлявшие икры не закрытыми, словно это были ночные пантофли, а главное — самое лицо, вытянутое книзу, с длинным носом, серыми, живыми глазами, живым, подвижным ртом и белокурыми бачками, при безволосом подбородке и сбритых начисто усах, когда мужчина без усов обязательно производил на москвичей какое-то не модное, прошедших десятилетий впечатление, что-то от сороковых и пятидесятых годов. Словом, Федор Иванович Чевкин при первом своем въезде в Москву не имел успеха ни у коридорных, ни у «людей» в ресторанах, которым он к тому же совсем не по-московски аккуратно отсчитывал на чаи ни больше, ни меньше десяти процентов со счета. В книжных лавках он спрашивал иностранные газеты безразлично на каком языке и как-то не совсем четко, не совсем резко произносил букву «ч», только этим, пожалуй, и смахивая на коренного москвича в словах «конешно» и «сердешно».

А Москва — он приехал в февральскую оттепель — лежала перед ним в таинственном серо-сизом сумраке, окутывавшем все, что было повыше двухэтажных зданий, и казалась приплюснутой, вдавленной в лужи. Он тотчас же простудился, чихал и кашлял, но упорно ходил и высматривал себе постоянную квартиру. В те годы укоренилось почему-то убеждение, что иностранцы поселяются преимущественно в Петербурге, где прижилось еще с Петровых времен множество немцев. Обосновалось там и не мало чехов, о чем было осведомлено и начальство, поскольку еще три года назад ими подано было прошение дозволить открыть в Петербурге общество «Чехо-славянская беседа». Жили эти чехи не в од-

ном каком-либо месте по примеру немецких колонистов, а вольно, в самых разных местах,— Шрамек, например, на Васильевском острове, между Одиннадцатой и Двенадцатой линией, а Вацлик на углу Гороховой и Садовой. Ничего подобного в Москве не наблюдалось, верней — не было скопления и желанья организоваться, а наоборот — здесь неприметно селились приезжие люди, искавшие, казалось бы, покоя и уединенья. Передвигаясь в своем легком заграничном пальто-разлетайке, повязанный пестрым и надушенным шарфом, Федор Иванович с любопытством осматривал старинные парадные на московских особнячках, где блестели медные пластинки с выгравированными фамилиями обитателей. На этих дверях, как и в окнах, белых билетиков не было, но ему хотелось спросить именно тут, в тихих заводях, где подстриженные голые кустики аккуратно стояли в палисадниках, отделяя фасады домов от улицы, а за особняками виднелись вековые липы в саду и шуршал по голым ветвям дождь, сползая и капая, как слезы. Ему мерещился кабинет с диваном-постелью, какая была у него в Брюсселе, с цветным стеклом в сад, с зеленым абажуром на лампе. Он постоял в удивлении перед чинным не по-московски подъездом с висячей над ним на железной цепи крышей. Полированная под кожу дверь была простегнута металлическими узорами. На строгой табличке чернью выгравирована какая-то странная комбинация двух слов: «Гарри Суслов».

Он повторил, удивляясь: «Гарри?.. Суслов?»

Такая совершенно русская, от русского слова и корня фамилия и — чисто английское имя! В семидесятых годах прошлого века еще не вошло в обычай давать своим детям имена какие придется,— по звучности, по роману,— и населять русские города Робертами, Эльвирами, Маратами и даже Дездемонами. Детей крестили по святцам, давали родовые, фамильные имена близких родственников, и это странное сопоставленье «Гарри Суслов» изумило Федора Ивановича. Некоторое время он шел, фантазируя, кто это может быть. Он скандировал про себя фамилию на англо-немецкий лад, а имя на русско-славянский вроде Гурия или Гаври... и сразу остановился.

На углу Малой Дмитровки и Успенского переулка,

перед входом во двор старенькой, грязненькой, совсем посеревшей от дождя церкви Успения, затеплена была перед большой, итальянского письма иконой божьей матери темно-розовая лампадка. Она горела в прикрытии, не тронутая дождевыми каплями, стекавшими по стеклу, и бросала розовый отсвет на плащ богородицы традиционно синего цвета и на белое оперенье двух толстых, нарисованных у ног ее, голубей. Было что-то уютное в этом двойном освещенье темно-розового и голубого, а тут вдруг, над самым его ухом, жиденько и дребезжаще ударил ветхий колокол ко всенощной. Перестав думать о Суслове, он свернул в Успенский переулок и здесь, на столбе у широких ворот, прочитал: «Свободен от постоя»,— надпись старинной вязью, уцелевшую чуть ли не со времен Очакова. А пониже — на дощечке: «Д о м   Ф е р р а р и». Опять ни с того ни с сего Ф е р р а р и!

На этот раз Чевкин решился. Ворота были открыты настежь. Во дворе, не очень большом, кинулся ему под ноги кудлатый, круглый как шар пес, не столько воинственно, сколько ласкательно. Было уже темно, и за двором угадывался невысокий забор, окружавший огромный участок скорей помещичьего, нежели московского сада. А дом, широкий, одноэтажный, с чердаками, с барским подъездом и высокими окнами, едва светился одним-единственным, не заставленным ставнями стеклом. Дверь подъезда была полуоткрыта,— ее открыл стремительный мохнатый комочек, отрывисто лаявший сейчас у его ног. Не раздумывая долго, Федор Иванович вошел в эту полуоткрытую дверь, вытер о половичок подошвы и спросил своим очень приятным, не по-русски звучащим голосом:

— Прошу вас, кто здесь есть?

Навстречу ему вышел, неся лампу в руке, сам хозяин, бельгийско-подданный с итальянской фамилией, инженер-коммерсант Луи Феррари. Так и очутился «Москвичь», чуть ли не на второй день по приезде, в мечте своей,— большом кабинете с диваном-постелью, с окном в сад и с лампой под зеленым абажуром, снятом в бельгийском семействе Феррари, совсем не думавшем сдавать комнаты. Но русскому, так хорошо говорившему по-французски и так восторженно вспоминавшему «Гран Пляс» в Брюсселе и притом сославшемуся на каких-то бельгийских

друзей, рекомендовавших ему будто бы мсье Феррари, бельгиец не смог отказать. Для Чевкина, привыкшего к невезенью в жизни, вся цепь событий этого дня показалась сказочной. Лучшего жилья найти в Москве он не мог бы. В первый же вечер, едва привезя на извозчике свое портманто и баул с книгами, он уже сидел за огромным столом, пил не московский чай, а настоящий кофе с булочками и разговаривал на жизненную для него тему,— о Выставке. Сам Феррари отлично знал Делля-Воса и был к нему вхож, а жена Феррари и сидевшая с ними, как член семьи, за одним столом экономка Варвара Спиридоновна,— сразу осведомили его о «русских безобразиях»: цены растут, как бешеные, неизвестно, как и чем живут бедняки, нищих полным-полно, здесь, на паперти Успенской церкви, просто лежат ничком, а что же в глухих частях города, за рекой? Говорят, извозчики продают лошадей на конину, овса и сена нет в городе. Удивительная неосмотрительность, легкомыслие у городских властей — ничего заранее не предусмотреть, не издать приказ о торговле по таксе! В Бельгии в таких случаях...

— Я был на выставке в Лондоне, в 51-м году, еще студентом,— первая выставка, слышали,— в Хрустальном дворце? Не говорю об архитектуре, но вы бы посмотрели порядок,— рассказывал хозяин, увлеченный воспоминаниями,— а съехался весь мир.

— Сравнить невозможно, — аккуратно отозвалась Варвара Спиридоновна. Обедневшая чиновница, она понимала по-французски и говорила с удовольствием, гордясь своим вмешательством в разговор.

— Ярмарочный городок, все эти петушки, гребешки, свистульки — хорошо за пятнадцать километров от города, где-нибудь на пустыре, и провести туда конку. Но ставить деревянные павильоны в центре, в историческом Кремле, среди дворцов и соборов — это бросать вызов судьбе,— продолжал Луи Феррари, обмакивая булку в кофе.

— Поджоги будут, поджигатели,— опять аккуратно выговаривала Варвара Спиридоновна.

Жена Феррари молчала, опершись на пухлую, обнаженную до локтя руку, и поглядывала на неожиданного жильца. Она думала о своем сыне, учившемся в Льеже.

5

Раскладываясь в комнате, Федор Иванович был обуреваем тысячью мыслей. Ему предстояло общаться с иностранцами, официально показывать Выставку с фасада,— а тут, чуть ли не первый же день в Москве она открывалась ему с черного хода и через кого же? Через иностранцев! Федор Иванович, несмотря на все свое иностранное обличье, был большим патриотом. В глубине души он гордился и тем, что он русский дворянин, и своим, правда, очень дальним, родством с К. В. Чевкиным, вхожим к царю и принимавшим участие в крестьянской реформе. А по характеру и по судьбе, изрядно потрепанный жизнью-мачехой, Федор Иванович был простым, открытым, быстрым на решенья человеком, забегавшим, как он сам говорил, ногами вперед своей мысли. Когда жизнь стукала его в лоб, он говорил себе: не суйся не подумавши. Так и сейчас, в вихре неотстоявшихся чужих сведений он уже принимал десятки решений: узнать, проверить, жаловаться, писать о безобразии наверх, стать самому корреспондентом какой-нибудь иностранной газеты... А поверх всего, как масляное пятно на бушующих волнах, он чувствовал, что влюблен в Выставку. Он готов был шпагу скрестить с каждым, кто вздумает охаять ее...

Так думал Чевкин, уже засыпая. Постель, разложенная на откинутом диване, была в тонком,— экспортном,— бельгийском полотне, какого не купишь в самой Бельгии. От нее пахло сухими розовыми лепестками. «Саше́»,— подушечку, набитую ими,— мадам Феррари предусмотрительно положила и для него, в еще пустой комод. Как тут не заснуть, несмотря на беспокойный, поднятый в душе вихрь. И Чевкин крепко заснул.

Все следующие дни он провел в лихорадке действия. Луи Феррари, как обещал, свел его с Делля-Восом и представил с полным званием, хотя Федор Иванович изо всех сил, начав даже заикаться от волненья, поправлял его, что пока не утвержден. Делля-Вос оставил слова «не утвержден» без вниманья и тут же, в сотый, может быть, раз усадив его перед собой в кресло (Феррари, сославшись на занятость, уже ушел), стал говорить наизусть, словно переписчице диктовал, то самое, что он

долгом своим считал всем и каждому говорить о Выставке. Виктор Карлович Делля-Вос, кроме всего прочего, особо руководил самым важным, техническим отделением иа Выставке.

— Вам, как будущему звену нашей организации,— извините,— прервал он себя,— запамятовал ваше имя-отчество. Как? Чевкин, Федор Иванович... Чевкин? Вы не родственник петербургскому Чевкину? Отлично, отлично, рад познакомиться... Так вот, любезный Федор Иванович, прежде всего запомните. Нашу Выставку сравнивают с теми, которые уже устраивались за границей. Это неверно. Всемирные выставки имели целью коммерцию и конкурс фирм. На них заключались торговые сделки, такого большого масштаба сделки, что в павильонах имелись отделения банкирских контор. Наша Выставка совершенно с этим не схожа, никаких конкурсов, никаких сделок, никакой торговли. Разрешено будет продавать лишь детские изделия ремесленных училищ, сиротских домов и домов инвалидов, да продукцию с действующих на Выставке машин. Это первое. Затем, цель ее: показать технические и научные открытия в их приложении к промышленности, в их полезной стороне для материального развития индустрии. Ударение мы ставим на практическом значении, на учебно-образовательном воздействии Выставки. Будут показаны образцы новейших наглядных пособий для школ, заграничные и отечественные. (Делля-Вос перевел дух и сделал паузу.) Будем показывать машины не просто,— а в действии. Целый ряд машинных производств тут же, на Выставке... Собранный нами материал огромен. Вы слышали, конечно, об идее создания Политехнического Музея в Москве? Место выделено — на Лубянке. Из экспонатов ничего не пропадет, все будет установлено в музее. Создан уже комитет по строительству. В него избраны ведущие научные силы Москвы...

И тут Делля-Вос как-то сразу, до самых ушей побагровел, и даже глаза налились кровью. Он судорожно двинул ящиком письменного стола, порылся, достал смятый газетный лист:

— Делаем, милостивый государь, не покладая рук, важнейшее для страны дело, отдыха не знаем, горим,— а полюбуйтесь, вот, вот, это наша отечественная пресса!

И он почти с ненавистью сунул в руки Чевкина старый номер «Современных Известий», раскрытый на передовице под названием «Затея или предприятие?», один из тех, что лежали для справки у оберполицеймейстера. Федор Иванович не успел развернуть его, как Делля-Вос нетерпеливо потянул его назад и сам стал читать вслух, задыхаясь от раздраженья:

— «Все, что говорилось, говорится и впредь скажется о назначении выставки, скажется лишь в закрасу... Истинный смысл выставки есть пожива на народный счет, а кстати и ловля медалей, крестов, чинов, лент». Где вы все это, господа журналисты, видели, кого имеете в виду?! И какой фатализм: «все, что впредь — впредь! — скажется о выставке,— только в закрасу!» Дальше тут еще хуже... И какое лицемерие! Смеют пристегивать память Петра!

Он сложил газетный лист, опять положил его в ящик и как-то сразу успокоился.

— В каждом деле, господин Чевкин, могут быть всевозможные прорухи, и никто из честных людей не против критики. Надо же, однако, думать, что пишешь. За границей внимательно читают. Вчера на заседании профессор Богданов огласил статью, помещенную в венской газете: ни меньше, ни больше как призыв к приглашенным нами заграничным учреждениям воздержаться от присылки экспонатов! Русское правительство будто бы не одобряет Выставки, и она не состоится! Пришлось писать нашим поверенным по технике, в Вену господину Георгу Коху, в Берлин профессору Гроте, в Лейпциг Рудольфу Лейкарту, чтоб занялись тотчас же разъяснениями... Вот что делает наша пресса!

Федор Иванович вышел от Делля-Воса со смешанным чувством. Он разбирался в нем всю дорогу. А когда пришел домой, долго ходил по комнате, не отзываясь даже на приглашение откушать. Но так и не разобравшись до конца, махнул рукой, дал ногам своим опять броситься вперед мыслей, сел к столу и, разложив бумагу, стал быстро-быстро, долго не раздумывая, писать письмо в высшую инстанцию.

Начиналось это письмо «Ваше превосходительство», а подписано было «Москвичь».

ГЛАВА ВТОРАЯ

НА ВОЛГЕ

1

Казанский учебный округ был крайне заинтересован в Выставке, и, что бы там ни писали и ни говорили о ней, в округе смотрели на нее утилитарно. «Утопающий и за соломинку схватится»,— ответил маленький чиновник из округа одному из заядлых критиканов Выставки, начитавшемуся статей в «Современных Известиях» и ученой статьи Наумова в «Отечественных записках»:

— Все эти возвышенные мысли господина Наумова, подхваченные нашими либеральными газетами,— насчет того, что не надо нам, дескать, почетные грамоты и медали раздавать, не надо устраивать в Москве, а лучше на местах небольшие музейчики с местным оттенком и вообще не надо бросать такие средства на барскую затею, все это больше говорится от незнания и чтобы показать свой либерализм. Пусть увеселенья и медали, но там покажут школы наши и заграничные, образцы наглядных пособий. Швеция очень подвинута в школьном деле, полезно посмотреть. А курсы, задуманные его превосходительством военным министром? Зернышки, зернышки, либеральные слоны их топчут под своими пятами, а курочка по зернышку клюет, глядишь, и сыта будет.

Чиновник, говоривший так, вдруг воодушевился и схватил критикана за пуговицу:

— Я бы повел этих наших либеральных писак ну хоть по Симбирской губернии,— вавилонская башня. Одной мордвы там около полутораста тысяч, чуваш свыше ста тысяч, татар почти сто тысяч, по отношению ко всему населению это с лишком 30 процентов, а чтоб точно — 30,73. Вот цифра, понимаете? Почти треть всего населения обширнейшей губернии инородцы. Тут и язычники, и магометане. Их учить надо, а где учители? Им школы надо, а школы где? И вот вам не из либеральных газет: три деревни Курмышского уезда, заметьте себе, целых три,— в марте нынешнего года собрали мирской сход, чтоб обсудить письмо нашего инспектора, господина Ульянова, о помещении для школы, три сельских общества, тут и волостной старшина, и сельский староста, весь

цвет трех деревень, ну и мужики, разумеется. Постановили. А когда нужно подписаться, ни один не подписывается. Грамотных нег. Ни одного. На три деревни. Вот картина. Так я вам доложу, мы на эту Выставку не только инспекторов, мы народных учителей, курсантов пошлем. Для них это Америка, высшее образование, пища духовная. Они там по зернышку, по зернышку,— а потом разнесут по своим уездам. А наши либеральные просветители всё на свой аршин меряют, для них это, видите ли, брошенные деньги!

Чиновник говорил совершенную правду,— все эти дни он был завален бумагами, какие пришлось рассылать по округу, командируя на Выставку инспекторов и народных учителей. И он, поседевший на своей службе, человек небольшого чина, видел и понимал, что такое эта Выставка для сотен людей, посвятивших себя образованию народа. Одни — с охотой, с высоким жаром сердца; другие—с оглядкой и страхом; третьи — против желания — но все они, вышедшие из темноты, должны были в эту темноту вернуться, чтоб нести в нее свет и знание. Словно гигантская стена вырастала перед задачей их,— стена невежества и суеверия, древних обычаев, жестокости, тупости, ненависти, скрепленная липким клеем привычных прописных истин, проповедей муллы, кликушеского шаманства и поверх всего — нищеты и убожества, жалкого быта, нескончаемого труда, нескончаемых обид и обираний от царских слуг, на которых нет управы. Школа в этой стене была, как новая, замурованная в ней обидчиками, непосильная, ненужная повинность, новый хомут на шею,— замученные шеи дергались, чтоб сбросить ее,— не нужна никакая нам школа, порешали сходы. А народные учители еще недавно сами были частью этой стены, которую предстояло им пробить и свалить. Ничего, кроме уездного городишки и редко-редко губернского центра, видеть им с детства не приходилось. А тут вдруг — Москва!

— Представляете себе, Москва! — снова, после долгого молчания, покуда критикан снисходительно сидел перед канцелярским столом и улыбался на то, что считают «проповедью малых дел»,— заговорил чиновник, обтирая пот с лица.— Будь я литератором, я бы сам это описал в романе или рассказе: Москва, где каждый камень пареньку, как открытие, со всеми ее святынями, с Кремлем,

с магазинами, экипажами, театрами, мостами, садами... Да он ошалеет, а тут Выставка,— все движется, шумит, гремит, знамена взвиваются, музыка плывет, и ведут его по Выставке знающие люди, дают ему со всех сторон печатные бумажки в руки с объяснением,— ведут в школьные павильоны, показать технику, обучение, а он — ему все интересно, он перед каждым стоит, там, где ваш брат, интеллигент, мимо проходит с критикой «примитивно», «хаотично», он часами может стоять и стоит: вот машина действует, выпускает продукцию; вот Севастопольская оборона, вот почта и телеграф,— господи боже, да во всем его уезде еще телеграфа и во сне не видали, а на всю его губернию только один открыли,— и посмотреть бы, как он работает, как это такое слова по воздуху или по проволоке летят на другой конец земли. А спутник, подученный гид, торопит его к наглядным пособиям, к Фребелевскому детскому саду, к английской показательной школе Рэгби и к его собственной, народной, как ее надо строить у себя в деревне...

— Ну и будет у него кипяток в голове или каша,— ответил бесчувственный критикан.

— Для того и дается на командировку месяц, чтобы улеглись впечатления,— а надо бы, конечно, годик, чтоб он разобрался,— вздохнул чиновник.— Боже мой, сколько нас, кому эта Выставка была бы как райский сон на всю жизнь...

И вовсе не только одним курсантам или народным учителям. Господа инспекторы народных школ тоже с волнением поджидали Выставку, бывшую для их работы неожиданным огромным подспорьем. Звание «инспектора народных училищ» учреждено было совсем недавно, и многие практики школьного дела, вроде барона Корфа, увидели в них цель — еще лишней проверки земства, лишнего ограничения его прав в школьном деле, как, впрочем, рассчитывал и сам министр. Но вся Россия охвачена была в те годы горячкой обучить народ, этим полны были журналы, этого добивалась сама жизнь, и если любой человек смолоду молод, то, пожалуй, и дело любое — молодо в своем начале. Новые инспекторы, бóльшая часть их, смотрели на свою обязанность скорей как на строительство и созидание, нежели как на присмотр и контроль. Что контролировать, над чем присматривать? Разливанное море темноты, нищеты, невежества

было вокруг, невежества, которое силком требовалось тянуть к свету. И нужны были в помощь примеры чужеземных школ, начиная с самого малого, с вопроса, как строить самое здание школы, чем меблировать классы, из чего и какой формы делать школьные парты,— словом, не контроль, а заполнение пустого места в условиях почти невероятной трудности, против воли самого крестьянства,— вот какая задача вставала перед инспекторами народных училищ, и так именно понимал свой долг Илья Николаевич Ульянов.

Не только до рождения сына, то есть последние три месяца 1869-го и первые месяцы 1870 года,— почти не пришлось ему бывать дома, во флигеле на Стрелецкой улице, но и весь следующий и половину третьего года в Симбирске — так захватила и завертела жизнь, хотя он действовал и работал по строгому плану, с точным распределением времени, не давая разбить свой график вторжением случайностей. Тотчас же по приезде он разослал по всем уездам Симбирской губернии опросные листы, а когда эти листы начали возвращаться с ответами, обработал их в таблицу и таблицу повесил на стенку. Картина была пестрая. На восемь уездов, равных по величине доброй части Европы, он имел всего 6175 учащихся крестьянских детей, из них девочек только одну пятую. Школ имелось сто восемнадцать и восемьдесят медресе, то есть училищ в инородческих селах, где муллы забивали детские головы непонятным для них кораном. Инородческих школ и учащихся больше всего находилось в двух уездах, Буинском и Курмышском,— там числилось в Буинском — 44 школы и 46 медресе, а в Курмышском — 10 школ и 13 медресе. Но когда Илья Николаевич, сразу же по приезде в Симбирск, о чем уже было мною рассказано, стал объезжать эти дальние уезды, он увидел, как, впрочем, и в других уездах, что цифры эти дутые, школ, равно и учащихся в них, больше было на бумаге, чем в жизни. А те, какие были,— до чего в жалком, в нетерпимом состоянии находились эти школы!

С первых же дней в Симбирске он с любовью взялся за самое трудное, самое отсталое звено,— детей чувашей, кроткого и работящего народа. Вспомнилось ему раннее детство, тетя Феня, астраханские калмыки. Они приезжали из дальних улусов на базар в крытых кибитках, с овцами, грязным комком сбившимися в кучу возле кибит-

ки и, понурясь, ожидавшими своего закланья. Мальчиком попадая на базар, он запомнил почему-то сбитую войлоком, с кусками затвердевшей степной грязи и с колючим репейником в ней,— шерсть этих овец, их белесые глаза без выражения, и свою детскую жалость к ним,— мысль: «О чем они думают вот так, неподвижно стоя?»

То были жалкие овцы бедняков, или, как называлось беднейшее население в статистических сборниках,— «простолюдинов». Богачи, владетельные калмыцкие князья,— нойоны, и суровые ламы, сидевшие в своих хурулах, бесконечно далеки были от народа, хотя родовой строй у них лишь недавно распался. Нойоны рядились в богатый мех, а толстые и выхоленные сынки их учились в лицеях наравне с детьми русских бояр, хоть и оставались ламаистами,— но эту отборную белую кость видеть можно было скорей в Петербурге, чем в Астрахани, и маленький Ульянов ничего не знал о них. В его представлении о калмыках вставала лишь эта удивительная, потерянная тишина кибиток, где даже дети не пели, новорожденные не кричали. Все безгласное, молчаливое возбуждало в его детской душе какое-то странное чувство,— ему казалось: молчание во вселенной вызвано страхом, сковывающим голос. Поздней он узнал, что сковывает не только страх, но и безнадежность.

В год его приезда находился среди чувашей их будущий просветитель, окончивший удельное училище, Иван Яковлевич Яковлев, молодой и красивый чуваш, болевший за свой народ. Он тогда уехал в Казань, чтоб подучиться в университете, но до своего отъезда успел основать нечто вроде частной школы или частного пансиона: собрал из деревень мальчиков, обул-одел их, прокармливал и обучал, в чем помогали ему пожертвованием более зажиточные соплеменники, имевшие в Симбирске кровлю, работу или мелочную торговлю. По рублю, по медякам собирал он на своих мальчиков, устраивал их на квартиру, нашел им взамен себя, на время своего отсутствия учителей. Ивана Яковлевича и его частную школу знали в Симбирске, узнал о ней и новый инспектор. С самим Яковлевым он сразу же вступил в переписку, так что, когда понадобилось, Яковлев писал Илье Николаевичу, и тот исполнял его просьбы. В сентябре 1870 года состоялся в Казани, в крещено-татарской школе Ильмин-

ского, съезд учителей инородческих школ, и Яковлеву хотелось, чтобы и эту школу, и съезд этот повидал и послушал его ученик Алексей Рекеев, которого он готовил себе в смену.

«Любезный Алексей,— писал он ему из Казани 14-го сентября.— Я рассудил, что тебе очень не излишне будет близко посмотреть здесь на татарскую школу Ильминского, поэтому вместе с этим я пишу Директору и Ульянову, чтоб отпустили тебя сюда недели на две или немного поменьше, смотря по обстоятельствам... В крещено-татарской школе Ильминского теперь съезд учителей, все это удобно и кстати для тебя посмотреть вблизи. В случае позволения Ульянова и Директора ты выезжай из Симбирска между 17 и 24 сентября, да постарайся сесть на товаро-пассажирский пароход, на нем вдвое дешевле... У Ульянова возьми свидетельство на проезд в Казань и обратно...»

Илья Николаевич выдал Рекееву это свидетельство и поставил на нем губернскую печать, однако же ему ясно было, что миссионерская и в основе своей руссификаторская школа Ильминского, всячески поощряемая Казанским учебным округом, за образец для Симбирской губернии взята не может быть. Чтоб поднять и образовать чувашских крестьянских детей, им нужен родной язык не для религии, создать чувашскую школу, чтоб забить голову детей псалмами,— значило заранее обречь ее на неуспех. Да и миссионерское, проповедническое начало, эта экзальтация одной религии, выдвигаемой на смену другой, казались ему совсем не идеалом народного образования,— он и в русских-то школах по деревням нагляделся на мракобесие преподавания попов и попадьих. Илья Николаевич имел свой замысел воспитания народного учителя и сразу же стал близко интересоваться основанным Яковлевым «пансионом» для мальчиков-чувашей, из которых должны были вырасти чуваши-учителя деревенских народных школ. Приходил к ним, беседовал, смотрел их тетради, сам рассказывал что-нибудь о школьных днях, о Казанском университете, где был сейчас их любимый наставник и опекун Иван Яковлевич Яковлев. Однако стесняться его они отучились не сразу.

Рекеев, худенький, в длинном пальто и новой, только что купленной шапке, пришел к нему в первый раз с чер-

ного хода и на пороге остановился, держа шапку в руках. Глядел он исподлобья, почти безбровый, с широким, выпуклым лбом, а когда Илья Николаевич вошел в кухню и выговорил ему, зачем же с черного хода, он долго запинался и чувствовал хрипотцу в горле, мешавшую свободно разговаривать. Однако Илья Николаевич всего этого как будто не заметил и, приведя в свой кабинет, пригласил садиться. Кресло было большое, кожаное. В кабинет невзначай вошла Марья Александровна (во флигеле на Стрелецкой кабинет Ульянова был еще проходной, а диван служил постелью),— и посмотрела, поклонилась так серьезно и уважительно, словно он тут был на месте, как гость в доме. Это, как и мягкий, добрый говорок Ильи Николаевича, расспрашивавшего с интересом о Казани, сразу сняли с Рекеева всякую стесненность. В письме к наставнику своему, Ивану Яковлевичу Яковлеву, Алексей Рекеев писал 14 ноября с великой гордостью: «Отношения мои с начальниками находятся в очень хорошем положении. Я несколько раз бывал у Ульянова в доме его, он меня завсегда принимает очень хорошо, сажает меня и вхожу в горницу его, по долгу времени бываю у него...»

По долгу времени... о чем же мог чувашский юноша долгое время беседовать с очень занятым, по горло загруженным Ильей Николаевичем? Так к себе расположить, чтоб заставить разговориться и самого молчаливого,— было без всякого на то старанья простым и естественным свойством Ульянова. Тут, конечно, и роль играло все, что мог он узнать у Рекеева о положении в чувашских селах, о характере и обычаях народных. Интересна ему была и личность Яковлева, которого он еще очень мало знал. Меж тем Рекеев все больше и больше по-человечески привязывался к нему и совсем перестал его стесняться. Однажды он принес с собой лист бумаги, испещренный двойными надписями: в одних строках текст был русский, а под ним русскими буквами стояли совсем незнакомые слова и некоторые из них были энергично перечеркнуты. Илья Николаевич с любопытством посмотрел на листок, привстав даже с кресла. Сильно покрасневший Рекеев принялся объяснять: из школы Ильминского прислали для духовного пения в классе православную молитву «Царю небесный».

— Перевод очень хороший,— сказал со знающим ви-

дом молодой чуваш,— но только я сверил. Иные слова, Илья Николаевич, неправильно переведены. Хотел вас спросить, не обидно ли будет Ивану Яковлевичу, если это написать в письме?

— Отчего же обидно,— отозвался Ульянов и, любопытно взглянув на юношу, прибавил: — А вы покажите мне, какие это слова.

— Ну вот,— Рекеев глубоко вздохнул,— смотрите: «полотри падша»,— это значит «внутри неба». Царь внутри неба, как бы внутри дома или массы какой-нибудь. А по-русски — Царь небесный, то есть н а н е б е. Или смотрите дальше: по-русски «утешителю душе истины», значит утешитель человека, когда человек в горе. По-чувашски это можно сказать «лыплан-дарма». А насчет такого слова, как «хибер-детерегень», трудно будет понять, такое слово у нас в Симбирской губернии нигде, Илья Николаевич, не в ходу, его народ не поймет... И много еще разных не тех слов.

Илья Николаевич улыбнулся своей заразительной улыбкой, от которой у собеседника в душе светлело:

— Как это хорошо, что вы и русский язык, и чувашский так точно знаете и разбираете разницу. Напишите, напишите Яковлеву, он только порадуется за вас!

И успокоенный Рекеев в том самом письме к Яковлеву, где писал он о своих беседах с инспектором «по долгу времени»,— поделился и всеми своими поправками к казанскому переводу молитвы.

По этим письмам, если б быстродум какой, работая в архивах, только по ним одним захотел себе представить рабочий день Ильи Николаевича,— каким городским и кабинетным, каким сидячим и досужливым показался бы ему этот день! Словно Ульянов всегда был на месте в своей «горнице», всегда готов принять и вести любую беседу. А между тем такие дни у Ильи Николаевича выпадали редко, редко, сосчитать их в месяц можно было по пальцам одной руки, и он урывал их от семьи, от своей небольшой квартирки во флигеле, от любимой жены, которой хотелось ему, сидя с ней рядом на диване, когда дети уснут, рассказывать все до мелочей, что случилось в поездке.

Он начал свои объезды с тех же чувашских сел Курмышского и Буинского уездов и решил прежде всего открыть две школы— в деревнях Ходары и Кошки.

Осенью, когда суха земля и только шуршит на дороге опавший лист, какое это блаженство ехать и ехать, даже если трясет тебя в бричке, словно просеивает сквозь сито, или спина болит боком сидеть на линейке. Но зато воздух вливается в легкие, словно входишь в него, как летом купаться в реку,— и в этом воздухе весь мир, вся природа накануне зимнего засыпанья! Прохлада и сухость обнаженных от листьев пространств, далеко видимых глазу сквозь голые сучья; бодрящий ветер, в котором словно иголки колют — холодные струйки наступающего на осень зимнего времени; и уже настоящие иголки,— одна лишь в зелени хвоя, кое-где пустившая по стволам вязкую смолистую слезу,— да так они пахнут в чистом воздухе, эти хвойные иглы, словно в них одних сейчас сок и кровь земли. А между стволами — сколько раз видел Илья Николаевич в своих разъездах — мелькает пестрядь бабьих сарафанов и звучит ауканье, это вышли по грибы или бруснику. И еще не раз видел Илья Николаевич, не удерживаясь от улыбки, как стрелял через дорогу линючий заяц или рыжей молнией описывала где-нибудь на верхушках дерёв свою мгновенную дугу белочка.

Но когда земля не суха, и вся набухла от многодневного дождика, дорога раскисла и расползлась, и чуть только начался день, а уже стало темнеть,— ехать в открытом возке не только мученье, а и подвиг, хотя терпеливый Илья Николаевич и тут находил приятное для себя, вылезал из возка, разминал ноги, делал руками упражнения по-шведски, помогал кучеру вытаскивать возок из намокшей глины. Не час и не день длились такие поездки. Если смотреть только по расписанию, тоже вывешенному инспектором у себя над столом, цифры выходили внушительными. От Симбирска до Курмыша, например, 319 с четвертью верст: на Урень, из Уреня через Промзино и Ардатов на Алатырь; из Алатыря через Рыбушкино, Пиловольные заводы, Шипиловку — на Курмыш. Но цифры эти ничего не говорили о непроходимости дорог в непогожее время, о тяжкости ночевок в душной, прокуренной махоркой ямской избе, о полчищах клопов на лавке и вони, вони. Больше всего страдал Илья Николаевич от смрада. Надышавшись за день свежего озону, насладившись всей грудью чистым воздухом,

он весь сжимался в физической тоске, когда располагался на ночь в избе. Ямщик его, войдя и перекрестившись на икону, первым делом разматывался, распоясывался и, стянув набухшие сапоги, радовался теплу, как счастью. Он обогревался даже клопиными укусами, как однажды сообщил Илье Николаевичу, потому что «клоп кровь разгоняет», а дурной, тяжелый запах был для него «ничаво». Но Илья Николаевич сапогов не стягивал, чтоб скорее и легче было снова выйти на крыльцо и затянуться ночным свежим холодком, как иные любители затягиваются папиросным дымом. И эти ночевки, даже когда усталость с ног валила, были для него, особенно в первые годы, самой большой мукой. И даже в зимнее время, в самые заносы, когда варежка на руке гремела, оледенев, а усы и борода того и гляди начнут ломаться, как веточки под грузом снежной изморози, и говорить сквозь них трудно, он тоже опасался избы-ночлега.

Еще в феврале народный инспектор просил об открытии в селе Ходарах казенной (министерской) школы для чувашских детей. Точнее сказать, разрешение на эту школу он еще с сентября носил в кармане. Казанский учебный округ, хотя и со скрипом, но дал согласие. И тогда же, 30 сентября, Илья Николаевич официально уведомил штатного смотрителя курмышских училищ: «Вследствие представления моего Попечитель Казанского учебного округа от 25 сентября № 40 сообщил мне, что Управляющий Министерством народного просвещения предложением от 15 сего сентября за № 8785 разрешил открыть в с. Ходарах (Курмышского уезда) начальное народное училище для инородцев». Всегда старавшийся выразиться как можно проще, он для штатных смотрителей предпочитал язык документа. Это действовало побыстрее и означало — кратчайшим образом выполнить распоряжение, известить о нем крестьян, помочь собрать учеников, найти помещение. Когда дело доходило до инвентаря, то есть помещение какое ни есть было найдено, народный инспектор заказывал столы и скамьи тому же штатному смотрителю училищ. Он на опыте убедился, что бумага — одно, а дело — совсем другое. Для бумаги нужны только бумаги и написание, а для дела — ассигнация из министерских сумм, вымаливание у земства, сочувствие училищного совета, лес для постройки, дрова, содержание, жалованье учителю. Построить новое

здание школы, говорили ему еще в округе, будет нелегким, очень нелегким трудом. Делая свой годовой отчет на пасху, он думал об этих школах для Ходар и Кошки. Даже у себя дома в семье, спустя несколько недель после рождения сына Владимира, сидя утром у кровати еще не вставшей жены и глядя на лобастую голову в рыжем пуху крепко и сильно сосавшего младенца, он думал об этих школах. Они были тоже его детищами, в них должны были люди расти, как бы рождаться вторично,— и все в этих школах, от первой доски до последнего гвоздя, продумано было им самим.

— Ты представь,— шепотом делился он с женой, чтоб не помешать сыну,— на мое письмо Курмышский училищный совет изволил ответить буквально: «в нашем уезде нет надобности открывать сельские народные училища для чуваш!» Как тебе нравится — нет надобности. Это в уезде, где тридцать тысяч чувашей. Придется опять выехать...

Но дела было по горло и в городе. Он все пороги обибил, покуда добился денег, нужных на стройку. Но и деньги ведь были только бумага. Весной, добираясь по распутице до Ходар, он сделал крюк в двадцать верст по самым непроезжим, болотистым местам, чтоб заехать в лесничество и на Пиловальные заводы. Ему не терпелось договориться о лесе, пощупать своими руками доски, сосчитать точно, до одной, сколько понадобится. В его большой клеенчатой сумке, непроницаемой для дождя, лежали чертежи, сделанные его собственной рукой.

Подобно тому, как десятью годами раньше, охваченный страстной тягой к собственному рабочему углу, больной и старый поэт Шевченко, вернувшись из ссылки, создавал на бумаге план своего будущего «будинка», отводя в нем место и для камина, и для «живой натуры» и располагая его так, как только мог художник, кухню и сенцы на юг, мастерскую на север,— Илья Николаевич влюбленно мудрствовал над проектом первой своей школы и тоже обдумывал каждую жизненную мелочь. Воздух, воздух! Он никогда не забывал о нем,— и на плане появились очертания окон с форточкой, которую для наглядности он сделал дважды, в ее закрытом и в настежь открытом виде. Не все купеческие хоромы в три и четыре этажа, да что там,— не все и губернаторские дворцы в губернии имели в те годы форточки на окнах.

Тем замечательней был проект Ульянова. Он не забыл и пристройки, сарай для дров, ретираду с мощеной дорожкой к ней, чтоб дети осенью не пачкали обувь в грязи. Удивительное дело! И этот «будинок» Шевченко, мечта его старости, которому не суждено было осуществиться; и этот школьный проект Ульянова, чуть ли не собственными руками материализованный, при всей их тонкой городской мысли,— камина в мастерской художника, чтобы обогреть обнаженную натуру и, может быть, поймать розовый отсвет пламени на изгибе ее ноги; и форточки в классе, чтобы впустить для десятка ребячьих легких свежую струю кислорода в душный воздух,— при всей их городской тонкости что-то имели единое и схожее между собой: простоту крестьянской избы. Оба задуманы, в сущности, по плану старинного деревенского сруба.

Свои бумаги и чертежи Илья Николаевич, по приезде в Ходар, тотчас разложил перед молодым учителем из чувашей Александром Рождественским. Он и начал так, и точно так продолжал создавать школы в Симбирской губернии: как бы руками самих педагогов и своей собственной.

— Вы будете тут проводить полдня ежедневно, шесть месяцев в году, это духовное жилье ваше. Здесь будет висеть доска для учеников, стоять шкаф с книгами и звучать ваше слово. Кому, как не вам, принять на себя заботу о постройке... Если б каждый сам шил себе свое платье, уж поверьте,— перещупал бы всю материю, осмотрел бы нитки, иголки, надкусил каждую пуговицу, чтоб не было гнилья и обмана. А школу вы тоже строите для себя, так перещупайте и доски, и гвозди, торгуйтесь и боритесь за каждую копейку. Если ее не переплатите впустую, она вам пригодится на нужное...

Так или почти так беседовал он с учителем Рождественским, которому было поручено построить школу. В деревне и на сходке крестьяне еще помнили Рождественского мальчишкой и звали «Сашок» или «Шурян». Но Илья Николаевич в глаза и за глаза всегда произносил полностью его имя и отчество, и постепенно стали так называть своего учителя и крестьяне-чуваши. Из «сборной избы», из самого невозможного жилья, где на первых порах поместили школу, ученики только в 73-м году должны были перебраться в новое здание, казав-

шееся им дворцом. И это было тоже одним из блестяще найденных методов Ильи Николаевича.

Ездя по своим уездам и сверяя бумагу с действительностью, он сразу заметил и в первом же отчете указал, что свыше двухсот с лишним школ, обозначенных на бумаге, не существует на деле. Двести с лишним школ приходилось перевести из разряда бытующих в разряд небытия! И тут же он бегло подумал, что, действуя иначе, то есть создавая школы, ну пусть зародыши, ячейки школ,— как выразился он про себя школьной латынью «de facto»,— их куда легче было бы потом оформить и «de jure», то есть перевести с земли да на бумагу. И едва получив первое разрешение от попечителя округа, еще не вытянув ни копейки денег у министерства, новый инспектор на месте собирал сход. Так собрал он сход и в начале 1870 года в селе Ходары. Сход набился в грязную караулку, где поставили стол и два стула. На стульях разместились сельский староста и незнакомый для крестьян высоколобый, чуть облыселый человек в мундире со светлыми пуговицами. На эти-то пуговицы особенно загляделся худощавый малец с соломенно-светлыми лохмами, тайком между взрослыми пробравшийся в избу,— Ефремка. Прячась от строгих глаз старосты, Трофима Карповича, он глаз не сводил с дяденькиных светлых пуговиц и все ловил мягкие, дружелюбные слова, казавшиеся ему «переливчатыми»,— так скользила по языку буква «ре», никак не удаваясь говорившему. Спустя много, много лет, когда Ефремка сделался уважаемым Ефремом Егоровичем Нагаевым, выпускником первого приема Ходаровского училища, и даже носить стал шляпу с тульей вместо картуза,— он вспоминал и рассказывал об Илье Николаевиче:

— Говорил инспектор мягко, душепроницательно. Очень его речь понравилась крестьянам, и они согласились открыть школу. Но не было помещения для школы, и на первое время открыли ее в сборной избе...

Как-то вечером, когда во флигеле на Стрелецкой собрались новые симбирские друзья Ульяновых,— а были все это больше свои же, имевшие касанье к учительству, члены уездного или губернского училищных советов,— Илья Николаевич попивал любимый свой чаек вместе с кумом, Арсением Федоровичем Белокрысенко, крестившим у них сына Владимира.

— Хитры́, хитры́, Илья Николаевич,— говорил Белокрысенко, поддразнивая своего кума. Он только что побывал во внутренних покоях, поглядел на годовалого, большеголового крепыша-крестника, удивительно спокойного мальчугана, и сейчас расположен был к разговору об училищных делах.— Какие же, интересно знать, школы, которые вы сами-то по приезде взяли под огонь и стыдили всю губернию: мол, чуть ли не в курятниках и в чуланах у попадьи,— не педагогично, не гигиенично! А сами на что идете?

Ульянов прервал чаепитие, принес свою неизменную непромокаемую сумку и достал из нее ворох документов. Листая их перед Белокрысенко, он громко считал «раз-два» и насчитал до восьмидесяти. То была переписка об открытии Ходаровской школы, переписка с округом, с попечителем, с Курмышем, с училищным советом, с министерством,— запросы, ответы, запросы, ответы, разрешенье — и денег нет, опять настойчивые наседания, просьбы, почти требования...

— Вы посмотрите вот на это,— обратился он к Белокрысенко и начал читать официальный запрос: почему и на каком основании полагает господин инспектор, что чувашскому селу Ходары нужна школа? А вот я им и отвечаю, потому что могу ответить, м о г у, понимаете?— И он зачитал своим картавящим говорком:

— «При открытии, какое было 6 декабря 1870 года, в училище поступило 12 мальчиков, а в феврале учитель донес мне, что учащихся было уже 28 человек. Такой прилив учеников из чуваш в такое короткое время, по моему мнению, может считаться достаточным доказательством пользы и необходимости существования училища в селе Ходарах. И, наконец, село Ходары находится в глухой местности, на расстоянии 50 верст от города Курмыша, населено преимущественно крещеными чувашами, и около этого пункта сосредоточены чувашские селения, не только малолюдные, но и довольно значительные по населению, например: Туваны, Малые Туваны, Лесные Туваны. В этих деревнях считается жителей обоего пола около 1000 душ...»

— Отвечаю de facto и это нельзя от'ицать, нельзя отвейнуться от этого,— повышая голос и от волнения еще больше сглатывая упругое «ре», воскликнул Илья Николаевич,— ставлю их перед существующим: школа уже

есть, она прогрессирует, притягивает все больше учащихся и потому,— потому, понимаете? Пожалуйте ассигнование на здание школы! Я частично уже получил, начнем строить...

Пока все это говорилось, Мария Александровна задумчиво подложила свежего уголечку в самовар, примолкнувший было,— и вот он опять зашумел на столе, словно друг семейства, принявший в разговоре участие. На столе, кроме сахарницы и домашнего печенья, были масло в масленке, натертый зеленый сыр на тарелочке,— любимое дешевое лакомство семьи, и нарезанный ломтями ситник. Чай у них, совершенно не по обычаю симбирского дворянства и чиновничества, совмещался с ужином и обходился без горячего блюда. Пока муж, волнуясь, перелистывал свои документы, Мария Александровна, похорошевшая и располневшая от кормления Володи, вставила своим тихим голосом и от себя словечко. Перед ней, покуда шел разговор, проплывали картины первых месяцев жизни в Симбирске, приезды мужа из бесконечных скитаний по губернии, рассказы о том, как опорочивается перед крестьянами сама идея школы от безобразных условий, от невежественных учителей, от тупости и бесплодности методов обучения...

— Сравнивать то, что идет вперед, с тем, что назад идет, нельзя,— сказала Мария Александровна.— Старые школы, которые Илья Николаевич описывает в годовом отчете, шли к упадку, мальчики разбегались. А эти новые, хоть и организованы в таких же курятниках и караулках, привлекают учеников, умножают их число. Про те, старые, надо было говорить: «уже разваливаются в своих курятниках», а про эти, наши, мы говорим: «они пока помещаются в курятниках». И именно поэтому и удается выхлопотать на них средства...

— Браво! Ручку за логику! — Белокрысенко потянулся со своего места, привстал и поцеловал руку Марии Александровны: — Ну и кума, ай да кума,— с одобрением обратился он уже к Илье Николаевичу, потому что Мария Александровна, слегка покрасневшая на комплимент, успела выскользнуть из столовой, услыхав из детской громкий всхлип проснувшегося Володи.

Илья Николаевич не спеша спрятал бумаги. Как всегда, от немногих слов жены, вставленных в разговор,— испытывал он волнение, ничуть не потерявшее своей глу-

бины и свежести за шесть лет брака. Он не разбирался в природе этого волнения,— тут была и горячая вспышка влюбленности, внезапно зажигавшая кровь; и нежность долгой совместной близости; и то юношеское восхищение, какое потянуло его к ней в Пензе,— восхищение культурой ее мышления, о которой она как будто сама не подозревает, долгой культурой, накопленной предками, и ясность, трезвенность, деловитость, за которую симбирские дворянские дамы наградили ее за глаза недоброжелательной кличкой «немчуры»,— и еще много такого, несказанного, необъяснимого, связанного с овалом ее щеки, рисунком ее губ, движением ее плеч, походкой, словом — всем, чем была она.

Он едва дождался, пока ушел Белокрысенко. В спальне было темно. Мария Александровна, подсев к деревянной кровати-лодочке, где малыш уже опять заснул, посасывая во сне свою собственную губу,— легонько покачивала ногой эту кровать-люльку. Муж приблизился к ней на цыпочках, притянул к себе и шепнул: «Умница моя, Мэри!»

3

Когда старый граф Орлов воздвиг над Симбирском свои знаменитые башенные часы, он вовсе не думал делать это символически. Но часы напоминали,— и продолжали день за днем, месяц за месяцем напоминать,— мягкотелым жителям города тот немаловажный фактор жизни, какой зовется временем. Время текло, уходило, как вода сквозь пальцы, покуда приезжали из деревни и уезжали в деревни симбирские помещики, давая в зимний сезон в городе свои малые и большие приемы, справляя простые и престольные праздники, царские и собственные рождения и именины. Но время не только текло и уходило, оно текло подряд, последовательно, по часам, по дням, и сама эта последовательность времени ежеминутно напоминала о последовательности действий, о порядке.

Встретив на пристани маленького, ласкового Илью Николаевича, совсем не чванливого и не похожего на чиновников, какими кишмя кишела губерния,— члены уездного и губернского училищных советов увидели в нем

покладистого человека, легкого для совместной с ним службы. Но проходили месяцы, и это первое представление начало рассеиваться.

Ласковый и мягкий, это — да; переложить помаленьку на его плечи всю работу по школьному делу, да кстати и ответственность,— это да. Но дальше была заминка. Подобно тому, как в характере Марии Александровны местные дамы почуяли постепенно некоторую «чужинку», недоступную для болтовни и безделья, так симбирские деятели увидели вскоре в Илье Николаевиче неожиданно твердую основу, не их обыкновения, не их типа. Сперва, как будто в первой бурной полосе разъездов, открытия школ то тут, то там, обращений к земству то за тем, то за другим, Илья Николаевич показался им, как они сами и окружающие их на заре жизни,— белкой в колесе, когда развиваешь от случая к случаю бешеную энергию, кидаешься в разные стороны, покуда не обкатают тебя как следует российские мельничные валки и превратят в обыкновенную муку первого сорта, ту самую, из которой выпечена российская бюрократия. И даже близкому могло показаться вначале, что ездит Илья Николаевич по разным местам случайно, школы задумывает тоже случайно и сгоряча, людей подбирает, какие подвернутся, а вот как увидит неизбежный результат, руки опустятся и поутихнет жар. Самые благожелательные, даже такие, как местный помещик-либерал Назарьев, наезжавший зимой в город, или племянник поэта Языкова, молодой Языков, живший в том самом белокаменном доме-особняке, где у дяди его живал Александр Сергеевич Пушкин,— даже и эти двое, состоявшие в уездном училищном совете, Языков — как председатель его, а Назарьев — членом, не верили в продолжительность увлечения Ульянова.

Назарьев, причастный к литературе, называл Ульянова «вечным студентом». Эдакий энтузиаст-идеалист, доверчивый, как дитя, труженик-донкихот, бессребреник, боголюб, чистая душа — что бы мы, грешные, делали на Руси, если б в глухомани ее, в непроходимости и дикости не зажигались и не горели подчас такие вот одинокие божьи свечечки?.. Горят, горят,— тьмы не высветлят и ночь в преисподнюю не прогонят, но огонек их пробуждает в мертвых душах совесть и в огоньке их так приятно иной раз отогреть себя... Это было постоянно высказы-

ваемо Назарьевым при разных случаях и самым разным людям. Сухим недоброжелателям всякого народного образования, заседавшим в губернском училищном совете; таким, как владыка Евгений, кто епископским своим посохом избивал учеников духовной семинарии и даже в церкви, вскипая злостью, с силой щелкал во время церковной службы сухими костяшками пальцев нерадивых дьячков; таким, как директор мужской гимназии Вишневский, объедавший и обиравший свою гимназию... И даже самому Илье Николаевичу, к которому любил заезжать и приглашал к себе в имение,— повторял он нежно то же самое: «Голубчик мой, да ведь не поймут, не поймут...» И наконец, при подходящем разговоре,— симбирскому губернатору. Назарьев искренно считал эти речи необходимыми, чтоб пресечь кое в ком могущее возникнуть предубеждение и убрать с пути доброго инспектора возможные тернии и колючки. Симбирск был, конечно, глухою провинцией, дворянскою вотчиной всяких митрофанушек,— но как и любой губернский центр, он имел губернатора. А тот, кто думал тогда, что можно в глухой провинции уронить иголку на улице тайком от начальства или что в провинции этой ничего не известно было о сдвижении бровей у петербургского министра,— тот серьезно заблуждался и мало что понимал в русской жизни. По всем русским конным и железным дорогам и по малой еще протяженности линии телеграфа,— неслась и опускалась и оплетала Россию паутина циркуляров. Адресованная секретно и лично губернатору, любая важная бумага тотчас же становилась известной местному дворянству. И Назарьев отлично знал о ней и даже знал,— почему и он, и Языков, и Толстые, и Хитрово́, и десятки других собственными глазами видели хотя бы, например, письмо за № 83 министра народного просвещения, адресованное губернатору Симбирска и, наверное, всем прочим русским губернаторам. Знал потому, что сам по себе, один губернатор, без помощи верноподданного дворянства,— ну, скажите на совесть, что мог бы он сделать в ответ на такие бумажки? Где и как мог он один со своим чиновьём уследить хотя бы в собственном кругу, а не то что по всей губернии, те опасные явления, о которых писал министр? А министр, граф Дмитрий Толстой, подогретый «открытым процессом» Нечаева, всколыхнувшим русское общество в 1871 году, и подогре-

ваемый ненавистной ему Выставкой, писал вот о чем за месяц до ее открытия, 22 апреля 1872 года.

«Со времени политического процесса Нечаева,— так начал министр свое послание,— распространилось зло — тайные кружки среди молодежи, злонамеренные лица вербуют и развращают молодых людей, возбуждая в них сочувствие к быту беднейших классов, проповедуют изучение их нужд посредством хождения в народ, собирания этнографических (слово «этнографических» в оригинале у него было написано особо жирно), статистических и других сведений и отсюда — развивают в учащихся односторонние представления о распределении труда и богатства, внушают мысли о более справедливой организации общества. Лицемерно затрагивая в молодых сердцах благородные струны, они указывают им, где можно приобрести со скидкой некоторые сочинения опасного материалистического направления. Тайные кружки собирают членские взносы, устраивают собрания, имеют условные знаки. Их надо распознавать под маской различных «артелей», групп по переводу иностранных книг... Ответственность за гибель молодежи лежит на профессуре...» И знакомая женственная подпись закорючкой,— Д. Толстой.

Такие послания, как циркуляры из округа,— чистить, следить, замечать, исключать... вились и завивались сейчас колечками вокруг каждого, кто причастен был к делу народного образования. И Назарьев долгом своим считал сгущать защитную атмосферу этакой детской наивности, простодушия и боголюбия вокруг личности инспектора, как бы ради безопасности его,— ведь и тот принадлежал к подозреваемой касте педагогов.

Но Белокрысенко, ставший в близкие отношения с флигелем на Стрелецкой, был проницательней Назарьева. Он, правда, любил дружески подшучивать и подтрунивать над Ильей Николаевичем, пользуясь правом кумовства, но от него не укрылась та т в е р д а я о с н о в а, о которой я написала выше. При всей своей видимой мягкости, Илья Николаевич был настойчив в работе. И не только настойчив,— он был аккуратен. И не только аккуратен,— а, что особенно вызывало уважение в Белокрысенко управлявшем удельной конторой (а не «земской болтологией», шутил он про себя), так это система. Все, что новый инспектор народных училищ начал делать в

губернии с первых же дней, и отдаленного даже сходства со «случаем», с «настроением», с «наивностью» не имело, но было как бы звеном единой обдуманной цепи, развивавшейся без обрыва. Удивила Белокрысенко несказанно самая первая, если не считать рассылки опросных листов, мера Ульянова, которую тот неуклонно проверял из месяца в месяц. Спустя немного времени по приезде, ознакомясь с положением в школах, Илья Николаевич 11 ноября 1869 года разослал по всем штатным смотрителям уездных училищ строгое распоряжение: раз навсегда прекратить в школах применение каких бы то ни было физических наказаний учащихся, останавливать, где они имеются, и подробно описать, какие меры воздействия употребляют учители данных школ. И когда, после такого распоряжения, Ульянов начал свои объезды, он не забывал проверить его исполнение, объясняя его, приводил учителям доводы и примеры, подсказывал, как надо и поощрить, и наказать ученика. Особенно следил он, чтоб учители не ставили детей за провинность на колени,— обычай, названный им варварским.

— А знаменитый хирург Пирогов, причастный делу просвещения, за сечку стоит! Сечь в экстренных случаях необходимо, полезно и нравоучительно,— вот какова его мысль. Не скажете же вы, что такая светлая личность — ретроград? — опять поддразнил Белокрысенко, слушая рассказы Ильи Николаевича.

— Не я, не я, другие и об этом сказали! Вспомните Добролюбова!

И Ульянов живо достал с полки четвертый том Добролюбова издания 1862 года, с которым никогда не расставался, и раскрыл на странице 449. Он очень любил читать вслух и сейчас прочитал стихи из «Свистка», написанные под ритм дивного лермонтовского «Выхожу один я на дорогу».

Грустная дума гимназиста лютеранского вероисповедания и не киевского округа:

Выхожу задумчиво из класса,
Вкруг меня товарищи бегут;
Жарко спорит их живая масса,
Был ли Лютер гений или плут.

Говорил я нынче очень вольно,—
Горячо отстаивал его...
Что же мне так грустно и так больно?
Жду ли я, боюсь ли я чего?

Нет, не жду я кары гувернера,
И не жаль мне нынешнего дня...
Но хочу я брани и укора,
Я б хотел, чтоб высекли меня!..
Но не тем сечением обычным,
Как секут повсюду дураков,
А таким, какое счел приличным
Николай Иваныч Пирогов...

— Ну и так далее. Убил, убил Добролюбов научное обоснование сечки уважаемого нашего хирурга! На всю жизнь пятно останется...— Илья Николаевич, согнувшись перочинным ножичком, хохотал над прочитанной пародией, покуда Белокрысенко, против воли, улыбался себе в бороду.

Главное, что не переставало изумлять его, так это практический результат деятельности инспектора — вот он — мягкий, ласковый, с виду такой уступчивый — веревки из него вить,— а камни точит по капельке своим упорством. Десять раз скажет, сто раз проверит, сам пересмотрит,— и как рыбак свой невод,— тащит свое дело тихо, без дерганья, все целиком, тащит и приволакивает рыбу... А невод штопает, чтоб был цельным, и знает, где какая клетка слаба.

— Ну нет,— часто поправлял Белокрысенко Назарьева за картами в городском клубе,— энтузиасты беспочвенные — это мы с вами, вы да я, а Ульянов — кремень, твердыня, есть в нем, знаете ли, как бы это сказать,— система, последовательность, трудовой навык.

Если б учителю Захарову, так обескуражившему молодого Илью Николаевича в Пензе своей характеристикой, довелось в эти симбирские годы понаблюдать за его деятельностью, он бы, пожалуй, и не изменив своего вывода о новых, особых людях будущего, признал непременно, что «твердую основу» и «систему в работе» Ульянов сможет передать грядущему поколению по наследству...

Практический результат, о котором думал Белокрысенко, были люди. Как и во все исторические времена и во всяком обществе, у них в Симбирске принято было говорить со вздохами: «Что прикажете делать? Людей нет, нет людей!» А вот инспектор словно сеял и взращивал их вокруг себя. Ну что бы, казалось, Рекеев,— чувашский парнишка, пришел из деревни в город босой, держа лапти в руках на веревочке, а через два каких-ни-

будь года совершенно и не узнать его, сам будет учительствовать... И какие-то они выходят особенные.

Учителей, поднятых ученым-чувашем, Иваном Яковлевичем Яковлевым, не будь инспектора Ульянова, быть может, ждала бы в будущем неприглядная миссионерская судьба крещеных попов на языческой деревне. Сам Иван Яковлевич, увлеченный Ильминским, обрусителем татар, тоже не перескочил бы узкого круга, допущенного учебным Казанским округом для просвещения чувашей. Обрусители, крестители, воспитатели в православной вере инородцев, царю и отечеству на пользу, это, конечно,— думал не совсем правоверно, сам — царский чиновник,— Арсений Федорович Белокрысенко,— это, разумеется, нужно для развития государства, но... И в душе его это «но», чем дальше, тем больше, от общения с Ульяновым, вырастало в своем протестующем значении: «но» — «Но» — «НО»... Главное, все-таки чем же такая ограниченность отличалась бы от темноты и невежества всей темной, заскорузлой, православной р у с с к о й деревни?

— Именно с тем, с чем идет просвещение в нашу, в русскую деревню,— говорил за чаем инспектор своему куму,— с тем должно идти оно и в деревни чувашские, мордовские, татарские. Разницы в программе, в цели просвещения, кроме родного языка, национальность не должна иметь, национальность тут ни при чем. Мы развиваем русского крестьянина, пробуждаем его умственный интерес, любознательность, познание окружающего. Грамоте учим, чтоб читал книги. Мы его к общей жизни приобщаем. Почему же чуваш должен стоять за дверью? Читать только молитву, думать только о податях, ходить только в церковь?..

Иван Яковлевич Яковлев, приехавший из Казани, стал тоже частым гостем в доме инспектора народных училищ. Он из писем своих любимых старших учеников, того же Рекеева, Иванова, Исаева уже знал, какую заботу проявляет Ульянов к оставленной им в Симбирске школе и как собирается сделать из нее учительские курсы за счет министерских ассигнований. Заменявший Яковлева в школе Иван Исаев писал ему 17 апреля 1871 года из Симбирска: «После Пасхи к нам приходил Илья Николаевич, он немного у нас посидел, спросил, все ли приехали». Нельзя было не сделать об этом памятки в

сердце своем: заходил, посидел, поинтересовался,— да еще сразу после праздника, за несколько дней до дня рождения своего сынишки, которому исполнялся годик. А прежний питомец, Александр Рождественский, писал ему о своем назначении учителем в Ходары и о том, как доверяет ему господин инспектор руководить постройкой будущего здания школы. Все это были утешительные, располагающие факты, заставлявшие заранее хотеть встречи с Ульяновым.

Иван Яковлевич Яковлев был настоящим, большим сыном своего народа, одним из тех, кого выносит история на хребте, сосредоточивая в нем нервную силу, интеллект и характер за многие сотни соплеменников, как в представителе своего народа. Он, один из тысячи, пробил себе дорогу, стал не только школьником наравне с русскими, но и студентом Казанского университета, математиком, образованным человеком, интеллигентом. Однако в противность той категории пробившихся к знанию людей из народа, кто сейчас же и отходит от него, поднимаясь классом выше, по ступенькам чиновничьей иерархии,— Иван Яковлевич и учился лишь для того, чтоб учить и тянуть к свету бедный народ свой, дать ему выход из тьмы на солнце, из нищей и страшной языческой жизни к существованию человеческому, достойному образа и подобия человека, где больные детские глаза, где бич деревенской нищеты и грязи — чахотка, где повальная оспа, в эпидемию уносившая сотни жизней, или доходившая сюда из Нижнего, полюбившая Волгу, холера,— где болезни эти лечились бы в больницах врачами и фельдшерами, а не воплями и бубнами шаманов. Хорошо было в большой, почти что столичной Казани, среди образованных товарищей и сочувствующей профессуры,— а Иван Яковлевич, едва дождавшись окончания, устремился назад, на родину. Ильминский прививал ему особое значение слова «миссионер», как личную «миссию», как подвиг, на который помазан он, как церковнослужители, новой, несущей свет, религией. Но даже тогда, захваченный красноречием Ильминского, задумывался Иван Яковлевич, только ли в этом миссия его? Не будучи священником, должен ли он чувствовать себя «помазанным»?

В обстановке столовой на Стрелецкой улице, в домашней приветливости, в спокойном и трезвом взгляде на

вещи этой новой для него по духу, образованной семьи, в отсутствии навязывания ему каких-либо убеждений и в нежелании оспаривать или опровергать его собственные, он в первые дни даже растерялся немного и очень скоро почувствовал, что боевое «миссионерство» Ильминского оставляет его, как легкие последствия самоварного угара. Тем более, как он убедился, в речах Ульянова и намека не было на атеизм или материализм. Ульянов был глубоко, хотя совсем не навязчиво, верующим человеком, и для него, конечно, проповедь язычникам христианской религии сама по себе была проповедью высшего сознания человеческого перед низшей его ступенью. Но школьное дело он понимал отнюдь не как эту проповедь, а низкий уровень не только деревенского духовенства, а и такого, всеми тайком презираемого, епископа, как Евгений Симбирский, заставлял его страстно стремиться как можно подальше держать от них дело всей своей жизни, дело народного просвещения. Обо всем этом в беседах за чайным столом никогда не говорилось, особенно при Иване Яковлевиче. Говорилось, однако же, и притом постоянно, о том, какие школы нужны деревне, как готовить учителей для них, с какими нечеловеческими подчас трудностями приходится бороться инспектору, чтоб создавать эти школы, выращивать этих учителей, строить школьные здания... И дух, вся атмосфера подобных бесед были по душе образованному чувашу. Как инородец в царской России, несмотря на образование свое, он как-то не отвык еще чувствовать себя в доме уважаемых людей за неравного им и не садился первый, не заговаривал первый в начале знакомства. Но скоро, незаметно для него, Илья Николаевич поставил будущего чувашского просветителя на равную с собой ногу. Это было началом большой, человеческой и профессиональной, дружбы между ним и Иваном Яковлевичем Яковлевым. назначенным позднее инспектором чувашских училищ.

4

О готовящейся в Москве Политехнической выставке и о том, что на нее будут приглашены инспекторы народных училищ, в Симбирске знали давно. Илья Николаевич увлекался мыслью побывать на Выставке. Он, правда, читал и статью Наумова, и неодобрительные пред-

сказания в газетах, но видел во всем этом полезную критику нужному начинанию, которая учтется устроителями. Он не мог рассуждать, как чиновник в Казанском учебном округе, о «господах либералах», поскольку глубоко и всерьез чтил работу петербургских журналов. Когда помещик Назарьев как-то напал при нем на петербургский журнализм, он горячо заступился. Правда, в отделе переводной беллетристики многое стало слабовато, но зато в «Отечественных записках» от критики оторваться нельзя. Да и беллетристика заставляет задуматься.

— Поглядите, насколько русские романы сильнее немецких, сопоставьте нашего Слепцова с Германом Гриммом! Последняя мода за границей — писать об Америке, как о стране обетованной. В немецком романе выставлен некий граф Артур, совершенный бездельник и мечтатель, он едет в Америку за понравившейся ему девушкой и находит себе дело в предвыборном ораторстве... Все это, как хотите, смешно и неумно. А у Слепцова,— кстати, я его знаю, он учился в Пензе,— Слепцов — прочитайте, как описывает эмиграцию из той же Германии в Америку безработных швабов. Это так сильно описано, это стоит перед глазами, и читатель сразу видит, что тут не выдумка неглубокого ума, но настоящее, замеченное умом глубоким, пером правдивым...

— Но слепцовского «Хорошего человека» никто не читает, а «Непреодолимые силы» Гримма у каждой барышни на столе, их слезами поливают! — возражал Назарьев. Он и «Помпадуров» Щедрина, шедших в «Отечественных записках» в том же семьдесят первом году, в глубине души считал несколько провинциальными, шутовскими, хотя не сказал бы этого вслух при Илье Николаевиче, знавшем их почти наизусть.

«Отечественные записки» Ульянов брал в библиотеке и читал, несмотря на недостаток времени, от номера к номеру. Он прочитывал отчеты о нашумевших в Европе судебных процессах,— об австрийском суде над журналистами, например, из которых один, Зоммерфельд, в своем «Экономисте» обвинил всесильного австрийского канцлера в продажности, безнравственности, измене отечественным интересам, а другие два, парируя этот удар, объявили в своей газете Зоммерфельда подкупленным на прусские деньги, чтоб оклеветать имперского канцлера. Здесь все интересовало и поражало инспекто-

ра: смелость печати в такой отъявленно реакционной стране, как империя Габсбургов, гласность суда, призывавшего в качестве свидетелей крупнейших министров и чуть ли не самого канцлера, во всяком случае его доверенных лиц, разматывавшийся на допросах клубок закулисных сторон правления, когда такие большие вопросы экономики, как поддержка строительства турецкой железной дороги, связывавшей Европу с Константинополем, выпуск турецких бон, отношение к ним биржи и банков — все это строилось на интересах личного обогащения правителей страны, а не соображений народной пользы.

— Наивный вы человек,— смеялся его удивлению Назарьев,— как будто когда-нибудь где-нибудь делалось по-другому! Покойный наш государь говаривал, что его министры украли бы русский флот, если б думали остаться безнаказанными.

Но Илью Николаевича поражал, конечно, не размах министерских и банковских афер, а то, как об этом говорили на суде и писали в газетах. Внимательно, урывая часы у сна, прочитал он и о другом процессе, о чешской юношеской организации «Скол» в Праге, где был свой тайный лозунг, сбор денег, даже кое-какое оружие вроде кинжалов и где мальчики — с четырнадцатилетнего возраста — обсуждали план свержения на своей родине австрийского владычества. Их осудили, и эта зеленая молодежь пришла на суд в национальных одеждах, с цветком в петличке, никого на допросах не выдала и прощаясь — они обняли друг друга. Как будто читаешь по-латыни об эпохе римских трибунов,— думал Илья Николаевич.— Наивное, бессмысленное, а какая римская поза, как их, детей, язык у прокурора поворачивается судить и осуждать... И какая разница с уголовщиной этого проходимца Нечаева, воровавшего, обманывавшего, своими руками задушившего несогласного с ним товарища!

Как раз в эти невероятно трудоемкие полтора года, заполненные разъездами и работой, Илье Николаевичу пришлось столкнуться с тем, чего еще не было в его жизни педагога — ни в Пензе, ни в Нижнем. Там он преподавал, находился на первых ступенях чиновничьей иерархии, в его положении на этих ступенях люди чувствовали себя не наблюдателями,

а наблюдаемыми. Гражданские возможности их были шире, и если приходилось им большего опасаться,— доносов, увольнения и даже арестов,— то к судьбе своих сограждан причастны они не были. Перед самым его отъездом из Нижнего Новгорода неугомонный Гацисский принес ему черновик телеграммы, который предложил Ульянову подписать. Та самая Прага, бурная чешская столица в лоскутной Австро-Венгерской империи, где кипели национальные страсти, где юноши с игрушечными кинжалами шли в тюрьмы за тайные сговоры против властей,— та самая Прага отмечала в августе 500-летие со дня рождения великого своего вождя, Яна Гуса. И не просто отмечала, но со значением, органически связывая имя его с их сегодняшним национальным движением. Телеграмма, составленная Гацисским, гласила:

> *«Прага, в редакцию «Народных листов». Вспоминая с глубоким чувством уважения великую жизнь великого мученика за свободу совести и бойца за права чешской земли мистра Яна Гуса, шлем искреннейший привет достойным продолжателям гусовых начинаний теперешним сынам чешского народа».*

Под этим текстом уже стояло тринадцать подписей разных педагогов. Гацисский, Трушков, оба Овсянниковы, Корчагин, Невский, двое Баулиных, Виноградский, Фаворский, Сапожников, Родзевич... Илья Николаевич подписался четырнадцатым, до сослуживца своего, Шапошникова, подписался с горячим сочувствием, и потом они сложились на семь рублей,— стоимость телеграммы,— которую и отправили 23 августа. Ну так вот,— мог ли бы он сейчас, в своем новом положении инспектора народных училищ, подписать и послать такую телеграмму? Если б даже питал Илья Николаевич какие-нибудь на сей счет иллюзии, сама жизнь с первых же шагов разрушила их. Она показала ему, что если раньше, как педагог, он находился как бы вне круга,— сейчас, крупным государственным чиновником, он оказался уже «в кругу».

Получая от курьера первые же казенные бумаги из округа или отношения из канцелярии губернатора, он

увидел конверты со штампом «секретно». Вот это и означало «в кругу»,— в кругу наблюдающих, охраняющих, отвечающих за «устои». К человеческому сердцу отмычек нет, и лишь сам человек или случившийся тут же врач могут сказать, когда екнуло или сжалось сердце у человека. Но мы можем смело предположить, что первое стеснение сердца в груди инспектора, первый неровный толчок его — был предчувствием или предварением той болезни, что свела его в раннюю могилу.

Среди счастья найденной по душе деятельности, счастья широких земных просторов, где, казалось, он был на полной свободе смотреть и чувствовать, начинать и обдумывать,— и создавать, создавать, душевно соприкасаясь с народом, чувствуя себя частицей его,— среди этого счастья кипучей деятельности неподвижно лежали в ящике письменного стола, приносились каждое утро курьером под расписку в особую разносную книгу,— большие сероватые конверты со штампом «секретно». Их надо было распечатывать, читать. Их надо было размножать к руководству и действию. Их уже в этот год, как и в предыдущий год, было много.

«№ 430. Господину инспектору народных училищ.

> *Министерству народного просвещения сделалось известно, что домашняя учительница Богданова, вышедшая замуж за некоего Быкова, отличается нигилистическим образом мнений. Вследствие чего, находя нужным принять меры о недопущении Быковой к занятиям по воспитанию и обучению юношества, как в частных домах, так равно и в женских учебных заведениях...*
>
> *Об этом имею честь сообщить Вам, Милостивый Государь, для исполнения и руководства.*
>
> *Управление округом*
> *Помощник попечителя М. Соколов».*

То была первая бумага, от 5 февраля 1870 года, еще до рождения сына Владимира полученная Ильей Николаевичем. За ней пошли другие,— об учителе Василии Сланском из города Курска, о тамбовчанине-латинисте Преображенском, о тверском семинаристе

Маслове, об учительнице Пластуновой из Торжка, о сельском учителе Александре Градосельчанском, о тифлисском гимназисте Ибрагиме Рахимове, о харьковском студенте Владимире Малютине, о новороссийском студенте Аврааме Попиче, о дворянах Смирнове, фон-дер-Эльстниц, Гольштейн; о бывшем учителе Григориопольского приходского училища Николае Собещанском, о студенте Медико-хирургической академии Иване Петровском, об инженере Николае Ламанском, о дворянах Льве Фаддееве Моравском, Николае Гаврилове Менделееве и о десятках, сотнях других, которых надлежало не допускать к преподаванию, особенно в начальных народных училищах. Как бы для вящего унижения этих отстраняемых лиц, их отчества у дворян, как и у податных, не писались на «ович», а просто на «ов». Со всех концов России, Тифлиса, Одессы, Тамбова и Торжка, Харькова и Петербурга, всех чинов и званий сыпались они в секретных бумагах, требующих размножения. Илья Николаевич от руки должен был делать типовую бумагу, бесконечно повторяя и вписывая имена эти и рассылая по уездным училищным советам Буинскому, Курмышскому, Ардатскому, Алатырскому, Карсунскому, Сызранскому, Сенгилеевскому и, наконец, своему Симбирскому.

Первое время он ничего не рассказывал о них жене. Но по ночам, внезапно просыпаясь, представлял он себе за этими именами живых людей, юношей и девушек,— ищущих по необъятным пространствам уголка, где бы не слыхали о них и приняли их на службу. Почти наверное эти люди не знали о сетке, накинутой своими квадратиками на всю Россию, каждую деревню ее, как мухи не знают об ожидающей их паучьей паутине. И вот они добрались за тысячи километров от горных вершин Кавказа до забытых богом берегов какой-нибудь речонки Суры, где в бедной деревушке живут татары,— тут-то уж наверное удастся пристроиться! И вдруг, словно стена, вырастает перед ними какое-нибудь начальство с бумагой в руках... Стена между человеком и его полезной деятельностью... Илья Николаевич тяжело засыпал,— даже в грязной избе без воздуха, на дорожном ночлеге засыпать было легче.

Он не рассказывал о них жене, потому что, отняв Володю от груди, она уже носила опять и родила чет-

вертого ноября 1871 года долгожданную девочку, которую, как давно задумала, назвали они Ольгой.

— Вот и подружка золотому голубю моему,— говорила няня, качая на руках своего любимца, целиком уже перешедшего в ее ведение. Но в глубине души няня, Варвара Григорьевна, не одобряла называть девочку по имени усопшей сестрицы,— не к добру это, не принято у добрых людей.

Не рассказывал, скрывал, но через два месяца, в конце января, не вытерпел,— уж очень дика была полученная на этот раз бумага: гимназист приготовительного класса 5-й Санкт-Петербургской гимназии (8 лет 8 месяцев от роду) исключен 16 ноября 1871 года из гимназии за неуважение, оказанное им к портрету Государя Императора... Дальше следовал пространный рассказ, как два мальчика не православного исповедания во время урока Закона Божьего сидели не в классе, а в зале, и как Иосиф Замойский вздумал грозить кулаком царскому портрету и даже плевать на него... И перед ним должны были навсегда закрыться все двери, все возможности к просвещению.

— Боже мой, восемь лет восемь месяцев,— произнесла Мария Александровна, выслушав мужа.— Почти ровесник нашей Ане...

Больше ничего не сказала она, но надолго, на всю жизнь запомнила этот разговор и особенное, остерегающее чувство, холодком пронизавшее ее, как тогда, при известии о выстреле Каракозова.

В январе 1872 года Илья Николаевич получил, наконец, собственную печать с гербом Симбирской губернии и надписью «Инспектор народных училищ» и смог заказать себе в типографии 200 печатных бланков. Вести переписку с уездами на готовых печатных формах сделалось даже как-то нравственно легче. Семья у него разрасталась, старшие дети требовали забот и присмотра, а двое младших еще лежали,— Ольга в люльке, Володя в кроватке. Большеголовый и тяжелый мальчик поздно начал ходить и первое время подползал к своей новой сестренке на четвереньках, а поднимался к люльке с трудом, держась за нее обеими руками. Мать и носила Ольгу легко, и родилась она как-то легко и незаметно, не причинив боли. Худенькая и совсем маленькая, она редко когда кричала. Но детей все же четверо; двое

чужих в доме,— няня и кухарка; да он с женой,— восемь человек. Во флигеле стало бы тесно, если б, к счастью для них, не выехали, наконец, соседние жильцы, и Ульяновы еще до рождения Оли смогли перебраться из флигеля в просторную квартиру соседнего большого дома, на втором этаже, окнами на Стрелецкую улицу. Суеты, дел домашних, забот и хлопот с переездом, помимо напряженнейших дел по службе,— выпало Илье Николаевичу в этом году по горло. Но еще до нового года, в декабре, состоялась сессия губернского земского собрания, доставившая ему большое душевное удовлетворение.

Несмотря на все разнообразие служебных дел, физическое напряжение от разъездов (он ведь успел за это время проинспектировать 78 школ, а несколько открыть и построить),— и тяжелый осадок, оставляемый в душе серыми конвертами «секретно», требовавшими тоже не малой, но уже канцелярской работы,— несмотря на все это, Илья Николаевич ни в чем не изменил своей привычки к планомерности и последовательности и не перестал думать о том, что, по его мнению, было главным: о задаче подготовки народных учителей.

В декабрьской сессии он принял самое горячее участие. Инспекторы народных училищ по самому положению своему автоматически включались в число членов губернских училищных советов. Илья Николаевич естественно вошел в симбирский губернский училищный совет, где председательствовал такой зубр, как епископ Евгений, куда входили губернатор и прочие крупные чины Симбирска. Но все это не были работники, все это были как бы одни номиналы. Редко, редко кто из них, да еще только при хорошей погоде, если не шел дождик и не было распутицы,— подкатывал в карете, чтоб лично взойти по ковровой лестнице и посидеть с полчаса за столом, крытым красной суконкой. А Илья Николаевич работал. Он ездил аккуратно на заседания, принимал участие в спорах, убеждал, доказывал. И на декабрьской сессии он выступил со страстной речью о необходимости подготовки учителей для народных школ. Тут отчасти помогли ему и серые конверты, указывавшие губернатору на опасность приезжих учителей со стороны.

— Сведения, требующиеся от учителя сельской школы, правда, не обширны,— говорил своим быстрым кар-

тавящим говорком Илья Николаевич, едва возвышаясь над высокой кафедрой, поставленной для ораторов,— но зато он должен обладать хорошими педагогическими приемами, без которых наша сельская школа никогда не подымется! В теперешней школе продолжительное долбление складов ведет к тому, что крестьяне остаются безграмотными... даже к концу третьего года ученик едва начинает читать со смыслом. Не мудрено, что крестьяне смотрят на посылку детей в школу, как на тяжкую натуральную повинность. Можно с уверенностью сказать, что для народной школы хорошая метода, дающая быстрое усвоение преподаваемых предметов, важнее даже, чем в школах, предназначенных для высших классов населения!

Эта убежденная речь, простая и ясная, была понятна комиссии; и было понятно, что учителя с хорошей методой на дереве не растут, как груши, их надо готовить, обучать, знакомить с этими хорошими методами,— а сколько этих методов народилось сейчас и без конца описывалось и в газетах, и в журнале министерства,— звуковая метода, приемы барона Корфа в его показательной школе, способ графа Льва Толстого в Яснополянской школе, ну и все прочее... Комиссия слушала и склонялась принять те меры, какие предлагал инспектор.

Первое января нового, високосного года, 1872, о котором с такой опаской говорили на окраинах Москвы, было для Ильи Николаевича поистине счастливым днем. Как всегда, еще засветло встала Мария Александровна. Затрещали в печах дрова, полилась в рукомойники свежая вода из ведра; знакомый запах дымка, пахнувшего березовой корой и свежим морозным воздухом, проник из печных заслонок в комнаты; постучал в кухонную дверь почтальон,— и на круглый обеденный стол в столовой лег мокрый от снега номер «Симбирских Ведомостей».

Мария Александровна не любила, когда читали во время еды, но в этот день, видя возбужденное и веселое лицо мужа, она ни взглядом, ни словом не остановила его. Одной рукой взялся он было за стакан чая, другой за газету. Потом искоса, улыбаясь, взглянул на нее, и глаза их обоих встретились в обоюдной улыбке. Илья Николаевич быстро отхлебнул из стакана, взял намазанный маслом ломоть вкусного серого симбирского хлеба,

густо посыпал его натертым зеленым сыром и, только окончив чаепитие и отодвинув стакан, принялся за газету.

Да! В этом первом новогоднем номере были напечатаны и отчет о прошедшей сессии, и речь его, и — решение, которое приняла сессия. Сперва он прочел его вслух Марии Александровне, покуда жена поила чаем с молоком пятилетнего Сашу и семилетнюю Аню. Потом, встав из-за стола и сказав, как всегда, спасибо жене, понес газету к себе в кабинет и там на досуге, улыбаясь от удовольствия, прочитал его снова и снова.

...Комиссия убедилась, что надо приняться за подготовку учителей... Были предложены следующие меры: 1. Пригласить воспитанников здешней духовной семинарии. Они, конечно, все знакомы с новыми методами преподавания. Но рассчитывать на них не приходится. Как только откроется священническая вакансия, все они обязательно предпочтут сан священника и приходские обязанности будут их отрывать от преподавания. 2. Содержать стипендиатов в недавно открытой Самарской учительской семинарии. Но получить оттуда достаточное количество учителей невозможно. По просьбе комиссии г. инспектор обращался к инспектору Самарской семинарии с запросом, сколько они могут принять стипендиатов от Симбирской губернии, и получил ответ, что прием возможен только в следующем году и не более 10 учеников. Таким образом, отвергнув два первых предложения, земству не остается другого выбора, как принять меру, предлагаемую г. инспектором народных училищ, т. е. увеличить число стипендиатов на здешних педагогических курсах...

Сложив газету, Ульянов посмотрел в окно. Уже рассвело, и вся улица, крыши на той стороне, голые ветви дерев — все белым-бело было от снега. Снег падал и падал с сизого неба. Как он любил такие зимние денечки! И как светло было сейчас на душе его от мысли, что любимое детище — с таким трудом созданные педагогические курсы получат большое подкрепление, а там и преобразуются в собственную для губернии, настоящую учительскую семинарию.

Так заложен был первый камень в деле выковки замечательных народных учителей, получивших поздней почетное прозванье «ульяновцев».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В МОСКВЕ И В ИМПЕРИИ

1

Они засиделись за послеобеденным кофе и говорили чуть ли не все сразу, разговорилась даже молчаливая мадам Феррари. Полные щеки ее полыхали румянцем, глаза светились,— она глаз не отводила от лица своего сына, Жоржа, только что приехавшего на каникулы из Льежа. Разговор шел то по-французски, то по-русски, но Жорж, к удивлению Федора Ивановича, предпочитал русский. Жорж Феррари вышел в мать, полный и круглолицый, с голубыми навыкат глазами, невысокого роста; из-за красивой заграничной жакетки, неплотно застегнутой, выпирало брюшко, и надо лбом его тоже заметна была ранняя плешина.

— Мой сын социалист,— не то в шутку, не то с иронией представил Чевкину Жоржа старый Феррари, и Федор Иванович никак не мог в толк взять, серьезно ли льежский студент, такой непохожий,— с брюшком, с плешиной,— был социалистом. Он встречал за границей членов разных рабочих обществ, познакомили его как-то в Париже с бакунинцем,— то были совсем другого типа люди, худощавые, косматые, в рабочих блузах, а Жорж Феррари явно следил за своей одеждой. И явно поесть любил,— для него напекли и нажарили, весь стол был тесно заставлен блюдами и графинами, а большую вазу с оранжерейными цветами перенесли на открытое в сад окно. Стоял чудесный вечер первых дней мая, весна в Москву пришла необычно рано, и было тепло, тихо, щебетали на одетых в зеленый пух ветках птицы, доносился от Успения жиденький колокольный зов к вечерне.

— Эдакая провинция,— совершенно по-русски и даже по-московски, упирая на «а» в слове провинция, произнес Жорж, откидываясь на спинку стула. Отец протянул ему было портсигар, но он отказался: — Курить бросил, оттого и толстею. Но до чего тихо в Москве, особенно после Европы! Я проехал через всю Францию,— голод, голод, французы забыли, что есть на свете сахар и кофе, народ, по милости Тьера, платит Пруссии неслыханные контрибуции. Эта победа пруссаков дорого обой-

дется не только Франции, она и на бельгийцах сказывается, и вообще последствия прусского возвышения сейчас даже предугадать трудно...

Все это звучало чуть назидательно и газетно, хотя Федор Иванович, жадно глядевший на Жоржа, видел, что тот искренен и переживает все, о чем так книжно говорит. О контрибуциях, наложенных Пруссией на Францию после победы во франко-прусской войне, писали все газеты, почти в таких же книжных выражениях, и не об этом хотелось сейчас говорить Чевкину. За прошедшие шесть месяцев он успел жадно изучить Выставку, следил чуть ли не за каждой новой доской, укладывавшейся на стройке, перезнакомился с успевшими приехать заграничными представителями, держал свой служебный билетик в верхнем кармашке пиджака,— и ему не терпелось поводить Жоржа по всем уже законченным аллеям Выставки. Но хоть и пытался он сразу перевести разговор, и даже повторил дважды: «А вот я вас завтра... послушайте, мсье Жорж, я вас хочу завтра...»

Перебивали все,— и мадам Феррари, и старый отец, и Варвара Спиридоновна; перебивал своим неторопливым, нарочито московским говорком и сам Жорж, пока победительницей не вышла Варвара Спиридоновна:

— Хороша провинция! Мы хоть и не умираем с голоду и кофе с сахаром у нас есть, но Егор Львович, ах, сколько мы пережили! Ведь год этот — високосный.

Пошли перечисленья. И в самом деле, словно подтверждая бабьи слухи на московских окраинах, год выдался страшный, с января нáчало твориться в природе нечто неописуемое: 16-го землетрясение разрушило город Шемаху, да так, что остались лишь два-три жилья... Людей погибло множество. Город до тех пор был почти никому не известен, разве что в торговых рядах знали о шемахинском шелке. Но сейчас каждый запомнил из газет его прошлое, его начавшееся богатение, его быт, его ручные ковры, его армянских красавиц под богатыми кисейными уборами на черных косах, похожими на русские кокошники. В том же январе на царской охоте вышел из лесу огромный медведь и кинулся на царя. Если б не рогатчик и не егерь, быть бы царю растерзану. Твердят о нечаевцах, а не могут предвидеть вот такие случаи.

— Даже не верится, какие происшествия были,—журчала Варвара Спиридоновна,— китайцы, например, вы,

конечно, слышали про китайцев? У них есть такой священный храм возле города Тяньдзиня, называется — ой, никак не выговорю,— Дзинь-луньси-Тайвань,— и в этом храме жила змея, эта священная змея пребывала в том храме может сто, может тыщу лет...

— Allez[1], Варвара Спиридоновна! Да ну вас с вашими глупостями,— рассердился старый Феррари.

— Честное, благородное слово, Лев Иванович: сколько — точно не помню, но очень много лет. И вдруг выползла из храма, ползет к берегу и вползает в лодку одного рыбака. Тот ее привозит с почестями в город Тяньдзинь, а в Тяньдзине уже все с флагами, с фонариками, с музыкой, с китайскими церемониями.

Что было со священной змеей дальше,— о ней действительно сообщалось в наши газеты из Пекина,— Жоржу так и не удалось дослышать, ровный и благозвучный голос его матери заглушил бедную Варвару Спиридоновну:

— Почти накануне твоего приезда... Грандиозная. Такой в эту пору в Москве просто никогда не случалось! — Она говорила о страшной грозе, разразившейся четвертого мая, с громом, градом и ежесекундно вспыхивавшей молнией,— вся Выставка была под угрозой снесения.

— Все это пустяки,— вел свою линию отцовский бас,— глупые суеверия, и причем тут несчастный год? Но должен напомнить вам гораздо более страшный факт, хотя предрассудки — относить это к году! Объясняют открытием какого-то ученого, Юнга, кажется, взрывов на солнце...

И тут все заговорили о факте и в самом деле страшном, перед которым Тайваньская змея сразу отошла в область фольклора. Двадцать шестого апреля по европейскому счислению, а по нашему — четырнадцатого, над Везувием опять поднялось зловещее пинеобразное облако. Началось извержение, потоками лавы снесшее город Сан-Себастиано. Весь Неаполь ночью выбежал на улицу.

— Как всегда, смешное сопровождает великое,— закончил говорить об извержении Везувия старый Феррари.— Нельзя не восхититься бесстрашием итальянского

---

[1] Allez — ну, поехали, пошли! *(франц.)*

астронома Пальмиери, он, как пишут, безвыходно сидел на своей обсерватории, делая наблюдения. Его научный интерес, надо полагать, был сильнее человеческого страха... А смешное,— ты не обратила внимания — повернулся он к жене.— Газеты наши писали: «Все женщины выскочили на улицу в одном белье». Как будто мужчины спали одетые! Но, видите ли, газету создают мужчины, и господам журналистам женщины в одном белье кажутся достопримечательней, чем мужчины в одном белье...

Наступила временная пауза, и Чевкин тотчас ею воспользовался.

— Вы знаете, кстати, что́ отнесли у нас к числу «неотвратимых несчастных случаев»? Когда доставляли на Выставку огромную пушку Круппа,— это гигантская пушка,— так она задавила двух рабочих. Насмерть. Я слышал, как народ волновался, и записал такую фразу: «Молчком — давит. А что ж станет, как рявкнет».

— Интересно,— живо отозвался Жорж Феррари,— очень любопытно! Двух рабочих... И что будет, когда «рявкнет». Народ больше смыслит в политике, чем вы тут со всеми вашими газетами. Это развитие мысли моей о последствиях победы Пруссии.

Разговор начал иссякать, а воздух — становиться прохладней. Вазу внесли в столовую, окно в сад закрыли. Варвара Спиридоновна пошла распорядиться, чтоб затопили на ночь в кухне и подогрели для молодого Феррари воду. Встав из-за стола и потянувшись своим толстеньким брюшком, он вдруг повернулся к Чевкину и взглянул на него своими выпуклыми глазами. Взгляд был умный, а слова, последовавшие за взглядом, показали, что этот «непохожий» льежский студент успел отлично понять, чем горит душа у жильца его родителей, и проявил к этому неожиданное внимание.

— Вы, кажется, собирались сказать, что проведете меня на Выставку? Я не против. Наоборот,— с удовольствием. Давайте завтра с утра, если не заняты.

И они договорились сразу же после первого завтрака вместе отправиться в Кремль.

Среди всех прочих своих специальностей Федор Иванович Чевкин главною почитал, после иностранных языков,— архитектуру; как-никак он почти кончил архитектурный и мог бы, при желании, подготовиться и сдать за последний курс, чтобы получить диплом. Но где ж ему

было, при многообразии интересов, звавших его к живым делам, да и отсутствии всяких средств,— засесть за длительную подготовку! Со значком гида на левом борту и бесплатным служебным билетом в кармашке он до открытия Выставки множество раз проходил в Кремль во все его ворота, а чаще бегал на Варварку, где воздвигались всевозможные частные заведения и увеселительные павильоны, или на Софийскую набережную, чтоб смотреть на два длинных главных здания морского и военного отделов, поднявшихся вдоль Кремлевских стен, или лазил на леса экзерциргауза, как чаще называли манеж, наблюдая, как архитектор Чичагов лихорадочно подгоняет рабочих, достраивавших верхние хоры. Не зная, насколько достоверно то, что он слышал отчасти от своего хозяина, а тот — от Делля-Воса; отчасти от таких же, как он, ежедневных шатунов по Выставке,— Федор Иванович страстно хотел, чтобы это услышанное было правдой, и даже надстраивал собственными теориями. Чичагов страшно нервничал и был занят, и в ответ на поклоны незнакомого ему Чевкина он только рассеянно касался рукой своей красивой, купленной за границей, черной беретки. По лицу его, напряженному и как будто внутренне недовольному, нельзя было уверенно судить, правда это или нет. А суть услышанного заключалась в том, что будто бы главный архитектор Выставки считал ошибочным делать ее на территории Кремля и резко поспорил с управой, желавшей, чтоб не вовсе пропали денежки, кое-что построить покрепче и сохранить в Кремле от выставочного времени. Чичагов будто бы сказал: переносите деревянные постройки, раздайте после Выставки деревянную разборную церковь, школу, больницу по деревням, это пожалуйста, но портить ансамбль Кремля никому не показано. Будто бы даже разгорячился: да ни за какие миллионы! Ни за Владимирскую ленту! Совесть должна быть у архитектора, совесть!

Возможно, и даже верней всего — это говорил и не сам Чичагов, а кое-кто из патриотически настроенных москвичей. Для таких высказываний главный архитектор, Дмитрий Николаевич Чичагов, считал себя «человеком маленьким». Иное дело младший его брат, Михаил. Тот учился в архитектурном училище при дворцовой конторе, ездил по заграницам, получал от купцов большие гонорары, но и он вряд ли позволил бы себе выступить

против отцов города, состоя архитектором при управе. Да и отцам города не пришло бы в голову надстроить что-нибудь «солидное» над территорией Кремля,— для этого потребовалась бы санкция свыше. Но Чевкину нравилось думать, что слухи о чичаговской «фронде» справедливы. Из незаконченного ученья в архитектурных классах Чевкин на всю жизнь запомнил яркую фразу покойного своего учителя о том, что архитектор,— с древнейших времен, от Ветрувия до Палладио,— мыслит только глазами, пластично и зримо решая свои заданья. И, ставя себя на место Чичагова, он задавался вопросом: как,— пластично и зримо, глазами,— измыслить совмещение высокой и чистой целомудренности кремлевского интерьера, величаво-наивных линий Архангельского и Успенского соборов и суровой четкости внешних стен Кремля с башнями и колокольней, как совместить эту древнюю святыню русскую — с павильонной пестротой и ярмарочной крикливостью Выставки? Какой тут найти компромисс, чтоб разнобой не бил слишком сильно в глаза, не оскорблял, не снимал и не снижал монументальность Кремля, превращая ее в театральную декорацию? Приедут иностранцы; для них Кремль — это Кремль, византизм, восток, азиатчина, им он по литографиям известен, заранее предвкушают они экзотику, а — тут вдруг, как грибы между тысячелетних кактусов, разные там опенки или лисички сказочных избушек на курьих ножках или — еще хуже — Европа в лучшем виде, как они ее знают по парижским кафе,— Европа-модерн, стекло и железо... ужас!

Федор Иванович был романтик, он любил сложные человеческие чувства в других людях, жалел, когда творцу было трудно,— это придавало творцу в его глазах особое обаяние. Он совершенно понимал юных институток, влюблявшихся в оперных артистов, в знаменитых актеров, переживавших на сцене муки Отелло или героизм Ивана Сусанина,— он и сам, будучи студентом, горел и страдал за них, сидя на галерке. И Чичагов в его черной беретке казался ему страдальцем. Когда выросло здание на набережной из железа и стекла по проекту профессора Монигетти, он вообразил, что это было ударом по главному архитектору. А сам Чичагов, хороший рисовальщик, любитель изящных мелочей и счастливых находок в области малых архитектурных форм,— и не по-

дозревал о переживаниях влюбленного в него Федора Ивановича. Он сразу махнул рукой на пластическое решение задачи, на попытки совмещенья и отлично сознавал, что организовать пестроту эту, когда сотни хозяев строят сами по сотне проектов, не побывавших даже в руках у него,— просто немыслимо.

Хоть и не очень большой, но опыт постройки выставок в России уже имелся. Два года назад крупный архитектор В. А. Гартман[1] интересно построил петербургскую Мануфактурную, а сейчас ему было поручено главное здание,— военного отдела. Гартман, которому и жизни-то оставался всего год (он умер, не доживши до сорока лет), строил длинное светлое здание на Софийской набережной, вкладывая в него весь свой талант... Позднее критик В. Стасов писал в «Санкт-Петербургских Ведомостях» об этом здании: «Фасад и план преоригинальны, общее впечатление полно изящества, новизны и красоты, внутри впечатление тоже поразительно...» Там же воздвигалось и здание по проекту профессора Монигетти, в новейшем западноевропейском стиле. Поди-ка согласуй все это с «петушками и гребешками» лубочных деревянных павильончиков, понаставленных в кремлевских садах. На долю Дмитрия Чичагова осталась, в сущности, лишь оформительная работа. Он любил ее, любил детали и внутреннюю отделку. Несколько месяцев крика и шума пройдут, как облака над водой, унеся с собой свои отраженья в воде. И опять встанет святыня Кремля в своем древнем величии, в своей чистой архитектурной мысли. Но найденные мелочи будут жить, они войдут в традицию, поднимут отечественную культуру. Его привлекала сюда каждый день возможность решать, и хорошо решать, бездну архитектурных мелочей. Перед самым открытием он всей душой отдался двум объектам: внутренней организации манежа и разбивке садов.

Собственно «разбивка садов», как название, была ему противна. Часто вместо этих двух слов он прибегал к вычитанным из книг немецким терминам: Parkanlagen. Немцы ничего не «разбивают», словно сад — это палатка на земле, сложил и унеси; или чашка — брось и раз-

---

[1] Тот самый Гартман, которому, под впечатлением посмертной выставки его эскизов и проектов, Мусоргский посвятил свои чудесные «Картинки с Выставки».

бей. Немцы говорят «расположить» или даже приложить, anlegen,— приложить, как прохладную руку к горячей щеке, как морскую волну к берегу,— зеленую прелесть парка к стройным стенам здания, к человеческому жилищу. Что до манежа, то тут его ждала готовая традиция; Манеж был уже использован внутри для Этнографической выставки пять лет назад.

Виктор Карлович Делля-Вос, председатель Политехнического отдела Выставки, был в наилучших отношениях с помощником Милютина, Николаем Васильевичем Исаковым. Он был очарован энергией этого генерал-адъютанта и его взглядами на образование народа. О культуре нации судят не по французскому языку правителей или итальянской опере в столице, а по общей грамотности населения,— сказал как-то в разговоре блестящий помощник Милютина, и когда Делля-Вос воскликнул, что приятно, хотя и удивительно слышать такие высказывания от военного, Исаков напомнил ему, что войну наполовину выигрывают школьные учители,— пример: Пруссия!

— Нам нужен грамотный, знающий солдат, а значит — грамотное, знающее крестьянство, а значит — подготовленные, образованные учители, умеющие преподавать.

На Делля-Воса разговор этот, как и совместная работа с Исаковым, произвели огромное впечатление. За семейным столом, передавая об этом, но, правда, понизив голос и оглядываясь на двери,— не подслушивает ли прислуга, он сделал вывод, что после 14 декабря русская армия уже не та, пережитое каким-то образом отшибло в ней «дух Скалозуба». Поддержанный Исаковым в своих широких намерениях, Делля-Вос, при свидании с архитектором Чичаговым, сказал ему:

— Дмитрий Николаевич, мы используем экзерциргауз под Педагогические курсы. Там, знаете ли, большие удобства, как показала прошлая выставка. Туда перенесем важнейшую педагогическую работу. Длинное здание, а удободелимое,— под ячейки, для нас ничто так не важно, как вот именно ячейки,— и для классов, и для экспонатов... Это должно стать сердцем Выставки!

И над «сердцем Выставки» усиленно работал Чичагов, а вслед за ним карабкался по лесам на хоры и неутомимый Федор Иванович.

2

Назавтра, однако, повести Жоржа Феррари на Выставку Федору Ивановичу не удалось. Жорж с утра куда-то уехал и вернулся озабоченный, разгоряченный и, запершись в своей комнате, имевшей отдельную дверцу на черный ход, принимал у себя каких-то незнакомых, одетых по-рабочему, старика в пенсне, стриженую девушку, какими ходили в то время медички, ездившие учиться в Швейцарию, и русские фельдшерицы. Варвара Спиридоновна покачивала на это головой. А мадам Феррари, для которой в сыне сосредоточивалась вселенная, добрая и рыхлая, без конца резала на кухне хлеб, готовила немецкие бутерброды и отсылала их, разложив горкой на блюде, вместе с бутылками пива — в комнату Жоржа.

— Вы меня извините,— сказал он скороговоркой Федору Ивановичу, уписывая за обе щеки пирожки со щами, когда они сидели в столовой,— обед в этот день был подан раньше обыкновения.— Не мог пойти на Выставку. Товарищи в Льеже дали мне всякие поручения, письма передать, и это оказалось удивительно интересным. Впрочем, я задержусь до самого открытия, успеем. А вечерком, если хотите, пойдем слушать музыку, я взял у отца два билета.

Несколько дней назад одетая в черное старушка принесла домовладельцу Феррари билеты на первое представление в стенах консерватории оперы «Орфей» Глюка. Такие билеты разносились по всей зажиточной Москве,—спектакль был благотворительный, сбор на содержание консерватории. Многих, кому приносили эти билеты, не оказывалось в тот день дома, как отвечала, приоткрыв парадное, прислуга. Кое-кто из бравших билеты потом снисходительно передавал их гувернеру своих детей или бедной родственнице, а та пыталась продать их в свою очередь и, не успев, прятала на память в шкатулку с сувенирами. Старик Феррари заплатил за них вдвое. И вот эти два билета достались Жоржу.

Казалось бы, музыка находилась в те годы у русских в почете. Когда в январе прошлого, 1871 года хоронили в Александро-Невской лавре композитора Серова, на похоронах присутствовали не только известная покровительница музыки, великая княгиня Елена Павловна, но и великий князь Константин, и принц Ольденбургский,

а народу было так много, что полны были им даже улицы вокруг лавры. Известно, что Серов ратовал за Бетховена, и один из придворных, бывший в Лавре, сказал своему соседу: «Сравните эти похороны нашего Серова, с тем, как немцы хоронили своего Бетховена!» Несколько дней это «бон-мо» ходило по Петербургу, как горделивое выражение нашей высокой музыкальной культуры. В иностранных газетах все это упоминалось одобрительно, как и пристрастие к музыке царя. Тотчас после выстрела Каракозова, приняв многочисленные депутации, он, как известно, поехал во французскую оперетту, а вечером, уставший от оваций и музыки, но с чувством удовольствия записал в свой дневник: «Вечером во французском театре. Deveria [1]. Ура, боже царя храни. La belle Hélène [2], глупо, но смешно, потом дивертисмент...»

Гиганты русской музыки творили в те годы. На «музыкальном отделении» самой Выставки, председателем которого был избран популярный К. Ю. Давыдов, состояли в членах знаменитый скрипач Альбрехт, Римский-Корсаков, Ларош, а программы обещанных ими симфонических концертов пестрели лучшими произведениями Глинки, Даргомыжского, Мусоргского, Кюи, Направника, Балакирева, Чайковского, Римского-Корсакова, Серова... Казалось бы, какой могучий расцвет музыки на Руси!

А консерватория в Москве, возникшая каких-нибудь шесть лет назад, в 1866 году,— этот молодой рассадник музыкальной культуры,— едва держалась. Вечное безденежье, вечная нехватка на оплату педагогов, на содержание самого здания, не говоря уж о помощи самым ярким, самым талантливым, но неимущим ученикам, и наконец — вечно протянутая рука ладонью кверху в сторону благотворителей — какое это было мучительнейшее униженье искусства! Совсем недавно внес свою лепту в кассу известный Боткин. Но то была капля в пустыне. И вот Николай Рубинштейн, директор консерватории, человек большого вкуса и таланта, сам композитор,— поставил силами своих учеников знаменитую в музыкальном мире оперу реформатора оперной музыки, Вилибальда Глюка,— «Орфей». Он работал над ней со всем составом своего училища не только для сбора средств. Для

[1] Deveria — опереточная певица.
[2] La belle Hélène — Прекрасная Елена *(франц.)*

него постановка «Орфея» была школой и экзаменом,— во-первых, для учащихся-вокалистов, во-вторых, для учащихся-инструменталистов, а в-третьих, для поднятия общей культуры учеников,— и все это слитно, сразу.

Главную роль Глюк отвел хору,— и он учил свой хор, добиваясь от него высокой выразительности. Николай Григорьевич сам вел подготовку к спектаклю в целом, хотя каждым из участниц и участников руководил его преподаватель. Молоденькая Эйбоженко, с ее прекрасным голосом, пела в двух первых актах Орфея; она училась у профессора Гальвани. А в последнем акте Орфея пела Кадмина,— по классу русской преподавательницы Александровой; и ее же класса ученица Беляева пела Эвридику, чередуясь с Богенардт по классу Вальзен. Такое дублирование исполнителей в одном и том же спектакле было задумано, чтоб показать лучших учениц и методику разных преподавателей.

Николай Григорьевич Рубинштейн знал самое слабое место спектакля — оркестр. Но слабоватость оркестра и достоинства певиц, особенно великолепная спетость хора, и то понимание нового, что вложил в оперу Глюк и что изо дня в день Рубинштейн, при подготовке спектакля, рассказывал, объяснял, примерами раскрывал всем участникам,— осталось, как он гневно жаловался потом, совершенно незамеченным тугоухими москвичами. Какой-то, воспитанный на итальянщине, критик важно писал, что Эйбоженко еще не умеет «гасить звук», а резко обрывает арию. Другой советовал ученицам консерватории учиться пластике у Рашель... И Рубинштейн негодовал: нет никаких «арий» у Глюка! И это музыка, музыка, великая музыка, а не пантомима! Главное же, что вызывало его удивленье, это — с первого спектакля (он был потом не однажды повторен) в зале было пустовато, хотя на «Ограбленную почту» какого-то иностранного автора, где стреляли и таинственно прятались за декорациями сыщики, в Малый театр публика валила валом. Пустоватая зала Благородного собрания немало удивила и наших двух посетителей, имевших отличные места в первом ряду,— Федора Ивановича и Жоржа Феррари.

Как во всех благотворительных спектаклях, выгадывали и здесь,— на освещении. Желтовато светились немногие люстры, и белые колонны зала казались песочного цвета. Огромный зал по краям, там, где за колон-

нами стояло студенчество, просто утопал во мраке, словно темная кайма опоясала его. Консерваторские барышни, не участвовавшие ни в хоре, ни в оркестре, главным образом начинающие и пианистки, приготовили для главных участниц большие букеты первой за эту весну московской сирени и потаенно прятали их за спинки кресел, неподалеку от наших новых друзей. Но запах сирени всплывал над креслами, он разносил по первым рядам чудесную весть о молодости, о весне, о вечном обаянии искусства для человеческого сердца.

Когда двери у входа закрылись и на приступочку для дирижера взошел взволнованный Николай Рубинштейн, студенты и консерваторки дружно зааплодировали, а он, повернувшись своей большой, знакомой каждому москвичу головой к зале, коротко кивнул и тут же поднял руку. Медленно, с первыми звуками оркестра, стал раздвигаться занавес, и тотчас словно вошло в зал вместе с музыкой ощущение человеческой муки вместе с человеческой силой побороть непоборимое. Вряд ли в какой-нибудь другой опере, кроме может быть «Альцесты», самолюбивый и мелочный Глюк достиг такого разговора с вечностью, как в этом длинном и на первый взгляд, монотонном течении звуков,— своем «Орфее». Конечно, оркестр был слабоват, и, конечно, певицы донельзя робели. Обнаженный из-под туники острый локоток Эйбоженко почти посинел — не то от холода, не то от страха, затопившего ей душу. Но замечательный спектакль шел, музыка «без арий» лилась и лилась нескончаемой струей, хор, как стены вокруг недоступного царства смерти, Аида,— рос и рос своей мощью над оркестром и солистами,— «аж мурашки по коже»,— пока не закончился первый акт.

— Кто это шепнул «аж мурашки по коже»? — очнувшись, спросил у соседа Жорж. Федор Иванович, взволнованный не меньше его, все еще под властью магической, но показавшейся ему совершенно бесформенной, музыки, показал глазами на сидевшего неподалеку батюшку, в синей шелковой рясе, с золотым тяжелым крестом на груди и холеными, расчесанными на пробор длинными русыми волосами. Батюшка дружелюбно повернулся к Жоржу:

— Сужэт, без сомнения, еретический, ибо нельзя вызвать покойницу с того света до страшного суда. Занимаются этим безбожники-спиритисты, но таковых, как я

слышал, преследуют за жульничество. Однако же музыка большой силы, и воздействует. Сравнить ее можно с великим созданием нашего покойного духовного композитора «Не отвержи мене в старости»,— Максима Сазонтовича Березовского, может, слышали?

Оба, Жорж и Чевкин, ответили, что не слышали, и втроем вышли погулять в антракте, с интересом слушая, что рассказывал им о Березовском священник. А вокруг них стремглав носились гимназистки в коротких формах с нарядными фартучками; медленно двигались парами, «шерочка с машерочкой», институтки в длинных синих платьях с белыми, низко, мысочком, спускающимися на грудь пелеринками, и за ними ходили институтские дамы-надзирательницы, такие же длинные, в таком же синем,— это старшему выпуску директриса института оптом купила пачку билетов. А сирень в руках пианисток еще дожидалась своего срока, чтоб быть переданной на сцене вместе с обычным приседанием на одну ногу,— реверансом перед Николаем Григорьевичем.

3

Музыка ли послужила тому причиной или Жорж уже пригляделся к нашему Федору Ивановичу, но он вдруг, вернувшись домой после «Орфея», не захотел остаться ужинать в столовой. Взяв наполненную едой тарелку и свой прибор, он тихо сказал Чевкину:

— Возьмите и вы свой, да пойдем к вам. А то родителей разбудим.

И когда Чевкин, не совсем понимая его, захватил тарелку с ужином, Жорж расположился за его письменным столом, предварительно закрывши дверь в столовую. Ему хотелось поговорить, он был полон какого-то внутреннего протеста, с которым просто нельзя ложиться в постель, все равно до утра не заснешь,— это он знал по опыту.

— Вот вы вчера в три голоса сообщали мне новости. Я потом, в одиночку, закрыв глаза, представил себе: три разных человека,— интеллигент, домовладелец, бедная чиновница в роли служанки,— мать и отца я почитаю за одного человека, да она почти и не вмешивалась в разговор,— три сословия,— служилое, купеческое, ученое, и

эти представители трех сословий дают мне отчет о прошедшем годе или полугодии, неважно. В чем их отчет заключается? Что можно из него об этом полугодии узнать? Я вспоминал, вспоминал и видел перед собой только природу, только стихию,— извержение вулкана, разлив воды, грозу, змею, медведя,— ну и мертвый предмет, пушку. Все же людское как-то было на этом фоне дополнительным и не историческим, что ли. Царь на охоте мог быть не Александром Вторым, а Александром Македонским, жители Сен-Себастиано могли быть жителями Помпеи, змея — ну это прямо из древней мифологии, разве что пушка Круппа, да и то не в своей современной функции, а словно бы две тысячи или три тысячи лет назад в Египте, где рабы тащили камень для пирамиды и под тяжестью его смерть нашли... И это в год дела Нечаева!

— Что вы хотите этим сказать?

— А вот что. Никто из вас... нет, я лучше примером отвечу. Вы видели вчера моих товарищей, они ко мне заходили. Ненадолго, а так, на минутку. И я ездил по разным знакомым, тоже ненадолго. Не то, что сидеть за столом часами и беседовать,— виделись почти на ходу. От них я тоже узнал хотя бы такие факты,— с нового года в Петербурге стала выходить газета «Новое Время» — без предварительной цензуры! Как будто послабление, прямо объявляется — без предварительной цензуры. И тут же газета «Голос» закрыта на четыре месяца — из каких соображений? Почему одни печатные органы должны проходить предварительную цензуру, а другие гласно, даже громогласно от нее освобождаются? Не в двух разных странах, а в одной и той же стране?

— Да, да, я знаю,— подхватил Чевкин, вспомнив, что еще в январе читал об этом,— и военный министр Милютин, как у нас говорили, выступал с возражением, что этого нельзя делать, но его не послушали.

— Дело тут не в вашем благовоспитанном Милютине, дело в системе,— какая-то политическая семейственность на людях: одному пай-мальчику пирожок, другого сорванца в угол. А раз на людях,— как будет реагировать общество? Как этот факт воспитывает общество? Допустим, что есть вкусы или убеждения у людей, у одних честно-правительственные, они верят в курс правительства, у других антиправительственные, они сомнева-

ются в нем. И вот газета «Новое Время»; она фаворитка, ей привилегия. Не получат ли честно правительственно мыслящие оттенок подлости от этой привилегии? В глазах других людей, в собственных, наконец, глазах? Это получается в итоге системы, это воспитывается... Вот если б за правительственные идеи, как и за прочие, в отдельных случаях, когда они обществу или народу урон наносят,— тоже в угол ставили вместо пирожка, тогда честность каждого убеждения зависела бы от пользы обществу, то есть ее не стали бы подозревать...

— Ну, вы запутались,— каждое государство дает привилегии тем, кто поддерживает его устои. Уж если разбирать философски, надо рассматривать устои, какие они, справедливые или несправедливые...

— Вы правы, я запутался, перешел в абстракцию. А справедливых устоев государства сейчас в Европе нигде нет и не в том дело. С чего я начал? Да, с примера. Я хотел сказать, что мои знакомые тоже сообщили мне новости, но имеющие исторический характер, знак истории, общественное значение. Это именно то, что характеризует данное состояние общества на Руси. Да не только об этом. Мы говорили о новом курсе политики, о взглядах царя на Пруссию. Во французскую оперетку царь ходит, а Францию ненавидит. Он Франции боится, готов стереть с лица земли, как бы этот подлюга Тьер ни извивался... Вот уж змея, отнюдь не тайваньская... Меня тоже знакомые спрашивали,— читал ли я третий том протоколов допроса коммунаров, он здесь недоступен. И я тоже отвечал своими новостями. Я, разумеется, читал III том «Парламентского следствия о революции 18 марта»,— одних детей, обвиненных в коммунизме, от десяти до шестнадцати лет, 681 человек, женщин около двух тысяч. Луи Блан до хрипоты требовал помилованья,— помилованья, хотя их увенчать надо было по-моему,— шли на смерть, стояли насмерть именно за эти самые справедливые устои, о которых вы сказали, а Тьер ответил Луи Блану: «После суда». Понимаете весь иезуитизм ответа? Исторически осудить сперва, а потом пусть на милость сдаются. И, видимо, именно коммунары насмерть запугали вашего Александра. Он сейчас в зените восторга, победу празднует...

— Да откуда вы это знаете? Народ любит царя, я сам своими ушами слышал, как о нем говорят. Он про-

стой, добрый, доступный, наконец, он в историю войдет, как освободитель крестьян. Вы рассуждаете, как лафонтеновский волк: я прав, потому что голоден... Он злодей, потому что царь...

— Ох, Федор Иванович, и зачем только я с вами разговариваю. Вы совершенно дите малое, если бессознательно не притворяетесь для собственного спокойствия души. Знаете, есть такое святое притворство. Я познакомился в Бельгии с одним немецким поэтом, ненавидевшим царя поэзии, Гёте,— в ранней молодости он знаком был с Гёте. Он мне как-то сказал — олимпиец все видел, все понимал, он превосходно понимал революцию и ее надобность, и фальшь всех этих званий, всех этих фонбаронов и эрцгерцогов, и даже отлично понимал, что смешон сам со своими чинами и свеженьким дворянством,— но Гёте притворялся! Перед самим собой притворялся! Понимаете, чтоб сидеть и дописывать Фауста и минералы собирать. И воображал, что своей строчкой об осушении гнилых болот во второй части Фауста больше сделал для уничтожения остатков феодализма в Европе, нежели все революции в мире.

— А, может, и вправду больше сделал...— задумчиво протянул Чевкин.

Жорж вскочил и стал ходить по комнате. Удивительно, до чего он, бельгиец по отцу, европеец по образованию, чувствовал себя русским по матери, когда начинал спорить. «Растекается по древу»,— где это сказано, в какой русской летописи? Вот уж именно тотчас начинал растекаться по древу, словно смоляные капли весной, и терял начальную мысль. Конечно, это зависит и от собеседника, с такой квашней, хоть и милый он человек, как этот Федор Иванович, просто невозможно спорить, сворачивает, словно стрелка магнитная, все на возвышенное, да наивное... Ну о чем я хотел сказать, что меня беспокоило? С чего взъелся? Да!

— Федор Иванович,— остановившись, сказал он совершенно спокойным и твердым голосом.— Знаете вы, чем ваш царь-миротворец занят сейчас? Войну он готовит, вот что. Спит и во сне видит Константинополь. Францию с плеч сбросил, Черноморский флот восстановил, разослал своих эмиссаров в Вену и в Лондон, чтоб англичанам и Австрии зубы заговорить, а сам готовит новую войну с Турцией. Будет русский флаг над Царьградом!

Вот чем мечты этого миротворца заняты. Опять серую шинель на убой, опять матросские бескозырки под пушку, опять голод, холера, налоги, патриотический газетный визг — и с самой черной реакцией, с ненавистной всему миру Пруссией, нежности дипломатические. За счет всего своего народа...

— Егор Львович! Федор Иванович! — Юркая фигурка Варвары Спиридоновны, с накинутой поверх бумазейного капота шалью, бочком протиснулась в дверь. Она давно хотела прекратить этот ночной разговор, ставший очень громким. Ей было известно, что дворник-татарин пребывал на кухне у кухарки. Он, вместе со многими московскими дворниками, получил от управы распоряжение,— смыть этот конфуз на воротах «От постоя свободен», оставшийся с незапамятных времен, хотя постои давным-давно отошли в прошлое. А вот фамилии домовладельцев,— грозно вещал этот же приказ,— не везде проставлены и кое-где стерлись от дождей, их требуется четко выписать. «У нашего барина все, как надо»,— пришел сказать дворник и что-то уж очень долго рассказывал кухарке о приказе. Варвара Спиридоновна в это не вмешивалась и мадам Феррари не говорила, опасаясь дворника,— от дворников всего можно ожидать, все они состоят... И не дай бог услышит такой разговор про царя!

Чтоб извинить свое вторжение, Варвара Спиридоновна держала в руках газету чуть ли не месячной давности:

— Егор Львович, Федор Иваныч, пардон, что беспокою, хотя час очень поздний и говорите вы на весь дом, даже в кухне все слышно. Давеча я забыла вам еще сказать. Вот вы не верите в високосный год, а почитайте, пожалуйста, о городе Праге... вот. Грозное наводнение... стихийное бедствие. Весь город пострадал от воды, смертные случаи. Двадцать шестого апреля!

Жорж махнул рукой, рассмеялся как-то недо́бро и, взяв Варвару Спиридоновну за локоток, повел ее из комнаты:

— Спокойной ночи, Федор Иванович, спать, видимо, пора, а может, мама проснулась. Вы проветрите перед сном, а то не заснете.

Федор Иванович открыл форточку, когда они ушли, и не стал ее закрывать на ночь. А ночь глядела в незавешенное окно — теплая, тысячеглазая, и глаза ее сла-

бели и растворялись в потоке оранжевого лунного света. Казалось, луна источает тепло. Открыть бы окно, да со двора прыгают кошки и пугают ночью. Должно быть, пахнет в саду, вот как на «Орфее» сиренью. Орфей...

У Чевкина вдруг до физической боли защемило сердце. Это не в первый раз хотелось ему закутаться с головой, уйти от всех в подушку, к черту послать всех,— ну пусть они правы, пусть, лишь бы оставили его, такого, как есть. Чевкин опять болезненно переживал чувство своей неполноценности. Чего-то не хватает ему, чего? Для чего надо, чтоб это у всех было? Ну нет у него, ну и что же? Убить, что ли, себя? Нет у него этой критики, этой любви к критике. Так хорошо жить, так все интересно, что окружает человека и происходит на земле. Вот сейчас Выставка,— он ухватился воображеньем за Выставку, за цветочные куртины у главного входа с Иверской, цветочные куртины, которыми лично руководит Чичагов в своей черной беретке. Войдешь — и сразу обдаст ароматом, свежий, хороший воздух, словно горный... а и в самом деле на горе... Кремль на горе, площадь на горе...

Он засыпал. И вдруг что-то толкнуло его назад, в сознание, и он подумал «слава богу, засыпаю». И тотчас же сдуло сон, защемило сердце и опять засосала мысль, заскреблась, как мышь, в мозгу: ну чем я виноват, что я такой? Вижу хорошее на земле, люблю хорошее, хочу, чтоб было одно хорошее...

А чувство вины росло и не давало заснуть.

4

Между тем дней до открытия Выставки все убывало и убывало. Если Москва жила этими предвыставочными днями и всеми заботами и новинками, какие каждый из них приносил, то в Петербурге и по всей необъятной Российской империи о Выставке думали только мельком и к случаю, главное же, что всколыхнуло страну, была дата двухсотлетия Петра Великого.

Казалось бы, дата эта была вполне официальная, из царского календаря. Но уже с первых дней года, когда началась к ней подготовка, места и местечки, губернские и уездные города, речные и морские порты, а подчас и целый край с обширнейшей территорией вспомнили и пе-

реживать начали с самыми разными чувствами своих жителей — местную связь с Петром. Великий преобразователь действовал в свое время дубинкой и следы этой дубинки остались в летописях бесстрастных историков. Однако же земля хранила и никак не могла бы сбросить другие следы, оставленные его крепким шагом по ней, его зорким взглядом сквозь нее и руками его, которым до всего было дело. И когда вдруг зашевелились и ожили эти места, никакой учебник не мог бы лучше них рассказать учащимся, что произвел царь Петр на русской земле. Весь май происходили празднования, весь май то одно, то другое место в империи поднималось, как пирующий за столом для тоста, над всеми обширными русскими пространствами, и говорило свое слово, отражаясь в местных «Губернских Ведомостях» и столичной печати.

Крохотный город Липецк Тамбовской губернии, знакомый россиянам разве что из беллетристики, вдруг вырос и заслонил на мгновенье горизонт. Петр ехал в Тамбов, остановился на отдых в деревне и оглянулся,— вокруг была красота, лесисто и зелено, возвышались холмы, текли ручьи, а царь на язык попробовал красноватую воду одного из них, вода отдавала привкусом. И по ключу он определил тут железо, велел копать, велел строить чугунный завод, разъяснил жителям, в чем польза для них целебного железистого ручья. Подобно тому, как притопнула его нога на невских болотах и гранитно-мраморный город возник из четырех слов «здесь будет город заложо́н», вырос город и в Липецке, а в городе чугуноплавильный завод, а на заводе Петр не только побывал, но при нем прошла первая плавка, и сам он выплавил колокол, пушку, доску с отливом его руки,— которая до всего дотягивалась,— и топор,— коим он тоже немало поработал над головами своих подданных. Жители города Липецка ликующе провозгласили свой тост на празднике, куда приехали из Тамбова сам Преосвященный Феодосий и губернатор Гартинг. Но не успели они, показавшись над страной, сесть за свой праздничный стол, как встала далекая Олонецкая губерния.

Что там — один город Липецк! Вся она, с ее северными акварельными красками, с ее вереском, зацветающим голубовато-розовой россыпью над нескончаемыми долинами, с ее пихтами, чьи спутанные волосы-ветви похожи

на девушку в дрёме, с ее огоньками над болотами и непуганой водяной птицей на них, с ее темного дерева крепкими, некрашеными избами на пригорках,— вся она заслежена стопами землепроходца Петра, и где только не оставил он на ней память о себе! Встал город Петрозаводск, основаны горнолитейные заводы, в самой последней глухомани роют-копают и закладывают свои ямы рудоискатели, ожил весь Олонецкий край, запели свои древние руны седобородые баяны о чудо-Сампо, которое и мелет, и печет, и хлеб дает. ...Дети олонецких жителей потянулись из деревень в школы, в город,— и все это вылилось в олонецком праздничном «тосте», а в мужской гимназии Петрозаводска торжественно повесили портрет Петра с надписью «Из школы бы на всякие потребы люди, благоразумно учася, происходили». То были слова Петра, сказанные им патриарху. Даже в Олонецком губернском жандармском управлении не обошлись без лирики, и, донося в Петербург о празднике, написали с некоторой гордостью, как бы хвастаясь отсутствием формализма: «Внутреннее настроение — общего сочувствия, так и внешние знаки ликования граждан».

Казалось бы, что́ Воронеж? — до Воронежа ли было дело Петру? Ан и Воронеж поднял свой бокал над страной. Ведь в нем, а не в другом каком городе сохранились особые Петровы следы. И если Олонец хвастает «основанием в 1703 году горных литейных заводов и города Петрозаводска, а также устройством канала судоходства»,— то тут, в Воронеже, сохранились со времени Петра в пригородных слободах ни много, ни мало, как установленные им ч и н ы. Чины! Атаманский, Конно- и Пеше-казачий, Конно- и Пеше-Стрелецкий, Пушкарский, Бобыльский и Канцелярский! Депутаты от всех этих чинов участвовали на празднике,— словно двухсотлетняя давность сохранила их, как засохшие цветы между страниц тяжелой книги Истории.

Чуть ли не везде, где побывал царь Петр, собирали сейчас деньги на памятник ему, на гимназию его имени, на ремесленное училище, на постамент с доской. Но кое-где,— у моря, в прорубленном, как окно в Европу, городе-короне, Кронштадте; в сухопутном, среди полевого раздолья, пыльном городишке, имя которого возносили в те дни как бархатное армейское знамя,— в Полтаве,— собирать на памятник не надо было, памятник уже стоял,

процессии с музыкой двигались к монументу полтавской победы, да мальчики декламировали на вечере в школе:

Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как Божия гроза.
...И грянул бой, Полтавский бой!

И тут голос декламаторов непременно срывался в захлебывающийся, звенящий дискант, наполненный неистовым мальчишеским ликованьем:

...Но близок, близок час победы.
Ура! Мы ломим, гнутся шведы.
О, славный час! О, славный вид!
Еще напор — и враг бежит;
И следом конница пустилась,
Убийством тупятся мечи,
И падшими вся степь покрылась,
Как роем черной саранчи.

А в Кронштадте, на алой подушке, при почетном карауле, с музыкой и парадом из собора Андрея Первозванного к монументу Петра вынесена была Андреевская лента, полученная Петром за взятие шведских судов и пожалованная им первой «морской церкви»; да старая петровская пушка на валу против средней гавани неожиданно молодым голосом рявкнула сигнал к началу салютов.

Жители двух больших остзейских провинций деньги на памятник собирали. Хотя с остзейскими провинциями, да и с Варшавой вышло не совсем ладно.

Хитро, очень хитро, по мнению жандармского управления, начала свой тост Эстляндия. Конечно, были в Ревеле и пожертвования купцов, и шествия из ратуши черноголовых, и не обошлось без любимого там хора. Но все выступали на немецком языке, задав работы жандармской канцелярии. А темою проповедники избрали сказанное Петром о себе крылатое слово, тоже на немецком языке, что он «Ein Herr über die Leiber und nicht über die Geister seiner Untertaner sein wollte»,— «хозяином над телесами, а не над духом подданных своих быть хотел». Не над духовной их жизнью, не над языком, не над школой, не над религией, не над обычаями,— вот как понимал Петр власть свою. Это во весь голос произнес на собрании учитель Ганзен и добавил,— в чем и усмотрена была сугубая хитрость,— что императорское слово свято

соблюдается его августейшими преемниками относительно здешнего края.

Но хитрость Эстляндии, при всей ее благонамеренности, обернулась боком. Лифляндия в те же дни постановила открыть в Риге гимназию имени Петра и деньги на это собрала, но генерал-губернатор, князь Багратион, один во всей юбилейной комиссии грубо настаивал, чтоб язык в этой гимназии был русский, чем вызвал в праздничные дни взрыв такой ненависти среди населения, что пришлось ретивого князя убирать с поста. Не лучше произошло и в Варшаве. И опять-таки громогласно, на торжестве, на подписном обеде, где присутствовал цвет польского дворянства. Тут отличился уже начальник местных войск, бравый вояка генерал-майор Сокович. До торжества он в кругу близких похвалялся, что даст перцу полячишкам. И дал. Предварительно хлебнув, он с бокалом в руке начал: «Шляхта и ксендзы безвозвратно погубили Польшу. Все народности славянской крови тяготеют друг ко другу, жаждут единения,— но поляки — нет, полякам идея панславизма явно не по душе...» Тут он, должно быть, так воодушевился, что сразу «отверз уста», на самую горькую накипь в душе своей, словно терпел, терпел,— и не вытерпел: — Да и что такое, скажите, поляки? (Он чуть не сказал «полячишки»),— пустой народ...

За столом возникло мертвое молчание. Краска медленно отлила с лица польских красавиц, сидевших между знатными представителями шляхты. Мужья их сжимали под скатертью тонкие холеные пальцы. Глаза опустились в тарелку. И смертельное оскорбление отброшено было этим грозным безмолвием, как стеной, назад, в лицо говорившему. Напрасно поспешил он провозгласить тост за «ныне здравствующего»,— тост угас в этой страшной тишине без единого хлопка.

— Глупо. Бестактно.— сказал Александр Второй, просматривая донесение Лифляндского жандармского управления.— Но дать им наподобие Запада конституцию значило бы распадение империи нашей на клочки...— Фраза, которую он уже написал семь лет назад в письме к покойному сыну и наследнику своему, Николаю.

И все-таки, если, охваченные железной цепью империи, остзейские провинции и Польша внесли в праздник

ложку дегтя,— вся бочка в целом была полна меду. Народ всюду ликовал за даровыми столами с угощением,— пряниками, стручками, орехами, квасом. Матросы в Кронштадте получили целый обед, и царь сам откушал с ними рюмочку водки. Пьяно веселились в городах Кавказа. Тифлис отличился: осветил огромный портрет Петра невиданным доселе электрическим светом и бенгальским огнем, а вечером в городе бушевал маскарад, все жители оделись в костюмы эпохи Петра.

Двинулся в Москву на Выставку и ботик. Печатный церемониал его следования, составленный вице-адмиралом Таубе и капитаном второго ранга Соболевым, был разослан по местам следования ответственным лицам. Ботику предстоял путь из Петропавловской крепости до Путиловской пристани, где его погружали в поезд, а не доехав пяти верст до Москвы — с Николаевской железной дороги соединительной ветвью препровождали на Курский вокзал, откуда по только что сооруженной конно-железной дороге, а в просторечии конке, на особой платформе до Москвы-реки. Впрочем, говорилось в печатном церемониале, если найдутся желающие двигать платформу руками, честь эта москвичам не возбранялась.

Ботик выглядел сердитым, старым, ощетиненным временем и сконфуженным всей этой перетаской. Он был 19 футов 9 дюймов длины, 6 футов 5 дюймов ширины, деревянная мачта его высилась на 21 фут, а на корме была вырезана фигура старика с посохом, отчасти помогшая окрестить ботик дедушкой русского флота. Деревянный старик на корме выглядел необыкновенно живым и рассерженным. Петр писал в своей записке «О начале судостроения в России»:

> *«Случилось нам быть в Измайлове, на Льняном дворе, и гуляя по амбарам, где лежали остатки вещей дому деда, Никиты Ивановича Романова, между которыми увидел я судно иностранное, спросил Франца*[1]*, что тó за судно? Он сказал, что тó бот английский. Я спросил: где его употребляют? Он сказал, что при кораблях для езды и возки. Я паки спросил: какое преимущество имеет перед нашими судами (по-*

[1] Тимерман.

неже видел его образом и крепостию лучше наших)? Он мне и сказал, что ходит на парусах не только что по ветру, но и против ветру; которое слово меня в великое удивление привело и якобы неимоверно».

Царь Александр Второй остался очень доволен торжествами, длившимися в Петербурге, Кронштадте и Красном Селе почти неделю. Сопровождавший его военный министр Дмитрий Алексеевич Милютин записал в своем дневнике: «В ряду обычных у нас и слишком частых официальных церемоний, большею частью лишенных всякого внутреннего содержания, торжество 30 мая 1872 года составляло блестящее исключение. Все было внушительно и по своему историческому смыслу, и по своей внешней обстановке. Воспоминание о великом Царе-Преобразователе как будто расшевелило всю Россию и возбудило на время,— правда, весьма короткое,— патриотический энтузиазм. В некоторых местностях, преимущественно связанных с замечательною деятельностью великого Государя, торжеству была придана особенно эффектная обстановка».

Иностранцу, если б он вздумал в эти дни прокатиться с «бедекером» в руках по русским городам, могло и в самом деле показаться, что в России, как в сказке, лесом мечей встал и засверкал патриотический энтузиазм народа. Более внимательный соотечественник наш, если б он смог заглянуть в дневник министра Милютина, призадумался бы над тремя его словами о сроке длительности народного патриотизма: «правда, весьма коротком». А историк из числа прямолинейных прямо сказал бы, что Россия разорвана была в те дни на два лагеря, стоявших друг против друга, правый лагерь — государство с царем и присными, министрами и войсками, помещиками, попами и купцами; и левый лагерь — народные мстители, для которых пробьет свой час. Ведь даже образованный царский министр, много лет разделявший петербургскую придворную жизнь, граф Валуев писал о мстителях и об их наступающем часе в своих дневниках.

Но в этой прямолинейной картине имелись тысячи нюансов. Правда, чтоб увидеть эти нюансы, историкам нужно было бы поднять тяжелую крышку над летопися-

ми нового века,— жандармскими донесениями со штампом «секретно», что было им пока недоступно, или же прислушаться к дамским пересудам о делах своих мужей, ведущимся большею частью на балах пожилым составом прекрасного пола из разряда не танцующих,— что историки почли бы ниже своего достоинства. Нюансы имелись во множестве и в левом, и в монолитном, казалось бы, правом лагере. Как жучки в дереве старых домов, подтачивая и подтачивая самые крепкие на вид стены, в этом правом лагере, поддерживавшем российский трон, все со всеми пикировались и были в несогласии, каждый ликовал над поражением своего противника и любой вел подкоп под другого любого, и даже выражение: «Иван Иваныч подкапывается под меня», «подкоп», «подкопались»,— в Англии применяемое обычно в воровских романах об ограблении банка,— родилось именно среди нюансов этого лагеря. Санкт-Петербург «ставил на вид» Москве; московская полиция обижалась на петербургскую; двор делился на неисчислимые партии. Министр народного просвещения вел подкоп под военного министра, и чиновники графа Дмитрия Андреевича Толстого грызлись с чиновниками Дмитрия Алексеевича Милютина. Гражданская власть в лице губернаторов считала себя первой в губернии и пикировалась с военной властью, не желая от нее видеть в губернии никаких самостоятельных действий. Охранная власть в лице III Отделения и начальников полиции поддерживала губернаторскую привилегию против военщины. Военщина протестовала и часто вмешивалась самовольно, вызывая неудовольствие у Тимашева и графа Шувалова, двух столпов охраны.

Но, ругая распущенность полиции, военные власти тоже не были свободны от «жучка». Их собственный жучок, подтачивавший русский военный авторитет, состоял в постоянной грызне двух течений генералитета, русского и немецкого. И надо же было проявиться ему опять-таки во дни юбилея Петра! Да еще под самым носом у царской столицы...

Сестрорецкий оружейный завод, основанный Петром, уж, во всяком случае, как один из первых в империи, мог во весь рост подняться на юбилее, чтобы произнести свой тост.

Арендовавший завод у государства, генерал-майор

Лилиенфельдт хотел провозгласить этот тост не хуже, чем у другого начальства. Он на собственный счет (а немцы, как известно, не любят разбрасывать деньги почемзря) нанял музыкантов, купил восемь бочек пива и объявил своим рабочим, что устраивает для них гулянье в Дубовой роще, посаженной когда-то Петром,— гулянье широкое, с немецким пивом, с женами, невестами, детьми и под музыку. Но заведующий хозяйственной частью в селе Сестрорецке, полковник Ладыгин, расставил всюду своих часовых с приказом: никого в Дубовую рощу не пускать, чтоб не помяли травы. Разъярился генерал-майор Лилиенфельдт на полковника Ладыгина! И приказал: музыкантов отпустить, а все восемь бочек пива вылить в Разлив. И тоста не состоялось. Рабочие-оружейники ответили на вопрос гражданской власти «как праздновали» сухим «да никак, ваше благородие, кружки были пустые». А Ладыгин, потирая руки, отпускал в адрес генерала патриотические русские выраженья: «Ступай сам бир-тринкен, немецкая колбаса, тут тебе не фатерланд!»

Справедливость требует, однако, заметить, что благородный национальный порыв русского военного сердца был объяснен сестрорецкими жителями несколько более прозаически: траву-мураву в Дубовой роще берегли не ради местной живописности и охраны природы, а на сено собственным полковничьим лошадям,— для чего из года в год косили ее в порядке добровольной повинности назначенные из хозяйственной части полковника Ладыгина безответные русские солдатики-новобранцы.

5

Город Симбирск жил собственными противоречиями, о которых симбирцы узнавали частью из опыта, частью из местной газеты. «Симбирские Губернские Ведомости», кроме объявлений, имели два отдела — официальный и неофициальный. В первом перепечатывались телеграммы и всякого рода новости из «Правительственного Вестника»; во втором рассказывалось о событиях местных. Выставке, еще за полгода до ее открытия, были посвящены многие номера, и симбирцы знали подчас о том, что не всегда становилось известно и москвичам: точные суммы пожертвований, от кого и когда; точные указания квад-

ратных саженей, где и на что отведенных; прибытие разного рода экспонатов, от кого и на какую сумму. Хотя не все в этом потоке информаций могло заинтересовать Илью Николаевича и пригодиться ему, он аккуратно вырезывал сообщения о Выставке и складывал их в большой конверт, где уже находилась старая карта Кремля и расходившихся вокруг него московских улиц. В том же конверте лежало полученное им из округа официальное уведомление:

23 мая 1872 года
№ 2733
Казань

Господину Инспектору народных училищ Симбирской губернии.

Имея в виду, что в учебном отделе предстоящей в Москве летом текущего года Политехнической Выставки будет собрано весьма много элементарных учебных пособий и что при Выставке предположены учительские курсы, Г. Министр Народного просвещения признал весьма полезным и даже необходимым, для пользы учебного дела, командировать на означенную Выставку инспекторов народных училищ Казанского учебного округа, с выдачей им из сумм министерства на расходы по поездке и на проживание в Москве пособий в следующем размере: инспекторам народных училищ губерний Вятской, Пермской и Оренбургской по 300 руб., Симбирской и Самарской по 250 руб., Казанской и Саратовской по 200 руб. каждому, Нижегородской 175 руб. и Пензенской 250 руб. Вследствие предложений об этом Г. Министра Народного просвещения от 18 сего мая за № 4916, покорнейше прошу Вас, Милостивый Государь, уведомить меня — какое время с 1 июня по 1 сентября Вы находите более удобным для командировки в Москву на Политехническую Выставку сроком от 3-х до 4-х недель.

Управляющий Округом...
Помощник попечителя...
Правитель канцелярии А. Троицкий.

К этому уведомлению подшита была другая бумага из округа о том, что, прибыв в Москву, инспекторам народных училищ, как и педагогам, надлежало явиться к господину чиновнику Министерства просвещения, Кочетову, имевшему служебное помещение для приема делегатов тут же, на Выставке.

У Ильи Николаевича как раз в это лето было такое множество дел, и так одно дело заходило своим концом за начало другого,— казалось бы до бесконечности,— что решить о поездке было ему трудненько. Приблизительно расчислив сроки, он тогда же ответил в округ, что «более удобным для командировки в Москву считает время с 3-го по 31-е июля». Июль — это ведь еще так далеко... Вчера только белый пух с яблонь осыпался, и сирень еще не отцвела.

А свои, симбирские, противоречия, которыми заняты были философские умы города, доходили до инспектора, по горло занятого школами, скорей как досужие пересуды. Одним из них, занявшим два вечера в дворянском клубе, было обсуждение загадочной народной души. Время, когда вопрос о «русской душе», поднятый творениями господина Достоевского, переплеснулся со страниц его романов на Запад, а с Запада назад, на Русь,— еще не пришло. Но уже предпосылки к тому времени начали нарождаться отчасти из фактов, сообщаемых газетами, отчасти из нашумевшего в 71-м году в Петербурге нечаевского процесса.

— Какое противоречие! — воскликнул в один из вечеров в клубе за картами молодой Языков.— С одной стороны — крестный ход из Жадовской пустыни, в память избавления нашего города от Стеньки Разина. Что там творилось! Огромное стечение... мужики на живот валились перед Чудотворной. Я сам видел одного солдата — встал на колени, да так, по пылюге, прополз на коленях с полверсты. А вот с другой стороны — преступление инфернальное, диабольское, средневековое, за это в средние века на кострах жгли: этот рекрут 63-го батальона в уездном нашем Ардатове. Отказался от причастия. А когда его, наконец, обломали,— взял его на язык, а потом выплюнул и растер сапогом. Святое причастие! Какова душа русского народа, какова ее растяжимость. На коленях по пылюге полверсты и святое причастие —

сапогом! До этого немец ваш умрет — не додумается, хоть он и гегельянец.

— Вам сдавать,— ответил партнер.— А противуречие, пардон, очень простое. Который на коленях полз — попросту выслуживался перед начальством. А который плюнул, да растер,— или он из сектантов и ему причаститься грех, или выбивался из всех сил от службы царской, чтоб лучше в тюрьму, чем в солдаты.

Но трезвое объяснение никак местных философов не удовлетворило, и они еще долго, за ужином, приводили случаи загадочного поведения русского мужика. Об этом разговоре в клубе сообщил Илье Николаевичу Ауновский, когда встретился с ним в Духов день на торжественном молебствии.

До этого дня, 5-го июня, жители Симбирска брали воду из реки, кто из Волги, кто из Свияги. Зажиточным вода развозилась в бочках, с оплатою за ведро. Какова же была радость населения, когда в Духов день были, наконец, открыты в Симбирске первые водопроводные колодцы для снабжения жителей водой. Весь город собрался в Святотроицком соборе послушать поучение протоиерея Охотникова, превзошедшего в тот день красноречием самого Иоанна Дамаскина. Темой для проповеди он выбрал слова псалма «На горах станут во́ды: дивны дела твоя, господи». От губернатора до нарядного, с блестяще заглаженными на пробор волосами, молодого и красивого Ивана Яковлевича Яковлева,— все стояли и слушали проповедь. Был в форменном сюртуке Илья Николаевич, нетерпеливо дожидавшийся ее окончанья,— его ждали дрожки, чтоб ехать в уезд. А протоиерей творил свою речь и наслаждался. Он знал, что ее напечатают в газете:

— «Горы наши, обнажаемые ранее других местностей от снего-светлой одежды, под знойными лучами палящего гла́вы их солнца,— горы, естественно, первее всего жаждут благодатной влаги. И наш град, стоя на верху горы, на высоком холме, при всем обилии вод в обтекающих его реках, всегда нуждался в воде... Исполняется наше давнее желание: на горах Симбирска станут во́ды. Теперь несчастный бедняк не будет томиться жаждою от недостатка воды или вкушать воду из кладенцев сокрушенных; теперь с меньшим ужасом будем взирать мы и

на страшное пламя, которое еще так недавно истребило почти весь наш град...»

Ауновский, старый друг Ильи Николаевича, поспешил выйти вслед за ним, не дождавшись, покуда хлынет из собора вся масса народа. «Несчастный бедняк» среди нее не был: он в поте лица работал в это время на Чувиченском острове на Волге, где отец Павел Охотников владел рыбными ловлями, покосами и различными, в аренду сдаваемыми, кустарными предприятиями. Рассказав Ульянову о «загадочной душе», Ауновский прибавил:

— Знаешь, кто купил право открывать колодцы? Заплачут у населенья денежки.

— Да ведь город?

— Какой город! Сдал наши колодцы господам Струве с гарантией — двадцать пять тысяч ведер ежедневной продажи.

— Двадцать пять тысяч ведер хватит на всех по горло,— отозвался Илья Николаевич. Ему было жарко в мундире, солнце жгло ему лысинку, глаза улыбались всему вокруг,— сияющей голубизне наверху, голубому теченью Волги, делавшей внизу, под горой, свою живописную извилину, голубям, как бы нехотя клевавшим овсинки в сухом лошадином навозе, и звукам музыки, откуда-то из открытых окон лившимся на улицу. Вот сейчас раздвинется перед ним знакомая ширь с просохшей дорогой, легко пойдут по ней колеса. В прошлом году в это время проехать нельзя было от грязи и вместе с дождем перепадал серый какой-то снег, а сейчас хоть первую траву коси, хоть на земле сиди,— раннее, раннее лето.

— Вот мы и с теплом, и с питьевой колодезной водой,— улыбнулся он в отступившую, словно ежик, от его улыбки волосок от волоска бородку свою.

— Хватит-то хватит,— ответил Ауновский не на эту фразу, а на предыдущую,— да почем будет стоить, вот вопрос! Ведь господа Струве хлопочут не из-за себестоимости. Им прибыль нужна. Согласись, неисправимый ты оптимист, Илья Николаевич,— что куда лучше было бы городу самому продавать населению воду ну там с копеечной надбавкой. Зачем ему посредник понадобился? А уж господа Струве, будь уверен...

— Не увег'яй, не увег'яй, не увег'яй,— картаво пропел Илья Николаевич, быстро сворачивая на Стрелецкую улицу.— Ты у меня первый кандидат в директоры Порецкой семинарии. Так что будешь пить чай не из колодцев господ Струве, успокойся, пожалуйста!

Он быстро переоделся дома и зашел в детскую, попросив ямщика, ходившего возле лошадей, обождать еще с минуту.

Мария Александровна уже собрала ему на дорогу и укладывала все в неизменную клеенчатую сумку. Толстенький Володя в рубашке и шерстяных носках, связанных ему няней, уже разгуливал по всем комнатам, слегка кривя ножки под тяжестью своего тельца. Рыжеватые волосы на большом лбу чуть-чуть кудрявились. Говорить он еще не мог, а только кряхтел, хотя крохотная, как кукла, Оля опередила его. Она сказала Илье Николаевичу явственно и четко «папа».

Илья Николаевич поднял дочку, легкую, как пушинка.

— Девочки завсегда раньше мальчиков дар обретают,— по-книжному пояснила няня Варвара Григорьевна, тоже ходившая в церковь,— зато поздний овощ крепче раннего,— прибавила она уже своим лексиконом, не желая дать своего любимца в обиду.— Володечка по осени лучше Оли заговорит!

— Няня,— так же четко и явственно произнесла Оля на руках у отца.

Илья Николаевич засмеялся, поставил ее на пол и, подхватив Володю, подбросил к потолку. Теперь хохотал и малыш, цепляясь за отца и открывая первые щербатые зубки во рту. Потом инспектор прошел в другую комнату, где, усевшись за круглым низеньким столом, шестилетний Саша и старшая, Аня, которой в июле уже исполнилось восемь, сообща что-то громко читали из «Родного слова» Ушинского. Аня, умевшая читать и писать, старательно обучала этим наукам Сашу, а вечером, когда Мария Александровна поканчивала с хозяйственными заботами, старшие дети занимались с ней немецким языком.

Приласкав обоих и послушав с минуту, как Саша медленно, целиком произносит слова по книге, сперва слитно соединив их в уме,— детей учили читать не по складам, а сразу все слово,— он прошел к жене и, притворив

за собой двери в детскую, крепко прижал ее к себе. Нужно было успеть поручить ей многое: «Если придет Арсений Федорович... Если пришлют из Казани заказанные книги... Если понадобятся деньги...» Но вместо всех этих поручений, которые, он знал, она выполнит лучше его самого и будет сама знать, что делать, он только постоял так, обняв ее, и вздохнул. Ему было, как всегда, жалко оставлять ее одну с детьми. Но ямщик волнуется — сегодня и так поздно для выезда.

И вот уже опять едет Илья Николаевич, сперва по рытвинам симбирской околицы, потом знакомая ширь распахивается перед ним, дорога становится мягкой, а ямщик, любящий поговорить с барином, поворачивается боком и сетует, что бог дождичка долго не посылает, а дождя бы во̀ как нужно. Левая пристяжка вдруг поддает задними ногами, словно кавалерийская лошадь в галопе, пыль и ссохшаяся грязь комом летят в самую бричку, и ямщик садится прямо, лицом к лошадям, перестает говорить и начинает перебирать вожжами.

Илья Николаевич изучил и полюбил эту особую музыку перебирания вожжами жилистой рукою своего ямщика. Много раз вспоминал он поэтов, воспевших ямщицкую удаль, ямщицкое горе, ямщицкую песню. Он часами следил, как работает рука ямщика, пропуская вожжи между большим и прочими пальцами, давая им скользить по ладони: и снова натягивая и как-то таинственно-непонятно для наблюдателя дергая то за одну пару, то за другую засаленные до блеска ремни, хотя пристяжка и коренная ничуть не отзываются на это дерганье, а поворачивать никуда не надо. Или вдруг натягивает он все четыре вожжи в обоих кулаках, а потом встряхивает ими, словно понукает, а лошади знай бегут, как бежали, и виду никакого не подают на эту музыку переборки. Однажды Илья Николаевич даже не вытерпел и спросил своего постоянного возницу, Еремеича, как же это лошади бегут ровно, ничего не меняя, в то время как он непрерывно трудится над вожжами, то притягивает, то дергает, то опускает... Для чего нужно это?

Еремеич ему тогда долго не отвечал. А когда ответил, видимо обдумав ответ, Илья Николаевич был поражен глубоким смыслом его слов.

— Надо ей, лошади, чувствие дать, что ямщик — он над ней трудится, работает. Вот она тогда и будет бе-

жать ровно, как полагается. А поворачивать — это она и без вожжей лучше нашего брата найдет дорогу. Хоть и тварь она, а понимает. Я, барин, в ямщиках состою издавна. И скажу тебе, Илья Николаевич, лошади первое дело — чтоб ты вожжами работал. Спиной она тебя воспримат, ты работаешь,— хорошо, и лошадь слушается, работает. Ты зазевался, задумался, и она, лошадь-то, остановится, иной раз голову повернет. Вот и сидишь, плетешь в руках вожжи, как баба кудель,— чтоб ей, коняге, обидно не было: она работает, и ты работай.

Еремеич говорил о лошади собирательно, объединяя двух своих коней, а подчас и тройку, в одно общее понятие. Илья Николаевич подумал тогда: до чего это верно! Хочешь, чтоб другие трудились, показывай, что сам над ними трудишься...

И снова, как много раз в разъездах, поразил его простой и ясный разум народа, всегда построенный на опыте, выведенный из жизни. Сколько твердили ему со всех сторон о трудности работы с крестьянами, об их упорстве на бессмысленном и стародавнем, об уклончивости их ответов,— а как это оказалось со всех сторон неверно. Он мог разговаривать с ними не только с пользой для себя. Ему было интересно разговаривать с ними.

— Мужик умен... А вы,— «загадочная душа народа», мистики...— почти вслух подумал он, вспоминая рассказ Ауновского.

Дорога пошла еловым лесом, начали жалить комары и кусать оводы, густо пахнуло ландышем из лесу, а молодым земляничным листом с лесных прогалин, и до чего же любил эти запахи раннего лета Илья Николаевич! Комары застревали у него в густой бороде, а он ловил их широкой ладонью и улыбался,— всему, даже этим досаждающим, путающимся в волосах комарам.

Инспектор ехал сейчас в село Порецкое, чтоб посмотреть и проверить внутреннюю отделку здания, уступленного удельным ведомством для будущей Учительской семинарии.

Весь прошлый год прошел у него в борьбе за эту собственную, симбирскую, на всю их губернию,— Учительскую семинарию. Министерство постановило открыть

всего их пять: в Санкт-Петербургском и Московском, в Харьковском, Одесском и Казанском учебных округах. И началась война губерний! У каждой были в округе свои защитники. В конце концов победила Саратовская, предложившая для Учительской семинарии свой Сердобский уезд.

Илья Николаевич думал было, что прогорело дело. Он знал по опыту: сердобцы в свою семинарию примут только своих, а когда кончат они учебу, их разошлют по всей Саратовской губернии, имеющей нужду в учителях, как имеют эту нужду и симбирцы. И вдруг — неожиданность! Сердобский уезд тщетно подыскивает у себя в деревнях помещение для семинарии. Нет и нет этого помещения! А тут, с помощью Белокрысенко,— золотой он человек,— удельное ведомство отвалило им здание в селе Порецком, замечательное здание, какие строит только казна,— с колоннами на фасаде, или хоть не с колоннами, это он перемахнул, но как бы в колоннах,— трехэтажное, каменное, с палисадником перед ним.

Он видел его, при своих наездах в Порецкое, только мельком, никак не полагая, что будет посылать туда своих кандидатов на обученье. А сейчас это белое, внушительное здание, со средним корпусом в три этажа, с пятнадцатью окнами во всю длину второго этажа, казалось ему настоящим университетом для будущих народных учителей. По его предложению училищный совет утвердил будущим директором давнишнего друга его, естественника Владимира Александровича Ауновского,— и Ауновский с радостью согласился. Ауновский не только был педагог, но обладал краеведческой жилкой, или, как тогда чаще говорилось, интересом этнографа. Он раньше Ильи Николаевича переселился из Нижнего в Симбирск, он же подыскал и квартиру Ульяновым на Стрелецкой улице. Он отлично изучил и город, и губернию,— и как много лет раньше, будучи в Пензе, интересовался залежами угля и даже писал об этом, так и теперь, не успев в Симбирск перебраться, занялся местной статистикой, стал редактировать «Симбирские Вестники», «Памятные книжки Симбирской губернии», писал в газеты — словом, живой интерес ко всему ключом бил в этом человеке, и без Ауновского, может быть, и губерния не знала бы о себе так много, как знает сейчас.

Порецкая учительская семинария была излюбленной мыслью Ильи Николаевича. Он страстно хотел ей успеха; и каждой мелочью,— переделкой внутреннего помещения под классы, отводом места под общежития, нужною мебелью, материалом для стенных переборок, обоями, числом и составом книг в библиотеке — занимался самолично. Да, это было великое счастье, что сердобцы не смогли найти помещение, а он этим воспользовался и провел в округе постановление — открыть семинарию в селе Порецком! Сейчас он ехал туда, чтоб проверить строительную часть, а кстати и проинспектировать школы в Алатырском уезде... Как всегда, дни перешли в недели, одно дело потянуло за собой другое, и лишь к двадцатым числам июня смог Илья Николаевич вернуться из своей поездки. И как всегда,— обросший, бронзовый от загара, в черной от пыли рубашке, он прежде всего потянулся к бане, чтоб не занести грязи в детскую. На письменном столе ждали его бумаги. Их было очень много, из уездов, из города, из округа. Два больших конверта со штампом «секретно» он отодвинул прочь, чтоб не портить первого дня приезда. Но бумагу из округа прочитал. Это был второй запрос, уже за № 3219 и за подписью помощника попечителя, И. Соловьева,— когда же инспектор найдет удобным ехать в Москву на Выставку и «явиться в Казань для получения следующих ему денег». Бумага была от 13 июня, а получена у них 21-го...

Кажется — только еще вчера думал о Выставке, как о чем-то бесконечно далеком; вчера, в разговоре с Еремеичем, Москва вставала, как нечто почти нереальное. А вот и последние дни июня! И если попасть к сроку — надо опять собираться и ехать. Выставка подошла совсем близко... А дел больше прежнего, дел уймища.

Час назад, вернувшись из бани, Илья Николаевич чувствовал себя бесконечно усталым. Он хотел бы прилечь на диван, слушая, как бегают старшие дети, как кричат и лопочут младшие, и наблюдая стройную тень на стене тихо проходящей из комнаты в комнату милой жены своей. И вдруг усталости — как не бывало. Зная, что все успеет, все устроит, все распределит, все обдумает сразу же,— Илья Николаевич вскочил с живостью мальчика и почти подбежал к стене, на которой висело у него расписание пароходов по Волге...

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ

1

У Дмитрия Алексеевича Милютина нестерпимо болело плечо от старой, плохо зажившей раны. Весь этот год был для него тяжелым. Тяжела смерть брата Николая в январе. Тяжелы бесконечные придворные обязанности, связанные с визитами в Петербург. Они отрывали его от работы, мешали сосредоточиться и накапливали ту ненависть к форме, к обрядности, к суетному церемониалу, бессмысленно пожиравшему время,— которая нет-нет да и прорывалась в нем, несмотря на всю его петербургскую выдержку. В феврале появилась королева Вюртембергская, Ольга Николаевна, захотевшая говеть с царским семейством; тогда же, вслед за нею, прибыл король, ее муж, и тогда же, в феврале, состоялась торжественная присяга князя Георгия Максимилиановича, на которую приехали принц Вильгельм Баденский с женой. Все эти приезды, отъезды, торжества, связанные с приемами, посещеньями церквей и двора, встречами и проводами, отнимали массу драгоценного времени и сил, трепали нервы, ставили на ноги не только жандармерию и полицию, а и военные части, участвовавшие в парадах. Царь с королевой Вюртембергской и царица, прихварывавшая всю зиму, рано отбыли в Крым. Почти как на отдых, посмотрел Милютин и на свою собственную поездку в Крым, когда пришла пора отправиться за царем.

Он рассчитал так, чтоб проездом через Москву провести в ней хотя бы один день,— посмотреть по просьбе генерал-адъютанта Исакова, как отделывались к близкому открытию Выставки военный и морской павильоны. Спустя много лет он записал в своих воспоминаниях под рубрикой 15 мая 1872 года: «Пользуясь этой остановкой, я осмотрел помещения, приготовленные для военного отдела предстоявшей в Москве большой политехнической выставки». И сквозь все эти годы живо сохранил в памяти особенную цель Выставки и ее роль для России, потому что написал сперва непроизвольно, или, как стали в те дни говорить, «машинально»,— п р о м ы ш л е н н о й выставки, а потом вычеркнул слово «промышленной» и надписал сверху п о л и т е х н и ч е с к о й.

Зная, что с царем, которого он должен был привезти сюда на открытие, он мало что успеет посмотреть сам, Милютин не ограничился одним только военным отделом. Он объехал Выставку со всех сторон, обошел два главных здания со стороны набережной, где разместились военный и морской отделы, смотрел, как быстро налаживали через Москву-реку понтонный мост, побывал и у генерала Анненкова, прославившегося молниеносным воздвижением железной дороги для больших парадов в Красном Селе и получившего у петербургских остряков прозвище «русского фараона».

Как рассказывалось в салонах, генерал Анненков сказал однажды: «Техника — вздор, техники у египетских фараонов не было, однако пирамиды построены и стоят. Я вам без техники любую вещь молниеносно воздвигну». Техникой у Анненкова, как и у египетских его предшественников, были тысячи рабочих рук. И сейчас заменили ему технику даровые солдатские руки да крупное денежное пожертвование купца Варшавского. Анненков был прислан в Москву «молниеносно воздвигнуть» железнодорожную ветку: от Петровского дворца, где должен был остановиться Александр Второй, до слияния ее на девятой от Москвы версте с Николаевской железной дорогой, чтобы царю было удобнее возвратиться в Петербург.

«Еще не начали?» — спросил Милютин.

«Начнем 26-го мая и кончим к 7-му июня,— уверенно ответил Анненков.— Работать буду с составом команды из 500 человек и с ежедневным нарядом от двух пехотинских полков, по 750 человек от каждого».

Милютин знал, что так оно и будет и что расчет произведен очень точно. Хотя официальное открытие Выставки было назначено на 30 мая, но число это, связанное с торжествами юбилея Петра Великого, должно было задержать царя в Петербурге, и раньше первых чисел июня попасть в Москву было невозможно. О том, что фактическое открытие произойдет именно в июне, знал каждый участник Выставки, знали рабочие, и потому недоделки к официальному числу никого особенно не волновали. Небывало ранняя весна выдалась засушливой, и в Москве от непрерывного движения фур и повозок пыль стояла стеной. Боль в плече не уменьшилась, а скорей обострилась от жары, и Милютин поспешил в Крым.

Один-одинешенек, если не считать своего щеголеватого адъютанта Гагарина, умевшего держаться на расстоянии, военный министр наслаждался своим коротким одиночеством и успокаивающим ритмом дороги. В Ялте он пересел на присланную ему коляску. Каким отдыхом была весна в Крыму! Пылающая синева моря — вместо московской пыли; свеянные на дорогу, словно потоптанный снег, отцветшие лепестки миндаля; пожар неисчислимых желто-красных цветений на горных склонах, и эти бархатные бабочки, так мягко падающие на цветы, сливаясь с ними формой и краской; и этот запах,— особенный, терпкий запах дорогих ларцов,— от кипариса, выстоявшего в своей шершавой зелени всю крымскую зиму и сейчас отдававшего солнцу свои соки,— все это охватило Милютина, и все это он знал и любил старой любовью. Но глянцевитые, отъевшиеся кони быстро мчали его из одиночества и спокойных минут душевного отдыха — в царскую Ливадию.

Между тем все в Москве шло своим ходом. В предвкушении большого съезда гостиницы и домовладельцы подняли цены на комнаты; мясники скупили гурты и ждали счастливой минуты, когда можно будет запрашивать за фунт мяса по шестидесяти копеек; мужички грозились продавать сено по рублю за пуд. Под Москвой уже поднялась трава, и ее начали, не дожидаясь срока, местами покашивать.

Двадцать второго мая, во время маневра на рельсовых путях, скатились с насыпи два тяжело груженных вагона, насмерть задавив трех рабочих, и это, как раньше с Крупповой пушкой, было отнесено печатью в разряд «неотвратимых случайностей».

Всю ночь на 30-е мая шла лихорадочная работа, и ночи как будто не было: горели плошки, двигались факелы, выбрасывалась земля под лопатами, вскапывавшими последние клумбы, и тут же, в разрыхленную землю, высаживались цветы. Карабкались по столбам, прибивая флаги, развешивали и расстилали ковры, срочно сгребали и вывозили строительный мусор, докрашивали стены, и в лихорадку ночной бессонницы вливался едкий запах краски. Под самое утро неожиданно брызнул дождь. К счастью, все уже было наметано и расставлено к Выставке, и очень сильный, частый, как из решета, полноводный майский дождик омыл всю территорию Вы-

ставки, ее цветы и дорожки, крыши и флаги, засверкав наутро под солнцем тысячью росинок.

Нижегородский поезд в составе II и III классов пришел, как полагалось точно по расписанию, в 7 часов 15 минут утра, выбросив на перрон первую группу гостей Выставки,— народных учителей, ехавших как делегаты. Дорога, по соглашенью с выставочным комитетом, брала с них лишь половину за проезд; им были заранее приготовлены дешевые номера с койками, и каждый записал у себя в книжке фамилию чиновника министерства, Кочетова, и адрес, по которому надлежало явиться к нему для регистрации.

Народные учители выходили из вагона III класса с напряженными от бессонницы лицами, они тоже не спали,— не спали от волненья перед близкой встречей с Москвой. Одетые по-разному,— одни в обычной городской одежде, именовавшейся в те годы «немецкой»; другие — в русских кумачовых рубахах, чисто постиранных, в поддевках и шароварах, собранных в смазанные сапоги, блестевшие от дегтя,— они были схожи друг с другом радостной возбужденностью. На перроне,— взволнованный, пожалуй, не меньше, чем эти первые ласточки Выставки,— стоял, вытянувшись и держа свою мягкую шляпу в руке, Федор Иванович Чевкин. Иностранцев ждали не раньше, как дней через пять. И ему разрешили встретить покуда первую группу народных учителей, помочь им ориентироваться в Москве и добраться до экзерциргауза, где наверху, на хорах, в специально отведенной комнате представитель министерства народного просвещения принимал и регистрировал делегатов.

— Ох, хорошо, что встретили,— говорил, радостно здороваясь с Чевкиным, Никифор Иванович Богодушный, старшина всей группы,— а не то бы мы рассыпались по Москве, как из лукошка. Сговорились было держаться вместе, повыспросить, да идти пешечком, но нашлись у нас несогласные, желающие действовать отдельно. А ведь я отвечаю, господин. Ну теперь хочешь — не хочешь, иди с нами вместе!

И он почти сердито повернулся к невзрачному парню в картузе и городском длиннополом сюртуке, стоявшему в стороне.

Парень исподлобья, со скрытым недоверием, смотрел на Чевкина. Всю дорогу он спорил, доказывая другим,

что на свете все равно нет справедливости и вот хоть бы к примеру: им, главным, кому Выставка назначена, выдали по сто рублей на человека, а на сто рублей в Москве никак не прожить; зато инспекторам отмахали по триста, по двести. Спорил он и о том, что увидят на Выставке, заранее во всем сомневаясь. А сейчас, когда их учтиво встретил барин с белокурыми бачками, он сразу решил, что это неспроста. Барин приставлен к ним для наблюдения, но его, Семиградова, не проведешь. Он будет стоять на своем, а другие пусть как сами хотят. Но когда все двинулись с вокзала за Чевкиным, а Богодушный, узнав имя-отчество белокурого, стал запросто, на каждом шагу, величать его Федором Ивановичем и тот с живостью отвечать на вопросы, Семиградов вдруг почувствовал глухую обиду. Эту странную обиду он знал за собой всю свою короткую жизнь, в семье, в школе и учительствуя. Мать спросит, бывало, кому еще подложить картошки или подлить щец, а он мотнет, отнекиваясь, головой; но когда другим подольют и подложат, а ему нет, он словно бы и не отнекивался, до того станет обидно и злоба на мать: почему не дала? Почему другим, а мне ничего? Коли я отказался из вежливости, ты мне больше, чем другим, дай,— думал он своей особой кривой логикой. И эта кривая логика так и выросла с ним вместе, мешая ему жить и быть счастливым. Он считал свою психику особо тонкой, и ему хотелось, чтоб его поняли и удивлялись ему. Ночью в поезде все опять обернулось криво. Получив свои сто в Казани, Семиградов даже дрогнул внутренне,— такой большой и солидной показалась ему его сотня,— а когда все заговорили о том же, радуясь, что их, народных учителей, не забыли и они тоже увидят Выставку, и какие это большие деньги, сто рублей на три недели,— он вдруг, словно черт его укусил, принялся издеваться и доказывать обратное. Семиградову сейчас — мочи нет, как хотелось идти вместе со всеми и слушать, что говорит Чевкин. Но вместо этого он таинственно, незаметно для других, знаком подозвал к себе самого младшего из их компании, пензенского Васю Шаповалова, из одного с ним уезда, и, отстав от группы, шепнул ему:

— Очень не распространяйся, будь осторожен! Я сейчас тут сверну, отделюсь от вас, а ты, гляди, не болтай. Неизвестно кого приставили — это тебе не деревня.

Вася не успел опомниться, как Семиградов, махнув ему рукой, попятился в переулок и скрылся от них за углом. Никто ничего не заметил, и все пошли дальше, а Вася Шаповалов, со смутным ужасом в душе, поплелся за ними, потеряв вдруг свое ликующее настроение.

Переулок, куда свернул Семиградов, был грязный-прегрязный, и наш парень шел, осуждая Москву за то, что она никак не лучше деревни. Червячок, сосавший его, казался ему критическим: он как бы оправдывал глупое поведение, уход от группы. Но Семиградов знал где-то в самых потемках души, что ему больно и никакая критика не спасет его от собственного уничиженья. Чтоб справиться с охватившим его чувством глубокого стыда, он ускорил шаги, стал посвистывать, стал смотреть по сторонам. Переулок влился в другой, почище; а тот — в широкую улицу, какой Семиградову не приходилось видеть в своем уезде, но и здесь было над чем поиздеваться: город, а хвастают молоком! На углу была вывеска во всю ширину двери: *Молочные О. К. Ржевского,* и дальше оповещалось, что открыта ежедневная продажа *молока, творогу, сметаны, простокваши, варенцов и каймаков...*

Семиградов шагал по Москве, читая одну за другой вывески:

«Магазин белья госпожи КИПМАН. Дамские юбки, кофты, капоты, чепчики и воротнички...»

«Сдается квартира, пол парке́...»

Семиградов не понял, что такое парке́, и решил, что квартира с половиной парка.

Дальше, дальше... «Магазин А. ТРИАКА. Большой выбор заграничных сак-де-вояж, порт-моне, искусственных глаз». «Рояли БЛЮТНЕР (из Лейпцига), БЕХШТЕЙН (из Берлина), ШТЕЙНВЕГ (из Брауншвейга), ЭРАР (из Парижа) — все по американской системе с полными металлическими рамами, в магазине РУДОЛЬФА НИКОЛАИ, на углу Тверской и Газетного...» Продалась, что ли, Москва иностранцам?

А вот русская надпись, парикмахер Чедаев: «Работа усовершенствования. Продажа французских цветов, шиньоны, косы, локоны». И тот за французами! Солодовников... Юбки, волосяные турнюры. Что такое турнюры в дамской одежде — Семиградов, деревенский житель, не знал. Настроение его улучшилось. Червячок, сосавший

под ложечкой, стал совершенно походить на критический. Он думал: «Пусть они там ахают и охают, глядя приставленному человеку в рот. Ничего они там не увидят. Я гляжу самостоятельно. Вы не видите, а я вижу — пропахла Москва иностранным жульем. Только и есть русского, что деревенское молоко. Вот они все у меня в книжке: Триак, Николаи, Кипман... Наберу еще десяток-другой». И он шел и шел к центру Москвы, не глядя ни на что, кроме вывесок.

Федор Иванович между тем успел разговориться со своей группой. Он уже знал, кто откуда, и ему очень понравился обстоятельный Никифор Иванович Богодушный, самый, видимо, старший по возрасту в группе. Все-то он хотел знать и на все успеть посмотреть. И хотя на самое интересное, по мнению Чевкина,— акт в Московском университете,— билеты для них не были предусмотрены, он на свой страх и риск, покуда они, зарегистрировавшись, устраивались в гостинице,— сбегал сам в университет и раздобыл для них входные билеты.

Было уже около одиннадцати, когда, умывшись с дороги и расчесав своими деревянными гребнями волосы, народные учители под предводительством Федора Ивановича двинулись на Выставку. Он повел их, чтоб соблюсти всю, предложенную ему в Комитете, программу, прежде всего к тому месту на набережной, откуда можно было видеть спуск и прохождение по реке ботика. Но к спуску они уже опоздали. «Дедушка русского флота», отправленный в Москву на особой платформе, уже в понедельник 29-мая, без четверти двенадцать ночи, прибыл на вокзал, где, несмотря на позднее время, торжественно встретили его контр-адмирал Рудаков, командующий войсками Московского военного округа генерал-адъютант Гильденштуббе и депутаты выставочного комитета. Наутро его разубрали, как невесту, флагами, подняли гюйс и штандарты, сохранившиеся со времен Петра, и с настила, установленного перед фасадом Воспитательного дома, по лестнице, крытой коврами, в сопровождении тридцати, одетых в белую парусину, матросов спустили на реку.

В этот день, вторник, 30-го, небо было без облачка, солнце лилось на землю, как среди лета. Людей на набережной — ни встать, ни пройти, и не видать ничего за их спинами. Но зато народные учители услышали торжест-

венный залп в одиннадцать часов утра, а кое-кто из них, взобравшись на тумбу, увидел, как ботик шел на буксире парохода, полного знати на борту. В толпе жадно выкликали: вон-вон — у самого борта — великий князь Константин,— а с ним — видите, тощий такой — наш предводитель, князь Мещерский... Но выряженный, как невеста, ботик невесть почему опять казался сердитым и угрюмистым: совсем как невеста у Лажечникова в «Ледяном доме».

А вокруг было удивительно хорошо. Вместе с шелестом воды плыла духовая музыка. Щетинистый ботик, быть может, обиженный, что его тянут на буксире, шел и шел за пароходом. И москвичи, чтобы лучше его разглядеть, спускались к самой реке, а многие по колено входили в воду.

— Теперь пойдемте на самую Выставку — с главного входа,— сказал Федор Иванович, выводя своих подопечных из толпы и направляя их в сторону Иверской.

Он боялся сперва, что окружающая их зазывная роскошь, множество лоточников со всякой снедью, яркая пестрота нарядов отвлечет их от самой Выставки или даст им почувствовать скудость собственного кошелька. Но напрасно боялся. С каким-то особым достоинством шагал с ним рядом Никифор Иванович Богодушный, поторапливая других и даже самого Чевкина. Он снял шапку с мокрого лба и то и дело отирался большим цветастым платком:

— Нам сейчас, Федор Иваныч, родной,— время деньги, как в Америке говорят,— раскидываться нам вредно, а ты нам давай, давай самое нужное. Конечно, спервоначалу общий обзор, для пониманья. А потом выберем свой шесток, народное образованье. Горе-то наше, что нас раньше времени командировали, до открытия курсов. Но что можно, извлечем. Для того посланы.

Курсы, о которых так ратовал Милютин и которым так энергично препятствовал Дмитрий Толстой, отнесены были на июль, а первая группа народных учителей прислана была на июнь. Это было обидно, однако Федор Иванович тут же дал себе слово вознаградить их, чем только можно, выбрав самое интересное на Выставке. А сейчас, как сказал Богодушный, общий обзор.

В первый день плата за вход на Выставку была объявлена очень дорогая — пять рублей. Публики, особенно

в этот час, было не очень густо,— публика толпилась главным образом у турникета, заглядывая внутрь на садовую дорожку. Делегатам был отведен другой вход, но тут Чевкин проявил необыкновенное красноречие, вынул из кармана кучу всяких бумаг, отвернул, как бы невзначай, борты своего короткого заграничного костюмчика с пришпиленными значками и добился того, что всех их пропустили через турникет.

Словно в престольный день на ковровую дорожку храма, ступили народные учители на посыпанную красным гравием садовую дорогу к Выставке. Свершилось то, о чем мечтали они у себя в деревнях, о чем всю ночь протолковали в вагоне,— перед ними лежала, раскинутая на большом пространстве, сказочная в своей нарядной пестроте Выставка. Вдоль дороги, справа и слева, благоухали клумбы необыкновенных цветов. Над ними стоял густой аромат, словно на какой-нибудь садовой плантации, а не в самом центре Москвы. Из свежей, омытой дождем зелени дерев выглядывали домики старинной русской архитектуры, деревянные, с резными наличниками, с башенками и разводами. С невидимой реки все еще неслись отдаленные переливы духового оркестра.

— Мы познакомимся с вами прежде всего с павильоном почты,— начал Федор Иванович.— Степень культуры определяется сношеньем людей внутри своей страны и с внешним миром. Развивалось Русское государство — а с ним вместе развивалась и русская почта. Вот глядите — громадное собрание почтовых карт с эпохи царя Алексея Михайловича. При нем впервые русские люди узнали, что такое сноситься письмами не с помощью добрых знакомых или родичей, отправлявшихся в дальний путь, а с помощью государственного установления. Первые почтовые тракты шли из Москвы через Тверь, Новгород, Псков на Ригу; и через Можайск — Смоленск на Могилев...

Его слушали, записывая в книжку. На больших макетах вокруг поднималась вся необъятная Россия-матушка. На чем только не переезжало письмо,— на волах, на верблюдах в Средней Азии, на оленях и собаках в далекой стране: у самоедов, у якутов... А это что?

— А это — сегодняшний день! Взгляните! — И Федор Иванович с гордостью указал на красивый куверт с незнакомой печатью: — Это прислано из Парижа к нам на

Выставку. Оно путешествовало во Франции,— знаете, на чем? На аэростате!

Народные учители переглянулись. Шагнула техника! И вот они уже входят в телеграфный отдел, где их тоже встречает заманчивая дуга, мостом смыкающая перед ними прошлое с настоящим. Телеграф — это быстрейшее сообщение, сжатие времени. Морские сигналы флагами... Сигнализация огнем на расстоянии. И новейшие электромагнитные телеграфы системы Казелли, Юза, Уинстона, Сименса и Гальске. Мысль одна: дать и принять сигнал. Но чтоб понять современную дачу и принятие, надо знать, что такое электричество, магнитное колебание, что такое невидимые глазу волны... Учители столпились возле аппаратов, жадно глядя, как они работают. Чиновник с особым кантом на воротнике, молодой и быстроглазый, видя, как двигаются карандаши в загрубелых от работы пальцах и как время от времени смачиваются они, для бо́льшей черноты, слюною, снисходительно забубнил: «Занесите для точности: ровно двадцать лет назад у нас в России было 1126 верст оптического телеграфа и 320 верст электрического. Записали? А теперь в наше время. Год 1872. Сейчас имеем: 46 709 верст государственных линий при 91 730 проводах и 576 станциях... Вот так».

— Здорово растем! В нашем уезде тоже открывается телеграф,— вдруг, неожиданно для всех, поднял голос Вася Шаповалов, молчавший всю дорогу.— Тут вот написано, кто хочет послать письмо с Выставки, может сесть и написать... Ребята, как? Напишем?

— Не надо,— сурово остановил Богодушный.— Нечего время терять. Под самый конец — это другое дело.

И они пошли дальше, задерживаясь против воли в павильонах пчеловодства, шелководства, голубятни, промысловых животных. Разошедшийся Вася то и дело вскрикивал и тянул старших товарищей посмотреть то туда, то сюда.

— Пригодится... ученикам расскажу — с урока не уйдут,— твердил он, обуреваемый лихорадкой впечатлений.— Под конец-то, может, и показать будет некому, а тут наш дорогой Федор Иванович, он все знает, все нам изъяснит...— Вася уже забыл, как его земляк Семиградов таинственно предупреждал его против «приставленного», и старался ближе всех быть к Чевкину. А Чевкин повернул было всю свою группу к объекту, стоявшему в

каталоге под номером 12,— к образцовой сельской школе, как за ними заскрипел гравий и чей-то прерывистый голос окликнул их: «Берегись!»

Кучка учителей, занявшая понемножку весь проезд, испуганно шарахнулась. Но не кони угрожали задавить их. И не кучер крикнул со своего облучка: «Берегись!» Мимо них промчался, вскидывая ноги, во всю глотку ухмыляясь, а в то же время тяжело дыша, человек, впряженный в легкую коляску. Он был одет, как одевали помещики при крепостном праве, отмененном одиннадцать лет назад, своих казачков: в синие бархатные штаны, красный кафтан, обшитый позументами, и белую рубаху. От него, пока проносился он, несло тяжелым запахом пота. А в коляске, развалившись слегка, сидел совсем еще молодой франтик в цилиндре.

Федора Ивановича покоробило. До сих пор молчавший учитель с задумчивым лицом интеллигента негромко сказал:

— Добро бы калеку или старуху...

— Да, это стыд и свинство! — вырвалось у Чевкина.— Я говорил в Комитете, какое отвратительное впечатленье произведет, особенно на иностранцев... Но задумано было именно для старых и слабых людей и не галопом, а как в больничных креслах везут. Но у нас знаете, какие типы. Дают вместо одного два, три полтинника, требуют «вези», артельщик соблазняется и везет, дурак. И это ужасно, это варварство, это пошлые франтики из озорства...

Он ужасно переживал за Выставку. Ему было стыдно перед народными учителями, и Федор Иванович весь залился багровой краской. Задумчивый учитель с лицом интеллигента,— его звали Ольховский,— покосился на него и деликатно переменил разговор:

— Смотрите, красота какая! Зайдемте, зайдемте!

Заходить надо было в сторону и совсем не по пути, а время зашло за полдень. Они только-только пригубили Выставку. Но как отказать, если действительно красота, один из самых отработанных, самых законченных павильонов, уже побывавший в прошлом на выставке,— Туркестанский. Не возражая, он свернул с намеченного маршрута и повел свою группу в красивое здание восточного типа, уставленное внутри множеством экспонатов.

2

Туркестанский павильон, построенный на манер самаркандского медресе, снаружи был выложен квадратиками сине-голубой мозаики, а внутри, в обширном четырехугольном дворе, раскрывал, с помощью больших, разодетых в халаты, раскрашенных фигур, всю жизнь среднеазиатского городка. Ну как тут было не задержаться народным учителям, и во сне не видевшим ничего подобного! Ковры необыкновенных рисунков и расцветки, фарфор, языческий идол «дымчука», родоначальника человека, с дюжиной рук и с мужской и женской головами, а дальше — настоящий азиатский базар со всем, что там должно было водиться,— торговлей и мастерством. Восковые фигуры стояли и сидели в рабочих позах гончаров, портных, медников, ковровщиков с предметами своих ремесел. Даже страшновато стало в этом густом лесу искусственных людей, до жути похожих на живых.

В углу на полатях они сидели, скрестив ноги, и перед ними стояли большие чайники с горбатыми носами и круглые чашки, похожие на полоскательницы. Это был уголок чайханы. А дальше, в самом центре двора... учители вскрикнули. Так неожиданно было среди манекенов увидеть настоящих живых людей, в таких же длинных зеленых халатах, с такими же бронзовыми лицами и в белых чалмах,— только они не сидели и не стояли, а двигались. Один из них всерьез и по-настоящему брил другому голову. По окончаньи бритья цирульник, и не взглянув даже в сторону зрителей, вытер свой нож, взял обеими руками побритую им голову и, бормоча что-то про себя, крепко-накрепко сдавил ее, словно это был пробуемый на спелость арбуз, а не человеческая голова. Потом он стянул ситцевый платок, висевший у него на плече вместо полотенца, обернул им ухо побритого и стал сильно дергать его книзу; то же самое проделал с другим ухом,— и процедура бритья была кончена.

— Мы с вами удачно попали на интересный народный прием, принятый у цирульников в Средней Азии,— сказал негромко Федор Иванович изумленным учителям.— Это не показное. Это у них обязательно делается, совершенно как в русской бане бьют вас березовым

веником, а в турецкой прыгают по вашей спине. Вековой народный опыт — для улучшения кровообращения.

— А чего это он нашептывал? — так же негромко спросил Богодушный.

— Молитву. И знаете, даже это рационально. Пусть даже он механически повторяет про себя разные там хвалы аллаху или мудреные стихи корана, зато вы можете быть уверены, что в эту минуту он не может думать про своего клиента: «А чтоб тебя черт побрал!» — мысли и губы заняты другим. Вот и выходит, что, брея, он не только бреет, а еще благожелательствует своему земляку.

— Вежливо! — сказал с восхищением Ольховский.— А ведь и в наших селах, особенно у чувашей, много есть разумного, чего мы не понимаем и считаем отсталостью. Народ ведь тоже не зря свое время проживает. Не какие там годы, а столетия. Успеет чего только накопить...

Федор Иванович давно приглядывался к Ольховскому. Ему казалось, что этот бледный парень с тонким, задумчивым лицом и серьезными серо-голубыми глазами должен быть интеллигентнее всех остальных, и в разговоре он невольно обращался к нему. Но хотя Ольховский говорил интересно и не впустую, речь его дивила Чевкина подчас беспомощностью, неслаженностью своего синтаксиса. Он собрался было рассказать учителям об особой науке, этнографии, о музеях, где, как в Германии, показаны целые деревни с избами, принятыми в разных районах одной и той же страны, и в этих избах-игрушках собраны все предметы домоводства, от прялки до люлек и маслобоек, и как по-разному делается, раскрашивается, вырезывается все это у жителей каждого района... Но взглянул на часы и ахнул. Стрелка стояла почти на двух. А в два на Троицком мосту должна была исполняться кантата молодого композитора Чайковского, и уже не его подопечным, а ему самому остро необходимо было ее послушать. Он посмотрел на своих учителей — они выглядели усталыми, почти замученными. И нерешительно, борясь с самим собой, предложил:

— Давайте сделаем перерыв. Во-первых,— пообедать надо. Во-вторых, ведь вы с утра на ногах, устали наверное...

— Устать — устали, да и на отдых ночи хватит. А насчет обеда мы своего перекусили. Веди нас, Федор Иванович, куда собираешься. Открытие ведь. Не пропустить бы чего.

И тогда он повел их к Троицкому мосту, где уже стояла большая толпа. Многие сидели на прихваченных складных стульях, иные забрались на ящики, раздобытые в павильонах. Чевкин поспешно роздал учителям заготовленный печатный текст кантаты и принялся внимательно разглядывать толпу. Но как ни смотрел он, Чайковского нигде не было видно. Зато...

— Глядите, друзья, вот знаменитый наш писатель, Иван Сергеевич Тургенев. А вон там, у самого края, поэт, Яков Полонский, автор стихов кантаты.

Тургенев, почти единственный из литературной братии, пришел на открытие. В своем щегольском парижском сюртуке из легкой летней ткани и модной соломенной шляпе, он стоял, опираясь на трость. Полонский нервничал и переходил с места на место. Журналы весь этот год щипали его за эстетизм и отсутствие гражданственности в стихах, и Полонский переживал критику, как тяжкую несправедливость. В тексте кантаты гражданственности было, по его мнению, хоть отбавляй. Но вопрос, дойдет ли это и будет ли оценено критикой? Пока на эстраде, устроенной прямо у Троицких ворот, собирался хор и музыканты настраивали свои инструменты, Чевкин прочитал народным учителям стихотворение Полонского, пропуская малозначащие, по его мнению, куплеты, чтоб успеть к началу музыки. Он объяснил, что́ именно поет солист, известный певец Додонов, а что́ подхватывает хор... На розданных им листочках стояло: «Слова Я. П. Полонского, музыка П. И. Чайковского. Дирижирует профессор Санкт-Петербургской консерватории К. Ю. Давыдов».

Чевкин читал с чувством:

Как сквозь ночной
Туманный неба свод
Далеких звезд
Мелькает хоровод,—
Так в глубине
Неясной древних лет
Мелькает нам
Былин бродячий след...

Хор:

То было зерно нашей Руси заветное,
Его затоптала орда,— рать несметная.
Курганы росли: кровью Русь наливалася,
Зерно ее тихо на свет пробивалося.

. . . .

Голос:

Кто, на пути
К какому кладу,
Перешагнет
Невежд преграду?
Кто так велик,
Чтоб дух суровый
Народа вызвать
К жизни новой?

Хор:

О, был этот гений, был Царь и работник,
Он был мореплаватель, слесарь и плотник,
Учась, он учил, и божественно смело
Им начато было народное дело.

Голос:

Но умер Великий
И умерло дело —
И к свету из мрака
Идем мы несмело.
Гордыне послушны,
Как дети, мы свищем,
Ни громкого дела,
Ни славы не ищем.

Хор...

Тут Чевкин невольно запнулся,— Полонский явно вышел из метра, а может быть, ему вставили это? Тяжелой прозой шло дальше нечто «о потомке Великого, помазаннике бога»,— и нарушая рифму, явно туговато,— две последние строки:

Благослови труд народа, помазанник бога,
Да здравствует мир, да ликует свобода!

— Фи, какой стыд для Полонского, просто кровь в лицо бросается,— громко сказал неподалеку какой-то представитель артистического мира в блестящем цилиндре.— Ну что это такое: «как дети, мы свищем», разве сам он не понимает... Да вот он! Яша! Иди сюда, что это ты, братец, чувство смешного утратил? Где ж это у нас свищут? Ночные разбойники на дорогах?

— Нет, отчего же, первый куплет поэтичен. Как это у вас, господин Полонский? «В тумане лет былин далеких след...»

— Тише! Дайте, наконец, слушать! — закричали на них со всех сторон; и наши учители, с любопытством приглядывавшиеся к новой для них публике, разом поворотились к эстраде. Все смолкло вокруг. Но что это? Ясно видно было, как махал дирижерской палочкой Давыдов. Наглядно разевал рот Додонов, запрокидывая голову и прижимая ладонь к груди. Кругло глядели на них раскрытые рты хора. А звук словно провалился. Шипело что-то в воздухе, это правда. Но может, сама толпа плескалась, шелестя одеждой? Народные учители стали переглядываться. И снова поднялся шум близких голосов:

— Громче!

— Безобразие,— акустики нет!

— Кто это выдумал — на воздухе устраивать!

Кантата провалилась. Ее попросту не было. Ничего не было,— ни слов, ни пения, ни звука инструментов, ничего, кроме бумажки с текстом в руках. Стало для многих понятно, почему Чайковский не явился на это первое исполнение и почему, злой и сконфуженный, Полонский быстро удрал от друзей и знакомых.

Но кантата молодого композитора все же взяла свое. Опережая несколько события, скажем, что повторение ее в закрытом зале приурочили к пребыванию в Москве царя, а именно — к 14-му июня. Но царь, пробыв на Выставке всего пять дней, уже одиннадцатого уехал в Петербург. Тем не менее кантату торжественно исполнили в Большом театре, и на этот раз каждый звук ее дошел до слушателей. «Вестник Выставки», выходивший аккуратно каждый день и раскупавшийся главным образом приезжими, высказался о ней благосклонно:

«Господин Чайковский,— писал рецензент,— уже лет восемь обращает на себя внимание своей композиторской деятельностью. Написанные им три оперы, *Воевода, Ундина* и *Опричник,* мало известные публике, успели, однако, упрочить за ним самое лестное для него мнение в музыкальных кружках Москвы и Петербурга. Его оркестровые сочинения за последние годы, квартет, имевший значительный успех прошлую зиму

в Петербурге,— свидетельствуют о постоянном развитии его таланта. Настоящая кантата представляет собою со всех сторон произведение, вполне удавшееся, доказывающее опытную руку, искусно сопоставляющую оркестровые и хоровые массы. Ее отмечает богатая гармония при полном мелодическом интересе. Единственный упрек — длинная; публика утомлялась...»

3

Если в удобных креслах Большого театра, слушая и отлично слыша кантату, публика все же утомилась,— то каково было стоять у Троицких ворот, на открытом воздухе и видеть только раскрытые буквой «о» рты хористов да взмахи дирижерской палочки среди мертвого беззвучия? Но Чевкин с изумлением наблюдал необыкновенную выдержку народных учителей.

Сам он, привыкший за полгода часами бегать по Выставке, сейчас не чувствовал ног под собой. Он с усилием подавлял мелкую нервную зевоту, желанье поесть и прилечь после еды. А народные учители, не спавшие ночь в поезде, перекусившие всухомятку тем, что взяли с собой из дому, исколесившие за эти полдня чуть ли не двадцать верст, держались молодецки, хоть и видно было — устали. И что еще удивило Чевкина: пока он с интересом изучал их, успев познакомиться лишь с тремя, Богодушным, Шаповаловым и Ольховским, да и то слегка, более или менее представляя себе их индивидуальности, да еще, может быть, с четвертым, сбежавшим Семиградовым,— они отлично изучили его самого и как будто до тонкости разобрались в нем. Все время не столько он их, сколько они его,— сердечной теплотой опекали и удивительно понимали.

— Федор Иванович, голубчик, ты об нас не терзайся,— говорил ему Богодушный.— Мы привыкшие. А такой случай, что в Москве мы, и Выставку видим,— раз на всю жизнь дается. Так ужли ж нам об еде или отдыхе думать? До дому доберемся, и не отдыхать, а с мыслями собираться... У нас, вишь, у каждого записная книжка наготове. Все будем записывать, что ты нам за день показал.

Когда впервые, еще на вокзале, увидел он эти «за-

писные книжки» из серой оберточной бумаги, разлинованной в клетку, острое чувство — не то стыда, не то жалости — сжало ему сердце. Привыкший за границей к элегантным французским tablettes à noter[1], в их кожаных переплетах, с карманчиками для бумажек,— их и в Москве можно было купить на Кузнецком мосту,— он просто представить себе не смог, как это можно записывать свои мысли чуть ли не на бакалейных обертках. Суетная мысль — накупить им в подарок французских «таблетт» с приложенной к ним грифельной дощечкой мелькнула у него было тогда же. Но на Выставке, сбегав незаметно от них к турникету и оплатив в кассе дюжину «Путеводителей по Выставке», составленных Толоконниковым, он, ничего не говоря, роздал их народным учителям и получил хороший урок. Двое, правда, чистосердечно обрадовались и схватили их; но Богодушный, кашлянув, оглядел свою публику и вытащил большой крестьянский кошель, повязанный тесемкой.

— Сколько за них дал? — уперся он колючим взглядом в Чевкина.

Тот попытался было соврать, что путеводители полагаются каждому делегату бесплатно, однако тут же запутался, как мальчишка. И Богодушный, заставив каждого в группе достать по полтиннику, положил Чевкину в руку всю эту кучку монет и внушительно сказал:

— Ты, Федор Иванович, на службе, и мы на службе. Нам на такие подобные расходы и дадены деньги. Получи.

Чевкин безмолвно сунул монеты в карман сюртука. К середине дня, проведенного с учителями, он с удивлением думал, что учится от них многому и прежде всего великой условности того, что называется «возрастной психологией». После случая с путеводителями он как бы невзначай спросил у Богодушного:

— Никифор Иванович, не будет нескромно узнать, сколько вам лет?

И тут выяснилось, что Богодушному, старшине всей группы, такому обстоятельному в разговоре и уже как бы выработавшему себе твердые принципы, да

---

[1] Tablettes à noter — название записных книжек и блокнотов, употребительное в те годы *(франц.)*

и на вид — бородатому, даже наставительному,— всего 24 года! «Ну совершенно, совершенно не похоже, поверить нельзя, ведь я перед ним чувствую себя мальчишкой,— с изумлением думал Чевкин,— а мне без малого двадцать восемь!»

— Сколько же лет тому, кто от нас сбежал?

— То́льке-то? То́лька среди нас самый старый, ему под тридцать. А все начинать собирается, все ему не так да не по нем...

И опять словно непонятная стена выросла,— несуразному, явно самому неразумному и ребячливому среди них, которого они, видимо, не уважают,—почти тридцать. Нет, значит, никакой «психологии возраста»? Что-то другое, кроме возраста, придает или отнимает зрелость? А он-то вообразил себя уже конченным биографически, хотя, может быть, и сам «все не так да не этак», пробует, бегает, вертится,— и, в сущности, мало, бесконечно мало знает... Чевкину нестерпимо хотелось поговорить с учителями и узнать, где они учились и где сейчас учат, как провели детство, женаты ли, есть ли у них дети. Но учители остановились, обеспокоенные. Им стало не до Чевкина. Они в первый раз заметили отсутствие Семиградова.

— Ребята, где Анатолий? Кто его видел на последях? — спросил Богодушный своим немолодым, наставительным голосом. Откликнулся только Вася, объяснив, что Анатолий Онуфриевич отделился от них сразу же, возле вокзальной площади. Куда — не сказал. А только посоветовал (тут Вася понизил голос) воздерживаться на язык.

Этот маленький эпизод случился сразу же после кантаты. Чевкин, сам обеспокоенный, усадил учителей на скамейки во втором Кремлевском саду, попросил с места не трогаться, отдыхать и просмотреть путеводитель, и побежал в регистратуру справиться. В экзерциргаузе Кочетова уже не было, но письмоводитель, перелистав бумаги, сказал ему, что учитель Семиградов прибыл благополучно, получил свою карточку на вход и билет для пропуска в гостиницу и, должно быть, разгуливает сейчас по Выставке. Письмоводитель тут же добавил, что о господине Чевкине был запрос от Виктора Карловича Делля-Воса и просьба нынче же снестись с ним.

— Завтра ожидается с севера новая группа учителей

и также инспекторы народных училищ. Им отведен особый руководитель от нашего министерства. Вы же работаете от Комитета и для вас Виктор Карлович просили передать, нынешний день был совсем не обязательный, в виде исключения. Так чтоб вы не сочли обидой...

Вернулся Федор Иванович к своей группе с вытянутым от огорчения лицом. Он успокоил их насчет Семиградова. Хоть с самого начала ясно было, что с учителями ему не пробыть долго, но необходимость нынче же распрощаться с ними показалась неожиданной. Он и не предполагал, что это его так сильно огорчит.

— Федор Иваныч, мы сообща порешили идти сейчас посмотреть школу,— обратился к нему, вставая, Богодушный.— Пока тут отдыхали, все обдумали. Наше мнение такое,— с общим обзором сразу дело не выйдет. Тем более мы на каждом шагу будем останавливаться и вас с программы срывать,— ведь так оно доселе и получалось. Лучше уж начать с главного, а общий обзор по окончании.

Чевкин согласился с этим. Больно кольнуло его «вы», с каким Богодушный обратился к нему,— до сих пор он так славно, так по-любовному называл его на «ты». Не зная, чем объяснить перемену, он шел молча. Сейчас они прямиком двигались к объекту № 12, образцовой школе, о которой каждый из них успел прочесть в каталоге. Федор Иванович мог бы, конечно, рассказать им такое, чего они не вычитают ни из каких каталогов, но он молчал. Установившаяся между ними раньше хорошая, дружеская интимность куда-то пропала. То ли от слишком уж выросшей усталости или от повернувшего к вечеру дня, но всем им было не по себе. Он и не подозревал, что скользкий угристый нос угрюмого паренька, верней — тень этого носа втиснулась между ними, нарушив их слаженность. Покуда он бегал в экзерциргауз, Вася Шаповалов, почувствовав вдруг важность слов Семиградова, рассказал во всех подробностях, прибавляя от себя порцию своего ужаса, о котором успел за день позабыть,— все, что ему под секретом поведал Анатолий Онуфриевич. И от этого Васина рассказа вдруг выявилась та самая «возрастная психология», в которой начал было сомневаться Чевкин. Староватый и наставительный старшина Богодушный дрогнул, как мальчик. Все они знали Семиградова за пустомелю. Ну, а ежели? Ведь все-таки он

куда опытней, куда старше их,— человеку под тридцать, не станет он молоть совершенно впустую. Богодушный вспомнил, как в регистратуре удивились, когда Федор Иванович сказал, что сам будет сопровождать их... И Богодушный шел теперь, опустив голову, стараясь не встретиться с Чевкиным глазами. Бородка его на очень вдруг помолоделом от смущения лице казалась теперь наклеенной, а весь он — как начинающий актер из любителей, которому дана была роль пожилого.

Так и пропала бы их дружба в самые последние часы общения, если б не Выставка. Перед ними возник показательный объект № 12. Неизвестно, что думали строители, сооружая его, и думали ль вообще, но только у народных учителей он сразу прогнал все побочные думы и поверг их в недоумение. «Образцовая сельская школа» стояла на пустыре и кроме здания — ничего не имела. Четыре стены, восемь окошек, две двери да приколоченные сзади «удобства»,— вот и весь образец... Двери с назначением: передние для учителя, задние для учеников. Ни вешалок, ни парт, ну ничего. Конечно, и такую построить в их местах — дело не легкое, здание вместительное. Но чего же тут показательного?

— Посмотрели? Идем теперь к шведам. У шведов народное образование поставлено очень высоко! — сказал Чевкин.

Шведы действительно отнеслись к Выставке очень серьезно. Школой своей они гордились перед всей Европой и привезли к нам все, что сочли полезным по-добрососедски показать нам. И то, что увидели народные учители, сразу растопило лед между ними и Федором Ивановичем. Шведы привезли всех сортов классную мебель, целую груду отлично отпечатанных учебников с рисунками, образцы тетрадок, географические карты, развесные картины, чучела птиц и зверей, коллекции минералов, гербарии, даже музыкальные инструменты. Ко всему этому был приложен сборник школьных программ на шведском, английском и русском языках. Стоящий у школьной мебели швед в синем рабочем фартуке и кепке, посмотрев на них, подал каждому сборник, отпечатанный по-русски.

— Гляди, гляди,— воскликнул Вася, засовывая руку в раздвижной ящик под партой,— для учебников место припасено! А здесь в луночке перья, карандаш, грифель!

А у нас дай бог стол поставить, и чернильница не нарезная, стоит по́верху, вечно в ней грязь, только и знай, бегают дети за тряпкой...

— Правильно, обратите внимание на культуру мелочей,— вмешался обрадованный их радостью Чевкин,— все есть, и стальные перья, и деревянные ручки для перьев — вместо наших гусиных, карандаши, ножички, а тут указано место для чернильниц. Посмотрите, сколько грифельных досок — для взрослых, для детей, для черченья, для арифметики, для нанесения географических карт. Эти красные линии и сетки останутся, а что вы мелом напишете — сотрется мокрой тряпкой.

— Для чего ж тут белые доски? — спросил Богодушный.

— Углем писать. Доски у них не только из шифера. Есть из жести, из картона... А столы складные, вся мебель разборная,— в одну минуту класс может их к стенке приставить, и вот вам готовый зал для гимнастики.

Молчаливый швед, видя их интерес, опять полез в ящик и роздал всем целые пачки цветных реклам. Он сказал что-то Чевкину сперва по-шведски, потом поанглийски. Федор Иванович перевел: это все фирмы, где можно купить целую школу и вообще школьные предметы,— самые дешевые и самые прочные.

Когда они вышли из школьного отдела и Чевкин посмотрел на них своим прежним, любопытно-ласковым взглядом, он вдруг от души рассмеялся:

— Не огорчайтесь, друзья. Все это наживное. Сейчас нет — завтра будет. Если знать немного плотничье и столярное дело, самим можно сделать, раз принцип знаком. А вот при всем их превосходстве, заметили вы, какая купеческая жилка? Чуть что — реклама, фирма, адрес,— пожалуйте купить, хоть целую школу.

— Я бы еще как купил! — вздохнул Вася.

— А я бы, пожалуй, своими руками сделал. Это Федор Иванович правильно сказал: самим сделать,—возразил Ольховский.— Плохо не то, что нет,— беда, что нищативы нам не дают.

В другое время Чевкин ни за что не пропустил бы такое интересное, вызывающее на вопрос слово. Но если попасть к началу торжественного акта в Московском университете, надо было не то что идти, а прямо бежать бегом. И они дружно побежали по улицам, освещенным

последним солнечным багрянцем. А вокруг Выставки, по всему ее обширному треугольнику, уже зажигались плошки и газовые фонари, засветились окна домов, и народным учителям, привыкшим к деревенской темноте, Москва показалась сказочным царством света. Сиял в огнях сверху донизу Большой театр. В нем в этот вечер дебютировала в «Жизни за царя» Эйбоженко, певшая Ваню. Подражая иностранцам, она мило картавила «отвойите!» Актовый зал Московского университета уставлен был кадками с лавровыми деревьями, гирлянды фонарей в виде белых шаров свисали с потолка. Их едва пропустили в зал, где уже начал говорить знаменитый историк, Сергей Михайлович Соловьев. Сочно и ярко он рисовал перед слушателями, переполнившими зал, картину Руси в XVII веке, — и это была страшная картина. «Чтоб не утратить права на историческую роль и принять участие в общечеловеческом развитии — Россия должна была принять от Запада результаты развития его наук и гражданственности...» — гремел историк. И дальше он перешел к гигантской фигуре Петра.

Как ни были утомлены народные учители, они слушали из всех сил, и видно было, что яркая речь Соловьева понятна им. Потом говорили о Выставке Давыдов и Делля-Вос, а последним взял слово профессор Щуровский, и опять все было удивительно понятно, прямо «как на заказ», шепнул кто-то из учителей Чевкину. Щуровский говорил о том, что русская художественная промышленность до сих пор находится в руках иностранных мастеров и это не может быть дальше терпимо. Вот почему открыты у нас Строгановское училище рисования, художественно-промышленный музей и предполагается открыть целый ряд рисовальных и воскресных школ...

— Всю жизнь бы сидеть да слушать, — прошептал Ольховский, охваченный общим одушевлением, царившим в зале.

Между тем Делля-Вос заметил среди сидевших Федора Ивановича Чевкина и сделал ему знак подойти. Когда Чевкин боковой дорожкой пробрался к президиуму и, ступив на лестницу, поднялся к Делля-Восу, Виктор Карлович шепотом сказал ему, что завтра совсем неожиданно прибывает группа иностранцев и что Чевкин, как гид, прикрепляется к ним на пять дней.

Народные учители выходили из университета тесной

кучкой. Была уже ночь. Ради открытия еще горели яркие фонари вдоль стен Кремля. Но в густой черноте наверху звезд видно не было: тучи заволокли небо. Как-то по-городскому пахнуло на них близким дождем,— пылью, обметавшей улицу и поднимаемой вспышками ветра.

Чевкин уже сказал, что завтра будет у них другой руководитель, и хотел было проститься, но раздались протестующие голоса:

— Нет, Федор Иванович, никак нельзя! Весь день с нами возился и только кружку квасу выпил,— мы ведь все заметили,— ну никак,— и не возражай! Сейчас в гостиницу, кипяточку попросим, есть у нас хлеб, крутые яйца, лепешки, попьешь с нами чайку на прощанье...

Самой большой комнатой оказалась та, где устроился Богодушный с тремя другими, малознакомыми Федору Ивановичу учителями. В нее и набрались все остальные. Коридорный принес огромный медный самовар, чайник и десять стаканов. Заварили своего. Высыпали кусочки колотого рафинаду из мешка в тарелку, остальные тарелочки из-под стаканов заполнили снедью. Краюха хлеба лежала на скатерти. Чевкин, не протестуя, принял большущий черный ломоть, посолил его, облупил крутое яйцо,— никогда, кажется, еда и чай не показались ему такими вкусными. Главное же — он опять с этими милыми, ставшими ему близкими людьми, и облачко между ними растаяло. Весь этот день на Выставке был и для него необыкновенно поучительным, и странно, что не додумались ни газеты, ни журналы подать Выставку именно в таком свете: своей, русской техники маловато, заграничной больше, но это и говорит за необходимость обучения, заимствованья, нового крена в системе образования... И над всем этим — так вóвремя — знак Петра! Он не успел, однако же, предаться своим мыслям. Дверь со скрипом отворилась, и в комнату вошел Семиградов.

Он был в картузе, сдвинутом на самый затылок, от него слегка пахло вином, и выражение мелкочертого, суженного к вискам лица было самодовольно. Он сел на одну из кроватей, пристально воззрился на Чевкина и спросил, обводя их всех довольными подпухшими глазками:

— Ну как?

— А ведь спрашивать «ну как» не тебе, а нам. Выде-

лился без спросу бог знает куда, а потом отвечай за тебя. Да уж не напился ли, Анатолий Онуфриевич? — Богодушный встал с места, подошел к Семиградову и потянул носом.

— Выпил рюмочку белой... Нельзя было иначе, Никифор Иванович, в ресторанте полагалось сопричастно всей программе. И в общей цене стояло — хошь пей, хошь не пей. Ну я и выпил.

— В какой это ресторанте, позволь тебя спросить?

— На Выставке. Я ведь Выставку вдоль и поперек обошел. В Корсуни был в самом подземелье, где киевский князь Владимир крещенье принял. Действующую машину смотрел, как она пряники печет. Охотничьих псов и даже где китов наши моряки ловят... Катальщиков...— Он перечислил бы куда больше. В кармане его хранилось еще десятка два иностранных фамилий, записанных, покуда Семиградов ходил по Москве. Но едва он ступил на Выставку, критический дух оставил его. Выставка захватила так, что даже дыхание сперло. И окончательно покорил ресторан под иностранной фамилией «Гошедуа». Семиградов видел, что в ресторан этот проходят нарядные господа в цилиндрах, с дамами в пышных летних платьях. У дверей его стоял официант в белом крахмальном жилете и белых нитяных перчатках, принятый им сначала за главного гостя, поджидающего свою даму. Ресторан, правда, был построен на живую нитку, с необычайным легкомыслием, но об этом узнали только тогда, когда разразился над Выставкой летний ливень. А в этот первый солнечный день открытия все сияло на белоснежных скатертях. И меню... Семиградов снял свой картуз и, держа его в руке, прошел в ресторан вместе с элегантной публикой.

— Вот оно, мену́,— сказал он с ликованием в голосе, вытащив из кармана большой, размалеванный лист с изображением повара в колпаке на самом верху,— читайте. Это все подряд — один обед. Ел, ел, братцы,— конца не было. И возле тарелки сервиз стоит: справа два ножа, слева две вилки, на передку две ложки и две рюмки, малая и большая. Хлеба ешь, сколько влезет, но до чего он тонко нарезан, взял в рот и не почувствуешь. Читайте, читайте!

Учители столпились вокруг Семиградова, и один из них стал вслух читать «мену́». Это был высший момент

торжества для него, когда внутренний червячок перестал сосать и все обиды его вдруг поутихли в душе.

«Суп прентаньер, пирожки»,— не без труда 'читал Богодушный:

«Цыплята соус Перигёр.
Лососина соус рамуляд.
Цветная капуста по-польски.
Жаркое: рябчики. Салад.
Пуддинг Нессельроде».

— Ты это что ж, Анатолий, все один съел?

— Да ведь программа! — снисходительно улыбнулся Семиградов.

— Ну и сколько же это все стоило?

— Два рубля,— ответил он по возможности небрежно, хотя внутри него что-то дрогнуло. Два рубля за один обед! Два рубля из драгоценных ста, рассчитанных на три недели, дорогу, гостиницу... Он не сказал, что пришлось положить еще двугривенный на чай по примеру других едоков. Не сказал, что, выпив рюмочку белой и выйдя из этого проклятого «ресторанта», он увидел катальщика с креслом, сел в него и еще прокатился вдобавок на целый полтинник. И все это не потому, что уж очень хотелось... А назло... назло всему свету, назло официанту у входа, который сделал движение, чтоб преградить ему путь. Острая жалость к себе, обида на потраченные деньги, запоздалое раскаяние — все это отразилось, может быть, в самую минуту триумфа, на угристом лице Семиградова...

Товарищи смотрели на него и молчали. Богодушный покачал головой, сложил меню и вернул, тоже не сказав ни слова. Заговорил совершенно неожиданно Чевкин. Он следил за происходящим и — пожалел человека.

— Все надо испытать,— сказал он весело,— знание только на пользу идет. Теперь будете остерегаться дорогих ресторанов. Главное — в них никогда досыта не наедаешься, меню рассчитано на очень богатых людей, чтоб им не толстеть и фигуры не портить,— чем больше блюд, тем голоднее.

Так был закончен эпизод с Семиградовым. Они еще посидели с часок, записывая с помощью Чевкина свои впечатления. Потом он простился с ними, расцеловавшись с каждым, и оставил им на всякий случай свой адрес.

Дождик еще накрапывал,— он прошел, сильный и благодатный, пока они сидели в гостинице. Пахло уже не пылью, а липами. Федор Иванович не торопился домой. Усталость перешла у него в умиленное ощущение близости с человечеством и в довольство проделанной работой. Хорошо в этом мире! Хорошо и многообразно,— и только глубже, глубже входить во все...

4

Вернувшись с военным министром в Петербург из Крыма, Александр Второй принял 4-го июня парад в Красном Селе, а 6-го вместе со своей свитой выехал в Москву. Он был в прекрасном настроении. Близость тысяч солдатских глаз, восторженно сиявших навстречу его монаршему взгляду, чарка водки, опрокинутая за их здоровье, и это купанье царского слуха в громовых перекатах «урра», которым, казалось, конца не было,— представляли ему его собственную популярность в необыкновенных размерах. Он любил себя и верил в свою мощь,— воображая себя любимым народом, и на короткое время даже постоянная сухость сердца его оттеснялась вглубь некоторой дозой сентиментальности. Александр Второй переживал кульминационные минуты своего царствования. Он все эти годы, как гниющую рану, не переставал чувствовать разгром Севастополя и гибель Черноморского флота, случившиеся почти тотчас после вступления его на престол. Думая об этом, он судорожно сжимал губы. И вот минута реванша приблизилась,— торжество почти наступило: главный его противник под Севастополем, Франция,— унижена, обесчещена, раздавлена Пруссией; Черноморский флот восстановлен; отмена крепостного права окружила его ореолом в европейском общественном мнении... в Стамбуле наверняка учуяли, что́ это значит, хотя дипломатии дан приказ заверять всех и каждого в мирных намерениях России. Только самые близкие к царю догадывались, чем сейчас заняты его мысли, да младший брат, великий князь Николай, мог бы выразить их одним словом «Константинополь»...

В двенадцатом часу ночи, 6-го, царь был уже в Кремлевском дворце, где провел первую ночь; он спал богатырским сном до десяти. Зато Милютин на заре был уже

на ногах и поехал осматривать военный и морской отделы, чтоб подготовить их к царскому посещению. Но царь начал осмотр Выставки, как обычный посетитель, с главного входа. От трех до пяти дня свита его и военный министр бежали в хвосте за царем, быстро обошедшим павильоны первого Кремлевского сада, манеж и машинный отдел в нем. Царь делал вид, что интересуется предметами штатскими, хозяйственными. Задержался на миг у цветов, в отделе ботаники, и даже любезным словом отметил роль Англии и знаменитого музея Кью, приславших много своих образцов в Россию,— что было немедленно переведено корреспондентам английских газет и ботанику, доктору Андрью Муррею, лично приехавшему из Лондона. Вечером он танцевал на балу у московского губернатора, князя Долгорукова, и милостиво обошелся с обер-полицмейстером генералом Слезкиным: ему понравилось тактичное поведение полиции, ведшей себя, на взгляд посторонних, как в обычное время.

На следующий день «политический» прием обозрения продолжался как ни в чем не бывало. За первым — последовал второй Кремлевский сад с павильонами лесоводства, медицинских растений, прикладной физики, фотографии, сельской больницы... Как ни старался Дмитрий Алексеевич Милютин разглядеть экспонаты через плечи набившейся вслед за царем толпы, но почти ничего не увидел. Царь и толпа за ним были в непрерывном движении. Царь, казалось, не замечал восторженных глаз, вставанья на цыпочки, восхищенного шепота, не видел иностранных гостей, с величайшим любопытством наблюдавших за прохождением его, и лишь те из ближайших к нему, кто хорошо знал царя, видели, как он рассеянно глядит на предметы, не дослушивая их описания, и тут же, всем корпусом, делает движение вперед. В третьем саду размещены были, по мнению Милютина, очень интересные и хорошо обдуманные павильоны,— архитектурный и исторический. Но даже речь профессора Соловьева, приехавшего давать объяснения по эпохе Петра, была выслушана царем рассеянно и все с тем же нетерпеливым подергиванием плеч. Милютин понимал, куда торопился царь. И понимал, с каким он напряжением заставляет себя глядеть на вещи, которые — как искренне воображал — знает сам и без Выставки. А «вещи» и те, кто привез и выставил их, страстно добивались

быть им замеченными. Обойденный им вчера без малейшего замечания, очень важный в глазах выставочного комитета, отдел технологический совершенно сейчас опустел. За царем, бросив свои экспонаты на произвол судьбы, попросту бежали рысцой хозяева и представители разных фирм, крепко осевших в русской промышленности, от мануфактурных до кондитерских,— Мавроматы, Кацараки, Эрнста и Дэвида, Бунса, Теодора Гюйо,— в тщетной надежде вернуть шествие вспять, к их павильонам...

И только за день до отъезда Александр Второй позволил себе отвести душу. В течение трех часов, на этот раз очень внимательно, он осматривал морской и военный отделы на набережной Москвы-реки. Отведенное этим отделам огромное пространство было особенно многолюдно. Морской павильон, весь из стекла и железа, раскрывался посетителям не моделями и мелким чем-нибудь,— их встречал поднятый нос настоящего купеческого корабля. И все на нем было настоящее вплоть до кучки матросов, деловито дававших объяснения,— рангоут и такелаж, фок-мачты и бушприт, как, дилетантски щеголяя терминами, писали газеты. В центре под штандартом, на самом почетном месте, возвышался «дедушка русского флота». Неподвижно, словно каменные изваяния, стояли справа и слева от него рослые гренадеры в мундирах петровской эпохи; и даже прибытие царя не вывело их ни на мгновенье из этой неподвижности. Царь прошел в другой конец павильона, где выставлена была в разрезе средняя часть военного корвета с грот-мачтою и каютами офицеров. Он оглядел ее и двинулся к мастерским. Здесь работал локомобиль, приводя в действие машины. Все, что нужно было для военного дела, от литья пушек новейших систем и до солдатского сапога, показывалось в процессе их производства. Орудийные и патронные интендантские, мастерские тульских и сестрорецких оружейных заводов,— все это он осматривал придирчиво и тщательно, а когда дошел до павильонов армейского полотна фабриканта Алафузова и армейского сукна купчихи Акчуриной, перещупал и полотно и сукно и, усмехнувшись негромко, произнес: «То-то же!» Видно было, что все это чрезвычайно близко его теперешним интересам. С очень довольным лицом, легко и молодо, он поднялся по широким аппарелям на Николаевскую пло-

щадь Кремля. И тут все могли заметить резкую перемену в его настроении — при брошенном им взгляде в сторону Севастопольского павильона... Подняв к лицу правую руку, он прикрыл ею глаза, как бы охваченный тягостными воспоминаниями. Жест был чувствительный, но совершенно показной. Он прятал под ладонью мгновенную вспышку злобы и мысль о реванше.

На следующий день царь, ночевавший в Петрозском дворце, осмотрел Севастопольский павильон уже в полном спокойствии. Он принял участие в народном празднике на Ходынском поле, а в 9 часов вечера, под проливным дождем, вместе с семьей и свитой, военным министром и его адъютантом Гагариным по железнодорожной ветке, к сроку построенной «фараоном» Анненковым, выехал обратно в Петербург.

С его отъездом все вздохнули свободно, хотя, казалось бы, присутствие царя обошлось без особых мер охраны и без неудобства для простых граждан. Чевкина, заканчивавшего осмотр Выставки с первой группой иностранцев, опять срочно вызвали к Делля-Восу.

— Сколько вам осталось работы, Федор Иванович? Дня два? Как покончите, новой группы не берите, у нас будет другая просьба к вам, тихое, спокойное занятие. Пойдете в читальню Румянцевского музея, закажете там английские газеты и сделайте — ну не перевод, а хотя бы изложение всего того, что пишут в Англии о Выставке. Да вот еще послание от группы немцев, представляющих у нас на Выставке свое отечество,— его тоже надо перевести. Пожалуйста, голубчик, сделайте это возможно быстрее!

Сказать, что Чевкин устал от своих иностранцев, было бы мало. Он чувствовал себя изнеможенным, выпотрошенным, набитым трухой. Публика у него набралась и случайная и несовместимо разная. Приходилось по мере сил удовлетворять не всех, а каждого, и переходить с немецкого языка на английский, с английского на шведский. Во-первых, в группе насчитывалось четыре австрийца; во-вторых, муж и жена немцы; в-третьих, барышня из Швеции и старый голландец; в-четвертых, пожилая англичанка. Не сразу он понял, чего кто хочет, а поняв, не сразу сообразил, как это совместить. Помог ему другой переводчик, огромный рыжий мужчина, кончивший

Киевскую духовную академию, но почему-то вместо Синода попавший в министерство иностранных дел:

— Вы соображаете apriori,— сказал он Чевкину своим густым басом,— если будете разбираться в каждом, запутаетесь, как в сетке. Нужна прежде всего арифметика: шесть нумеров немецкого языка плюс голландец, по-немецки понимающий, итого семь; один нумер английский, один шведский, по-английски обязательно понимающий, итого семь на два. Что немцу интересно на Выставке? Именно то, что у них у самих есть,— для сравнения, насколько у них лучше. Показывайте машины, медицину, аптеку, пушки, ружья, маршировку, на концерты сводите, дайте им послушать ихнего Бетховена в нашем исполнении. Шведка и англичанка — женский пол; эти любят смотреть, чего у них у самих нет,— им давайте экзотики, туркестанские сюзане, халаты, тарелки, ну там верблюдов на почте или ослов покажите, русскую холстинку, вологодские кружева, мед, пряники. Ну, а что всем девяти нумерам сообща? Церкви, голуба, да-с, церкви и церкви, иконы — чем потемней, тем лучше, и если хотите знать — весь Кремль без Выставки, а под конец русская кухня, всем гуртом на Варварку в трактир Лопашова! По опыту говорю!

И оказалось, что никуда этот опыт не годился. Рыжий, как Чевкин заметил, совсем не умел слушать. Он никогда не прислушивался. На любой вопрос он отвечал «да, разумеется, а вот вы обратите внимание». И несся через пень-колоду, как не взнузданный конь, по собственной, наизусть затверженной программе. Чем он всетаки решительно помог Чевкину, так это, возбудив в нем желание проверить на деле его, на первый взгляд, убедительнейшую классификацию. Она так показалась Чевкину похожей на действительность, что, слушая ее, он хохотал, как ребенок. Но разница в характерах свернула его с этой, намеченной рыжим, легкой дорожки. Чевкин умел слушать. Чевкин любил слушать. И Чевкин, прежде чем самому раскрыть рот, непроизвольно следил за ртом собеседника. Так и случилось, что, вздумав проверять сперва немецкие вкусы по рыжему и поведя свою группу в медицинский павильон, он натолкнулся на резкое разделение всех своих семи «немецких нумеров» на семь совершенно разных «единиц». В этом разделении они были очень вежливы, но непреклонно настойчивы. Один,—

австриец,— пожелал сразу же получить каталог Выставки на иностранном языке, преимущественно немецком. Он отделился от группы, заявив, что времени у него много, живет он в Москве у знакомых и хочет изучить Выставку основательно и разберется во всем самолично. Другой австриец, переглянувшись с товарищем, сказал, что у них в Вене намечается в этом же году своя Выставка и ему, как и его другу, важно узнать общий характер Московской Выставки, ее структурное и композиционное размещение, а поэтому просьба: показывать все сначала, подряд, объясняя, по каким именно соображениям организаторы разместили свои отделы именно так, а не этак, а товарищ его, понимая немного по-русски, будет все записывать. Четвертый австриец был представителем общества архитекторов. Его интересовали строительные материалы, употребляемые русскими, а также гнутая мебель. Ему сказали, что какой-то русский изобрел особую гнутую мебель и подарил ее Выставке,— вот ее надо обязательно посмотреть, поскольку Вена считается пионером в этой области. Немецкая чета интересовалась статистикой и железными дорогами, поскольку родители немки были крупные железнодорожные акционеры. Кроме того, они хотели познакомиться с известным скрипачом Альбрехтом. Наконец, шведка интересовалась русскими фребеличками и русскими детскими садами; голландец — оранжереей и отделом ботаники; а пожилая англичанка — археологией и раскопками в Херсонесе.

И бедный Федор Иванович, обрадованный встречей с живыми человеческими интересами, а не со стандартом, начертанным перед ним рыжим коллегой, с жаром взялся каждому показать, что его интересует, не сообразив, какой труд он на себя взваливает. Легче всего обошлось со старым, спокойным голландцем, несшим свое упитанное брюшко с мягкостью балерины и аппетитно попыхивавшим перед собой длинной сигарой. Чевкин сразу же свел его с доктором Андрью Мурреем, успевшим отлично изучить всю выставочную «флору» и, в свою очередь, заинтересованным выспросить кое-что у голландца относительно тюльпанов и садовых ландышей. Так был удовлетворен первый в группе. Трем австрийцам и немецкой чете он роздал все имевшиеся у него материалы по Выставке, статистические выкладки, печатные плакаты, огромный, выпущенный «Вестником», план выставочной

территории. Для австрийца-одиночки посидел весь вечер над переводом каталога Толоконникова на немецкий язык и в процессе перевода кое-где исправил неточности. Насчет скрипача Альбрехта дело было труднее. Альбрехт был нервен и капризен, его избаловали женщины. Пришлось побегать и похлопотать, чтоб получить доступ на генеральную репетицию концерта с его участием, правда, не личным, а только в оркестре. Чевкин и сам не подозревал, как ему посчастливилось с этим концертом: назначенный на 12-е, он был потом перенесен на 29-е июня, когда иностранцы его давно уже разъехались... а сейчас,— пожалуйте и Альбрехта! Для немецкой четы он своей рукой списал заманчивую программу: «Симфония № 5 c-moll» Бетховена — в исполнении оркестра императорских театров; ария «Чудный сон» из оперы «Руслан» Глинки — в исполнении Эйбоженко; Лист, концерт для фортепиано Es-dur — в исполнении г-жи Зограф и, наконец, «Камаринская» Глинки — лучше программы и не придумаешь. Он прихватил билетов с расчетом и на себя, и на Жоржа Феррари. Оставались фребелевские сады, архитектура и Херсонес. Он задумался, как с этим быть, но вышло нечто совершенно неожиданное.

Не успел он реально шагнуть по Выставке, пригласив с собой одну только шведку, как все другие тотчас же присоединились к ним. Даже голландец, успев перетолковать с английским ботаником-садоводом обо всем, что занимало их обоих, запыхавшись и обмахиваясь белоснежным платком тончайшего полотна, присоединился к ним в самую последнюю минуту. И даже австриец-одиночка, небрежно сунув в карман переведенные Чевкиным на немецкий страницы из Толоконникова, предпочел следовать по Выставке вместе со всею группой. Вот и получилось, что все они скопом, войдя в первый Кремлевский сад, направились к так называемому «Фребелевскому павильону», построенному архитектором Шульцем. Здесь, в этом павильоне, на небольшом сравнительно пространстве, их встретили, напряженно расположившись рядом, два резко расходящихся оттенка,— петербургский и московский.

Петербургский оттенок красноречиво сказался на вышедших им навстречу двух представительницах Санкт-Петербургского Фребелевского общества. Дело это,—

занятие с малышами самого ребячьего возраста, прежде чем идти им в школу, придуманное и впервые организованное иностранцем, было у нас совершенно ново и прививалось туго. Его подхватила прежде всего северная столица. Тоненькая и чахлая девушка с очень бледным лицом, в блузке и широком кожаном кушаке на эфемерной талии, подошла к ним и, слегка картавя, предложила посмотреть предметы, присланные на Выставку госпожами Задлер и Соколовой.

— Наш учитель, Фребель, исходит из оригинальной мысли,— начала она, очень естественно, по-петербургски, грассируя буквы «р» и «л», и вдруг подняла глаза. Чевкин, бездумно смотревший на нее, занятый своими заботами, почувствовал толчок в сердце, словно кто-то постучался к нему. У хилой, тоненькой петербуржанки была удивительная пара глаз. Подняв их, она нечаянно встретила равнодушный взгляд Чевкина,— и взгляд его словно нырнул в них зондом, словно окунулся в последнюю их глубину. «Какой красоты эти серые глаза»,— смущенно подумал он, отводя свои в сторону. А девушка продолжала: — Мысль эту, конечно, мы переделали по-своему, с учетом наших русских педагогических теорий. Развитие ребенка представляется родителям главным образом как обучение,— начал читать, писать, считать и т. д. О руках вспоминают, когда именно только держать ручку да учиться роялю, то есть уже как об орудиях познания. Но рука — это ведь что зубы у щеночка... И девушка вдруг улыбнулась, возле рта ее возникла премилая ямочка, все сразу поняли, особенно Чевкин, старательно переводивший ее речь на два языка,— что сейчас она заговорила от себя и совсем не по Фребелю.— Вы сами, наверное, знаете, сколько хлопот со щенком, когда он все в доме портит, сгрызает, разжевывает,— вашу туфлю, перчатку, книгу, газету, только б упала под стол, опытные люди говорят — у него «зубы чешутся». Для щенка зубы — это его щупальцы во внешний мир, он ими ест, он ими кусается, они его защита и его инструмент, и с самого раннего периода жизни этот инструмент нуждается в практике, тренировке, действии. Отсюда порча домашних вещей. Но может быть, у вас есть маленькие дети, господа? А если есть, я уверена, вы заметили, как эти маленькие человечки портят вещи. Только не зубами, а руками,— они ломают игрушки, рвут бумагу, пач-

кают обои. Их десять маленьких пальцев — все равно что зубы у щенка. Пальцы чешутся... Большая ошибка взрослых не начинать заниматься этими детскими руками с самого раннего возраста, а предоставлять их себе...

Иностранцы смотрели снисходительно,— все это было им знакомо, что привезли на Выставку госпожи Задлер и Соколова,— головоломки, строительные кубики, цветные разъемные пирамидки, комнатные игры в мячики, веревочки, каталки. И только шведка, обведя их взглядом, задала неожиданный вопрос: а где же у вас первые счетные палочки? Где начальная гимнастика?

Бледная девушка вспыхнула, но не успела ответить, как полная, пышно одетая дама из московского отделения павильона, следившая за всем ходом беседы, энергично произнесла:

— Пожалуйте к нам! Мы вам покажем!

Московский отдел в противоположность петербургскому презрел иностранное название «Фребелевские сады», «фребелички»,— да и почему «сады», если это в комнате? Московское движение возглавлялось не чиновницами, глядевшими на Запад, вроде Задлер, а исконными благотворительницами именитых купеческих родов,— особенно урожденной госпожой Мамонтовой. Она, Мамонтова, на собственный счет уже открыла немало таких уголков, куда с удовольствием приводят своих детей даже профессорские жены,— так внушительно поведала им москвичка:

— Называется у нас это учреждение «детинец». Не правда ли, как звучит тепло «детинец», «детинцы»?.. Мы хотим сохранить оттенок семьи, материнское начало. Мы пускаем родителей. Часто мамаши и даже папаши увлекаются наблюдать за детьми в наших детинцах — и переносят эти навыки, эти приемы домой, учат им своих нянь и бонн. Видите разницу?

Разницы особенной, честно говоря, не усматривалось, кроме большого изобилия интересных игрушек: лошадей, обтянутых кожей и даже пахнувших по-лошадиному, с настоящими конскими хвостами, с красными вырезными ноздрями и разборной сбруей,— ее можно было снимать и надевать, а лошадь впрягать в тележку и распрягать; а также целое семейство кукол с приданым, их тоже можно было раздевать и одевать.

— Детей у нас множество, отбоя нет. В наших детинцах действие мы проводим целесообразное, связанное с практикой жизни. Мы развиваем у малышей профессиональные инстинкты. Вот посмотрите на нашу Ниночку, она дочь врача,— Нина, подойди, дружок!

Откуда-то из-за ширмочки вышла разряженная, с кружевными панталончиками из-под юбки, пятилетняя девочка и без малейшего смущения подошла к иностранцам.

— Nina, montrez-nous votre pauvre malade [1],— по-французски обратилась к ней пышная дама.

Девочка, аккуратно выждав окончание ее слов, подошла к ней и положила ей на руки куклу, которую она до этого как-то механически прижимала к себе. Кукла была старательно забинтована. Одна из ручек ее была искусно подвязана к шее, как делают при переломах, а живот вздут от толстого ватного компресса.

— Вы видите здесь проявление врачебного инстинкта. В наших детинцах есть детская аптечка,— бинты, вата, трубочка для выслушивания, мятные лепешки, валерьянка. Всё это дети любят пускать в ход на куклах, они обожают лечить... Даже больше, чем возиться с игрушечными кухнями.

— А не съедят ли они все мятные лепешки сами?..— неожиданно, на дурном французском языке, произнесла немка.

Чевкин торопливо перевел ее по-своему: «благодарим вас за вашу любезность»; забыв, что дама сама знает французский, и, только встретив ее ледяной взгляд, он понял свою оплошность. На том и закончилось посещение «Фребелевского павильона». Чевкин сделал и еще одну оплошность: он забыл показать интересные пособия для слепых детей и коллекцию предметов для обучения глухонемых, купленную Солдатенковым и пожертвованную им Обществу глухонемых. Тут бы ему и сказать небольшую речь о широком содействии молодого русского капитала в области народного просвещения и о том, что все собранное на Выставке — коллекции, пособия, меблировка и прочее,— плод частной инициативы, частных пожертвований... Но ничего не сказал Чевкин, хотя и готовился к тому. Искусственным и даже оскорбительным

---

[1] Нина, покажите нам вашу бедную больную *(франц.)*

показался ему «детинец» Мамонтовой, рассчитанный на богатые семейства, каким, собственно, и детинцы-то не нужны, могут иметь их у себя дома. И кроме этих мыслей, помешали Чевкину серые глаза петербуржанки, прочно засевшие в его памяти.

Рассеянность Чевкина отразилась и на посещении архитектурного отдела, где австрийцу, заинтересованному в строительных материалах, пришлось во всем разбираться почти самому. Но разбираться было легко. Печать высокой интеллигентности лежала на всем этом большом отделе. Он был устроен не только очень грамотно, а и дидактично: вот посмотрите справа, чем мы, русские, еще в древности отличались в своем строительстве от того, как строили в то же самое время сербы, Византия, Восток, Запад. А наметав глаз на различиях, вы и сами разберетесь в сходствах и заимствованиях... Это не было написано над стендами. Но так отчетливо показано в рисунках и макетах, что приходило неизбежно в голову. Материалы и орудия строительства развертывались перед зрителем в их естественном виде; и также натурально или почти натурально — в тщательных макетах,— можно было проследить группы работ по дренажу, кладке фундамента, стен, потолка, перекрытий, окон, дверей и затворов, лестничных клеток, зонтов и решеток балкона; кладки кафельных печей, проводки водопровода и, наконец, вентиляции, дела нового на Руси. Тут же были образцы всех видов обмазки, обшивки, облицовки, окраски, гальванопластики, тоже очень большого новшества,— а дальше шло искусство драпировки, формы мебели, резьба, чеканка. Австриец шел мимо всего этого, как грамотный проходит мимо азбуки. Но очень внимательно пересмотрел и даже перещупал все сорта нашего войлока и пакли, вытянув легонькую струйку и помявши ее в пальцах; заглянул в вяжущие растворы и опять пальцем потрогал замазку. В этом отделе пахло глиной и сыростью, дамы тянулись в соседний, где нарядно смотрели со стен проекты, а на столах расставлены были картонные модели. Но австриец вместо того, чтобы идти дальше, вернулся к самому началу и, показав Чевкину на предметы и рисунки уличных тротуаров и мостовых, заговорил по-немецки. Он сказал: вот это уже старо́; улиц не будут больше мостить и «выкладывать», их будут «обливать», «покрывать», непременно оставляя по-

лоску земли. «Чтоб дышала земля»,— добавил он, улыбнувшись: «Es atme die Erde»,— тоном многозначительной заповеди.

Чевкин повел его одного в угол, где стояла гнутая мебель, изобретенная крестьянином Земсковым. Из ветвей клена и ясеня, простейшей формы,— тумбочки, стулья,— она не произвела на австрийца никакого впечатления, и он сказал Чевкину коротко: «Я ошибся, не поняв слова «гнутый». Наша мебель не гнутая, но плетеная, и сорт деревьев — другой».

Последним в программе был отдел археологический. Вчера, до изнеможения набегавшись и натрудившись с народными учителями, Федор Иванович не чувствовал никакой ни умственной, ни душевной усталости. Наоборот, он вернулся домой обогащенный, ему грустно было расставаться с ними. А тут, с этой группой, по всей видимости, очень образованных, знающих людей, приехавших в Россию ведь не просто так, а несомненно заинтересованных в Выставке,— он словно пудовые гири таскал на себе. Все отделы, обойденные с ними вместе, как бы вылиняли у него на глазах, потеряли свою значительность. Он угрюмо шагал в хвосте своей группы, разбиравшей по плану, куда нужно идти, и думал, что, может быть, рыжий коллега из Киева прав; может быть, обрушивать надо поток сведений, не слушая живых людей, и «классифицировать», как предложил он? Толстый голландец вдруг остановился. Вынул длинную сигару изо рта. Посмотрел направо, налево, поднял брови, нагнав морщины на лоб, и глаза его выразительно остановились на часах. Вон оно что,— обеденное время по-европейски, верней — второго завтрака. Так будь же по рыжему! Веду их в русскую кухню! И Чевкин круто повернулся к выходу.

Против знаменитой столовой стиля рюсс не запротестовал никто. Напротив, все сразу оживились и заулыбались Федору Ивановичу, обнаружив прилив неожиданной энергии. Чтоб попасть в трактир Лопашова, давно уже славившийся на всю Москву и пирогами, и блинами, и суточными щами, излюбленной едой московского купечества, нужно было пересечь всю Красную площадь и идти на Варварку, где расположился как бы второй центр Выставки. Разумеется, Лопашов, хитрейший и денежный мужик, не зазывал иностранцев именно в трак-

тир. Он знал приличия. По соседству с трактиром он построил к Выставке «оригинальную русскую столовую», с красивым деревянным плакатом, где славянской вязью начертаны были стихи Пушкина из «Руслана и Людмилы»; первые слова прятались под приспущенным флагом, но последние три виднелись отчетливо:

..ели предки наши...

ПУШКИН

В самой столовой потолок был расписан под дерево, стены в обоях, имитирующих старинную парчу, на середине комнаты возвышался железный столб,— только вот сказочный кот на цепи отсутствовал. Мебель была дубовая, тяжелая, с подушками малинового цвета. Скамьи, стулья с широко расставленными ножками, резные по фольге украшенья — по рисункам Чичагова; огромная печь, расписанная под кафель,— самолично Ф. И. Тороповым; драпировка окон ажурной фатой — по рисунку М. С. Поликарпова; бронзовые подсвечники и висевшая с потолка бронзовая люстра с сотней свечей — Соколова. Имена эти знала и уважала Москва; их Лопашов не преминул перечислить в длиннейшем, разрисованном под жар-птицу меню. Замечателен был и старинный поставец у стены, со стеклянной посудой «по идеям господина Корнилова, художника на фаянсе», и с посудой серебряной, специально заказанной у Овчинникова. Ножи, вилки — хоть не ешь ими, а просто любуйся: с фигурками русского мужичка и красной девицы в сарафане на рукоятках; и ложки по форме круглые, какими черпали в старину из общего котла. В углу, перед темным, в дорогих ризах, иконостасом мерцала настоящая лампадка,— Лопашов не тушил ее ни днем, ни ночью, поскольку она зажжена была не ради стиля. И вместо обычных салфеток висели вдоль стульев к услугам гостей богато расшитые рушники. Кто хотел выдержать вполне «русский фасон», мог даже пить из общего ковша, стоявшего посреди стола. Газетчики, первыми побывавшие у Лопашова и выходившие из столовой, основательно вытерев рушниками не только пальцы, но и вспотевшие лица, писали позднее, со смаком рассказав про убранство столовой, коротко и крепко: «прорух нет». Прорух, то есть выхода

из древнерусского стиля, действительно не было. Денег на то, чтобы выдержать тон во всей его полноте, Лопашов не пожалел.

Покуда иностранцы, в высшей степени довольные, рассаживались на скамьях вдоль дубового стола, а хозяин заботливо подкладывал под них малиновые подушки; покуда официанты, одетые «добрыми молодцами» в длинных фартуках, сафьяновых сапожках и сплошь кудрявых русых париках с неимоверными завитушечками, широко осклабливая рот в улыбках, вносили и вносили на подносах «чары» с медом,— Чевкин развернул перед гостями длинный свиток меню. Да, это был не Гошедуа... Что там Гошедуа, с его дырявой крышей над «рестораном»! В меню мастер-повар предлагал:

З а к у с к и: Балык, свежепросольная осетрина, провесная белорыбица, свежепросольные огурцы. Икра зернистая. Икра паюсная. Масло сливочное, редька, сыр.

Г о р я ч е е: Уха стерляжья с налимовыми печёнками.

П и р о г и: Расстегаи.

М я с н о е: Лопатки и подкрылья цыплят с гребешками и сладким мясом.

З е л е н ь: Цветная капуста с разными приправами.

Р ы б н о е: Разварные окуни с кореньями.

Ж а р е н о е: Поросенок с кашей. Мелкая дичь с салатом.

С л а д к о е г о р я ч е е: Рисовая каша с орехами.

Я г о д ы: Клубника со сливками.

С л а д к о е х о л о д н о е: Мороженое сливочное и ягодное.

П л о д ы: Персики, сливы, ананас, вишни, корольки. Кофе, чай.

Р у с с к о е у г о щ е н и е: Орехи волошские, калёные, кедровые, грецкие, миндаль, американские. Изюм и кишмичь. Пастила и мармелад. Пряники мятные.

— Боже мой! — только и мог сказать про себя Федор Иванович, дочитав длинный свиток и затрудняясь перевести некоторые блюда, незнакомые ему даже на родном языке. Голландец махнул на его старания рукой. Он уже

испробовал меду и вышел из положения, заказав кудрявому добру-молодцу всю программу разом.

Откушав по-русски и щедро расплатившись, гости и думать не захотели возвращаться на Выставку. Впрочем, было уже около семи и через час, даже раньше, должен был зазвонить колокольчик к выходу с территории Выставки. С полдороги они шли вместе, отказываясь от извозчиков, ехавших за ними гуськом вдоль тротуаров и надсаживавших глотки предложениями домчать махом, начав с полтинника и спустясь до гривны. Шли медленно и молча. И только один австриец, тот самый, что близок был к архитектуре, сказал на прощанье Федору Ивановичу фразу, содержавшую в себе новую для Чевкина мысль:

— Москва, Москва,— сказал австриец,— не слишком ли много старой, допетровой Руси на вашей Выставке, весьма странной в дни чествования Петра?

Оставшись один в своей уютной комнате и засветив большую керосиновую лампу, Чевкин устало развернул несколько английских газет. Надо было выполнить поручение Делля-Воса. А ему спать хотелось,— ух, как хотелось спать. Скулы выворачивало от зевоты. Он отозвался на стук Жоржа Феррари озабоченным, хотя совершенно сонным голосом: «Не могу, срочная ночная работа»,— а когда Жорж крикнул из-за дверей: «Очень важное дело!» — опять ответил: «Завтра, завтра...»

Но, начав читать мелкий шрифт на узких колонках «Daily News»[1], он увидел, что буквы стали лепиться перед глазами в какую-то сплошную кашу. Не помог и холодный компресс. Через минуту он почти спал,— и только успел скинуть ботинки, кое-как раздеться, потушить лампу...

5

Проснулся Федор Иванович с первыми петухами, быстро вскочил и еще до завтрака принялся за работу. «Первые петухи» не было словесным оборотом,— разве что петух был единственный на трех курочек, заведенных Варварой Спиридоновной. Раскрыв окно в

[1] «Daily News» — «Ежедневные новости» *(англ.)*.

сад на раннем июньском рассвете, можно было услышать, как он хлопает крыльями, вскочив на забор, и выводит свое протяжное деревенское кукареку. И увидеть можно было, как начинает сверкать роса при первых проблесках солнца в густой, разросшейся зелени сада... Шум большого города едва доходил сюда, словно где-то, далеко за домом, катилась большая река.

Чудесно было работать по утрам в доме Феррари. Особенно сейчас. Чевкин сам донельзя любопытствовал, что пишут англичане о Выставке. Внимательно пробегая газетный текст, он тут же, своими словами, переводил его содержание на бумагу. Но фразы, где автор как будто обобщал свои впечатления, или места, наверняка интересные русскому читателю, он давал целиком и ставил кавычки.

«Англичане,— подумалось ему сразу же при первых строках фельетона в «Daily News»,— куда бы ни сунулись на своем острове, дальше 100 миль от моря все равно не окажутся. Ясное дело — сразу почувствовали континентальный климат».

...Пыль, роковая сухость летних месяцев, пестрые ситцевые наряды женщин, голубые и коричневые цвета неизменно длиннополых мужских сюртуков... («Что правда, то правда,— почему-то мы шьем их длиннее, чем на Западе».)

...Отдел военного министерства на вершинах Кремлевского холма по отделке уступает товарищам-морякам... («Ну еще бы, морской державе да не заметить в первую голову! А ведь мы и правда потрудились над флотом».) Дальше шел вывод, и Чевкин переписал его полностью, ставя в кавычки: «Московская Выставка лучше Петербургской 1870 года».

Все это было чем-то вроде прелюдии к основному месту первого английского фельетона; а это основное место, переписанное им более тщательно, заставило Чевкина задуматься. Оно было описанием приезда царя и действий русской полиции.

...«Hôtel Dusaux», подъезд к Выставке — ослепительно. На тумбах по обе стороны Выставки горели плошки, весь Кремль освещен газом. Большая толпа собралась у Иверских ворот, зная, что царь проедет. Плотная масса совсем простого народа. Русская полиция обращалась к публике самых низших классов дру-

желюбно и даже шутливо, и была с ней, во всяком случае, менее груба, нежели, как мне приходилось наблюдать дома, наши полисмены относительно английской черни (rough). Смотр на плац-параде перед Большим театром, войска в летней форме, белые панталоны навыпуск — прекрасное впечатление. Царь в темно-зеленой форме с красным кантом, такой же фуражке с красным околышем, высокий, здоровый вид, шел твердой поступью. С ним принцесса Дагмара в очаровательном летнем костюме... Когда я припомнил давку на лестнице Выставки в Англии, особенно во время посещения особ королевского семейства, для меня было приятной диковинкой такое отсутствие тесноты».

Чевкин на минуту прекратил писать и задумался: «Как все на свете относительно! А мы завидуем английской демократической системе... «Rough» — что сказали бы газетчики наши, если б кто осмелился назвать наш народ «чернью»... Пушкин обзывал «чернью» придворных льстецов... Да! Мы продавали наших крепостных, обменивали девушек на охотничьих собак — еще десяток лет назад. Но понятие «народ» — каким важным, каким главным было оно в устах публицистов русских, даже самых монархических!..»

И он опять принялся за чтение английского текста; но тут его прервал стук в дверь, и сразу же вслед за стуком в комнату вошел Жорж Феррари:

— Минуточку...

— Мсье Жорж! Вот вам хваленая европейская демократия! — Чевкин, не давая ему заговорить, схватил со стола газетный лист.— Слушайте, что пишет «Daily News» седьмого июня!

Он прочитал вслух весь английский текст и торжествующе посмотрел на гостя. Жорж иронически улыбнулся:

— Кто-кто, а уж вы, Федор Иванович, должны бы знать, как достигается у нас это «отсутствие тесноты». Ведь за день до царева пришествия наша полиция процеживала в своем сите буквально каждого, кто ступит за версту по радиусу от Выставки. Она сермягу к сермяге подбирала... А что касается «народа», так ведь народ разный бывает, один «народ» у публицистов либеральных, другой «народ» у монархических... Вон в Харькове, в Одессе еврейские погромы прошли. Тоже «народ»

учинил. Тот самый, что у полиции улыбочку вызывает.

— Ну до чего вы все наизнанку выворачиваете! — в сердцах воскликнул Чевкин.— Я должен работу сдать... Будьте добры, не мешайте сейчас.

Жорж Феррари покорно прикрыл дверь. И только крикнул из-за двери, что у него важное дело и что за обедом обязательно нужно, просто необходимо переговорить. Оставшись в одиночестве, Чевкин почувствовал нечто вроде стыда. Опять Жорж спустил его с неба на грешную землю. Может быть, прав Жорж. Мысли его спутались, он стряхнул их и снова принялся за работу. Однако же в этот короткий перерыв что-то изменилось в его подходе к английскому тексту. Комплименты, комплименты,— он перестал их переписывать и остановился на коротенькой строчке, будто невзначай промелькнувшей между комплиментами: «Комиссариат вооружения имеет некоторые слабые стороны и вряд ли выдержит тягость продолжительной войны». Ну чем не шпионское донесение?

Со вздохом он отложил в сторону написанное и стал читать дальше: хвалят каталог, сделанный глубоко научным методом... а вот на практике: «Вещи сгруппированы в узкоспециальные отделы. Вы будете поражены, встретив улья, китоловные снаряды и голубятни в одной группе, пока не узнаете, что эта группа принадлежит к отделу «промысловых «животных». Неизвестно, всерьез или с иронией писано. А вот это уж, конечно, всерьез — и до чего, надо признаться, всерьез! — Он выписал цитату полностью, а несколько слов даже подчеркнул от себя, привлекая к ним внимание Делля-Воса:

«Русские ботаники относятся к Англии с большим уважением. Содействие наших земляков в ботаническом отделе занимает видное место. Английские имена часто встречаются на экспонатах... Но что меня поразило больше всего, так это громадное, просто чрезмерное минеральное богатство России... Как жалко, что Россия должна путаться с покровительственными тарифами, возвышающими цены на иностранные горнозаводские машины...»

Опять стук. Вошла Варвара Спиридоновна с подносом в руках. Путая поговорку, она пролепетала что-то о Магомете, который сам не идет, значит — мы к нему.

Он аккуратно поправил ее, принял поднос, но когда она вышла, не стал завтракать, а снова погрузился в работу.

Если фельетон в «Daily News» он сделал поспешно, не столько переводя, сколько излагая смысл, то сейчас ему пришлось записывать почти каждое слово, таким интересным показалось ему содержание статьи в «Daily Telegraph» [1].

«От Москвы до Петербурга 400 километров, переезд занимает 16 часов в комфортабельном вагоне. Но обе столицы расходятся между собою, как столицы враждебных государств, разделенных тысячами миль. Петербург — это Западная Европа, Москва — это Восточная. Петербург слегка ориентализированная копия Берлина. Москва — это узкие, извилистые, дурно вымощенные улицы, прихотливая смесь низких, приплющенных деревянных домов рядом с величественными каменными дворцами. Частные сады, старинные церкви с колокольнями, напоминающими английские колокольни, ярко-зеленые крыши. Разница между московскими и петербургскими жителями огромна».

Чевкин остановился, чтоб передохнуть. Он пылал негодованием за Петербург — ничего в архитектуре не смыслят! Идиоты! Берлин... Это Петербург-то похож на берлинскую казарму! Передохнув, он положил в рот ломтик поджаренного хлебца и снова стал переводить:

«У петербургского жителя мысли обращены к Западу, он интересуется придворными делами и переменой в администрации. В салонах говорят об иностранной политике, новинках французской, немецкой, английской литературы, событиях в министерствах. К социальным и экономическим переворотам, происходящим в настоящее время внутри страны, интерес крайне слаб. В Москве «тон совершенно другой». Большая часть высшего общества — преимущественно земледельцы, оставившие службу офицеры, чиновники и государственные деятели, по разным причинам вышедшие в отставку. Состоящих в действительной военной и гражданской службе весьма немного. Едва наступает весна, цивилизованные москвичи вместо того, чтоб, подобно братьям-петербуржцам, спешить в немецкие Спа или на итальянские озера, удаляются в свои именья внутрь страны для отдыха или

---

[1] «Daily Telegraph» — «Ежедневный телеграф» *(англ.)*.

хозяйничания и сберегают деньги на издержки зимнего сезона в городе. Они отзываются с некоторой горечью о Петербурге и о ненормальном перевесе в русской администрации германского элемента. Они мечтают о времени, когда правительство будет чисто русское и Москва — столицей государства... А пока москвичи делают всевозможные усилия, чтоб увеличить значение своей столицы. Новейшим результатом таких усилий является Политехническая Выставка, пример здорового соперничества внутри двух партий. Два года назад Петербург устроил национальную Выставку и потерпел убытку 38 тысяч фунтов стерлингов (300 тысяч рублей). Москвичи, затронутые за живое, устроили свою, но гораздо более продуманную. Богатые купцы и землевладельцы пожертвовали большие деньги, быстро организовался Комитет, вопрос обсуждался долго и старательно, и, наконец, из столкновения мнений выросла идея устроить временный политехнический музей, который должен содержать не продукты обрабатывающей индустрии, но различные машины и методы, с помощью которых эти продукты получаются. Комитетом руководила надежда — распространить в народе технические знания и доставить случай промышленникам усвоить новейшие усовершенствования в механизмах. Было решено связать предприятие с именем цивилизатора России,— двухсотлетием со дня рождения царя Петра...»

Положив ручку на стол и посыпав песком написанное, Чевкин откинулся на спинку кресла.

Так ясно, так все удивительно ясно,— со стороны. Словно по полочкам разложено. И так все — нельзя сказать, что неверно. А как бы сеткой наложено на живое. Математика, статистика это делает с фактами,— и ничего не объясняет. Не умеет объяснить живое. Он представил себе Петербург и Москву друг против друга, как мужское и женственное начала русской культуры, как силы организующие и стихийные... Нет, и это лишь схема,— схема нашего недальновидного, интеллигентского мозга. Сдунув песочек с высохшей страницы, Федор Иванович перечел написанное и посмотрел, что там дальше.

Дальше шло поверхностное и, видимо, незаинтересованное описание все тех же, оскомину набивших предметов на Выставке, которые примелькались и в русских газетах. Только вот критика: «От входа до Севастополь-

ского отдела почти целиком английская миля. Мучительное утомление для посещающих Выставку. Есть кресла на колесах, передвигаемые парнями в красных сорочках, бархатных казакинах без рукавов и высоких сапогах. Но мужчины, а особенно британцы чувствуют антипатию, чтоб их катали, как детей или паралпчных. Тысяча, тысяча двести человек, рассыпанных по такому пространству почти незаметны. Уверяют, будто публика не заинтересована в образовании, а только в развлечении, и скучает. Кроме того, очень мало экспликаторов...»

— Эх вы, британцы! Написал бы, что человеческое чувство возмущается ездить на людях. А то — дети, парализованные... Но ведь ездят они на рикшах, да еще стеком погоняют...

Федор Иванович сам не заметил, как из сочувствия, с каким он принялся читать английские газеты, у него вырос странный протест чуть ли не против каждой английской строки. Были вещи, написанные с голоса русских,— кто наговорил им? Статьи в журналах, где Выставка так жестого высмеивалась? Барышни, с которыми они знакомились у Гошедуа, в Народном театре, в павильоне археологии? Он представил себе одного из английских корреспондентов, лично ему знакомого,— красивого, добродушного блондина с неуходящей улыбкой на губах,— и острыми, неулыбающимися, цвета морской воды глазами, сказавшего ему мимоходом: «Кремль гонит Выставку прочь от своих стен...»

Оставалось переписать письмо немцев, «представителей Комитета по участию Германии в Московской Политехнической Выставке». Но это — на пять минут, не больше. Господа Ф. Вальц, Фердинанд Рейхенгейм, У. А. Гильке, А. Мейстер писали: «Мы не можем не высказать наших чувств высокого уважения к тем представителям науки и просвещения в России, которые своей неутомимой деятельностью и энергией, в такое короткое время, сумели организовать столь богатую и разнообразную Выставку, отличающуюся от всех прежних, виденных нами, своим строго научным характером, показывающим тесную и неразрывную связь между научными принципами и практикой жизни...»

Когда, отнеся свою работу в канцелярию Комитета, Чевкин вернулся домой, время было обеденное, и семейство Феррари собралось в столовой. Так и не успев тол-

ком позавтракать, Федор Иванович с охотой побежал обедать. Глядя, как быстро придвигает он стул к столу и по привычке, усвоенной с детства, затыкает за ворот рубашки салфетку, Варвара Спиридоновна заметила мадам Феррари:

— Они нынче к завтраку и не коснулись, стоит у них весь нетронутый.

— Где же это вы вчера так накушались, позвольте вас спросить? — поинтересовался Жорж.

Ртом, набитым клецками, Федор Иванович еле ответил «у Лопашова», продолжая с аппетитом поглощать суп. Между ним и Жоржем установились своеобразные отношения,— Жорж всегда чуточку подтрунивал над ним, Федор Иванович всегда отвечал с полной серьезностью.

— Ай, яй, яй! — укоризненно продолжал Жорж.— И ваша русская совесть вас не мучает? Поглощать пищу у Лопашова, в то время как... Варвара Спиридоновна, разве вы не сообщили ему последнюю космическую новость? Да ну же! Неужели не знаете? А недород-то, голод-то в Персии? Погибла не какая-нибудь тысяча,— около трех миллионов людей погибло в Персии от голода. В середине объедающегося человечества. Рядом с лопашовскими трактирами!

— Зачем же вы у молодого человека аппетит отбиваете?

Чевкин действительно перестал есть. Он ничего не знал о голоде в Персии и ужаснулся трем миллионам. Ему представились пустынные дороги, пустые деревни, усыпанные трупами, руки, хватающие мертвую землю, сухие лица, раздутые колени,— три миллиона! Нельзя вообразить себе три миллиона умирающими на своих постелях, в домах. Аппетит у него совершенно пропал.

Достали французскую газету, не так давно описывавшую голод в своей собственной стране. Прочитали вслух телеграммы. Кухарка тем временем внесла на противне жаркое, вкусно обложенное картошками и яблоками. Они еще шипели, и румяная корка на мясе чуть подрагивала.

— Совсем как у Лопашова,— опять подтрунил Жорж. Но на этот раз он сам себя оборвал и перевел разговор на другие темы. Обед как-то невесело подходил к концу. С трудом оторвав воображение от картины умирающих с голоду, Чевкин поделился с Жоржем своим впечатле-

нием от английских газет и отзыва немцев. Тот ответил только одной фразой, и опять эта фраза была неожиданна для Чевкина и по-новому осветила и немцев, и англичан. Надо все время помнить, сказал Жорж, что одни — это будущие противники в войне с русскими, они и высматривают готовность России к войне, а другие — это будущие союзники и видят то, что им хочется видеть, а еще верней — свои абстрактные категории.

— Немцы иначе, как абстрактно, ничего не понимают,— добавил он, вставая со стола и поцеловав руку у матери.— Пойдемте пить кофе в мою комнату, там у меня гостья сидит, и будет у нас очень серьезный разговор.

С кофейными чашечками в руках они прошли в комнату Жоржа. Варвара Спиридоновна внесла вслед за ними тарелки со сладостями и третью чашку кофе.

В кабинете молодого Феррари, углубившись в книгу, сидела невысокая полная девушка с румяным лицом, почти безбровым, и эта безбровость еще больше оттенялась гладко-прегладко заглаженными, почти прилизанными на лоб, стрижеными русыми волосами. Чевкин ее знал, верней — часто встречался с ней во дворе. Это была Липочка, дочь священника Успенской церкви, бок о бок с которой стоял дом Феррари. Они поздоровались, и девушка, улыбнувшись и отложив книгу, без тени смущения принялась за кофе и сладости.

— Можешь ему как на духу выложить всю историю,— на «ты» обратился к ней Жорж.— Он человек сердечный, отзывчивый, русский, хотя русского в нем меньше, чем во мне, полубельгийце: долго шатался по заграницам и, по-моему, совсем не представляет себе теперешней России.

— Неправда! — негромко сказал Федор Иванович.

— А если представляет, то по belles lettres [1], по Тургеневу, по всяким романам и даже, может, о синих чулках знает сквозь дымку литературного воображения. Не обижайтесь, Федор Иванович, что я о вас в третьем лице. Но как вы, например, эту девушку понимаете? Сейчас она не для виду, а чтоб не терять время на ожидание, читала вот этот толстенный кирпич. Угадайте, что? «История умственного развития Европы» Дрэпера. Уве-

[1] Belles lettres — беллетристика, художественная литература *(франц.)*.

рен, что выпросишь ее у меня на дом, верно я говорю? Да не волнуйся, дам! Для чего это ей нужно, Федор Иванович? — опять перешел он на третье лицо.— Для выработки собственного мировоззрения. Вот что замечательно! Выросли люди, сотни тысяч, новое поколение русских людей, вылупились из яиц, и первое, что им нужно,— дойти до собственного мировоззрения.

— Ничего ты не понимаешь, Жорж,— спокойно, грудным голосом произнесла Липочка.— Мировоззрение у всех у нас есть. Попросту интересно узнать, как развивалась мысль человеческая. Такие книги много интересней романов.

— Не мешай мне объяснить ему суть теперешней России. Мировоззрение, говоришь, есть. Правильно, есть,— вот их евангелие!

Жорж выхватил с полки небольшой томик, раскрыл его и прочитал: «Каждое удобство жизни, каким я пользуюсь, каждая мысль, которую я имею досуг приобрести или выработать, куплена кровью, страданиями или трудом миллионов. Прошедшее я исправить не могу... Зло надо зажить. Я сниму с себя ответственность за кровавую цену своего развития, если употреблю это самое развитие на то, чтобы уменьшить зло в настоящем и будущем!..»

Липочка встала. Румяное лицо ее побледнело.

— Не шути с этим, это свято,— произнесла она таким глубоким, таким сильным голосом, что Чевкин почувствовал, как холодок прошел по спине его.

Но Жорж тоже вдруг изменился, словно нечто серьезное, из огромной глубины, холодом повеяло в комнате:

— Я не шучу. Гегелевская диалектика. Человечество мстит за попрание человечества из себя самого. Отцы копили, лезли на чужие горбы,— дети мстят от имени этих горбов, они хотят искупления. До чего это русское. Мы на Западе, в наших рабочих союзах, совсем по-другому подходим к революции.

— Что вы сейчас читали? — спросил Чевкин.

— «Исторические письма» Лаврова, евангелие теперешней молодежи русской.— Он утих, спрятал книгу на полку, сел и продолжал уже совершенно спокойно: — Чтоб отдать долг народу, надо знаниями обладать, учиться, а учиться женщинам родители не дают, сре-

да не дает, вот они и выдумывают разные способы.

Липочка так и не села. Она быстро, почти не веря в успех, приступила к «истории», а эта история ошеломила бедного Федора Ивановича, свалилась на него, как снег на голову: ее подруга, из Подмосковья, хочет ехать медицине учиться в Швейцарию, а родители бьют ее и запирают, чтоб дурь вышибить из головы. Нужно ей экстренно выйти замуж,— тогда, как замужней, ничто ей не помешает уехать учиться. Фиктивный брак, как сейчас очень часто делается среди молодежи. Мог бы господин Чевкин обвенчаться с ней?.. Товарищи все приготовят, все оплатят, мы собрали денег. Отец мой соглашается обвенчать...

Она кончила совсем потухшим голосом. Вид Федора Ивановича, не то чтобы ошеломленный, а прямо парализованный, сказал ей лучше всякого ответа, что согласие невозможно.

Однако она ошиблась. Федор Иванович был потрясен. Но потрясен не только неожиданностью предложения. В этом разговоре все ему было ново, все как-то захватило и закрутило его в сложном вихре, и поверх этого вихря вставали слова, прочитанные Жоржем из Лаврова,— слова об искуплении. До сих пор он успел повидать и полюбить лишь горсточку простой русской молодежи из крестьян,— своих народных учителей на Выставке. Ему было дорого, что они рвались к знанию, и больно, что он не может дать им больше, чем простую помощь гида. Но сейчас речь зашла о другой молодежи и других трудностях, стоящих перед ней. И они хотели заплатить свой долг народу. Учиться, чтобы пойти к народу не с пустыми руками, пойти оплачивать... Да ведь и сам он должник. И разве ему не надо оплачивать?.. Серые глаза, удивительной красоты глаза вдруг так явственно всплыли перед его памятью, так зримо,— и он на миг как бы опять погрузился в глубину их,— серые глаза,— а если встретит, полюбит,— единственную,— и окажется связанным, и брак с ней станет невозможным? Он медленно встал с места.

Жорж глядел на него задумчиво. Липочка совсем не глядела на него и собиралась бежать из комнаты.

Федор Иванович сказал:

— Дайте мне время подумать. Так сразу нельзя. Я подумаю.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ ЕДЕТ НА ВЫСТАВКУ

1

«Баронесса Розен была известна в петербургских кругах своей крайней благочестивостью, и не какой-нибудь, а именно православной. То ли на светском приеме, то ли в министерском кабинете, но сообщение, сделанное ею министру народного просвещения и вынутый из скромной монашеской сумочки объект, переданный ею министру, все было значительно и как бы подчеркнуто сжатием сухих и тонких губ баронессы, втянутых внутрь. И значительность сообщения тотчас заразила министра. Частным образом он узнает то, что должна бы официально знать московская полиция! Уж не на официальной бумаге, а на той самой дамской, заграничной, малого формата, что хранилась у него в кабинете на всякий случай, набросал он, волнуясь, витиевато-кокетливым почерком:

> *«Переслать г. м. Слезкину.*
>
> *Вот фотография, продающаяся на Московской выставке, с изображением пьяных священника и дьякона (этот валяется на полу) во время крестного хода. Мне привезли ее из Москвы с игумен. Митрофанией (бар. Розен).*
>
> *Весь твой*
> *Д. Толстой*
>
> *16 июня 1872 года».*

Обер-полицмейстер города Москвы, генерал-майор Слезкин безошибочно учуял и крайнее возбужденье, двигавшее гусиным пером министра, и скрытое, но прорывающееся административное ликованье в словах «весь твой»,— вот вы там шляпы, а я издалека... орлиным взглядом... И так далее. Знал он также, что, если в дело вмешалась благочестивейшая баронесса Розен, это неминуемо докатится до государя, и тогда не оберешься всяких неприятностей. Надо было действовать и действовать энергично. Вызванный им тут же офицерский чин был подвергнут вежливому распеку. Офицерский чин, выйдя от него, учинил грозный разнос нижестоящим.

В жандармское управление полетела официальная бумага, и к ней была приложена та самая фотография пьяных духовных лиц, какую министр приложил к своему письму.

Дело двинулось законным чередом и продвигалось две недели, в течение которых его жарко обсуждали в Москве и Петербурге. В московской полиции комментарии сводились к тревожному симптому вредного распространения фотографии: бог весть что в щелку подсмотрят и щелкнут,— ведь не трудно и щелкнуть, потому что пьют, канальи, ничего не скажешь,— пьют. Но петербургскому департаменту, глядевшему в корень, дело казалось глубже: неизвестные недоброжелатели вполне могли, для компрометации власти, разыграть пьяную сценку в маскарадных рясах и щелкнуть ее.

Однако жандармское управление на третью неделю доискалось истины, главным образом с помощью выставочного комитета, и тогда 30 июня 1872 года наступило торжество генерал-майора Слезкина. Не на почтовой бумаге, а на самой официальной он ответил дружку своему, графу Дмитрию Андреевичу Толстому, что на Политехнической выставке оная не продавалась и «продаваться не может, так как экспонаты каждого отдела выставки, представляя свои произведения, строго следят за тем, чтобы в числе этих произведений не было чего-либо компрометирующего их отдел. По собранным же сведениям, означенная фотография есть снимок с картины художника Перова и продается совершенно негласно в некоторых магазинах, ведущих торговлю картинами и эстампами».

Случай, довольно частый в практике министерства народного просвещения, прошел бы обычные инстанции, а пройдя — прошит в дело, если б не язык человеческий, подвешенный, по мнению Дмитрия Толстого, неблагонамеренным людям во вред отечеству. Язык этот вывел случай с Перовым из тайн канцелярий на площади, в частные дома и в редакции. А так как прославленная группа русских художников именно в целях просвещения масс начала передвигать свои картины по многим русским городам и почти не было печатного органа, не откликавшегося на их выставки, а в самом Петербурге гремело о них и прославляло их отеческое перо самого Стасова и чуть ли не каждый гимназист в стране знал

картину Перова,— случай с министром просвещения был встречен неудержимым хохотом.

Хохотали барышни и кавалеры на Невском. Хохотали в редакциях газет и журналов. Хохотали в выставочном комитете. Хохотали в Калуге, Тамбове, Рязани, Казани; хохотали, пряча лица в тетрадки, педагоги в учительских комнатах. И только художники, как говорят, не хохотали, а негодовали. Одни изъяснялись неуважительно по адресу министерства, руководящего просвещением страны и совершенно не знающего того, что знает каждый гимназист; другие осуждали невежество, не умеющее отличить фотографию с картины от фотографии с натуры; третьи находили, что тут скрыт удар против прогрессивного направления их группы и дана пища для торжества консервативного в искусстве,— безыдейной и бесформенной западной мазни на абстрактные мистические темы, мазни, находящей постоянную поддержку свыше.

Как раз в разгар этой истории попал наконец в Казань вырвавшийся из симбирской своей суеты Илья Николаевич. Он выехал из Симбирска в необычайный даже для Волги зной. Пароход дышал тяжело, словно воду ковшом выгребал. Солнце пекло беспощадно, ни тени, ни облачка, чтоб спрятаться от него, а в кают-компании духота сжимала горло. Пассажиры мочили в воде полотенце, обматывались им, утирали пот,— и оно сразу теплело в руках, да и вода была теплая.

— Мочи моей нет,— стонал какой-то купчик, без конца прикладываясь к теплому квасу и тут же его сплевывая,— глаза слепнут.

И в самом деле, то ли от испарений, то ли от преломления лучей солнца, над Волгой стояло марево, сизая муть какая-то, словно люди смотрели сквозь запотелые стекла.

— Если такая температура в начале июля, что же будет в разгар лета? — недоумевал помещик в чесуче и соломенной шляпе, обращаясь к публике на корме.

— Сгорит, все сгорит,— дочиста сгорит,— вздыхали на нижней палубе.

Бывают такие минуты, когда человек, по горло увлеченный своей работой, вдруг, оторвавшись от нее, оглядывается, словно впервые в чужую страну попал. Все вокруг, самый пустой разговор, пустейшее обстоятель-

ство какое-нибудь, интересует и останавливает его, словно строчка, набранная курсивом. Садясь на пароход, Ульянов думал, что заляжет до Казани спать и отоспится за все последние бессонные ночи. Но сна не было ни в одном глазу. Какое-то подъемное, по-детски беспричинно-радостное состояние охватило его, и он бегал с кормы в каюту, с верхней на нижнюю палубу, обмахиваясь посеревшим от пыли платком, вытирая бисеринки пота со щек, с лысинки, поблескивая добрыми карими глазами,— и ко всему прислушивался, на все смотрел как бы внове,— и это оказывалось для него лучшим отдыхом, нежели сон. Илья Николаевич словно из воды вылез,— из воды своих слитных, непрерывных дел, не дававших ни задуматься о чем-нибудь другом, ни увидеть другое что-либо; а сейчас, выйдя на бережок, отряхивался от брызг, обсушался, начинал глядеть на окружающее.

Впервые, услыша фразу на нижней палубе, задумался об этой неслыханной жаре,— возможной засухе,— и тогда опять бедствие неурожая, голод. В разъездах его по Курмышским болотам и лесным дебрям об этом разговору еще не велось. Впервые,— а может, успел за недосугом позабыть,— с необычайной остротой воспринял он и спор в кают-компании о многолетнем «истоминском» деле. Начался он с того, что сонный купчик помянул воров,— мол, в этакую жарищу любой вор стянет у него из-под носа, что хочет, а он не то, чтобы не заметит,— сил у него не хватит заметить и шелохнуться. Кто-то подхватил: смотря какой вор, иной и сам сейчас не шелохнется... «Вот заграничные гастролеры,— вступил третий в беседу,— феноменальные воры, фокусники! В Париже один раз...» — «Э, нет,— внезапно оживился купчик,— против русского жулика иностранный из пеленок не вышел!» — И, сплюнув на пол теплый квас, оживший патриот русского жульничества припомнил Истомина. И тут речь зашла о знаменитом на всю Россию, названном по имени главного виновника, «истоминском процессе», тянувшемся чуть ли не все эти годы после падения крепостного права. Вся скрытая ирония этого процесса,— инфернальная ирония, как выразился бы мистик,— осталась почему-то за пределами большого искусства, а ведь могла бы оплодотворить его не хуже ревизских сказок, где умершие числились в живых до новой ревизии,— что не ускользнуло от зорких глаз Пушкина и Гоголя. Тут тоже

была своя закавыка, основанная на несовпадении движения времени в двух больших системах: в человеческой жизни и в государственной бюрократии. Тотчас же после своего освобожденья дворовый крестьянин сделался — как бы это сказать? — в своем роде незаконно пребывающим на земле, то есть встал перед необходимостью бумажного самоопределенья. И раньше, до этого, ремесленнику, определяясь в городе, нужно было приписаться к цеховому обществу. А сейчас масса освобожденного народу хлынула приписываться. Но не такой это легкий фокус — «приписаться». Необъятных усилий великой литературы русской, целой эпохи могучей деятельности ее, напряженья российских государственных умов, не говоря уж о царском рескрипте, рождавшемся примерно так долго, как в сказке кладет свое яйцо мифическая птица Рокк,— потребовалось для того, чтоб освободить крестьян из рабства. Но вот рабство пало. И оказывается — время опять потребовалось и еще кое-что, кроме времени,— чтоб многих и многих из «освободившихся» прикрепить к положению в государстве, то есть оформить бумажной магией в праве их трудиться руками своими, а иначе говоря — дать им право на «состояние». Состояние в таком-то цеху, в таком-то сословии... А не состоя нигде, не окажется ли освобожденный, как бы чересчур уж, хлопотно и противозаконно даже, самостоятельным перед лицом начальства?

Приписываться к цеховому обществу в Москве было, конечно, куда труднее, чем в губернских городах меньшего масштаба. В начале пятидесятых годов в Московскую цеховую управу поступил повытчиком четырех самых больших цехов некто Истомин, человек сам по себе мелкий, но сообразительный. Он стал хозяином множества пустых бланков и приемных свидетельств и начал оглядываться. Времена были необыкновенные, умному человеку так и слышалось в полете их «не зевай!». Тысячи дворовых крестьян, получив «увольнительные акты из крепостного состояния», должны были приписаться к другим состояньям, к городскому мещанству. И хотя к московскому мещанству приписываться было труднее и стоило дороже, эти тысячи ринулись в Москву, как на главную арену их отхожего промысла в прежнем крепостном состоянии.

Истомин сидел в собственной канцелярии, возглавляя

не только своих писарей. Путь от человека к человеку короче беспроволочного телеграфа, когда надо пустить нужный делу слушок,— и к его писарям прибавились управские писаря, управские сторожа и даже деревенские старосты. В эпоху, когда бумаги двигались неделями из комнаты в комнату, слух пошел о добром повытчике, который не задержит и секунды. Только входи. И пошли народы к Истомину, а он даже кланяться в ноги не позволял. Все по закону. Приписка к московскому мещанскому цеху стоила 25 рублей,— и он вежливо требовал эти 25 рублей, ни копейки больше. Если наученный житейским опытом мужик пытался подложить ему под бумагу полтинник или четвертак, бледное лицо Истомина вспыхивало, брови поднимались, орлиный взор загорался гневом и весь он походил на того самого удивительного чиновника, которого фотографы снимали во весь рост, с перстом правой руки, лежавшим на раскрытой странице, где большими буквами было начертано «Честность». Начальство, в глубине души поражаясь, нахвалиться не могло Истоминым. Мужики смотрели на него, как на заступника-милостивца. Деньги от приписки текли в казну и законно оформлялись казначеями, и царская казна тоже была довольна. Поговаривали, что потрясающий случай такой честности не должен остаться без награды, как пример прочим российским чиновникам...

Но тут заметили, что управские писаря, сторожа и прочий мелкий люд, ходатаями слывшие у мужиков, кутят совсем не по средствам в дорогой ресторации Воронина, славившейся своими непревзойденными блинами. Перевели взгляд на Истомина и увидели, что повытчик, гордо отказывавшийся от мзды, завел коляску и купил дачу. Грянула ревизия — и не нашли ну ничего, положительно ничего, ни булавки, ни даже булавочной головки,— все белым-бело, как девственный снег, было в бумагах: за каждую приписку деньги поступали полностью в царскую казну.

— Здесь нужен был сыщик заграничного покроя! — восхищался купчик, покуда его слушали на разные голоса, возобновляя в памяти эту историю, добавляли к ней от себя живописные детали.— Наши, кого ни посылали, становились в тупик. Тайна, да и только. Подобно библии: тайна сия велика есть... или как оно там? И ведь годы,— годы не могли разобраться!

Истина открылась сразу, и тут вдруг все стало ясно, как дважды два — четыре, в своей воистину гениальной простоте: да, царская казна получила сполна за приписавшихся к мещанству тысячу с лишним человек. Но цехи московской управы переполнились приписавшимися,— их оказалось свыше семи тысяч... Пять тысяч человек получили за ту же законную плату в 25 рублей — фальшивую приписку. Собственно, внешне это был такой же бланк, заполненный тем же Истоминым, но только не внесенный в бумагу. И как начали разбираться, чуть голову не потеряли на этом деле, ну совсем как Чичиков над мертвецами Собакевича,— «но позвольте, он же в некотором роде не существующий...» — «А чего стоят живые?» Пока разбирались в несчастных мнимо приписанных пяти тысячах, Истомин и бежать успел, и выловлен был, и в тюрьму посажен, и опять уже выдан на поруки...

С купчиком в кают-компании сидело много народу и по мере рассказа набилось еще больше. Возле Ильи Николаевича сидел знакомый ему учитель, слывший у себя в уезде философом. Он был из духовного звания, по фамилии Назаретский. Пока публика, слушая, заливалась хохотом, он сказал Ульянову:

— Типичный пример, когда жизнь в государстве опережает свою государственную бюрократию. Прежде чем крестьян освободить, надо было пересмотреть наши чиновничьи порядки, создать нумерацию на бланках, контроль над ними, вообще реформировать управление, подготовить его к новым житейским фактам.

Илья Николаевич задумался тогда над этой фразой,— «жизнь опережает бюрократию»,— мысль была правильная. И в своем деле, в деле инспекции народных школ, разве не встретил он то же самое? Инспектировать случалось пустое место, а деятельность инспектора переходила в строительство, в созидание на пустом месте!

Как ни странно было такое совпаденье, но с этою же примерно мыслью встретился он и в поезде, когда, покончив со всеми делами и получив на руки деньги и бумаги, сел в Нижнем Новгороде в делегатский вагон, где полно было едущих на Выставку. Вагон был второго класса, с мягкими, обитыми бархатом лавками, но не «купированный», как сказали бы сейчас, а скорей схожий с нарядным общежитием. Кондуктор, сидя на корточках

в тамбуре, раздувал самовар, едущие вынули и разложили по столикам провизию. Илья Николаевич, давно прикончивший взятое из дому, с удовольствием принял предложение своего земляка по Симбирску, преподавателя военной гимназии, Алексея Прокофьевича Покровского, с которым только сейчас познакомился в вагоне,— и перешел за переборку в соседнее отделение, где на койках уже сидели, притеснясь друг к другу, инспекторы и учителя Казанского округа, тоже командированные на Выставку в одно с ним время,— на июль. Здесь он впервые услышал и смехотворную историю с Перовым, рассказанную, впрочем, без хохота: почти все пассажиры везли в бумажниках командировки, выданные министерством, и щедро отпущенные на командировку министерские деньги.

Только один молодой уездный учитель, с большим открытым лицом, опушенным чуть ли не по самые брови кудрявой русой бородкой, с близорукими серо-голубыми глазами и в пенсне, которое он большей частью снимал и ленточкой закреплял на пуговицу своей, крестиками расшитой, малороссийской рубашки,— только он один и повторил на свой лад, сильно упирая на букву «о», запомнившуюся Илье Николаевичу фразу философа Назаретского:

— Случай с картиной Перова, на мой взгляд, типичный. Не то вовсе поражает в нем, что невежественны стоящие во главе русского просвещения, а именно факт, как выросло русское общество в своем просвещении, в самом широком смысле этого слова. Я был мальчиком на побегушках у помещика; после раскрепощенья удалось мне, с помощью добрых людей, получить образование, стать учителем. Диплома университетского не имею, но хорошо знаю картину Перова, знаю и других наших художников, люблю музыку, разбираюсь в ней, сам играю на гармонии. Читаю каждую свободную минуту. А самое высокое начальство надо мной и над моими уездными и губернскими начальниками, граф Дмитрий Толстой, министр просвещения, не знал, оказывается, Перова и, наверное, не читал тех книг, какие у меня на полке стоят. Ну как же он может управлять просвещением народа, за что, за какие заслуги занимает этот пост? Может ли рядовой учитель, как я, уважать такого начальника? А без уважения к власти, знаете ли...

— Тише, тише,— остерегли вокруг.

— Без уважения к власти недалеко и пошатнуться ей...— продолжал он, не обращая никакого внимания на остереженья: — Я понимаю так: диспропорция установилась и расти стала. Диспропорция между просвещением общества и просвещением правителей,— общество вежественно, правительство невежественно.

— Да вы агитатор,— сказал, обращая все в шутку, Покровский.— Чай несут, давайте, господа, ваши кружки.

Кондуктор, пыхтя и раздувая пышные кавалерийские усы, внес огромный самовар и установил его прямо на полу, не доверяя откидному столику.

— Возьмите курочку,— жена сама жарила,— угощал Покровский Илью Николаевича.

Достали дорожные баульчики и сак-вояжи, как говорили тогда. Появилась на бумажках и на фаянсовых тарелочках всевозможная снедь, запахло крепким заварным чаем, зазвякали о стаканы и кружки серебряные ложечки, помешивавшие сахар, и захрустел сахар в зубах у тех, кто пил чай вприкуску.

Налил себе чаю и учитель, обросший русой бородкой. Его звали Новиков, Семен Иванович, и был он чистейшим волжанином, родом из Саратова.

— Вот, к примеру, из истории,— возвысился над легкими звуками чаепития его окающий молодой говорок,— время Петра, Преобразователя Руси. Поставьте на одну доску Петра и тут же рядом с ним русское общество,— именитых бояр, едва имя свое на документе ставящих, сыновей их, Митрофанушек, всевозможных дурней-приживалов, забитых деревенских крепаков, пьющее духовенство,— чуете разницу? Петр в окружении умных людей, отовсюду где можно им званых, выискиваемых, уважаемых, как царские сотрудники. И тут же боярские хоромы, где шутихи и барские барыни вертятся, господ развлекают. Я читал. Да и слышал о помещиках от стариков, от собственного деда... Такая власть на голову выше собственного общества, от нее можно поучиться. А теперь возьмите наше время, наших дорогих заступников народных, писателей русских, коими гордится наша земля, журналы ежемесячные — ведь как высоко берут они, какой тон задают!

— Вот что, молодой человек,— сказал Покровский,—

видно, что вы готовились к юбилею царя Петра. Это очень похвально. Однако ежели вы такими речами просвещаете в классах учеников своих,— если не ошибаюсь, четырехклассное училище у вас там,— так ведь не надолго вас хватит. Не надо этого, от души говорю. Вот тут с вами в вагоне господа инспекторы сидят, они за такие речи по головам не гладят.

Илья Николаевич, примостившийся в уголку, подняв колени, и быстро, со вкусом, отхлебывавший из кружки, улыбаясь, отозвался:

— Нет, отчего же, господин Пок'говский, отчего же... Только вот,— и он обернулся к густо покрасневшему и насупившемуся волжанину,— не совсем п'гавильно пг'едставляете вы себе общество. Мы с вами получили образование, нам посчастливилось. А какое множество осталось во тьме, и какая же это тьма! Обернитесь вокруг. Наше с вами дело учить, учить народ, свет нести в деревню. Наше с вами дело приобщать его к тому, что вы обществом называете. А ведь этого общества на Руси — горсточка. Го'сточка, милый вы человек!

Ночь подошла, но спать ему не хотелось,— вторая ночь без сна. Радостное волнение от предстоящего не давало Илье Николаевичу устать и захотеть лечь. А уже разошлись мало-помалу собеседники, заснул или сделал вид, что спит, повернувшись спиной к ним и подобрав ноги, надолго обиженный Семен Иванович, спали на других лавках. Но Алексей Прокофьевич Покровский прошел вслед за Ульяновым в его отделенье и присел рядом с ним на койку. Ему приятно было слушать торопливый, как-то по-молодому возбужденный говорок Ильи Николаевича, смотреть бумаги, извлекаемые из сумки, пытаться даже в слабом, красноватом свете керосиновой мигалки прочесть в них что-нибудь. То были многочисленные вырезки из газет, полученные проспекты и объявленья, взятая в Казанском учебном округе программа «Педагогических чтений»,— все с Выставки, о Выставке, для Выставки

«Педагогические чтения», задуманные Милютиным и подготовленные усилиями его помощника Исакова, были, в сущности, гвоздем познавательного раздела Выставки. Илья Николаевич, обдумывая время своей командировки, выбрал три первые июльские недели главным образом ради этих чтений. На эти же чтения выхлопотал

он командировки и четырем своим народным учителям, выехавшим в Москву на несколько недель раньше. Предполагалось, что чтения эти будут интересны отнюдь не только для народных учителей, но и для самих инспекторов и педагогов городских гимназий. Они должны были познакомить их с новейшими приемами обученья и разложенными тут же, на кафедре, прикладными пособиями для школ. Но Илья Николаевич еще утром дважды, внимательно, прочитавший печатный проспект «Чтений», был как-то озабочен. Он уже успел охарактеризовать их Покровскому одним, повторенным дважды, словечком «абстрактно, абстрактно!»

Для чтений были приглашены — самый популярный в империи автор учебника арифметики, преподаватель 2-й петербургской военной гимназии, Евтушевский, и второй лектор, Бунаков, учитель гимназии из Воронежа. Илья Николаевич ни с тем, ни с другим лично не встречался. Открытие «Чтений» назначено было на 6-е июля, и судя по проспекту — с 9-ти до 10-ти предполагалось выступление Бунакова по родному языку, а с 10-ти до 11-ти — Евтушевского по арифметике. После этих двух часов, с одиннадцати, слушатели были свободны до следующего дня.

— Но вот в чем дело,— говорил Ульянов Покровскому, не успевшему захватить и просмотреть проспекты,— составлены они как-то уж очень научно и отвлеченно, казенным языком и вот уж именно без всякой наглядности,— разве народные учители схватят последовательность в таких вот фразах?

И он почти наизусть перебрал параграфы из программы «Чтений» Евтушевского:

«Технологические основания начального обучения. Главнейшие положенья относительно преподавания арифметики в начальной школе... изучение чисел первого десятка. Изучение чисел от десяти до ста. Выводы значения четырех действий и случаев их приложения при решении задач первой сотни...» Ну, и так далее!

— Что же вы видите тут непонятного для народного учителя? Слышали, как этот волжанин, Новиков, ораторствует? Уровень достаточный,— он и не то поймет.

— Вы не схватили тут главного, Алексей Прокофье-

вич: нельзя крестьянским ребятишкам с самого начала давать голое число,— один, два... Надо непременно по матерьяльным предметам обучать: один стог сена, два окошка... Поверьте мне, приложение числа к предмету есть лучший способ освоения счета. А ведь тут о методике ни слова, тут сразу получается абстракция. И смотрите! Дойдут они до ста, освоят, как голые цифры складывать, вычитать, делить, множить,— а потом, пожалуйста,— «задачи с приложением числа к предметам». Хотя бы слово о наглядной методике! Вот по родному языку программа сразу начинается с «наглядного обучения»...

— На месте видно будет,— примирительно сказал Покровский.— Послушаем их живое слово. Все же ведь Евтушевский не кто-нибудь,— всероссийская величина. А вот насчет Бунакова — ничего не скажу, не знаю.

— Известнейший методист!

Они помолчали. Ульянов продолжал думать о Выставке. Не дальше, как завтра,— так близко, так скоро увидит он перед собой все, о чем читал чуть ли не каждый день, огромное множество вещей, собранных на коротком отрезке,— надо все успеть осмотреть, услышать, побывать не только в лекториях, но и в театрах... Надо купить нужные книги, набрать комплекты пособий, а дней, в сущности, совсем мало. И что-то делали там, в Москве, его питомцы? Он вынул разлинованную школьную тетрадь и занялся составлением плана: сколько, когда, где, в какой день недели, от какого до какого часа осмотреть в Москве...

А Покровский сидел и думал о другом: какой это, в сущности, большой ребенок, этот инспектор Ульянов, с его лысеющей головой и сединками в бороде. Вот он сидит и чего-то мусолит в тетради, захваченный Выставкой, словно сам из когорты семинаристов.... И верит, верит, каждой бумажке верит, что сам себе навырезал из газет... А ему, Покровскому, хоть, кажется, он моложе Ульянова лет эдак на пять, так уже тошно жить и так гложет его сомнение,— во всем, ну хоть в пользе этой самой Выставки и для них, и для дел народного образованья...

— Давайте-ка на боковую, друг дорогой,— тяжеловато поднимаясь с лавки, сказал он инспектору.

2

В незавешенное окно вагона вместе с пылью и копотью лилось и лилось солнце. Час был еще ранний, а зной словно и не уменьшился с вечера, словно и не тронула за ночь роса побуревшие травы и свернутые трубочкой листья. Опять ставил невыспавшийся кондуктор свой огромный самовар, хотя вода в баке была мутная, пожелтелая, и он боялся, что господа пассажиры взропщут. В умывальной непрерывно щелкала держалка от рукомойника, сплевывая вниз редкими струйками ту же мутную воду с песком. Учители обдавали себя пригоршней лицо, жмуря глаза, чтоб не попал песок, и шли назад к своим лавкам взлохмаченные, не совсем еще проснувшиеся. Ночью село в вагон много новой публики самого разного обличья,— от чиновничьих мундиров до мужицких поддевок. Казалось бы, эти новые, никому не известные люди хоть на первых порах должны были внушить перезнакомившимся вчера пассажирам некоторую сдержанность. Но уж так устроен человек, что просто немыслимо ему, держа в руках стакан с чаем и закусывая баранкой, не испытывать удовольствия от добавочного вращения языка во рту. Можно молчать за обедом, молчать за ужином, даже и водку пить молча,— есть такие, во всем отчаявшиеся, со всем на свете связь разорвавшие горькие пьяницы,— но молча пить чай в обществе, молча откусывать кусочек сахару — попросту невозможно. Знаменитые русские беседы уж наверное велись за чаем. И что только не обсуждалось за вторым, за третьим стаканом,— а представьте на минуту, что нет этого обсужденья, нет беседы, а только сиди и пей чай молча. Представить такое нельзя,— никто чай пить не станет,— думал кондуктор, опытный человек, наглядевшийся на человеческое чаепитие.

В этот раз вкусная сиедь, наполовину уже съеденная вчера, наполовину протухшая от жары, была заменена демократическими солеными огурцами, купленными у бабы на станции. Собственно, не солеными, а свежепросольными, как пишут в ресторанах, потому что, уступая капризу человеческому, в самый разгар лета бабы начали уже присаливать свежие, ароматные огурчики, еще недавно раскупавшиеся именно за свежесть свою. Присаливали с чесночком, с огромным, стеблистым веником

укропа... А поезд, постояв, отходил от станционной водокачки, и снова шли выжженные травы и понурые деревья, и снова набирал он скорость.

— Таких сейчас и в Москве не достанешь,— сочно хрустя огурцом, говорил батюшка в дешевой ряске, тоже ехавший делегатом, как народный учитель,— малосольному огурцу большое требуется уменье. Тут переложишь или недоложишь — и пропал вкус. А главное — чтоб кадушкой не пахло.

— Удивительно вкусно,— сказал и Ульянов, улыбаясь своим мягким ртом.

На этот раз к ним присоединился пассажир, которого с вечера они не заметили. Он не был делегатом, но ехал на Выставку по собственному желанию, как многие люди с разных концов России. Тонкий и сутулый, с опущенными книзу плечами, безусый, усы были тщательно выбриты,— но с бородкой, которую он разглаживал двумя пальцами книзу от больших бледных губ. Он был похож на английского моряка в отставке, если б что-то — ну просто не попахивало от него классной комнатой и учительством. Золотая оправа дугообразных очков, быть может, или многократно вычищенный, хотя и прилично сохраняемый и не лоснящийся на швах сюртук, который носил он, несмотря на жаркое летнее утро. Или — глаза, очень хорошие, внимательные, темные глаза под седыми бровями... Словом, что-то было в нем, неоспоримо выдававшее профессию. Он пришел из дальнего угла со своей кружкой, чтоб нацедить себе чаю из самовара, и собрался было назад идти, но сидевшие потеснились и выкроили ему местечко на лавке.

— Вы делегатом едете? — спросил его Покровский.

— Нет, не делегатом. Мы не в моде сейчас.

— «Мы»?

— Классики. Я преподаю латынь и греческий.

В вагоне воцарилось молчание. Публика, ехавшая на Выставку, была воспитана в духе самого острого недоброжелательства к классицизму в школе. Даже те, кто, как Илья Николаевич, кончали классическую гимназию, как-то подчинялись мысленно общему направлению русских умов и русской журналистики. Сказать «мы не в моде сейчас» мог только тот из классицистов, кто понимал всю силу и глубину общественного настроенья, дей-

ствительно неблагоприятного для них. Но ведь «классн-ка» не только царнла в школе, царнла в миннстерстве, была «иа глазу», как восточиые люди выражаются, у самого министра просвещения, делавшего все, что можно, для прнвилегированиого положения классннки в стране. Совсем иедавио ей отдали мииистерскнм указом львиную долю часов в школах, отияв их от словесников и преподавателей наук естественных. Обижеиы былн девять десятых учнтелей гимиазий — математнки, фнзнки, географы, историкн, словесникн. А тут вдруг — жалобная иота в голосе, словио не их обидели, а классицнста!

— Не в моде сейчас! — горько вырвалось, наконец, после долгого и не совсем прнятиого молчанья у одного из делегатов Выставкн.— Кому-кому...— Он не договорил. Все поняли: уж ие классицистам бы жаловаться! Поиял это и классицист. Он вздохиул и стал молча пнть чай. В голове его тесиились всевозможные мысли, которыми хотел бы он поделиться. Мешало тягостное сознаиье своей выключенности, нзолнрованностн вот от этого иебольшого кружка учителей, разговаривавшнх непрниуждеиио, покуда не подошел к ним он. Встать н попросту уйти сейчас от ннх он не мог,— он был слншком хорошо, по-старомодному воспнтан, а это было бы непростительной грубостью.

— Зачем вам Выставка? Ведь она политехнническая! — сказал вдруг Семен Ивановнч Новиков, прерывая молчаиье.

— Неужели вы думаете, что преподавателю классических языков все остальное неиитересно н ненужно? — вспыхиув, ответил классицист.— Давайте, раз уж вы дали мие местечко тут, иа лавке, стаием добрымн соседями и поговорнм без личной обиды. Я знаю, нас не очеиь любят... Хотя очеиь плохо поиимаю, совсем ие поинмаю, почему это произошло.

— Хотнте иачистоту? — с некоторым вызовом произиес Новиков.

— Только так, начнстоту, н стоит объясинться.

Покровский, самый солндный н спокойиый из собравшихся, спешио вступнл в разговор. Ои боялся, вндимо, что этот забияка-учитель, уже испугавший его вчера опасиыми рассуждеиьями, наговорнт дерзостей, а то и еще хуже. Ои прервал Новикова, раскрывшего было рот, самым эиергичиым жестом руки: «Помолчите!»

— Вы знаете, конечно,— простите, милостивый государь, с кем мы имеем честь?..

— Ян Ржига.

— Разрешите вас познакомить в свою очередь...—И Покровский по кругу назвал всех сидевших на лавках, завершив собственным именем. Когда с представлениями было покончено и протянутые ладони пожаты, Покровский взял беседу в свои руки.

— Ответ на вопрос ваш очень простой, тут и думать много нечего,— начал он своим бархатным баском.— Если б вы присутствовали при нашем разговоре вчера, вы бы узнали, как велико в высших кругах игнорирование собственного, русского развития, духовного, экономического, всяческого. Министр народного просвещенья не знает популярную картину известного нашего художника. Правительство не видит, что фабрикам не хватает техников, инженеров. Вся Россия, можно сказать, кричит о повороте к реальному, к сегодняшнему дню, к отечественным нуждам. Мы потерпели разгром у Севастополя... Мы подойдем к катастрофе, если не возьмемся за ум, не реформируем образование, не догоним английскую технику. Политехническая Выставка в этом смысле и организуется. Она ответ на нужды страны, на гибель нашего флота. Кое-кто начал это понимать, а между тем господин министр и его чиновники не внемлют голосу времени. Они продолжают львиную долю часов отдавать классическим языкам в школе, ставят эти мертвые языки, языки умерших культур, в основу русского просвещения. Ну, а общество, разумеется...

— Самые мракобесы с вами в одном лагере! — выкрикнул Семен Иванович.

Его поправил другой учитель:

— Надо сказать: вы оказались в одном лагере с мракобесами, вы, классицисты...

— Логика общественного развития!

— Хотят они этого или не хотят...

— Противоречит всему духу современности!

Это зазвучало с разных сторон. Еще один, бывший молчальник, вчера ни слова не сказавший, заговорил, стараясь перекричать соседей:

— Не значит — министр неуч, отнюдь! Он, может быть, часовую речь по-латыни в Оксфорде произнесет.

А, вот собственного знаменитого художника, передовую литературу нашу...

— Это тем хуже, тем показательней! Родного, своего не знать!

Ржига подождал, покуда все утихнет.

— Пусть так,— сказал он спокойно.— Вы можете еще добавить — я ландскнехт, не русский, не понимаю, что происходит в России. Но это неправда, дед мой переселился в Россию из Моравии. Я мог бы, как Ко́менский, сказать про себя, перефразируя: «по рождению моравин, по языку русский». По языку, по культуре. Но скажите, при чем тут классические языки? Их никак нельзя назвать мертвыми, нельзя звать мертвыми народы и культуру их, если язык и культура легли в основу нынешних, действующих. Никакую историю, ничто прошедшее мертвым назвать нельзя, они живут, переходя в настоящую историю. Больше того, нельзя как следует понять настоящее, не будучи осведомлен в прошлом. Мы отпраздновали двухсотлетие царя Петра,— кто же, как не он, открывал на Руси латинские школы, уважал классический язык римских трибунов и полководцев, Цицерона, Цезаря?..

Атмосфера в вагоне заметно накалялась. Народные учители, правда, были далеки от этого спора, слишком мало знакомы с вопросом, но их было в вагоне меньше, чем гимназических преподавателей и инспекторов, да и робели они настолько, что, кроме Новикова, в спор не вступали и, сидя по углам, только слушали. Среди преподавателей преобладали словесники и математики; первые болели уже давно за родной язык и радовались случаю высказаться безбоязненно, по-дорожному, когда лишнее слово никем в вину не поставится; вторые считали Выставку как бы своей, отвечающей интересам близких им наук, и от души поддерживали накал в воздухе. А латинист, словно подзадоренный и вдохновленный этим накалом, весь порозовев, продолжал:

— Если хотите знать,— самой гражданственностью русские, да не только русские, обязаны классическому образованью! Все, кто заложил первые семена гражданского сознания на Руси, прошли через латинскую школу. Сызмала, с юности приучены были к великим образам древности классической, а что такое образы эти, как не высочайшая степень работы на пользу общества? Трибу-

ны, полководцы... Что такое войны в Греции, герои Фермопил, защитники афинской демократии, Фокион?.. А римское дело общественности, Республика? Борьба против диктаторов, речи против Катилины? Интересно, чем бы воспитывалась гражданственность в Рылееве, в Радищеве, в Пушкине, в наших современниках, если б не запавшие в память уроки великой классики?

Такой оборот речи смутил на время слушателей, но словесник, севший в Нижнем, отозвался, чуть пришепетывая,— словно возмущенье мешало ему говорить в полный голос:

— Это у нас-то нет традиций собственной гражданственности? А «Слово о полку Игореве»? А «Русская правда»? А князь Курбский? Да я вам десятки, сотни примеров наизову!

— Вы что же, самобытность нашу отрицаете?—крикнули из дальнего угла. На латиниста напали со всех сторон,— даже народные учители, от роду не видавшие латинской грамматики, но и ничего не слышавшие ни о протопопе Аввакуме, ни о каких-то судебниках, ни о прочих памятниках допетровой Руси, неожиданно осмелев, стали подавать воинственные реплики с мест. Латинист замолк и только беспомощно оглядывался во все стороны, поставив недопитый стакан на столик.

Илья Николаевич почувствовал эту грозу в воздухе. Было что-то несправедливое в том, что десятки нападают на одного. И всей доброй натурой своей, всем личным обаянием он не то чтобы вмешался в спор, а словно налег на невидимый рычаг, меняя направление спора:

— Читали вы, господа? Пятнадцатого мая вышел, наконец, указ об открытии у нас реальных гимназий с программой реальных наук на первом плане. Это завоевано общественным мнением... Помню хорошо,—продолжал он своим уютным говорком, переводя глаза с одного разгоряченного лица на другое,— любопытную статью в «Отечественных записках» в прошлом году. Первый раз когда прочел ее, даже и не понял сразу, показалось мне странным. Журнал либеральный, всем известной высокой репутации, печатает вдруг предложенье: непременно, наряду с классическими, открывать реальные гимназии, но тут же оговорку делает: но при одном условии, чтоб окончившие их не имели права,— слышите ли,—

права ие имелн поступать в уннверситеты! Так нлн не так, не путаю чего-нибудь? — обериулся он к Покровскому.

— Совершенно так, я сам, помию, крайие удивился.

— Ну-с, прочитал ее второй раз — и поиял глубокий смысл этой страниостн. Замыслеиа реальная гимназия уже давио, с преобладанием наук математнческих, физнки, механики, географии, прнродоведеиия, иу, и так далее, за исключением классических языков. Но — выше ндти нет права. Почему? Еслн б право на уннверситет было дано кончающнм его, как гнмназистам,— что получилось бы? Не подсказывайте, не отвечайте, господин Покровский, я обращаюсь к молодым иашим спутникам, к учнтелям школы народиой,— подумайте, подумайте хорошо, что тогда получнлось бы?

Винмаине, отвлеченное от Яиа Ржиги, обратнлось к загадке, поставлеиной Ульяиовым. Кое-кто нз чнтавшнх статью поминл ее лишь смутно и тщетно переспрашнвал себя: а в самом деле, почему? Какой смысл создавать школу, как бы равносильную гимиазии, но закрывать окончившим ее доступ в университет? Что-то там было мельком сказаио, а вот ускользнуло нз памятн...

Народные учители, все без исключеиья, даже Новиков, статьн ие читалн. Из угла, где снделн они, раздалнсь неувереииые голоса:

— Хорош либерализм!

— Одной рукой — открыть, а другой — закрыть, так, что ли?

Ян Ржига, благодарный Ульяиову за то, что тот вывел его из-под огня, глядел на инспектора с любопытством. Ему было явно ннтересно послушать, что же дальше?

А в Илье Николаевиче просиулся педагог. Карие глаза его заблестели. Он ие хотел разъяснять, не хотел отвечать сам,— ему хотелось, чтоб его молодые слушателн сами нашли ответ. И он прннялся еще более заинтересовывать их, тихоиько наводя их мысль на этот ответ:

— Ну же, думайте, господа! Скажу зараиее, что говорнвшие тут насмешливо, с иедоверием к либерализму «Отечествеиных записок», — заблуждаются, совег'шенно заблуждаются. Имеиио из желаиия пользы народной, из

желания помочь крестьянской молодежи, освобожденным из крепости, приписавшимся к мещанству, словом, тем, кто имеет только начальное образование,— получить так называемое среднее.... И широко получить, не единицами, а множеством, множеством желающих,— ну? Семен Иванович, вы ничего не скажете?

— Не вмещается что-то в голове, Илья Николаевич. Вы говорите — хотят пользы народу. А какая это польза, если сами требуют ограничения, лишения прав?

— Вы так хорошо вчера мыслили,— с огорченьем сказал Ульянов.— Помните, о диспропорции? А вот теперь пасуете, пасуете.

— Легче было бы ученье?.. Предметов меньше, языков не потребуется,— в этом суть?

Илья Николаевич покачал головой. Он помедлил и опять обратился к Новикову:

— Реальная школа по объему знаний будет больше классической и образованья, на мой взгляд, больше даст. Совсем суть не в этом. Вот вы вчера диспропорцию отметили. Жизнь — одно, а учрежденье не соответствует уровню жизни. Такую диспропорцию можно во многом найти. Снять ее одному человеку не под силу, автору статьи тоже не под силу. А он хотел жизни помочь, хотел диспропорцию обойти, я больше скажу: в данном нашем случае, в статье своей, даже схитрить хотел — делу на пользу.

— Но где тут диспропорция?

— Возьмите гимназию. Можно в нее было вам попасть? Статистику вы знаете, что она такое, состав гимназистов — дворяне, зажиточных людей дети, так? Я сам, господа, с великим трудом попал в Астраханскую гимназию, я ведь сын мещанина, портного...— Илья Николаевич сказал это до того просто и до того как-то между прочим, без неловкости, без подчеркиванья, что всем стало очень просто слушать его и представлять себе человека в большом сравнительно чине, образованного, университет окончившего,— сыном портного, как дело естественное. Он продолжал: — Ну, в гимназию нам с вами попасть было трудно, мне посчастливилось, вам нет,— ведь желающих попасть в гимназию не только много. Для дворян и детей купцов, да и тех, кто имеет средства, гимназия как бы обязательна. Она для них этап в выс-

шее образованье, и в нее не то что многие из них,— в нее, как правило, все идут. Теперь представьте себе другое учебное заведение — с такими же, повторяю — такими же правами, как гимназия...

— Стойте! — закричал Новиков.— Прошу прощенья, только дальше не говорите, я отгадку нашел, вот она отгадка! Диспропорция тут,— что имущему-то попасть на ученье куда легче, чем нашему брату. И если в новых училищах те же будут права, их опять те же ребята сверху донизу и заполнят,— дворяне-господа, богатеи, поповские дети,— у которых отцы с сумой. А мы опять при пиковом интересе, опять за дверьми. Один-два пролезут, как... ну, как некоторые счастливые...— Новиков замялся, он чуть не сказал, «как вы, Илья Николаевич»...

А Илья Николаевич был просто счастлив. Вот такого Новикова, сообразительного, мыслящего — взял бы он к себе, в будущую Порецкую семинарию. Из такого Новикова что за учитель вышел бы!

— Да,— сказал он, не выдавая, впрочем, на людях своей радости.— А вот если реальное училище прав для поступленья в университет не дало бы, так сословия привилегированные, люди, располагающие средствами, отдавать туда детей своих призадумались бы, да и не стали. Отпечаток низшего сословия почувствовали бы на таком училище,— для тех, кто ниже их по состоянию, стало быть, собственных детей отдавать туда зазорно. И без такой конкуренции, где низшим сословиям куда же было бы конкурировать с высшими, оказалась бы полная вакансия, мест хоть отбавляй. Вот и открылись бы двери таких реальных училищ для детей простого сословия. Мысль у автора была оригинальная, умная, обходящая одну из диспропорций между правом и возможностью.

— Как хитрить-то нужно, чтоб простому народу дорогу пробивать! — вздохнул один из учителей.

— Ну, а если б охота пришла дальше учиться? — задумчиво проговорил Новиков.

— Время течет, к тому времени, может, и права бы открылись,— ответил Ульянов. Сам он глубоко верил в это, он верил, что время текло к лучшему, к добру, вот только самим надо поработать...

— О чем спор? — сухо перебил его мысли Покров-

ский.— Парадоксы в «Отечественных записках» не в первый раз высказываются. Эзопова манера у них усвоена с легкой руки «Современника». Указ напечатан. В указе ясно сказано, могу процитировать: воспитанники реальных школ имеют право поступления в высшие специальные заведения, подвергаясь только проверочному испытанию, и могут вступать в гражданскую службу на общем основании с воспитанниками классических гимназий. Если только имеют на то право по своему происхождению,— последнюю фразу он выразительно подчеркнул и добавил: — Так что — finis. Полемика окончена.

3

Ночью прошел дождь, и 5-е июля в Москве выдалось почти прохладным. Ранним утром, как почти всегда бывало в городе после дождя и почему-то не досужилось в сухую погоду, по улицам вокруг Выставки с грохотом прокатили пузатые бочки, поливая и без того влажную мостовую. На Кузнецком мосту спускали над витринами иностранных фирм красивые полотняные зонты от солнца. Дворники в белых фартуках стояли, заложив руки под передник, бездействуя у ворот. И где-то дребезжала пролетка и где-то, чуть ли не в Замоскворечье, позванивали колокола.

Входы на Выставку были закрыты — они открывались только в одиннадцать. Но на Варварке и в экзерцигаузе уже кипела жизнь. Шел второй месяц выставочной суеты, и уже, как говорили незаметные участники ее,— она «образовалась»: почти все экспонаты были привезены и разложены, недочеты на ходу исправлены, гиды наизусть затвердили свои объясненья, высаженные на клумбы крохотные рассады разрослись и расцвели пышным цветом. В павильонах охоты и промысловом уже густо попахивало от всякого зверья в клетках; собаки, обленясь, лежали в тени своих вольеров и даже не поднимались к пище. И эта звериная лень, эта «обвыклость», как говаривали сторожа, сладко спавшие ночью в своих будках, уже перестав бояться пожаров и злоумышленников, распространилась, казалось, как некая газовая отрава, на всех участников. Большого наплыва на Выставку, как предсказывали зимой газеты, не полу-

чилось. Дороговизна тоже не возросла. Мясо, говорят, даже прованивало в мясных лавках, так много его навезли. Пустые номера стояли во многих центральных гостиницах, и даже за Москвой-рекой то и дело мелькали в окнах билетики о сдаче комнат.

Но если «обвыклость» относилась к самому эффектному на Выставке — к мрачным погребам Корсуни-Херсонеса с останками древних христиан, к мануфактурным и кустарным рядам, к пропотелым катальщикам, к Туркестанскому и Кавказскому павильонам, то на главных ее участках, педагогических, работа только лишь начинала разворачиваться. И по тому, сколько и каких посетителей пропускали эти участки за день, видно было, как серьезен успех Выставки и как благотворно ее начинанье.

На Варварке, куда заворачивали «обвыклые» гости главным образом откушать в трактире Лопашова, ежедневно толпилась публика совсем не у трактира, и публика эта была всякий раз новая и всякий раз серьезная. Здесь, на Варварской площади, только 25-го июня открыта была образцовая, а точней сказать, показательная фабричная школа. Таких школ на всю Россию насчитывалось в те годы всего две, и обе у богатых, на западный манер хозяйничавших купцов,—братьев Малютиных, одна — при бумагопрядильной фабрике в сорока двух верстах от Москвы, возле Раменского; другая — по Владимирскому шоссе при химическом заводе. Малютины хотели иметь у себя образованных рабочих и ставили дело крупно. В первой школе училось у них 420 человек, из них 40 взрослых; во второй — 220 человек, а чтоб приохотить к школе, фабриканты сбавили всем учащимся часы работы с двенадцати до восьми, сохранивши за ними полный заработок, но с условием посещать в освободившиеся часы школу. Медленно и с большими трудностями, а дело рабочего образования все же двигалось у них. За устройство показательной школы на Выставке по образцу их фабричных школ дружно взялись и Комиссия по улучшению быта рабочих, и секретарь Комитета грамотности при Обществе сельского хозяйства, Кашин. Сами же братья Малютины ничего не пожалели для нее,— и деньгами, и предметами.

Покуда Выставка еще почивала на высотах Кремля под своими семью замками, перед фабричной школой не

убывала толпа. Составилась даже очередь цепочкой из посетителей, так велик был наплыв, и к этой цепочке пристроился, не прибегая к своему билету гида, Федор Иванович Чевкин.

Он как-то осунулся и похудел за эти дни, и его кудрявые белокурые бачки развились от влажного воздуха. Он знал — Жорж Феррари ждет от него ответа, и Федор Иванович тщетно думал вот уже две недели, стыдясь встречаться с ним, но ни до чего не додумался. Верней сказать, он и не думал, а как-то по-своему действовал. Словно желая выяснить для себя, что творится на Руси, среди русской молодежи, и действительно ли нужно то, что сейчас от него требуется, Федор Иванович бессознательно искал эту молодежь, читал ночи напролет журналы, выпросил в Комитете новую для себя работу,— отвечать на приходящие со всех сторон письма, и в свободные часы внимательно прочитывал их и отвечал на каждое. Он был еще за границей, когда в берлинских газетах из номера в номер стали печатать процесс Нечаева. То был страшный и грязный процесс, и, едва познакомившись с ним, он бросил чтение. Но сейчас заказал в Румянцевском музее прошлогодние номера «Санкт-Петербургских Ведомостей» и со стесненным сердцем прочитывал их.

Ясный ум Федора Ивановича видел, что Нечаев и нечаевщина — это уголовщина, и нельзя ставить между нею и русской революционной молодежью знак равенства или черту преемства. А в то же время он понимал, какой страшной тенью падает это дело на молодые русские силы. Жорж Феррари, как это ни странно, давно уже твердил ему, что он, Чевкин, куда менее русский со старинной своей русской фамилией, нежели полубельгиец Феррари. Верно тут было лишь старомодное стремление Федора Ивановича к логике и благообразию фактов и почти болезненная потребность видеть лучшее из всего того дьявольского множества, какое разворачивает перед человеком жизнь. Видеть лучшее, верить ему, прислоняться к нему, как к постоянной опоре... Он остро чувствовал за границей то представленье о русских и русском народе, какое складывалось на основании книг и вот таких дел— вроде нечаевского. А перед ним вставали другие лица. Богодушный, Вася Шаповалов, Ольховский... До чего же страстно, до болезни, хотелось ему опять повстречаться

с ними, и было вначале просто непонятно, куда они все исчезли. Ежедневно, с одиннадцати до восьми вечера, он водил свои группы по Выставке, но почему-то ни разу не повстречал их. И только сегодня все выяснилось. Нынешним утром он получил самодельный конверт с петербургским штампом.

Стоя в очереди, Чевкин не утерпел и снова достал его, и чуть не в десятый раз начал перечитывать полученное письмо. Запутанно, беспомощным своим синтаксисом, Ольховский писал, что сразу же после их разлуки пришел из Петербурга пакет. Петербургские педагогические курсы, устроенные земством для народных учителей своей губернии, рассчитывали сперва на восемьдесят душ, а выяснилась возможность принять до ста, и если министерство согласно взять на себя дорогу и содержание... Понять было очень трудно, как это у земства открылась вакансия, но факт был тот, что группе казанских учителей посчастливилось, их командировали с Выставки на курсы. Ольховский восторженно описывал Петербург и Неву, вступительную речь барона Корфа, девушек-слушательниц и даже одного старичка, обучавшегося грамоте по старинке и десять лет учившего в школе тоже по старинке, а сейчас севшего за парту новое одолеть, или, как писал Ольховский, «обновиться». И восторг Ольховского, и синтаксическая путаница были до того милы Федору Ивановичу, что по-детски счастливая улыбка так и бегала солнечным зайчиком у него по лицу, а соседи в очереди думали: не иначе, как от невесты письмо.

Очередь дошла, наконец, и до них. Группа, в которую попал Чевкин, состояла главным образом из богатой, хотя и простой публики,— директоров московских и близлежащих фабрик, служащих этих фабрик, иностранных и русских инженеров. Почти все они, за исключением, может быть, иностранцев, которых Чевкин успел уже узнать,— прибывших со своими фирменными экспонатами и машинами,— пришли сюда оказать миллионщикам, братьям Малютиным, свою дань уважения и мало интересовались их школами. Но прямо перед Федором Ивановичем стояла в очереди совсем небольшая группа, человека три-четыре, ведшая серьезные разговоры,— он не прислушивался, но видел — серьезные; и один из них заинтересовал и чем-то привлек его. Небольшой, куда ниже

его ростом, он снял шляпу и круглой глянцевитой лысинкой почти касался его подбородка. Вокруг лысинки густые черные волосы с редкою сединкой лежали совсем прямо, а говорил он слегка картавя и улыбался в бороду. Хотя волос вокруг лица и на лице казалось много, лицо было удивительно открытое, осененное большим, ясным лбом, высоко уходившим под облыселую макушку. На нем был мундир, не очень хорошо сшитый, но старательно начищенный, с блестящими пуговицами. Почему-то Федор Иванович решил держаться около этого, приглянувшегося ему, человека при осмотре. Сегодня был его собственный день, свободный от работы, и как-то непривычно казалось смотреть одному.

Не успели они войти в зал, где размещалась показательная школа, как стоявший впереди человек быстро шагнул навстречу к кому-то и протянул ему руку.

— Зд'гавствуйте, господин Кашин, зд'гавствуйте!

Когда тот несколько помедлил с ответом, он быстрой своей скороговоркой напомнил ему о встрече в Нижнем:

— В гостинице, помните? Вы рассказывали о поездке своей к баг'гону Корфу...

Секретарь московского Общества сельскохозяйственного Комитета грамотности, В. С. Кашин, сразу припомнил и свой заезд в Нижний, и любознательного педагога Ульянова, только что назначенного инспектором в Симбирск, и это показалось Чевкину особенной удачей. Хотя он успел все прочитать, что имелось об этой показательной школе, но слышать живую, заинтересованную речь прямого участника ее устройства было полезней всякого чтения, а Кашин, наэлектризованный встречей, действительно пустился в объяснения, от которых без Ульянова он, может быть, и воздержался бы. Малютины, хозяева многих в империи предприятий,— верфей, пароходов, фабрик,— новые интересные представители русского капитала, и таких уже не мало на земле русской,— начал он свою речь, держа Ульянова за пуговицу, но прекрасно понимая, что его слушают все вокруг: — Тут наш конкурс с заграничным капиталом поднимается на высшую ступень. Те гонятся за прибылью, ставят на дешевке рабочей силы, а наши, поучась на том же Западе, стремятся поднять уровень русского рабочего, строят школы, не жалеют денег на разные культурные нужды, назову хотя бы

богача Третьякова, тысячи кладущего на поддержку нашей национальной живописи и скупающего картины у молодых художников. Среди русских капиталистов, известных своим широким размахом, господа Малютины занимают почетное место. Прошу вас обратить внимание не на самый факт устройства фабричной школы, но на ее показательность, образцовость, так сказать...

Он повел их прежде всего к столам, рядами сдвинутым вдоль стен, где лежали присланные Малютиными учебные пособия. Тут были картины исторического содержания и, конечно, эпизодов из жизни Петра: минералогические коллекции с этикетками, откуда и когда они поступили; образцы почв и печатные листочки с описанием, где какая почва в России водится и что на какой почве лучше сеять; коллекция срезов от стволов разных древесных пород, тоже с печатными пояснениями, какое дерево где водится и чем оно полезно; коллекция по хлопку,— от чашечки его до фабричного веретенца; модели простейших машин...

— А вот это образцы школьной мебели в натуральную величину. Обратите внимание на складную парту в точности по вюртембергской системе: вот так она служит для письма, а вот этак — пожалуйста, пюпитр для нотных таблиц. С математической точностью соблюдены уклон стола, отношения между сгибами ноги, положенье́м груди и столом, а кроме того — соседний позади служит как бы опорой для спины сидящего на данном стуле...

— Пюпитры для нот? — переспросил Ульянов.

— Да, в классе пения — обязательный класс пения для учеников нашей школы! В классе пения музыка преподается по цифирной системе Шеве, чтоб умели ноты читать... учит детей окончивший курс консерватории. Два других учителя за лето получают жалованье по 75 рублей в месяц каждый...

Вокруг вздохнули. И вдруг кто-то из самых задних рядов, явно не похожий на остальную публику, очень громко сказал:

— В школе математические уклоны для грудных клеток исчисляют, а за станком в три погибели до кровавого пота гнут...

Кашин дернулся весь, чтоб разглядеть говорившего. В зале раздался смешок. Группа двинулась дальше, раз-

глядывая разложенные гербарии. Ульянов подошел к столу, где рядом с предметами для рисования и черчения были расставлены весы, разборные части машин, инструменты и очень простой, почти как детская игрушка, образец начального физического кабинета.

— Хотел спросить вас,— негромко проговорил Ульянов, вынув из кармана записную книжку,— где можно купить для народной школы физический кабинет?

— Посмотрите полный набор пособий, выставленных в павильоне сельской школы педагогическим музеем... Подробности не могу сказать.

Федор Иванович выдвинулся из-за спины Ульянова.

— Подробности следующие: всех пособий 36 номеров, стоит весь комплект очень дорого — 108 рублей 67 копеек. Там вы найдете пособия не только по математике,— есть по истории, географии, грамоте, закону божию. Уменьшенный комплект дешевле, но тоже дорогонько — 43 рубля 15 копеек, а главное, это вообще пособия, не физический кабинет. Заказы принимаются до первого сентября...

— Действительно, дорогонько. Но посмотреть надо, насколько целесообразно.

— Я слышал от многих господ преподавателей, посещавших Выставку,— не торопясь, продолжал Чевкин,— что наглядные пособия, получаемые в общем порядке заказов из центра, вообще дороги, а главное — многое можно было бы сделать на местах, своими руками...

— На это нет разрешения! — вмешался Кашин, совершенно отодвинутый неожиданным вмешательством Федора Ивановича и несколько сбитый этим с толку.— Министерство против самодельщины, могут быть искривления, несчастные случаи.

— Я сам — физик,— миролюбиво отозвался Ульянов.— Если знаешь образцы пособий, это даже сугубо полезно развязывать инициативу народных учителей. Конечно, не сложных машин, а вот мебели, например. У меня в Симбирской губернии учители руководят строительством школ самолично, и это во всех отношениях выгоднее.

— Не сомневаюсь, не сомневаюсь. Но — нет разрешенья. Народные школы снабжаются из центра, им отпущены кредиты.

Илья Николаевич вздохнул и спорить не стал, он вспомнил о копеечных кредитах округа, о вымаливании денег у земства. И Федор Иванович тоже вздохнул. Он вдруг отчетливо вспомнил словечко Ольховского «ницитивы не дают».

Двинулись дальше, но смотреть, в сущности, было уже нечего. Кашин предложил, пока еще есть полчасика до открытия педагогических курсов, посетить тут же, на Варварке, народные кухни. Первая была раньше на Хитровом рынке, сейчас ее перенесли в дом Степанова на Варварке,— цены там: щи, лапша по 6 копеек, каша с маслом 4 копейки, жаркое гривенник, есть постная пища...

— Внутрь, впрочем, не стоит... туда еще хитровцы заходят. А вот у Ольги Александровны Тарлецкой посмотреть надо обязательно. Здание построил архитектор Веригин,— говорил Кашин.

Он быстро повел их за угол, и они вошли в просторную переднюю «народной кухни». На контроле с раннего утра был народ. Подходившие получали на руки круглую жестяную плошку, разделенную внутри переборкой, и марку, а потом подходили к окошку. Круглое красное лицо кухарки высовывалось из окна, красные, влажные от пара пальцы принимали марку. Деревянной черпалкой, с удивительной быстротой, в левое отделение плошки наливала она горячее, а в правое той же черпалкой бухала порцию каши, потом поверх нее клала большой ломоть хлеба, тут же кем-то невидимым за окном нарезанного и взвешенного, и в руки обедающего давалась деревянная русская ложка. Люди у окошка сменялись с необыкновенной быстротой, в воздухе пахло разморенными кислыми щами и пшенкой на топленом масле.

— Пить разрешается только воду и квас. Выходя, платят и сдают на контроле посуду.

— Кто эти посетители?

— Ремесленники и рабочие. Работает столовая с рассвета, расходы несет госпожа Тарлецкая. Со дня открытия отпущено здесь около десяти тысяч порций.

Покуда Кашин рассказывал, Илья Николаевич спокойно взял на контроле миску и марку, получил свою порцию и, присев рядом с каким-то рабочим на высокую деревянную скамью, принялся есть. Сконфуженный Ка-

шин пробормотал что-то вроде «лично убедиться хотите», но тотчас замолк, когда и Чевкин, одетый явно по-заграничному, подошел к столу со своей миской. Он съел решительно все, вплоть до хлеба, даже квасу выпил,— потому что был голоден. И еще почему-то, мучившему его все эти дни. Ему казалось: так, через хлеб-соль, еще ближе к народу, еще понятней все станет, а главное — легче на душе. Илья Николаевич был тоже честно голоден. Он не успел позавтракать в поезде и знал, что едва-едва поспеет на педагогические курсы, откуда не выберешься раньше полдня. И он воспользовался случаем утолить голод.

Пока они ели, а Кашин беседовал о чем-то с заведующей столовой, Федор Иванович торопливо говорил Ульянову:

— Физический кабинет лучше всего заказать в Санкт-Петербурге, в магазине Фену. Там, наверное, и возьмут меньше, и сделают лучше, чем здесь. Жалко, я в газетах прочел,— в Теплиц, на Богемские воды уехал генерал Исаков. Это светлая личность, и он был всякому деятелю просвещения совершенно, совершенно доступен. Через него много было можно...

Илья Николаевич кивал головой. Он все это уже знал, и адрес петербургского магазина был у него записан еще с Казани. Он очень спешил,— спутники его ждали у экзерциргауза. Прощаясь с Кашиным и благодаря его, Ульянов спросил, увидятся ли они на «педагогических чтениях», а потом, взглянув на часы, почти бегом заторопился к манежу.

4

Устроители никак не полагали такого наплыва слушателей. Даже пьеса «Говоруны», шедшая в Малом театре и снискавшая у публики популярность своей злободневностью (среди четырех типов говорунов в ней выведены были «нигилисты», в которых узнавали нечаевцев), не могла похвастаться таким наплывом. В самом начале «педагогические чтения» были замыслены для «народного учителя», каким он представлялся воображению устроителей: не гимназист и не студент, а молодой человек из семинаристов или с трехклассным образованием уездно-

го училища за плечами, посланный округом наряду с педагогами или лично добравшийся для пополнения знаний до Москвы. Предполагалось, что наберется их не очень много,— пример тому вакансия на курсах у петербургского земства. Между тем к девяти часам утра у манежа скопилось около пятисот человек, учителей и учительниц народных школ. Среди желающих послушать курсы оказались и посторонние — служащие министерства, какие-то дамы в шляпках со страусовыми перьями. Все они столпились у главного входа в манеж. Илье Николаевичу было трудно разыскать в этой толпе своих дорожных знакомых, и он опять терпеливо стал в очередь.

Манеж усилиями Чичагова совершенно преобразился внутри. Между этнографической и политехнической выставками прошло пять лет, в течение которых манеж этот служил для москвичей в своей собственной роли. Посыпанное песком, пропитанное запахом конского навоза и пота, пространство его казалось тогда необозримым. Ученый ефрейтор, от сапог до куртки затянутый в кожу, ходил по этому пространству с длинным кнутом, которым он элегантно щелкал, взывая к «мсье» и «мэдам», с явно заграничным акцентом, а мсье и мэдам, представители дворянской знати, и тянувшиеся за ними купеческие дети восседали на глянцевитых и поджарых лошадках, обучаясь тонкостям верховой езды; мэдам — в амазонках, сидя набок в сооружении, именуемом «дамским седлом», мужчины — в плоских английских седлах. Отрывистые щелканья кнута и короткие возгласы: «Рысь! Аллюр! Карьер! Карьер галоп! Шаг!» — напоминали танцкласс. А лошади морщили в беге блестящие крупы, поддавали играючи задом, и всадники, один за другим, описывали свои круги...

Казалось, приятный запах конюшни, любезный сердцу каждого, кто отдал дань благородному спорту верховой езды, еще затаился кое-где по углам манежа. Но пространство его резко уменьшилось,— и вглубь, и вверх. Вверху настроили хоры. Военное министерство развернуло там превосходные коллекции учебных пособий. Внизу, на северной половине, устроили нечто вроде аудитории со скамьями, трибуной, кафедрой для оратора и черной доской. Другая часть манежа была заставлена всякого рода машинами, в том числе и приводившими в движение ряд производств, технологию которых показывали

и объясняли тут же. Шум от колес, шелест приводных ремней, стукотня, нескладный хор голосов,— все это встречало посетителя, шедшего на чтения. Аудитория была хорошо отделена от машинного зала, но звуки проникали в нее, словно дым в щели, и, казалось, стояли там, как прочный фон для оратора. Устроители не учли, видимо, этого шума. Чтения были назначены до открытия Выставки, с девяти до одиннадцати часов утра, когда предположено было молчать машинному залу. Но так как и хоры, и машинный зал, и перемещенные сюда производства понемножку начинали «настраиваться» и «репетировать»,— шум неизбежно возникал и в часы занятий. Возник он и в этот первый день открытия педагогических курсов.

С трудом пробравшись вперед, Илья Николаевич подсел на переполненную скамью, охватившн за талию соседа — высокого армянского юношу. Тот даже не пошевелился, глаза его под сросшимися на переносице бровями были прикованы к трибуне. По программе начать чтения полагалось Бунакову, но вместо него неожиданно вышел учитель второй петербургской военной гимназии, Евтушевский, которого многие знали. Раздались дружные хлопки.

«Милостивые государыни и милостивые государи»,— начал Евтушевский, облокотясь на кафедру и как-то интимно, по-домашнему, оглядывая публику. Он был превосходным оратором с очень громким голосом и ясною дикцией. Даже намека на конспект или бумажку в руках у него не было. В свободной манере, как бы беседуя, но строго и точно по плану строя свою вступительную лекцию, Евтушевский дал слушателям краткую историю и основу науки психологии. Он анатомировал перед ними душевную жизнь ребенка, сидящего в классе перед учителем, раскрыл работу его органов восприятия, зачатки мышления, роль внимания и подробно остановился на памяти, деля ее на активную и пассивную. Его басистый голос отдавался в аудитории, как бы врезывая в слушателей эти два слова — «активная», «пассивная»... Время шло. Час истекал. Лишь под самый конец, спохватившись, он перешел к собственному предмету,— арифметике, и в двух словах описал методику ее преподаванья. Кончив, он поклонился аудитории, но хлопков не было.

Когда слушатели съезжались в Москву, им представлялись педагогические курсы чем-то вроде наглядных уроков, какие они должны давать в классе. Методику в отвлечении от ее прямого показа в виде примеров они даже не представляли себе. И сейчас основная масса в аудитории переживала смутное разочарованье. «Вопросы есть?» — спросил председатель.

Вопросов оказалось множество. Но — каких? Со всех концов раздались голоса:

— Разъясните, что такое активный и пассивный?

— Как понимать слово «психология»?

— Вы сказали реальное образование. Что означает слово «реальное»?

Это был явный просчет,— просчет устроителей. Прекрасная, но чересчур сложная речь Евтушевского прозвучала втуне. Главные слушатели, те, для которых были задуманы курсы, попросту не поняли эту речь, не поняли многих слов и выражений, потому что никогда их до этого не слышали. Евтушевский, мастер своего предмета, привык к петербургским гимназистам. Тут, имея в виду учителей, он взял даже тоном выше, чем у себя в классе, и речь пропала. В пятиминутный перерыв Илья Николаевич разговорился со своим соседом, армянским юношей со сросшимися бровями. Назвался юноша Хачиком Восканяном из приходского училища города Григориополя,— преподает в двухклассном, а сам кончил семь классов. Русский знает и много читал по-русски, но речь показалась ему ненужной.

— К чему говорить битый час, о чем можно прочитать в книге? Захочу — закажу в городской библиотеке. Ты мне покажи, чего не умею. Например, у меня в школе очень тугие ребята, не понимают, что такое умноженье. Складывать сразу схватывают, а умножить не могут. Я думал,— научат меня, как легче переходить к умноженью. Таблицу наизусть говорят, а смысла не понимают.

Илья Николаевич знал по опыту в собственных симбирских школах, что переход от сложенья к умноженью действительно труден, и он еще более труден, если начать его с простого зазубривания таблицы умноженья. Ему захотелось объяснить свои приемы армянскому учителю, и он пригласил его вечером к себе в гостиницу.

Между тем перерыв истек, и на трибуну поднялся

воронежский преподаватель словесности, Бунаков. Вторым явным просчетом устроителей было переместить его за Евтушевским. Если у петербуржца были зычный голос и первоклассная дикция, то воронежский преподаватель страдал болезнью голосовых связок, говорил тихо, подчас мямлил,—а тут еще начался наплыв простых посетителей Выставки к дверям экзерцизгауза, стали впускать их, застучал локомобиль, засвистели и загрохотали машины... Слушатели ровно ничего не поняли из лекции Бунакова. Так два прекрасных учителя, действительно знающих и любящих свой предмет, не нашли пути к своим слушателям в первый день курсов, когда, казалось бы, они должны были завоевать их. Один из комитетчиков, пробираясь к выходу еще до конца речи Бунакова, пробормотал про себя почему-то по-английски: «What a failure!»[1]. Слушатели выходили безмолвные и сильно сконфуженные. Хачик Восканян сразу же исчез куда-то. Ульянов огляделся и, опять не найдя своих, прошел к лестнице на хоры.

Много раз потом, в журналах и газетах, упоминалось об этом первом неудачном дне курсов, чтоб оттенить последующее описание лекций, само по себе составившее очень поучительный пример для будущего. Но Илье Николаевичу и первый «блин комом», и последующий разворот «педагогических чтений» были хорошо знакомы из собственной практики. Когда кто-то из шедших вплотную за ним по лестнице заметил другому, что вот «прослушаем 10 дней такие рассужденья, а применять их на практике все равно не научимся...» — он остановился и жестом попросил отойти говорившего с ним вместе в сторонку. Два молодых парня в длиннополых поддевках, потные от жары и духоты, вопросительно поглядели на него.

— Вы не спешите судить по нача́лу,— как-то доверительно, понизив голос, сказал он им, словно сам был одним из народных учителей.— Читали изложение в газетах речей на промышленном съезде в июне, нет? А очень интересно. И для нас поучительно. Там выступали две группы, фабриканты и ученые. Фабриканты говорили: сразу обучайте рабочего, как надо работать у машины.

[1] What a failure! — Какой провал! (Какая ошибка!) *(англ.)*

Не к чему ему знать разную там географию или черчение... давайте сразу практику! А ученые говорили: чтоб практика была чистая, успешная, она должна быть основана на общем знании. Пусть рабочий узнает машину и ее части, научится чертить, поймет надобность своей работы для страны, тогда и практика его шагнет вперед, станет разумной. Разве к нам это не применимо? Общее знание педагогики и психологии ребенка очень, очень поможет вам на уроках!

— А вы сами кто будете, не из комитетчиков? — развязно спросил один парень, в то время как другой дергал его за рукав.— Ежели из комитетчиков, так скажите там наше мнение, мы не стесняемся.

— Ты помолчи, они правильно говорят! — густо зашептал другой, оттягивая товарища за рукав в сторону, туда, где поднимались на хоры новые и новые посетители. Толпа втянула их в свои ряды, а Илья Николаевич, тщетно поискав их глазами, заторопился поскорей вперед, пока не началась толкотня,— в святая святых Выставки для всех педагогов, галерею, где были в строгой последовательности размещены наглядные школьные пособия.

Уже несколько лет в Петербурге, в музее Соляного городка, была устроена по инициативе и силами военного министерства постоянная выставка всего того, что помогает обучению в военных школах, но и не только в военных. Милютин широко понимал народное образованье. Музей Соляного городка, очень мало известный в самом Петербурге и петербургскими гражданами почти не посещаемый, был своеобразной Меккой для педагогов всей России. Илья Николаевич, как и другие симбирские педагоги, был давно наслышан о нем и сейчас, очутившись на хорах, вспомнил, как тщетно он домогался два года назад у попечителя учебного округа командировки на петербургскую мануфактурную выставку, чтоб только побывать в Соляном городке... И вот, наконец, знаменитые коллекции перед его глазами. Правда, не все. Но в военном министерстве отобрали все основное из великого множества петербургских экспонатов, и это был как бы музей Соляного городка в миниатюре. Прикладные пособия для обучения всем предметам, начиная с грамоты и кончая космографией. Великолепные коллекции, минеральные, зоологические, ботанические, чучела птиц и жи-

вотных с последовательным показом их набивки; собрание карт; собрание наглядных картин с пояснением по системе словарей-рисунков Яна Амоса Ко́менского; глобусы, все виды начальной аппаратуры для физических опытов; приборы в помощь геометрии; разного типа тетради из хорошей финской бумаги, английские и французские стальные перья; образцы грифельных досок; образцы школьной мебели и планировки различных классов; книги, книги...

— Ну, где еще быть нашему милому инспектору! Смотрите, вы тут на неделю утонете,— раздался над Ульяновым знакомый голос Покровского. Он стоял, набивши карманы газетами, с пакетиком в розовой ленточке в руках и с бутоньеркой в петлице форменного сюртука, большой, веселый, раскрасневшийся от обеда у Гошедуа, и с улыбкой поглядывал на Илью Николаевича, целиком ушедшего в созерцание.

— Утону,— добродушно ответил Ульянов,— утону, господин Покровский, пока не освою каждый пг'едмет! Не хуже, г'ешительно не хуже, чем у шведов! Что кажется мне особо важным, это пг'изыв к нашей пг'едпг'иимчивости: почти все секг'еты раскрыты,— как делать,— из чего делать самим. Возьмите наглядные пособия для пег'вого класса, кубики, складные буквы, счеты, игры в азбуку, в правила арифметики,— можно их заказать у себя дома, вырезать, раскрасить. Взгляните на эту витрину...— Он повел протестующего Покровского, видимо уже очень усталого от Выставки, к отдаленному стенду: — Взгляните! Элементы эстетического воспитания, лепка, вырезывание, модная у наших барынь гальванопластика...

— А читали объявление?

Покровский достал из кармана газету и громко прочел: «С 10-го июля при учебном отделе Выставки по понедельникам, средам и пятницам в три часа дня уроки гимнастики для мальчиков от семи до двенадцати лет, под руководством Я. П. Пуаре...» Он запнулся и неловко закончил: — Три рубля в месяц. Как раз сейчас, недалеко идти, за Фребелевскими садами.

— Посмотреть необходимо,— отозвался Илья Николаевич, усердно исписывая свою книжку,— зараз и Фребеля навестим. Тут — вы правы, конечно, одним разом не справишься.

Но он еще долго не мог оторваться от витрин наглядных пособий, чинил карандаш, выпросив у кого-то ножик, опять записывал. Почти насильно, взяв его под руку, двинулся Покровский к выходу и, пока спускались они, слушал восторженные описанья Ильи Николаевича.

Все это время, на открытии курсов, на перемене между лекциями, вверху на хорах, даже в короткой беседе инспектора с двумя недовольными парнями — Федор Иванович Чевкин был неподалеку, невидимый и не замечаемый Ульяновым. Что-то притягивало его к этому небольшому, быстрому человеку с его милым картавым говорком, с его лысинкой и добрыми-предобрыми карими глазами. Выходило это непроизвольно: не то чтобы он следовал за ним или не упускал его из виду. Но как-то так двигался в его русле, словно связанный с ним невидимой нитью. Все, что говорил Илья Николаевич, было ему особо близко и понятно; манера, с какой относился он к людям, казалась ему особо человечной и тоже понятной, словно это был родной, давно знаемый друг. Когда Покровский с Ульяновым прошли мимо него, он опять, повинуясь какой-то инерции, повернулся и зашагал за ними, держа в руках свою шляпу. И очнулся только тогда, когда вдруг услышал с невероятной отчетливостью, словно забили в тишине стенные часы, тонкий звук голоса, не выходившего у него весь этот месяц из памяти.

Федор Иванович дрогнул и подался назад. Но было уже поздно. Он стоял в павильоне, куда не решался больше заглядывать. Все в этом павильоне осталось неизменно. Только народу стояло больше, и впереди рослый Покровский поддерживал левой рукой за локоть маленького инспектора с его лысинкой, покрытой бисеринками пота. Перед ними, слегка откинув назад корпус, стояла все та же худенькая петербуржанка с малокровным, почти прозрачным лицом. И она опять говорила. Она говорила... Словно что-то пронзило бедного Федора Ивановича. Месяц прошел, и не было дня в этом месяце, когда он не думал о ней, а дни были такие разные и не схожие, и столько пережито в эти дни,— а девушка говорила точь-в-точь теми же словами, с тою же интонацией, как месяц назад.

— Наш учитель, Фребель, исходит из оригинальной мысли...

Вот сейчас, думал Чевкин, оиа скажет об учете русских педагогических теорий... Он иаизусть помнил тогдашиюю ее речь. И девушка, словио заведеиная, продолжала слово в слово:

— Мысль эту, коиечио, мы переделали по-своему, с учетом русских педагогических теорий...

Ну сверии, сверии в сторону, мыслеино молил Федор Иваиович, чувствуя, как кровь заливает ему щеки,— стыд за иее, за свою иллюзию, за свои глупые мысли о ней весь этот месяц. А оиа, ие подозревая о страдаиьях стоявшего где-то у стеики человека, продолжала с отчетливостью щелканья машиики,— о развитии ребеика, каким его представляют родители, о том, что вспоминают о его руках, только когда надо держать пишущую ручку или учиться роялю,— ну хоть бы переставила два слова, хоть бы пропустила «орудия позиаиья»... Вот сейчас должно быть про щеночка...

— Но рука — это ведь что зубы у щеиочка,— мягко произнесла девушка и вдруг, опять, как тогда, точь-в-точь, как тогда, словио заведениая машиика,— улыбиулась, и возле рта ее возникла совсем, как месяц иазад, премилая ямочка.

Федор Иваиович круто повериулся и зашагал из фребелевского павильоиа. Он чувствовал себя оплеванным, оскорблениым и, к удивлеиию прохожих, бормотал вслух.

— Ну, пусть слова́,— оиа их затвердила, твердит ежедиевио, почти машииальио, иельзя же творить сто дней подряд,— пусть слова́! Но эта наиграииая, отрепетироваииая улыбка и с ямочкой, значит сама ее зиает за собой и делает эту улыбку искусствеиио, по программе... Ои не посмотрел ей в глаза, как прошлый раз. Но не потому ли и окунулись тогда в эти бездоииые серые глаза его собствеииые, ищущие и верящие, что ие было в иих противодействия, а только пустота?

Между тем иа Илью Николаевича и Покровского, слышавших петербургскую фребеличку первый раз, речь ее произвела освежающее впечатлеиье.

— Как непосредствеиио, не по шаблоиу,— шепиул Покровский.

— И какая вериая мысль, что у ребятишек руки чешутся, совсем как у щенят зубы чешутся,— сказал с удовольствием Илья Николаевич.

Он внимательно пересмотрел фребелевские кружки, кубики, всевозможные деревянные колечки и составные пирамидки, сердечно поблагодарил девушку и вышел вслед за Покровским. До назначенных господином Пуаре уроков гимнастики оставалось несколько минут, но уже в Ульянове произошла перемена. В сущности, эти платные уроки,— для детей зажиточных семей,— мало что могут добавить к тому, что он сам знает, что слышал еще в Казани от учеников Лобачевского, что прочитал в его гениальной речи... Да притом это снова повторится через... через... Он остановился и посмотрел на Покровского:

— Нуте, нуте, прочтите еще раз это объявленье!

Покровский удивленно начал читать, а потом замолк, сконфуженный. Ульянов хохотал, как умел только он один, почти согнувшись под прямым углом:

— Да ведь с десятого, с десятого, с понедельника? А нынче только четверг, шестое,— сквозь смех промолвил он и добавил, уже перестав смеяться: — А если так, давайте просто гулять, погуляем по Выставке, как прочие добрые люди.

— Вот что значит хорошо пообедать,— в изумлении на самого себя и свою рассеянность пробормотал Покровский.— Десятого! И ведь сам прочел. Нет, Илья Николаевич, извините великодушно, я лучше спать пойду, довольно с меня на сегодняшний день.

Они простились, и Ульянов пошел дальше уже совсем один. Он так редко бывал один, что чувство одиночества обняло его, как отдых. Не переставая улыбаться про себя, он шел по кремлевским садам, охватывая всю Выставку вокруг — в ее пестроте, слаженности, слитных звуках и красках,— и ему показалось, что и Выставка отдыхает вместе с ним. Перешло далеко за полдень, небо обкладывалось какими-то плотными, сизыми тучами, запах цветов перестал ощущаться, словно пригнутый к земле, и птицы,— их было тут множество,— перепархивали на деревьях с непонятной беспорядочной торопливостью. Привыкший в своих поездках читать все эти сигналы, как раскрытую книгу природы, Илья Николаевич подумал: быть дождю, но не скоро, должно быть, к ночи.

Он зашел, не торопясь, в лесной павильон,— и постоял перед картиной вяза, посаженного Петром Великим. Своими руками посадил Петр дерево,— и выросло оно, стоит

свыше столетия и свидетельствует о нем. Своими руками сделал возок, в котором можно было разъезжать,— и даже этот возок со множеством других вещей, созданных им самолично, доставили на Выставку. Воистину, руки чешутся,— какие умные, хоть и царские руки были у этого гиганта с кошачьими усами, с круглыми, пронзительными глазами, похожими чем-то на глаза Гёте, как его сейчас изображают. Что было бы с Россией, если б не было Петра? Могло ли вообще не быть его? Ульянов представил себе Русь Алексея Михайловича, подумал о прерванном развитии Киева, о нашествии татарских орд, о быстрых способных половцах,— совсем в другую сторону могла бы пойти история. Славянофилы ненавидят Петра. Им кажется, Русь допетрова была подлинной... И даже «Отечественные записки», милые его сердцу «Отечественные записки» нет-нет и отдают чем-то похожим на приверженность к воображаемой, идеальной Руси, к этой «искони народной общине». Посмотрели бы у нас на общину!

Так думал, не собирая мыслей, вразброд, Илья Николаевич, давая течь перед своей памятью, как тихое скольжение облаков в небе, разнообразным картинам виденного и пережитого. Община сейчас, после раскрепощенья, становилась обузой и гнетом для крестьян через связавшие их платежи государству, через новую «крепость» в своем роде, сковавшую их друг с другом... А семья распадается, молодежь женится и уходит из родной избы, строит на задворках, на бутырках, чуть ли не шалашики,— но что это за жилища без крестьянских дворов, без сараев, пристроек? Так, может, додумаются славянофильствующие, что и освобождать крестьян от крепости ошибкой было? Вздор какой лезет в голову! А Петр, Петр... Гигантская фигура Петра словно пробивалась перед ним сквозь все загражденья и колышки, наставленные вокруг него даже тут, на Выставке. Вот это — разве не колышки?

Он стоял в гончарном павильоне, куда входить, по правде, не собирался, а просто свернул, задумавшись. Словно отвечая на его мысли, прямо в уши ему врезался звонкий голос молоденького мастера в фартуке, не то художника, не то заведующего павильоном: «Гончарное дело занесено к нам татарами, как момент эстетический, задолго до того, как оно появилось в европейских стра-

нах. Оно играло у нас весьма важную роль в орнаментации,— взгляните вот на эти замечательнейшие изразцы... На Западе, наоборот, керамика редко являлась подспорьем в строительном деле. Фарфор введен в Европу португальцами в 1518 году, у нас он известен с первых лет XVI столетия, а уже XVII он составляет одно из любимейших украшений. Вот наши древние национальные образцы. А тут,— юноша как бы заскучал и небрежно указал рукой на полку,— подражание голландцам, введенное Петром Первым».

Увидя внимательного Илью Николаевича, переводившего взор с полки на полку вслед его указаньям, юноша прибавил: «Запомните имена знаменитых русских мастеров: Василий Дорофеев, Степан Иванов, Иван Семенов, по прозвищу Денежка, Степан Полубес... ну, и другие!»

Живя в Астрахани, а потом в Казани, Ульянов хорошо знал и помнил имена древних мастеров русских, гордился ими, наперечет знал памятники допетровских времен. Вспомнилось ему, как они ехали с Машей, повенчавшись, на пароходе и он рассказывал ей, как бы вдоль течения Волги, о русской истории, о продвижении древних русов. Неправда, что Петр Великий не чтил, не понимал прекрасного у своих предков! Разве не он сказал, пленившись дивным Успенским собором, построенным в Астрахани мужичком Дорофеем Мякишевым,— «Во всем моем государстве нет такого лепотного храма»? Клевещут на Петра москвичи, клевещут даже на Выставке, во дни его юбилея!

Внезапно он вышел из гончарного павильона и быстро пошел назад через все пройденные сады, к экзерциргаузу, решив снова внимательней пересмотреть отдел прикладных учебных пособий. Прежнего состоянья дремы, легкого, непроизвольного течения мыслей — как не бывало. Взгляд словно обострился на то, чего раньше совсем не замечал он,— на вещи большие, протяженные, совсем непроницаемые за внешним покровом Выставки, но без которых не было бы, однако же, всего этого пестрого покрова. С огромным интересом оглядел на набережной, в угловой башне третьего сада, называемой в справочниках «водовозною», металлический резервуар на 4500 ведер воды для снабжения Выставки: от него главная линия водопровода шла через все сады вплоть до Воскресенской

площади. Как тут не вспомнить симбирские, только что открытые, колодцы! Прошел через весь железнодорожный отдел, мимо эффектных, блещущих новою техникой предметов, выставленных заводом Шипова, сделал не малый крюк — и опять очутился перед экзерцнргаузом. И только теперь, когда народу было мало, разглядел все его обдуманное размещение. В отдельной пристройке работали три локомобиля: это они и поставленные на берегу паровики с проведенным от них валом давали энергию машинам, собранным в манеже. Сейчас все внутри открывалось глазу — застланный на половине пространства пол, та самая аудитория на 600 человек, где утром казалось тесно от людей, а сейчас все поражало своими размерами. Сколько забот проявили устроители, как много разных людей поработало тут! Вверху, на хорах, он увидел плакат, раньше оставленный без внимания,— то было извещенье о работе отдела прикладной физики. Он аккуратно переписал его в свою книжку, довольный, что пришел вторично, когда никого тут не было:

1. Метеорологические приборы. Объясняет в воскресенье в 12 ч. дня и в среду в 4 ч. Я. И. Вейнберг.
2. Электрические приборы... во вторник 12 ч. дня А. В. Черняковский; в четверг $6^1/_2$ ч. вечера Г. Б. Фишер.
3. Гальванопластика и гальваническое золочение и серебрение— в понедельник и четверг 12 ч. П. Е. Абросимов, пятница, 4 часа Э. Ф. Силоненко.
4. Колорический и оптический приборы—по вторникам и пятницам П. А. Зилов.
5. Геодезические приборы — в среду в 12 ч. И. Е. Михалев.
6. Акустические и пневматические приборы — в среду и в субботу в $6^1/_2$ ч. вечера Ф. К. Ярошевский.
7. Механические приборы, понедель-

ник, в $6^1/_2$ ч. вечера и в среду в 12 ч. дня С. Н. Зернов.

8. *Приборы для измерения времени*, понедельник, 12 ч. дня К. К. Тизенгаузен.
9. *Приборы для добывания светильного газа*, для освещения и нагрева, ежедневно в 3 ч. дня М. А. и Д. А. Поржезинские.
10. *Русская и десятичная система мер*, ежедневно в 12 ч. дня А. С. Владимирский.

Ну, метеорология недалеко ушла... Илья Николаевич вспомнил казанскую мастерскую Больцани, свою собственную станцию во дворе Пензенского дворянского института,— времени утекло не мало, а метеорологические приборы застыли все на том же. Разве вот гальванопластика, входящая сейчас в моду, да электричество могут показать что-то новое. Уж если на то пошло, во времена Ломоносова прикладная физика понималась шире. На стене он увидел еще объявление о продаже физических кабинетов для школ и гимназий, как раз то, чего тщетно искал весь день. Но стоимость была высока: 45 рублей, 300 рублей и 3000 рублей. А как бы хорошо скопить из командировочных 45 и запастись хотя бы самым дешевым...

Между тем повечерело, от страшной дневной духоты над Москвой-рекой поднялся мглистый, пронизывающий туман. Ему захотелось попить чайку и обдумать все виденное за сегодняшний день. Он вспомнил, кстати, что назначил учителю из Григориополя зайти вечером в гостиницу, и поспешил двинуться вместе с выходящими посетителями к Троицким воротам.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ ХОДИТ ПО ВЫСТАВКЕ

1

Лекции на курсах для народных учителей продолжались на Выставке с 6-го по 18-е июля, и почти каждый из этих дней, с девяти до одиннадцати, Илья Николаевич проводил в манеже. Раз только, десятого числа, сделал он исключение, да и то прослушав первую лекцию,— но об этом позже.

Тот самый комитетчик, который произнес после открытия курсов английское слово «failure!», мог бы воскликнуть после второго дня чтения «victory!»,— второй день был действительно победой для устроителей. Дождь, собиравшийся с вечера, хлынул не ночью, а с раннего утра 7-го июля и шел весь этот день, смыв всю несносную духоту из воздуха и пыль с улиц. Повеселев от свежего утра, прячась от дождика под развернутыми во всю ширь газетами, сходились учители на чтения... В Москву приехало в эти дни еще четыреста учительниц, но их водили по московским музеям, добровольно согласясь быть гидами, работники министерства, и только несколько девушек пришли послушать лекции.

На этот раз первое слово взял Бунаков. Должно быть, в поданных ему вчера записочках были просьбы говорить громче и яснее, потому что он вдруг повысил голос и стал говорить медленно. Повторил немногословно предыдущее,— о развитии речи у ребенка вместе с развитием мышления, о том, как отец нынешней школы, Ян Амос Ко́менский, почти триста лет назад ввел наглядное обучение, а Песталоцци развил его; о том, как надо воспитывать у ребенка искусство видеть, знакомить его сперва с окружающим миром в семье и школе, потом дать понятие о родине, наконец — об отчизне и той части отчизны,— селе, уезде, губернии,— в которой он живет. И так как это было повторение вчерашнего, оно дошло до слушателей. Одну фразу Илья Николаевич одобрил мысленно,— он сам руководился ею, как педагог:

— Не гонитесь за тем, чтоб ученик в классе бойко отвечал все заданное словами учебника или вашими словами. Часто под этим кроется простой набор слов без понимания. А вот иной ученик полностью, во всех мело-

чах от буквы до буквы, вам урок не ответит, но зато немногое, что он вам скажет, обнаружит в нем общее понимание, то есть что он вас не зря слушал. Это важно, хотя бы ответил он из всего заданного только на один-два вопроса.

Но покорил Бунаков аудиторию второй, практической частью речи. Говоря о собранных в «образцовой школе» наглядных пособиях, он резко их раскритиковал, притом словами, какие подслушал давеча у самих же учителей. Что это за картины,— возмущался он: извержение вулкана — ни дать ни взять яичница на сковороде, а водопад — словно курит кто-то и дымок пускает от папиросы. В зале раздались смешки, кто-то даже похлопал. Перебрав разные пособия, он назвал несколько им рекомендуемых: хорошие рассказы из крестьянского быта священника Блинова, «Родное слово» Ушинского, книги барона Корфа, Водовозова...

Кончил Бунаков при одобрении своих слушателей, благодарных за то, что хоть что-нибудь дошло до них. Правда, опять были вопросы: что такое «культурный»? Как понять «постепенное усложнение»?

Евтушевский, выступивший вслед за ним, сразу завоевал внимание и придал этому второму дню несомненный оттенок победы, «victory». Трудно сказать, чем именно, всего вернее тем же, что и Бунаков,— сразу показав, что учел замечания слушателей на первую лекцию и даже как бы извинился и оправдался: память он вовсе не хотел выставить главенствующей способностью человека,— она важная, но не главная. Раздумывая об этом втором дне и следя за впечатлениями аудитории, Илья Николаевич нащупывал для себя важный вывод. Он полон был мыслями о своей Порецкой семинарии, которую предстояло открыть осенью, и мыслей этих не могла заслонить даже Выставка. Вот верный путь к сердцу слушателей, будущих учителей народных! Все они или почти все были крестьянскими детьми, привыкшими к «приказу», к принятию без рассуждений того, что дается им свыше, хотя бы давалось оно с добротой и щедро. Будучи сами школьниками, они, как и в семье своей, как и на сельской работе, не привыкли, чтоб их выслушивали, с ними считались, и когда что-либо не умели или не понимали, объясняли это своей собственной виной неумения и непонимания. Считаться с другим человеком, барину

считаться с мужиком, учителю считаться с учениками — само по себе было необычно для них. А тут это произошло так естественно, так подчеркнуто: оба лектора, Бунаков и Евтушевский, люди образованные по-столичному, показали им, что приняли в расчет мнение об их вчерашних лекциях людей несведущих, деревенских, приехавших поучиться. И самый факт, что с ними «посчитались», оказал на аудиторию огромное действие.

«Даже лекцию,— не только урок,— недостаточно давать! — думал Илья Николаевич, представляя себе слушателей в Порецкой семинарии.— Надо, чтоб лектор показывал, как он считается с аудиторией, с ее критикой, с ее впечатленьями».

Дойдя до второй половины своей лекции, Евтушевский более полно и подробно коснулся методики, разложил и роздал по рукам наглядные пособия для обозренья, потом показал и объяснил арифметический ящик для перехода от единиц к десяткам, счеты шведской системы и счеты Ламанского, способ пользоваться этими счетами для дробных величин.

Когда Илья Николаевич шел к выходу, к нему робко протиснулся армянский юноша, Хачик Восканян. Вчера он не успел прийти в гостиницу и сейчас торопливо, заглатывая слова, с сильным армянским акцентом, просил извинения у инспектора. На вопрос «а как с умноженьем?» юноша замялся и потоптался, удерживая Илью Николаевича в машинном зале. Вот если б сейчас, хоть в двух словах,— а то в гостинице совестно беспокоить, да и время сплошь занято, не оглянешься — домой надо. И он с безмолвною, красноречивой просьбою глядел в глаза Ильи Николаевича.

Ульянов отошел в сторонку, где было потише от машин. Народ почти разошелся с лекций, но у входа уже набралась толпа, готовая хлынуть к машинам. И механики, каждый в своем углу, опять приготовились к бесконечным демонстрациям.

— Тут сейчас тесно будет,— нас затрут,— забеспокоился армянин-учитель.— Выйдем, прошу вас, выйдем в садик!

Но Илья Николаевич, тщетно прождавший вчера вечером этого юношу, имел к нему свой собственный вопрос, и тут, в толчее, где никому до них дела нет, под стук машин, ему казалось — легче и безопасней задать

этот вопрос. Когда вчера Восканян представился ему, как преподаватель Григориопольского приходского училища, что-то вспыхнуло в его памяти. Память у инспектора была отличная,— раз прочитал, запомнил. Григориопольское приходское... Где и что он совсем недавно прочитал об этих двух словах? Неотвязно весь вечер думая, он вдруг вспомнил. В одном из серых конвертов с надписью «секретно» стояло: не допускать к преподаванию учителя Григориопольского приходского училища... а фамилия была совсем другая: Николай Собещанский. Этого не полагалось; он понимал, что это явно против правил и обыкновения, но ему вдруг захотелось узнать у экспансивного армянина из того же города, того же училища, знает ли он Николая Собещанского, и если знает, то что это за человек? Илья Николаевич чувствовал — в желании его есть что-то неразумное и детское, что-то, может быть, даже опасное в его положении инспектора, но желанье было непреодолимо.

— Сюда никто не заглянет, здесь нет производства,— садитесь вон на тот край стола.— Восканян присел на уголок большого дощатого настила.

— Скажите, где находится ваш город, Григориополь?

Восканян не ожидал этого вопроса, но сразу с готовностью принялся объяснять, что город их — потемкинский, верней — армянами, выходцами из турецкого Измаила, построен по заданию и в честь Григория Потемкина, город соборный, приходское училище у них богатое, а ехать надобно до Тирасполя по пути в Одессу, а от Тирасполя свернуть на проселок, через деревни Ташлык и Малоешт...

Илья Николаевич терпеливо выслушал и как бы невзначай сказал:

— Есть там у вас некий Николай Собещанский?

Армянин вспыхнул, потом побледнел; оглянулся по сторонам: вокруг двигались люди, но не сворачивали в их уголок.

— Николай Собещанский очень хороший человек,— прошептал он,— ни в чем не виновен. Его жандармы преследуют.

— Не арестован же он?

— Нет, но из города нашего вынужден удалиться.

— В чем его подозревают?

— Точно не знаю... Молодежь агитнровал, собрал кружок, вместе книги чнтали, разговаривалн, кннгу одну собиралнсь с немецкого перевести. Очень способный, развитой...

— Так вот, насчет умноженья,— перевел Илья Ннколаевич разговор на более устойчнвую почву.— То, что я вам сейчас нзложу, не больше, как лнчный мой опыт. Сложенне очень понятно, его сразу дети схватывают, оно, если можно так выразиться, само по себе наглядно. Два предмета, вы их складываете вместе, один прибавляете к другому, получается кучка, и ее можно сосчнтать пальцамн. Думать тут приходнтся очень мало. А умноженье... лнчно для меня, когда я был совсем маленькнй, умноженье казалось началом математики, чем-то более сложным, требующнм умственного усилия. Я просто не мог видеть умноженье глазами. Теперь заметьте! На помощь ученнку дается таблица умноженья, и она как раз начнсто уничтожает мозговое усилие, с помощью которого надо понять умноженье. Зубрежка заменяет мысль. Это, на мой взгляд, большая ошибка — давать учить таблицу умноженья, пока ученик умственно не постнг, что такое умножнть. Поэтому старайтесь сперва объяснить детям, в чем суть этой операцни, доведите их опять до зрительного образа. Напрнмер, покажите сложение: трн плюс три, две кучки по три предмета, одну сдвиньте с другой, сосчитайте,— будет шесть. Теперь положнте одну кучку из трех предметов и скажите, что ее надо п о в т о р и т ь три раза, не умножнть, а повторнть. Детям «умножить» не понятно, требует от них мозгового уснлия; но повторить — это они поймут. Повторнть кучку три раза — это становится наглядным, три кучки, по три предмета каждая, смешиваются вместе, делается подсчет, получнлось девять. Оттеняйте детям разницу: трн сложнть с тремя — шесть; три повторить три раза — девять. Не сразу, очень не сразу прндет время, когда онн освоятся с мозговой операцией, представят себе, как действне, само слово «умноженье». Но ведите их постепенно к этому представленью. А уже потом закрепляйте механическн в таблице.

Восканян вннмательно слушал, и на лице его отразнлось разочарованне. Умноженье в этом примере становнлось похожим на сложенне, исчезала та самая сложность и непонятность, какая мерещнлась ему в слове

«умножить». Илья Николаевич подметил это разочарованье и засмеялся.

— В этом мы с вами схожи. Я тоже мальчиком считал умноженье чем-то таинственным. Позднее, когда перешел к понятиям в кубе, в квадрате, к интегрированью, вспомнил свое детское чувство. Умноженье потому не сразу понятно детской мысли, что дети не находят этой операции в природе. Они замечают, как вещи складываются друг с другом, но не могут подсмотреть, где они друг на друга умножаются.

Разговор этот, хоть и очень короткий, да и по форме несколько сымпровизированный, оказал на Илью Николаевича странное действие: Ульянов задумался о прошлом. Было, в сущности, рановато подводить итоги увиденному и услышанному на Выставке, но сравненья невольно напрашивались. Нижний Новгород был еще совсем свеж в воспоминаньях, хотя кипучая симбирская деятельность, совсем не схожая с нижегородской, ставшая как бы второй молодостью для него, за эти два с половиной года, казалось, должна бы отодвинуть их. Но вот они встали перед ним, пережитые шесть лет в Нижнем. И какие шесть лет! Тотчас после свадьбы,— пронизанные той особой супружеской нежностью, той необъяснимой привязанностью, когда двое людей отрываются друг от друга, от обоюдного присутствия, с великим трудом, словно срослись они общим корнем, как два листочка на ветке,— и всякий раз уход на службу, раздельные выезды по делу переживаются, как горькая разлука, и физически больно бывает не пребывать вместе, вот это какие были годы. А между тем сколько же было положено именно в них на деятельность, на борьбу! Ни разу, нигде не приходилось так бороться, так шаг за шагом отстаивать свое, как именно в эти годы...

Если с высоты тех лет посмотреть на Выставку, одно покажется отсталым, словно время попятилось, а другое так шагнуло вперед, словно и спорить было не из чего. Он представил себе «объединенный педагогический совет», где сам несколько лет вел протоколы,— плацдарм их ожесточенной борьбы. Поверить сейчас трудно, что директор гимназии Садоков и все его присные отвергли, как учебник, «Родное слово» и «Детский мир» Ушинского, а бедного Корсакова, предложившего педагогическому совету эти книги, чуть не заклевали, пока не за-

ставили согласиться на бездарную серятину учебников Говорова. А сейчас? Выставка, открытая для всей России, курсы, разрешенные министерством, программа, одобренная военным министром,— и каждый день пятьсот человек народных учителей слушают с трибуны официальную рекомендацию: Ушинский, Ушинский, Ушинский... Но зато в математике, пожалуй, попятились... Илья Николаевич отдавал должное внешнему блеску Евтушевского, легкие его учебника, а все же, все же... В поданной им самим программе по арифметике и математике он, Илья Николаевич, не абстрагировал, не отодвигал именные числа на второй год,— у него уже в первом классе коротко и ясно значилось: «Четыре действия над целыми отвлеченными и именованными числами. Решение задач на пройденные правила с обращением внимания на умственное счисление и на упражнения на счетах».

Вспомнил Илья Николаевич и кое-что другое. Приехав из Казани в Пензу сразу, с университетской скамьи, ярым сторонником Лобачевского, он восемь лет в Пензе чувствовал себя его ставленником, аккуратно копя и обрабатывая данные устроенной им метеорологической станции. А в Нижнем,— сколько восторженной силы в нем было тогда! — смело ввел в свою программу, помня о широком взгляде Лобачевского на объем математических знаний в гимназиях, наряду с элементарной математикой,— и понятия о прямоугольных и даже косоугольных координатах, и понятия о сферической геометрии и тригонометрии, расширяя представленья учащихся о природе пространства. Ясно припомнилась ему его запись в программе: «Для пополнения сведений из сферической геометрии может служить «Сферическая тригонометрия» Э. П. Янишевского». Он предвидел огромное значение математики для будущего и хотел, чтоб из гимназии выходили подготовленные для него юноши, умеющие мыслить математически...

Да и гимнастика, вот. Как новость, объявляет какой-то Пуаре, француз вероятно, и мзду берет. А у них пятнадцать лет назад в Казани студенты делали гимнастику, Илья Николаевич наизусть помнит вдохновенные слова Лобачевского на сей счет. И вся речь о воспитании Лобачевского, зажегшая его еще мальчиком, в гимназии...

Он шел и шел, вспоминая прошлое, а дождик стекал с его широкополой шляпы прямо за воротник. Домой идти было рано, обедать тоже рано,— в Москве раньше трех за обеденный стол не садились. Он огляделся и увидел себя на средней дорожке в первом Кремлевском саду. Прямо перед ним был павильон геолого-минералогический и горнозаводской, № 8 по плану. Илья Николаевич вспомнил, как Ауновский особо просил его навестить этот павильон и захватить, какая там найдется, литературу для него. Посмотрел на часы, отряхнул от дождевых капель шляпу и вошел туда.

В павильоне были развешаны орографические и геологические карты, разрезы, фотографии местностей; в ближайшей витрине, рядом с инструментами, нужными для геологов и минералогов,— молотками, лупой, магнитной стрелкой, необходимыми реактивами, горным компасом и клинометром, усовершенствованными горным инженером Носовым и им же выставленными, находился «педометр», снаряд для измерения шагами пройденного пространства, присланный Московским университетом. Дальше были модели шахт с воротом, двумя тачками и новый буровой инструмент: козлы с блоком, канатом и воротом,— крепел, ловилка, вилка, наголовник, все снаряды для бурения артезианских колодцев. Хоть надписи подчеркивали новизну, они казались в своей немудреной ручной технике допотопными, особенно рядом с присланными Шуманом из Фрейберга отливным аппаратом и водоподъемными машинами, с лампой из Гарца; и с другим, предохранительным,— для угольных рудников, из Англии, вентиляционным и дыхательным аппаратами.

Илья Николаевич медленно шел между макетов наших казенных рудников и заводов,— Олонецких, Горо-благодатских, Нижнеудинских, Екатеринбургских, Златоустинских, Западного округа Царства Польского. За ними пошли частные,— Путиловский, Сормовский, Бенардаки... Конца-краю не видно, заводы, рудники, заводы. Но если посмотреть на карты и минералогические коллекции,— какими малюсенькими покажутся рудники с их ручными копалками, заводы с ручными дробилками рядом с неизмеримым горным богатством природы. О чем только не говорили эти великолепные коллекции, с этикетками, писанными на разных языках: от железа

до меди, от гранита до изумрудов, от угля до нефти,— нефть с берегов Печоры и Ухты была выставлена с образцами промышленных отходов, парафином и свечами, изготовленными Сидоровым. Илья Николаевич шел и шел, как вдруг остановился. Петр! Из Иркутской губернии, с берегов Тунгуски, из Енисейской губернии — в павильон привезли аспидный сланец и графит. Тем же Сидоровым был выставлен графит огромными глыбами. На тумбе, окруженный графитовыми кусками от трех до семи пудов каждый, возвышался неказистый памятник Петру, высеченный, должно быть, доморощенным скульптором на сидоровские деньги. Ведь именно царь Петр,— первый из всех россиян, обратил внимание на графит по нижнему течению Тунгуски.

«Хорошо, что хоть тут не заслонили, не заставили его частокольем,— подумал Илья Николаевич.— Сколько ребятишек с карандашами в руках могли бы добром помянуть Петра за эти указанные им глыбы графита!»

В те годы,— вторую половину девятнадцатого столетия,— и во сне еще не снилось людям, что темные глыбы пачкающего минерала не только послужат выведению букв на бумаге, но и примут свое участие в полете на звезды...

Опять только вечером, очень усталый, добрался Илья Николаевич до гостиницы «Европа», где за рубль с четвертью имел хороший номер. В том же коридоре, за углом, в общежитии пристроились кое-кто из вагонных его соседей,— Семен Иванович Новиков и даже латинист Ржига в их числе. В этой же гостинице, этажом ниже, жили двое из знакомых ему нижегородцев, тоже приехавшие на Выставку. Покровский остановился в Замоскворечье у знакомых.

Полежав с полчаса и отдохнувши, Илья Николаевич занялся извлечением из нового, купленного им уже в Москве, портфельчика полученных на Выставке бумаг и печатных плакатов и специально для Ауновского прихваченной брошюрки о минеральных богатствах России. Развернул было и газету за сегодняшний день, но читать ему не дали. В номер заглянули нижегородцы с приглашением идти к ним чай пить. Не зря, видимо, весь этот день навертывались воспоминания о Нижнем!

В номере «люкс» у нижегородцев уже кипел само-

вар и была раскрыта форточка от легкого, чуть заметного угара. Бывшие его сослуживцы денег не жалели,— на столе была икра, обложенная четвертушками лимона, масло со слезинками свежести, наструганное по ресторанному гофрированными трубочками, моченые яблоки и водка в графинчике. Ресторан находился тут же, в первом этаже, и расторопный официант внес, вместе с целой волной аппетитнейшего запаха, блюдо хорошо прожаренных перепелочек, с красноватой горкой риса, пропитанного томатным соусом.

— Ну и Лукуллы! — невольно ахнул Илья Николаевич, входя за своими хозяевами в номер и потянув носом.— Что за праздник, по какому случаю?

— Садитесь и не раздумывайте,— пригласил седовласый историк из женской гимназии.— Не каждый год в Москве Выставка!

Они уселись, выпили по рюмочке для начала и закусили икрой на белом, пухлом хлебе. А когда принялись за перепелку, нежные косточки которой, поджаренные докрасна, хотелось грызть и съедать вместе с мясом,— сразу разговорились о прошлом. И опять это прошлое, как давеча на Выставке, встало в памяти Ульянова так ясно и отчетливо, словно и не было двух лет Симбирска.

Нижегородские педагоги, с которыми он сидел сейчас за столом, были не из старых его сослуживцев. Среди них уже не было ни тех, кто воевал с ним рядом, ни тех, против кого он воевал. Его противники возросли в чинах и званиях, занимали посты в округе и в министерстве. А друзья-товарищи, соратники по битвам, разбрелись из Нижнего кто куда. Корсаков, учитель словесности, перебрался в Астрахань, Ауновский еще до него уехал в Симбирск,— да и времена не те,— а хорошие были времена!

— Времена не те, но вас помнят — не забывают, Илья Николаевич,— с чувством сказал один из хозяев, наливая по второй.

Ульянов протянул руку и ладонью закрыл свою рюмку.

— Спасибо, хватит. Говорите, помнят?

— Что ж вы таким монахом — и как еще помнят! Уж после отъезда вашего, когда заседали в конце декабря... Относительно роли повторения на уроках физики

и математики. Выступил ваш дружок Родзевич — помните Родзевича? В гору пошел. Внес он свои глубокие соображенья, но тут председатель оборвал его и зачитал ваше старое выступленье на гимназическом совете о том, как и что повторять и в какой последовательности. Полагаю, говорит, что лучше и лаконичней не скажешь и нечего искать другие формулировки. Ваше старое мнение приняли, господин Ульянов. Да ведь вы, верно, сами видели,— оно в прошлом году, во втором «Циркуляре по Казанскому округу» напечатано!

2

«Ваш дружок Родзевич» было сказано в шутку. И говоривший, и его сосед по номеру знали, что Родзевич был противником Ульянова и что оба они частенько сшибались на педагогическом совете. Но когда Илья Николаевич поднялся к себе на второй этаж и остался один в номере, распахнул окно в прохладный после дождя сумрак, сильно пахнувший московскими липами, и облокотился на подоконник,— эти три слова «дружок ваш Родзевич» вызвали у него не вражду, а только тихую печаль о прошлом.

Прошлое было прекрасно,— сейчас, из симбирской нови, он мог охватить все эти семь лет, весь этот период жизни в целом. Прошлое было полно борьбы, ежедневной, упорной, мужественной, а главное — не одинокой,— бок о бок с друзьями-современниками, единомышленниками. Он их нашел не сразу,— они как-то постепенно обозначились в борьбе и стали подтягиваться друг к другу, не сговариваясь. У них было то, что сейчас в симбирские годы стало не то чтобы ускользать или ослабевать, но расплываться,— была *позиция*. Кажется, так называют точку, занимаемую на местности во время войны... У них была позиция, она определялась с каждым заседаньем все четче; и у противников была позиция, она тоже становилась все отчетливей. Семь лет,— противники победили их, правда; постепенно выжили их, а на старые их места посадили в лучшем случае людей равнодушных или, как нынче любит Боборыкин выражаться в романах,— «бонвиванов», любящих пожить с удовольствием, умеющих заказать в ресторане вот такую пере-

пелочку, о чем другой и не догадается. Бонвиванов,— хорошо живущих. С которыми начальству спокойней. Но мы жили лучше, полнее. Счастливей жили...

Семилетний период, с 1863 по 1869, проходивший сейчас в ярких картинах перед мысленным взором Ульянова, был типичен не для одного только Нижнего Новгорода. Этот период пережила вся Россия, в каждом уголку необъятной империи, и каким бы разным по форме ни изживался он, его внутренний ритм,— взлет его и медленное убывание к концу,— был одинаков повсюду. Как пережил его Илья Николаевич в Нижнем?

После великой реформы 61-го пошли одна за другой реформы помельче, словно развязывались тесемки на тугом русском кошельке, в котором стиснутой лежала общественная деятельность народа. Все свежей и свободней становилось в школе; подоспела школьная реформа 64-го года,— казалось, мы стали ближе к Европе, двинулись собственными ногами, приставив начальственный костыль к стенке. Общая радость педагогов,— сперва она показалась действительно общей, без различия,— когда образовался так называемый «Соединенный педагогический совет», куда вошли преподаватели Нижегородской гимназии и Александровского дворянского института...

Был такой совет и в Казани, но там, под оком у начальства, дело повелось тихо, и дебаты не заходили дальше вопросов, как лучше преподавать латынь, как наказывать провинившихся, нужен ли приготовительный класс. А педагогический совет в Нижнем Новгороде сразу взял тоном выше. Педагоги истосковались по прямому деловому общенью. У каждого накопилась уйма вопросов не только по одному своему предмету. Хотелось говорить, высказываться, делиться, выслушивать критику, самому критиковать,— это носилось в воздухе, и прежние их сборы за карточным столом с мелком, дробившимся в пальцах, с пепельницами, полными вонючих окурков, с неизменным после карт выпивоном для одних, полькой-мазуркой для других,— надоели до одури. Как торжественно, в полную ширь дышала грудь на первых заседаньях, куда собрались учители и воспитатели двух учебных заведений! Обсуждали не мелочь какую-нибудь,— каждому хотелось сказать свое слово об учебниках, опротестовать худшие, выдвинуть лучшие. Встали

большие вопросы о методике,— догматическом или критическом изложеньи курса: о содержании произведенья словесности и как трактовать его в классе; о преподаваньи гимнастики, в прошлом отвергавшемся, о знаменитой троице; катехизическом методе вопросов и ответов на манер Филаретова «катехизиса»; эвристическом,— когда матерьял доводится до понимания учащегося путем беседы с ним учителя; сократическом,— когда наводящими вопросами ученик постепенно как бы подталкивается учителем к нужному пониманью; наконец,— целый ряд споров о живительном значении наглядного преподаванья и связи теории с практикой.

От заседанья к заседанью единодушие участников стало заметно уступать разногласиям.

На первом заседанье, когда возник спор, еще не было видно, куда клонит каждый участник. Знаменательно, что спор начали математик и физик. Зашла речь о том, кем и где должны составляться и рассматриваться учебные программы по этим предметам. Взял слово учитель Позняков,— он был тогда, и все были тогда — еще величинами неизвестными друг для друга,— и предложил создавать специальные узкие комиссии... Илья Николаевич помнит, как встрепенулся он и как тотчас же встал для отпора. Создан только что педагогический совет. Для чего? Для общественного обсужденья школьных проблем. Узкие комиссии — дело прошлого, когда все решалось келейно, административно. Сейчас новая пора, надо решать сообща. Обсужденье программ будет понятно каждому педагогу, непонятное можно объяснить, но каждый может помочь дельным советом, и не следует опять забивать вопрос в кельи. Кто тогда резко возражал Ульянову и встал на защиту Познякова? Директор гимназии Садоков. Но Ульянов в одиночестве не остался: его поддержал Ауновский. И голосованье поддержало общественное обсуждение программ, а не келейное. Так было уже на первом в 65-м году объединенном педагогическом совете!

На втором заседании,— 20 января 1865 года,— разница мнений углубилась. Ульянов доложил совету свою программу по математике. Как хорошо помнит он этот день! Ведь именно тогда-то он и внес в свою программу расширенные представленья о свойствах пространства. Ему, начавшему самостоятельно мыслить в Казани, на-

учившемуся любить и уважать Лобачевского, ценить его гений,— параграф о сферической геометрии и система не только прямоугольных, но и косоугольных координат для средних классов гимназии совсем не казались смелыми.

Но боже мой — какой шум подняли на собрании!.. Кто поднял? Преподаватели, желавшие учить по старинке, путем проторенным,— тот же директор Садоков, тот же учитель Позняков, инспекторы Шапошников и Овсянников, «милый дружок Родзевич», Розинг, именуемый в интимных учительских кругах фон-бароном... А защищали его опять Ауновский, географ Мартынов, словесник Корсаков. С Шапошниковым и Овсянниковым был у них большой курьез в Нижнем, заставлявший их подчас прибегать к библейскому сравненью. В самом деле: там было у них два брата Шапошниковых и два брата Овсянниковых. Шапошников А. А., Шапошников Г. А., Овсянников А. Н., Овсянников Н. Н. Трудно было представить себе бо́льшую разницу, чем в поведении и мыслях этих братьев. Шапошников А. А. пошел по линии чиновничьего службизма, он был инспектором дворянского института, всячески втирался в доверие к попечителю округа. Шапошников Г. А., добродушный и несколько сыроватый человек, типичный педагог по призванию, охотно откликался на всякое общественное начинанье, давал свою подпись под разными смелыми ходатайствами, не боялся спорить с начальством на заседаньях совета. И пара Овсянниковых была точной копией с пары Шапошниковых — там тоже Овсянников А. Н. был всюду, где требовалось угодить начальству, и так же служил инспектором в гимназии, а его брат Овсянников Н. Н. сражался с ним чуть не по каждому вопросу.

На втором заседании эта парочка так же резко разделилась в поддержке и нападках на Ульянова. Но окончательное разногласие обнаружилось на третьем заседании, 15 февраля того же года, когда перешли к проблемам наук словесных. Тема, обсуждавшаяся на этом собранье, была как будто совсем не острая и обычно не выходившая из узкой области грамматики: как надо понимать пересказ содержанья словесного предложения? Тут выступил раньше молчавший учитель Сциборский. Он сказал, что от ученика надо требовать раскрытия

главной мысли, содержащейся в предложении. Никто не ожидал яростного противодействия этим простым словам со стороны инспектора Овсянникова. Он чуть не задохнулся, возвышая свой хриплый астматический голос до крика: решительно против! Какое «раскрытие», что значит «главная мысль»? Так можно довести до бог знает чего, до таких мыслей, неугодных и вредных, за которые потом расплачиваться придется! И опять большинством голосов была принята формулировка Сциборского и отвергнуто кликушество Овсянникова. Так повелось в том году,— и в последующий год,— почти на каждом заседанье: умная, передовая мысль побеждала, передовые методы проводились большинством голосов, разумная деятельность совета попадала даже в столичную газету «Голос», и газета ее поддерживала. И стали выкристаллизовываться группировки: та, в которой действовали инспекторы Шапошников и Овсянников; и та, в которой действовали их братья, педагоги Шапошников и Овсянников. К первой примыкали директоры Садоков и Розинг, подхалимы Позняков и Родзевич, священник Востоков, учители-иностранцы латинского, французского и немецкого языков; ко второй, составя основное ядро ее, Сциборский, Ауновский, Мартынов, Корсаков и Ульянов.

Илья Николаевич, да и другие преподаватели никогда не сидели на этих собраньях молча и никогда не манкировали ими, хотя происходили они довольно часто и продолжались с семи до одиннадцати вечера. По общему уговору курить на собраниях было запрещено и пепельницы со стола раз навсегда убраны. Воздух в зале был чист от дыма. Гимназический сторож Егор приносил на подносе крепкий, табачного цвета чай и горку колотого сахару,— чай пили вприкуску. Народу набиралось много, и совет заседал либо в актовом зале гимназии, либо в одном из самых вместительных классов. Несмотря на то, что дворянский институт находился поблизости и учители его были членами совета, а зал в институте — огромный, с подходящим длинным столом и хорошей акустикой, его почему-то не разрешалось занимать под заседания, и происходили они в гимназии. Да, пожалуй, оно и лучше было,— в гимназии.

Не мудрено, что Илья Николаевич запомнил эти собранья,— он был их протоколистом несколько лет под-

ряд. Отличная идея была — непременно их протоколировать, не от случая к случаю руками доброхотцев, но строго по уставу, с выбранным секретарем. Жалованье секретарю было грошовое — 60 рублей в год, но это закрепляло и обязывало. Были закуплены большие тетради в синих картонных переплетах, какие держат в лавках купцы для записей прихода-расхода, и в них своим тонким, ясным почерком, какой перешел по наследству к двум его младшим сыновьям, записывал Илья Николаевич, так же ясно и отчетливо, каким был его почерк, все споры и решенья педагогического совета.

Эти большие аккуратные тетради сохранились доныне,— им исполнилось сейчас столетие. И сколько ни ругай канцелярщину, исписыванье бумаг, то, что так часто считают простым хламом, годным разве в утиль,— время высоко поднимает над безостановочно бегущей жизнью эту исписанную бумагу, оно превращает ее в драгоценный документ. А документ важен и для картины прошлого, важен и сам по себе, если в нем, как живая мушка в золотом соку янтаря, запечатлелась мысль человеческая, интересная для потомков. Развернув нынче, спустя целый век, протоколы тогдашних педагогических совещаний, педагог мог бы найти для себя не только драгоценный след прожитой большой жизни,— жизни отца величайшего человека нашей эры,— но и много полезного для сегодняшней нашей школы.

Самый факт таких обсуждений учителями двух-трех, а то и больше, городских школ, с наезжающими из уездов,— глубоко поучителен, заключает в себе элемент непрерывного творчества педагогических мыслей, их всесторонней проверки, дополнений, исправлений. Что же сказать о самом содержании бесед? Здесь и неуместно, быть может, приводить их в целости, но тот, кто читает сейчас большие синие тетради, наверняка почувствует высокую драму, заключенную в них, драму истории, верней — волны истории. Человечество верит, что идет вперед. Верит в поступательное движенье истории. Но движение это волнисто,— словно необъятный океан бытия бьет и бьет, накатываясь и отступая, поднимая и опуская бесконечные волны времени... Когда-нибудь, может быть, дойдут ученые до пониманья этих взлетов и падений, этого вдыханья и выдыханья загадочного, невидимого, всегда ощутимого как материнская грудь бытия,— вол-

нистого набеганья и убеганья того существа, что человечество зовет Временем. И подобно каждому движенью в мире, от человеческих шагов по земле до пробеганья света в пространстве, до космических лучей, орошающих землю, как дождевая капель,— откроет какой-нибудь гений физики: движение времени волнообразно.

Дадим заглянуть читателю в эти малодоступные для него синие тетради. О чем сто лет назад спорили педагоги?

Предмет истории, как понимать его? Исторические личности, культ великих людей, воспитание патриотического чувства через преданность обожаемому монарху,— утверждали одни педагоги. Последовательное понимание исторических событий, анализ деятельности великих людей, знание общей картины мира одновременно в разных углах государства и в разных странах, составление синхронистических таблиц, научное изучение истории,— страстно отстаивали другие.

Учебник и отношенье к нему. Для того и дается он, чтобы строго следовать на уроке по нему, не выходя за его рамки; ученику надо заучивать от — до, каждую горстку заданных страниц; учителю излагать урок по учебнику,— так требовали одни педагоги и были даже крайние в их числе, считавшие, что не излагать учителю надо, а даже просто прочитать в классе по учебнику, что в нем написано. Другие яростно возражали: учебник нужен лишь для отталкивания мысли, как трамплин для прыжка; придя на урок, закройте и отложите учебник подальше. Учитель должен вдесятеро, в двадцать раз больше знать, чем напечатано в учебнике,— пусть он даст волю широкому выходу из учебника на уроке, даст почувствовать классу атмосферу, фон эпохи, события, происходящие в государствах, красочно нарисует быт, в каком тогда жили люди, да, да, быт, вплоть до утвари, до одежды,— ведь водят же учеников в музеи, пусть видят они и понимают предметы музея на фоне общего знания истории...

Учебник как таковой. Одни педагоги твердо стояли за рекомендованные министерством и еще тверже за те, по которым учились сами. Они резко возражали против новых, исполненных какого-то странного вольнодумства, каких-то примеров, способных навести на мысли... Разные мысли. Нельзя допускать в школу учебник

Ушинского, «Родное слово»,— это совсем не учебник, это литература! Другие считали, что учебник должен отвечать духу времени. Какой смысл держать учеников в рамках прошлого? Они выйдут из школы в тусклых очках, не видя и не понимая современности, непригодные к ней. Именно потому, что учебник Ушинского хорошо написан, полон рассказов из жизни, связан с практикой жизни,— надо его вводить.

Как изучать словесность?

Здесь резко сшиблись два мнения,— стилистов и смысловиков. Одни настаивали: держаться на уроках словесности — изучения стилей разбираемых произведений, языка их, разницы в синтаксисах, тут же, быть может, давать и общие уроки стилистики, учить правильно, точно, художественно излагать свои мысли. Другие возмущенно протестовали: синтаксис? А что он такое, взятый сам по себе, без личности писателя, без его направления? Синтаксис у фонвизинского Митрофанушки, без раскрытия глубокого критического смысла комедии фон-Визина? Вздор! Стиль — это характер писателя, и надо показать в классе не только как, а зачем и для чего пишет писатель, зачем и для чего прибегает к таким-то и таким стилистическим приемам, чему хочет научить своих читателей.

Предмет географии. Одни преподаватели смотрели на географию как на легкий урок, где главное и единственное со стороны учителя — это развивать память и воображение ученика; память — в заучивании десятков названий стран и морей, заливов и проливов, рек и горных хребтов; а воображение — в представлении всего этого перед глазами и с помощью картин и карт живописно, словно побывал там. Другие называли подобное понимание географии узостью. Критик Добролюбов в своей рецензии на учебник Ободовского «Природа и люди. Уроки географии» высмеял подобную узость. Не ссылаясь на Добролюбова, которого все читали, но никто не смел называть,— они утверждали широкую образовательную роль географии, воздействие ее не на память и воображение, не на зубрежку и картинки, а на умы учеников. Сравнивая климаты и естественные богатства стран, их отношения к морю и к водным путям, ученики, естественно, ставить будут в центре географического урока — роль человека и человеческого общества в

определенных природных условиях, они дойдут до понимания и роли природы в развитии общества, и роли общества в переделке природы, в ее использовании, в умении заставить ее служить человеку... Можно ли забывать это, говоря о природе в государстве, где подготовляется юбилей царя Петра, преобразователя природы и общества?

Предмет физики и математики. Одни считали, что достаточно изложить основные законы этих наук, знать о них главное; другие требовали систематического изложения этих законов, а значит — последовательной истории их открытия. Нельзя понять в точных науках последующего без предыдущего. А раз так — само движение этих наук от закона к закону запрещает останавливаться на давно пройденном, на старых учебниках, когда в окно школы стучится жизнь с ее новыми открытиями. Отсюда — нельзя излагать оптику без знания тригонометрии, нельзя останавливаться на элементарной математике, когда требуются более широкие представления о природе пространства, отвечающие развитию математики в будущем...

Предмет латыни. Одни настаивали на программе, сплошь основанной на выучивании наизусть и переводах классиков. Другие утверждали: одних переводов далеко не достаточно! Получатся отрывки без начала, без конца. А надо прежде всего познакомить учеников с сочинением в целом, из которого берутся для перевода отрывки, с его автором, с целью и характером созданного им произведения. Следует увлекательно рассказать об этом и передать содержание всего произведения.

Об уроках немецкого языка. Здесь, наоборот, одни защищали полный курс немецкой литературы в гимназии. Другие энергично выступили против,— нельзя уделять немецкой литературе больше, чем русской литературе, а цель — освоить немецкий язык с некоторым знанием немецкой литературы — лучше всего достигалась бы увеличением времени для переводов с немецкого на русский отрывков из лучших творений классиков.

О повторении в математике. Одни, возражавшие против систематичности в изложении предмета, уверенно высказались и против «излишнего повто-

ренья» раз пройденного. Другие, опираясь на глубокий закон, сформулированный Кóменским еще двести с лишним лет назад — «повторение — мать знания»,— «repetitio est mater studiorum»,— и на мудрую формулу развития этого закона: «Multa rogare, rogata tenere, retentadocere» [1],— недавно приведенные господином Миропольским в журнале министерства народного просвещения, настаивали на необходимом повторении пройденного...

Чему надлежит быть в Нижнем Новгороде,— классической гимназии или реальной? Одни твердо тянули в сторону классической, другие, ссылаясь на быстрый промышленный рост родного города, высказывались горячо за реальную.

Можно было бы книгу исписать, рассказывая о спорах и беседах этих скромных протоколов скромных учительских собраний в скромном городе Нижнем на подъеме и спуске общественного настроенья в знаменитое десятилетие шестидесятых годов прошлого века. Но мы ограничимся только еще немногим, скользившим сейчас, подобно облакам в небе, по возбужденной памяти Ильи Николаевича.

Что было ясно, как день, во всех этих протоколах? Две группы, занимавшие каждая свою позицию. Но какой была позиция каждой группы? Первая, о чем бы ни говорила она, тянула школу назад, к знакомому и проверенному, и больше всего противилась развитию мыслей у школьников, приучению к самостоятельности чтения и мышления, к критике читаемого и, значит, расширению их интеллигентности, в чем усматривала эта группа опасное и недозволенное начальством. Вторая всегда высказывалась в обратную сторону, желая воспитать поколение сознательное, образованное, критически разбирающееся в истории, стоящее в уровень со

---

[1] Много раз (многое) спрашивать, спрашиваемое удерживать (в памяти), удержанное преподавать (удержанному учить); полная цитата из Коменского заканчивается словами: Haec tria discipulum faciunt superare magistrum,— то есть: эти три правила дают возможность ученику превзойти учителя.

своей эпохой и способное двигать эту эпоху вперед. Да, это было ясно, и ясно, что именно свежие, смелые высказыванья этой группы импонировали большинству на собраньях, и большинство это при голосованьи поддерживало их. Но всегда ли поддерживало? Нет, не всегда. В 1866 году раздался выстрел Каракозова...

Каков был прямой результат этого выстрела? Сам по себе он был безрезультатен, царь не только остался жив, но и не испугался,— в тот же вечер отправился во французскую оперетту. А последствия для всего общества были ужасны. Волна времени хлынула обратно, сперва словно остановив хребет свой в облаке пены на берегу общественной жизни... Волна времени! Так заметно понизился тон второй группы учителей, защищавших передовое. И так вознесся в своей уверенности голос тех, кто шел наперекор движенью истории, тянул ее назад. Медленно шло это сползание, но заметно,— и всего заметней сказалось оно на голосованьи. Уже не поддерживая передовую группу учителей и предложенья их, голосующие начали проваливать эти предложенья. Так прошла в Нижнем классическая гимназия вместо реальной. Илья Николаевич покидал Нижний в самый разгар этого сползания времени, в 69-м году,— оно довершилось реакционной реформой школы в 1871-м, уничтожившей либеральные черты прежней реформы 64-го года.

Но что еще вычитывалось из протоколов? Люди в обеих группах были разные,— и по специальности, и по складу характеров, и по вкусам,— но люди эти в пределах каждой группы и были, и оставались годами одни и те же. В той, что всему передовому противилась, от начала и до конца состояли директор Садоков, инспекторы Шапошников и Овсянников, Розинг и Родзевич, протоиерей Востоков, учитель русского Маслов, математик Позияков и иже с ними,— имена эти уже были названы выше, как и светлые имена Сциборского, Мартынова, Ауновского, преподавателей Шапошникова и Овсянникова и самого Ульянова,— но не было сказано подробно об этих последних, а подробности с уважением передавались в педагогических кругах и с опаской в кругах начальства. Б. И. Сциборский известен был как друг и однокашник Добролюбова по Петербургскому педагогическому институту. Географ Мартынов назубок знал писания Чернышевского, хотя уже в те годы имени Чер-

нышевского открыто не называли ни в разговорах, ни в печати. Читали Чернышевского и Добролюбова и все другие в этой передовой группе,— книги «Современника» и «Русского слова», покуда не были запрещены эти журналы, переходили у них из рук в руки, все поколение их, можно сказать, воспитано было на передовой петербургской журналистике. И в группе этой высоко чтился характер Ульянова, чтилось слово его, всегда продуманно-ясное, смелое, подкованное трезвою логикой,— трудно было оспорить его, почти невозможно опровергнуть.

Еще одна особенность вычитывалась из протоколов. Докладывали о своем предмете всегда учители, этот предмет преподававшие. Но,— и в этом была громадная живительная сила обсуждений на объединенном педагогическом совете,— обсуждался и критиковался доклад отнюдь не специалистами по данному предмету, а всеми учителями. Общее понимание проблем педагогики, как проблем универсальных, было настолько живо и сильно в те годы, что мнения неспециалистов выслушивались с глубоким вниманьем, всегда вносили нечто новое и часто принимались большинством,— и если б сказал тогда кто-нибудь: «помилуйте, пусть о словеснике судит словесник, о математике — математик», если б сказали это тогда, на сказавшего поглядели бы с удивлением. Ведь и математик, и словесник, и прочие — все судили о единой, всеми ими представляемой науке,— о педагогике и ее проблемах. Так,— географ Мартынов критиковал словесника Маслова и предложил ему ввести в программу вместо сказок Гримма — русские народные сказки. Математик и физик Ульянов высказался о географии, критикуя невежественного преподавателя Иванова; указанье латинисту Никольскому о том, что надо при переводах отрывков давать в классе ясное представленье о характере и направлении писателя и знакомить класс с полным содержанием переводимого сочиненья,— сделал опять-таки математик Ульянов. Так же и замечание о том, что излишен целый курс истории немецкой литературы в гимназии, когда русская литература излагается неполно, тоже принадлежит Ульянову. На протяжении всех лет живой и ясный ум Ильи Николаевича, его глубокая заинтересованность в постановке ученья, в программах отнюдь не только одних его предметов за-

ставляли Ульянова постоянно высказываться, не обходить молчаньем ни одного вопроса.

И так же заметно было из протоколов убыванье с годами возможностей прогрессивной группы учителей влиять на решение важных проблем, добиваться одобренья большинства. Оно, одобренье это, быть может, и таилось в душах по-прежнему, но голосовать за него становилось небезопасным...

Илья Николаевич очнулся от дум, почувствовав, как отсырели рукава его сюртука — он долго, долго стоял у раскрытого окна, опершись локтями о мокрый подоконник. Ночь зашла далеко за половину, огни на улице давно погухли, и только красновато мерцали редкие газовые фонари. Они не могли прогнать темноты этого часа,— темнейшего в ночи перед рассветом; и наверху, в черном небе, он увидел большие звезды, тоже словно смоченные дождем, словно слезинки, стоящие в чьих-то широко раскрытых глазах...

3

День свой на Выставке инспектор Ульянов проводил точно по плану. Два утренних часа, до открытия самой Выставки, он сидел на педагогических курсах, всякий раз занимая одно и то же крайнее место, где сел в первое утро. Потом шел наверх, в отдел прикладных пособий, и подолгу изучал каждое, казавшееся ему полезным для народных школ и не трудным, чтоб сделать на месте. К небольшой фигурке его и длинной лысинке уже привыкли и гиды, и комитетчики. Где было возможно, они снабжали его чертежами или каким-нибудь, за излишком не попавшим на полку пособием, охотно отвечали на вопросы и даже в свободную минуту, когда народу не было, сами начинали разговор. Почти все на третий же день узнали, откуда он, и обращались к нему по имени-отчеству. Как раз в этот день случилось событие, о котором им до зарезу нужно было поделиться с ним, но именно этот день стал для Ильи Николаевича исключением из программы. Прослушав лишь первую лекцию, он быстро заторопился к выходу, нанял тут же, у экзерциргауза, дремавшего извозчика и попросил ехать к Ходынскому полю.

Осенью 1871 года, в самых первых числах сентября, Александр II был в Тюмени и монарше соизволил поглядеть на кочующих калмыков. Он знал о них не больше тех парижан, кто глазел, стоя на тротуарах, как в рядах победоносной русской армии, разгромившей Наполеона, лихо скакали на своих мохнатых лошадках знаменитые своей отчаянной храбростью калмыцкие части, в национальных одеждах и шапках, в дорогом сафьяне, с приподнятыми на сапогах носками на китайский манер. Но в Тюмени ему широко были показаны быт, религиозные обряды, свадьбы, конские состязанья, перекочевки калмыцкого народа, и все это,— драгоценные уборы, множество золотых и серебряных божков, пестрота и яркость обрядов очень понравились царю, и царь милостиво заметил, что следовало бы показать все это на будущей выставке в Москве.

Некий ловкий предприниматель воспользовался царским мановением бровей. В Москве на Ходынке построили огромный цирк на 2000 сидячих мест и 36 лож. В центре его сделали арену ста саженей в длину и пятидесяти в ширину. Деньгами и обещаниями, заискивая у калмыцкой знати именем царя, а у богатого ламы — подарками, предприниматель собрал пятьдесят калмыков, вместе с женщинами и духовенством, и привез их в Москву с семью кибитками,— одна из семи была «хурулом» — храмом; с предметами домашнего и церковного быта, двадцатью четырьмя знаменитыми лошадками и пятью верблюдами. Газеты задолго описывали предполагаемое зрелище, особенно богослужение,— настоящее, в настоящем хуруле, исполнителями духовных обрядов «гелюнами» и помощниками их «гецуль» и «манжик». Перевирая факты и названия, газетные фельетонисты рассказывали москвичам, что «астраханские калмыки выкочевали из Китая в 1630 году, заняли громадный район между Волгой, Каспийским морем, Кавказом, землей Войска Донского и Саратовской губернией. Кочующий народ, не знающий оседлости, ныне состоит из 60 000 человек монгольского происхожденья, делится на семь округов, именуемых улусами, из коих четыре государственных, а три принадлежат частным лицам, религия у них ламайская, и главное духовное лицо, лама, кочует вместе с паствой».

Трудно было проверить, насколько эти беглые газет-

ные данные справедливы. Но москвичи проявили к калмыцкому цирку, о котором писалось, что это «частное предприятие», повышенный интерес. Покуда вели с вокзала величавых верблюдов, презрительно глядевших на толпу из-под мохнатых бровей, восторгу мальчишек конца не было. Но вот показались маленькие мохнатые лошадки с ногами, словно отлитыми из стали, а за ними кибитки... Пока размещали все это на Ходынке, в Москве только и разговору было, что о предстоящем зрелище. Попы отплевывались при описании богослужения: в хуруле все будет всерьез, бурханы — сидячие лепные идолы, разрисованные красками, множество золотых божков на каждое явление природы и каждый жизненный случай, серебряные жертвенники в виде чашечек с пшеницей и фруктами, а при богослужении музыка: трубы наподобие флейт, но в сажень длиной; тарелки вроде литавр; раковины, издающие звук при дудении в них; бубны и звоночки тонкой китайской работы.

— Тьфу, тьфу, прости господи! Язычество будем проповедовать,— сказал Чевкину даже священник церкви Успенья, считавший себя образованным и без предрассудков.

— Цветочки русского колониализма,— вскользь заметил Жорж.

Извозчик подвез Илью Николаевича к цирку как раз вовремя. Огромные афиши извещали о том, что с двенадцати дня до потемнеиья здесь будет проведен весь, со всем житьем-бытьем, личным и всенародным, «день калмыцкого народа». Расплатившись с извозчиком, Илья Николаевич купил сидячее место в первых рядах и, вдыхая воздух цирка,— смесь пыли, песка, животных испарений, мокрой лошадиной шерсти,— пробрался к нему через тесную толпу. Кто-то, одетый в обычное немецкое платье, уже говорил с арены вступительную речь, едва слышную даже в первых рядах,— что-то вроде «не зрелище показное для забавы, а настоящее житейское дело, перекочевали под Москву, кочевать им все равно, где и куда, корм для лошадей и верблюдов получили и живут сами по себе, как всегда, как у себя дома, не стесняясь взглядов. Тайн у них нет!..»

— Неважно, что тайн у них нет,— сказал кто-то за спиной у Ильи Николаевича,— it is not decent, это нескромно, неблагопристойно жить на виду, как для спек-

такля... «Итс нот дизн...», такое надоедное в приличных домах английское выраженье наверняка принадлежало какой-нибудь гувернантке. Илья Николаевич обернулся посмотреть,— и правда, за ним сидела старая суховатая мисс в крашеных букольках рядом со своим питомцем, прыщеватым и хилым мальчиком лет двенадцати.

«Тайн у них нет... бедные, проданные своими же за русские рубли, что же им делать?» — с горечью подумал Ульянов, отвернувшись от говорившего на арене и переводя глаза на кибитки. Они стояли по три в ряд, открывая дорогу к центральной,— хурулу. Начиналась церемония богослужения, действительно проводимого всерьез. Яркое солнце сияло в небе, с утра безоблачном, и мешало как следует рассмотреть, что происходит на сцене. Изредка ослепительный «зайчик» от гладкого золотого предмета, отполированного до блеска, ударял в глаза и слепил, огненно горели одежды из шелка, красного и желтого. Илья Николаевич нагнулся вперед и прикрыл глаза от солнца.

Один из гелюнов, облаченный поверх одежды в длинный халат пунцового цвета, в плоской пятиугольной шапке двигался к раскрытому настежь хурулу. Внутри хурула виден был яркий, великолепно расписанный бурхан, осененный многоцветными шелковыми хоругвями, и серебряные чашечки перед ним с жертвоприношеньями. Навстречу идущему гелюну из хурула выходит другой, держа в руках просверленную раковину, обвитую тоже разноцветными лентами,— словно ковер ярких горных цветов, перед глазами переливалось и сверкало на солнце это многоцветье шелков и росписи, золота и серебра. Гелюн, вышедший из хурула, поднес раковину к губам и издал свист, сперва слабый, потом сильнее,— оглушительней, крещендо,— и под звуки острой, пронизывающей трели выходит медленно, важно, мелкими шажками по ковру шествие гелюнов по два в ряд. На них китайские короткие юбки, сафьяновые сапожки, высокие головные уборы, начинается обрядовая музыка,— трубы, тромбоны, литавры, барабаны. Острые и отрывистые звуки как бы вызывают и вызывают людей, и вот, по их зову, по три человека в ряд, выходят из кибиток калмыки и склоняются перед хурулом. Казалось, по выходе из хурула первого священника — в нем уже никого

нет, кроме раскрашенного бурхана. Но, выступая из глубины палатки, идет новый гелюн,— с лейкой в руках. Он льет из нее воду на протянутые к нему ладонями вверх руки калмыков, и те умывают ею себе лицо и голову.

И опять приходит на ум сравненье с цветами, с растительным миром. Все здесь необычайно пестро, узорно по рисунку, ласкает глаза приятным, гармоничным соотношением красок, ярких, как на хвосте у павлина; все подражает природе, раскинувшемуся ковру лугов, заросших цветами. Ничего ужасающего или пугающего глаз, и вместо кровавых жертв — пшеница, фрукты в серебряных чашечках. И в заключенье — вода...

— Какой симпатичный народ! — опять услышал Илья Николаевич от кого-то по соседству.

Обряд закончен: наступает передышка,— солнце склоняется уже ко второй половине дня. Опять некто в немецком платье,— черным пятном, как диссонансом, врываясь в многоцветье арены, кричит что-то. Первые ряды разбирают: можно выходить в перерыве, осматривать кибитки, кто пожелает — закусывать в ближайшем ресторане или пить калмыцкий чай,— весьма здоровый и полезный напиток; а также рекомендуется кумыс,— кобылье молоко, тут же надоенное. В шесть часов начнутся игры,— выгон табунов, выгон дикого коня, джигитовка, скачки, показ перекочевья, умыкание невесты...

Часть зрителей уехала в город пообедать на Выставке; кое-кто разошелся по домам, удовольствовавшись богослужением. Но Илья Николаевич, повинуясь особому чувству, весь день не покидавшему его, спустился со своего места на арену. Он шел между кибитками, внимательно разглядывая их и вдыхая сухой, войлочный запах. В одном месте был зажжен костер, прикрытый для медленного огня; на тагане стоял котел с молоком, не столько кипевшим, сколько испарявшимся, а внизу, на земле, стоял другой котел, соединенный с первым дугообразной трубой. Пар от нагретого молока шел через эту трубку в нижний, холодный котел, и в нем, охлаждаясь, превращался в калмыцкую водку, «арка». При перегоне во второй и третий раз арка становилась уже спиртом, «арза». Ему со всех сторон предлагали чарочки,— он, улыбаясь, благодарил и шел дальше, туда, где

перед кибиткой стоял низенький стол с чурбачком, а от близкого костра с гудевшим над ним котелком плыл аромат,— любимый его аромат еще с детства: там кипел калмыцкий чай.

Илья Николаевич присел на чурбачок. Старая калмычка, выйдя из кибитки, внимательно поглядела на него и молча поставила перед ним круглую чашку без ручки, похожую на узбекскую пиалу. Подняв котелок с помощью полотенца, она ловко наклонила его над чашкой, и ароматная коричневая жидкость полилась из него в чашку; потом так же молча поставила перед ним солонку, розоватого сливочного масла на блюдце, какое издавна сбивают в Вологде, и на расписной красивой тарелке завертушки из поджаренного ячменя. «Овечий сала нема, кушай русски масла»,— четко выговорила она и тут же улыбнулась. Старое лицо ее собралось в уютные, добрые морщинки.

— Спасибо, мать,— сказал Илья Николаевич, посолив знающим опытным движеньем чай и бросив в него кусочек масла. Отпил, еще отпил,— и прибавил: — Хорошо!

Было в самом деле удивительно хорошо сидеть возле кибитки и пить этот настоящий чай, знакомый и любимый с детства,— привыкнув, до конца жизни не перестанешь любить его.

— Как вы можете пить это? — раздалось возле него. К столику подошел тот самый сосед, что сидел рядом с ним в цирке, и сказал: «Какой симпатичный народ». Он был в офицерском мундире, уже в летах и очень тучен.

Илья Николаевич тревожно оглянулся и тихо ответил:

— Не обижайте, тут понимают по-русски,— а потом добавил погромче: — Я сам — астраханец и с детства привык. Этот чай, кто привык к нему, кажется вкусней любого напитка. Он очень полезен. Древние египтяне, вы, может быть, читали об этом, вместо «здравствуйте» употребляли вопрос: «как вы потеете?» Считалось самым существенным для здоровья... Так вот от калмыцкого чая вы пропотеете за милую душу, вся хворь, если есть она в вас, выйдет с ним...— Он медленно, между глотками говорил это, с удовольствием похрустывая жареным ячменем, пока старая калмычка придвигала толстому воен-

ному другой чурбачок. Тот сел, но от чая отказался,— и без чая пот градом лил с его жирного, раскрасневшегося лица. Между тем Илья Николаевич, не смущенный критикой соседа, выпил вторую и третью чашку. Калмычка получала с него деньги как будто нехотя. И в ее быстрой фразе на родном языке, сказанной на прощанье Ульянову, послышалось ему слово «сынок».

Между тем время подходило уже к шести, когда начинались зрелища, и пора было занимать места на трибуне,— уже не в цирке, а неподалеку,— на бегах. Покуда оба устраивались, найдя сиденья в тени, офицер расспрашивал Илью Николаевича о том, как делается этот полезный коричневый напиток. И Ульянов обстоятельно объяснил все подряд: надо купить особый чай, спрессованный кирпичом — плиткой,— он делается специально для кочевья; кипятить этот чай, потом процедить через ситечко или чистый платочек, долить молоком,— половина на половину,— снова поставить на огонь, а пить непременно с маслом, с солью и либо с поджаренной ячменной мукой, либо с сухариками.

— Когда соскучусь дома по нем, я и простой чай долью молоком, посолю, положу масла,— и кажется, будто калмыцкий,— добавил Илья Николаевич.

Выпустили лошадей. Быстрые, как огонь, они стрелой промчались на волю, взмахивая длинными черными хвостами. Калмыцкие юноши ловко догоняли их, закидывали седла, взнуздывали. Началась бешеная джигитовка, какой не то что казачество, даже на Кавказе не знают. Всадники вертелись, стоя во весь рост на скачущих лошадях, скользили вниз головой, неизвестно как держась телом на крупе, ловили на всем скаку подброшенный хлыст, мгновенно поднимали с земли брошенный головной убор и тут же, мягко взлетая, словно по воздуху, опять держались стоя, словно летели над лошадью, не опираясь на седла, пританцовывали, на всем ходу взлетали на круп чужой лошади и через миг опять назад, на свою,— ни один знаменитый циркач-акробат не сделал бы точнее и лучше. Лица у них, как и у зрителей, разгорались, ветер с поднятой мелко-песочной пылью свистел в ушах, попадал в рот.

— Лихо! Лихо! — приговаривал рядом с Ульяновым толстый офицер.

Потом вдруг наступила относительная тишина. Появи-

лись по две, по три нарядные, совсем молоденькие, едва ли старше пятнадцати-шестнадцати лет, калмыцкие девушки,— круглые розовые лица, черные родинки на щечках возле рта, словно в преддверии улыбки, быстрые черные глазки, удивительная грация тоненького стана, где длина от талии до кончиков загнутых, как у лунного серпа, красных сапожек ни на миллиметр не превышала длины от талии до верхушки головы, и все это — в шелесте пестрых шелков, в ярких вьющихся лентах, в мельканье красного сафьяна, словно взял кто-то горсть драгоценных камней или развязал букет из редкостных, невиданных цветов,— и разбросал по песку.

— Сейчас вы увидите похищение невесты, девушки из одного становья — парнем из другого становья,— громко сказал все тот же мужчина в черном, вынырнув на арене.— В калмыцком народе это происходит не так, как у других народностей и племен, населяющих нашу империю,— прошу обратить внимание на разницу.

Сидевший с Ульяновым офицер наклонился к нему. Это был, несмотря на тучность свою, человек бывалый, в молодости поездивший по всему свету и даже дравшийся на дуэли. Он хорошо знал женщину,— женщину вообще, как предмет отвлеченной философии.

— Заметьте,— сказал он тоном эксперта,— пропорцию. Какова пропорция! Насмерть бьет всю литературу. В книгах воспевают длинные ноги у женщин, разное там золотое сечение. Англичанки — у тех ноги чуть не вдвое длиннее прочего торса, как, извините за сравненье, у английских скакунов. Ну, а я терпеть не могу длинноногий тип, равновесия нет, ломкое что-то, ненормальное. Мне подавай, чтоб крепко стояла на двух ножках. Вон те, молоденькие,— классическая пропорция. Эдакие крали!

Илья Николаевич насупился, он даже покраснел немного,— он терпеть не мог таких разговоров. Не дождавшись ответа, офицер замолчал. Между тем действие на ристалищах развивалось своим чередом. Откуда-то, и тоже по двое, по трое в ряд, появились юноши из чужого становья — улуса, в другой, нарядной одежде. Они гуляли мимо девушек, задирали их, перекидывались словечками на родном языке. Вначале казалось, что в действии участвуют все сразу. Но потом заметно выделились двое. Красивый калмык с круглым китайским лицом и

такой же красоты девушка-цветок, грациозней всех своих подруг в движеньях. Парень не показывает виду, что отметил ее, одну из всех; она не показывает виду, что поняла это. Игра продолжалась, грациозная, слаженная, несколько минут, видимая каждому зрителю. Но вот юноши из чужого становья ускакали, словно и не было этой игры. Двое статистов выносят на длинной палке вызолоченный серп месяца и водружают палку на ристалище,— это значит, что наступил вечер; табуны загоняются домой, в кибитках готовят ужин, пришло время доить кобылиц.

Красотка девушка появляется снова с серебряным ведерком в руках. Ведут за узду кобылицу. Ставят под ней скамеечку. Уходят. Девушка одна в золотом сиянье молодого месяца, как должно казаться зрителям. И тут, тихо-тихо, подкрадывается калмык из чужого становья, облюбовавший себе нв гулянье красотку. Мгновенье — она у него на руках, он вскакивает с ней на седло, мчится,— но вокруг все ожило, целое становье — старики, женщины, дети,— уже в седлах, и мохнатые кони яростно нахлестываются. Погоня, погоня! Крики, взмахи кнутами. Зрелище стало зврвжать сидевших на трибуне своей отчаянной выразительностью, словно это уже не игра перед ними, а жизнь. Но вот между похитителем и преследующими расстоянье ствло понемногу сокращаться. Он нахлестывает коня. Но другие кони тоже рвутся вперед, вытянув почти горизонтально морды и хвосты. Еще пять минут, минута,— десятки рук хватают лошадь похитителя, поднявшуюся на дыбы Под ее тонкое ржанье пойманного ведут к родителям девушки.

— Обратите вниманье! — опять раздается голос гида.— Его будут сейчас наказывать. Но не зв то, что он похитил девушку, а за то, что дал себя поймать! Это и есть разница!

Похитителя заставляют в наказанье плясать, девушек бьют по ногам нагайками, потом поколачивают и пляшущего,— зачем сдал, зачем позволил отбить? Наконец наказанье, выполняемое больше символически, прекращается. Жениха поят водкой «арка». Он становится своим, кунаком, и входит в семью невесты.

За умыканьем стали показывать борьбу, потом народное гулянье, песни, танцы. Опять пронзительно зазвучала музыка... А над мнимым позолоченным серпом сгусти-

лись небесные краски, потухла синева неба, наступил настоящий вечер,— и трибуны вокруг мало-помалу обезлюдели. Нагулявшись за целый день, люди расходились веселые, приятно усталые, и сосед Ильи Николаевича опять произнес свою прежнюю фразу — «очень симпатичный народ».

Ульянов шел домой пешком, ему захотелось вдруг размять ноги, сделать длинную, многоверстную прогулку, ни о чем не думая, выключившись на время из напряженной работы. Он прошел от скачек до своей гостиницы на удивленье быстро, и дорога совсем не показалась ему дальней.

Тем, кто работал на Выставке всерьез, как Илья Николаевич, такие временные передышки были совершенно необходимы, они освежали утомленный мозг, возвращали к работе с новыми силами. Сейчас хорошенечко заснуть, ни с кем не встретившись, а утром — на лекцию,— думал Илья Николаевич, поднимаясь к себе в номер. Но к удивлению и досаде — его перехватили на площадке. Последние два дня он не успевал прочитать газет, хотя покупал аккуратно и складывал кучкой на подоконнике впрок, до свободной минуты. Между тем народ на площадке, три его вагонных спутника, среди них Семен Иванович Новиков, с очередным номером «Вестника» в руках, встретили его криком: «Читали? Читали?»

Отделаться и уйти спать стало невозможным. Стоять на площадке — неудобно. Ульянов пригласил их к себе в номер, зажег лампу, и трое народных учителей, знакомый ему Новиков из Саратова, пензенский Витя Беляев и некто Костерецкий, тоже, кажется, волжанин, расселись на двух стульях, а сам он на кровати. Семен Иванович развернул номер 73 «Вестника», стараясь не высказать душившей его гордости. Еще бы! Критическая струя в литературе русской, оказывается, вовсе не пресеклась, можно смело подать свой голос, и тебя напечатают, можно пройтись по господам-хозяевам так, что любо-дорого, почувствуют силу простого человека!

— Наш Семен Иванович литератором заделался! — волнуясь, произнес маленький, синеглазый, похожий на девочку Витя Беляев. В вагоне он больше молчал, слушая других с широко раскрытыми глазами, часто дыша, и показался, откровенно говоря, недалеким, осо-

бенно рядом со смекалистым Новиковым. Илья Николаевич впервые заметил, какой у него хороший грудной голос.

Новиков не удержался и счастливо улыбнулся. В «Вестнике» за подписью «приезжий учитель» было напечатано письмо редактору. Пальцем показав на подпись, Новиков сказал: «Это я буду, Илья Николаевич». Как ни устал Ульянов, как ни просились глаза и мозг его к покою, к немедленному сну, он сделал над собой усилие и внимательно прочитал письмо. Это была грубая критика отдела школьных пособий, выставленного военными учебными заведениями на хорах манежа, где сам он проводил почти целиком вторую половину дня. Наглядные школьные пособия назывались в ней почему-то «детскими игрушками». В самом начале знающе упоминались фамилии: господин Чернохвостов, господин Каховский. В течение четырех дней, писал «приезжий учитель», никто не мог разгадать целей и сути выставленного, и спросить было не у кого, так как Чернохвостов отсутствовал, а Каховский уехал. Никто не заглядывает на хоры, никто ничего не объясняет из выставленного военно-учебными заведениями. «Многие учители, приехавшие на педагогические курсы с разных сторон России, очень желают подробно познакомиться с выставленными в военном отделе Выставки предметами, но, к сожалению, никто не помогает. Поверхностные объясненья, которые теперь делаются, явно недостаточны. Пользы от них нет. Нам, учителям, желательно, чтоб подробно, хоть по частям объясняли, иначе труды по выставленью многих и многих предметов напрасны». И дальше шло уже совсем другим языком, словно автора подменили: «При той системе расстановки предметов, которая принята учебным отделом (если только принятое расположение предметов можно назвать системою) без толкового указателя — изучение выставленного положительно невозможно. Впрочем, все сказанное относится к числу предметов, выставленных на хорах и в манеже; что касается предметов, расположенных в образцовом училище «павильон № 12» от Министерства просвещения, всякий любознательный человек может узнать все с мельчайшей подробностью от экспонентов».

Илья Николаевич сложил газету и вернул ее Новикову. Он еще не совсем понял, почему,— но у него сложи-

лось во время чтения какое-то странное ощущенье фальши, подтасовки, чего-то не совсем реального...

— Вы это сами написали?

Новиков покраснел. Он кивнул утвердительно головой. Но Витя Беляев повернулся к нему: «А как же ты говорил?» Было ясно, что тут есть еще нечто неразъясненное. Усталость мало-помалу перешла в Ульянове в знакомое чувство, всегда вспыхивавшее в нем при пробуждении мыслей: доискаться правды, изложить ее, убедить в ней других. Таким правдолюбием отмечен был, в сущности, весь путь его как борца в Нижнем.

— Когда вы побывали на хорах, Семен Иванович? Дело в том, что я там ежедневно, с одиннадцати, как откроют,— бываю, сразу по окончании лекций, и вас там ни разу не встретил.

Витя Беляев опять повернулся к безмолвному Новикову и громким шепотом проговорил:

— А как же, Сема, ты нам сказал про господ, которые сами тебе предложили и даже писать помогли, помнишь?

Двое каких-то газетчиков, а может быть, служащих в министерстве, подхватили где-то в столовой Новикова, как представителя школы народной, «главное лицо, для которого Выставка устроена», и наперерыв расспрашивали его о впечатленьях, сопровождая свои вопросы замечаньями от себя. Замечанья эти так смешались постепенно с вопросами, а потом и с ответами Новикова, что получилось как бы единое впечатленье всех их троих вместе. И там были «игрушки, разложенные военными заведеньями»; там были шпильки в адрес неведомых Новикову Чернохвостова и Каховского; там было брошенное вскользь ироническое «если это можно назвать системой» и там были,— будто бы чтоб не охаять все сразу, а выделить достойное,— ловко просунутые фразы насчет образцовых коллекций Министерства просвещения, выставленных в павильоне № 12. Полнота собственных сведений поразила и в восторг привела Семена Ивановича. Вот бы черкнуть в газету, восхищенно пробормотал он, сам себе не веря. И вдруг чудо свершилось, на столе появился лист бумаги, кто-то подложил ему карандаш, кто-то настойчиво советовал не терять зря такие мысли, помочь Комитету исправить ошибку, возвысить голос от народа, от русской земли, показать, как вырос народ.

И когда Новикову показалось, что он ни за что, ни в жизнь, не справится с такой задачей,— она, эта задача, сама собой справилась руками Новикова, руками двух его новых товарищей! А самое удивительное — через каких-нибудь два дня все появилось в печати, и как здорово выглядело оно, какой серьезной казалась критика,— совсем вроде «Отечественных записок».

— Не совсем вроде,— сухо сказал Илья Николаевич.— В «Отечественных записках» критикуют, что сами видели, а не с чужих слов. Что вы называете «игрушками», Семен Иванович? Игрушек я не видел, а видел наглядные пособия. И, например, в павильоне № 12 я тоже повстречался с представителем прессы, с сотрудником журнала «Народная школа»,— получил от него в подарок последнюю книжку.

Он встал, вынул из ящика стола книжку и положил ее на стол:

— Глядите, «Народная школа», педагогический журнал, год 4-й, июль, № 7, 1872. Тут о павильоне № 12 тоже есть, но далеко не с похвалой.

Он поднял книжку повыше к лампе и стал читать:

— «Сравниваешь свое с чужим, и нехорошо как-то становится на душе от тех выводов, кои получаются от такого сравнения; ...нехорошо потому, что иностранцы гораздо серьезней отнеслись к Выставке, лучше поняли ее цель... показали не только разных сортов мебель, карты, картины, музыкальные инструменты и т. д., но и стальные перья, ручки, ножички, карандаши. Они не забыли, а мы не имеем некоторых отделов школьной жизни, мы на школьных столах не только забыли чернильницы, но и не показали, где и как они должны стоять...»

— Подумайте, в образцовой народной школе забыли чернильницы на партах! Дальше он пишет, что в этой образцовой школе в сенях нет вешалок, нет кадки с водой для питья, нет и умывальника. Насчет наглядных пособий вот что сказано: «Разве сельский учитель не сработал бы, не изобрел бы сам хороших пособий? Но всем этим награждает столица, пересылает по почте за сотни и тысячи верст, берет втрое и вчетверо дороже («это при нашем-то убогом бюджете»,— от себя вставил Илья Николаевич),— убивая в то же время всякую мысль, всякое стремление к изобретательности в сельском учителе».

Страница 23-я. Правильно, пг'авильно сказано! Вот это называется критикой, идущей на пользу делу. А перечитайте, Семен Иванович, как у вас? Ведь вы с чужих слов на военное министерство обрушились,— для того, чтоб засыпать хвалой Министерство просвещения. Выходит — не критическая у вас статья, а возносительная, хвалебная!

— А что я тебе говорил? — воскликнул Беляев.— Что говорил я тебе, Сема? Незнамо с кем покумился там, они ж и подвели!

Новиков не знал, что ответить. Радость на лице его угасла. Он забрал «Вестник», свернул трубкой и сунул в карман штанов.

— Утро вечера мудренее, друзья,— ласково заговорил Ульянов.— Завтра пойдем все вместе на хоры и проверим своими глазами, так ли уж верно судит «приезжий учитель». Мы с вами, Семен Иванович, не знаем, кто этот «приезжий», вы ведь не один писали,— за вас писали. Вот и проверим!

4

До одиннадцати, как всегда, на педагогических курсах шли лекции. Слушатели уже свыклись с манерами Бунакова и Евтушевского, с голосом и дикцией каждого и стали разбираться получше. Начинал первым Бунаков, и ему отдавали свежее, отдохнувшее внимание. В этот день, одиннадцатого июля, Бунаков показал, почему на нем, воронежце, а не на москвиче или петербуржце, остановило свой выбор военное министерство. Лекция его сделана была с таким оригинальным, собственным, творческим разумением, что проводили ее слушатели чуть ли не овацией. Он начал не с рассказа, а с показа, как важно начинать обучение ребенка письму и чтению одновременно, больше того — сразу же, с первого урока научить его, узнав и запомнив звук, тут же и нарисовать этот звук. Бунаков так и сказал, чтоб поначалу не отпугивать детей словом «писать» букву, а просить их «нарисовать» ее. Ребенок связывает письмо — с занятием и учением; а рисование — с отдыхом и довольствием. И в сущности, первые уроки написания букв — это и есть уроки их нарисования, элемент механический тут еще отсут-

ствует, дети подходят к делу творчески, вкладывают все сознание свое в рисунок. «У меня была в детстве удивительная учительница французского языка, мадемуазель Лина,— рассказывал классу Бунаков.— Я ни за что не хотел учиться писать по-французски. Вдруг она говорит на первом же уроке: мальчик, если ты сегодня будешь хорошо отвечать, я тебе позволю нарисовать в награду одну французскую букву!.. И представьте, господа, она меня соблазнила. Нарисовать... значит не писать!. Я стал так стараться, что награжден был в течение нескольких дней целым алфавитом,— пыхтел, рисовал, наслаждался — и выучился писать по-французски. Так надо умеючи подходить к ребенку!»

Пример понравился своей оригинальностью, и слушатели, почти все без исключения, вписали в свои блокнотики «нарисовать букву». Понравился он и Ульянову, хотя, повернувшись к сидевшим с ним рядом Беляеву и Новикову, он шепнул, что Бунаков имеет в виду городских детей: для крестьянских ребятишек, не имеющих с детства мелок или уголек в руках и не знающих, что такое рисование, вряд ли это сложное, уже вполне умственное противопоставление даст сразу же свой результат... А Бунаков между тем развивал свою лекцию дальше, и на том же высоком уровне. Он был в ударе сегодня. Почти вдохновенно объяснил разницу между чтением механическим и сознательным, роль чтения вслух для того, чтоб не читать механически, наконец — роль выразительного чтения, когда понимаешь прочитанное и пытаешься правильной интонацией, повышением и понижением голоса, вопросительностью, убедительностью, одобрением, возмущением, лаской, горечью в голосе передать понимание смысла того, что читаешь.

— Вот почему и ученье наизусть стихов или басен помогает развитию сознательности в ребенке,— сказал он. Затем пришел к роли учителя в объяснительном чтении. И опять очень свежо, не по шаблону, принятому в школах, указывая на блокнотики в руках учителей, закончил свою лекцию: — Вы как раз совмещаете чтение с письмом, только вместо чтения глазами — слушаете его ушами. И главное, что хотите запомнить, заносите себе в тетради в двух-трех наиболее важных для вас словах,— так ведь?

Кое-кто засмеялся: почти у всех стояло «иарисовать букву». А Бунаков, складывая лежавший перед ним коиспектик и пряча его в иагрудный кармаи, добавил: вот имеино так — возьмите, да и заставьте на уроке записать главное слово, которое понравилось ученику в книжке... Пусть каждый запишет, а потом посмотрите и сравните, думалось ли ученику при чтении, было ли чтение творческим.

На пятиминутной перемене в аудитории стоял шум — обсуждали прослушанную лекцию. Всеми она признаиа была удачной и полезной, хотя немиого чересчур «умственной».

Евтушевский поддержал честь этого дня,— он тоже говорил интересно и близко к делу. Как всегда, повторил то, что осталось непонятным в предыдущей лекции,— разницу между учебным и научным решением задачи, потом объяснил приемы разложеиия сложиых формул при отыскании неизвестного, усвоение учениками знаков сложения, вычитания, деления и умиожения, табличку кратных и иекратных,— все это практически, иа доске, со многими повторениями.

Выходя с лекций в одиннадцать часов дня, слушатели обменивались живыми репликами,— у всех было хорошо на душе, все что-то полезное уносили с собой. Кто тут же, на ходу останавливался, чтоб договорить иачатый с товарищем разговор, кто бежал, расталкивая идущих, чтоб поскорей зажечь сунутую в рот самокрутку, а кто не спеша двинулся к лестнице на хоры. Двинулся туда со своими двумя спутниками и Ульяиов. Стоявшие возле витрин трое представителей военных учебиых заведеиий сразу его увидели и вышли ему навстречу. Один из них держал в руках «Вестник»,— тот самый «Вестник» № 73, которым хотел похвастаться вчера Семен Иваиович Новиков. Это и было событием, о котором они хотели поговорить с Ульяновым.

— Илья Николаевич, а мы вас еще вчера ждали,— сказал один из них.— Вы постоянный наш посетитель, в вашей инспекции десятки, если ие сотни народных школ, вы знаете столько же народных учителей и учительииц, их уровень, потребности... Скажите, действительно ли у нас такой хаос, что понять ничего иельзя? — Он развернул, говоря это, «Вестник» на письме «приезжего учителя».

— Знаю, знаю, господа, и уже читал. Считаю письмо недоразумением. Вот познакомьтесь,— Виктор Онуфриевич Беляев, Семен Иванович Новиков,— тоже приезжие учители народных школ. Привел показать ваше устройство на хорах и проверить собственное свое впечатленье.

— Рады вам, прошу — глядите сами. Надо проверить, насколько вот так, без объяснения, доступны наши пособия для самостоятельного с ними знакомства,— и старший из них, с густой седой шевелюрой, скрестил руки на груди и отошел от них на некоторое расстояние. Сильно покрасневший Семен Иванович и смутившийся за него Витя Беляев принялись разглядывать пособия, начиная с витрины, осененной большой римской цифрой I.

— Одно я могу, как свидетель, опровергнуть тотчас же,— улыбаясь, сказал Илья Николаевич,— сколько я тут ни был, всякий раз встречал кого-либо из вас, охотно бравшегося объяснить, показать, даже вынуть из-под стекла... Да могу и второе также опровергнуть, но пусть мои друзья сами посмотрят.

Семен Иванович глядел и ничего не видел, глаза его налились кровью. Он боялся, что инспектор выдаст его и тогда — что же будет! Ведь почти и не был он на хорах, по правде и не видел того, что наставлено тут. Хоть бы разглядеть, увидеть промашку какую-нибудь, а мысли разбегаются. Действительно, стыд получился.

Витя Беляев обнаружил неожиданную любознательность и толково разглядывал пособия. Они были расположены сперва — в порядке общего размещения на стенах и в шкафах двухклассного народного училища: картины, карты, плоские рамки под стеклом с коллекциями бабочек, насекомых, образчиков почв в стеклянных трубках, микроскопические препараты растений; тетради гербариев, чучела птиц и зверей, глобусы. Дальше опять шли те же самые предметы, и Витя невольно воскликнул: «Что ж они повторяются-то?» Но Илья Николаевич, подойдя к нему, слегка приподнял за подбородок его голову, так, чтоб он посмотрел на надписи. Дальше размещение пособий было обозначено уже не в порядке их места в классах, а по каждому предмету: грамота и письмо; арифметика; начатки географии; знакомство с род-

ной землей, ее растительным и животным миром; знакомство с минералами... Повторный показ, но под новой рубрикой, приблизил пособия к их использованию в классе, заложил их крепче в памяти.

— Есть пособия сложные, разборные,— так некоторые нехитрые инструменты и приборы мы показываем в известные часы лично, разбираем и объясняем их в действии. Они лежат у нас на витринах, под стеклом, но, как вы сами видите, все сопровождено надписями и даже кратким изъяснением назначенья.

Витя, старавшийся все доглядеть и понять сам, стал внимательней читать надписи и даже записную книжку вынул. Семен Иванович, оправившись от смущения, тоже уже смотрел,— и схватывал сразу, быстрее своего товарища. Они шли дальше и дальше. А Илья Николаевич, стоя в уголку возле седовласого представителя военной гимназии, был понемножку посвящаем в закулисную сторону Выставки. С обидой и горечью, правда, не слишком прямо, а в косвенных выражениях, было ему сообщено и упорное сопротивление Министерства просвещения, в лице графа Дмитрия Толстого, всему тому, что предложил и провел военный министр, Дмитрий Милютин; и всякие интриги против генерала Исакова, а генерал Исаков — драгоценный человек, светлая голова в вопросах образования; и о том, сколько лично им, людям маленьким, пришлось тут вытерпеть колкостей от чиновников Толстого, на каждом шагу чинивших препятствия,— а вот теперь, когда выяснилось, какой успех имеют их показательные пособия и педагогические курсы, против которых министр просвещения целую войну вел,— кое-кто пустил отравленную стрелу в печать. Конечно, это аноним, анониму доверия не будет, но, как французы говорят,— calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose — клевещите, клевещите, всегда что-нибудь останется.

Говорившим хотелось добавить просьбу: не выскажется ли такое заинтересованное в учебных пособиях лицо, как уважаемый господин инспектор народных училищ,— в обратном, противоположном духе в печати, чтоб восторжествовала истина, но они застеснялись сказать об этом прямо.

Побыв еще час со своими спутниками на хорах и посмотрев почти все, что было выставлено, Ульянов в за-

думчивости спустился с ними в манеж, а оттуда прошел через турникет на Выставку. Ему еще многое надо было посмотреть по составленной им заранее программе, но он остановился, чтоб сказать напутственное слово Семену Ивановичу:

— Вы так хорошо говорили о диспропорциях в вагоне, Семен Иванович,— видно было, что у вас есть наблюдательность. А вот в истории со своими неизвестными соседями по кофейне вы почему-то своей наблюдательности не проявили. По всему видно было, что подсели они к вам неспроста, что-то от вас хотят, лично в чем-то заинтересованы, но говорят не прямым языком, а доводят вас до того, что им нужно,— окольно. В таких случаях надо иметь трезвое чувство действительности. Надо самому, своими глазами удостовериться, справедливо ли то, что вам внушают, к чему понукают вас... Выход в печать очень ответственное дело, оно не касается только пишущего, оно касается читающих. Запомните, запомните это для будущего!

— Я запомню, Илья Николаевич. Маху дал, сам теперь вижу,— огорченно ответил Новиков.

В эту ночь на 12-е июля в Москве вспыхнул большой пожар. С первого дня боялись за Выставку и усилили там пожарную охрану, ослабив внимание к самому городу. Вот почему, загоревшись на Пречистенке, в Зачатьевском переулке, огонь невозбранно перекинулся на другие дома, и вскоре 15 деревянных домов горели, как свечки, разнося в ночном воздухе черные хлопья и дым. Запылало и в Зачатьевском монастыре, огонь уничтожил несколько келий. Весь следующий день москвичи ходили смотреть обугленные остовы, погорельцы рылись в них, ища спасти хоть что-нибудь из своего скарба, озорники прикуривали от тлеющих угольков. Черным смрадом тянуло даже в кремлевских садах...

Илья Николаевич побывал почти во всех отделах, упаковал в ящики скупленные им наглядные учебные пособия и даже в один из свободных дней пошел по магазинам, чтоб запастись подарками для жены и детей. В сущности, для него, занятого на Выставке с утра до вечера, это был первый день в Москве,— на ее улицах, бульварах и площадях, в сутолоке ее магазинов. Впервые читал он и вывески, узнавая, чем и как живет Москва повседневная. Многое по сравнению с Симбирском было

удивительно. Показывают аквариум со всевозможными рыбами,— это как будто хорошо,— а вот выставляется человек-монстр, обросший животной шерстью с подбородка до лодыжек,— это впору симбирской ярмарке. Объявление о том, что с осени открывается в Москве классическая гимназия Фишер для девочек,— тоже как будто хорошо,— и тут же приглашенье почтенной публики в зверинец Гейденрейха на «кормление Змеи-удава»,— стоит ли змея большой буквы?

Ему хотелось купить жене материю на платье, но он не знал, и справиться было не у кого, какая материя в моде и больше подходит. Было же этих материй без конца. В магазине Михайлова на Кузнецком мосту выставлены «брюссельские товары»: воротники, фантоны, барбы, кружева, ротонды, голландское полотно, марселин, флоранс, тарлатан, блонды, тафта, муслин де франс... А в пассаже Солодовникова еще того пестрей: мострин, бриллиантин, перкаль, бареж, виктория, хорвард, поплин, верживия, дубль суа — последнее рубль шестьдесят копеек за аршин! Рубль шестьдесят копеек, когда грифельная доска в рамке всего три копейки и можно их купить каждому ученику на две школы за те же деньги, а на аршин ничего не сошьешь. Какая-то модница, следившая за ним в магазине, посоветовала Илье Николаевичу перейти улицу,— и там, у «Лютан и Сиже» купить настоящую английскую шерсть,— дешевле и лучше.

В конце концов, смертельно утомленный и нагруженный пакетами, он добрался до своего номера и хотел уже прилечь, как постучали нижегородцы, приглашая на свободный билет в «Народный театр». Этот любительский, из провинциальных актеров подобранный, в большом, на живую нитку построенном бараке размещенный театр под флагом «народного», сразу стал модной темой в Москве. Играли в нем свежо, смело, задорно,— провинциалы, как писалось в газетах, совершенно забили Малый театр. Но — какой же это «народный»? — вопрошали журналисты. Цены — трехэтажные, а достать билета все равно нельзя,— достают через перекупщиков и по знакомству. Днем с огнем не сыщешь на его спектаклях не то что в поддевке кого-нибудь или платочке, а даже студентам он не по карману. Газеты требовали понизить цену, отделить часть мест для учащихся. Но пока

что — «Народный театр» был для народа запретным плодом. Илья Николаевич все же не пожалел, что пошел туда. Шла «Русалка» Даргомыжского, свежие молодые голоса пели прекрасно, для роли Мельника отыскался где-то, чуть ли не в Соловках,— необыкновенный, громогремящий бас. Если не в доступности его для народа,— то в самом театре, в работе художников, в репертуаре, в характере постановок — достигнуто было что-то воистину народное, мощное и опрокидывающее рутину императорских театров,— вот что влекло и влекло сюда публику.

Курсы в манеже должны были закончиться 18-го июля, после чего участникам предлагалась поездка в Троице-Сергиеву лавру. Последние лекции Евтушевского были посвящены урокам геометрии в народных школах. Он предлагал начать их практически, знакомством с классной комнатой, ее стенами — плоскостями, углами, понятием квадрата. Обязательно иметь деревянные кубики,— пирамидки, ромбы, наглядно показать, что такое ребра, вершина, линия... И научить измерять собственную комнату. С художественной (как выразились газеты) простотой описал прибор «астролябию» и показал, как с его помощью можно измерить площадь. Бунаков напоследок заговорил о грамматике и посоветовал заставлять учеников самих выводить все грамматические правила из разбираемых примеров. Все это было доходчиво, слушатели жарко аплодировали и долго еще, после окончания курсов, не хотели разойтись. Тем не менее бойкий фельетонист, подписывавшийся «Обмокни-перо», привел в своем «Выставочном фельетоне» такой разговор учителей, будто бы подслушанный им по окончании курсов: «Вопрос: принесут ли пользу эти лекции? Ответ: мы их прослушали, но применять не научились, потому что не видели лекторов в классе с учениками, а что они проповедовали,— могли бы и сами прочесть, да еще лучше, медленней, а не второпях».

Быть может, заметили вы, как вода, спускаемая из ведра в воронку, льется сперва полноводной, тяжелой струей, и сама воронка впускает ее как бы нехотя, сопротивляясь ее напору; но вот воды поубавилось, меньше половины в ведре,— и струя стала легче, словно бы жиже, а воронка вдруг сама стала втягивать ее, всасывать, и вода забулькала, завертелась, уносимая вниз... Так и с

льющимся временем из отведенного для него сроку. Сперва, пока впереди весь срок,— потом две трети его,— больше половины его,— время бежит туго, и бездна, поглощающая его струю, сама сопротивляется напору времени; но срок близится к концу, времени осталось меньше половины, меньше трети, меньше четверти,— и словно забулькало, завертелось оно в своей быстроте и легкости, а бездна, в которую течет настоящее, превращаясь в прошлое,— эта бездна не только не сопротивляется, она втягивает, всасывает время с нарастающей силой... Начало всегда медленнее, чем окончанье,— и это, быть может, тоже один из признаков волнообразности движенья времени.

Срок пребывания Ильи Николаевича на Выставке подходил к концу, да и срок самой Выставки был не за горами. Как-то беспечней стали охранять и убирать от мусора выставочную территорию, и когда ветер после полудня начинал крутить по дорожкам, взметая бумажонки, брошенные карамельные облатки, крутя в воздухе всякую нечисть и вдруг кидая ее под ноги прохожим,— так и казалось, что это само время несется, булькая и крутясь, и убывает к концу.

Новинки и аттракционы перестали быть новинками и удивлять. Купцы,— мясники особенно,— запасшиеся излишними товарами, терпели убытки. Домовладельцы и хозяева гостиниц, надеявшиеся на огромный съезд, терпели убытки. Съехавшиеся на Выставку антрепренеры сворачивали свою бутафорию. Хотя до официального закрытия оставалось еще почти два месяца, было в последних числах июля уже что-то потерянное, что-то предрешенное в пустеющих выставочных отделах. Началось как бы второе действие: допущение народа и учащихся. Четыреста ремесленников с бесплатными билетами в руках обходили павильоны; входная цена была снижена вдвое; оставшиеся непроданные каталоги и карты Выставки раздавались бесплатно, хотя и с оглядкой, по одному экземпляру на пятерых.

Пошла полоса неприятных извещений, никак уже не объяснявшихся прошлогодним високосным годом: умер знаменитый актер, Пров Садовский, с 1838 года «пожинавший лавры в Москве», писали газеты: «сей замечательный мастер комического амплуа захотел исполнять трагедийную роль — и дебютировал в «Короле Лире»...»

Болел Миклухо-Маклай, прославивший свое отечество за рубежом обширностью знаний своих. «Скончался известный Владимир Даль...» Словно откликнувшись на язык газет, небо заволокло тучами, и в Москве начались дожди.

Вырезая нужные ему газетные статьи и анонсы, Илья Николаевич наткнулся в день закрытия курсов в «Вестнике» на неожиданный для него сюрприз. В номере 79-м напечатан был «Ответ приезжему учителю» тоже в виде письма в редакцию, но уже не анонимно, а за полной подписью — В. Беляев. То была действительно неожиданность! Илья Николаевич запустил пальцы в свою бородку, сощурил глаза и с живейшим интересом принялся за чтение. Витя писал, судя по местоимению «мы», явно не в одиночку, но это «мы» означало единомышленников, возможно — Семена Ивановича.

«Каждодневно посещали мы хоры на манеже, где выставлены наглядные учебные пособия,— писал Витя,— и не одни только мы, а публика вся были свидетелями, что присутствовавшие там три лица все нам объясняли. Почему «приезжий учитель» не обратился к председателю отдела Ф. Н. Королеву, он нипочем не отказал бы. Он снискал нашу любовь и уважение. Он с участием смотрит на наш скудный карман и делает все возможное, чтоб облегчить наши расходы, осмотреть дворцы, музеи, зоологический сад и съездить в Троице-Сергиеву лавру, взял на себя хлопоты по доставке билетов в Народный театр, вход в школу на Варварке и фото в аудитории...»

«Неужели Виктор Беляев? — подумал Илья Николаевич. Было ясно, что в писанье автор самостоятелен.— Вот они, значит, чем заняты были, пока я разгуливал по Москве! Ни слова не сказали, сами обдумали, сами сочинили, сами в редакцию снесли. И звучит искренно, простосердечно».

Однако встретиться с ними он уже до самого отъезда не смог,— да, пожалуй, это было и лучше. Ему не хотелось, чтоб они думали о влияньи каком-нибудь, не хотелось напоминать им беседу с ними. Было что-то хорошее в ликующем чувстве самостоятельности, с каким составлено было Витино письмо. Да и самому Илье Николаевичу хотелось в последние дни командировки побыть одному. От Выставки накопилось множество впечатлений.

Он повезет с собой и последние новинки учебных, и много предметов наглядных пособий; папку чертежей всего того, что можно сделать своими руками; планы различных зданий народных школ, мебели школьной... все это так. Но не только практические результаты получены в итоге трех недель.

Подытожив все то, что откладывалось и отслаивалось в мыслях, Илья Николаевич увидел, насколько шагнула жизнь в истекшее пятилетие. Ведь не во сне и не в фантазии, а наяву сделалось плотью и кровью почти все, за что сражались они на совете в Нижнем Новгороде. Хоть и медленно, а двигается жизнь. И не надо отчаиваться. Кто поверил бы, что борьба с Масловыми, Родзевичами, Пресняковыми и подобными им покажется нынче, спустя немного лет, смешной? А ведь они казались несокрушимыми! Сколько усилий положено, чтоб отстоять необходимость для учеников выделять главную мысль при пересказе прочитанного? Казалось ересью и вольнодумством. А Бунаков обучает этому с кафедры сотни народных учителей! Сколько мук стоило защищать новые учебники Корфа и Ушинского,— а вот сейчас, на Всенародной Выставке, дается список учебников, и книги Ушинского, Корфа на первом месте. Несмотря на реакцию, жизнь остановить нельзя. Семь лет назад мы с великим трудом, крохами, добивались расширения кругозора народного, а какой же светлой проповедью этого расширенья оказалось все, что читали Евтушевский и Бунаков сейчас!

Илья Николаевич почувствовал себя как бы подкованным на будущую свою деятельность. За ним — много больших, честно мыслящих умов; за него — время. И тут же, представляя себе, как он приедет, он уже видел в воображении живую форму дальнейшего роста школы: учительские съезды. Надо поделиться увиденным и услышанным с работниками педагогии на местах, узнать, что и как пережили на Выставке его посланцы, четверо народных учителей, с которыми он так и не успел побеседовать. Надо собрать, выслушать их и высказать им все, о чем думает он сам.

Форма съезда была ему тоже более или менее ясна. В этом вопросе он соглашался с подслушанным и описанным бойким фельетонистом «Обмокни-перо»: не взбираться на кафедру с бумажками и читать приготовленные

речи,— ничего подобного. А проводить в лектории, или даже в классе, показательные уроки с учениками. Каждому учителю. И потом — обсуждать их всеми педагогами, собравшимися вместе.

Наступил, наконец, для Ильи Николаевича последний московский день его. В оставшиеся до отъезда часы он решил еще разок, на прощанье, пробежать по Выставке, чтоб запечатлеть ее в памяти такой, как она есть, во всех сильных и слабых сторонах, поучающую и развлекательную, детище стольких разных людей, сил, намерений, вкусов. Он был благодарен ей, она много дала ему, прибавила опыта и помогла увидеть себя самого во времени, таким, как он был, и таким, каким сделался.

Он шел по дорожкам кремлевских садов, никуда не заходя, но не спуская глаз с того, что вставало справа и слева,— нарядный покров Выставки был уже не первой свежести: затрепанные флаги, отбитые гребешки деревянных карнизов на лубочных домах-пряниках, покореженные шесты с надписями, заколоченные две-три будочки, грязные полотнища над верандой ресторана Гошедуа. Все говорило о начале распада, о конце первого, самого эффектного действия Выставки, о наступлении той стадии, когда работа ведется, по образному выраженью, спустя рукава.

«Экспоненты»,— те, кто привезли свои павильоны или коллекции, почти уже отсутствовали, разбредясь по Москве. Их заместители, скучающие приказчики, заложив по карманам руки, лениво выглядывали из открытых дверей. Посетители, большей частью городская беднота и учащиеся, для которых удешевление входной платы открыло сюда доступ,— мало их интересовали.

Ульянов решил было в этот последний день позволить себе посибаритствовать: за час до отъезда на вокзал пообедать не спеша и со вкусом в этом «Гошедуа», где он ни разу еще не был. Но уже повернув к нему, увидел раскрытый Лесной павильон. Секунду-другую помедлил,— и махнул на обед рукой. В первое свое посещенье в этом павильоне он не пробыл и десяти минут. Единственное, что запомнилось,— это картина, как Петр сажал вяз. Но где и когда сажал? Надо бы уточнить. И потом: царь — плотник, кораблестроитель, преобразователь, зачинатель рудного, железоделательного, корабельного, военного,

научного дела на Руси — широко известен. А вот как сеятель, как сажающий деревья? С топором, с ножом, со сверлом, с оружием легко его себе представить, а вот как с лопатой?

Ему непременно захотелось еще раз посмотреть картину, но, войдя в павильон, он понял, что не скоро выйдет отсюда.

Отлично продуманный и занявший на Выставке, вместе с питомником, довольно большое пространство, Лесной павильон состоял из четырнадцати частей. Ульянов принялся их последовательно обходить.

В первом из четырнадцати разделов дана была история русского леса. И что же — опять Петр Великий, как основатель лесного дела в России. При нем на твердую научную основу положена культура леса, родился как будто и сам термин «лесоводство». Картина, где он собственноручно сажает не вяз, а вязы, много вязов,— в рижском саду в 1721 году. Фотография с дуба, посаженного им в Чебоксарском уезде,— фотография, значит — жив этот дуб, стоит богатырь почти два столетия. Лесная дача в Финляндии, выращенная по повелению Петра... Какой треугольник — Рига, Финляндия, Чебоксары. Но если Петр сажал,— потомки вырубили. Дальше, во втором разделе, карты белыми пятнами показывают, где были раньше леса, были,— но больше нет их, и всюду, где росли человеческие поселения, фабрики и города, немые белые пустыни вырубленных лесов окружили их.

Третий раздел — дендрология, это он уже видел. Четвертый и пятый — лесоразведение и лесовзращивание. Тут рождение идет рядом со смертью и смерть показана как необходимость для рожденья... Старики, сухостой,— очищают для молодой поросли место под солнцем, периодическая прочистка. В двух следующих разделах проблемы лесоведения,— как сохранить лес, как изучить и в порядок привести воды его, эти ручьишки и трясины, о которых думаешь, как о составных лесного пейзажа, когда идешь по грибы, а как все это тщательно изучается, упорядочивается,— геодезия, мелиорация, осушение... Он замедлил перед восьмым разделом,— лесной таксации. Как только мог он пропустить его в прошлый раз! Ведь таксаторы, правда — землемеры, были его учениками в Нижнем. Их армию он готовил, читая им пла-

ниметрию,— и эта армия разъезжалась с летних уроков, чтоб устраивать землю...

Дальше шла «эксплуатация» леса, корчеванне пней, склад дров, строительные материалы. И какое неисчислимое от него богатство! Дубильное вещество, мочала, береста, орех, ореховое масло, буковое масло, торф, древесный уголь, смола, скипидар, канифоль, деготь, вар... Он бросил записывать — притупился карандаш. Если поработать с неделю в этом павильоне, можно не на шутку стать ученым лесоводом.

А если б можно было и общество людей устраивать так спокойно и справедливо, как общество деревьев? Вычищать сухостой, давая место молодняку,— но оставлять на полянке, на холме, в гордом возвышении, всем напоказ, могучую живую старость, эти красавцы-дубы, развесистые, как само общество, чтоб учить молодежь, как надо жить и ветви давать во все стороны, шатром над спутником, приютом для певчих птиц... Но мы вместо этого рубим дубы на кровати для баричей, а то и просто на дрова,— а то и озоруем, прожигая стволы и валя деревья под снег и дождь, медленно и без пользы догнивать в лесном бездорожьи,— вот как изображено на этой картинке: «Бесполезная гибель леса». А сухостою даем стоять и не только не очищаем место для молодой поросли, но глушим и глушим ее, глушим и глушим... Он вспомнил серые конверты с надписью «секретно».

Пора было в гостиницу за вещами. Хорошо прошла командировка! Илья Николаевич остался очень доволен Выставкой. Доволен тем, что окончил ее осмотр, как начал,— без чувства конца и с открывшимся впереди продолженьем ее — в Симбирске.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

КОНЕЦ ВЫСТАВКИ

1

В августе работы у Чевкина почти не оказалось. Выставка явно пустела. Иностранные фирмы, продав, что могли, сворачивались. Представители их, как и доктор Андрью Муррей, полюбившийся за короткое время и рабочим, и ученым ботанического отдела своим простым обхожденьем, уехали еще в июле. Иностранных туристов больше не было. По обмелевшей Волге уже не ездили богатые русские купцы с женами, высаживаясь в Твери, а оттуда, по Николаевской железной дороге, наезжая повеселиться на Выставку. Последней парой, которую Федор Иванович сопровождал по Выставке, были два немецких археолога, он и она, оба сухие, высокие, в очках, с красными от присохшего к ним загара лицами, зубастые, как щуки. Улыбаясь, они обнажали десны.

С самого утра Чевкин был в странном, непонятном ему состоянии. Он тоже, как двумя неделями раньше инспектор народных школ Ульянов, видел запустение Выставки, внезапно упавший интерес к ней, и эти первые желтые листья осени, кружась падающие на дорожки ее. Но никогда еще она не казалась ему такой близкой и дорогой, как сейчас. Цепляясь за какие-то смутные надежды, он все ждал от нее неведомого, лично ему предназначенного чуда: необыкновенной встречи, яркого события, чего-то вдруг сразу определяющего судьбу. Фребелевский павильон он обходил, всякий раз прикусывал губу, как делают люди, вспоминая что-то стыдное для себя. Но чудо, неизвестно какое чудо, свет, падающий сверху, теплота и озарение — нежданные, негаданные — должны прийти до того, как эти лубочные избушки будут разобраны, цветы на клумбах увянут, турникеты сняты, флаги убраны,— должны прийти, обязательно должны прийти к нему.

Немецкая чета археологов сразу стала между ним и этим ожиданием чуда. Их длинные зубы, высовывавшиеся при улыбке, почему-то напомнили ему немецкого Рюбецаля на противной картинке в детской книжке, подаренной ему двадцать лет назад гувернанткой. Немцы казались ему агрессивными, жесты их наступающими

слова не просто словами, а намеками, и тон их не вопросительным, а знающим и напоминающим. Если б Чевкину пришло в голову взглянуть на себя в зеркало, он понял бы, что просто очень устал, устал почти до изнеможенья, и бедные немецкие археологи совершенно тут ни при чем.

Он сразу прошел с ними на кремлевский плац, к Севастопольскому отделу, в первой части которого разместился «археологический уголок» с историей Крыма, собранными памятниками дорийской колонии в Крыму, искусственно устроенными склепами с погребеньями древних христиан и большою картиной храма, где, по преданию, «крестился Владимир равноапостольный». Обычно всю эту часть Севастопольского отдела показывал кто-нибудь из русских историков; последним, кого тут слышал Федор Иванович, был сын историка Каченовского. Все они говорили повышенным голосом, сугубо патриотически, называя греческий Херсонес древним русским Корсунем, и Федор Иванович как-то непроизвольно и неожиданно для себя повторил в своих объяснениях запомнившиеся ему фразы: «Когда Корсунь была взята Владимиром, в ней, на развалинах древнего язычества, уже существовало христианство... Вы можете видеть, как в каждом карнизе, каждом барельефе поразительна эта смесь — языческого стиля со строгим вкусом христианства».

— Вы называете греческий стиль — языческим, строгую дорийскую красоту в этих скупых колоннах, в этих линиях орнамента — пышной, а убогую беспомощность христианской орнаментики, это вульгарное ребячество — строгим вкусом? — сдерживая, как показалось Чевкину, клокочущее негодованье, произнесла вдруг немка-археолог, при каждом слове поднимая верхнюю губу и обнажая десны. Муж остерегающе положил ей на плечо руку.

Федор Иванович, машинально повторявший заученные фразы, словно проснулся. Он почти злобно взглянул на немку. В глубине души он был, правда, согласен с нею, но разве не понимает она, что нельзя в чужой стране спорить с трафаретом показа, не им установленным,— да и место ли тут для полемики. Весь этот херсонесский раздел, сделанный по указаньям графа Уварова, давно уже казался ему самому чересчур развлека-

тельным — с этими прорытыми в земле склепами, куда озорники бегали, как в уборную, и откуда неприятно несло сыростью, и особенно с этим почти лубочным макетом храма, раскопанного Уваровым в 1858 году,— сейчас ему как раз предстояло показать немецкой чете этот храм.

— Не будем говорить «вульгарное ребячество», скажем «примитивизм»,— примирительно произнес немец, кивая своей жене. Но та уже неслась дальше:

— Херсонес раскопан графом Уваровым, не правда ли? Тем самым Уваровым, которого прославила переписка с Гете?.. Наш великий старец был неравнодушен к титулам, это всем известно. И он почтительно отнесся к графу и его затее создать «Азиатскую Академию». А я слышала от русских ученых, что этот Уваров — дутая величина и ретроград. И тут все это подтверждается, Alles entspricht dieser Meinung![1]

— Либхен! — воскликнул археолог.— Либхен! Либхен!

— Вы ошиблись, Гете переписывался с отцом нынешнего археолога, умершим много лет назад. Он, кстати, и графом еще не был, он графом был сделан спустя четырнадцать лет после смерти Гете. А Херсонес раскопан Алексеем Сергеевичем Уваровым, известным в Европе ученым, председателем Русского археологического общества,— археологу странно этого не знать,— вспыхнув, ответил Чевкин. Голос его прерывался.

Он часто попадал в своей роли гида в затруднительное положение, но всегда благополучно выкарабкивался из него. Сейчас он стоял неподвижно, без охоты выкарабкаться,— странное, совершенно незнакомое ему тупое равнодушие к Выставке охватило его. Словно кто-то вдруг сдернул розовую кисею, в которую окутана была до сих пор перед его умственным взором эта дорогая его сердцу Выставка, выросшая, как дитя, у него на глазах,— и за кисеей показалось нечто претенциозное, приблизительное, сделанное с той расплывчатостью, с какой воспроизводит вещи полузнание. Никакого чуда не будет и не может быть. Все кончено с Выставкой и на Выставке кончено с ним самим,— разве не стал он, как автомат, как та сероглазая, повторять заученные, сто раз кем-то произнесенные фразы? Вот сейчас он поведет этих двух

[1] Все соответствует этому мнению *(нем.)*.

в уваровский храм. Он представил себе этот храм, сделанный в панорамном стиле: в середине картинка, на ней справа и слева сиденья пресвитеров, в центре кресло епископа; по бокам от картинки макеты гор, поросших кустарником, гипсовые отливки разных карнизов и обломков, полуарка, а за ней синь моря,— синь до того яркая, словно весь тюбик размазали... и надгробная плита древних скифов, с фотографией золотых вещей, найденных в скифских могилах и хранящихся в Эрмитаже. Он хрипло сказал:

— Выставка — не научное учрежденье, не научный музей. Она создана для популяризации технических знаний и отчасти как общедоступный показ прошлого. В петербургском Эрмитаже вы найдете предметы для более серьезного осмотра.

Сказав это, Чевкин быстро повернулся к ларьку, где сонный продавец клевал носом над несколькими изданиями, купил книгу Мансветова «Историческое описание древнего Херсонеса и открытых в нем памятников», изданную севастопольским отделом Выставки, презентовал ее с коротким европейским поклоном немке и, откланявшись, поспешно вышел на площадь. Он не видел, как реагировала на это археологическая чета; он шел, не оборачиваясь, чувствуя, как дрожат его руки, бьется сердце, неприятно колотясь и мешая дышать, и как жаром обдает ему лицо и голову прилившая кровь. Мысли и ощущенья, с какими он шел, не глядя ни направо, ни налево, не отвечая на поклоны знакомых служащих, не слушая, что сказал ему у турникета сторож,— было бы невозможно изложить связно даже ему самому. Только одно всплывало поверх всего — отвращенье, отвращенье к себе и своей роли — взрослого человека, образованного человека, годы учившегося на деньги, заработанные чьими-то потом и кровью, сдававшего бесконечные экзамены в заграничных университетах,—для чего, для чего? Баба, которая баранки печет, приносит больше пользы народу. Какое униженье, какая рабская, глупая, никчемная работа,— и что будет дальше за нею? Что может он делать, он, околачивавшийся в разных университетах? Куда годен, на что годен?

Если б все же обернулся Чевкин на своих археологов, наверное, все эти мысли как рукой сняло бы. Археологи стояли как потерянные, глядя ему вслед. У женщины

сквозь бронзовый загар пробивались красные пятна стыда за свою непростительную ошибку. Муж ее стиснул руки жестом непоправимости. Это были захолустные немцы, постоянно мотавшиеся на третьих ролях в чужих экспедициях и тщетно пытавшиеся подняться ступенькой повыше. Вечно удар судьбы сбрасывал их опять на прежнее «третье место». Они совсем не собирались быть агрессивными у русских, напротив — была надежда поправить у русских свои дела. Мужчина всегда находился под пятой у жены своей; и немка, более бойкая, так хотела — о как хотела! — показать этому молодому человеку свою образованность и прогрессивность. И вот они опять, пожилые неудачники, не понятые в своих скромных намерениях,— в ужасном, незаслуженном унижении, в результате глупейшей ошибки.

— Это все ты! — хотел сказать муж, но взглянул на свою половину и ничего не сказал.

А Федор Иванович шел и шел, не оглядываясь,— сухие ожесточенные слезы душили его. Нет чуда и ничего нет в будущем — лучше подставить голову под оглоблю проезжавшей пролетки, ударить ею со всего размаха об стену. Но что-то, как вожжи, держало его изнутри, направляло движение ног, связывало мускулы на лице,— и прохожий, заглянув в это лицо, ничего не разгадал бы. «Хорошее воспитание eine gute Kinderstube[1],— с дикой иронией по-немецки подумал он,— вот откуда цепь внутренних тормозов, управляющих человеком изнутри.» А сухие слезы подступают и подступают все выше... Он дошел до дому, добрался до своей комнаты и, забыв запереть дверь за собой, забыв скинуть ботинки, бросился на кровать, как-то охнул, всхлипнул в подушку,— и сухие слезы вдруг хлынули на нее влагой. Чевкин плакал, кусая ее, плакал, стараясь глушить всхлипыванья, как делал в раннем детстве. И постепенно все отходило от него — память, мысли, горе, чувство безнадежности,— обволакиваясь белыми клубами душевной усталости. Судорога плача перешла в судорогу зевоты,— и Федор Иванович неожиданно крепко заснул. Он не слышал, как Жорж Феррари заглянул к нему в комнату и тотчас тихонько отпрянул.

В столовой стучали посудой и ложками, когда Чевкин, умытый и подтянутый, с приглаженными мокрой

[1] Хорошая детская (комната для детей) *(нем.)*.

щеткой белокурыми бачками, вышел к столу, извинился за свое опоздание и, усевшись, привычным жестом заткнул за воротник салфетку.

— А у отца к вам новости,— как бы между прочим, когда было уже съедено второе и Жорж достал из нагрудного кармашка свою зубочистку слоновой кости, обратился он к Федору Ивановичу.— По-моему, очень приятные новости, хотя — как вы посмотрите.

— Да, дорогой мой,— с удовольствием заговорил Феррари-старший,— был вчера на обеде у Делля-Воса. Вся выставочная публика,— и, представьте, довольны Выставкой, уже головы полны строительством Политехнического Музея в Москве. Деньги есть, музейные экспонаты есть, люди есть. Выставка абсолютно оправдала себя.

— Ты, отец, ближе к делу! — напомнил Жорж, незаметно поглядывая на Федора Ивановича.— А то мы после сладкого сразу заторопимся...

— Я и подхожу к делу, чего ты перебиваешь? Есть, господин Чевкин, предложение к вам — занять штатное место переводчика и, так сказать, корреспондента Общества. Виктор Карлович так доволен вашей работой на Выставке, что не желает расстаться с вами.

— Корреспондента? — с некоторым усилием переспросил Чевкин.

— Ну да, в общем и целом. Огромная секретарская работа — вести переписку с иностранными специалистами, переводить статьи из журнала, причем не только на русский, но и с русского на иностранные языки. Держать двустороннюю связь,— впрочем, я, может быть, напутаю, а вы лучше обратитесь к самому Виктору Карловичу, он вас сразу же примет.

Задумчиво досидел Чевкин до конца обеда; задумчиво съел вигневатое бланманже в форме шестиугольника, собственноручно изготовленное в десятке формочек Варварой Спиридоновной,— оно пахло и арктикой, и устрицами, и противно скользило во рту; задумчиво встал и сказал свое обычное «спасибо» мадам Феррари,— и только после этого проговорил странным тоном:

— Значит, Выставка помогла. Действительно помогла?

— Да разумеется, Федор Иванович! Что это с вами? Конечно, помогла, еще как помогла! До конца —

больше месяца, а уже затраты оправданы, не то, что два года назад на петербургской мануфактурной, там был убыток колоссальный.

— Перестаньте вы думать о Выставке,— с досадой воскликнул Жорж, беря под руку Чевкина,— еле дождешься, когда вы, наконец, от нее освободитесь, чтоб поговорить, а вы опять о вашей дурацкой Выставке. Да встряхнитесь же наконец! Идем ко мне.

Федор Иванович покорно пошел за ним.

И вот пришла минута, когда, усадив его в кресло и раза два пройдясь перед ним по комнате, Жорж Феррари остановился, глядя на него своими влажными выпуклыми глазами, и произнес:

— Ну?

Федор Иванович с трепетом душевным ждал этого «ну» и все никак не мог решиться ответить согласием или отказом. А Феррари-младший, словно и не надеясь сразу получить ответа, опять прошагал раза два по комнате и опять остановился.

— Я не жду от вас немедленного ответа, хочу только, чтоб вы не поспешили сказать «нет»,— начал он тоном, каким вступают в длинную и подготовленную беседу.— Вы человек нервный, и мне насквозь видно, какими разными соображениями полна у вас голова. Начнешь уговаривать — метнетесь в оппозицию, перестанешь напоминать, будете, как кошка из-под стола, выглядывать да подбираться поближе. Эх вы, друг любезный, ну до чего все-таки трудно с вами!

— Вы ошибаетесь, Жорж. Вы совсем не знаете меня,— как-то глухо ответил Чевкин без всякой обиды в голосе.— Я думал эти дни вовсе не о вашем предложеньи. Мне хотелось понять себя и свою роль или свое положенье в обществе. Если б я вам ответил «нет», то вовсе не из нежеланья помочь кому-нибудь. А просто из неверия в свою пригодность,— ну, пригодность полюбить в будущем, а значит — непригодность и к жертве. И вообще чтоб не получилось фальшиво, театрально, марионеточно. Все мы живем только раз... Это не цитата, это ведь страшная правда. И противно, если ты все в жизни делаешь смешно, театрально, наобум, словно вся твоя жизнь — случайность.

— Говори это кто другой, я взбесился бы,— сказал Жорж,— взбесился бы на психологическую неразбери-

ху. Но вас, Федор Иванович, как это ни странно, я понимаю. Все, что сейчас с вами происходит,— типично,— для тысячи таких, как вы, типично,— вы совершенно искренне бьетесь на стекле, воображая, что вы в яме или в колодце. Нет, помолчите, дайте досказать! Ошибка таких, как вы, в том, что вы вашу судьбу отделяете от судьбы общества, думаете о своем положении в обществе, а что такое это общество, какое оно,— именно сейчас, в данную минуту, какое оно, из каких слоев, оттенков, направлений состоит, куда движется, куда, наконец, должно, понимаете, должно двигаться,— это от вас сокрыто, не интересует вас. Отсюда все душевные недоуменья и страданья, всякие гамлетовские «быть или не быть». Но давайте же поговорим. Выкладываю карты на стол честно: я к этому разговору с вами, как к лекции, готовился. Даже проспект набросал, вот,— он вынул бумажку и бросил на стол,— видите, первый пункт «начать о Выставке»... Но я хочу сделать предисловие. Можно?

— Да говорите же,— нетерпеливо отозвался Чевкин, похлебывая из захваченной им с собой послеобеденной чашечки кофе,— я выспался, голова ясная, сам хочу, чтоб вы мне сказали что-нибудь путевое, дружеское, сам жду ваших слов.

— Так вот. Верьте — не верьте, мне абсолютно неважно, поможете ли вы нашей бедной Леночке стать второй мадам Сусловой или откажетесь от этой роли. Потому неважно, что другой, третий сделает это, и сделает очень просто, без гамлетовских фокусов, для нас же всех легче и дешевле, что ли, дешевле в смысле нервов и времени, а не денег, разумеется. Я для вас, ради вас хочу говорить. Вы мне стали удивительно симпатичны. Наверное, так бывают симпатичны герои разных там романов для читателей,— и я от души хочу...

— Погодите, кто такая мадам Суслова?

Жорж Феррари развел руками. Вот вам образец полной изоляции человека от общества! Не знать, кто такая мадам Суслова, когда весь свет говорит о ней. Просто невероятно, нелепо...

— Да ведь первая женщина, ставшая доктором медицины в Швейцарии! Не фельдшером, не лекарем, а докто-ром ме-ди-ци-ны! Понимаете? И эта первая женщина — не американка или шведка, им легче,— а русская,

которую за решеткой держат,— русская — из самой реакционной части света, кроме, может быть, Турции.

— Ну хорошо, а теперь — что вы хотели начать с Выставки?

Жорж Феррари сел напротив Чевкина и тоже отпил из своей чашечки, а потом развернул свою бумажку.

— Разговор очень долгий, с цитатами, с примерами; чтоб не завлекаться окончательно, я держусь конспекта. Выставка — честное слово, спасибо,— благодаря вам, я подошел к ней серьезней, чем намеревался,— Выставка — это, если хотите, историческое откровение или фокус, что ли, не фокус, который фокусники показывают, а фокус, как физики говорят,— пучок, собравший в себе множество лучей. Она лишний раз открыла мне глаза на русскую культуру. Я еще за границей множество книг прочел по этому вопросу. Например,— Англия, или лучше Великобритания, тоже в своем роде фокус,— норманны, кельты, датчане, саксы,— черт те что, но, несмотря на смесь, несмотря даже сейчас на два разных типа, англичанин и шотландец,— культура единая, слитная, если есть какой дуализм, то я склонен думать — дуализм по линии времени, доколониальный и послеколониальный. Убежден — это мое личное мнение — все лучшее, английское, от Шекспира до Диккенса, от Беркли до Милля, от Чосера до Байрона — хранит в себе англичанина доколониального или, лучше сказать, черты и свойства, нажитые Англией до того, как она стала «царицей морей» — и яд еще не проник до сердцевины. Интересно, что с ее культурой будет, если отнять все ее колонии и власть над морями? Опять, по-моему, пахнёт на нас настоящим английским духом, тем духом, который за океан ушел, превратился в янки и подгнил — провонял там...

— Слушайте, Жорж, милый, для чего весь этот экскурс?

Молодой Феррари посмотрел на Чевкина с сожалением. Все эти свои мысли он привык выкладывать в кружках русской молодежи, с которой любил общаться,— и как там здорово встречали эти мысли, как тотчас вспыхивал спор, переходили на другое, на третье, всю вселенную охватывали, покуда не сводил он на то, что было ему нужно. А этот бедный Чевкин вместо интереса к ним...

Но Федор Иванович отлично понимал и взгляд сожа-

ленья и мысли Жоржа, обращенные сейчас к нему. Он тихонько вздохнул:

— Вот почему распространилось у нас куренье. В Европе, я заметил, молодежь, мужчины и женщины тянутся курить в обществе оттого, что им сказать нечего и мыслей в голове мало. А у нас — от длинных периодов в разговорах. Так увязают в них, что хватаются за папиросы, курят, говорят, опять курят, опять говорят...

— А я, как видите, бросил курить и не курю. Ну хорошо, если вам про Англию не интересно...

— Мне про Выставку интересно!

— От Англии я собирался перейти к России. У нее в культуре явно выраженный дуализм, не по линии времени, а изначальный, одновременный дуализм. Вот в «Вестнике Европы» еще в мае было о славянофилах и западниках,— да не в одном «Вестнике Европы»,— о них пишут и пишут. Как будто разделение началось с Петра, одни — идеологи допетровой Руси, другие — идеологи Петровой реформы. И первые считают Петра чуть не антихристом, во всяком случае чем-то не русским, даже противурусским, а вторые тоже видят в нем уникальное, первого европейца, что ли. Я считаю неверным это. Я считаю Петра глубоко русским явленьем, ярко выраженно русским,— эта высокая *трезвость* ума, именно трезвость, здравомысленность, острота проницания будущего и того, что необходимо для будущего, это типично русское, бодрое, бодрствующее начало русской натуры, какой создала его земля моя по матери, потому что я коренной русский по матери. Но дело в том, что Петрово начало из русской земли не одно выросло. Оно выросло в сопровождении других тормозящих нача́л, тоже коренных русских,— ну нетрезвых, что ли, нача́л.

— Пьяненьких, как выражается писатель Достоевский? — спросил Чевкин.

— Нет, не пьяненьких, а пьяных, ленивых, стихийных, разудалых, а главное — ленивых, ленивых, ленивых, любящих все, что хотите, кроме трезвой, прозаической работы изо дня в день, здравой, точной мысли изо дня в день, ну, всего того, что Петр хотел кнутом насадить. И кроме правдивости с самим собой, когда надо сказать или «да», или «нет». Таких русских людей раз-два — и обчелся. А неправдивых с собой, ленивых, чурбанов — миллионы.

— Дурак сразу говорит «да» или «нет», не подумавши. А потом всю жизнь голову колотит об стенку.

— Не об этом речь, когда неясно. Об том, когда *ясно*, а все-таки прямо не отвечают. Выставка, если б можно было о ней сейчас написать, как она есть,— это смесь русского анархизма и нежелания работать с русской трезвенностью и желанием работать. И в этом смысле она была для меня крайне интересна, даже поучительна.

— Вся она — честная, большая, очень большая работа, от лучших русских мозгов до простых русских рук,— с горячностью начал Федор Иванович, задетый за живое, и ему обидно стало, что большую, честную работу, вызвавшую Выставку к жизни, так мало понимают, так неблагодарно недооценивают свои же русские люди.— Именно работа! — воскликнул он еще жарче.— Работа в память и честь Петра, огромная школа для сотен учителей, для студентов, для простых посетителей! А вот вы сейчас и олицетворяете анархизм, наплевательское отношенье, лень эту самую, так выражаясь о Выставке...

— Ай-яй-яй! Не кидайтесь, сдаюсь. С вами разговаривать совершенно невозможно,— нить потерял. Хотел начать с Выставки, чтоб вам было понятней дальнейшее, но оказывается — ошибся, ошибся.

— Приступайте к дальнейшему,— утихнув, сказал Чевкин.

— Дальнейшее может быть лучше, если продолжим не у нас, а куда я вас сейчас поведу. Только прежде, чем мы туда придем, кое-что все-таки должен вам объяснить, еще минут на десять, будете слушать?

И когда Чевкин молча кивнул, он продолжал уже своим обычным тоном:

— Я — член Международного Товарищества рабочих, Федор Иванович. Возможно, вы не знаете, что это за товарищество, даже наверное не знаете. Коротко объясню. Очень образованные, серьезные, глубокие люди стоят во главе этого общества, основанного для объединения социалистов, то есть людей, желающих устроить справедливый социальный строй на земле. Но социалистов, людей, называющих себя этим именем, очень много. Социализм известен давно, о нем не мало написано. Только до сих пор он плохо объединял людей, да и действовал

безуспешно, потому что этот разносмысленный социализм не был научным. Без точных, проверенных, доказанных законов нет науки. А с ученьями, не имеющими научной базы, не только люди, но и сама жизнь не считается. В настоящее время человечество сделало величайшую вещь. Оно открыло социальные законы, по которым общество движется. Оно подвело под социализм базу строгой науки, сделало его научным.

— О Марксе вы говорите?

— Да, о Карле Марксе и Фридрихе Энгельсе, наших учителях и руководителях. Значит, кое-что вы все-таки о них слышали. Капитальные их труды уже вышли, но их достать трудно. Их очень мало знают, а кто знает, считают кабинетными, даже разницы не усматривают между ними и другими писаньями. Но это дело времени, это придет,— беда в том, Федор Иванович, что именно у нас в России такие труды молодежи не по зубам, а вот речь анархистов типа Бакунина, человека именно разряда славянофильствующих, пьяненьких, если хотите, но нельзя отнять — редкого оратора, зажигательного прокламиста,— они падают сюда, как искры от фейерверков, зажигают и вред приносят. Я не зря остаюсь тут, хотя должен быть уже в Льеже, у нас лекции начались. Я задерживаюсь, чтоб докончить споры кое-какие, проветрить кое-какие головы. Мы сейчас пойдем в одно место. Вы отдохните, или, если хотите,— успеете побывать у Делля-Воса, а потом, в темноте, возвращайтесь. Я соберу нужные мне бумаги, и мы вместе пойдем. Вам, уверяю вас, будет интересно!

— Хорошо,— ответил Федор Иванович,— только к Делля-Восу так, на ходу, не хочу,— к нему лучше завтра. И я уже отдохнул. Я пойду почитаю в саду, а вы меня, когда соберетесь идти, кликните в окно!

2

То, что ощущалось русским обществом, как постепенное неуловимое сжатие или стеснение, затруднявшее прежнюю размашистость в беседах, настораживавшее и приглушавшее голоса на улице и в театре,— не имело в себе ничего мистического. После знаменитых «реформ» шестидесятых годов и взрыва — под самый конец этих годов — нечаевского дела началась стриж-

ка всего того, что было даровано свыше: подстригли школьную реформу, обрезав многие вольности,— расширили классицизм в программах; подтянули университеты, земства, суд; урезали либеральный закон о печати 1865 года; и даже больше, чем урезали: жестоко прихлопнули газетное и книжное дело, вернув полиции и III Отделению право запрещать, изымать, объявлять вредным то, что раньше, по закону 65-го года, подлежало лишь компетенции суда. И даже правые круги российской интеллигенции охнули. Слывший, как тогда называли реакционное издание,— самым «официальным» из журналов, «Русский Мир», и махровые «Московские Ведомости» и те запротестовали. Скромно либеральный «Вестник Европы» поместил в своей августовской книжке почти революционную статью о новом законе. И, наконец, даже семейный журнальчик «Нива», не претендовавший вообще ни на какую политику, позволил себе вылазку. В отделе «Смесь», пользуясь юбилеем Петра, он тиснул:

«Как думал Петр насчет свободы книгопечатанья

Петр Великий поручил монаху Гавриилу перевести Пуфендорфовскую «Историю государства» с латинского на русский. Когда этот перевод был сделан, Петр сразу заметил, что Гавриил выпустил несколько мест, показавшихся ему оскорбительными для русских. Тогда Петр возвратил ему перевод со следующими словами: — Бери назад твой перевод, пойди и переведи в точности, как там написано. Я хочу напечатать его не для унижения моих подданных, а для их усовершенствованья. Они должны знать, какими были, какими хочу их сделать и к чему они должны стремиться».

Начав сжиматься, кольца страшного удава, подобно машине, кем-то заведенной и уже не могущей остановиться, пока не будет исчерпан завод, продолжали и продолжали медленное удавливание всего, что так радостно и по-весеннему оживилось и распустилось было в шестидесятые годы.

Скрытые исторические процессы не видны до времени невооруженному глазу современника. Их приписывают то одному, то другому факту, видимому на

поверхности. Так, бесчисленные аресты среди молодежи и жестокая кара, постигшая типографии и издательства, все это было приписано нечаевскому делу, и петербургские чиновные тузы злобно приговаривали: сами, сами виноваты-с! Что посеешь, то и пожнешь-с! Правительство даже и жест сделало: процесс Нечаева, как известно, слушался «при открытых дверях», и это была первая гласность, допущенная в политическом деле. Мало, что слушался: протоколы всего процесса аккуратно публиковались в «Санкт-Петербургских Ведомостях» и как бы говорили всему русскому обществу: вот плоды нашего монаршего либерализма, вот как воспользовались дарованными вольностями!

Перо писателя Достоевского, еще не забывшего свое собственное «стояние у эшафота», как любил он выражаться, задвигалось по горячим следам,— то был богатейший, даровой материал для романа, горячий, как еще не остывшая кровь нечаевских жертв,— только обмакивай в нее перо! Добросердечные люди содрогались внутренне и соглашались, что тут неблагодарность молодежи, надругательство над вольностями, над благом общества, пострадавшего из-за кучки бандитов во главе с убийцей — Нечаевым. И вот теперь из-за этой преступной кучки всем честным русским людям худо стало...

Но так виделось именно невооруженному взгляду современника, близко стоявшего к тому, что происходит на поверхности русской жизни. Нечаевское дело было благодатью для русского правительства. Оно выполнило, без малейших усилий и затрат на него, великую роль провокации. Оно втерлось в ряды тех, кого правительство опасалось и хотело обезглавить и ждало, подыскивало поводов для расправы,— и так блистательно дан был ему этот повод разухабистым русским молодцем из-за границы,— этим Нечаевым!

— Этот Нечаев — не только провокатор,— спокойно продолжал говорить Жорж Феррари в маленькой, до отказу набитой молодежью комнатке на одной из московских окраин, куда пешечком, с полчаса назад добрались они с Чевкиным.

Комната, когда они вошли, была уже полна. Никто не курил. Только графин с сырой московской водой, как лакомство, стоял на столе, и его уже дважды бегали

наполнять. Сидели на подоконнике, по двое на стульях, по-турецки на полу. Кое-кто стоял, прислонясь к обоям, старым и до неразберихи истертым. Окно было открыто в садик, откуда лился свет от мигающего под ветром уличного фонаря. Этот красноватый свет да оплывшая свеча на столе были единственным освещением.

Жоржу, как только он вошел, подвинули стул поближе к столу и свечке. Чевкин, которого Жорж не успел представить, как не успел и ему назвать никого из бывших в комнате,— поглядев по сторонам, опустился тоже на пол, охватив руками приподнятые колени.

— Не только провокатор,— повторил Жорж.— Кое-кто тут еще разделяет убеждение, что приезд его был санкционирован Международным Товариществом рабочих и что бумажки его, которые он тут и в Петербурге всем совал под нос, были документами, выданными Товариществом, и будто бы сам Михайла Бакунин, лихо их подписавший, играл какую-то роль, чуть ли не главную, в этом Товариществе. Это уже не провокация, это подтасовка, обман, жульничество. Пусть он там был каким угодно краснобаем и Демосфеном, закатывался соловьем, факт остается фактом,— русская молодежь дала себя провести самозванцу,— типичная, между прочим, история в России-матушке; она готова каждому самозванцу верить и плашмя перед ним лечь.

Кто-то хотел громко запротестовать, но сидевший за столом красивый, кудрявый брюнет, знающе переглянувшийся с Жоржем, поднял руку, и опять наступило молчание. Чевкин между тем понемножку оглядывался. Человек двадцать теснилось на крохотной площадке этой комнаты, где, кроме стола и нескольких стульев, ничего не было. Двух он узнал — пожилого в золотом пенсне и Липочку с их двора,— они оба часто заходили к Жоржу. Остальные совсем зеленая молодежь, между семнадцатью—двадцатью, не разобрать — студенческая или рабочая. Рядом с ним, по правую сторону, сидел мальчик в простой рубахе, опоясанной ремешком, с начесанными на лоб по-крестьянски белобрысыми космами. Слева, повернувшись спиной к нему и так же, как он, подогнув коленки и охватив их руками,— девушка, тоже, видно, молоденькая, он видел только детский овал щеки и русые вьющиеся волосы, заплетенные в толстую косу. Ему казалось, что все это — со-

всем еще птенцы, и сомнительно, понимают ли они речь Жоржа.

— Чтоб раз навсегда покончить с этим вопросом,— для вас романтика, а для царя весьма желательная, вовремя подоспевшая провокация,— прошу ознакомиться с этим документом. Я прочту, потом пущу по рукам,— но чур, не разорвать, не запачкать, это редчайший экземпляр!

Из неистощимых своих карманов Жорж вынул вчетверо сложенную напечатанную бумагу и сперва высоко поднял и повертел ее над головой, потом поднес ближе к свечке и важно оглядел публику. Чевкин невольно улыбнулся на эту важность, вдруг тоже сразу омолодившую Жоржа, и на его круглый животик, выпиравший над поясом брюк.

— Язык — немецкий! — возгласил Жорж. — Дата — двадцать пятое октября 1871 года. Напечатано в «Volksstaat». Читаю. Кто не понимает по-немецки, прошу поднять потом руку, я переведу,— Жорж медленно, с выражением прочитал:

«ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО ТОВАРИЩЕСТВА РАБОЧИХ ОТ 19 ОКТЯБРЯ 1871 года

по поводу злоупотребления Нечаевым именем Интернационала

Конференция делегатов Международного Товарищества Рабочих, состоявшаяся в Лондоне с 17 по 23 сентября 1871 г., поручила Генеральному Совету заявить публично:

что *Нечаев* никогда не был ни членом, ни представителем Международного Товарищества Рабочих;

что его утверждение (ставшее известным благодаря политическому процессу в Санкт-Петербурге), будто он основал секцию Интернационала в Брюсселе и был направлен брюссельской секцией с поручением в Женеву, является ложью;

что упомянутый *Нечаев* злоупотреблял присвоенным им именем Международного Товарищества Рабочих для того, чтобы обманывать людей в России и приносить их в жертву.

По поручению Генерального Совета написано секретарем для Германии и России

Карлом Марксом

Лондон, 25 октября 1871 г.»

Произнеся «Лондон», Жорж Феррари передал листок соседу и вопросительно огляделся. Никто не поднял руки. К удивлению Чевкина, все понимали по-немецки.

— Неужели вы говорите по-немецки? — шепотом спросил он у белобрысого мальчика в рубашке. Шепот услышала соседка слева и резко повернулась к нему. Он увидел очень молодое, серьезное лицо с веснушками возле носа и укоризненные карие глаза.

— Мы можем не говорить, потому что в большинстве самоучки,— произнесла она грудным, каким-то полноводным голосом.— Но понимать — понимаем и читать — читаем.

Чевкину тотчас же стало стыдно. Он начал было неумело оправдываться, но раздалось «тише», и Жорж Феррари опять начал:

— Я вас хочу, господа, предупредить, что сам я никакой не посланец и не представитель, а, как уже неоднократно вас предупреждал,— сам от себя, мыслю и делюсь мыслями. Есть такая струя в русской истории, бунтари, сектанты, пророки, самозванцы-вожаки, пугачевщина, разинщина. Как выражение гнева народного, протест от невыносимых условий, взрывы народа — я это приемлю, уважаю, ценю, тем более что Пугачев и Стенька вели за собой бедноту и жизнью своей расплатились. Но как метóда русской революции — это не верно, вредно и не годится!

— Почему крестьянское восстание неверно? Крестьянские войны и на Западе были. Это единственная форма революции для России!

Говоривший,— высокий, сутуловатый, с пылающим лицом и красными пятнышками на скулах,— встал и вплотную подошел к столу. Он глядел на Жоржа почти с ненавистью.

— Маркс нам чужд, не нужен, он то и дело оскорбляет вокруг себя людей, преданных делу революции. Небось он отсиживается в своем Лондоне, пока другие в крепостях сидят, молодость просидели в крепости,

сквозь тюрьмы, ссылку прошли, мученики, герои революции, как наш Михаил Бакунин! Он уж не станет гонорары от английских милордов получать, будьте уверены! А ваш пресловутый Маркс преспокойно писал в «Пэль-Мэль газете», где ни один честный английский либерал не станет писать,— в газете самой высокопарной аристократии в мире, английской! Я не защищаю Нечаева, хотя провокатором не считаю. Я в Бакунина, в его катехизис верю, я в русское народное восстание верю, а эти бумажки нам показывать не к чему, сам он решил, сам и написал. Ведь всякий знает, что Маркс сам и есть «Генеральный совет».

— Ну ты, Тиняков, подожди выступать, послушай сперва до конца! — произнесла вдруг соседка Чевкина слева.

— Удивительное дело!—спокойно отозвался Жорж.— Труды Маркса к нам сюда не доходят, а сплетни доходят, да еще такие, что и за границей не все наши друзья знают. Ну да, товарищ дорогой, «Pall-Mall Gazette» регулярно печатала военные обзоры не Маркса, а главным образом Энгельса, и эти обзоры, замечу вам, были красой журналистики по точности, продуманности, глубине. На них ссылались, их перепечатывали, они заставили всю печать, всю читающую публику уважать коммуниста, его зрелость и глубину суждений, его образованность, не имеющую себе равных. А уважая коммуниста, серьезно считаться и с *коммунизмом*. Это заметьте себе. Кроме того, аристократическая или не аристократическая, «Pall-Mall» славится тем, что она не продажна. Ее нельзя подкупить. И это ведь тоже чего-нибудь дá стоит!..

Пока Жорж Феррари пространно возражал на выпад Тинякова, удалившись от предмета спора,— Чевкин припоминал, потирая затекшие от неудобной позы коленки, что он знает об этом нечаевском деле. Обрывки, осколки каких-то картин, частью увиденных в воображенье от прочитанного в «Петербургских Ведомостях», частью созданных рассказами Жоржа, складывались постепенно в связную повесть, начавшуюся, как комедия. Молодой человек с водянистыми глазами из тех, кого в публике окрещивают словечком «ненормальный какой-то», нежданно-негаданно прибывает из-за границы с таинственными документами. В карманах его — бумаги с печатями,

с подписями, он красноречив, как пророк Исайя, он едет из Москвы в Петербург, уверяя петербургских студентов, что в Москве у него сотни адептов, десятки революционных кружков; из Петербурга мчится назад в Москву, уверяя в том же самом насчет Петербурга — москвичей. Ну чем не гоголевский «ревизор», чем не Хлестаков по пьяному красноречию, по нечистоте на руку! Жалкие студенческие гроши, собранные на столовую, он присваивает; в кассу взаимопомощи запускает руку, как в свою. Мчится докладывать необыкновенному комитету какому-то за границу и оттуда шлет в Россию нелегальщину по десятку адресов, прихваченных где попало,— в штампованных конвертах, за которую тотчас же арестовывают и сажают ни в чем не повинных людей... И ему, его хлестаковщине все верят, верят его речам, что деревня созрела для восстания, что России нужен взрыв, который, как пыль, сметет государство и оставит одну только общину и — царя. Царя надо оставить, народ верит, что царь — божий помазанник, только надо, чтоб в России был выборный, земский царь. И тогда соберутся в артели, будут самоуправляться,— как в катехизисе Бакунина, великого мудреца и вождя...

«Боже, какая галиматья!» — думал Чевкин, следя за движеньем этой повести в своей неторопливой памяти.

Но комедия переходит в ужас, в трагический гиньоль. Среди адептов Нечаева есть один, честный, бесхитростный, деятельный студент, подмечающий фальшь. Он не хочет участвовать в этой фальши и заявляет об уходе. «Выдаст!» Подозренье повисает в воздухе. Выдаст — и «погибнет все дело», которого нет ни в чем, кроме бредовых идей самого Нечаева. Начинается разработка плана, как помешать «измене». Обязательно темная ночь. Чья-то чужая дача. Какая-то беседка. Назначенное свиданье — и убийцы ползут к мнимому изменнику, руки убийцы душат его, но не так-то легко удушить большое, сильное тело живого человека — на подмогу удушенью приходит выстрел. Потом последствия: засыпать кровавые пятна, закопать труп, застирать свою смоченную кровью одежду,— и нет для убийц возврата к прежней невинности, нельзя вернуть ни часу, ни минуты прошедшего времени,— время, как земля и одежда, как память и совесть, пропиталось пролитой кровью...

А когда трагедия оборвалась судом и процессом, Не-

чаев оказался за пределами досягаемости, под крылом у Бакунина. и доверчивую, несчастную, сбитую с толку молодежь судят открытым судом, как шайку уже не Хлестаковых, а мошенников, пачкунов, душителей, убийц,— судят, забивают ими тюрьмы, в кандалах гонят по Владимирке, и Достоевской пишет своих «Бесов»...

Думал ли об этом сам Чевкин, или оно пришлось к слову и сказано было кем-нибудь в споре с Тиняковым, Федор Иванович так и не успел узнать. Когда он очнулся от своих мыслей, разговор шел уже о другом. Возле стола, кончиками пальцев опираясь на него, стоял другой студент, огненно-рыжий, с полными и по-детски пухлыми губами и с высоким, умным лбом, как-то скульптурно-кругло выступающим над нижней частью лица.

— Это из Петербурга товарищ, из группы Чайковского,— шепнула соседка слева Чевкину.

Студент говорил о новом издательском стеснении, вызванном законом о печати:

— Раньше они нам скидку в два, в три раза делали, и мы смогли развернуть «Книжное дело» по многим городам. Была широкая договоренность, точнее, взаимопонимаемость. Правительство опасалось главным образом брошюр, считало, что политика содержится в брошюрах, а сочинения большого объема, как раз и нужные нам,— Дарвин, Дрэпер, Спенсер, Чернышевский, Добролюбов, Михайловский, Щедрин и так далее — внимания не привлекали. По прежнему закону это шло как дорогие книги для немногих и в списки политической пропаганды не входило. А нам их продавали со скидкой, и эти книги нами раскупались сразу, наши члены приобретали их, они читались и обсуждались. Теперь закон о печати уничтожает это. Видимо, наверху предусмотрели или кто-нибудь наябедничал...

— Не наябедничал, а донес! — внушительным басом сказал кто-то. Чевкин оглянулся во все стороны — бас прозвучал над самым его ухом. И вдруг, к величайшему удивлению своему, Федор Иванович увидел, кто сказал это. Говоривший басом — оказался его сосед справа, мальчик в рубашке, с белобрысыми лохмами.

— А как развивалось «Книжное дело» до нового закона? — спросил Жорж.

Рыжий студент опять раскрыл свои пухлые губы:

— Хвастать не хочу, но здешние товарищи знают. Мы

действовали внешне легально и очень энергично. Создали собственную библиотеку в Медико-хирургической академии в отличие от академической. Был свой фонд. Книги выписывались по заявкам студентов, членов нашего кружка. Понятное дело, выписывались самые острые, самые передовые книги. И так повсюду, во многих городах, в открытых нами отделениях «Книжного дела». Нас профессура хорошо знает, иаши группы из лучших, наиболее успешных студентов, даже правая профессура считалась. Чайковский, как вам известно, «Книжное дело» начал в противовес влиянию нечаевцев.

— От Бакунина это влиянье идет,— вставил Жорж,— книги долой, учиться не надо, развиваться не надо, да здравствует народный взрыв, а взрыва-то и нет! Чушь все зто, и чушь зловредная. Взрыва не бывает без людей, а люди сами собой не становятся грамотными революционерами. Готовить надо людей, учиться всем нам надо, каждому подготовленному человеку счет вести, эти люди и есть будущее России.

— В книжники тоже легко сползти, в голую теорию,— и очень просто! — загудел бас рядом с Чевкиным.— Если вредна нечаевщина, то куда уж вредней кабинетные теоретики. Они так зачитаются книгой, что забудут на улицу выйти, когда наступит час.

— Не так уж скоро наступит зтот час, товарищ Шамов! — обратился Жорж к басовитому мальчику.— Опасность между стихией и книжностью, качанье маятника между двух полюсов известны во всякой революции. Нужно мыслить не этими полюсами, нужно мыслить логическим развитием правильной теории, которая сама должна привести и неминуемо приведет к революции.

— Книжники были во времена Христа тоже главной помехой,— упрямо, с мрачной угрюмостью заявил маленький «товарищ Шамов».

«Откуда у него такой бас взялся?» — с удивлением думал Чевкин.

После доклада «чайковца» еще раз выступил прежний, нечаевского типа студент, заговорив о том, что они собираются в собственной типографии, устроенной под Петербургом на даче, печатать два больших воззванья, одно к крестьянству, другое к интеллигенции. Потом оба петербургских делегата простились и вышли. Соседка Чевкина своим глубоким грудным голосом спросила, бу-

дет ли сегодня чтение, и, когда вокруг закивали, достала откуда-то из-под нагрудного платка небольшую затрепанную книжку и подала ее через весь стол красивому брюнету, сидевшему рядом с Жоржем.

— Сегодня твоя очередь, Флаксман!

Жорж Феррари поискал глазами Чевкина, вопросительно кивнул ему и взглядом указал на дверь — не пора ли домой? Но Чевкину было интересно послушать, что будут читать, и он тоже взглядом показал, что хочет еще остаться. Между тем Флаксман спорил с девушкой, кому сегодня читать, и в конце концов уговорил ее. Девушка взяла назад книжку и подсела к свече. Теперь Федор Иванович видел ее прямо перед собой, и она поразила его своей ребяческой моложавостью. Круглое лицо не то, чтобы очень красивое, но миловидное, как писалось в старинных романах; широкоскулое, с широко расставленными карими глазами под тонко очерченными бровями, похожими на гладкую бархатистую шкурку какого-то миниатюрного зверька,— такие брови, тоже в старинных романах, именовали шнурочками. И было в выраженьи этого лица что-то на редкость упрямое, своевольное, даже диковатое. С конца левой щеки к шее шел красный незаживший рубец, не то от царапины, не то от пореза. На ней была короткая выцветшая юбка, а ноги, совершенно бронзовые от загара, без всякого подобия чулок или носков, в стоптанных матерчатых туфлях. Для начала семидесятых годов то был невозможный костюм для девушки из общества. Не походил он и на деревенский.

«Не барышня и не крестьянка, кто ж она?» — подумал Чевкин, приготовившись внимательно слушать.

Полноводный голос разлился по комнате, и слушать стало удивительно приятно. Девушка начала:

— Мы остановились прошлый раз на главе «Цена прогресса». Напомню ход мысли автора из предыдущей главы, где он применяет дарвинизм к истории человеческого общества; читаю, товарищи, это место: «...увеличение материальных благ в Европе бросается в глаза... и бесспорно, количество личностей, имеющих возможность пользоваться удобствами здоровой пищи, здорового жилища, медицинского пособия на случай болезни и полицейской охраны от случайностей, очень увеличилось в последние века. На этой-то небольшой доле человечества, охраненной от самой тяжкой нужды, лежит в наше время

вся человеческая цивилизация».— Она остановилась и прикрыла книгу, всю испещренную белыми хвостиками закладок.— Как вы помните, Лавров говорил о борьбе за существованье сперва в первобытном обществе, где за источники жизни боролись и воевали, и более сильные победили более слабых. Потом одному из победивших пришла в голову гениальная идея: не убивать более слабого, а заставить его служить на себя,— так родилась эксплуатация, родилось рабство. Он переходит дальше к новейшему времени. Теперь буду читать из главы «Цена прогресса».

— Подготовилась,— не то с завистью, не то с удивленьем зашипел басовитый мальчик.

Девушка сверкнула на него карими глазами из-под бровей-шнурочков:

— Читаю дальше из «Цены прогресса»: «Прежде чем учиться, надо иметь учителей. Большинство может развиваться лишь действием на него более развитого меньшинства. Поэтому... пришлось большинству сначала вынести на своих плечах счастливейшее меньшинство, работать на него, страдать и гибнуть из-за него. Это, по-видимому, тоже закон природы... Примиримся же с фактом, что человечеству для развития было необходимо очень, очень дорогою ценою приготовить себе педагогическую семинарию и более развитое меньшинство, чтобы наука и разносторонняя жизненная практика, мышление и техника, накопляясь в этих центрах, постепенно развивались на большее и большее число людей...»

Она читала и читала, поднимая свой грудной голос на более важных местах, останавливалась на них и оглядывала слушателей. Иногда,— в перебивку с Лавровым вплетала свои собственные рассуждения, но потом, без всякого конфуза, оговаривалась, что это не Лавров, это она... «выгоды современной цивилизации оплачены не только *неизбежным* злом, но еще огромным количеством совершенно ненужного зла, ответственность за которое лежит на предыдущих поколениях цивилизованного меньшинства...» Зла в прошлом мы исправить не можем! Люди страдали, они гибли от голода, от невежества, от болезней, от невозможного, надрывистого, непосильного труда, и этих погибших мы не можем вернуть к жизни, мы заплатить цену их страданий не в силах. Но зато мы в силах сделать это для страдающей массы народной

сейчас, в наше время! Лавров пишет.., но я лучше прочту, вот что он пишет за всех нас: «член небольшой группы меньшинства»,— это мы с вами,— «видящий собственное наслаждение в собственном развитии, в отыскании истины и в воплощении справедливости, должен сказать себе: каждое удобство жизни, которым я пользуюсь, каждая мысль, которую я имел досуг приобрести или выработать, куплена кровью, страданиями или трудом миллионов. Прошедшее я исправить не могу, и как ни дорого оплачено мое развитие, я от него отказаться не могу: оно именно и составляет идеал, возбуждающий меня к деятельности. Лишь бессильный и неразвитой человек падает под ответственностью, на нем лежащей, и бежит от зла в Фиванду[1] или в могилу. Зло надо исправить, насколько можно, а это можно сделать лишь в жизни. Зло надо *зажить*. Я сниму с себя ответственность за кровавую цену своего развития, если употреблю это самое развитие на то, чтобы уменьшить зло в настоящем и в будущем...»

В этом месте голос девушки обрел необыкновенную, звенящую выразительность, глаза ее потемнели, казалось, зрачки расширились на всю радужную оболочку, щеки пылали, и бисеринки пота выступили на лбу. Она переживала каждое прочитанное слово, словно клятву, которую дает перед всеми собравшимися, и дает не за одну себя, за всех них, за все свое поколение. Отблеск этого зажженного света в лице ее пылал сейчас на всех лицах. Слушатели молчали, но молчанье их не было безмолвным. Казалось, оно росло и вздымалось в комнате, как огромная невидимая волна.

Чевкин был потрясен и невольно закрыл глаза рукой, словно от внезапной яркости. Он впервые видел то огромное, пронзительное действие, какое оказывали «Исторические письма» Лаврова на русскую молодежь.

«Какой же она оратор, какой пропагандист! — думал он в изумлении.— Да и все они, и этот красавец Флаксман, и этот младенец с басом,— как сильно, как слитно они все это переживают... Дело, по правде, совсем не в Лаврове, Лавров пишет плохо, туговато, сухим языком, а они воспламеняются — отчего? Откуда это берется? От своих мыслей? От сердца? Общий самогипноз?»

---

[1] Имеется в виду пустыня, куда спасались от греха верующие.

Но и Чевкин сам чувствовал общий гипноз, переживая его по-своему. Эти знают, что им делать, куда идти, чтоб жизнь прожить с пользой. А он — не знает. Но он хочет найти свой путь, должен найти свой путь!

— Пора, пойдем! — шепотом сказал Жорж, наклонившись к самому его уху.— Они до утра читать будут. А мы — старики среди них, да и не члены кружка. Идемте, Федор Иванович, проснитесь!

Чевкин с трудом поднялся с пола, потирая затекшие ноги. Молча поднял завалившуюся за спину шляпу и двинулся вслед за Жоржем, стараясь ступать на цыпочках.

3

— Где живет эта девушка? — спросил он утром, за завтраком, Жоржа.— Я хочу к ней зайти и поговорить.

— Вы сперва с Делля-Восом поговорите, а потом с ней — практичней будет! — вмешался старый Феррари, отложив в сторону «Вестник Европы».— А то можете потерять хорошее занятие. Жорж, обрати вниманье! В Петербурге заседает международный Статистический конгресс, а вот, не угодно ли, «Вестник Европы» в последнем, августовском номере печатает такую статистику! — Он опять надел снятые было очки, погрузился в журнал и наконец отыскал нужную страницу.

— Вот слушай! На семь дворов в Харькове приходится один кабак... Число кабаков в Харькове с каждым годом растет. В 1869 году — 439, в 1870-м — 499, в 1871-м— 568. А сейчас в Харькове распивочных заведений, не считая буфетов, где водкой торгуют,— 675! Интересно, будут ли это оглашать на Статистическом конгрессе?

Жорж повернулся к Чевкину, не отвечая папаше:

— Какая такая девушка? — Он ложечкой, аккуратно, бил по горячему яйцу, сваренному по его рецепту «в мешочке» — так, чтоб белок был твердым, а желток жидким.

— Девушка, которая вчера читала.

— А! — Жорж почему-то засмеялся и стал медленно, со вкусом есть свое яйцо, бросая в него крохотные щепотки соли и перца и подкладывая кусочки сливочного масла.— Будут, отец, зачитывать питейные заведенья в Анг-

лин, так по крайней мере в программе четвертого, что ли, конгресса стояло, а у нас — не знаю. Не подготовлен ответить.

— Я спросил, где живет эта девушка? — упрямо повторил Чевкин.

— Живет далеко, в Раменском или Кунцеве, точно не припомню, а ночевать должна была у Липы. Вы зайдите во дворе к священнику, может быть, еще застанете ее.

— Какой ты социалист! — раздраженно сказал отец.— Никакой ты не социалист, если не интересуешься статистикой. По-настоящему тебе следовало бы съездить на этот конгресс, там вся мировая печать присутствует.

Отец с сыном любили так пререкаться за чаем, покуда Жорж не доест все, что ему полагалось. Чевкин уже знал, что оба они обожают друг друга и этими пререканьями забавляются, как кошка, внезапно кусающая за ухо котят своих или бьющая их не больно бархатной лапкой. Он встал, аккуратно сложил салфетку, послал в открытые двери на кухню, куда скрылись мадам Феррари с Варварой Спиридоновной, свое всегдашнее «спасибо» и поспешил к себе за шляпой. Через минуту, сопровождаемый дружеским тявканьем жирного и кудлатого Бобки, он зашагал через двор, по заросшим травою разбитым плиткам старой дорожки к низкому каменному дому священника. Чевкин явно волновался и был сам удивлен своей решимости,— опять ноги несли его раньше, чем могла догнать мысль. И когда поповна, в домашнем фартуке, потная и пропахшая постными оладьями, раскрыла на его стук дверь,— в первую минуту не знал, что сказать. Первой сказала Липочка:

— Здравствуйте! — Она забыла его имя-отчество, но помнила его, как жильца Феррари.

— Здравствуйте, Липочка,— смущенно ответил Чевкин,— ваша подруга еще не уехала?

— Уезжает сию минуту. Да вот она!

И вчерашняя девушка вышла в переднюю. Она была одета в нарядное платьице, почти доходившее до пола, с накинутой поверх, на плечи, темной пелеринкой, как носили тогда провинциальные барышни. Шляпка с большим бантом и чем-то вроде фазаньего пера лихо сидела у нее над самым лбом, закрывая брови, а толстая глянцевитая коса перекинута была на грудь. Ему стало жалко вчерашней ее короткой юбки, делавшей эту девушку

не похожей ни на барышню, ни на крестьянку. Сейчас она решительно напоминала пригородную барышню-дачницу. В руках у нее был узелок, и от нее тоже пахло оладьями.

— А в чем дело? — спросила она самым прозаическим образом.

Но Чевкин, к собственному удивлению своему, не испытал никакого разочарованья, как тогда, во Фребелевском павильоне, он упрямо уверовал в эту чужую девушку.

— Извините меня,— начал он очень неловко,— но необходимо, абсолютно необходимо мне поговорить с вами. О вчерашнем, я вчера, если вы заметили, был на вашем чтении.

Что-то вроде подозрения или испуга пробежало по круглому лицу, и Федор Иванович, подметив это, почти судорожно заторопился:

— Меня привел Жорж, и сейчас я от Жоржа, хотя, собственно, по совершенно личному вопросу. Но если вы согласитесь, чтоб я вас немножно проводил... мы бы могли в дороге. Мне совершенно достаточно нескольких минут, полчаса...

— Пусть они тебя до рынка проводют,— сказала вдруг поповна совсем не тем голосом и не теми словами, какими она разговаривала у Жоржа,— из внутренних дверей заглянул в переднюю сам успенский священник. Он был без ряски, в ситцевой рубахе и домашних штанах.

— На рынке ее будет подвода со знакомым ждать, у нее ведь далекий путь, до самого Раменского, только к ночи домой попадет,— продолжала тем же тоном нараспев Липочка.

— Ты бы попросила господина в столовую, оладьев откушать,— сказал из-за дверей поп.

— Нет, нет, благодарю вас, я только что позавтракал,— заторопился Федор Иванович,— разрешите взять ваш узелок, я провожу вас до рынка.

Молча идут они оба по улице, сворачивают в какие-то переулки, и все еще молчат оба. Чевкин несет ее легонький узелок и сбоку изучает ее профиль,— из-под края шляпки виден лишь нос, прямой, но чуть, самую малость, курносый; раскрытые губы; темные ресницы; и едва видимый шнурочек бровей... Он вдруг вспомнил: в русских сказках такие брови называют «соболиными». Никакого

смущения он больше не испытывал. Ему было необычайно легко, как случается, когда добиваешься своего, и совершенно неважно, что будет дальше,— свое, главное, уже достигнуто, и только бы не ушло оно.

— Знаете что? — Чевкин увидел на углу извозчика и внезапно решился.— Зачем вам на подводе ехать? И растрясет, и до рынка, честно говоря, я не смогу всего сказать. Если вот-вот знаешь, что через минуту рынок,— ну какой получится разговор? Давайте — я найму извозчика! Провожу вас до самого Раменского, часа четыре-пять проездим — это чудесно будет, по лесу,— лошадь у него свежая. Не возражайте! — Не дожидаясь, он бросился к извозчику и тут же, не торгуясь, согласился на пятерку, растерянно предложенную извозчиком. А когда подошла и девушка, сокрушенный возница вздохнул: — Эх, продешевил, барин!

Но Федор Иванович уже положил узелок в откидной кузов пролетки и протянул девушке руку. Не говоря ни слова, она села в пролетку, а Чевкин, как полагается воспитанному человеку, обошел и сел слева от нее. Потом они взглянули друг на друга, и Федор Иванович рассмеялся, снял шляпу и бросил ее на узелок. Девушка не засмеялась, а только улыбнулась:

— Ну и чудак вы, ведь это преступно, такую сумму бросать! Да и с какой стати вам ехать в Раменское, терять целый рабочий день?

— Нет у меня рабочего дня! — и вдруг он вспомнил про Делля-Воса.— Впрочем, есть один необходимый визит по делу, но именно прежде нужно еще решить и посоветоваться, а потом идти... Давайте, я все вам, как на духу, выложу сначала. Боже мой, как хорошо ехать на извозчике!..

Пролетка была рессорная, и ехать действительно хорошо было. Их не очень трясло, но колеса были без резин, и они звонко тарахтели по мостовой, пока шла мостовая — знакомая, московская мостовая, вымощенная круглым, обтертым до блеска булыжником. Лошадь, действительно свежая и еще не старая, звонко поцокивала подкованными копытами, не увеличивая своей размеренной, но хорошей рысцы. Время еще не зашло за девять, и солнце не успело нагреть воздух.

— Ай, а как же подвода? Ведь он зря ждать будет, сосед-то!

— Подождет и решит, что вы раздумали. А мы раньше его на целых полдня приедем.

Они выехали тем временем за заставу, и звонкое цоканье прекратилось. Извозчик забрал поближе к обочине, на пыльную полосу земли возле самой придорожной канавки, и лошадь рванула вдруг пошибче. Запахло пылью, сухим навозом, горелой травой и поверх всего — тем дуновением большого лесного массива, какой встречал путника в те времена по незастроенной, не вырубленной Казанке. Оба они вздохнули полной грудью, вбирая в себя это чудное дуновение. Потом девушка сорвала и свою шляпку, к великому удовольствию Чевкина, и бросила ее тоже в кузов. Теперь солнце ярко осветило ее всю, позолотило веснушки возле носа и заиграло в карих глазах.

«Будь это где-нибудь на Западе, ну хоть в Бельгии или во Франции,— самая чистая, самая неиспорченная девушка непременно восприняла бы мое поведенье, как ухажерство, и сама стала бы кокетничать со мной,— думал Чевкин.— А у нас просто замечательно, ни подобия, ни тени мысли о чем-нибудь романическом, ни у нее, ни у меня. Хотя я удивительно хорошо себя чувствую именно потому, что с ней. Но не потому, что она женщина, девушка...»

И девушка тоже думала про себя своими мыслями: «Должно быть, Лавров подействовал... Он уже не очень молодой и явно не кружковец, не такой совсем. Что с ним, интересно, происходит? Это замечательно будет, если удастся убедить его переменить свою жизнь!»

Словно продолжая ее и свои мысли, Чевкин медленно начал, щурясь от разгорающегося солнца:

— Я уже старик, как вы видите, мне целых двадцать восемь. Жил больше за границей, там учился, знаете — по-онегински «мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь»,— но блеснуть нам мудрено, уже не те времена, потому что ничего как следует до глубины не знаем. Диплома я не получил, профессии не имею. А зарабатывать необходимо, так как деревушку отцовскую проел,— и зарабатывать уже начал, но каким-то непутевым образом, несерьезно как-то!

— Чем, можно спросить?

— Я был гид на Выставке,— сконфуженно ответил Чевкин и заторопился прибавить: — Это уже кончается, то есть Выставка и работа.

— Гид? — задумчиво повторила девушка.— Гид? По-французски — руководитель, водитель... Да ведь это прямо в точку! Вы только послушайте...— Она вдруг вся повернулась к нему и даже за рукав схватила. Ее карие, детские глаза в солнечных искорках засияли почти восторгом.— Мы,— я имею в виду кружковцев,— прямо бьемся, ища выхода к народу... Для пропаганды, конечно. Вы не представляете, как трудно пробиться в деревню. Необходимо какое-нибудь занятие, звание, ну, определенность какая-нибудь,— скажем, учитель, фельдшер, таксатор или акушерка, учитель или врач лучше всего, но тут нужен обязательно диплом, бумажка, а потом сейчас, после нечаевского процесса, попасть в деревню — это через такой частокол пролезть. Массу, ну, массу наших арестовали, некоторых просто за чтение, вот как вчера... А вы вдруг — гид. Понимаете, как это хорошо и просто? Сколько вы могли замечательного сделать на Выставке! Сколько людей обучить, открыть им глаза, посоветовать литературу, где можно, и книгу передать, у нас ведь и для этого есть резервы... Да вообще гид, гид — до чего это чудесно! И как у нас никто не додумался... Вот идет слух, будет перепись населения, людей понадобится уйма. Но, думаете, кружковцу легко быть зачисленным? Один только донос дворника или фамилия ваша не понравится...

— Да ведь публика на Выставке...

— Вы скажете — не та публика для пропаганды? Не народ? Ну и неверно. Во-первых, через эту Выставку пропасть народу прошло, учащиеся, ремесленники, даже, говорят, солдат водили. Во-вторых, Выставка была для учителей, я сама знаю, как много там было народных учителей, а ведь это и есть главнейший материал для пропаганды. Через учителей — в народ, в крестьянство! Господи, как я вам завидую! Я даже хотела туда в уборщицы проситься, но меня все равно не приняли бы. Неблагонадежная. Наш кружок того и гляди засыплют. Вот «чайковцев» уже начали уничтожать...

— Вы мне завидуете, а я в самом деле большой дурак,— грустно сказал Федор Иванович.— Никогда с такой точки не смотрел на свое занятие. Правда,— он внезапно одушевился,— у меня была светлая страница, даже письмо в кармане ношу,— водил по Выставке одну группу народных учителей, а вообще, должен сказать, я ведь

для иностранцев гид. Но этих учителей случайно. И до чего же хорошо было, вот как с вами сейчас,— начистоту, душевно. Только ведь не я их учил,— они меня учили. Они меня многому научили.

— Покажите письмо! — нетерпеливо попросила девушка, и Чевкин, не чинясь, вынул смятое, много раз читанное, не совсем грамотное письмо Ольховского, посланное ему из Петербурга.

Сдвинув брови, с большим вниманием, дважды прочитала это письмо девушка. Для нее это был как голос из гущи народа, как запах земли. Читая, она почти забыла о Чевкине,— все ее внимание обратилось к Ольховскому, к его образу, его чувствам и его мыслям, какие пробивались из письма через беспомощный синтаксис. Образ был обаятельный для лавристки, какою она себя считала. Сотни раз, представляя в образах и картинах свое хождение в народ, она говорила в мыслях именно с такими Ольховскими.

— Эх вы,— голос ее зазвенел укоризненно.— Были с человеком и не смогли ну хоть грамотой раза два, вечерами, позаняться, выправить ему язык. Он учитель, а пишет, как ученик. При его интеллигентности в два-три урока освоился бы с письмом.

Лицо Чевкина потемнело. И без того уже темно было на душе у него в эту минуту, когда он сознал, какие возможности потерял в своей роли гида на Выставке,— а еще это неожиданное, недоброе, но справедливое замечание. А девушка уже заметила, как он изменился в лице, и тут же другим тоном прибавила:

— Но вы, видимо, им все-таки много дали. Бессознательно, а дали. Поглядите только, как он к вам обращается, как доверчиво выкладывает всю душу. Нет, вы всетаки распропагандировали его. По этому письму вижу, что вы — честное слово — хороший пропагандист. Жалко, что не выступили у нас вчера.

— Знаете, а я ведь хотел выступить! — неожиданно для самого себя вдруг признался Федор Иванович.

— Ну и выступили бы!

— Меня Жорж Феррари вытащил — домой идти. Напомнил наш возраст. В самом деле, мы с ним лет на десяток старше были всех присутствовавших.

— Ничего подобного,— важно сказала девушка, и опять сверкнули золотинки в ее детских глазах.— У нас

и не такого есть возраста. У нас одному члену кружка тридцать два года!

Она так произнесла эту злополучную цифру «тридцать два», что у Чевкина екнуло сердце. Каких-нибудь четыре года, н ему самому стукнет тридцать два!

— А вы как хотели выступнть? Возьмите, да и выступите сейчас, я вас буду слушать за весь кружок.

— Я бы так начал: «Дорогие молодые друзья!» («Ой,— воскликнула девушка и прибавила, встретив его вопросительный взгляд: — Только не так, не по-тургеневски!») — Он опять начал, но уже без обращенья:— «Я попал к вам неожиданио и думал, что случайно, а сейчас уверен, что не случайно. Для меня важно было попасть к вам, потому что я на распутье. По своей природе я совсем не революционер, то есть у меня нет таланта революционера и характер совсем не подходящий, очень тихий, мнрный. Но я отнюдь не реакционер и понимаю вас, думаю, что превосходно понимаю. Вы не все одинаковые, одни, мне кажется, не идут дальше чтения, изучения экономнки, желания просветнть народ. Другие хотят идти в народ, чтоб подннмать их на восстанне, на революцию. Третьи проповедуют сразу взрыв, восстанье и считают, что в народе уже все назрело для этого. Но при всех этих разлнчиях убежден, что вы одинаковы в чувстве долга перед народом. Я какой ни на есть, может — самый терпеливый и пассивный среди вас — тоже чувствую свой долг перед народом и в этом смысле вполне вас понимаю. Но вы знаете, как выплачивать свой долг, а я не знаю. Попросту, ну реально, что ли, я не знаю, что надо сделать, чтоб не чувствовать вины перед народом. Когда я верил юношей в бога — мне иногда кажется, я до сих пор верю в бога,— на меня подействовали бы слова: раздай все, что имеешь, и иди за мной. Отречься от благополучня, правда, весьма относительного, и идти по стопам Христа. Но и тогда, юношей, я бы задал вопрос: хорошо, иду по стопам, а дальше что делаю? Кому какая польза, если иду по стопам? Наоборот, других обременять,— хоть и проповедовать, а есть буду чужой хлеб, не мною в труде посеянный, не мною выпеченный. Это в своем роде экономически означало бы: я вам отдаю свое имущество, а вы взамен меня кормите. Цинизм, но по сути ведь именно то же самое, правда? Но я не юноша, сейчас уже на эти слова не откликаюсь, мне нужны другие слова, быть

может — ваши слова: что мие делать, что делать, посоветуйте, чтоб не прожить свою жнзиь без всякой пользы?»

Пока ои говорил, а сказал ои больше, чем думал сказать, н по времеии говорил долго, девушка глядела иа иего и, казалось, нзучала каждую черточку, каждое движеиье его лнца. Она совещалась сама с собой, к какой человеческой категории его отиести. Ои безусловно искренен,— это в сго пользу. Он из того меиьшиииства, той «педагогической семииарин», хотя н без диплома, о которой пншет Лавров. Значит, есть что другим передать,— но сперва спросить, что имеиио ои хорошо знает. Пришел со своим вопросом не как чнновннк к начальству, не как читатель к писателю,— эти порядком писателям иадоедают, а пнсатели романов — сами ие зиают, что им ответить,— прншел к нам, к молодежи, это в его пользу, и в его пользу сознание долга перед народом. Но с другой стороны пассивность, не революционер, а что, интересно, ои понимает под этим «не революцнонер»?

Когда Чевкин перестал, наконец, говорить, вынул платок и обтер им вспотевшее иа солнце лицо, оиа спросила:

— А скажите, что имеиио вы зиаете? То есть нз «чему-нибудь да как-инбудь» осталось лн у вас положительиое, экзамеи выдержизающее зиаиие какого-инбудь предмета?

— Осталось,— подумав, ответил Чевкин.— Знаю французский, немецкий, аиглийский, латынь — хорошо. Итальяиский, греческнй — хуже. Черчеиие. Игру иа рояле. Историю архитектуры. Фнзику и математику в пределах первого курса университета. Остальиое — в пределах гимназии. Таицую. Даже — камариискую! Любнл гимиазистом таицевать. Кажется — все.

— Господи боже! — вздохиула девушка.— Если б я когда-иибудь столько зиала, да я бы горы своротила! А вы раскисли. Ну пока оставим это. Второй вопрос: ие революциоиер. Что вы вкладываете в эти слова — «ие революционер»?

Федор Иваиович опять задумался, иа этот раз иемного дольше. А когда иачал отвечать, заговорил медлеино, подыскивая каждое слово:

— В целом — я почти всегда жизнью, то есть действнтельиостью, верней — той частью жнзни н действительиости, в которой в каждый даниый момент обретаюсь,— доволеи. Вижу, что есть лучшего в ней, как говорится —

положительного, и это — сразу — без особого наведенья, без размышленья. Лучшее бросается в глаза, захватывает, иной раз увлекает. Критическое чутье почти отсутствует. То есть мне гораздо тяжелее подходить к вещам критически. Просто не хочется критиковать. Есть так много прекрасного — в природе, в людях, в книгах, так интересно многое, что совершается, например — в науке, в общественной жизни,— что не тянет выискивать отрицательное. Говорю «доволен жизнью» не в том смысле, что не бывает минут отчаянья, безнадежности. Такие минуты есть. Такую минуту вчера утром, например, переживал. Но это от недовольства не миром, а самим собой, презрение к себе, неверие в свои силы.

Он замолк и несколько виновато повернулся к девушке. Он старался все передать в точности, но, когда говорил, что-то неприятное, протестующее шевелилось в нем.

— Очень это плохо? — нерешительно спросил он, заглядывая ей в глаза.

Но глаза девушки не смотрели на него, они были опущены. Ей, в ее собственном внутреннем мирке, это признание показалось чем-то начисто стершим все ее предыдущие, добрые о нем выводы. Но выразить это на словах — не так-то легко. И несколько минут она сидела молча, не глядя на него, а он тоже стал глядеть на дорогу.

Они ехали сейчас густым лесом, и время было за полдень. Лошадь, видимо, притомилась, от боков ее шел пар, и она часто взмахивала хвостом, отгоняя мух. Возница подремывал и едва-едва шевелил вожжами. Вдруг Чевкин услышал, как девушка заговорила,— не своим обычным, полноводно-звонким голосом, а как-то глухо:

— Видите ли, я мало над таким типом думала, поэтому не сразу отвечаю. Прогресс по Лаврову,— и мы все с этим абсолютно согласны,— делает «критически мыслящая личность». Без чутья критики, без взгляда на недостатки, на отрицательную сторону жизни, нет движенья вперед, а жизнь ведь сама есть движенье вперед, иначе ни в чем не было бы смысла. Реакционеры более полезны, чем вы, например. Они так и высматривают отрицательное, только не там, где надо,— они именно в положительном видят отрицательное. Но они полезны, чтоб с ними бороться... А вы...— Она чуть не плакала, ей не хо-

телось обижать человека, но больше всего не хотелось, чтоб этот объект пропаганды оказался неспособным воспринять пропаганду. Почти сквозь слезы она махнула на него рукой.— Вы просто безнадежный какой-то. Вас и по Спенсеру некуда поместить. Ну подумайте, раскиньте мозгами: вокруг безобразие творится, правительство озверело, школу обезобразили, печать обезобразили, людей ни за что ни про что в тюрьму сажают, в деревнях голод, мрак беспробудный, девять десятых народа человеческих условий для простой, скромной жизни не имеют,— а вы довольны. Довольны! Подумайте, ведь это узость и даже не узость, куриная слепота какая-то!

Неизвестно, что бы ответил ей расстроенный Федор Иванович, если б извозчик неожиданно не повернулся к нему. Лошадь стала.

— Барин, дневать пора,— сказал он внушительно.— Лошади дать отдых часок, овсеца ей засыпать, да и нам не худо поисть,— он так серьезно, с таким удареньем выговорил это «поисть», что Чевкин с ужасом вспомнил: никакой еды не купил на дорогу! И тоже был голоден, хотя совсем в разговоре не замечал этого.

— Может быть, тут деревня поблизости?

Девушка уже доставала свой узелок из-под его шляпы.

— Никакой нам деревни не нужно, управимся и без деревни. Мне Липа оладий наложила, яиц дала, еще, кажется, чего-то,— она рассчитывала на день пути на подводе. Лишь бы тут вода была.

— Ручеек вот именно есть,— отозвался извозчик,— без ручьев какие же привалы? Лошадь-то ведь напоить в перву голову надо.— Он уже отпрягал, выводил свою конягу из оглобли, поогляделся и повел ее куда-то глубоко в лес.

Девушка посмотрела ему вслед, посмотрела на расстроенное лицо Федора Ивановича и вдруг с детской откровенностью сказала ему:

— Вы пойдите вон туда прогуляться, а я вон сюда, а потом вместе к ручью, воды в кружку наберем, руки помоем, и я разверну скатерть-самобранку. Только шепните, чего хотите, все появится! — И, подобрав длинное свое платьице, она быстренько исчезла за кустами.

Через полчаса они отыскали ручеек, где извозчик уже сидел на камне и солил из тряпицы свой хлеб, а рядом с

тряпицей лежала у него на камушке тонкимн ломтями нарезаииая луковица. Оии прополоскали рукн н вытерли их о длиииый подол девушки; набралн у верховья ручья в большую кружку чудной, студеной влагн н пошлн к пролетке. Скоро «скатерть-самобраика», большой кусок ткаии, иапомииившей Чевкину вчерашиюю короткую юбку его соседки,— был аккуратно растяиут иа траве, а иа ием, в свежих, сорваиных поблизостн кленовых листьях, появнлись знамеиитые поповские оладьи, яйца, мясиые котлеты. Все было вкусно, н все оии быстро одолели, иапившись по очереди из кружки.

— Пришлось-такн отведать Липочкины оладьи! — пошутил Чевкии.

Но он не забыл разговора. Напротив. Покуда длилась их трапеза н звучали безобидные шутки, ои очень серьезио обдумывал свой ответ. Представив себе, что это нсповедался в «отсутствни критнцизма» не он, а кто-то другой, совсем посторонний, а ему, Чевкниу, поручеио быть адвокатом этого постороинего, он все время, пока они ели, копнл аргументы за этого постороиието. К удивлеиью, оии сами собой рождались в голове, н, обдумывая нх, ои все меньше н меиьше нспытывал то иеприятиое, протестующее чувство, какое щемило его во время исповеди.

— Ну-с, Афина-Паллада, продолжнм наши преиия,— сказал он, когда все было опустошено н скатерть-самобраика скатана в пакетнк и водвореиа в пролетку.

— Что-то вы очеиь расхорохорнлнсь,— с опаской протянула девушка, еще не совсем перейдя с шутливого на серьезный тои.— И почему «Афнна-Паллада»?

— Потому что вы иа нее удивнтельно похожн. Мудрая, как... иу как Афнна. И в то же время днте иоворожденное по своей ребячливости. Известио ведь, что Афнна-Паллада роднлась нз головы Зевса сразу со всеми атрнбутами мудрости,— но ведь р о д н л а с ь! Новорожденная была.

— А зиаете, иа кого вы, сударь, похожн с этнми вашимн бачками н длнииым носом? На Пушкнна, честное слово.

Чевкнн был польщен. Но все же заметнл:

— Пушкии темнее был.

— Нет, Пушкин блонднн был и голубоглазый. Я знаю, мие моя бабка рассказывала. А бабка моя — та самая

просвирня, которая на Хитровом рынке бубликами и просвирками торговала и Пушкину пример дала чистоты русского языка.

— Не может быть!

— А вот и может! Бабка просвирня, а мой отец — булочник в Раменском, вот кто я, если хотите знать. И никаких иностранных языков, кроме немецкого, в жизни не знала, а немецкий выучила самоучкой.

Неизвестно было, шутит она или говорит серьезно. Опять Чевкин почувствовал, что ему все равно, кто она такая; булочник или не булочник,— но всё, и девушка, и ее речи, и эта поездка были ему нужны, как в детстве сказка, и он никому и ничему не дал бы отнять всего этого из своей жизни.

Стал вдруг накрапывать дождик, сперва редкими каплями, потом дробно и туго, чаще и чаще, покуда не зачастил так, что пришлось поднять верх пролетки. Они уселись в ее глубину, извозчик застегнул кожаный фартук, прикрывший их чуть не до подбородка, сам накрылся какой-то невзрачной рогожей и влез на козлы. Отдохнувшая лошадь резво побежала по прибитой дождем дороге.

— Вот, госпожа Афина,— с важностью сказал Федор Иванович,— вы, кроме реакционеров и революционеров, ничего себе представить не можете и меня с грязью смешали. Однако ваш Лавров не отрицает накопленное знание, искусство, науку, цивилизацию, ведь он как раз и считает прогресс накоплением этих ценностей. Этого отрицать вы не сможете, вы сами это читали. Но мало копить, надо хранить накопленное. Хранить, развивать, расширять обладание им все большими и большими массами людей. Кто хранит и продолжает культуру? Консерваторы, госпожа Афина, консерваторы,— не в политическом английском смысле, а в буквальном. Те, кто видят, понимают, любят прекрасное, нужное, доброе, кто пишет историю... Они ее, может быть, не делают, на это природа им каких-то зубов не дала,— но они ее пишут, хранят, держат в памяти человечества, передают потомству, и такой сорт людей тоже необходим для прогресса.

— Наелись оладьев, набрались сил, и гляди — какие аргументы изыскали! — сонно ответила девушка, которой монотонная дробь дождя по кожаному верху нагоняла дремоту.— Пусть так, мы не отрицаем роли ученых и при-

знаем, что и творцы двигают прогресс. Но вы ведь не Ньютон, не Рафаэль, не писатель даже какой-нибудь вроде Боборыкина, хоть и похожи на Пушкина, это не отрицаю. Вы-то ведь только барчук-недоучка, вот вы кто.

— А вы — плохой пропагандист,— с силой вырвалось у Федора Ивановича,— плохой, никуда не годный пропагандист, не добрый, не чуткий, бьющий людей по больному месту, да будет вам это известно!..— Он был смертельно, как ему казалось, оскорблен. Все опять заболело, заныло в нем от этих беспощадных слов «барчук-недоучка».

А девушка не на шутку испугалась. Ей не было видно его лица, твердый кожаный фартук мешал как следует повернуть голову. Но она чувствовала — объект ее пропаганды выглядит сейчас ужасно. Ей не то что жалко его было,— она знала, что насквозь неправа и что, действительно,— плохая, плохая пропагандистка. Но как исправить дело? И всего-то хуже, что ей взаправду хотелось спать. Хотелось спать, как ребенку, который хоть и старается изо всех сил не спать, а знает, что сразу заснет. И она, словно сама природа подсказала ей самый лучший исход, проговорила:

— Оба мы друг друга обидели, по самому больному месту. Но это не мы, это усталость. Давайте простим друг другу, и честное слово — отдохнуть надо. Нельзя весь день спорить.

Последние слова она сказала уже сквозь сон и, засыпая, щекой коснулась шелковистых «пушкинских» бачков Чевкина, как следует устроилась головой на его плече и мгновенно уснула.

Чевкин не шевелился всю оставшуюся дорогу. Ему было необыкновенно хорошо, и он был перепуган внезапностью перехода от полного несчастья, какое испытал полчаса назад, к полному абсурдному счастью.

Раменское подошло совсем неожиданно, когда и пяти часов еще не было. Соседка его тотчас проснулась, отстегнула фартук и попросила остановиться, не доезжая до дому. Вся она была сейчас чем-то не в шутку растревожена, и Федор Иванович видел, что ей не до него. Она подхватила свой сверточек и несколько раз по-детски тряхнула ему руку, прощаясь. Отбежав, обернулась еще раз, крикнула «до скорого!» и скрылась за поворотом.

— Шесть рубликов, никак нельзя меньше, лошадь совсем упарилась, ночевка тоже денег стоит,— говорил между тем извозчик, втолковывая растерянному и полному всем пережитым Федору Ивановичу житейские истины.— Шесть рубликов, пять за проезд, как был уговор, рубель за ночевку себе и лошади.

— А как же я? На чем я назад поеду?

Минут пять они обсуждали этот серьезный вопрос, совершенно не предусмотренный в Москве, и если б не дождь, Чевкин, наверное, двинулся бы домой пешком. Он испытывал необычайный душевный покой и мог бы с этим чудесным чувством прошагать хоть сто верст. В конце концов на фабрике Малютиных, с помощью инженера, знакомого ему по Выставке, удалось найти фаэтон с двумя лошадьми, которые и домчали его к ужину в дом Феррари.

— Где вы пропадали, друг мой, Федор Иванович? — огорчительно сказал ему старый Феррари.— Жорж по всей Москве бегал, вас разыскивал. Делля-Вос прислал мальчика с письмом, они там очень опасаются вашего отказа. Переживают — вынь да положь Чевкина, вот оно как для вас все оборачивается.

— Завтра утром непременно пойду,— ответил Чевкин.

После ужина он зашел к Жоржу в комнату и сел перед ним, не зная, как начать. Жорж, серьезный и доброжелательный, без тени улыбки глядел на него.

— Значит, познакомились с нашей Леночкой?

— Леночка... Кто такая Леночка?

— Да ведь вы ее, Липа мне рассказала, утром на рынок взялись проводить?

— Так это была Леночка! — ахнул Чевкин.

— Ну да, очень хороший, очень глубокий человек. Видели у нее свежий шрам на щеке? Отец ножом полоснул. Приходит пьяный домой, таскает за косу, бьет чем попало, регулярно книжки ее сжигает. Как она из этого омута умницей такой выросла, просто непонятно. Единственное спасение для нее — фиктивный брак. Мой папан денег дает на учебу, он не первую русскую в Швейцарию отправляет. Товарищи тоже кое-что собрали. Ну как? Выручите вы девушку?

— Хорошо,— глуховато ответил Чевкин.

Он знал, что будет любить эту Лену, фиктивную свою жену. И, может быть, никогда не будет любим ответно.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

УЧИТЕЛЬСКИЕ СЪЕЗДЫ

1

Обогащенный Выставкой, Илья Николаевич приехал домой, и в первые часы приезда, отданные, как всегда, семье,— между распаковкой вещей, раздачей подарков, счастьем свиданья с женой и детьми, бесчисленными вопросами, бесчисленными рассказами — успевал думать о работе. Кроме накопившихся на его письменном столе бумаг, потока очередных дел и постоянного у него на службе приема посетителей,— на очереди было открытие учительской семинарии в селе Порецком и перевод туда слушателей с Симбирских курсов,— большое событие в губернии и в личной его жизни. А за этим открытием начинались другие дела, важнейшие для него,— организация учительских съездов.

Он уже имел опыт одного такого съезда, который вернее было назвать смотром,— для Сызрани. С самого конца прошлого, 71-го года по 5 января нынешнего, 72-го он провел смотр сызранских учителей народных школ этого обширного уезда. Нужно было выяснить, каким способом велось в школах преподаванье, знакомы ли были учители с новейшими методами и как их применяли. При своем первом посещеньи Сызранского уезда он уже убедился, что дело там обстоит плохо, и действительно — на съезде пришлось не столько слушать и смотреть, сколько учить и показывать: из 24 учителей, съехавшихся в Сызрань, 22 понятия не имели о новом звуковом методе. Часть их вела, правда, урок по барону Корфу, но были еще и такие, кто месяцами тянул с детьми свое «ба-а — ба», по-старинному букн-азу. И все же съезд тогда прошел с пользой. Сам он, как обычно, засел на последней парте в классе, давая действовать самим учителям. Реферат о новой форме звукового метода в виде одновременного письма-чтения сделал учитель Николаев,— и очень толково сделал... Недаром именно Николаев и был послан на Выставку, выбранный им вместе с тремя другими.

«Двигается, двигается дело,— думал Илья Николаевич.— Но новые съезды должны быть выше уров-

нем, должны стать кузницами педагогического мастерства».

— Тоже скáжете, кузницами мастерства! Каких это вы мастеров думаете выковать из них, когда я сам слышал, как ваши мастера говорят: «они хочут», «он лягет и встать не могéт»...

— Ну уж это — он лягет и встать не могéт — вы сочинили, Валерьян Николаевич,— г'ешно, г'ешно вам! — залился хохотом инспектор, когда в один из своих наездов в деревеньку Назарьева, Ново-Никулино, поделился с ним своими планами.

Съезд народных учителей, как ни наводи экономию, стоил денег, и деньги эти должно было давать земство, ну а земство раскошеливаться не любило, и приходилось убеждать и уламывать его, хлопоча, разъясняя, чуть не речи произнося перед каждым в одиночку. Валерьян Николаевич Назарьев был большим помощником Ульянова, несмотря на его постоянные шутки,— и с него первого начал инспектор свою агитацию за съезды.

Дело, что там ни говори, действительно двигалось. Чуть не на вторóй день по приезде Илья Николаевич побежал на свои Педагогические курсы. Хотя открытие семинарии в Порецке было его победой, но курсы, которым суждено было закрыться при этом открытии, все же были его первенцем, на них он потратил весь жар души своей в эти симбирские два года жизни. И как-то заныло его сердце, когда он сейчас, держа в руках свои коллекции, картины и пособия, сопровождаемый штатным смотрителем, несшим самые тяжелые пакеты, взошел по ступенькам в знакомое помещенье. В этом году ученье на курсах закончили лучшие его учители, которыми он мог гордиться.

— Вот, господа,— сказал он, раскладывая на столе свои пакеты, быстро развязывая их и аккуратно закручивая в клубок бечеву,— буду вам отчитываться в своей поездке,— а это в придачу к излагаемому. Как вы знаете, новые методы преподаванья побеждают повсюду. За ними жизнь. В школах они дают удивительный эффект,— дети усваивают предметы вдвое, втрое скорей прежнего. А нужда в поднятии грамотности народной — велика и днями растет. Вы будете передовыми людьми там, куда должность ваша вас направит. Древние мудрецы говорили: благословен человек, кто за свою жизнь посадил хоть

одно деревцо... А как же сказать о человеке, кто за свою жизнь не деревцо, а людей вырастил, и много людей,— целое поколение?

Ему хотелось говорить, хотелось передать обо всем, пережитом на Выставке, не как старшему с младшими, а как с товарищами — бойцами одного с ним фронта. Хотелось рассказать о юбилее Петра Великого, и как по всей Выставке, чуть не в каждой ее части, чувствовалась рука Петра, дело его, след, оставленный им в той или иной области. Но начал он, превозмогая свою внутреннюю «разговорчивость»,— с отчета о курсах. Из четверых народных учителей, побывавших благодаря его хлопотам на Выставке, в Симбирске был лишь один,— остальные разъехались по самым дальним уездам. Но и этот один сейчас отсутствовал,— из Москвы он поехал навестить своих в деревню. И пришлось инспектору одному рассказывать и рассказывать, отвечать на десятки вопросов, описывать Евтушевского и Бунакова, вынимать вырезки из газет с их выступленьями. Пока он делился пережитым, в памяти его вставали критические замечанья учителей, слышанные им на Выставке, и к его удивлению, и тут, на отчете его, кто-то из слушателей спросил о том же.

— Показательного урока на Выставке не было?

— Показательных уроков не было,— ответил Ульянов,— и многие курсанты остались поэтому не удовлетворены чтениями,— Евтушевский и Бунаков избрали лекционную систему. Да, вероятно, показательный урок в Москве и трудно было устроить, кроме того, ведь Бунаков с Евтушевским крупные преподаватели старших классов, известнейшие методисты, задача их была — дать теорию.

— Вы, Илья Николаевич, начальство в губернии, а сколько раз не брезговали и не брезгаете сесть в школе за показательный урок! Да и просто за урок! Вон в женском приходском учительница болела, а вы чуть не месяц урок за нее давали.

— Я, господа, практиком годы и годы был, практиком и остался. Давайте лучше к делу вернемся.

Делом был вопрос — о подготовке нового съезда учителей и о способе проведения съездов так, чтоб и ошибки, и достиженья учителя были показаны в классе наглядно для каждого участника съезда и чтоб при этом те и другие были проанализированы теоретически.

На этой первой встрече его после Выставки с народными учителями собрались не только слушатели, уже имевшие перевод в Порецкую семинарию, но и кончившие в последний год шесть человек, которыми он гордился. То были Василий Калашников, Петр Малеев, Николай Лукьянов, Дмитрий Преображенский, еще один Петр—Архангельский, и Константин Бобровский. С теми, кто уже закончил его курсы за те неполных три года, что он работал инспектором, вся его армия представляла собой не малую силу — сорок семь народных учителей. Сорок семь обученных новым методам, вооруженных не одним только знанием начальных предметов преподаванья, а и горячей душевной охотой учить детей, идти в народ, полюбивших чтение, а кое-кто даже и письмо для себя, первые опыты литературной обработки мыслей своих на бумаге, составления не по книге, а от себя рассказиков и побасенок для ребят, чтоб применить их в школе,— вот какая это была армия. Очень молодые, почти все — еще и двадцати лет не достигшие. И пусть с печатью своего выхода из крестьянства, с ошибками в ударениях, неполной свободой речи, вдруг прорывавшимися чертами того угрюмого деревенского воспитания, что учило детей сызмала гнуть перед барином спину, и уклончивым, а то и неправдивым быть в ответе из страха не угодить; пусть с этими еще не вовсе исчезнувшими следами проклятой деревенской темноты, столетиями, как густой туман, лежавшей над русской деревней,— да ведь как мало их было, следов этих, и как быстро, с какой живительной силой таяли они на его глазах! Одним он гордился особенно: общей, почти всегда выдерживавшейся ими, манерой равенства, тем широким, свободным внутренним жестом, какой был совершенно нов в тогдашнем народном учителе и сразу же отличал «ульяновца» от всякого другого.

Илья Николаевич много сил и энергии положил на выработку этой атмосферы равенства. Еще совсем недавно дал он урок неожиданному, вдруг проявившемуся атавизму в таком светлом и привлекательном умнице, как Василий Калашников,— и сейчас не поверишь, в чем он вдруг провинился тогда. Рассказал об этом уроке много десятилетий спустя советский учитель Зайцев, но за давностью лет и по слабой памяти перенес его на более позднее время, когда Илья Николаевич числился уже директором. А случилось это совсем на днях, в годы его

инспекторства, чуть ли не в первый симбирский его год, и, подняв глаза на Калашникова, Илья Николаевич с удивленьем подумал: неужели это было недавно?

Василий Калашников, шестнадцатилетний, был им поставлен преподавать, как только он кончил уездное училище,— в Симбирскую начальную школу, и в эту же школу он поместил мальчугана, бежавшего в Симбирск из деревушки, где отец его батрачил, а сам он пас гусей. Бежал этот мальчик, Зайцев, как и Рекеев, босоногим, слезно проситься в школу; и, поместив его в школу, Илья Николаевич не забывал следить за его успехами. Однажды инспектор побывал на уроке арифметики и разговорился с учениками. Это было огромным событием в жизни класса. Когда он ушел, на втором, русском, уроке Калашников задал тему — написать о «Впечатлении сегодняшнего дня». Зайцев, с усердием выводя каждую букву, написал, как в классе у них был начальник, как он им помогал решать задачи и как удивительно выговаривал слова: «ггивенник» вместо «гривенник»: «Я ученик и то умею сказать «гривенник», а он, такой большой и ученый человек, говорит «ггивенник»,— писал простосердечно Зайцев, вероятно высовывая от усердия кончик языка.

Через два дня Калашников принес тетрадки ребят в класс и роздал их с разными замечаниями, а тетрадь Зайцева придержал, ради эффекта, несколько дольше, но не утерпел — кинул ее ему в лицо и крикнул мальчику: «Свинья!» И тут-то как раз Илья Николаевич снова пришел на урок. Невозмутимо подойдя к заплакавшему Зайцеву, он развернул его тетрадку, прочел сочинение, увидел яростный красный крест, каким перечеркнул его Калашников, и большой круглый ноль под ним,— и поднял глаза на учителя.

Калашников стоял бледный и трепещущий. Он ждал всего, но не слов, сказанных ему инспектором:

— За что вы, Василий Андреевич, наградили этого мальчика орденом красного креста и огромнейшей картошкой? Сочинение написано грамматически правильно, последовательно, и нет здесь ничего выдуманного, искусственного... Читайте заданную вами тему: «Впечатление сегодняшнего дня». Ученик написал именно то, что врезалось в его впечатление во время прошлого урока. Напи-

сано искренно, соответствует теме, сочинение отличное!— И, взявши ручку, Илья Николаевич, улыбаясь, поставил под сочинением «отлично» и свою подпись «Ульянов».

Ему пришлось тогда быть резким, но в таких случаях необходимо быть резким. Именно так, как ножом, отрезавши всякую боязнь, всякое подхалимство перед начальством, можно воспитать в народном учителе его безбоязненность и достоинство. И кроткий по мягкому нраву своему, инспектор становился всякий раз резок, приучая учителей к безыскусственности и чувству равенства с собой.

Он вспомнил этот случай сейчас, глядя на семнадцатилетнего Калашникова: все такой же по внешности, красавец, подтянутый, любящий приодеться и руки держать в чистоте, а ногти чистить ножичком, но какая разница в выражении, в этом смелом и веселом взгляде! Вот только грудью впалый и покашливает... А его уже спрашивали со всех сторон.

— Илья Николаевич, объясните! Мы меж собой согласиться не можем,— как же это так. Например, я даю показательный урок, он дает показательный урок,— вы сами знаете, мы не совершенство. У каждого будет промашка на уроке. Так как же он может, если сам ошибается, мои ошибки после уроков критиковать? В Сызрани главным образом начальство обсуждало.

Илья Николаевич призадумался над ответом. Он был хороший шахматист и частенько рекомендовал шахматы народным учителям. С некоторыми из них и сам посиживал в свободные часы за доской.

— Вот что скажу вам,— медленно начал он.— Вы шахматы знаете и, наверное, много раз замечали, как двое играют, а вокруг них набираются кучкой зрители. Часами смотрят на игру, а иной раз не утерпят и укажут игроку ход. Такого нежелательного помощника тот, кто партию доиграл, часто сажает с собой за доску и предлагает ему: давайте теперь с вами сразимся! И что же? Полчаса назад он, как зритель, указывал лучшие ходы, а теперь, как игрок, делает одну ошибку за другой. Я это наблюдал много раз, и вы, вероятно, наблюдали. Не правда ли?

— Наблюдали, Илья Николаевич,— смеялись вокруг.

— Это факт очень типичный. Кто смотрит со стороны, часто лучше видит всю доску в целом. У него поле наблюдения шире, стратегия виднее, это как Генеральный штаб и фронт. В Генеральном штабе видят ошибки, но пошлите их на фронт, сами наделают ошибок, как вслепую. Я этот пример привожу, чтоб вы не робели в своей критике, когда будете обсуждать урок товарища. Процедура съезда становится ясной, подтверждается опытом. Я так ее мыслю: отдельный реферат учителя, скажем, о звуковом методе чтения-письма. И его же урок. Затем второй урок другого учителя. А вечером все собираются вместе и обсуждают. Все участники, кроме двух-трех лиц — инспектора, штатного смотрителя, может быть, члена училищного совета,— покажут свой урок. И те же участники будут вечером разбирать и критиковать его. Но сколько учителей, столько и разного в уроках. У нас нет единого метода. Мы вводим новейшие, следуем указаньям наших авторитетных педагогов, как Ушинский, Корф, однако не слепо. У каждого учителя практика что-нибудь подсказала, один выбрал одно, другой другое. Ведь даже звуковых методов существует несколько. В этом разнообразии, господа, смысл и польза учительских съездов. Не только нашей культуры — жизни человеческой на земле не существовало бы, если б каждое дело ограничивалось единственно тем, что в него вложено заранее. В каждом должна быть крупица нового! Этим новым и движется жизнь вперед. Критикуя и обсуждая, мы оттеним это новое, заметим ошибочные стороны, дабы в будущем избегать их, и ободрим положительное, чтоб воодушевить на лучшее.

— В Сызрани, Илья Николаевич, выделена была школа, где мальчики на показательных уроках занимались всерьез, провели свой курс занятий за несколько дней. Будет так и на будущих съездах?

— Обязательно! Иначе получится бутафория, учители и ученики будут знать, что делают лишь показное, как актеры в театре. Наши съезды задуманы практически, дается четкая программа начальной школы, двух групп,— младшей и старшей,— двух основных предметов, рассчитанных, скажем, на 20 уроков, по два-три в день — арифметики, объяснительного чтения, грамоты. Разумеется, славянского и «закона божьего» для господ законоучителей. Но помните, все, чему вас здесь учили, должно

энергично проводиться на съезде,— гимнастика между занятием, для освежения внимания учащихся, пение, нотная грамота, черчение...

— Нужно ли соблюдать такт?

— Обязательно! — опять повторил инспектор.— В школах уже начали проводить под такт, под ритмическое отсчитывание: раз-два, раз-два,— и писание буквы на досках и на линованной тетради, и ответы хором, и упражнения с цифрами на пальцах, на камушках, на орешках. Эта мера, названная «такт» и «под такт», быстро схвачена была учениками и как-то связывала действия класса воедино.

Говоря с учителями о будущих съездах, Ульянов наметил мысленно два: первый через год, в июле, для начальных училищ Карсунского уезда, и второй тою же осенью, очень ответственный — для начальных училищ Симбирского уезда в самом Симбирске. Говоря «для училищ», инспектор имел в виду народных учителей каждого из этих уездов, заранее радуясь показать земству своих питомцев в действии, в работе. Он знал, что многие из тех, кто сейчас слушает его, будут участниками и действующей силой съезда.

— А теперь, господа, поглядите на привезенные мною школьные пособия!

В Москве Илья Николаевич не утерпел — увлекся. На сбереженные от командировки деньги выписал-таки от Фену из Петербурга любопытнейший астрономический прибор, которым сам уже наслаждался, как ребенок, и сейчас с детским воодушевлением начал его демонстрировать перед теснящимися вокруг стола учителями. Поставил в центре лампу, перед нею — маленький глобус и совсем маленький серебряный шарик, соединенные между собой тонкой проволокой и вращательным механизмом.

— В лампу надо налить керосину и зажечь ее,— она играет роль Солнца. Вообразите ее себе зажженной. И вот...— Он накрутил что-то,— я привожу в движение механизм. Глобус двигается вокруг собственной оси и по эллиптике вокруг Солнца. Серебряный шарик — это Луна, она бегает вокруг Земли. В определенных фазах Луны прибор показывает солнечное затмение, полное или частичное, в зависимости от того, входит ли Земля в тень или полутень. Конечно, досадно, что сейчас я не по-

казываю опыт полностью, не зажигаю лампы, но вы, господа, можете представить себе, как легко, как наглядно и больше того — как занятно и увлекательно ученики получают первое представление об астрономии.

Этим прибором Илья Николаевич неимоверно гордился. Несколько лет он стоял у него в кабинете на шкафу, снимаемый лишь для демонстраций старшим детям или в школах,— и он сильно сожалел только о том, что не смог купить и не привез — за 45 рублей — самого дешевого по цене физического кабинета.

Далее инспектор показал своим учителям серию новых картин, с помощью которых должны проходить уроки объяснительного чтения; модели деревянных пособий и чертежи их, чтоб делать на местах в школах своими руками; небольшие, купленные на Выставке, собрания предметов различных кустарных производств, под названьем: «Как делать веревку из пеньки», «Кто и как делает шелк», «Что такое хлопчатник и как он обрабатывается». Наконец, развернул более полные и ценные коллекции — гербарии, минералы, образцы почв, бабочки, жуки под стеклом.

— Скажу следующее,— как-то доверительно добавил он склонившимся над этими пособиями учителям,— все это замечательно хорошо, чтоб пробудить интерес в детях, дать им матерьял для мысли. Но тут одно отсутствует, не было предусмотрено,— нет, не было пг'едусмотг'ено Выставкой,— местный географический момент. Это значительно уменьшает познавательную ценность коллекций. Но я, господа, прошу вас: изучите, как все это сделано, надписано, наклеено,— и проводите сами экскурсии с учениками на предмет собиранья местных растений, местных почв, местных видов насекомых и бабочек. Делать самим такие атласы для изучения своего края — великая,— он выразительно повторил,— великая вещь, господа!

2

Открытие Порецкой учительской семинарии отпраздновано было торжественно,— и уже отодвинулось в прошлое. Подошли новогодние праздники — и тоже уже на смену им замелькали в отрывном календаре январские, потом февральские дни. Кажется, никогда не летело вре-

мя с такой быстротой для Ильи Николаевича. Его лихорадочное возбужденье передавалось даже семье, и жена тихонько твердила ему, видя, как за обедом он поспешно глотает суп и не доедает жаркого: «Успеешь, успеешь!» А Илье Николаевичу казалось, что надо еще сильней торопиться, иначе никак не успеть. Однажды, за вечерним чаем, он словно впервые за эти месяцы пристально посмотрел на старших детей: Аню, повязывавшую в эту минуту салфетку за спиной у Саши, и Сашу, не обращавшего на операцию эту ни малейшего вниманья и безмолвно макавшего булку в чай. Мария Александровна проследила за его взглядом и, как всегда, читая мысли мужа, сказала:

— Учить их пора, Илья Николаевич. Я веду немецкий и французский, но в гимназию готовить не берусь. Ане тринадцатого августа стукнет девять, Саше тридцать первого марта семь лет.

Володя пил чай в детской вместе с няней. И опять, улыбаясь на взгляд Ильи Николаевича, со старших детей как бы невольно обратившегося к дверям, ведущим в детскую, она подсказала ему:

— Давно ли Володя родился. А ведь и ему скоро три. Олечке больше года!

— Я приведу старшим учителя,— ответил озабоченно Ульянов.— Давно пора, как я упустил это, непростительно упустил!

— Не «давно» пора, а в самый раз пора,— опять своим успокаивающим, организующим голосом сказала жена.— Я приглядываюсь к Андрюше Кабанову, который у тебя бывает,— по-моему, он подойдет. Ты какого мнения о нем?

Илья Николаевич встал и, сказав свое «спасибо» жене, ответил, что подумать надо. И прошел к себе в кабинет, внезапно забыв о своей нервной спешке. Вопрос об учителе для детей был серьезный вопрос, но он не перебил течения его обычных в эти дни мыслей. Севши в кресло и подперев рукой свою лысинку, увлажненную от чаепития, он задумался о шести выпускниках Педагогических курсов, гордости своей. Андрей Кабанов к этой шестерке не принадлежал, он еще не кончил и сейчас перешел с курсов в Порецкую семинарию, чтоб кончить в этом году. Он поэтому отпадал,— но Кабанов хорош, как учитель, слов нет, Маша права.

Весь путь Кабанова лежал перед ним, как, в сущности, и все короткие пути, пройденные сорока семью народными учителями. Совершенно удивительной была память его на них, знание каждого не только по имени-отчеству, но и по родителям, жизни на селе или в городе, привычкам, характеру. Кабанов был солдатский сын, отец его, бывший дворовый, чего только не познал на своем веку, чего не нагляделся! Будучи камердинером у барина, вкусил лакейской жизни, наслушался барских разговоров, пригляделся и к хмельному барскому угару, и к картежным до рассвета играм, где проигрывались крепостные девки и борзые собаки; прошел через солдатскую муштру, знал и другое ученье — на часового мастера, а кончил слесарем в симбирских казенных мастерских. Как рассказывал сам Кабанов, в детстве у него «раз на раз не приходилось», то жили хорошо, то, если заболеет отец, жили впроголодь. Бывало, лежит отец в больнице, а заказчик приносит к ним на дом часы чинить,— тут они всей семьей разбирали часы, чистили каждый винтик и несли все в разобранном виде к отцу в больницу, а тот, лежа на койке, соберет и в ход пустит. Радостью отца была охота, и радость эта перешла к сыну,— Андрей Кабанов до восемнадцати лет был в своем роде русским Робин Гудом,— дневал и ночевал с ружьем в лесах, охотился на птицу, на зайца, полюбил природу, полюбил свою дикую вольность лицом к лицу с природой,— ни торфяники, ни болота, ни медвежья глушь не страшили его,— он всюду пробирался со своим ружьишком, закалил здоровье и — привык думать,— привык думать, как незаметно для себя привыкали думать, каждый в свое время, архангельский рыбак, малороссийский подпасок: первый — чтоб стать академиком, творцом российской науки, второй — великим поэтом народной недоли. Но из Кабанова академика и поэта не вышло, а хороший учитель вышел. Доживя полным дичком-неучем до девятнадцати лет, он нашел в себе силы подучиться на учителя, больше того — добился стипендии на Педагогические курсы, которые и кончал теперь, а получать стипендию могли только очень способные, очень успевающие.

«Кабанов, Андрей Сергеевич, и сейчас хорош, а с годами еще лучше станет, он по призванию учитель,— думал Илья Николаевич, окидывая мыслями своими эту,

еще только начатую жизнь.— Кончит в этом году Порецкую, а потом станет отшлифовывать себя на труде педагога, чтение заменит ему отчасти природу».

Но какая книга заменит природу, тишину звездной ночи, одиночество, таинственную жизнь леса, где продолжается и ночью неведомое действие,— недаром ночную сторожиху, сову, зовут птицей мудрости! Илья Николаевич, разъезжая без устали по деревням, стал и сам почитывать понемножку в раскрытой книге природы, и однажды, в разговоре с каким-то грубоватым членом училищного совета, сказавшим о народе «да что он понимает по невежеству своему!», ответил серьезно: «Народ д у м а е т». В огромном, веками сложившемся одиночестве,— одиночестве при постоянном пребываньи «на людях», при знаменитой своей общине, при частых «сходах», при густоте человеческой в толпах,— кабацкой, церковной, крестного хода; при спанье в избе чуть не вповалку всем семейством и неимении своего отдельного уголка, чтоб уединиться на досуге, да и при полном почти отсутствии этого досуга,— каким малословием, какой малоречивостью отличался тот люд по деревням, с кем приходилось сталкиваться Илье Николаевичу при разъездах,— и как при этом д у м а л народ! Недаром он создавал свои былины о богатырях, где, прежде чем дело начать, тридцать три года пребывали в думаньи, и как хорошо складывает народ два певучих слова «думу думает». Как-то Илья Николаевич, разыскивая нужного ему волостного старшину, попал в избу на девичьи посиделки, и поразило его отсутствие разговора на этой посиделке: руки прилежно работали, а беседу заменяла песня.

«Молчание очень гигиенично, учит не тратить слова без нужды,— и, может быть, именно великая экономия природы одарила словом только одного человека»,— вычитал Илья Николаевич в какой-то книге, и вычитанное часто приходило ему в голову.

«Но вот Василий Андреевич Калашников — совсем другого склада,— продолжал он свой мысленный смотр народных учителей,— тоже наш, симбирский, на год моложе Кабанова, а кажется старше. Умный, живой на язык, с темпераментом».

Калашников был, действительно, иного склада, чему может быть способствовала мучившая его с детства ле-

гочная болезнь. Узкогрудый, но стройный и тоже, как Кабанов, красивый лицом, Калашников был самолюбив, обидчив и резок. Он знал за собой эти недостатки и даже в глубокой старости, незадолго до смерти, каялся в резкости. Не легко уступал в споре, не легко признавал себя сбитым, кидался на многое, смотрел во все стороны,— одной жизни, казалось, мало ему, чтоб все охватить и все пережить. А в то же время — какая это была благородная и щедрая натура, щедрая до самозабвенья. Закончив курсы в 71-м году, он стал преподавать в Симбирском училище, но этого показалось ему мало. В то время открылась, по болезни учителя-чувашина, вакансия в чувашской школе, основанной Иваном Яковлевичем Яковлевым. Говорили позднее, что сам Ульянов предложил Яковлеву кандидатуру Калашникова, но на самом деле было не так: Василий Андреевич пошел в чувашскую школу самолично и услуги свои предложил безвозмездно — два года он бегал туда преподавать даром, полюбил чувашских ребят, со многими всю жизнь был дружен и в последних письмах своих, в год смерти, отчетливо, по фамилиям, вспоминал любимых учеников — Дерюгиных, Стрельцовых, Павла Миронова.

«Сам пошел, хоть и был занят,— думал Ульянов.— Есть у него талант самоотдачи, что-то от интеллигента. Ну да сейчас Иван Яковлевич подготовил смену, вот Калашникова и возьмем готовить Анюту и Сашу, довольно ему нужду терпеть».

Так было решено в семье Ульяновых,— пригласить в преподаватели к старшим детям Василия Андреевича Калашникова.

Дни рождения детей Мария Александровна справляла обычно без особенного шума и парада, в тесном кругу. Подарки детям делались практичные. В «уголку», как она звала свой столик возле окна, стояла неизменная помощница семьи, швейная машина, и на этой машинке мать сама шила детям штанишки и платьица, чтоб подарить их утром, когда они проснутся. Отец прибавлял иногда от себя детскую игру или книги. Баловала детей игрушками одна лишь няня, из собственного жалованья. Все первые дни апреля с утра привычно стрекотала швейная машинка, быстро-быстро вонзаясь иголочкой в материю, словно протаптывая себе бесконечную дорожку. Только в часы занятий Ильи Николаевича этот монотон-

ный стрекот прекращался, хоть он и кричал жене из кабинета:

— Шей, шей, это ничуть не мешает!

У Марии Александровны, как она сама, смеясь, признавалась, «особого таланта» к швейному делу не было, но портнихи стоили дорого, бюджет у семьи был невелик, детей в доме уже четверо, и всех обуть-одеть,— поневоле начнешь сама шить, с талантом или без таланта. Платья для девочек выкраивались с большим запасом, чтоб длина их могла соревноваться с ростом: спустя полгода-год кое-где распустишь подол и рукава удлинишь,— и опять носи, как новое. С тем же расчетом шила она Володины штанишки,— не штанами, а шароварами,— он катался в них, как шар или кубик,— недаром прозвали его впоследствии Кубышкин. Ко дню рождения приходил фотограф, и младших детей сняли,— Ольгу, крошечную, как кукла, сидящей в кресле, а Володю в его локонах, которые мать пожалела остричь, стоящим, наклонясь возле Оли, в своих новеньких шароварах и широкой новой рубашке, тоже длинней нормы. Нижегородская мадам Садокова, директорша, непременно сказала бы «неэстетично», хотя времена были теперь другие. Передовым, думающим людям постыдно казалось гнаться за модой, одежду по моде презирали и на взрослых, и суровая простота нарядов ульяновских детей как раз отвечала духу времени.

К обеду никого не звали, но пришел к своему крестнику Белокрысенко и принес, как всегда, большой кондитерский крендель с изюмом и цукатом, посыпанный сахарной пудрой, с заманчивым сахарным розаном на середке,— знаменитое изделие симбирских пирожников,— пришлось бежать на кухню, давать дополнительные распоряженья. Аня с хозяйственным видом ставила лишний прибор на столе. Ульянов и Белокрысенко, в ожидании обеда, прохаживались из кабинета в столовую и обратно, обмениваясь городскими новостями. Весна в этот раз вышла холодная. Десятое апреля,— а окна еще стояли закрытые, и деревья за окнами едва-едва набухли почками.

— Что-то там происходит,— остановился вдруг Белокрысенко и вопросительно посмотрел на двери.

В столовую вошла Мария Александровна, полусмеясь, полусерьезно поглядела на мужа и на гостя и, приложив

палец к губам, чтоб молчали, головой показала им на соседнюю комнату. Они пошли за ней на цыпочках, недоумевая.

В соседней комнате на первый взгляд никого не было. Но, так же призывая к молчанью, Мария Александровна подвела их к полуоткрытой двери и жестом пригласила заглянуть за нее.

В уголку, под прикрытием двери, стоял в своих новеньких шароварах, подобранных в сапожки, Володя и, слегка выпятив губы, с величайшим усердием крутил и крутил ногу у картонной серой лошадки, подаренной ему только что няней. Он даже сопел от усилия, пока крутил, и вот нога отвалилась. Выпустив ее из рук, он с такой же энергией взялся за вторую ногу.

— Ай-яй-яй, стыд какой! — воскликнул Белокрысенко.— Что это ты, крестник, вытворяешь?

Застигнутый врасплох, Володя отшвырнул лошадь и помчался из комнаты.

— Что за Герострат! Вот разрушитель! — хохотал Белокрысенко, возвращаясь в столовую.— Вам с ним, кум, хлопот будет не обобраться.

Илья Николаевич широко улыбался, он вспомнил фребеличку на Выставке.

— Совсем не Герострат, Арсений Федорович! Наоборот, наоборот,— у него зубки, то есть руки, чешутся! К действию чешутся! Так по крайней мере нам в Москве на Выставке детские психологи объясняли.

— Ну, если детские психологи,— примирительно ответил Белокрысенко, опрокинув рюмочку и нацеливаясь вилкой на кусок селедки,— тогда, что ж... Выпьем и закусим, выпьем и закусим!

А Мария Александровна утешала тем временем расплакавшуюся няню на кухне. Осыпаясь мелкими слезинками, так и брызгавшими по щекам, а в то же время не удерживаясь от непроизвольной, доброй улыбки, раздвинувшей ее широкий добродушный рот, няня утирала ладонью слезы, втягивала влагу носом и приговаривала:

— Самую что ни на есть аккуратную выбрала... Старалась, старалась, а он, голубь, скажите вы на милость, припрятался за дверь, да и крутит, и крутит,— обе ноги ей открутил!

— Это вам, нянечка, урок, не балуйте! Мал он еще —

такие хорошие игрушки получать. И совсем он, нянечка, не голубь!

Тоже полусмеясь, полусерьезно уговаривала Мария Александровна разволновавшуюся няню.

3

Лето надвинулось зловещее, грозя и на третий год недородом. Закаты стояли багровые, но прошитые черные,— какими-то полосками ярко-черных, словно сажей вымазанных, туч. Когда казалось — быть дождю, чтоб полить землю, он только обещался природой, только дразнился, а даже птицы сперва верили ему: тревожно перепархивали, снимались куда-то стаями; и даже деревья в садах верили ему, начиная шелестеть призывно, словно подзывали к себе дождевые капли. А какая-то бухгалтерия природы вдруг обращала все эти приметы в обман, и небо, тяжело повздыхав над землей, оттягивалось со всеми своими тучами за горизонт, так и не пролив на нее ни единой капли. Когда Илья Николаевич знакомой дорогой ехал в Карсун, он видел вокруг выжженную траву, поникшие ветвями деревья и слабые, тщедушные всходы на полях: третий год недорода!

— У Самаре, слыхать, все погорело,— угрюмо сказал ему Еремеич.

— Может, бог даст, выправится,— бодро ответил инспектор,— лето еще только началось.

Ему не хотелось думать о тяжелом. Впереди — такая большая, хорошо подготовленная радость,— для нее так славно потрудились люди,— около сорока народных учителей, а то и больше, если приедут из соседнего уезда. Все это молодежь, стариков мало, но и старики прошли подготовку. Он спешил приехать на место не позже 1-го июля,— съезд учителей и учительниц начальных народных училищ Карсунского уезда должен был точно по плану открыться второго, а завершиться 15-го июля. Двенадцать полных дней — занятия в школе, по три урока ежедневно, с единственным отдыхом — передышкой в воскресенье, восьмого, а в завершающий день, 15-го, он думал сам выступить и сказать им напутственное слово.

Хорошо, обдуманно, задолго подготовлено,— это так.

Но готовились у Ильи Николаевича съезды и обдумывались они с точностью — совсем не так, чтобы знать заранее происходящее на них. В том и была особенность и сила инспекторских «подготовок», что он отнюдь не определял заранее содержанье, а только ставил и составлял рамки, но и тут с мыслью не столько вводить их, как принцип ограничительный, замыкающий, как бы «предержащий», а наоборот,— словно отводить ими поле действия или щедро землю распределять, а работайте на отведенном, как хотите. Один принцип — творчество — стоял незыблемо, хотя не был им произнесен. Илья Николаевич выпускал своих питомцев, как птиц в полет, как бы говоря им: вы учились великому делу обученья детей, вас познакомили с новыми, лучшими методами передачи знаний, а методов этих немало; показали нужные пособия, вручили новейшие учебники; вы — отборная молодежь, большею частью стипендиаты у земства или же министерства. Методы и способы обученья разные, хотя цель едина: обучить с наибольшим эффектом. И вы все разные, не схожие по характеру, по вкусам, по способностям, хотя цель у вас единая; но цель едина, а пути к ней могут выбираться из многих, могут быть различны. И больше того,— на каждом пути вы не простые пересказчики заученного на вашей личной учебе,— вы творцы! Каждый может вводить, по мере накопления опыта, свои личные приемы, показывать их другим педагогам, демонстрировать результаты их. Многообразие действий, яркий разворот педагогических талантов и возможностей — вот что такое съезд. И поэтому, только поэтому он и сам превращается в школу, учит, двигает вперед. Поэтому, только поэтому он и нужен!

Собственно, думы эти, набиравшиеся у него по мере приближенья к Карсуну, должны быть и стать его напутственным или, скорей, итогоподводящим словом в последний день, потому что Илья Николаевич считал даже стеснительным для учителей сказать им это вначале. Всякое предрешение есть предрешение, и оно накладывает цепи на душу. А надо, чтоб они чувствовали себя хозяевами в своем деле, чувствовали свою собственную волю,— вот тогда и станут учители творцами.

Что же именно было продумано и подготовлено заранее? Кто подходил к зданию Карсунской школы в эти дни, мог прочитать программу съезда, написанную круг-

лым, крупным, ясным почерком,— явно стальным, а не гусиным пером,— и вывешенную на входной двери. Изучив ее или хотя бы прочитав раза два, он мог получить цельное представленье о двенадцати днях съезда,— не только о первом и последующих, как они шли друг за другом, но и обо всех двенадцати днях в целом. О следовании работ было ясно, что размечены они по степени роста трудностей, но и накопления знаний учениками. О всем же объеме двенадцати дней,— что в них проходилась почти годовая программа начальной народной школы, какой она рассчитана и растянута была в прошедшие, замедленные годы: грамота, письмо, арифметика четырех действий, объяснительное чтение, славянское (церковнославянское) чтение, закон божий. Но именно новые методы преподаванья и весь тот подсобный багаж, каким сейчас вооружился учитель, и делали возможным легко пройти меньше чем за две недели то, что не так давно тянулось и тянулось год, а иной раз и годы. Продуманность расписания,— никак и нигде не насиловавшая педагогов, а только помогавшая им действовать организованно, и была работой подготовки съезда.

Почти все участники уже съехались и размещены были штатным смотрителем по городским квартирам для проживанья. Школа, вымытая и вычищенная, дышала своими оконцами, широко распахнутыми на улицу. Народ, большею частью женщины, толпился перед дверями, куда матери вели своих, по мере сил отмытых и приглаженных, ребят в чисто постиранных рубашках.

Начальство,— братья Сабинины, один — председатель земской управы, а другой — член училищного совета; инспектор Ульянов и штатный смотритель,— медленно шли в школу, смешавшись с группой народных учителей, съехавшихся ото всех школ большого Карсунского уезда, так, что со стороны жители Карсуна даже различить не смогли бы, кто в этой группе «набольший». Был понедельник, 2 июля 1873 года; а по уездному обычаю, установившемуся в послевоскресные дни,— скучный и длинный, когда мужчины не все проспались от воскресного похмелья и даже священник несколько путался ногами в рясе. Городишко Карсун, с кабаком и колокольней, казался и весь несколько заспанным в противоположность нервной бессонной подтянутости и взволнованности учителей.

Уездное училище, довольно просторное, не могло даже в самом своем большом классе вместить и ребятишек и приезжих. Инспектор, как всегда, сел на задней парте с учениками; учители теснились в дверях и вдоль стен; а начальство, как и смотритель, заняли скамьи поближе к преподавателю и доске. Окна закрыли, чтоб не мешал шум с улицы. Хотя для того, кто в протоколах не был назван по имени, а просто руководителем, наступил очень ответственный час — провести первый показательный урок, именно так, как он проводил его в своей собственной школе,— он сел за свой учительский стол совершенно без страха. Казалось, он пришел сюда на праздник, такой необыкновенной радостью и воодушевленьем светилось его лицо. Он начал улыбаясь знакомиться с классом и спрашивать, как звать каждого по имени. Мальчики, чувствуя оживленье учителя, оживились сами,— и со всех сторон понеслось: Петр, Василий, Ваня, Степа...

— Встаньте, кого зовут Иван,— попросил учитель. И когда встали трое, он как будто затруднился немного: — Вот ведь, целых три Ивана в классе, а как же различать вас? — И когда класс примолк, сам подсказал: по фамилиям. Записаны были и фамилии. Продолженье урока показалось простой беседой,— сперва: где у тебя голова? Рот? Нос? Подбородок? Потом: а что ты видишь в классе? А знаешь ли ты, какая сторона левая, какая правая? Давайте хорошенько выучим... но сперва уговоримся давать ответ, как под музыку, раз-два, я отбиваю на столе — раз-два, это называется «под такт». Давайте под такт — когда скажу «правая», поднимайте правую руку, скажу «левая», поднимайте левую. Ну, начинаем, ровно, ровно, по счету!

Десятки ребячьих глаз следили за губами учителя. Сперва кое-кто путался, поднимал не ту руку. Но учитель повторял и повторял,— «левая», «правая», «левая», «правая», и постепенно движенья мальчиков ритмизировались, стали совершаться под такт. Ритм не только движений, но и всей учебной процедуры в начальных школах был одним из завоеваний нового времени. Он сразу, с первых уроков, начинал очаровывать и гипнотизировать ребятишек. Под такт учители заставляли чертить первые линии,— «палочки»,— и дети наносили на бумагу эти палочки под раз-два, раз-два, как бы маршируя ими. Под такт совершали первый счет по пальцам. В наше время,

отдаленное от тех лет почти что столетием, мы, благодаря кинематографу, познакомились с начальной школой Индии, где первые шаги в грамоте, первые ответы школьников, как и вопросы учителя, совершаются песней под музыку, словно танцуючи. В начале семидесятых годов, конечно, и слыхом не слыхали народные учители об индийской школе. Но вот первые русские методисты открыли это организующее «под такт», а почти каждый народный учитель, подхватив его, начал и что-то прибавлять от себя.

Наш руководитель, давая этот первый, вступительный урок, тотчас, после счета пальцев, показавший, что почти все дети умеют сосчитать до пяти, а отдельные мальчики и до десяти,— встал, прошелся и потянулся, как бы отдыхая, перед классом. Что вы делаете, просыпаясь? Вот как я? Потягиваетесь? Давайте под такт,— потянемся, раскинем руки в обе стороны,— сперва в правую, так; потом в левую; а потом наверх, вниз, поверните голову налево, посмотрите на меня, потом направо, еще раз, еще раз,— так дан был первый урок гимнастики. После него учитель дал детям посидеть, как они хотят,— и тут же сделал сравнение: как сидит Вася, как сидит Петя,— кто лучше? Кто прямо? Кто горбится? А почему плохо, когда сидишь, сгорбившись, как ворона зимой? Кто-то из ребятишек возразил: ворона никак не горбится, она хохлится. Учитель похвалил его,— верно, я ошибся,— и класс развеселился ошибкой учителя, ответы стали давать смелее. Пошли сравнения, кто на рынке горбится,— бабка Матрена, пьяный Иван Игнатьич,— горбится от старости, от хмеля, а вот когда дети? И учитель объяснил, как вредно горбиться в детском возрасте, как это сжимает грудь, не дает глубоко дышать,— и так постепенно, от одного к другому, объяснил самую лучшую манеру сидеть за партой, держать руки, брать в пальцы карандаш или мел, писать на аспидной доске... Под такт было дано представленье о линиях — лежачей, стоячей, наклонной. Потом ребята повторили все, чему научились на уроке, и оказалось, что научились многому: счету, черченью, гимнастике, представленью о предметах в классе, как сидеть, как держать руки на парте, как писать и, наконец, как делать все это под такт, в великом ритме действия.

Пока шел этот первый урок, руководитель подмечал

для себя, кто из ребят знает меньше, кто больше. Под самый конец урока он выделил тех, кто знает больше,— в старшую группу, а знающих меньше — в младшую.

Наступила пятиминутная передышка,— ребят он отправил погулять, распахнул настежь окна, но не те, которые вели на улицу, а другие, на дворик, где росло несколько деревьев и бродили в траве куры. Чтоб пыль не набралась,— объяснил он оставшимся. Их было всего несколько человек,— учитель, дописывавший по памяти протокол всего урока, и местные, карсунские; все остальные выбрались из душного класса на воздух...

Второй урок был уже не только сложнее, но и характерен по его сложности для всех народных школ. Почти все такие школы в губернии, да еще, разумеется, там, где они уже были построены, а сосчитать их, как с горечью чувствовал инспектор, можно было по пальцам,— располагали в лучшем случае одним классом, верней — одной горницей для занятий. Распускать детей и заниматься с одной группой, а потом звать другую группу было бы большой тактической ошибкой: заполучив в класс учеников, надлежало их и удержать в классе. Поэтому, с помощью инспектора, вырабатывался постепенно один, общий для школ, тип занятий. После разделения на группы, старшие рассаживались на одной стороне, младшие — на другой стороне класса, и учитель начинал занятия одновременно с двумя группами.

Так и сейчас. Рассадив детей, руководитель предупредил старших, что будет рассказывать басню «Лягушка и Вол». Младшие тоже могут слушать, но старшим надо ее слушать особо внимательно, потому что потом те из них, кто умеет писать, должны будут своими словами написать эту басню на досках; кто не сумеет, пусть запишет хоть отдельные, запомнившиеся ему слова.

Рассказав басню очень выразительно и помогая передать ее содержанье мимикой и жестами, руководитель оставил старших и обратился к младшим. С ними он провел первый урок звукового метода, но не по системе барона Корфа, напоминающей устное заучиванье слогов на память, а по той, которая была названа «звуковая система чтения-письма» и где звук, заучиваемый на голос, тут же показывался изобразительно, на доске. Так, сперва повторяя звук, потом знакомясь с его видом на доске,

младшие ученики постепенно освоили *о, а, м* и сами стали рисовать на своих досках эти буквы. Видимо, уже уставший, то и дело прихлебывавший из кружки с водой, руководитель с некоторой поспешностью, но все время блюдя такт и не забывая требовать этого «подтакта» от ребят, довел их до хорового произнесения слитных звуков *ам, ма, мама*.

Тем временем Илья Николаевич обходил парты, просматривая аспидные доски обеих групп. Он кончил этот осмотр, когда руководитель, чтоб напоследок рассеять усталость ребят, дал им сперва решить загадку, а потом хором повторить скороговорку «от топота копыт пыль по полю летит». Никак это гладко не получалось, губы у ребят шлепались, класс весело хохотал, смеялся вместе с ними и учитель. Он помнил слова Ильи Николаевича, сказанные как-то на Педагогических курсах: не надо отпускать детей из класса в состоянии полного утомления.

А Илья Николаевич в это же время, осмотрев у всех доски, думал: нельзя будет на показательных уроках проводить двухчасовое занятие одному учителю; он утомляется; в обычное время, у себя в школе, он и в четыре часа не утомится, рекреации там длиннее, десять минут; ребята свои, привычные; нет такого напряжения, не так густо насыщено время; съезд — дело другое. И на все остальные дни съезда инспектор действительно провел строгое соблюдение разбивки двухчасового урока по разным преподавателям.

Но окончание школьных занятий не означало конца первого дня съезда, наоборот,— оно было только вступлением к этому дню. Отдохнувшие, побродившие по городку, поевшие горячий обед, приготовленный для всех участников в почтовом трактире,— все опять собрались в школе, в том же классе, только сейчас учеников уже не было, и каждый с удобством уселся на скамье.

— Теперь, господа, на досуге обменяемся мнениями, кто какое впечатление вынес от прослушанного нынче урока,— начал, как с гостями у чайного стола, инспектор. Он заранее попросил Сабининых и особенно шустрого школьного смотрителя ни в коем случае не вмешиваться в беседу и не мешать учителям. Из всех собравшихся волновался один «руководитель». На лицах народных

учителей, пришедших обсудить урок своего коллеги, было теперь такое же радостное, нетерпеливое одушевленье, каким сияло утром лицо руководителя, приступавшего к уроку. Они не только не стеснялись,— они горели желанием высказаться. Первым начал самый отсталый, священник Марашкевич, и руководитель тотчас, с охотой отвечал ему.

— Не понимаю, зачем нужно заставлять мальчиков поднимать руки и вертеть туда-сюда?

— Внимание долго поддержать нельзя, нужно вводить время от времени телесное упражнение.

— А почему руководитель сразу дал мальчикам считать, не спросивши, умеют ли они считать?

— Не к чему задавать лишние вопросы, я по опыту знаю, что каждый мальчик, приходя в школу, хоть немножко, да считать умеет.

— Говорите — лишнего не надо, а к чему же там лишние загадки или скороговорки?

— Чтоб дети вышли из школы развлеченные, а не повесив от усталости носы.

Марашкевич, пожимая плечами, сел на скамью. Более подготовленный, Апраксин, поднял руку. Этот был из категории умствующих и любил говорить книжно:

— Изображая знак, а на доске вы его называете не знаком, а звуком, дети начнут путать представленья о голосе и написаньи. Кроме того, вы сделали резкий переход от простых звуков *м, а* к слиянию их в слог.

Замечанья, хоть и сделанные свысока, были справедливы. Руководитель промолчал. Но вслед за Апраксиным на него обрушился целый град вопросов: для чего нужно черчение палочек? Почему числа и счет не давались по порядку, а с 10 до 15, с 30 до 37? Почему, начав читать басню «Лягушка и Вол», руководитель не объяснил сперва, что такое вол и что такое лягушка? Почему он не объяснил, что такое «бог»? Начавши буквы, почему не сказал, что такое гласная и согласная? Спрашивая о частях лица,— носе, губах, щеках, почему не назвал самого лица? Вообще почему говорил о частях, не объясняя целого?..

Инспектор считал мысленно выступавших,— их было много, и спрашивали самые разные по развитию — Ушаков, Крайнев, Предтеченский, Рождественский, Щеглов, Григорьев,— эти год назад сидели бы, как воды в рот на-

бравши; Румянцев — он был любимец инспектора и сейчас выступал дельно, о слишком поспешном переходе от звука к слогу, хотя и по-своему это спросил, не повторяя Апраксина... Двумя последними взяли слово Нужденков и Осиповский. Нужденков, невысокий чувашин с выпуклым над глазами лбом, сказал, что метод хорош для русских школ,— он воспринял не частности, а весь метод урока,— «но для инородческих школ считаю его неудобным». Последний, Осиповский, отметил положительную сторону: доведение и приучение учеников к полным ответам на вопрос,— чем мальчики развиваются и привыкают к живому разговору с учителем. «А если что показалось иным из нас лишним, к делу не относящимся, хочу вам напомнить, что это был урок вступительный, и учителю требовалось проверить мальчиков, кто сколько знает, дабы разделить на старшую и младшую группы»:

— Я сам так завсегда начинаю при первом знакомстве, спрашиваю о том, о сем и этим знакомлюсь с моими учениками.

Сабинины переглянулись при слове «завсегда», но Илья Николаевич быстро вмешался. Он не хотел, чтоб тут же одернули и поправили одного из лучших его учителей,— это можно было сделать позднее. Он весь переполнен был радостью от этой неожиданной активности, превысившей его ожиданья, от возбужденья учителей, отсутствия сконфуженности, явного внимания, с каким прослушан был утренний урок:

— Да, да, поддерживаю Румянцева, мы, к счастью, расстались со старым буки-азом, но трудность перехода от звука к его слиянию с другим звуком осталась для детей. Надо бы остановиться на ней подольше, чтоб дети не механически, а сознательно перешли к слогу! И господин Осиповский правильно отметил очень большое достоинство руководителя,— приученье ученика к полному ответу на вопрос.

Еще до замечаний Осиповского и инспектора руководитель горячо отбивался от критиков, точней — вел умелую защиту: счет даю вразбивку для разнообразия и чтоб проверить, знают ли дети чередование чисел по смыслу, а не машинально, как обезьянки; черчение палочек и линий необходимо, как подготовка к письму; нет нужды объяснять, что такое вол и лягушка — дети и без того это

знают, и объясненье покажется им непонятней, чем сами слова; понятие «бог» отходит к уроку закона божия и разъясняется священнослужителем; согласная и гласная, как названия, нужны и на второй и третий год обучения, когда дети хорошо начнут чувствовать звуки и разбираться в них... Ну, а к изъяснению целого рано приходить, пока не изъяснены части...

Отирая платком взмокший лоб, руководитель, как настоящий боец, оглядывался, нет ли еще откуда-нибудь нападенья. На правильную критику он не ответил, и его молчание было согласием с ней. Прождав полминуты, он вопросительно поглядел на инспектора.

Илья Николаевич встал, давая понять, что первый день съезда окончен. Шумно выходили учители, договаривая что-то друг другу уже на улице. Устало шли братья Сабинины к дому уездной земской управы. Инспектор поотстал от них. Подойдя к группе участников съезда, где находился и Осиповский, он шутливо сказал:

— Что ж это вы, господа,— Осиповский обмолвился, а никто и не поправил?

— Где я обмолвился, Илья Николаевич?

— Ну, если сами не заметили, пусть другие скажут. Вот у господина Апраксина явно вертится на языке, ведь так?

Апраксин улыбнулся со своим всегдашним видом снисхождения.

— Ты сказал «завсегда»! Сколько тебе говорено, что так нельзя, неинтеллигентно говорить!

— Верно, верно! — закричали вокруг, а Осиповский, явно рассердившись, заметил: «Уж будто ты сам никогда не оговариваешься!»

Между тем Илья Николаевич уже отошел от них. Он под руку вел маленького чувашина, Нужденкова, и выспрашивал его, почему именно новый метод кажется ему неудобным для инородческих школ.

— Нам больше приходится считаться с родителями, Илья Николаевич,— серьезно говорил Нужденков, вскидывая на инспектора живые серые глаза из-под выпуклого лба.— Спросите хоть Ивана Яковлевича! Гимнастику, шуточки, такты они сразу не воспримут, покажется пустым делом. Ну, и православные священники будут на

нас сильнее нападать,— слышали нынче Марашкевича? Я так полагаю,— в Симбирской семинарии у Ивана Яковлевича обучать учителей новому методу, а нам пока в школах на годик, на два не смущать учителей, повоздержаться, пока не обвыкнутся...

4

Хорошо и творчески проходил съезд, с каждым днем становясь все больше высокою школой для его участников. Как эстафету передавали учители друг другу его продолжение, с урока на урок,— словно писали коллективно большой роман. И хотя каждый из них вносил в свою «главу» нечто совсем новое, как бы делая крутой и неожиданный поворот всего сюжета, но он уважал своего предшественника и удерживал все, им сказанное и содеянное, в памяти учащихся. А главное — за короткое время, меньше, чем за две недели,— на глазах всех участников менялись дети. Не то чтобы заучивали и зазубривали уроки, начинали читать и считать те, кто раньше едва знал буквы и цифры,— этого было бы мало. Нет, школьники росли вширь своего детского интеллекта, начинали и видеть и понимать куда больше, чем видели и понимали раньше; начинали рассуждать о видимом и узнаваемом. И это, как с радостью замечал инспектор, было очень явно, совершалось на глазах.

— Ну, вечный сеятель зерен просвещения, довольны вы съездом? — спрашивал его старший Сабинин, возвращаясь с ним в одной бричке в Симбирск. Так торжественно именовали Илью Николаевича земцы, когда хотели подзадорить или дружески подразнить его.— Эти ваши питомцы, как критиковать друг друга, сразу Демосфенами делаются, а как сами за кафедру — тут и «завсегда», тут и «падший дух».

Последнее было сказано по адресу учителя Быстрова, который, придя в класс проводить свой урок, внезапно оробел, смутился и наговорил чего-то совсем невразумительного, сбив детей с толку. Оправиться он не смог, так как у стен, где стояли и слушали его коллеги, сперва едва слышно, потом взрывчато, разлился по классу хохот. Бедный Быстров потерял окончательно почву и едва-едва досидел до конца урока. Учитель, ведший протокол,

написал в нем: «падший духом Быстров с трудом дотянул свой час»,— и это «падший духом» долго потом, к неудовольствию инспектора, гуляло по съезду. А Быстров, как началось следующее вечернее заседанье, воспрянул духом и раскритиковал своего собрата. Случай такого неудачного урока был, впрочем, на съезде единственным.

— Смейтесь, смейтесь, но вы не можете от'гицать величайшей пользы съездов! — горячо возразил Ульянов, не обижаясь, но и не поддержав шутки.

Никогда, ни до, ни после этого короткого, пролетевшего, как мгновенье, но насыщенного большим, напряженным трудом года 1873-го по календарю, не испытывал он такого полного душевного равновесия и такой твердой почвы под ногами. Ему верилось, что мир идет к добру; он видел, как движется жизнь к добру. Если растут люди, без препятствий совершаются нужные, благородные дела, улучшаются школы,— и сам он дело свое толкает и толкает в гору, как же не верить, не чувствовать, что мир идет к добру?

Карсунский съезд, он считал, очень удался. Было на нем свыше сорока учителей,— и почти столько же выступило на обсуждении уроков, многие по два, по три раза. Даже учесть сразу трудно было, какую пользу для себя извлекли все участники. Но и этот съезд, как сызранский, Илья Николаевич считал преддверием,— преддверием к основному событию, на котором лучшие его питомцы, гордость Педагогических курсов и Порецкой семинарии, должны были показать себя. Не только учителями, но и методистами. Не только проводниками передовых методов, но и творцами в применении их. Вот это — действительный успех труда его, положенного в симбирское трехлетие. И опять-таки — времени на подготовку мало... Он имел в виду новый серьезный сентябрьский съезд — учителей и учительниц Симбирского уезда в самом городе Симбирске, где должны были принять участие Калашников и Кабанов, Лукьянов и Малеев, Архангельский и Рекеев,— тот самый Рекеев, который три года назад пришел к нему робким чувашским пареньком.

Приехав домой, он долго, за ночь рассказывал жене о съезде. А ему, в свою очередь, передавала она понемножку, что делалось в городе, как занимались с Калашниковым старшие дети, как и Володя пробирается к ним

в комнату, молча взбирается возле них на стул и любопытно таращит на них глазенки.

— Такой живой, не остановишь его в беготне, а тут может час высидеть и не шелохнется,— что он там понимает, представить себе нельзя. Нравится, и все тут. Я было силком хотела увести, но махнула рукой,— он им не мешает. Аня начала его стишкам учить. И знаешь, Илья Николаевич, ведь он грассирует, как ты,— на «л» и на «р»...

— Надо отучать его картавить, сколько мне с этими «л» и «р» мучиться пришлось...

Они еще долго так разговаривали, радуясь своему часу,— редко стал выпадать им этот «свой час» за последние годы. Но Мария Александровна призналась мужу, что с приходом Калашникова ей стало легче,— два часа в день полной свободы на чтение. А чтение у них было запущено. С января на столике в гостиной накапливались «Отечественные записки». Илья Николаевич не один чувствовал в этот год особый прилив сил, особую, творческую бодрость. Он был частицей огромного народа, каплей в океане страны, а страна и народ, несмотря на прокатившиеся волной аресты, несмотря на стаи серых конвертов, летавших из центра по губерниям,— тоже испытывали подъем, отразившийся в журналистике.

Весь этот год, до конца его, «Отечественные записки» были так хороши, так полны содержанья, что напомнили самым строгим читателям лучшие месяцы «Современника». В них было все, весь охват интересов своего времени, ответ на любой духовный запрос, и прочитывались они с первой до последней страницы. Знаток сельской экономики и русской деревни, Энгельгардт, печатал свои наблюденья почти в каждом номере; любимец публики, остроумный и талантливый Михайловский в «Литературных и журнальных заметках» просто превзошел себя самого,— так беспощадно разило его перо все низкое и смешное, что появлялось в печати, от суеверий самовлюбленного старичка Погодина и до злобных «Бесов» Достоевского. Журнал вел атаки на усилившуюся реакцию в школе, растерзавши и тупого профессора Любимова за его проект нового университетского устава, и созданный для затемненья умов «Лицей цесаревича Николая». Ни железные дороги, ни акционеры, ни женский

вопрос, волновавшие общество, не были забыты журналом,— даже такие специальные, с цифрами и выкладками, как будто скучные статьи прочитывались строчка за строчкой. А поэзия! Некрасов в один год подарил читателям две лучшие вещи свои,— «Русских женщин», над которыми плакали в гостиных, и «Кому на Руси жить хорошо». Печатались в этот год и драматург Островский, и Глеб Успенский, и старик Щедрин,— как печатались они и в прежние годы, потому что это был их журнал; и если Боборыкин и Щапов, по мнению публики, были чересчур многословны, то все же это были имена, отмеченные уваженьем общества за передовые взгляды, как и Скабичевский, писавший о драме. Были в каждой книжке журнала иностранные и внутренние обозренья,— и каково, например, симбирякам было прочесть, да еще в первом, январском номере, что спят они с позором на тюфяках,— иначе как же объяснить их отношенье к выборам в гласные,— в гласные, гласность-то получивши! — когда из 63 членов на выборы явился только 21 человек. Дотянулись и до Симбирска господа журналисты!

Обо всем этом разговаривали за чайным столом Ульяновых, когда приходили к ним в гости свои люди,— Иван Яковлевич Яковлев, Белокрысенко, члены губернского и уездного училищных советов. Еще в майской книжке выбрал Михайловский эпиграфом к своей очередной статье четверостишие, которое так, видимо, понравилось ему, что повгорил его еще раз в самой статье,— а публике понравилось и еще больше, так что на все лады, с великим удовольствием повторяли его уже третий месяц во всех критически настроенных салонах и за чайными столами передовых людей страны. Любил высвистывать и повторять эту строфу и Белокрысенко:

> Безоблачно небо, нет ветру с утра,
> В большом затрудненьи торчат флюгера,
> Уж как нн гадают, никак не добьются,
> В которую сторону нм повернуться...

— Тебе, как метеорологу, поручается погоду определить,— поддразнивал он Илью Николаевича.

Но Ульянов хохотал своим заразительным хохотом, сгибаясь, как перочинный ножичек, под косым

углом, а в общих разговорах в эти два месяца участия почти не принимал и чтение журнала откладывал на осень.

— Ты держи меня в курсе,— говорил он жене, и жена рассказывала о том, что успевала прочесть.

Надо еще досказать, что и беллетристика, в прошлые годы прихрамывавшая, особенно переводная,— была в этот год на высоте в «Отечественных записках». Отбивая хлеб у «Вестника Европы», как говорили читатели, познакомила она русское общество и с прелестными рассказами Брет-Гарта, и с лучшей вещью Георга Эберса — «Дочь египетского царя», и с малоизвестным романом Джордж Эллиот «Миддльмарч»; журнал напечатал повесть Марко Вовчок, а в последних книжках года, к великому удовольствию читательниц, поместил роман С. Смирновой «Попечитель учебного округа», где было все,— от университетских политических беспорядков, травли передового профессора и студенческих тайных обществ,— правда, перенесенное на двадцать лет назад,— до сердцещипательной любви между непонятым вначале мужем и красавицей женой. Но то было уже в конце года, а сейчас на вопрос мужа, что новенького в «Отечественных», она сказала ему:

— Прочитай, когда будет время, Благовещенского в первой книжке. Это ново для «Отечественных записок»,— очерк о чернорабочем труде, о наших литейных заводах,— даже читать страшно, такие там условия. Но что поразило меня, Илья Николаевич, не можешь ли объяснить, как это происходит: будто бы рабочие могут безвредно опустить и вынуть руку из огненной лавы металла... Кажется невероятным.

Илья Николаевич просил показать ему утром статью. Оба они знали, что интерес «Отечественных записок» касается главным образом русской деревни, и очерк заводского труда был для журнала новостью. Утром, однако, прочесть он ничего не успел. Приехали из уезда учители, чтоб посоветоваться о съезде, а там пошли служебные дела,— и опять все завертелось, не оставляя ни часа, ни минуты досуга. Впрочем, и у Марии Александровны досуга поубавилось — заболела кухарка, пришлось самой закупать провизию, самой стать у плиты. Чтоб Володя не мешал отцу и Калашникову, она держала его поблизости от себя, а это было трудненько. Няня вздумала не

в пору говеть и часто уходила из дому. Как-то, чистя для сладкого пирога яблоки, мать заметила, что Володя, крепнувший не по годам и не по годам живой и подвижный, быстро поедает яблочную кожуру. Она отняла ее, выбросила и сделала ему замечанье. Но малыш, видимо, пристрастился к своему занятию, а нынче непременно сказали бы, что он чувствовал нехватку в витаминах. И, выходя из кухни, Мария Александровна, нечаянно заглянувши за дверь, увидела его в уголку с целой кучей яблочных обрезков,— он быстро-быстро уплетал их, спрятавшись от матери.

— Стыдно, Володя! — строго сказала она.— Почему ты тайком ешь? Ничего нельзя делать тайком! И опять за дверью, как прошлый раз... Тайком делать и прятаться — все равно, что говорить неправду, а неправду сказать, сам знаешь, как гадко, как нехорошо.

Володя расплакался,— бурно и сразу. Но не убежал, как тогда, открутив ноги у лошади, а уткнулся в материнский фартук. Она обождала, покуда он перестал всхлипывать, отвела от него свой фартук и взглянула на взмокшее лицо сынишки. Что он там передумал в ее фартуке,— она много раз спрашивала себя после. Но передумал безо всякого сомненья,— так всерьез, так убедительно посмотрели на нее его детские карие глаза:

— Мама, я больше не буду!

— И ведь действительно, больше ни разу не прятался от меня и тайком ничего не брал,— рассказывала она много лет спустя уже выросшим своим детям.— Да и правдивым был с самого детства. Помню, как в Кокушкине, в гостях у тети,— ему шестой шел,— разбил нечаянно графин. Разбить в чужом доме графин — серьезная вещь. Володя мой струсил и, когда тетка стала спрашивать, кто это сделал, сказал «не я». Ну, конечно, она и другие все знали, что он. Почти два месяца прошло, мы уже были дома, уложила я вас спать, простилась с вами, слышу — всхлипывает Володя,— спрятался с головой под одеяло и всхлипывает. Я подхожу, а он: «Мама, я тогда неправду сказал! Это ведь я графин разбил. А тете сказал — не я». И плачет,— переживает. Вот я нашего Володю за эту правдивость люблю,— каждое замечанье, бывало, обдумает, переживет, прямо не по летам!

Аня тоже вспомнила и прибавила от себя к материнскому рассказу:

— Что верно, то верно,— шалун был невыносимый, но хорошая его сторона — не лгал. Помню, отец подарил мне новую линейку, а Володька ее сломал. Я была страшно на него зла. А он сам пришел, подает мне линейку, да еще так деловито показывает: «Об коленку сломал», и коленку сгибает. Ну как тут на него сердиться?!

Лето 1873 года выдалось для детей Ульяновых чем-то серьезным, запавшим в их души. Не только замечанья матери, но и чаепитие в столовой, общий дух, царивший в доме,— все в этот год сильно переживалось детьми. Василий Андреевич Калашников с воодушевленьем давал уроки старшим, Аня с Сашей шли почти вровень, несмотря на разницу лет. В детской то и дело разучивались стихи и басни вслух, вечерами вслух читали в столовой «Русских женщин» Некрасова, читали — и голос у читающих вдруг ломался, выгиралась невольная слезинка. Летом в открытые окна вливались звуки шарманки, визгливо игравшей популярную арию из «Аскольдовой могилы», и няня, перевирая мелодию, начинала подпевать ей: «Близко города Славянска...» Стихи были магией тех замечательных дней, магией, казавшейся волшебной властью над всем темным, устарелым, тормозящим человеческую жизнь. Охваченный этой магией, Володя с налету выучивал стишки, декламировал их без конфуза, когда просили взрослые,— и эту любовь к ритму, к магическому действию рифмы, испытывал и позднее, когда ходил, топоча подбитыми сапожками, по столовой и без конца, с наслажденьем, словно речь шла о чем-то неимоверно таинственном и важном, декламировал, картаво упирая на «р» и «л», «Песню бобыля»:

Богачу-дур-раку
И с казной не спится,—
Бедняк гол-л, как сокол-л,
Поет, весел-лится!

Так всходили семена этого счастливого года, когда русская молодежь, не боясь арестов, самоотверженно устремилась «в народ». И таким безоблачным казался он, 1873-й, не только русскому обществу, но и счастливой семье инспектора, и самому инспектору.

Лето уже отошло, знаменитые яблоки в симбирских

садах подоспели на славу и после праздника Спаса так и хрустели на зубах у каждого. Кажется, и не оглянулся,— а уже первое сентября, и снова стоит инспектор перед дверями школы, где в очень торжественной обстановке должен, наконец, произойти «Съезд народных учителей и учительниц Симбирской губернии и уезда».

На этот раз, отчасти потому, что ездить далеко не потребовалось, чуть ли не все высокое начальство города почтило съезд своим присутствием. Как-то само собой вышло, что председательствовать на самом съезде и завершить его заключительным словом привелось видному Валерьяну Николаевичу Назарьеву. И как помещик, и как член училищного совета, и как либеральный земский деятель, он был прекрасным председателем в своем белоснежном нанковом жилете, выхоленных усах и бороде,— осанистый, с добрым взглядом выпуклых глаз, барин от маковки до пят. Тот же, кто неустанным трудом вырастил замечательную армию народных учителей, кто, как родных своих детей, создавал, обдумывал, выпестовывал эти съезды, кто каждого мальчика в классе знал в лицо,— опять скромно стушевался, чтоб не быть на виду, не стеснять, не конфузить ведущих уроки. Присев на заднюю парту, между мальчиками, наполнившими класс, он, волнуясь, ждал первого урока, хотя и был уверен в своих питомцах.

Пятнадцать дней длился съезд, сильно отличаясь от Карсунского. Утром уроков было больше. Городские дети, сыновья отставных солдат, ремесленников, бывших крепостных, приписавшихся в городские цехи, были куда бойчей и подготовленней полукрестьянских ребятишек в Карсуне. И учители, ведшие занятия, были зрелей, опытней своих собратьев на июльском съезде. Уже первые уроки, где два учителя, Шилдаев и Лавров, как бы продолжая друг друга, один дал понятие о звуке, другой о букве,— очаровали всех членов училищного совета, до того просто, наглядно, понятно было это сделано. Когда вслед за ними два священника, Поспелов и Покровский, стали возвышенно толковать детям, как бог-отец из ничего создал землю в шесть дней, из глины произвел Адама, а из ребра Адама — в жены ему Еву; и дети, глазея в разные стороны, механически твердили за ним, отвечая на вопрос «из чего?» — «из ничего», или вдруг, чем-то

развлекшись, на рассказ, как жили Адам и Ева в раю, и на вопрос: где же жили Адам и Ева? — беспомощно замолкали,— и вот хоть убей,— сообразить не могли,— по лицам кое-кого подавленной судорогой родилась и тотчас задушена была улыбка. Инспектор был верующим человеком. Но в разговоре с женой он сказал как-то, что вера есть чувство, ничего общего с наукой не имеющее, и, конечно, при сопоставлении с наукой религия критики не выдержит. Он знал, что многие из народных учителей читали статьи о Дарвине, интересовались серьезно биологией, теорией эволюции, знал также, что вдохновенно говорящий на уроке, даже скорей глаголющий, отец Поспелов, добрый и неглупый человек, сам видит в библейском сотворении мира скорей сказку (или, если хотите, как однажды изрек он в интимном разговоре: «самопервую наивную гипотезу детского разума человечества»),— Илья Николаевич знал все это и отлично понял судорогу задушенной усмешки. Но сам он не улыбнулся. В пределах необходимости уроки шли хорошо, священнослужители разнообразили и оживляли их своим пафосом... Да и не в этих обязательных уроках суть была. Кабанов, Андрей Сергеевич, сам еще юноша, стройный, опушенный молодой бородкой, дал вслед за ними четвертый урок,— наглядного обучения. Словно возражая попам и соревнуясь с ними, он чересчур увлекся своим наглядным пособием,— картиной Шрейбера, изображающей корову, лошадь, кабана и осла,— и добился, путем расспросов, подробного описания этих животных: и какие они, и чем отличаются друг от друга, и какая от них польза людям. Не ограничившись этим, он, к величайшему удовольствию ребят, достал из своей сумки множество предметов. Тут были гребень, кусок столярного клея, кожа,— «опоек» и «выросток»,— замша, пергамент, кошма и щетка. А под конец он прибавил к ним ситечко и смычок. Это было утро наглядного обучения, его медовый месяц. Раскрасневшийся учитель, забыв обо всем на свете, кроме вот этой замечательной «наглядности», от которой никуда не уйти детскому разуму,— в какие-нибудь полчаса объяснил, как из смягченного в кипятке коровьего рога делается гребень, как из кожи коровы шьются сапоги, из волос делается кошма, из копыт столярный клей; как из тонкой телячьей кожи делаются «опоек» и еще более тонкий «выросток»,— термины, отлично знакомые детям местных

сапожников, но совершенно новые для членов училищного совета; как из замши шьются перчатки, из ослиной кожи выделывается пергамент... Эта, обрушившаяся на ребят, лавина производственных знаний хоть и была интересна для них, но, разумеется, не запомнилась ими. И лишь под самый конец запыхавшийся Кабанов понял, что он переборщил...

На вечернем заседании критика необычайно разрослась. Критиковали не только отдельные промахи на уроках. Взяли, как потом хвастал штатный смотритель, «тоном выше»,— была прочитана записка чувашского учителя о том, что нельзя преподавать в чувашских селах, где ребятишки почти не понимают русского языка,— православный закон божий на этом, русском, а не на родном — чувашском. «Заставляя изучать слово божие на русском языке, я могу только бесполезно насиловать память мальчиков и отниму у них всякую охоту к сему священному предмету. До чего доходит такое преподаванье, укажу на случай в Буинском уезде. Является русский учитель в школу и говорит: «Скажи за мной звук «а». Мальчик повторяет: «Скажи за мной звук «а». Учитель говорит: «Не повторяй за мной!» Мальчик отвечает: «Не повторяй за мной!» Рассерженный учитель плюнул и сказал: «Тьфу, бестолковый!» Мальчик послушно тоже плюнул и ответил: «Тьфу, бестолковый!» В том же роде происходит с каждым русским учителем в инородческой школе. Выход из этого — введение чувашской грамоты, иначе рискуем еще годы оставить детей инородцев без света истины. Не скрою, что многие протестуют против чувашского языка в школе и говорят, что правительство заботится об обрусении чувашей; но, по-моему, чувашская грамота нисколько не помешает обрусению, ведь не мешает русскому языку изучение немецкого или французского».

На смелую эту записку, составленную и прочитанную с ведома инспектора, последовало одобрение учителей, и присутствующие предложили отцу Нечаеву, читавшему записку, обучать детей молитвам на чувашском языке и взять в помощь пособия, изданные братством св. Гурия в Казани. Так, незаметно и без шума, был сделан огромный шаг вперед для проникновения чувашской грамоты в инородческие деревни. Илья Николаевич слушал и счастливо улыбался.





Улыбаться пришлось ему почти весь этот съезд, где с каждым уроком народные учители, казалось, набирали силу. После кабановского «первого блина комом» наглядные пособия взяли свое. И это сделалось триумфом почти каждого урока. Через зримый образ, через предмет, который можно было взять в руки в классе, поглядеть, как он действует или как можно действовать с его помощью, мальчики живо и весело учились мерам веса, длины, сыпучести, жидкости. Арифметика, подобно Карсуну, и здесь велась с помощью грецких орешков и камушков, но к ним прибавились счеты. Хорошо вели свои уроки Малеев и Лукьянов, а когда Калашников, а за ним Рекеев провели свой час «наглядного обучения» по знаменитой коллекции г-жи Чепелевской, привезенной Ильей Николаевичем с Выставки, выбрав своей темой «рожь»,— это одобрили единогласно. Чтоб еще усилить успех и показать питомца своего в полный рост, Ульянов попросил Калашникова сделать на вечернем заседании «пояснительный реферат» к своему уроку. И Калашников без смущения, но и без развязности, часто смущению сопутствующей, говорил красноречиво об удивительном эффекте наглядного обучения и о том расширении словаря у ребенка, которое совершается не отвлеченно, а всегда в связи с предметом, показанным ему одновременно с названием.

Съезд подошел к концу. И казалось бы, тот, кто меньше чем в три года в сонной и невежественной губернии, на безлюдьи и в бездорожьи, где школы числились больше на бумаге, а учителями были больше отставные солдаты-бобыли или полуграмотные попадьихи,— без особой человеческой помощи, один, как он был, своими силами воспитал этих умных, интеллигентных учителей, невероятным трудом своим построил школы и растит этих смышленых детишек,— тоже учителей в будущем,— казалось бы, именно он должен был встать сейчас и сказать напутствие съезду, как духовный хозяин его... Но в жизни бывает по-другому.

Вместо инспектора Ульянова это слово сказал Валерьян Николаевич Назарьев. Он не плохо сказал его,— говорить он умел. И все, что нужно, в слове его имелось, а конец был даже и просто хорош. Он запомнился народным учителям надолго.

«Пусть учитель не забывает,— сказал Назарьев,—

что, заброшенный в темную глушь, он остается единственным представителем самых искренних и светлых надежд; что за каждым шагом его зорко следит все окружающее, полное справедливого недоверия к старой школе; что с его личными качествами тесно связано разрешение самого живого и насущного вопроса дня,— судьба новой, только что зарождающейся школы, ее возвышение или падение в глазах народа»...

Они вышли со съезда в холодную уже ночь половины сентября. Но оба не чувствовали холода,— Назарьев разгорячен был успехом своей речи, а Илья Николаевич — великой радостью от успеха съезда.

Остановившись под газовым фонарем на главной улице Симбирска, Назарьев дружески обнял маленького инспектора за плечи:

— Дорогой мой, что за люди! Как они выросли, как достигли развития и знаний,— в пору студентам высших учебных заведений... Поистине, это принадлежит уже к чудесам русской земли! — Слова, которые позднее повторил он в своих воспоминаниях.

Ульянов промолчал... Он только поднял на него свои добрые карие глаза.

Помню — давным-давно, тому скоро полстолетия, я впервые по-настоящему попала в деревню и узнала, что такое труд на земле,— удобрение, пахота, сеянье. То было в армянском селе Чалтырь под Ростовом-на-Дону. Я жила в доме у крестьянина и вела протоколы сельсовета,— не по какому-нибудь заданию газеты, а так вышло случайно. И в первую минуту почти ужас обуял меня перед огромностью труда хлебопашца. Земля — необъятная, голая, голодная, сухая — лежала перед глазами до горизонта, куда ни погляди. Крестьян казалось мало числом, горстка перед этой необъятностью. Пахали тогда, в первые годы революции, еще допотопно, на отощалых за зиму, вялых, с выпученными животами лошаденках. И просто чудом, невозможностью показалось мне вытянуть слабым человеческим трудом из этой земли хлеб насущный. Труд был какой-то скованный, как пришитый,— ко времени, к последовательности действий его, к неуклюжим орудиям, к погоде, к наличию навоза и удобрений,— и так все лето, каждое лето, из года в год, не пропустить часа, вовремя вспахать, вовремя посеять, вовремя жать, собирать, молотить,— словно в рабском

кольце вековечного кружения. И тогда у меня вырвался этот ужас от непосильности, непереносности крестьянского труда перед спутником моим в поле, пожилым армянским крестьянином.

Ведя протоколы сельсовета, я уже успела заметить, что крестьяне очень умны, и наше городское представленье о них,— старое, «народническое», полусентиментальное, как о детях малых, глубоко невежественно. Пожилые армянские крестьяне в этом пригородном селе, сплошь говорившие по-русски, были не то что умны,— как открытие для меня, была их высокая своеобразная интеллигентность, не похожая на нашу. Именно таким интеллигентом был спутник мой, дядя Акоп. Он поглядел на меня и ответил:

— В каждом труде свой секрет есть. Наша работа — нам легкая, потому что, видишь ли,— з е м л я о т в е ч а е т.

Ничего больше он не прибавил, так как верил и в мою интеллигентность,— и его ответ осветил мне на всю жизнь великую тайну труда, не только сельского, а и всякого другого человеческого труда. Физики говорят: нет действия без противодействия,— и если даже найдут гении будущего, что между действием и противодействием есть пауза во времени, эта пауза лишь подчеркнет творческий, не механический о т в е т материи на действие. Земля о т в е ч а е т... Веками повторялась у крестьянства встреча с ответом земли на труд, ответом обязательным, неизбежным, непреложным, как закон: вскормленная, вспаханная, засеянная земля поднималась миллионами зеленых головок, и эти головки желтели в свой час, набухали зерном, как собственная, ответная работа земли. Народ глубоко познал закон ответа на труд. Он сложил варианты этого закона в своих пословицах: «Как аукнется, так откликнется», «Не лей воду в решето», «Не посеешь — не пожнешь», и много других таких же, говорящих о том, что прикладывать надо труд не в пустоту, не имеющую противодействия, а в живое нечто, дающее обязательно ответ.

В труде педагога есть такой же секрет. Душа ребенка, его мозг и способности о т в е ч а ю т учителю. Невообразимо трудным покажется жребий учителя тому, кто думает, что он о д и н, единственно трудом своим, должен вложить в темные, спящие, невежественные чужие

мозги сложное знание. И кто, думая так, остановится перед своей задачей в душевном бессилии, чувствуя тяжесть ее только на одних своих плечах,— тот никогда настоящим педагогом не станет.

Но душа человеческая отвечает учителю. Она растет в своем ответе навстречу ему всей широтой заложенных в ней начал, как земля, встающая зелеными побегами колосков перед пахарем. И труд педагога становится половиной труда, он возвращается ему сторицей, а кто это испытал хоть раз, тот не сможет всю жизнь уйти от своей работы, как не уходит пахарь от земли.

Мне кажется,—так мог бы сказать Илья Николаевич.

Ялта
1/XII 1964 г. — 29/IV 1965 г.

ЧЕТЫРЕ УРОКА У ЛЕНИНА



УРОК ПЕРВЫЙ

ВОСПИТАНИЕ КОММУНИСТА

1

Чем бы ни был занят коммунист, какой бы специальностью ни обладал, он прежде всего должен иметь дело с людьми, знать и понимать человека, как говорится, «уметь подойти к человеку». А это вовсе не так легко, как оно кажется, и от природы такое умение дается так же редко, как талант или гений. У нас нет, к сожалению, обычая рассказывать об этом умении по-настоящему, от глубины сердца, когда вручаешь партбилет новому члену партии. Обычно больше спрашивают, с чем он идет в партию, а напутствие делают более или менее одинаковое и часто очень формальное. Между тем тот, кто принял в свои руки впервые книжечку, знаменующую его принадлежность к самой передовой части человечества, должен непременно задуматься о своем новом положении в обществе и о том, какие новые качества в общем понятии «человечность», какие новые задачи в воспитании его собственного характера и какие усилия работы над собой входят отныне в сумму того, что он привык считать своим обычным нравственным долгом.

Помню, как я вступала в партию в первые дни отступления наших войск осенью 1941 года. Вся обстановка тех дней была особая, тревожная и приподнятая. Война охватила людей сразу, как пожар в доме, душевное состояние каждого как бы обнажилось и высветлилось, характеры стали сразу видны, как скелет на рентгеновском снимке, разница между ними сделалась резче и отчетливей. Нашим руководителям было очень некогда, и все же они сделали нам напутствие. Получая свою кандидатскую книжку, я услышала общие фразы о войне, патрио-

тизме, долге члена партии. Последний как бы понимался сам собой и не был разьяснен конкретно, в условиях войны он похож был на долг каждого честного человека и сына своей родины вообще. Но когда я вышла на улицу, спрятав свою драгоценную книжку в мешочек на груди, жизнь тотчас же сама стала конкретизировать этот долг, вернее, поставила меня лицом к лицу с новой обязанностью.

Тому, что такое агитация и как надо агитировать, я никогда не училась, хоть и была в общении с людьми великой спорщицей, когда нужно было что-то защитить или опровергнуть. А тут первая задача, поставленная передо мной, как перед кандидатом партии, была стать агитатором, выступать перед людьми.

Москва лежала испещренная, как спинка марала, защитными пятнами красок на стенах, обложенная мешками с песком, исполосованная белыми бумажными лентами по стеклам окон. Небо над ней стояло дымное, окутанное пеленой взрывов. Завывали сирены, сгоняя людей в убежища. Утром, на позднем рассвете, как кусок льда в холодном сумраке неба, качался над площадями распластанный серебристо-голубой аэростат. Все повседневное отошло куда-то, сменилось огромнейшим биваком, чем-то временным, непрочным, исчезающим. А мы, часть писателей, должны были тотчас вмешаться в этот зыбкий мир неустойчивости, дав почувствовать людям, что вещи крепко стоят на земле, привычные формы Советской власти были и остались гранитно-прочными, и душевная жизнь человека должна войти в берега незыблемо-твердого, незыблемо-стойкого мира,— мы были назначены агитаторами.

Выступать приходилось очень часто: и в полупустых аудиториях Политехнического, и в кинотеатрах перед экраном до начала сеанса, и в набитых до отказа мраморных коридорах и площадках метро после того, как завыла сирена... Но когда наступала передышка между профессиональной работой — писанием для газет, для тогдашнего Совинформбюро, для многотиражек — и выступлениями с агитационными речами — а такая передышка чаще всего бывала во время ночных тревог,— я жадно вчитывалась в книжки, которые нашлись у меня под рукой. То были книжки издания тридцатых годов — воспоминания о Ленине работников Коминтерна и воспо-

минания о Ленине Надежды Константиновны Крупской. Мне страстно хотелось узнать и почувствовать по этим книжкам, какие качества коммуниста сделали Ленина вождем международного рабочего движения, почему и за что он стал так любим человечеством, каким свойствам его характера нужно научиться подражать, и вообще, чем отличается настоящий коммунист от обыкновенного человека за вычетом его убеждений.

Тайна характера — это ведь и тайна поведения, ключ к тому комплексу, который влияет на вас в другом человеке, внушает доверие и уважение к нему, жажду за ним следовать; и это не рождается разумом, оно глубже разума, и оно связано как-то и с тем, каким ты сам теперь должен стремиться быть.

Сейчас такие раздумья во время ночных бомбежек могут показаться наивными. Но в те дни для вступившего в партию они были, мне думается, нередки. Жизнь перед нами как бы раскалывалась надвое, и хотелось понять и осознать до конца, куда вы вступаете. В низеньком подвале, где на все убежище горела одна-единственная ввернутая в стену лампочка, мало кто старался подсесть к ней,— предпочитали угол потемней, куда приткнуть подушку и подремать до конца тревоги. Да и подсев к ней, трудно было читать: так скудно горела лампочка. Но то, что я тогда прочитала, помечая для себя самое важное красными крестиками, я запомнила на всю жизнь.

Наступал отбой. Люди гуськом поднимались наверх, на чистый воздух холодного утра, и в эти необыкновенные минуты городской тишины особенно отчетливо, как-то первозданно отстаивалось в мозгу все прочитанное за ночь.

Прежде всего хотелось узнать из книг, как Ленин выступал перед людьми, какой урок можно было извлечь агитатору из его искусства влиять и убеждать. Общие фразы тут не помогли бы, общие определения, разбросанные во многих статьях и книгах, рассказы очевидцев, слушавших Ленина, тоже мало чем могли помочь, мысль должна была зацепиться за что-то очень конкретное, за какую-то уловленную особенность. В этом отношении маленькая, на плохой, желтоватой бумаге изданная книжка о впечатлениях зарубежных коммунистов в сложную эпоху распада II Интернационала и первых шагов III Интернационала оказалась особенно полезной.

Люди, привыкшие слушать множество социал-демократов и среди них таких классиков социал-демократии, как маститый Август Бебель, неожиданно знакомились с Лениным, о котором знали только понаслышке. У них было наготове старое мерило сравнения, был опыт всех видов красноречия с трибуны, и они не могли, впервые услышав Ленина, не подметить нечто для себя новое в его выступлениях.

Очень было интересно читать, например, как описал японский коммунист Сен-Катаяма, приехавший из Мексики в Советскую Россию в декабре 1921 года, доклад Ленина в Большом театре, на Всероссийском съезде Советов. Сен-Катаяма совсем не знал русского языка, он не понял ни одного слова в докладе; но глазами он воспринимал вместо ушей и то, как Ленин говорил, и то, как его слушали. Видно, это было для него и ново и непривычно до такой степени, что Сен-Катаяма, за три часа в продолжение доклада не понявший произносимых слов, тем не менее не утомился и не соскучился.

Вот его описание: «Товарищ Ленин говорил приблизительно три часа, не обнаруживая никаких признаков усталости, почти не меняя интонации, неуклонно развивая свою мысль, излагая аргумент за аргументом, и вся аудитория, казалось, ловила, затаив дыхание, каждое сказанное им слово. Товарищ Ленин не прибегал ни к риторической напыщенности, ни к каким-либо жестам, но обладал чрезвычайным обаянием; когда он начал говорить, наступила гробовая тишина, все глаза были устремлены на него. Товарищ Ленин окидывал взглядом всю аудиторию, как будто гипнотизировал ее. Я наблюдал многочисленную толпу и не видел ни одного человека, который бы двигался или кашлял в продолжение этих долгих трех часов. Он увлек всю аудиторию. Слушателям время казалось очень кратким. Товарищ Ленин — величайший оратор, которого я когда-либо слышал в моей жизни»[1].

Тут еще тоже все очень общо. Но если особенность Ленина как оратора была нова для Сен-Катаямы, нам тоже кажется кое-что неожиданным в его зрительном восприятии. Образ Ленина — в рисунках наших худож-

---

[1] Ленин и международное рабочее движение. Партиздат, 1934, стр. 139—140.

ников, в памятниках скульпторов, в воспроизведении актеров — вошел к нам и остался зримо перед миллионами советских людей — с широким жестом. Жест этот, взмах руки, устремленной вперед, сделался как бы неотъемлемым от него. А у Сен-Катаямы Ленин «не прибегал к каким-либо жестам», он словно стоял неподвижно перед слушателями. И мало того, отсутствие жеста сочеталось у него с однообразной интонацией: три часа — без перемены интонации! И дальше. Звучащая для нашего советского уха как-то странно и неприемлемо фраза о том, что Ленин «как будто гипнотизировал» аудиторию. Совсем это не похоже на тот портрет, какой создали наши скульпторы и художники.

Но попробуем все же вдуматься, что именно поразило Сен-Катаяму в ораторском искусстве Ленина. По его собственному признанию, русского языка он не знал и, значит, ни слова из доклада не понял. Откуда же взялась его уверенность в том, что Ленин «неуклонно развивал свою мысль, излагая аргумент за аргументом»? Ясное дело, не имея возможности услышать смысл слов, Сен-Катаяма не мог не услышать и, больше того, не почувствовать глубочайшей силы убежденности, которою была проникнута речь Ленина. Эта убежденность ни на секунду не ослабевала,— отсюда впечатление неуклонного развития мысли; и она длилась, не ослабевая, не утомляя слушателей, целых три часа,— значит, в ней не было утомляющих повторений, а новые и новые доказательства (аргументы), следовавшие одно за другим. Уловив эту главную особенность в речи Ленина, Сен-Катаяма свой мысленный образ от нее невольно перевел в зрительный образ, может быть, по ассоциации «капля точит камень», и отсюда появился в его описании совсем непохожий Ильич — живой и всегда очень взволнованный Ильич,— вдруг превратившийся у Сен-Катаямы в неподвижную статую без жеста, с монотонной интонацией, остающейся без перемен целых три часа.

Но Сен-Катаяма бросил еще одно определение, не дав к нему ровно никакого пояснения для читателя: Ленин «обладал чрезвычайным обаянием». Чтоб раскрыть тайну обаяния Ильича как оратора для массы слушателей, оставшуюся у Сен-Катаямы голым утверждением, очень полезно представить себе, к каким ораторам из числа самых авторитетных вождей в то время привыкли зарубеж-

ные коммунисты, то есть с кем мысленно мог бы сравнить Сен-Катаяма Ленина.

В воспоминаниях теоретиков и практиков революционного движения трудно найти (да и нельзя требовать от них!) что-либо художественное, переходящее в искусство слова. И тем не менее, вспоминая о Ленине на Штутгартском конгрессе II Интернационала в 1907 году, Феликс Кон, наверное, совсем не собираясь сделать этого, оставил нам почти художественный портрет Бебеля. Для меня, много жившей в Германии и короткое время учившейся в Гейдельберге, этот портрет был просто откровением, потому что мне пришлось часто сталкиваться у простых немцев с непонятной для русского человека чертой чинопочитания, каким-то особенным уважением к чиновничеству, к мундиру. На Штутгартский конгресс приехал глубоко почитаемый вождь — Август Бебель. Идолопоклонства в немецкой рабочей партии не было. Сам Владимир Ильич писал об этом очень красноречиво: «Немецкой рабочей партии случалось поправлять оппортунистические ошибки даже таких великих вождей, как Бебель»[1]. Но у верхушки социал-демократии, в их партийном обиходе были некоторые внешние заимствования форм, принятых в кругах буржуазной дипломатии. Так, для целей выяснения «точек зрения» и для дружеских сближений устраивались «приемы», «чашки чая», встречи за круглым столом. «Такой банкет был в Штутгарте устроен за городом,— рассказывает Феликс Кон.— Пиво, вино, всевозможные яства пролагали путь к «сближению»... Как самый авторитетный вождь II Интернационала и блюститель традиций, Бебель на банкете совершал торжественный обход всех делегаций, обращаясь ко всем со словом «Kinder» («дети»), с одними отечески шутя, других журя, а иных наставляя на путь истины. Окружавшая Бебеля свита поклонников и поклонниц усиливала величественность этого обхода...»[2].

Ярко встает перед нами вся картина. Бебель действительно был великий вождь (так назвал его Ленин, так запомнился он студенчеству моего времени, сидевшему над «Аграрным вопросом»), и то, что я хочу дальше сказать, не в обиду его имени будь сказано. Но когда личное

[1] Ленин и международное рабочее движение, стр. 6.
[2] Там же, стр. 9.

величие осознано как положение среди своих современников и человек стремится сочетать его с демократизмом, этот демократизм только подчеркивает разницу в положениях и «чинах» того, кто обходит собравшихся на «прием», и тех, кого он обходит. Формула «чтобы никого не обидеть» утверждает, как само собой разумеющееся, вышестояние одного лица над другим, и это могло проскользнуть у верхушек социал-демократии. Но можно ли хоть на минуту представить себе нашего Ильича в положении Бебеля, обходящим делегатов? Физически нельзя себе это представить. И нельзя его себе представить «окруженным свитой поклонников и поклонниц». В «чрезвычайном обаянии» Ильича как оратора, подмеченном Сен-Катаямой, в огромной его популярности среди сотен людей, затаив дыхание слушавших его доклад, было какое-то иное качество. Но какое?

Пойдем немножко назад во времени и из Штутгарта 1907 года заглянем в 1902 год — в мюнхенские воспоминания Надежды Константиновны Крупской. Верная соратница Ильича, как и сам Ильич, она очень уважала Плеханова; когда я в одной из своих работ («Фабрика Торнтон») поставила имя Плеханова рядом с Тахтаревым, Надежда Константиновна в письме поправила меня, указав, что Плеханов был одним из основоположников нашей партии, а Тахтарев — «революционер на час». Но вот что она вспоминает, когда они создавали «Искру»:

«Приезжали часто в «Искру» рабочие, каждый, конечно, хотел повидать Плеханова. Попасть к Плеханову было гораздо труднее, чем к нам или Мартову, но даже если рабочий попадал к Плеханову, он уходил от него со смешанным чувством. Его поражали блестящий ум Плеханова, его знания, его остроумие, но как-то оказывалось, что, уходя от Плеханова, рабочий чувствовал лишь громадное расстояние (разрядка моя.— **М. Ш.**) между собой и этим блестящим теоретиком, но о своем заветном, о том, о чем он хотел рассказать, с ним посоветоваться, он так и не смог поговорить. А если рабочий не соглашался с Плехановым, пробовал изложить свое мнение,— Плеханов начинал раздражаться: «Еще ваши папеньки и маменьки под столом ходили, когда я...»[1].

[1] Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине. Партиздат, 1933, стр. 45.

Опять удивительно конкретный облик характера! Блеск остроумия, высокая образованность — все это отлично знал и видел в самом себе сам Плеханов. Он получал от своих больших качеств личное удовольствие, личное удовлетворение, как наслаждается талантливый актер, когда ему удается превосходно сыграть. В Цюрихе во время резкого спора с группой «Рабочего дела», приведшего к разрыву, спорщики волновались и переживали; дошло до того, что Мартов «даже галстук с себя сорвал». Но Плеханов «блистал остроумием». И Надежда Константиновна, вспоминая об этом, пишет, невольно дорисовывая данный ею раньше портрет: «Плеханов... был в отличном настроении, ибо противник, с которым ему приходилось так много бороться, был положен на обе лопатки. Плеханов был весел и разговорчив»[1]. Если в характере Августа Бебеля было немецкое соблюдение традиционности, обнаженное даже до некоторой наивности, то в характере личного удовлетворения самим собой, в черте, которую русский язык определил как «сам себе цену знает», у Плеханова уже не наивное чинопочитание, а индивидуализм большого таланта, видящего прежде всего свое «ка́к», а не чужое «что́». И все же мы только приблизились к ответу, в чем «иное качество» Ленина как оратора, и опять надо пропутешествовать из книги в книгу, на этот раз к впечатлению одного шотландского коммуниста, чтоб докопаться наконец до точного определения.

Шотландцы — очень упрямый народ с удивительно стойким, сохранившим себя несколько столетий без изменения национальным характером. Когда мы читаем В. Галлахера, делегата от Шотландского рабочего комитета на Втором конгрессе Коминтерна, то в его коротеньких воспоминаниях так и встает перед нами герой романов Смоллета, хотя герои романов Смоллета жили в середине XVIII столетия, а молодость Галлахера пришлась на XX век. Та же прямота и резкость, тот же разговор без обиняков и дипломатии — рубка по-шотландски, и то же умное наблюдение, соединенное с природным здравым смыслом. Без малейшего смущения, а даже как-то горделиво Галлахер признается, что на собраниях и комиссиях для выработки тезисов, «которые придали

[1] Ленин и международное рабочее движение, стр. 144—145.

II конгрессу такое огромное значение в истории Коминтерна», лично он, Галлахер, «отнюдь не оказался полезным». Почему? Да потому... Но лучше не передавать своими словами, а дать слово самому шотландцу:

«Приехав в Москву с убеждением в том, что мятежник из Глазго знает гораздо больше о революции, чем кто-либо из наших русских товарищей, несмотря на то, что они переживали революцию,— я сразу же старался направить их на «верный» путь по целому ряду вопросов...»[1].

Ну чем не герой Смоллета? Поучить уму-разуму русских большевиков! Но в этом чисто шотландском гоноре (наши ребята из Глазго! Это вам не кто-нибудь!) есть нечто куда более симпатичное и располагающее к себе, нежели генеральский обход по порядку делегатов на банкете, и нет ни малейшего сомнения, что шотландская самоуверенность Галлахера понравилась Ильичу, может быть, вызвала у него, как и у нас, литературные реминисценции, разбудила в нем природный ильичевский юмор. С неподражаемой откровенностью Галлахер рассказывает дальше, что он был чрезвычайно раздражен «из-за непривычных» для него «условий питания» и в таком состоянии сделался невероятно обидчив. Узнав, что в книге «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» Ленин изобразил в «дурном свете» именно его, Галлахера, он чуть ли не набросился на Владимира Ильича:

«Я настойчиво пытался его уверить, что я не ребенок, а, как я говорил,— «набил руку в этом деле»[2]. Многие из моих замечаний были сделаны на языке более вольном, чем обыкновенный английский». Это значит, что Галлахер набросился на Ленина по-шотландски, с горчицей и перцем, не присущими выдержанной английской речи. Как известно, английский язык — самый вежливый на свете; ведь ни на каком другом языке, кроме, может быть, китайского, не додумались говорит «сэнк ю» (благодарю вас) тотчас в ответ на «сэнк ю» собеседника, для того, чтобы собеседник, получивший от вас «спасибо» на «спасибо», в третий раз сказал «сэнк ю», то есть свое спасибо на спасибо за первое спасибо! Шотландский

[1] Ленин и международное рабочее движение, стр. 50.

[2] У Галлахера сказано «game» — в этой игре. Он имел в виду революцию.— **М. Ш.**

язык, претендующий на то, что в Шотландии-то и говорят на самом чистом, первичном английском языке, таких тонкостей не знает. И вот представьте себе, читатель, разъяренного шотландца, осыпающего Ленина лексиконом, принятым «по ту сторону Клайда». Ленин утихомирил его коротенькой запиской: «Когда я писал эту маленькую книжку, я не знал вас». Но он не забыл ни самого шотландца, ни его фразы «на языке более вольном, чем английский». Когда через несколько месяцев приехал в Советский Союз из Великобритании другой коммунист, Вильям Поль, Владимир Ильич описал ему выходку Галлахера и, вероятно, мастерски передразнил того, повторив знаменитую фразу, в точности и с шотландским акцентом: Gallacher said he wis an owe hout at the game (Галлахер сказал, что он набил себе руку в этом деле). Сообщая об этом со слов Поля, Галлахер заканчивает свой рассказ: «Поль говорит, что он (Ленин) прекрасно передал акцент Клайдсайда»[1].

Мы должны быть горячо благодарны шотландскому коммунисту даже за один только этот драгоценный штришок бесконечно дорогого для нас юмора Владимира Ильича. Но мы обязаны Галлахеру несравненно большим. При всем своем ребячестве и шотландской задиристости именно Галлахер сумел наиболее зорко подметить и наиболее точно передать основную особенность ленинских выступлений и бесед:

«Я два раза был у Ленина дома и имел с ним частную беседу. Меня больше всего поразило в нем то, что пока я был с ним, я не имел ни одной мысли о Ленине, я мог думать только о том, о чем он думал, а он все время думал о мировой революции»[2] (разрядка моя.— М. Ш.).

Вот, наконец, черта, за которую может уцепиться мысль. Видеть лицом к лицу Ленина, слышать его голос, может быть, не раз встретиться с ним глазами и, несмотря на это, все время не видеть и не слышать самого Ленина, не думать о нем самом, а только о предмете его мыслей, о том, что Ленин думает, чем он сейчас живет, то есть восприни-

[1] То есть берегов реки Клайд, около Глазго.— М. Ш.

[2] Ленин и международное рабочее движение, стр. 145.

мать лишь содержание его речи не «как» и «кто», а «что»! Таким великим оратором был Ленин, и так умел он целиком отрешиться от себя самого, перелившись в предмет своего выступления, что слушателю передавались вся глубина его убеждения, все содержание его мыслей, заставляя забыть о самом ораторе и ни на секунду не отвлечь этим внимания от существа его речи или беседы.

Представляю себе две формы реакции на два типа ораторов. К одному после его доклада подходишь с восхищением и поздравлением: «Как вы прекрасно, как блестяще выступили!» И к другому подходишь и говоришь не о том, как он выступал, а сразу же о предмете его речи, захватившем, заинтересовавшем, покорившем вас. Подчеркнув красным крестиком глубокие и бесхитростные слова Галлахера, я сделала для себя такой вывод: если аудитория начнет после твоего доклада хвалить тебя и восхищаться тобой, значит, ты плохо сделал свое дело, ты провалил его. А если разговор сразу же пойдет о предмете и содержании твоего доклада, как если б тебя самого тут и не было, значит, ты хорошо выступил, сделал свое дело на пять.

Таков был первый урок, почерпнутый мною из чтения во время бомбежек, и с тех пор, направляя свои внутренние усилия в работе агитатора так, чтоб по окончании доклада слушатели сразу заговаривали о его содержании, а не обо мне, я мысленно все время представляла себе образ Ленина-докладчика. Пусть при этом не удавалось достичь и стотысячной доли результата, зато сама память о полученном уроке была драгоценной; храня ее неотступно, воспитываешь у себя трезвую самооценку любого внешнего успеха.

2

Так был сделан первый шаг в познании особенностей Ленина как агитатора. Но секрет огромной любви к нему миллионных масс, любви не только разумом, но и сердцем, все еще оставался неопределимым. Правда, была уже вполне очевидна разница в том, как, например, почтительно следовала за Августом Бебелем «свита его поклонников и поклонниц», безусловно глубоко любив-

ших Бебеля и преданных ему; и как — совсем не почтительно — кидались навстречу Ленину люди, чтоб только посмотреть на него и побыть около него. Часто наблюдая такие встречи в Москве в 1921 году, Клара Цеткин рассказывает о них в своих воспоминаниях:

«Когда Ленин заходил ко мне, то это было настоящим праздником для всех в доме, начиная с красноармейцев, которые стояли у входа, до девочки, прислуживавшей в кухне, до делегатов Ближнего и Дальнего Востока, которые, как и я, проживали на этой огромной даче... — Владимир Ильич пришел!.. От одного к другому передавалось это известие, все сторожили его, сбегались в большую переднюю или собирались у ворот, чтобы приветствовать его. Их лица озарялись искренней радостью, когда он проходил мимо, здороваясь и улыбаясь своей доброй улыбкой, обмениваясь с тем или с другим парой слов. Не было и тени принужденности, не говоря уже о подобострастии с одной стороны, и ни малейшего следа снисходительности или же погони за эффектом — с другой. Красноармейцы, рабочие, служащие, делегаты на конгрессе... — все они любили Ленина, как одного из своих, и он чувствовал себя своим человеком среди них. Сердечное, братское чувство роднило их всех»[1].

В этих словах нет ничего нового, каждый, кто когдалибо писал о личных встречах с Лениным, неизменно отмечал то же самое — великую простоту, сердечность, товарищество Ильича в его общении с другими людьми. Можно назвать поэтому рассказ Клары Цеткин типичным. Есть в нем только одно, что немецкая коммунистка прибавила от себя. Не услыша этого, как личного признания от самого Ленина, не цитируя какого-нибудь ленинского высказывания в письме или разговоре, а как бы невольно беря на себя функцию психолога или писателя (который может говорить за своих воображаемых героев), она пишет про Ленина: «...он чувствовал себя своим человеком среди них». Если б редактор потребовал от нее на этом месте справку, откуда она это знает, или строгий «коронер» на судебном процессе указал ей, что свидетель не имеет права говорить за других о том, что другие чувствуют, а только за себя, что он сам чув-

[1] Ленин и международное рабочее движение, стр. 77—78.

ствует, Клара Цеткин вынуждена была бы поправиться и уточнить свою речь таким образом: «я чувствовала» или «я видела, что Ленин чувствует себя своим человеком среди них». Тогда нужно было бы доискаться, что же именно в отношении Ленина к другим людям (ведь не только простота и сердечность!) вызвало у Клары Цеткин такое признание.

Здесь мы оставим на время книжку воспоминаний и обратимся к другим источникам более общего порядка.

Когда вышло первое издание сочинений Ленина, у нас еще не существовало разветвленной сети кружков политучебы с широко разработанной программой чтения. Каждый вопрос в этих программах охватывал (и охватывает сейчас) много названий книг классиков марксизма, но не целиком, а с указанием только нужных для прочтения страниц,— от такой-то до такой-то. Считаю для себя счастьем, что я избегла в конце двадцатых годов этой пестроты знакомств с книгой по кусочкам и смогла прочитать Ленина том за томом, каждое произведение в его целостном виде. Правда, не имея ни консультанта, ни старшего товарища, который «вел» бы меня в этом чтении, я часто «растекалась мыслью» по второстепенным местам, увлеченная какой-нибудь деталью, и упускала главное. Зато детали эти мне очень потом пригодились. Одна из таких деталей, останавливающая внимание на первых же страницах «Материализма и эмпириокритицизма», помогает, мне кажется, понять очень важную вещь: связь индивидуализма в характере человека со склонностью его мышления к теоретическому идеализму. Владимиру Ильичу очень полюбилось одно выражение у Дидро. Начав свою полемику с Эрнстом Махом, он приводит полностью всю цитату, где Дидро употребил это выражение. Судя по сноске, Ленин читал французского энциклопедиста в оригинале и сам перевел цитируемое место. Речь идет о беседе Дидро с Даламбером о природе материализма. Дидро предлагает своему собеседнику вообразить, что фортепьяно наделено способностью ощущения и памятью. И вот наступает вдруг такой момент сумасшествия... Далее следует знаменитая фраза Дидро: «Был момент сумасшествия, когда чувствующее фортепиано вообразило, что оно есть единственное существующее на свете фортепиано и что

вся гармония вселенной происходит в нем»[1]. Этот образ чувствующего фортепьяно, на клавишах которого (органах восприятия) играет объективный мир, то есть материально существующая природа,— и которое вдруг сошло с ума, вообразив, что в нем единственном заключена вся гармония вселенной,— захватил Ленина так сильно, что он не только процитировал это место, но и вернулся к нему снова, повторил его, развил и приблизил к нам, дав его читателю в несколько ином ракурсе. У Дидро ударение стоит на мысли, что фортепьяно вообразило, будто вся гармония вселенной происходит в нем (разрядка моя.— **М. Ш.**). Ленин, издеваясь над «голеньким» Эрнстом Махом, пишет, что, если он не признает объективной, независимо от нас существующей реальности, «...у него остается одно «голое абстрактное» *Я*, непременно большое и курсивом написанное *Я* = «сумасшедшее фортепиано, вообразившее, что оно одно существует на свете»[2]. Казалось бы, это опять та же цитата из Дидро,— но не совсем та! Ильич ставит знак равенства между «сумасшедшим фортепиано» и местоимением первого лица единственного числа Я. Он как бы центрирует внимание не на второй мысли Дидро (что «сумасшедшее фортепиано» вообразило себя творцом гармонии вселенной, носящим весь объективный мир внутри себя, как позднее «Мировой Разум» Гегеля); он попросту выбрасывает эту вторую половину фразы, чтоб она не двоила внимания читателя, и подчеркивает первое утверждение Дидро, что «сумасшедшее фортепиано» вообразило себя одним на свете. И больше того, оно превратилось в Я с большой буквы. Но когда Я с большой буквы становится центром мира и оно существует в единственном числе, что же делается с бедным «ты», со всеми другими познающими субъектами? Не перестает ли каждое «Я» реально чувствовать бытие каждых «ты», не становятся ли эти «ты» для него лишь порождением его собственных идей? Так от крайнего теоретического солипсизма Беркли незаметно в уме читателя прокладывается мостик к крайнему практическому индивидуализму в характере человека, заставляющему его как бы не чувство-

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 18, стр. 31.
[2] Там же, стр. 36—37.

вать бытие другого человека рядом с тобой с той же убедительной реальностью, с какой ты ощущаешь глубину и реальность своего собственного бытия.

Разумеется, все эти рассуждения очень субъективно-читательские. Но зерно истины в них есть. Именно от полноты своего материалистического сознания Ленин очень сильно ощущал реальное бытие других людей. И каждый, к кому подходил Ленин, не мог не чувствовать *реальность этого подхода* человека Ленина к другому человеку, а значит, не мог не переживать ответно свое человеческое равенство с ним. В материалистическом переживании бытия «ты» с той же силой, как бытия своего «я», есть совсем новое качество нашего времени, и каждый партийный руководитель должен стремиться воспитать в себе это качество. В памяти всплывают многие образы литературы, где как бы подтекстно, а иногда и в самом тексте проводится мысль, что далеко не все люди существуют реально, многие только «кажутся» для того, чтобы твое «я» прошло великий искус жизни... Когда в «Братьях Карамазовых» идет страшный рассказ о детях, безвинно переносящих чудовищные муки, и читателю как бы задается вопрос: за что? — опять возникает призрачное ощущение бытия некоторых живых существ, только «кажущихся», но не существующих реально. «Это, брат, не наши люди, это пыль, поднявшаяся... Подует ветер, и пыль пройдет...»,— говорит Федор Карамазов про сына Ивана[1]. Знаменитый вопрос «да был ли мальчик?», еще недавно служивший в нашей литературе своего рода метафизической проблемой, тоже порожден утверждением единственного «я» на земле. А на западе! У немецких романтиков, в «Эликсире Сатаны» Гофмана, в огромном числе сегодняшних книг, не таких талантливых, но рожденных подводным течением идеализма, разве не выводятся наряду с действующим «я» люди-призраки, имеющие лишь подсобное существование? У Кафки эта призрачность существования «ты», подобно раковой опухоли, так чудовищно разрослась, что метастазы охватили даже его гиперболическое, огромное Я с большой буквы, и это Я, герой Кафки, становится сам призраком, теряющим реальные очертания земного

---

[1] Ф. М. *Достоевский*. Братья Карамазовы. Гослитиздат, Москва, 1958. Том первый, стр. 241.

бытия. Так сошедшее с ума фортепьяно продолжает свое шествие в искусстве и мышлении современности. Пример с Кафкой особенно ярок для тех читателей, кто знаком с творчеством этого страшного выразителя крайней линии идеализма в литературе: Кафка удивительно сильно, до тошноты и головокружения (потому что это непривычно и несвойственно нормальному мышлению) показал беспомощность взаимоотношений между «я» и «ты», между субъективным сознанием и его призраком, как бы физическую невозможность для «я» добиться от «ты» прямого ответа на вопрос или прямого противодействия на действие, когда оно требуется по ходу романа.

Но вернемся из этого призрачного мира сошедшего с ума фортепьяно в живой мир нашей исторической действительности. Переживали ли вы когда-нибудь, читатель, особое счастье от общения с человеком, который, вы чувствуете, подошел к вам с тем выражением равенства, когда его «я» ощущает реальное бытие вашего «ты»? Это не так уж часто бывает на земле. Люди разны во всем,— не только по внешнему положению в обществе, но и по таланту, по уму, по характеру, по возрасту, по степени внешней привлекательности. Но в одном они равны абсолютно. В том, что все они *реально существуют*. И вот в присутствии живого Ленина и даже в чтении — одном только чтении его книг — каждый из нас испытал *живое счастье утверждения реальности твоего собственного бытия*, каким бы маленьким или ничтожным ни казалось оно тебе самому. Мне кажется, это одна из очень важных причин, почему людям было хорошо с Лениным и Ленину было хорошо с людьми. Один из членов Великобританской социалистической партии, побывавший в Москве в 1919 году, Д. Файнберг, определил это чувство как особое ощущение внутренней свободы: «...с каким бы благоговением и уважением вы ни относились к нему, вы сразу же чувствовали себя свободно в его присутствии»[1]. А это значит, что вы реализовывали в общении с Лениным лучшие стороны вашего характера, то есть, говоря проще, становились при нем лучше.

---

[1] Ленин и международное рабочее движение, стр. 51.

3

Для вступающего в партию всегда очень важен вопрос о его старшем (по партийному опыту) товарище, секретаре парторганизации или парторге. С ним тянет посоветоваться, у него поучиться, ему поисповедоваться, и это очень естественно в том новом положении, в каком оказывается и перед самим собой и перед обществом молодой член партии. Едва ли не самым тяжелым разочарованием в его партийной жизни бывает, когда этот руководитель оказывается простым формалистом, или даже себялюбцем, или равнодушным человеком, и, говоря с ним, вы чувствуете, что он внимателен только для виду, отделывается ответами, занят чем-то своим. Его формальное отношение может постепенно погасить в новом члене партии стремление по-новому, осознанней, ответственней относиться к своему делу и мало-помалу тоже заразит его формализмом. Так множатся ряды чиновников с партбилетами в кармане. Ученый, даже великий ученый, может быть плохим, никудышным психологом, глядеть мимо вас, не видя вас, слушать и не отвечать, принимать черное за белое, и за это с него человечеством не спросится; больше того, даже при полном отсутствии внимания к вам и понимания вас у такого ученого можно каждый день, каждый час учиться и расти возле него, учиться могучей концентрации ума, преклоняться перед самоотдачей всей жизни предмету своей науки. Но член партии, коммунист, если он руководитель какого-нибудь коллектива, не имеет права на полную самоотрешенность. Он обязан видеть и чувствовать людей, которыми руководит. И сказать про него, что он плохой психолог, это все равно как признать: он разваливает дело, не справляется с главной своей задачей. Можно ли научиться пониманию людей и общению с людьми по учебникам психологии и педагогики? Здесь я, пожалуй, разойдусь во мнении со многими. Мне кажется, не только нельзя научиться (да еще при том состоянии учебников, каковы они у нас и во всем мире сейчас!), а можно вдобавок и то верное, что практически, на опыте жизни получено, утерять и совсем запутать в голове.

Конечно, чтоб быть таким психологом, как Ильич, надо родиться Ильичем, с его громадной опорой на материалистическое сознание, с его превосходным воспи-

танием у таких родителей, как один из лучших русских педагогов, Илья Николаевич Ульянов, и одна из тактичнейших женщин, с ее огромной силой воли и умением создать бытовой и творческий режим в доме, Мария Александровна Ульянова. Но разобранным выше основным и как бы первичным свойствам его натуры,— полному отсутствию тщеславия и острореальному ощущению бытия другого человека, настолько же реальному, как ощущение собственного бытия,— можно всю жизнь стремиться внутренне подражать, и даже если это не удастся вам ни в какой мере, это станет вашей совестью, вашим вернейшим критерием в оценке характеров — вашего собственного и окружающих вас людей. Зато многим чисто педагогическим приемам Ленина, и особенно его способу постоянного изучения людей, можно каждому коммунисту научиться и, во всяком случае, необходимо знать о них.

Умение подойти к человеку, понять его, правильно сагитировать, выучить или дать урок выросло у Владимира Ильича в процессе постоянной, неутомимой работы с людьми, страстной потребности изучать людей, быть с ними, чувствовать их. Никогда не было у него равнодушия к человеку или невнимания к его прямым нуждам. Но, кроме прямой практики работы с людьми, Ленин всегда учился из книг, из художественной литературы тому, что такое глубинная психология людей. Мы знаем со слов Надежды Константиновны, что он буквально тосковал в Кракове по беллетристике и «разрозненный томик «Анны Карениной» перечитывал в сотый раз»[1]. «Сто раз» перечел роман, где выступает любимый герой Толстого Левин, с его крестьянской философией, где дается такой великолепный разрез современного Толстому общества, где без нарочитости, с величайшей правдой искусства раскрываются такие характеры, как страшный в своей сухой душевной наготе Каренин! Характеры иного общества, иной эпохи... Но мог ли бы Ленин так гениально увидеть в Толстом «зеркало русской революции», если б не перечитывал его многократно?! Школа психологии, открываемая подлинным искусством слова, очень много дала Ильичу в его понимании людей.

Каждый народ с огромной выразительной силой про-

[1] Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине, стр. 208.

являет себя в своем языке. Владимир Ильич хорошо это понимал. Его работе с людьми много помогало постоянное, непрекращающееся изучение языков, на каких говорят люди. Об этом наши пропагандисты как-то мало задумываются. Между тем общение писателей с рабочими разных национальностей через переводчиков, объезд чужих стран и пребывание в них без возможности прочитать даже афишу на столбе, не говоря уже о газетах,— вещь для них тяжелая, все равно что стояние у запертой двери без ключа к ней. Хотя сам Ленин писал в анкетах, что плохо знает иностранные языки, но вот что говорят свидетели:

«Тов. Ленин хорошо понимал английский язык (и говорил по-английски)...» (Д. Файнберг)[1]. Ленин «совершенно свободно говорил по-английски» (Сен-Катаяма)[2].

«В 1920 году, когда происходил II конгресс Коминтерна, Владимир Ильич в своем выступлении подверг критике ошибки руководства Коммунистической партии Германии и линию итальянца Серрати. Пока речь шла о Германской коммунистической партии, Владимир Ильич говорил по-немецки, а потом, когда заговорил об ошибках Серрати, сразу же перешел на французский язык. Я была на этом заседании конгресса, которое происходило в Андреевском зале Кремлевского дворца. Вспоминаю тот гул, который прошел по залу. Иностранные товарищи не могли себе представить, что русский, который только что блестяще говорил по-немецки, так же свободно владеет французским языком» (Е. Д. Стасова) [3].

Но, свободно выступая с докладами и беседами на немецком, английском и французском языках, Владимир Ильич хорошо знал и итальянский, читал итальянские газеты. Осенью 1914 года, в страстной полемике с немецкими и прочими социалистами, санкционировавшими военные кредиты, Ленин противопоставляет им в статье «Европейская война и международный социализм» [4] итальянских коммунистов. Он цитирует несколько раз итальянскую газету «Аванти», давши на трех с половиной страницах своей статьи одиннадцать

---

[1] Ленин и международное рабочее движение, стр. 55.

[2] Там же, стр. 141.

[3] Воспоминания о Ленине. Москва, 1956, т. 1, стр. 325.

[4] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 26, стр. 8.

итальянских фраз, точнее 109 итальянских слов. По характеру этих цитат видно, что Ильич наслаждается высоким революционным содержанием, приподнятым музыкальной красотой языка. Для него это знание чужих языков, свободное употребление их отнюдь не простой багаж образованности. Через язык он постигает внутренний жест народа, особенности его реакций, его характера, его юмора; он ищет лучших путей к нему, лучшего взаимного разумения. Мы уже видели, как тонко подметил, а потом использовал он шотландские особенности английского языка Галлахера. Но не только четыре европейских языка знал Ленин. До конца своих дней он интересовался и языками братских славянских народов и продолжал по мере сил и времени изучать их. Как в приведенных выше случаях, знание языков помогало Ильичу сразу устанавливать контакт с англичанами и французами, так помогло ему знакомство с чешским языком и обычаями. Летом 1920 года приехал в Москву Антонин Запотоцкий. С волнением и в растерянности он ожидал приема у Ленина: как и о чем решиться говорить с ним? Но тревогу его скоро как рукой сняло:

«Прежде всего оказалось, что он (Ленин) понимает чешскую речь... Беседу он начал вопросом, который наверняка ни одного чеха не привел бы в замешательство. Он спросил, едят ли еще в Чехии кнедлики со сливами. Он помнил об этом любимом чешском блюде еще со времени своего пребывания в Праге...»[1].

Приезжает в Москву болгарский коммунист Хр. Кабакчиев и привозит Ленину в подарок целую кучу брошюр на болгарском языке, которыми он очень гордится: вот какая у нас массовая политическая литература! В таких случаях интерес к подаренным книгам обычно потухает при виде незнакомого языка, на котором они написаны. Но мы можем сразу представить себе живого Владимира Ильича, с любопытством пересматривающего брошюры.

«А трудно ли выучиться болгарскому языку?»[2]— внезапно спрашивает он у Кабакчиева. Это не праздный вопрос. Ленин просит выслать ему поскорее болгаро-русский словарь. А через некоторое время, видимо, отчаяв-

---

[1] Воспоминания о Ленине. Том II, стр. 535.

[2] Ленин и международное рабочее движение, стр. 126.

шись получить от Кабакчиева, Ленин пишет записочку библиотекарше с просьбой достать ему болгаро-русский словарь.

От изучения чужих языков — к изучению народа, и так буквально до последних дней жизни. Этого не должен игнорировать партийный работник, желающий изучить науку руководства людьми, умелого подхода к людям, понимания их и влияния на них. Еще и потому, может быть, что знание многих иностранных языков помогает открыть силу и красоту, особенности и своеобразие собственного, родного языка и получше владеть им в общении со своим народом. Ведь недаром Гёте любил говаривать, что только знание чужих языков дает человеку возможность полностью понять свой собственный.

В годы, когда непосредственное воздействие живого Ильича еще не стерлось из памяти, М. Шолохов отразил стремление коммуниста овладеть иностранным языком. В «Поднятой целине» замечателен образ простого и малограмотного партийного руководителя в деревне, жадно изучающего каждую свободную минуту английский язык, необходимый ему для «мировой революции». В те годы людям широко навстречу шло и наше государство, основав так называемые «ФОНы»[1] для партийных и творческих работников,— индивидуальное обучение иностранным языкам. К сожалению, мало кто воспользовался ими по-настоящему.

Огромное внимание уделял Ленин молодежи. Он учил никогда не бояться ее, внимательнейшим образом следил за ней, умел бережно относиться к ее самолюбию (Н. К. Крупская рассказывает, как он поправлял начинающих и молодых авторов совершенно для них *незаметно*), а главное — обладал чудесным даром (или сам воспитал в себе выдержку) *не раздражаться на ее ошибки*. Сталкиваясь с чем-либо отрицательным, он не забывал припомнить или заметить *одновременно* и что-нибудь положительное в том же человеке. Организатор швейцарской молодежи в десятых годах нашего века В. Мюнценберг пишет после совместной работы с Лениным: «Его критика никогда не оскорбляла нас, мы никогда не чувствовали себя отвергнутыми, и, даже подвергая нас самой суровой критике, он всегда

[1] ФОН — факультет общественных наук.— Ред.

находил в нашей работе что-нибудь заслуживающее похвалы»[1]. Мюнценберг называет такое отношение Ленина педагогическим, то есть направленным на воспитание кадров: «Без его непосредственной личной товарищеской помощи, оказывавшейся им с огромным педагогическим тактом, Международное бюро молодежи в Цюрихе ни в коем случае не принесло бы такой пользы юношескому движению в 1914—1918 гг.» [2]. И он заканчивает свои воспоминания: «За свою пятнадцатилетнюю работу в движении социалистической молодежи я получил неисчислимо много от известнейших вождей рабочего движения, но не могу вспомнить ни одного, который бы, как человек и политик, стоял ближе к юношеству и политически больше влиял бы на пролетарскую молодежь, чем Владимир Ильич Ульянов-Ленин»[3]. Надо отметить тут, что Ленин всегда подмечал лучшее в человеке — и это одна из главнейших черт, необходимых для педагога, а значит, и для коммуниста, работающего с кадрами; потому что строить свою воспитательную работу с людьми коммунист может, лишь опираясь на лучшие их черты, а не на худшие. Надежда Константиновна рассказывает: «У Владимира Ильича постоянно бывали... полосы увлечения людьми. Подметит в человеке какую-нибудь ценную черту и вцепится в него» [4]. В начале мая 1918 года группа финских товарищей, наделавших крупных ошибок и потерпевших в партийной борьбе полное поражение, шла к Ленину с повинной головой, сознавая со всей серьезностью собственный промах. Люди были уверены, что получат суровый разнос. Но Ленин обнял их и вместо разноса начал подбадривать, утешать, поворачивать их мысли к будущему, говорить о том, что предстоит им делать дальше.

Подобных примеров очень много, и, когда читаешь бесхитростные рассказы об этом, чувствуешь, что в проявлении такой чуткости вовсе не одна только ильичевская доброта: ведь когда нужно, Ильич умел быть беспощадно суровым. Но одним из серьезнейших

---

[1] Ленин и международное рабочее движение, стр. 25.
[2] Там же, стр. 24.
[3] Там же, стр. 30.
[4] Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине, стр. 64.

оружий воспитательной работы с кадрами было у Ленина умение не только не подавлять у человека чувство его собственного достоинства, а, наоборот, пробуждать и укреплять его. С теми, кто имел это чувство собственного достоинства, Владимир Ильич общался как будто с особенным удовольствием. Как правило, это были русские рабочие, приезжавшие к нему в эмиграцию, крестьяне, которых «мир» посылал к нему ходоками в первые годы революции, те из ученых и творческих работников, которые, подобно Михайле Ломоносову, не желали быть холуями у самого бога, а не «токмо» у сильных мира сего. Между прочим, он очень ценил эту внутреннюю человеческую независимость у английских рабочих, которых изучал во время лондонской эмиграции буквально со страстью. Страницы, посвященные этому у Надежды Константиновны, просто обжигают при чтении. В английских церквах после службы устраивались своеобразные дискуссии, на которых выступали рядовые рабочие. И Владимир Ильич ходил по церквам, чтобы только слышать эти выступления. Он жадно читал в газетах, что там-то и там объявляется рабочее собрание, и он ездил по самым глухим кварталам на эти собрания, ходил в рабочие библиотечки-читальни, ездил на крышах автобусов, посещал «социал-демократическую» церковь в Лондоне, где священник был социал-демократ, чтобы изучить рабочую молодежь. Приезжие в Лондоне знакомились лишь с верхушкой английского рабочего класса, подкупленной буржуазией, но Ленин пристально следил за рядовым английским рабочим, сыном народа, проделавшего своеобразные революции, прошедшего через чартизм и создавшего «habeas corpus», эту заповедь личной человеческой независимости. Слушая выступления рядовых рабочих, Ильич говорил Надежде Константиновне: «Из них социализм так и прет! Докладчик пошлости разводит, а выступит рабочий — сразу быка за рога берет, самую суть капиталистического строя вскрывает»[1]. В них он видел «движущие силы будущей революции в Англии»[2]. Надежда Константиновна прибавляет от себя:

---

[1] Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине, стр. 56.
[2] Там же.

«На рядового английского рабочего, сохранившего, несмотря ни на что, свой классовый инстинкт, и надеялся всегда Ильич»[1]. Классовый инстинкт рабочего, покоящийся на могучем чувстве коллектива, выработанный ежедневным совместным трудом, теснейшим образом связан с чувством собственного достоинства, несовместимым ни с холуйством, ни с заискиванием, ни с трусостью, ни с наглой самоуверенностью. Неизмеримая пропасть отделяет это спокойное и твердое сознание себя человеком от самолюбивого тщеславия, самонадеянности, самоуверенности, наглости, ячества. *И надо тонко уметь различать эту разницу, если хочешь руководить кадрами и воспитывать людей.* Если всем видам тщеславия надо давать отпор, стараясь искоренять их в членах партии, то людей со спокойным чувством собственного достоинства, людей с независимым и безбоязненным суждением нужно беречь в рядах партии как зеницу ока.

4

В прошлом был в наших творческих союзах метод воздействия на сделавшего ошибку товарища, получивший мрачное название «проработки». Мало кто найдется у нас из творческих работников, кто не перенес бы тяжело, за себя или за другого, эту проработку. Заключалась она в том, что совершивший ошибку подвергался весь целиком как бы моральному расстрелу — не из ружья, которое поразило бы одно какое-нибудь ошибочное место в нем, а из пушки, ядро которой превратило бы его всего в пух и прах. При такой «проработке» не только не оставлялся признанным какой-нибудь нетронутый уголок присущих ему хороших качеств или хорошо сделанной работы, но и не допускались никакие голоса, которые вдруг прозвучали бы в момент «проработки» не в унисон с голосами обвинителей (ядро пушки), а с напоминанием о качестве в человеке, заслуживающем уважения. Если быть откровенным, мало кому из так «проработанных» товарищей пошли они действительно на пользу. Разду-

[1] Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине, стр. 56.

мывая над тем, почему у нас к ним все-таки время от времени прибегали, я, сама для себя, пришла к несколько еретическому выводу: они казались полезными и ведущими к укреплению нового общества, подобно тому как кризисы якобы ведут к укреплению капитализма. Совершивший ошибку рассматривался как симптом назревшего общего уклона в ошибку или выражение общего назревавшего недовольства — и совершенный моральный разгром его очищал атмосферу, как тайфун или шквал. Кризис, сокрушив отдельных капиталистов, давал капитализму в целом возможность двинуться дальше. И творческие союзы на «развалинах» одного «проработанного» начинали сызнова движение вперед. Я отнюдь не претендую на верность моего объяснения, я только упоминаю об этом как о личной попытке объяснить для себя самой метод «проработки». Так это или не так, но надо со всей решимостью и бесстрашием большевиков признать, что метод «проработки», осужденный нашей партией, делающий человека средством, никогда и ни в малейшей степени не был приемлем для Ленина. Он был по самой природе своей глубочайшим образом антиленинским. Абсолютно принципиальный в партийной борьбе, вскрывающий партийные ошибки до самого их дна, никогда не останавливавшийся перед тем, что мы называем «говорить правду в глаза», Ленин никогда не делал отдельного человека средством (что исключает всякую возможность педагогического воздействия на него), а всегда относился к человеку как к цели (с учетом его изменения, воспитания, роста). Вот почему унижение человека, такое глубокое унижение, при котором униженный сам перестает уважать в себе человеческое достоинство, есть самый отрицательный способ воспитания человека. Такое унижение (русский язык знает еще более сильное слово для него — «уничижение»), такое уничижение ломает кадры, коверкает нервную систему или воспитывает холуев, лицемеров, приспособленцев и подхалимов.

Я привела несколько примеров ленинского отношения к человеку в тех простых случаях, когда люди сознавали свою вину и нужно было бережно сохранить их веру в себя и силу для завтрашней работы. Но вот более сложный пример, когда требовалось как будто сохранить для партии дарование, считавшееся блестящим, человека с

большим как будто литературным и политическим будущим и для этого избавить его от всеобщего осуждения таким авторитетнейшим органом, как III конгресс Коминтерна, тем более что вышеописанный товарищ и вины особенной как будто не проявил: написал совершенно правильную по содержанию брошюру, а только малость переборщил в ней, переборщил в тоне, в критике, в нападках... Я имею в виду интереснейший эпизод с немецким коммунистом Паулем Леви и позицию в этом деле Владимира Ильича. Мне кажется, каждый партийный руководитель, кто хочет быть подкованным в своей работе психологически и педагогически, должен не только прочесть, но прямо изучить страницы, посвященные этому эпизоду в воспоминаниях Клары Цеткин. С тех пор прошло свыше сорока лет. Объективный исторический анализ стер все сложности и тонкости, всю конкретность обстановки, существовавшей в тот год (1923), и, например, в нашей БСЭ, как и в новых учебниках истории партии, эпизоду с Леви дано скупое и сжатое толкование, а сам Леви попросту сброшен со сцены истории как заведомый ренегат и оппортунист. Но сорок лет назад все это не было так явно и понятно для каждого. Сорок лет назад факты представлялись несколько по-другому, а сам Леви еще занимал руководящий пост в молодой Германской компартии, и позиция его далеко не всякому была видна во всей ее двойственности. Вот почему весь эпизод с Леви, особенно во время войны, при тусклой лампочке бомбоубежища, произвел на меня такое сильное впечатление в трактовке его по горячему следу, сразу после события, устами старой, опытной немецкой коммунистки. Событие, взволновавшее все секции Коминтерна, было революционное рабочее движение (или вспышка) в марте 1923 года в немецком городе Мансфельде. За вспышкой последовали организация партизанских отрядов в округе и ряд вспышек и стычек с полицией в других городах. Вызвано это было невозможными притеснениями со стороны хозяев, вводом полиции на фабрики и заводы, обысками, арестами. Сейчас, когда прошло свыше сорока лет, стало особенно ясно, что буржуазия сама спровоцировала эти вспышки, желая заранее, до полной организованности рабочих, разбить лучшие их силы по частям. Тогда же с особенной силой видна была вторая сторона Мансфельда: недисциплинированность движения, его ма-





лая продуманность, плохое руководство, недостаточная связь с рабочими массами — словом, обреченность этого движения на провал. И оно вызвало резкую критику со стороны большинства коммунистов. В самый его разгар Пауль Леви выступил против него с острейшей критикой. Казалось бы, он наговорил массу верных вещей и был теоретически прав. Но... Перейдем к двум собеседникам — Ленину и Кларе Цеткин.

Клара Цеткин обеспокоена, она волнуется за судьбу Леви. Она знает, что, несмотря на справедливость его критики, он вызвал к себе отрицательное отношение Коминтерна. Осуждают его многие секции, осуждает особенно сильно русская секция. Ему хотят вынести публичное порицание, исключить из партии. Какими горячими словами она защищает его перед Лениным! «Пауль Леви — не тщеславный самодовольный литератор... Он не честолюбивый политический карьерист... Намерения Пауля Леви были самые чистые, самые бескорыстные... сделайте все возможное, чтоб мы не потеряли Леви!»[1]. Словно предчувствуя, в чем будут заключаться обвинения, она их сразу же, еще до их предъявления, отрицает. Но Ленин совсем не поднимает *этой* «перчатки», не подхватывает тех легких обвинений, которые она перед ним отрицает. Он говорит о Леви (в протокольном рассказе Цеткин) так, как если бы думал вслух,— очень серьезно и с очень большим желанием понять и проанализировать то, что произошло, до конца и во всем объеме,— не столько о самом Леви, сколько о партийной психологии в целом:

«Пауль Леви, к сожалению, стал особым вопросом... Я считал, что он тесно связан с пролетариатом, хотя и улавливал в его отношениях к рабочим некоторую *сдержанность*, нечто вроде желания «*держаться на расстоянии*». Со времени появления его брошюры, у меня возникли *сомнения на его счет*. Я опасаюсь, что в нем живет большая склонность к самокопанию, самолюбованию, что в нем — что-то от литературного тщеславия. Критика «мартовского выступления» была необходима. Что же дал Пауль Леви? Он жестоко *искромсал партию*. Он не *только дает очень одностороннюю крити-*

[1] Ленин и международное рабочее движение, стр. 74—75.

ку, преувеличенную, даже злобную, он ничего не делает, что позволило бы партии ориентироваться. Он дает основания заподозрить в нем отсутствие чувства солидарности с партией (разрядка моя.— **М. Ш.**). И вот это обстоятельство было причиной возмущения многих рядовых товарищей. Это сделало их слепыми и глухими ко многому верному, заключающемуся в критике Леви. Таким образом, создалось настроение — оно передалось также товарищам и из других секций,— при котором спор о брошюре, вернее, о личности Пауля Леви, сделался исключительным предметом дебатов — вместо вопроса о ложной теории и плохой практике «теоретиков наступления» и «левых»[1].

Как надо быть благодарными Кларе Цеткин за то, что она подробно записала эти слова Ильича! И как хочется думать и думать над ними, над тем, что такое партийная политика, что такое человек в партии... Необдуманное и скороспелое выступление немецких рабочих обошлось дорого и всей немецкой компартии и всему революционному движению на Западе. Оно дало легкую победу буржуазии. Поэтому нужно было («необходимо» — по Ильичу) осудить тактику левых, сделать ее поучительным уроком. А тут примешался Пауль Леви с его брошюрой и помешал работе Коминтерна. Вместо общей проблемы изволь возиться с «проблемой Пауля Леви». Но уж, если на то пошло, в его как будто правильной позиции, в его как будто верных замечаниях есть как раз то самое «личностное», «субъективное», что сделало эту позицию и эти замечания неверными. Ильич говорит о критике односторонней, преувеличенной, почти злобной, не дающей никаких ориентиров на будущее, как о чем-то не только неправильном само по себе, но и заставляющем заподозрить в Пауле Леви «отсутствие чувства солидарности с партией». Отрыв его от рабочей массы («желание держаться на расстоянии») приводит к отрыву от партии. Так личностное, примешиваясь к политике, делает порочной самоё политику.

Приговор над Леви еще не произнесен Коминтерном, Леви еще не осужден, но в этом осторожном раз-

[1] Ленин и международное рабочее движение, стр. 73.

думье Ильича перед нами во весь рост встает сам Леви, как человек, обрекающий себя на исключение из партии, потому что он сам оторвался от солидарности с нею.

В словах Ильича есть и нечто большее, чем только относящееся к самому Леви. Есть скрытая внутренняя теплота к рабочим, восставшим с оружием против хозяев: неудачное, недисциплинированное, принесшее ущерб общему делу, а все же это восстание, исторический момент борьбы; пролилась кровь тех, кто эту ошибку сделал, и как раз им-то, ошибившимся, нет и не должно быть осуждения в большом плане революции: ведь без таких ошибок не могло бы быть и восстания победоносного. Этого не понял Леви, но это поняли «рядовые товарищи», не «держащиеся на расстоянии» от рабочей массы, и отсюда их возмущение против Леви.

Дальнейшая судьба Леви показала, с какой изумительной портретной точностью дан был этот человек в скупых фразах Ленина. Откуда же это безошибочное знание людей, давшее ему преимущество в оценке Леви перед старой, опытной немецкой коммунисткой? Казалось бы, она должна насквозь знать свои кадры, а Ленин, почти не встречавшийся с ними,— далеко уступать ей в этом знании. Между тем, вероятно бессознательно, Клара Цеткин, описав историю с Леви, обнаружила свою наивность и неопытность в оценке близкого ей человека, в то время как Ленин, не знавший этого человека, безошибочно воссоздал его характер и судьбу. Чтоб выработать такой взгляд и оценку, надо пройти жизненную практическую школу Ильича — его постоянное общение с рабочим классом, привычку в первую очередь думать о простом труженике, о его психологии, его отношении к людям, о его нуждах — и для выработки собственного суждения становиться на позицию «рядовых товарищей». До последних дней жизни сохранил Ильич эту способность никогда не держаться на расстоянии» от народа, всегда чувствовать себя среди него, становиться на позицию рядового товарища.

В самом конце маленькой книжки, которую я брала с собой в бомбоубежище, есть рассказ...

В конце октября 1923 года Ленин, казалось, уже начал оправляться от удара. Он мог ходить, двигать левой

рукой и произносить, хотя с большим трудом и неясно, отдельные слова. Но жить ему оставалось уже недолго — меньше чем три месяца... Единственное слово, которым он владел твердо, было «вот-вот». И этим словом, внося в него различные интонации, он делал свои замечания по ходу бесед с ним. Когда в воскресный день конца месяца к нему приехали И. И. Скворцов-Степанов и О. А. Пятницкий, он вышел им навстречу, опираясь левой рукой на палку. А дальше пусть продолжает О. А. Пятницкий:

«Тов. Скворцов стал рассказывать Ильичу о ходе выборов в Московский совет. Он невнимательно слушал. Во время рассказа т. Скворцова он одним глазом смотрел на рассказчика, а другим просматривал заглавия книг, лежавших на столе, вокруг которого мы сидели. Но когда т. Скворцов *стал перечислять те поправки к наказу МК, которые вносились рабочими фабрик и заводов,— об освещении слободок, где живут рабочие и городская беднота, о продлении трамвайных линий к предместьям, где живут рабочие и крестьяне, о закрытии пивных и пр., Ильич стал слушать внимательно и своим единственным словом, которым он хорошо владел: — «вот-вот»* — стал делать замечания во время рассказа с такими интонациями, что нам вполне стало ясно и понятно, так же, как это бывало раньше, до болезни Ильича, что *поправки к наказу деловые, правильные и что нужно принять все меры, чтобы их осуществить*» (разрядка моя.— **М. Ш.**)[1].

Рассказ о выборах, как о чем-то уже предрешенном, Ильич слушает невнимательно и даже взглядом, обращенным к книгам на столе, показывает свое невнимание. Но когда речь зашла о голосе рабочих масс, об их нуждах,— все в Ленине встрепенулось.

Таков предсмертный урок Ленина, данный им каждому коммунисту. И пусть слышится нам его «вот-вот» всякий раз, когда совесть наша подсказывает нам главное, что надо сделать коммунисту, на что обратить внимание в работе с людьми.

---

[1] Ленин и международное рабочее движение, стр. 156.

Педагогика — это наука о росте человека, она обращена к становящемуся, развивающемуся, совершенствующемуся в человеке. Никакие старые понятия о доброте, о сердечности не покрывают и не составляют всей полноты того нового, с чем Ильич подходил к людям и что заставляло людей обращаться к нему лучшими своими сторонами, делаться с ним лучше. Этика Ленина всеми корнями своими уходит в глубину диалектико-материалистического сознания и ощущения мира, это новая этика материалиста, для которого бытие всех других людей существует так же реально, как и его собственное, и он верит в это чужое бытие, в его рост, в его живые, жизнеспособные стороны. Тут больше, чем обыкновенная старая доброта. И ответная любовь людей к Ленину неизмеримо больше простой ответной любви за простую, обыкновенную доброту.

1963—1964

УРОК ВТОРОЙ

ПО СЛЕДАМ ИЛЬИЧА

(Поездка в Нормандию и Бретань)

1

Передо мной была увлекательнейшая задача. Все дома в городах Европы, где Ленин подолгу жил; библиотеки, даже столы, за которыми он занимался; помещения, где происходили партийные съезды и конференции; кофейни и столовые, известные по деловым встречам большевиков,— все это изучено и отмечено, хранит о себе какой-нибудь материальный след — доску с надписью, фотографию. А вот места отдыха, куда Владимир Ильич в редких случаях — чтоб побыть или побродить с Надеждой Константиновной на природе — спасался от нервного городского напряжения, эти места, за исключением, может быть, Швейцарии, изучены гораздо меньше. Среди них есть одно во Франции, где как будто не побывала нога советского очеркиста. И это местечко мне предстояло «открыть» для читателя... О нем, сколько знаю, имелась только страница в воспоминаниях Надежды Константиновны — и ничего больше.

Был 1910-й, очень тяжелый для Ленина год. Партию расшатывали внутренние разногласия, «борьба разных «уделов» внутри партии», по выражению Ильича [1]. Ему приходилось, живя в Париже, вести острую борьбу против меньшевиков-«ликвидаторов» и «отзовистов», печа-

[1] Письмо В. И. Ленина к А. М. Горькому от 14 ноября 1910 года.

тавшихся в органе меньшевиков «Голос социал-демократа», и группы Богданова — Луначарского, издавших свой фракционный сборник «Вперед»[1]. Те и другие яростно нападали на большевистский центр, а Ленин, громя их, пытался в то же время наладить связь с Плехановым и плехановцами и объединить партию с наиболее здоровой частью меньшевиков, хорошо подкованных марксистски. Вот эта борьба за очистку и объединение брала у Ленина много нервной энергии, потому что к ее серьезной идейной стороне примешивалось много мелкого и мелочного, названного Лениным «склокой». В письме из Парижа Горькому на Капри еще 11 апреля он гневно жаловался, что к «серьезным и глубоким факторам» идейной борьбы примешивается нечто «анекдотическое»:

«Вот и выходит так, что «анекдотическое» в объединении сейчас преобладает, выдвигается на первый план, подает повод к хихиканью, смешкам и пр. Говорят, что с.-р. Чернов написал даже водевиль по поводу объединения у с.-д. под названием «буря в стакане воды» и что сей водевиль дают здесь на-днях в одной из (падких на сенсацию) групп эмигрантской колонии.

Сидеть в гуще этого «анекдотического», этой склоки и скандала, маеты и «накипи» тошно; наблюдать все это — тоже тошно. Но непозволительно давать себя во власть настроению. Эмигрантщина теперь во 100 раз тяжелее, чем было до революции[2]. Эмигрантщина и склока неразрывны»[3].

Если так обстояло в апреле, в весеннем Париже,

---

[1] Напомним читателю, чем были в то время так называемые «отзовисты» и «впередовцы». В своей статье «О впередовцах» и о группе «Вперед», написанной в 1914 году, Ленин так определяет оба эти течения: «...впередовцы... были склеены из разнородных антимарксистских элементов. Этих элементов, в смысле идейных течений, было д в а: «махизм» и «отзовизм»...

«Махизм» есть та философия Маха и Авенариуса, с исправлениями Богданова, которую защищали этот последний, Луначарский, Вольский и которая *прячется* в платформе «Вперед» под псевдонимом «пролетарской философии»...

«Отзовисты были против участия в III Думе, и события показали ясно, что... н а д е л е их точка зрения приводила к анархизму». В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений. Том 25, стр. 355.

[2] Имеется в виду революция 1905 года — **М. Ш.**

[3] В. И. Л е н и н. Письмо А. М. Горькому от 11 апреля 1910 года.

когда зацветают каштаны и дышать становится легко, то уж в июле, в парижской невыносимой духоте и сухости, склока становилась и вовсе непереносной. Надежда Константиновна пишет в своих воспоминаниях:

«Склока вызывала стремление отойти от нее. Лозовский, например, целиком ушел во французское профессиональное движение. Тянуло и нас поближе стать к французскому движению. Думалось, что этому поможет, если пожить во французской партийной колонии». Замечательны эти простые строки: не куда-нибудь в глушь, в природу, в одиночество, а поближе к другим собратьям-партийцам, французам, чтоб присмотреться, как там у них, вне собственной мелочной «склоки». Но если у себя заедала вот эта «куча мелких делишек и всяческих неприятностей» [1], то у французов оказалось не лучше: «Сначала поехала туда я с матерью,— продолжает рассказывать Крупская.— Но в колонии у нас житье не вышло. Французы жили очень замкнуто, каждая семья держалась обособленно, к русским относились недружелюбно как-то, особенно заведующая колонией... Рабочих там почти не было. Вскоре приехали туда Костицыны и Саввушка — впередовцы — и сразу вышел у них скандал с заведующей». Колония находилась неподалеку от дешевого курортного местечка Порник. И тогда Надежда Константиновна, спасаясь уже от чужой «склоки», перебралась в этот маленький приморский курорт.

«Наняли мы с матерью две комнатушки у таможенного сторожа. Вскоре приехал Ильич. Много купался в море, много гонял на велосипеде,— море и морской ветер он очень любил,— весело болтал о всякой всячине с Костицыными, с увлечением ел крабов, которых ловил для нас хозяин. Вообще к хозяевам он воспылал большой симпатией. Толстая, громкоголосая хозяйка — прачка — рассказывала о своей войне с ксендзами. У хозяев был сынишка, ходил он в светскую школу, но так как мальчонка прекрасно учился, был бойким, талантливым парнишкой, то ксендзы всячески старались убедить мать отдать его учиться к ним в монастырь. Обещали стипен-

[1] Письмо В. И. Ленина к А. М. Горькому от 14 ноября 1910 года.

дию. И возмущенная прачка рассказывала, как она выгнала вон приходившего ксендза: не для того она сына рожала, чтоб подлого иезуита из него сделать. Оттого так и подхваливал крабов Ильич. В Порни́к Ильич приехал 1 августа, а 26-го уже был в Копенгагене, куда он поехал на заседание Международного социалистического бюро и на Международный конгресс» [1].

Чем-то удивительно непосредственным веет от этого рассказа, где Надежда Константиновна именует по привычке французских «па́теров» польскими «ксендзами». Так ярко и весело образ Ильича не вставал перед нами ни в каком другом описании его летнего отдыха. «Гонял на велосипеде», «воспылал большой симпатией», «с увлечением ел крабов», «много купался», «весело болтал о всякой всячине» с теми «вперецовцами», с которыми совсем недавно в Париже яростно воевал, и ко всему этому «море и морской ветер», которые, оказывается, Ильич очень любил... Видно, и впрямь Порни́к хорошо запомнился Надежде Константиновне! Но где этот Порни́к? Жив ли хотя бы парнишка, сын «громкоголосой прачки»? Сохранился ли домик «таможенного сторожа»? По словам Надежды Константиновны, Ленин провел в этом местечке полных двадцать шесть дней — срок нынешней санаторной путевки (от 1 до 26 августа). И тут начинается неувязка.

«В Порни́к Ильич приехал 1 августа»,— сказано в «Воспоминаниях». Но «летопись», прилагаемая к каждому тому собраний Ильича, говорит другое. Под рубрикой 1910 года там сказано, что в Порни́к Ленин прибыл (или выехал туда из Парижа) 22—23 июля, то есть на 9—10 дней раньше [2]. Куда же делись эти несколько дней? Мне важно было как-то решить этот вопрос для себя, потому что он касался очень существенного момента — дороги. Если ехать из Парижа прямо в Порни́к через Анжер и Нант, то поездка, при разветвленной сети железных дорог во Франции еще полвека назад, заняла бы всего несколько часов. А вот если ехать кружным путем,— кружный путь шел в Бретань через Нормандию и был самым обычным, самым естественным для тури-

[1] Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине. Партиздат, 1933, стр. 162—163.

[2] Счет там и тут идет в одном и том же календарном стиле.

стов, прошлых и настоящих. Посмотреть только один крохотный Порни́к, совсем не типичный для Бретани, и не увидеть таких красочных ее мест, как Кемпер, как сказочный остров Киберон, как центр средневекового корсарства город Сэн-Мало, а попав в Сэн-Мало, не взглянуть на красавицу Нормандию с ее знаменитым на весь мир островком Мон-Сэн-Мишель и столицей Руаном казалось просто невозможным. Решив побывать в Порни́ке и найти там следы Ильича, я страстно хотела ехать туда кружным путем, уверенная, что Ленин потратил лишние дни с 22 июля по 1 августа именно на этот кружный путь. Но данных для такой уверенности у меня не было.

И тут совсем неожиданно мне пришел на помощь собрат по газете «Известия» В. Полторацкий. Чуть ли не перед самым моим отъездом во Францию он отвел меня в сторонку и как-то таинственно шепнул, чтоб я «непременно, непременно побывала в Мон-Сэн-Мишель, отыскала там ресторан «Мать-курочка», а в ресторане спросила альбом посетителей, а в этом альбоме нашла французский автограф Ленина: «Спасибо за вкусную омлетку»,— вот этот автограф заснять бы или выкупить! Сам Полторацкий не видел его, но он сослался на «достовернейшее свидетельство друга». Ничтожный шанс, но если правда, что Ленин побывал в Мон-Сэн-Мишель, значит, он или заехал туда в 1902 году, по дороге из Парижа в Лонгви́, где отдыхал в июне—июле с матерью и Анной Ильиничной; или — как мне очень хотелось верить — по дороге в Порни́к в 1910 году, если ехал туда кружным путем. Я не очень верила в автограф Ленина. Но мне казалось невероятным, чтоб Ильич, вживавшийся в страны и города, где ему приходилось бывать, постоянно искавший близости с простым народом, мог миновать, живя во Франции, такие места, как Вандея, не поглядеть, не прислушаться, не понаблюдать современных вандейцев, какими они стали. И как-то не вязалось с образом Ильича, неутомимого ходока, опытного путешественника, что он так просто сел в поезд и через 5—6 часов был на берегу Атлантического океана, в то время как имел в запасе свободные дни, а вокруг...

Я развернула карту. Большой, изрезанный, как кружевная бахрома, полуостров — с частью Нормандии и

Северной Бретани, омываемой рукавом Атлантического океана Ла-Маншем (там как раз бухточка Лонгви́, где побывал Ильич в 1902 году), и южной Бретанью, изглоданной самим Атлантическим океаном на юге,— лежит в кольце необыкновенно поэтических побережий. Каких только названий не надавали им: «Изумрудный берег», «Берег розового гранита», «Львиный», «Корнуэлльский», «Дикий» и, наконец, «Берег Любви», тот, на котором прикорнул маленький Порни́к.

Быть может, самое интересное в путешествиях по Франции — это наглядное познавание истории. Когда-то на школьной скамье мы заучивали мертвые строки о переселении народов, о Римской империи, захватившей почти всю Европу и всюду понастроившей свои мосты, дороги, театры, о вторжении варваров в эту империю, о германцах и готах, кельтах и саксах, франках и фризах, о войнах между ними, о размежевании Европы среди них, о формировании стран и народов, которые известны нам сейчас — уже не из учебников — как французы и англичане, голландцы и немцы, итальянцы и швейцарцы. Но в путешествии вы вдруг замечаете, что «история» не проходит, а как бы «переходит» подобно тому, как детство человека переходит в его юность, а юность в зрелость, а зрелость в старость, и ребенок еще сохраняется в старике, как юноша в зрелом человеке. Корнуэлльский берег во Франции! Но ведь Корнуэлл есть и в Англии. Это ее название, ее побережье, с концом страны — Ляндс-Энд. Общность названий, сходство в языке, английские имена в нормандских городах,— а сама Англия в двух шагах, через Ла-Манш — и следы ожесточенной, не утихавшей, вспыхивавшей, как из тлеющих углей, борьбы, растянутой на столетия, между этими двумя соседями, Англией и Францией, ненависть ко всему английскому в памятниках Сэн-Мало, в Руане, где англичане сожгли Жанну д'Арк,— родство в произношении, в отдельных словах, в названиях. Историк может прочесть тут о первичных истоках народов, переплетении их, цементировании смешанных событий в легенды, а легенд в традиции, подобно тому, как геолог в пластах пород и в вулканической магме читает историю Земли.

И еще потому интересно ездить по Франции, что вы тут почти не выходите из царства литературы и искусства. Биографии замечательных деятелей, цитаты из них,

черты и жесты их на памятниках, бюстах, барельефах окружают вас почти на каждом шагу. Самые маленькие города любят играть в свои собственные игрушки — модели знаменитых зданий, панорамы знаменитых событий, коллекции местных чудес,— почти всюду есть музеи и музейчики с восковыми фигурами исторических персонажей, приближающих к вам в искусных сценках главные события их жизни. Память не хочет уйти от прошлого, и это длительное, неумирающее, мостообразное восприятие всего того, что происходило с народом века и тысячелетия, постепенно переходит в воображение, в талант мифотворчества.

Уж, разумеется, современные народы, как и античные, не создают и не создавали своих мифов «из ничего»! И еще непременно почувствует турист преобладание над мифом, историей и материальными свидетельствами власти художественного слова. Наверняка три четверти туристов во Франции ничего бы не пережили перед памятниками Жанны д'Арк без вольтеровой и шиллеровой «Орлеанской девы»; перед могучей скульптурой стрелка-отца и мальчика-сына в Альтдорфе или часовенкой Телля, этих чудесных местечек в Швейцарии, если б не «Вильгельм Телль» того же Шиллера, заученный еще в школе; или — перед стертым, облупившимся, старинным фасадом дома Тассо в Сорренто—без гётевского «Торквато Тассо»; а у нас, на родине, в изумительном Угличе,— без пушкинского «Бориса Годунова»...

Но если Владимир Ильич действительно проехал в Бретань кружевным побережьем Нормандии, он вряд ли давал своей памяти увлекаться историей. Надежда Константиновна писала: «поближе стать к французскому движению». Нормандия и Бретань были в прошлом оплотом реакции, французской Вандеей,— и Ленин в поездке, как и всегда, мог жадно интересоваться людьми, народом, злободневной политической современностью. Пытаясь хоть немножко, в меру сил и возможностей, поступать по-ленински, я выехала в этот кружный путь, держа в узде всю свою любовь к прошлому и к памятникам искусства; и, чтоб удержаться от музейного восприятия столицы Нормандии, Руана (а его все гиды зовут городом-музеем), вооружилась последним номером газеты «Париж-Нормандия» и маленьким журнальчиком «Весь Руан» последнего выпуска.

2

Поздняя осень 1966 года — льет без конца дождь, словно серая сетка стоит перед глазами; холодно, выступают из берегов реки, наступает на берега океан, и это всего катастрофичней там, куда мы едем на быстрой французской «симке» (Simca). Пишу «мы», потому что спутник мой, представитель нашего агентства «Новости» в Париже, тоже заинтересован поездкой «по следам Ильича». Мимо, сквозь серую сетку, после выезда из предместья Сен-Клу, мелькают, как дети на параде, карликовые грушевые деревца с огромными, не по росту плодами; висячий туман над Сеной, цементные заводы — Ciments Français — и нескончаемые надписи на стенах: «Мир Вьетнаму!», «Вон, американцы!»

В развернутой и колеблющейся от быстрого движения газете — почти то же самое: антиамериканские манифестации против Джонсона, открытие в Нью-Йорке террористического заговора против коммунистов, запуск нового советского «Спутника» — все это с явно выраженной симпатией к левым политическим силам. Журнальчик «Весь Руан» локальней. В передовице — негодование по адресу тех, кто утверждает, что «Руан — мертвый город». Приезжайте — и выбирайте жизнь по своему вкусу, приглашает журнал. За этим следует длиннейший перечень всего того, что происходит в преддверии зимы 66-го года в столице Нормандии: дюжинами зрелища, концерты, выставки, ярмарки, фильмы, традиционный бал в Руанском университете, возобновление чтений об учении «хата-йога», юбилеи, конференции. Университет объявляет во втором семестре дискуссию «Молодежь нашей нации». Казалось бы, злободневнейшая тема, но в заключение дискуссии обещан фестиваль «об эротике в кино», и фильмы «О любви» и «Моника» Бергмана,— должно быть, чтоб привлечь публику на серьезный доклад.

Еще событие, на этот раз писательское. Общее собрание нормандских писателей, отчеты — финансовый и моральный,— выбор делегатов для поездки на север и юг департамента, шефство над постановкой памятника участнику «Сопротивления» и под конец товарищеский обед в гостинице «Англетерр» — все так похоже на наши собственные писательские дела. И вдруг в этом ма-

леньком местном журнальчике, вряд ли когда-нибудь проникающем за пределы Франции, необычайная хвалебная речь по адресу «изумительного советского фильма «Огненные кони». Тщетно стараемся мы припомнить, какой же это фильм у нас об огненных конях. И наконец находим подлинное его название, звучащее в латинской транскрипции так: «Тент забипих предков». И только ремарка «по роману Коцюбинского» объясняет нам наконец, что речь идет о советском фильме «Тени забытых предков». Вряд ли подозревают скромные украинские постановщики, каких эклог удостоился в Руане их фильм, высоко поднятый даже над «Горящим Парижем», шедшим одновременно с ним. Над рецензией об «Огненных конях» стоят три звездочки и большая буква А (высшая оценка фильма), а в самой рецензии фильм аттестован как «не имеющий себе подобного, не похожий ни на какой другой,— все в нем свет, жизнь, краска — классические данные советской кинематографии,— праздник для глаз и для сердца»[1]. Позднее в Руане я увидела очередь на него перед кассой кино. Руанцы, как и множество простых людей за рубежом, остро отзываются сердцем на тот непроизвольный советский оптимизм (утро века), каким, подчас независимо от воли авторов, пронизаны у нас не только счастливые, но и печальные фильмы; за рубежом оптимизм — вещь дефицитная. Стоило бы над этим задуматься тем спесивым критикам, чужим и своим, кто презрительно клеймит этот оптимизм как нечто «нарочитое» и «официальное».

Пока я перелистывала журнальчик, машина въехала в город-музей — и тут же стоп: в центре останавливаться негде. Мы обошли пешком весь Руан, компактный в своей архитектурной красоте; облазили три его жемчужины: собор Нотр-Дам, церковь Сен-Маклу и аббатство Сент-Уан; дали насладиться глазам старинными нормандскими домишками в деревянных, крест-накрест опоясывающих фасады переплетах, совсем таких, какими любовался Сергей Образцов в шекспировском Стрэтфорде-на-Авоне,— сходство архитектур не случайно, ведь двадцать один год (1066—1087) Руан был столицей Англии.

---

[1] Tout-Rouen. 29 octobre — 11 novembre 1966. P. 50.

От истории, сколько ни вертись, в этом клубке норманно-англо-французского сцепления удержаться было немыслимо. У аббатства Сент-Уан стоит массивная скульптура викинга Роллона, узкая (или кажущаяся узкой) в голове и плечах по сравнению с огромными слоновьими ногами, не ногами — стопами. Упершись ими в землю, он туда же, вниз, показывает толстым указательным пальцем: «Здесь мы останемся, господа и сеньоры». Всё языческое, римское в Руане начисто смело в девятом веке норманнское завоевание. Потом пришли англичане.

Лет пятьдесят назад у нас часто ставили оперу «Роберт-дьявол». Эту оперу, как и старый балет «Корсар», недавно возобновленный в ленинградском Малом оперном, пришлось мне добром помянуть в Руане. Честно говоря, она была причиной того, что я не оказалась полной невеждой, а уже была подготовлена к тому, что был такой Роберт-дьявол, а «корсары» — вовсе не разбойники, не пираты, а нечто вроде партизан средневековья... В пятнадцати километрах от Руана стоит реставрированный замок Роберта-дьявола, личности вполне исторической, занявшей в истории Франции большое место: встретив красивую деревенскую прачку Арлетту, он прижил с ней сына, сперва называвшегося Вильгельм-Бастард, а потом получившего другое имя: Вильгельм-Завоеватель. О Вильгельме-Завоевателе трудно не знать, он неистребимо входит во все учебники. Это он, завоевав Англию, на двадцать один год сделал Руан английской столицей. Но если одна французская крестьяночка, Арлетта, была косвенной причиной хозяйничанья англичан во Франции, другая французская девушка, Жанна из деревни Домреми в Лоррэни, помогла выгнать англичан из Франции. И за это в Руане, на площади Старого Рынка, англичане ее сожгли.

Мы пришли на площадь Старого Рынка уже порядком усталые. Площадь узкая — не развернуться, пожалуй, двум грузовикам. И на ней небольшой квадрат, опоясанный низенькой оградой. Просто квадрат, отличающийся от земли тем, что он покрыт чистым золотом, и чья-нибудь любящая рука всегда сменяет на нем простенький букет полевых цветов. Здесь была сожжена Жанна д'Арк. Возле стены подальше — ее памятник, маловыразительный и как-то модернистски вытянутый

в длину. А на углу — музей, который очень стоит посетить. Может быть, и наивный он и непритязательный, но есть вещи и минуты, когда хорошо почувствовать себя ребенком. Излюбленные восковые фигуры, так часто встречаемые в музейчиках Европы, обычно бездарны, и смотреть их неприятно. Здесь это не так. В глубоких нишах вдоль зигзагов темного коридора музея представлены сценки из жизни Жанны. Сперва она пастушкой в Домреми слышит «глас божий». приказывающий спасти родину; потом — последовательные этапы ее удивительного подвига во главе французского войска, в окружении народа; потом тюрьма — допрос — сожжение; и может быть, потому, что фигуры вылеплены не броско, краски не ярки, видимы они из глубины ниш, из темноты, откуда их выхватывает скупой сноп света, они производят сильное впечатление и на детей и на взрослых. С детским интересом рассматриваете вы и кукольную модель старого города Руана — тесно прижатые друг к другу треугольники домов, по-нормандски переплетенных деревяиными поясками и окружающих знакомую площадь Старого Рынка, какой она была 30 мая 1431 года, когда на ней сожгли Жанну. Пятьсот тридцать пять лет назад! Какое еще событие подобной давности может так взволновать человека?

Нам в нашей поездке осенью 1966 года вообще посчастливилось на круглые даты: за четыре месяца до нашего приезда руанцы отмечали 360-летний юбилей Пьера Корнеля, отца французской драматургии, родившегося в Руане, а через месяц после нашего посещения руанцы отметят 145-летний юбилей другого великого земляка, Густава Флобера. Оперный сезон открывается здесь третьим руанцем, современником Корнеля,— композитором Буальдьё, автором оперы «Белая дама». Дни смертей не считаются юбилейными, но все же удивительно, что ровно пятьдесят лет назад, чуть ли не день в день, в ноябре 1916 года, на руанском вокзале скончался Верхарн, хоть и не руанец, но влюбленный в Руан поэт. С такими традициями не мудрено местным нормандским писателям собраться в союз и проявлять необыкновенную активность. Сохранились и загородный павильон на берегу Сены, разделившей Руан на две части,— в этом павильоне Флобер писал «Мадам Бовари»; и старинное поместье Корнеля,— очень похожее своим общим обли-

ком на Стрэтфорд,— где создавался «Сид». Охватить все это в несколько часов пешего хождения сделалось бы уже не наслаждением, а мукой. И мы поплелись напоследок в сумрак собора, где не было службы, и сели на скамью передохнуть.

Эти скамьи с пюпитрами, куда кладут молитвенники, и с приступочкой, чтоб опускаться на колени, белели в темноте множеством белых конвертов. Лишая какого-то верующего его достояния, мы взяли один конверт на память и уже в машине открыли его. В нем был листок с печатным текстом. Члены руанской диосезы приглашались помочь построить в новых городах департамента 24 церкви, «чтоб удовлетворить потребность горожан, утвердить среди них присутствие церкви, воспитать новое поколение верующих». На постройку недоставало девяти миллионов новых франков (после денежной реформы здесь всегда прибавляют «новых»). И кончалось воззвание литературной фразой: «Без церкви чего-то лишена жизнь человеческая».

Как всегда к концу дня, мы ехали из Руана молча. Мы ехали дальше, к океану, и на каждом шагу нам стали попадаться следы наводнения, о котором в те дни без конца писали газеты. Сама дорога не была затоплена (в Париже нас пугали, что не доберемся), но на полях, по обе ее стороны, серебрились язычки воды, которыми океан словно влизывался в сушу. Воздух был полон стоячими капельками влаги, осаждавшимися на стекла. Видеть уже ничего не хотелось, и местечко Понтерсон, для француза звучащее целым миром воспоминаний о рыцарях-феодалах и Столетней войне, для нас попросту было местом ночевки в очень скромной и почему-то очень дорогой дорожной гостинице.

3

Сейчас, когда я пишу эти строки, Мон-Сэн-Мишель осаждается тысячами, десятками тысяч приезжих. Снимки во французских газетах показывают такие скопища машин на дорогах к нему, что они кажутся нашествием саранчи. Не потому, что сезон (Мон-Сэн-Мишель — одно из европейских чудес для туристов),— сезона еще нет, март месяц, а потому что пролив Ла-Манш внезапно

ушел. Он ушел очень далеко от берега, обнаружив дно на 15 метров в глубину, со всеми его чудесами — затопленным когда-то судном, океанической флорой и фауной. Археологи, зоологи, ботаники ринулись изучать все это, покуда океан не вернулся. А с ними примчались любопытные, чтоб посуху, пешечком, минуя дамбу, со всех сторон прогуляться к монастырю-крепости.

Мы же четыре месяца назад были в совсем другом положении. Ла-Манш тогда не ушел, а чересчур нахлынул на берег. Газеты писали об угрозе наводнения по всему северу Франции. Понтерсону, правда, ничего не грозило, но в гостинице все было сыровато и, как мне показалось, солоновато: постельное белье, скатерть, оконная занавеска. В гостинице, кроме нас, никого не было, и по дороге машин тоже не было. При всем утомлении я спать не могла — мне предстояло искать первый след Ильича. О Мон-Сэн-Мишель — Горé святого Михаила — я ничего не знала, кроме того, что это гранитный остров на океане, очень почитаемый верующими. К нему ведет с берега искусственная дамба, но в церковные праздники целые толпы паломников бредут туда по мелководью пешком, по колено в воде, обвязавшись для безопасности веревками. Монастырь на скале в оны времена монахи превратили в крепость и стойко защищали его от англичан. Все это было отчасти похоже на нашу подмосковную Троице-Сергиевскую обитель, тоже прославленную патриотическим подвигом в прошлом. Но при чем тут ресторан «Мать-курочка»?

От утомления, а может, и от волнения я не могла заснуть. Утром сквозь занавеску пробилось ослепительное солнце, и когда мы выехали, все от него сверкало: асфальт, росинки на траве, листья. Впереди ничего видно не было, кроме очень прямой пустынной дороги,— ни Ла-Манша, ни острова. Я все спрашивала: где океан? Где Мон-Сэн-Мишель? А дорога все шла и шла меж рядами деревьев, по скучной низменности без всяких «видов», тупо упираясь в горизонт. И вдруг горизонт словно опал. В одну секунду во всю ширину раздвинулось громадное величие океана. А в центре его, чудесно очерченный, невероятный, немыслимый треугольник, пронзающий верхним шпилем небо и ступенчато спускающийся к более широкому основанию,— остров, ни на что не похожий, может быть, на сказку раннего детства про «чудо-юдо

рыбу кит», на которой стоит со всеми куполами и колокольнями престольный град.

Это так неожиданно-прекрасно по своей четкости и неправдоподобию, что описать невозможно. Ни единой полутени, все графично, вычерчено, как рейсфедером, на эмалевой голубизне неба, на зеленоватой синеве океана. Машина уже ехала по мокрой дамбе, почти вровень с тихой водой. И вот мы внизу, на каменной площади, откуда начинается «восход» к монастырю-крепости, тысячи ступеней в стенах с бойницами, с площадками, овеваемыми ветром. Соленый ветер рвет волосы...

Впрочем, все это было еще впереди, а внизу, на первой узкой уличке острова, мы попали в ярмарочную слободу, точь-в-точь такую, какая в царское время окружала Троице-Сергиевскую лавру. Справа и слева шли лавчонки, прилавки, витрины с кучей всяких сувениров, петушков-шантеклеров, фигурок, картинок, ковров, значков, деревянной резьбы, нормандской керамики. Эта знаменитая сине-белая керамика на самом деле прекрасна, но ее кру́жки, кувшинчики, тарелки пестрели надписями, а надписи поразили нас — в этом культовом месте — своей крепкой похабщиной. Тут был французский площадной хохот, хохот Рабле. Самую скромную из этих надписей под женским круглым, как барабан, лицом — «Elle fait la musique sur son dot» — во всей ее двусмысленности я не решилась бы перевести для читателя на русский язык. Мы зашли в исторический музейчик Мон-Сэн-Мишеля — он мог бы рассказать нам интереснейшие вещи, мог бы опять напомнить о Жанне д'Арк, для которой «глас божий» олицетворен был «святым Михаилом» этого самого монастыря. Мог бы поведать о монастырском предателе, аббате Жоливѐ (в каждой исторической трагедии, как в «Отелло», непременно есть свой Яго!), не только продавшем монастырь англичанам в самый разгар войны, но и принявшем потом участие в сожжении Жанны. Мог бы... но ничего этого мы не услышали. Сторож-гид ждал со скукой, пока мы не наберемся группой, а это по малолюдью длилось долго, а потом тащил нас по темным комнатам, жалея зажигать свет, и едва плел что-то вполголоса.

Мы вышли оттуда с другого хода, так и не разобрав ничего, но зато сразу попали на блинный запах. Национальное нормандское блюдо, сладкие блины «crêpe» пеклись

прямо снаружи, на горячих сковородках. И вдруг в углублении, над дверью я увидела нечто, заставившее меня забыть и музей, и керамику, и весь остров. Там была вывеска. На вывеске стояло: ресторан «Мать-пулярка» — пулярка, то есть упитанная курочка, курочка первый сорт, какую продавали в Москве, на Охотном рынке, до революции кухаркам богатых хозяев. Но дверь в ресторан оказалась наглухо запертой. Мы стали расспрашивать: «Где хозяева?» — «Они уехали на зиму».— «Можно их адрес?» — «Не известен их адрес...» Ресторан упирался в скалу, другого хода в него не было. Он был заперт, заперт безнадежно, и с ним заперт альбом для посетителей. Расспрашивая и роясь в каталогах, мы узнали, что «Мать-курочка» на весь мир знаменита своими омлетками. Был ли ресторан здесь в 1910 году? — Даже раньше был. «Мать-курочка» тут с незапамятных времен...

Что же принес для моих поисков Мон-Сэн-Мишель? Ни альбома, ни автографа Ленина повидать не удалось. Это не значит, что их не было. Но трудно допустить, чтоб записи посетителей за полвека уместились в одну тетрадь. Или — еще труднее — чтоб любопытным гостям показывали десятки или сотни тетрадей. Однако же «Мать-курочка» существует, прописана во всех гидах, знакома тут всем и каждому, а главное — существовала с незапамятных времен и на всю Францию славилась омлетками. Значит, это не выдумано. И, наконец, неизвестно, когда, в каком году таинственный «очевидец» видел этот автограф в альбоме «Матери-курочки», может быть, и не так отдаленно от 1910 года?..

Пора было ехать дальше. И все же я повесила нос, как бывает при первой неудаче. Мы опять миновали дамбу и повернули направо, покидая Нормандию для Бретани. Вдоль шоссе стелились затопленные поля. Проносились деревья в позе приседающих танцоров; их кроны, все до одной, были согнуты в одну сторону, как веники, под действием ветра с Ла-Манша. На каждом шагу — в названиях, в архитектуре — мы снова подмечали яркое сходство со староанглийским. Особенно в архитектуре. Если Руан показал нам лишь несколько старинных домиков, переплетенных темными деревянными планками крест-накрест, как в Стрэтфорде, то сейчас все встречные деревушки пестрели этими домиками-зебрами и особенно характерными трубами, когда-то поразившими меня в Анг-

лии: одна толстая, круглая поднимается высоко-высоко над крышей, а на ее верхушке, как ладонь с пятерней, рядком торчат несколько тонких дымоходиков, подобно растопыренным пальцам. И профиль у домиков какой-то бутылочный, словно приставлена им сбоку, наполовину разрезанная вдоль, гигантская бутыль с квадратным, выпирающим вбок туловищем и длинным жирафоподобным горлышком. Кривой этот, «бутылочный», профиль преследовал нас, пока вдруг сразу нормандская деревня не сменилась бретонской, и тут все пошло другое: современные домики, обязательно выложенные темным (темнее, чем белые стены) кирпичом, как узорной инкрустацией, вокруг окон, вокруг дверей, по ребрам углов — в шахматном порядке или елочками.

Мы опять примчались к «рукаву» океана. Мы въехали в бывшую столицу корсаров, Сэн-Мало, и, бросив машину, бегом пустились на пляж. В Мон-Сэн-Мишель нам не удалось побродить по самому берегу, подышать соленой океанской волной, и захотелось хоть тут, в Сэн-Мало, вознаградить себя. Но пляжа в нашем понимании и тут не было, а были камни, мощенная камнями площадь, ведущая к воде, огромные каменные руины бастионов, каменные крепостные башни, камень стен, облепленных скользкой, мокрой зеленью времени, камень, камень, целые громады камня, в одиночку много раз противостоявшего набегам английского флота. Это о камни Сэн-Мало, в бессилии глядя на них, тщетно бился Мальбрук, Marllborough, быть может, тот самый, о постыдном походе которого сложена у нас песенка. Со своим двенадцатитысячным войском он бесплодно покрутился, поджег коечто и отплыл восвояси.

Жители этого «города камней» заслужили в книгах историков и в обиходе такое родовое (по городу) название, с каким не может соперничать чисто территориальное или, во всяком случае, ограниченное личной какой-то городской особенностью, прозванье жителей Парижа — парижанами, Руана — руанцами. Их кличка «малоинцы», или «малоэнцы», смахивает на что-то племенное, что-то национальное. И у Сэн-Мало обособленная, самостоятельная история. У них был особый, частный флот, суда которого назывались «корсары». Эти «корсары» имели охранные грамоты от французских королей, разрешавшие им во время войны под собственным команд-

ванием нападать на вражеские корабли, грабить их и топить. По сути дела, и корабль, на котором капитаном был молодой Дантес, будущий граф Монте-Кристо, был потомком тех же «корсаров». С кораблей название перешло на моряков. Я назвала их выше «партизанами средневековья». На европейский лад, по-своему, они ими и были. Но партизаны-корсары-малоэнцы в чем-то, где-то, даже в этом своем широком звучании городского прозвища, были, на мой взгляд, братски близкими другим могучим жителям крепости-порта — генуэзцам. И если генуэзец Христофор Колумб открыл Америку, то малоэнец Жак Картье «открыл» Канаду после Кабо. В 1535 или 1536 году он со своей флотилией из трех кораблей достиг «новой земли», завладел горой, которую в честь французского короля Франсуа Первого назвал «Королевской горой» — Mont Royal, а впоследствии «ройяль» (королевский) заменили звучащим более практично «реаль» — так возникла столица Канады, теперешний Монреаль. Где-то я прочитала во французских газетах, что к предстоящей Всемирной выставке в Монреале руанцы и малоэнцы льют у себя на фабрике что-то вроде стопудовой свечи, которая будет зажжена в честь Картье в таком же гигантском подсвечнике над выставкой. Дух авантюры, предпринимательства, «генуэзский дух» веет в Сэн-Мало. Есть такое ребячливое свойство у человека: не успеешь что-либо узнать сам, как тут же хочется поделиться этим с другими людьми, чуть ли не лекцию прочесть, пока горит на языке и увлекает тебя только что узнанное. Кажется, нигде в мире так сильно не пробуждалось во мне это ребячье свойство, как именно здесь, в каменном Сэн-Мало.

Мы вперебежку облазили все места, куда между камней добегала волна, добрались до берега, где в промежутках между набегом волн мальчишки шныряли за раковинами, подвернув штаны. Холодный ноябрьский ветер брызгами обдавал нас, а я все это время представляла себе, как бы, будучи гидом, повела советскую экскурсию по Сэн-Мало.

Конечно, следовало обойти все башни, щегольнуть их названиями, повести в музей, но все это есть в путеводителях, а я бы начала с «Баскервильской собаки». Я бы сказала, что Конан Дойль, наверное, придумал свою тему под впечатлением Сэн-Мало. «Собачья стража» — это

бретоно-нормандская традиция, почти миф,— устрашающая ночная легенда, которой малоэнцы в ужас приводили англичан. На страже крепости они держали огромных одичало-худых догов, и эти доги днем сидели на цепи в специальной собачьей нише. Но наступала ночь. Мародеры, тайные пролазы, морские хищники, шпионы английского короля, подплывавшие к каменной крепости разведчики — все они, леденея от страха, удирали от призрачной гигантской собаки, спущенной ночью с цепи. Утром собак сзывали особым рожком, и огромные доги с красными, свисающими из пасти языками после ночной охоты за человеком сбегались опять к своей нише, где получали корм и цепь на шею.

«Собачью стражу» завели себе по примеру Сэн-Мало и в крепости Мон-Сэн-Мишель. Видение огненного баскервильского пса имело, мне кажется, исторические корни в английском ужасе перед догами Сэн-Мало.

Показав туристам угрюмую собачью нишу, я бы повела их к памятнику Шатобриану. В далекой моей юности, на школьной скамье, я читала патетические страницы книги, которую сейчас назвала бы ультрареакционной: «Гений христианства» Ренэ де Шатобриана. Наша француженка задавала их нам заучивать наизусть. До последних лет я была убеждена в сугубой реакционности Шатобриана. Но узнав, что он малоэнец, родился в Сэн-Мало, имела терпение снова за него взяться, особенно за «Мемуары», целиком опубликованные посмертно. И нашла в них захватывающие страницы о Наполеоне... Этот «белый эмигрант», после Французской революции служивший отвратительным последышам Бурбонов, вздыхал в тайных своих мемуарах («Мемуары из-за гроба») по вольному ветру родного корсарского океана, признаваясь себе в чем-то, похожем на понимание революции. И о каменной своей родине, об этом страшном в своих развалинах (Remparts) — авантюрном корсарском Сэн-Мало,— он сказал нежнейшие слова, удивительные по женственной мягкости устарелого французского языка:

Combien j'ai douce souvenance
Du joli lieux de ma naissance!

(Какое нежное воспоминанье
Я храню о красивом месте моего
рождения!)

Советские туристы, может, и рассердились бы на меня за то, что я всюду пристегиваю литературу и умаляю историю, но что такое история без художественного образа, сближающего ее с современностью?

Когда заполняешь каждую единицу времени глубокими впечатлениями, оно неизмеримо удлиняется. Это мы заметили по себе. Вот уже Мон-Сэн-Мишель [1] и Сэн-Мало позади, а нам все мало, все хочется еще и еще. И мы, не чувствуя усталости, забыв про ноябрь, решаем из Сэн-Мало прямо по диагонали промчаться с берега Ла-Манша («рукав» Атлантического океана) на берег самого океана и успеть повидать до завтра легендарный Киберон и корнуэлльский берег.

Французский Корнуэлль, особенно на «Диком берегу», своими скалами и бухточками похож на английский. Бретонцы, как и английские корнуэлльцы, говорят на одном и том же языке (или диалекте) — корнуэлльском. Я надеялась поближе присмотреться к самому типу людей, к архитектуре домов, чтобы уловить еще сходства. Но времени, которого, казалось, было у нас в избытке, хватило лишь на переезд без остановок с одного берега на другой. В ноябре темнеет рано. В темноте мы пронеслись через город Ванн, где будем ночевать, и заспешили к острову,— верней, полуострову, узенькому клочку земли,— Киберону, о котором наслышались в Париже чудес. Есть в Англии на самом ее корнуэлльском кончике мыс Ляндс-Энд, «конец страны». Летом все его ложбины покрыты палатками туристов. Дикий ветер рвет их полотнища. Узкий мыс, вонзающийся в океан, словно зубами ощерился,— торчат из воды клыки скал, разбиваются о них пеной волны, спускаешься к берегу головоломными тропками, и кажется, тут всегда пронзающе холодно. Таким же хаосом каменных нагромождений открывается и корнуэлльский берег Франции.

Но погулять и увидеть все это поближе не удалось. Киберон показался нам совершенно плоским, чуть ли не в уровень с водой, или въезд в него был с плоской сто-

---

[1] Кстати, недавно я прочла в «Литературной газете», как один из наших писателей разделался с этой исторической святыней французского народа, назвав ее коротенько по-панибратски «Сэн-Мишель» и заметив мимоходом, что это крохотный городок на маленьком островке.

роны. Зимой, да еще ночью, мы въехали в странные, мертвые улицы, лишь в двух-трех окнах слабо светившиеся. Мы прошли по набережной, в которую плескались, как рыбы в ночной игре, мелкие волны, чуть ли не хватая нас за ноги. Воздух был — не надышишься, соленый, пропитанный йодом, льдистый. В этой сплошной пустыне, где магазинчики глухо заколочены, машин, кроме нашей, ни одной, прохожих нет, и нет звука шагов, да и других звуков, кроме шлепанья мелких волн о набережную, в этой мертвой пустыне глаза наши с трудом нащупали полуосвещенное, жалкое на вид, кафе под вывеской «Gare de la Bretagne» с полуоткрытой дверью. Вошли в него и порядком удивили хозяйку за стойкой,— молча она подала нам чашечки с густым, настоящим кофе, какого во Франции редко где выпьешь. Какие-то киберонцы в рыбачьих, в толстую клетку гарусных свитерах, облокотясь на стойку, лениво тянули винцо. В соседней комнате несколько парней развлекалось у автомата с прыгающими шариками, а две пары равнодушно танцевали под хриплую граммофонную пластинку.

И все-таки было странно хорошо, поэтически хорошо. Живут люди прямо в обнимку с океаном, каждую секунду готовым слизнуть их мысик, живут, должно быть, заработком летнего туризма, обслуживания чужих людей, а зимой вот так, в скуке и равнодушии, проживают этот заработок, неизвестно для чего оставаясь в пустом, мертвом городе... Впрочем, возможно, все это показалось нам, как сон снится. Едва отогревшись, мы опять вышли в город. Звук изменился: вместо шлепанья волн мы услышали отдаленный гул, очень солидный, полный осуждения,— это громадиной надвигался на нас океан, гудя, как обозленный гигантский жук, даже страшно стало. Обидели мы, наверное, своими невежественными мыслями и Киберон и киберонцев.

Вернувшись в Ванн, мы заночевали в первой попавшейся гостинице, которую и разглядеть не успели, а наутро я проснулась с чувством невыносимой тяжести — так бывает, когда знаешь, что вся твоя вчерашняя работа пойдет в корзину. Я понимала, легендарный Киберон не может быть плоским куском земли с единственным кафе. Чего-то мы вчера нахалтурили. И недаром гудел разозленный океан. Чего-то мы «недоучли», как

любил иронически поговаривать Зощенко. Было еще темно. Внизу под комнатой двигался хозяин, готовил нам завтрак — настругaнное завитушками масло, джем в баночке, хлебцы — хлебцев еще не принесли из булочной, и противный, пахнувший мылом кофе тоже еще не вскипел. Я выбралась тихонько на улицу, должно быть, далекую от центра Ванна, и села в скверике на скамью, мокрую от осенней хляби.

В руках у меня были толстые и тонкие брошюрки о Бретани, закупленные по пути, и я стала делать то, что надо бы сделать раньше: разыскивать в них Киберон. Позор обрушился на мою старую голову! Мы проморгали изумительные вещи! Во-первых, и въехали только на самую первую пядь земли Киберона, зашли в первое привокзальное кафе, где хозяйка, должно быть, угостила нас тем, что сама для себя сварила, оттого и показалось непохожим на обычную бурду в дешевых французских кофейнях. И «туристский заработок» у рыбаков! Да эти рыбаки налавливают на Кибероне сардины чуть ли не на всю Францию. И если б дело было днем, я могла бы побывать в удивительнейшем научно-лечебном институте, который французы окрестили, должно быть, из уважения к океану, даже не латинским, а греческим именем моря — институт «Таллясса» (или Таллята?) — терапии, терапии водой океана, излечивающей артрозы, артриты и ревматизмы. Изгоняющей солью соль! За двенадцать километров от места, где мы вчера повертелись, был знаменитый «Дикий берег», нагромождение скал, утесов, лабиринтов, пещер и других чудес, для которых имеются специальные проводники. Еще что? Еще — и тут я совсем расстроилась,— еще Вандея.

Описание в гидах и брошюрах стало вдруг патетическим. И мне вспомнился наш Крым. Должно быть, как в Крыму при Врангеле, сюда, на Киберон, в 1795 году, удирая от революции, сбежались тысячи роялистов, чтоб погрузиться на суда, которые их вывезут в Англию. Вот они ждут, ждут на Кибероне, а океан, который почтен здесь греческим словом «Таллята»,— встал и не дает подойти кораблям к острову, а лодкам к кораблю. И все роялисты были захвачены войсками Конвента и расстреляны частью на Кибероне (там мы могли бы увидеть памятник на месте расстрела), частью в Ванне. В Ванне

при этом в назидание республиканским потомкам приводится в гидах вандейский образец мужества: когда расстреливали группу роялистов с завязанными на спине руками, один из них попросил солдата снять с него шляпу, чтобы смотреть смерти в глаза. Но не успел еще тот исполнить его просьбу, как сосед-вандеец крикнул: «Не смей его касаться, ты не достоин!» — и, подпрыгнув, зубами сорвал с товарища шляпу. Как-то странно в современной Франции читать в бретонских брошюрках эти восхваленья геройства вандейцев.

Я все сидела и читала, забыв про завтрак. Я читала про историю Бретани, как она боролась в веках за свою самостоятельность, как добилась ее и была отдельным государством со своими герцогами и как присоединил ее к Франции не сам бретонский народ, а династический жест: бретонская принцесса, выходя замуж за французского короля, «подарила» свою Бретань наследному французскому принцу. Вот, может быть, тут в поддержку классовых интересов примешивалась и доля национальной «самостийности» Бретани, когда Вандея ощетинилась оружием против революционных войск Конвента? И может быть, тут и припрятаны корешки той горьковатой, соленой насмешки, с какой французские поэты посмеивались над самым бретонским из всей Бретани городом Кемпером, который мы пропустили в своем путешествии? Баснописец Лафонтен в «морали» одной своей издевательской басни над Кемпером восклицает: «Упаси боже от поездки туда!», а другой поэт и философ, Вольтер, сказал о знаменитом бретонском критике Жане Фрероне, ядовитейшем на язык уроженце Кемпера, свои четыре строки, которым потом много раз подражали в аналогичных случаях:

> L'autre jour, au fond d'un vallon,
> Un serpent mordi Jean Fréron:
> Que pensez-vous qu'il arriva?
> Ce fut le serpent qui créva.
>
> (Однажды, в глубокой долине
> Змеей был укушен Фрерон.
> Что, думаете, случилось?
> Околела змея, не он).

За завтраком к моему унижению хозяин прибавил еще и от себя малую толику. Сев с нами за стол и узнав

о нашем летучем посещении Киберона, он сокрушенно покачал головой: значит, и на Белль-Иль не попали?

На Белль-Иль («Красивый остров») мы, разумеется, не попали, туда надо ехать катером с Киберона, и днем, а не ночью.

«Pitié» — жаль! — сказал он несколько свысока.— Вы там, в Москве, может, читали «Три мушкетера»? Слышали о д'Артаньяне? Знаменитый Фукэ, министр финансов Людовика Четырнадцатого, купил этот остров на уворованное золото. Там есть что посмотреть. Построил укрепленья, завел свой флот, обеспечил себе, одним словом, старость (хозяин по-военному сказал «retraite» — отступление). Но не тут-то было. Д'Артаньян сцапал его в Нанте, и пришел ворюге конец».

Возвращаться опять на Киберон и съездить оттуда на Белль-Иль, как он нам посоветовал, мы не могли. В этот день нам предстояло увидеть наконец предельную цель моей поездки — курорт Порни́к. И увидеть со свежими силами, не на закате, а в первую половину дня, чтоб остаться там до темноты. Единственное, что мы могли себе позволить,— это поскорей покончить с завтраком, заехать по дороге в Нант и посмотреть бретонский этнографический музей, способный хоть отчасти возместить нам тот красочный Кемпер, которого мы так и не повидали.

4

На полпути между Ванном и Нантом мы еще раз нюхнули воды, на этот раз речной. Небольшая с виду река устроила такое наводнение, что затопила окрестности и наплескалась вдоволь на дорогу. Зовут эту реку именем, видно, данным ей по горькому опыту веков: «Vilaine», а по-русски: «Подлюга».

Нант — большой индустриальный центр с портом на Луаре. Он был некогда столицей Бретани, а сейчас очень осовременился, застроился новейшими домами, вплоть до Ле Корбюзье, и чем-то при нашем первом беглом осмотре напомнил мне Милан. Мы быстро привыкаем к сочетанью старины и модерна в европейских городах, но трудней привыкнуть в них к неожиданной тяжести и великаньим квадратным размерам, словно ящик поставили на муравьиной куче, так называемых «замков»

пятнадцатого века, нарушающих всякое представление о связи или гармонии городских частей. В Милане такой квадратный «замок-дворец» с высоченными, мощной кладки стенами, проходными дворами, зубцами, башнями сразу делает современные улицы вокруг неуместно хрупкими. В Нанте этот ренессансный замок гораздо видней, чем в Милане, он сидит со своими двумя круглыми толстыми башнями у входа, в самом центре города и при этом «действует»: ров по-настоящему заполнен водой, мост через него поднимается и опускается, и вот что еще мы видели собственными глазами: когда пробил час закрытия (в замке размещены музеи) и нас «попросили» с его обширного, сыровато-зелено-осклизлого двора выйти вон из ворот, сторож поднял, буквально поднял огромнейший ключ, чуть ли не в одну треть его самого, и запер им за нами чугунные ворота. Неужели ключу свыше четырехсот лет и столько же замочной скважине? Или его искусственно возобновляют из музейных соображений?

В Нанте много замечательных скульптур и картин, для которых стоит пойти в музей, например, знаменитая «Мадам де Сеннон» Энгра — красавица в красном бархате спиной к зеркалу, с тусклым отражением ее спины в зеркале,— одно из классических чудес живописной техники. Но мы туда не пошли, как не смотрели и знаменитую гробницу короля Франсуа Второго в соборе святого Петра. Мы сразу же побежали по мосту через ров в замок, где находится бретонский этнографический, или, как он называется, Народный музей. Залы в нем названы по буквам, и этих зал чуть ли не столько же, сколько букв в алфавите. Но зато посетителей, кроме нас,— никого. Разгуливавший без всякого дела черноусый бретонец-гид разговорился с нами и тут же рассказал всю свою подноготную. Он—торговый моряк, служил в Нанте на торговом корабле, но пришли немцы и все корабли в Нанте пожгли, а его отправили в лагерь неподалеку от Польши. Из лагеря он удрал, бежал в Польшу, приютила его польская семья—оказались партизаны. Они его переправили к русским. Служил, по его словам, «санитаром в госпитале у маршала Тимошенко в Бронницах», подучился русскому, а после войны вернулся в Нант. Все это он говорил привычным, сочиненным голосом. Я попросила его расписаться в моем блокноте, и «бывший сани-

тар у маршала Тимошенко» что-то уж очень медленно, после раздумья, расписался: «Fernand Juilband». Но, кроме сомнительной биографии, он показал нам в музее кое-что интересное. Мы увидели тут бретонские домики с инкрустацией светлого фасада темными кирпичами, выложенными елочкой на углах стен, вокруг окон, вокруг дверей; предметы обихода и кустарной промышленности старого Кемпера — прялки с колесом, все виды плетенья из соломы — блюда, коврики; во всех видах дерево — шкафы, посуда, деревянная кровать, она же сундук с расходящимися стенками, и, наконец, жилая комната крестьянского бретонского дома с восковыми фигурами в национальных одеждах. Меня всегда удивляло наше выражение «заламывать шляпу». Откуда оно взялось, для чего нужно и как нужно шляпу на голове «заламывать»? Только в бретонском музее процедура эта оказалась осмысленной, точь-в-точь как перемена флагов на корабельных мачтах.

Несколько мужских восковых фигур бретонских крестьян стояли и сидели в комнате с черными фетровыми шляпами на головах. У того, кто сидел за столом перед миской, поля его шляпы были подвернуты (заломлены) с боков, справа и слева, как трубки. Другой, постарше, стоял с подвернутым кверху передним бортом шляпы, открывшим ему лоб. А третий, наоборот, с заломленным кверху задним бортом, обнажившим затылок. Оказывается, все это неспроста, а строго по семейному положению. Заламывать сбоку оба борта имели право только женатые; заламывать шляпу спереди — вдовцы; а сзади — холостяки... Но в целом — и торфяные разработки, и выкуривание соли из океана, и глиняный круг для посуды, и деревянный ткацкий станок ничем особенным, узкоспециальным от старинного обихода других народов как будто не отличались и чем-то даже напомнили мне сходный музей в Эстонии.

И вот наступила минута, ради которой начата была моя поездка. Порни́к! От Нанта до Порни́ка — рукой подать, а день еще только начался, и весь он целиком может быть отдан на розыски. Но кроме того, что Надежда Константиновна с матерью и впередовцами, Костицыными и Саввушкой, «решили перебраться в Порни́к и кормиться там сообща», а сама Крупская наняла, в ожидании Владимира Ильича, «две комнатушки у таможенного

сторожа»,— я ровно ничего не знала. Ни где эти две комнатушки, ни в каком они доме, и сохранился ли дом, и у кого начать о них спрашивать. С августа 1910 года прошло целых 56 лет и две мировых войны. В Москве нигде никаких подробностей о пребывании Ленина в Порнике, кроме странички воспоминаний Надежды Константиновны, узнать не удалось. Наши люди в Париже тоже ничего не знали и, кажется, даже не побывали в Порнике, по крайней мере в самом Порнике следов от их посещения не осталось. И все же я как-то твердо была уверена, что найду эти «две комнатушки у таможенного сторожа», и еще была уверена, что идти спрашивать надо не в полицию или в архивы, а в народ.

Теплый след Ильича, его личности, его дела не мог не остаться жить в народе, вот только нужно было решить, кого из народа первого взять за рукав и начать спрашивать. Но две вехи для поисков я сразу же установила. «Сообща питаться»... Питание на летнем отдыхе страшная вещь — по труду, какой нужно на него затрачивать. Конечно, главную заботу приняла на себя мать Надежды Константиновны. И тут на помощь ей во Франции должна была прийти благословенная лавка, именуемая «шаркютери» (Charcuterie). В словарях ее, как и подобную ей, итальянскую «салумерию» (Salumeria), переводят словом «Колбасная». Но и колбасные и гастрономы ни в какое сравнение с ними не идут. Это необычайно многогранные по ассортименту скопления всего жареного, вареного, печеного, изготовленного с гарнирами и соусами,— чего только душа пожелает; и домашние хозяйки могут найти там очень дешевые готовые блюда. В шаркютери маленьких местечек вроде Порника должны знать всех жителей, кто чем дышит и на что способен; в шаркютери могут легко указать стариков, помнивших, что было в их городе полвека назад. И шаркютери я приняла за первую «веху». Второй «вехой» была территориальная: таможня. Ясно, что таможенные служащие не могли селиться за тридевять земель от места своей службы, а старались быть поближе к нему. В приподнятом настроении, счастливая, словно еду на свидание с Ильичем, я уселась в «симку». Мы решили с моим попутчиком в Нанте не есть и ничего съестного не покупать, а заехать за провизией в Порнике в первую же шаркютери.

Мягкой ложбинкой, вдоль небольшой веселой речки пошла наша дорога все вниз, вниз к океану, окрашенная скупым, но все же солнцем, вдруг матово поплывшим над нами сквозь сеть облаков. Этой дорогой неминуемо должен был ехать Ильич, теперь уж наверняка мы двигались по его следам. От волнения и счастья близости к нему все казалось вокруг необычайно милым, приветливым, ушедшим от времени. Нас никто не обгонял, и мы никого. Было по-зимнему пусто, воздух все свежел и свежел, сквозь окно доносился соленый ветер океана, и мы незаметно въехали в Порни́к, очень простой и скромный город, а наша речуга вдруг обрела набережную. И на этой набережной необычайно нарядно в лучах солнца засияла большая зеркальная витрина. В ней гордо стояла белая фарфоровая свинья, окруженная длинными блюдами с заливным и салатами. Над витриной белым по черному фону стояла огромная надпись: Charcuterie. А немного пониже и более мелкими буквами еще раз: Charcuterie du Port. H. Trebuchet. tel. 110.

Мне очень не хочется беллетризировать наше путешествие и передавать все последующее как приключенческий роман. Мне очень дорого все, нами пережитое в Порни́ке. Кроме того, не я одна, а и спутник мой, Л. Морозов, проявил в наших поисках огромное упорство и неутомимость, и мы, как дети, могли бы поссориться: кто́ что́ открыл. Факт тот, что, купив на обед курицу и расплатившись за нее, мы с полчаса задержались в магазине. Хозяйка его, мадам Требюше, статная, высоколобая женщина, в белом фартуке и теплых ночных туфлях, узнавши, зачем мы приехали, посоветовала съездить — недалеко, на горку — к местному художнику и журналисту, старику на пенсии, мсье Андрэ Баконнэ, который может нам помочь. Потом, узнав, что мы писатели, да еще из Москвы, она вызвала дочь — худенькую девушку в челке, с модно рассыпанными по плечам волосами, и представила ее нам — по отцовской линии — как правнучку Виктора Гюго. Хозяйка не сочиняла. В доказательство она принесла книгу, где имя Требюше было напечатано в связи с Виктором Гюго (я не успела как следует вчитаться в нее). Так и не удалось нам во Франции отойти от французской литературы, и на прощание мы познакомились с правнучкой автора «Les Miserables». От мадам Требюше, кстати сказать, я получила недавно дружеское

письмо... Не сочинила она и о старичке пенсионере. Старик этот нам не только помог, но и решил нашу задачу.

Андрэ Баконнэ жил на крохотной площадке, высоко над городом, в первом этаже дома, на котором, видимо, по здешнему обычаю, тоже красовалась огромная надпись, на этот раз черным по белому: Peinture. Vitrerie. (Живопись. Витражи.) Когда мы с трудом въехали на площадку, дверь его жилья оказалась запертой, и на ней висел замок. Мы было приуныли, но застрекотал мотоциклет, въехал, помогая себе пятками, румяный и круглый старичок, подошел к двери и попросту снял замок, оказавшийся «липовым». Мы вошли вслед за ним в явно холостяцкую комнату, с деревянным столом, пластмассовой тарелкой на нем (пустой) и оловянным прибором. Вокруг в беспорядке висели плакаты, картоны, изрезанная полосами бумага. Пригласив нас сесть, вдовец (или холостяк) мсье Баконнэ сперва расспросил, что нам нужно, а потом... и тут мы почувствовали, как дети в игре, когда ищут спрятанную вещь,— тепло, еще теплей, горячо,— просто ответил:

— Таможенника, только не сторожа, а смотрителя, звали мсье Додар (Dodard); их было два брата, Додара. Один сдавал свою половину дома постояльцам. Он потом умер. Его вдова, мадам Додар, продала дом мадам Пуалан в 1921 году...

Мы едва успевали записывать в блокнот родословную дома, где жил Ильич: Додар, Пуалан. Но это еще не был конец французским именам. Заметно было, как Баконнэ охранял гражданское достоинство этих старых жителей Порника, всюду прибавляя «господин», «госпожа» и отвергнув существительное «сторож». Чуть позднее мы убедились еще в одном подчеркивании, но об этом позже.

— Мадам Пуалан имела двух дочерей. И теперь я вас подвожу к самой сути дела. Одну свою дочь она выдала за мсье Пэнбёфа (R. C. Paimboeuf) из агентства Кэно (Quénot), а другая вышла за здешнего учителя, он теперь тоже на пенсии, мсье Плэзанса.

Мы, торопясь, записывали: Пэнбёф, Кэно, Плэзанс...

— Да вы не спешите, сейчас мы сами туда поедем, и вы их увидите воочию. Мадам Пуалан умерла во время войны. Мсье Пуалан сразу после войны. Теми комнатами, где когда-то жил вождь большевиков, le grand Lénin, владеют ныне мадам и мсье Плэзанс.

Мы вскочили с места. Жив дом, уцелел! Существуют комнаты! Стало, как в игре, у самой находки, жарко. Но спокойный мсье Андрэ Бакоинэ, тоже вставая, неторопливо продолжал свою речь:

— Чтоб навестить супругов Плэзанс, надо сперва побывать у мсье Пэнбёфа.

Через несколько минут наша «симка», дирижируемая горделивым Андрэ Бакоинэ, остановилась у агентства Кэно, где, как водится, над витриной уже великаньими буквами, опять черным по белому, стояло «Agence Quénot». Сам мсье Пэнбёф, высокий и седовласый, аристократического вида, прежде чем повести нас к своей belle-soeur, щедро раздал нам проспекты курорта Порни́ка. Один из них был цветной. Вместо милого и простого местечка, уже ставшего нам, кроме набережной океана, хорошо знакомым, на нас оттуда глядели чуть ли не дворцы, кафе под тентами, шумные залы ресторанов с нарядной толпой, пляж, усеянный дамами, словом, это был какой-то совсем другой Порни́к. Кроме того, он оказался вотчиной знаменитого «Синего Бороды», маркиза Жилля де Ретца, имя которого упоминается рядом с опять вошедшим в моду маркизом де Садом. И развалины замка Синего Бороды где-то тут на горе, над побережьем. И гольф, и казино (с игрой,— добавлено в скобках). Уж, наверное, ничего этого не было пятьдесят лет назад, кроме замка Жилля де Ретца.

Через тихие, узенькие, очень скромные улицы, где все ото всего оказывается в двух шагах, мы прошли на ту, название которой (наверное, измененное с годами) — «Mon désir», Мое желание. Эта улица, чтоб точней ее назвать, стала исполнением наших желаний. На ней мы увидели двухэтажный дом бретонского типа, инкрустированный в елочку темными кирпичами на белом фоне по углам, вокруг окон и дверей,— такой же, какие мы видели по всей Бретани и в нантском Народном музее. На втором этаже с балкончиком на улицу были «две комнатушки», в которых Ленин провел 25 дней августа в 1910 году.

Навстречу нам вышли мадам и мьсе Плэзанс, она худенькая, улыбчивая женщина с морщинками вокруг добрых, прищуренных глаз; он в парусиновом рабочем пиджаке с удивительным лицом, не только просто «интеллигентным»,— лицом мыслителя. Оба преклонных лет,

но полные жизни, довольные жизнью, с тем прекрасным, какое поколениями воспитывается у европейских народов, чувством самоуважения, присущего трудившимся всю свою жизнь людям. И они были на редкость приветливы к нам, искренни и гостеприимны. Выше я сказала о подчеркивании. Дважды — в агентстве Кэно и сейчас от мадам Плэзанс, говорившей нам о своем муже,—мы услышали твердое, словно курсивом взятое для наших ушей, что мсье Плэзанс был всю жизнь учителем светской школы, светской, а не католической. Подчеркивание показывало, что это имеет здесь для их семьи большое, совсем не случайное значение, а как бы политическое и моральное. Ничего общего с иезуитами! И мы тотчас вспомнили рассказ Надежды Константиновны о мальчонке, сыне их хозяйки, которого иезуиты старались переманить в свою школу, а хозяйка, к великому удовольствию Ильича («воспылавшего к своим хозяевам большой симпатией»), восклицала: «Не для того она сына рожала, чтоб подлого иезуита из него сделать». Так и повеяло на меня временем, когда родной Ильич был тут, ходил по плитам, на которых мы сейчас стояли, сидел на балкончике...

— Не на балкончике сидел он,— сказала вдруг мадам Плэзанс, угадав мои мысли, потому что я смотрела наверх.— Тут раньше была лестница, спускавшаяся вниз прямо с балкона, и камарад Ленин любил сидеть на ступеньках с книгой или с тетрадкой на коленях. Пойдемте, я вам покажу, как они жили.

И мы долго ходили по «двум комнатушкам». Сейчас они, конечно, были заставлены приличной мебелью,— бахромчатые скатерки, резные тарелки и вышивки на стенах, большие стенные часы в резной круглой рамке, стулья в чехлах. Но теснота была все такая же, когда в них размещались трое: Надежда Константиновна, ее мать и Владимир Ильич. И тот же, густо оплетенный вьющейся зеленью, был внутренний кусок веранды с открытой стеной в сад, где они пили чай. А воду для чая нужно было нести из сада ведром из колодца,— и колодец был тот же, что 56 лет назад. Нести на второй этаж! Сколько раз делал это, помогая жене, сам Ильич. Мы прошли в сад и постояли в этом заросшем, запущенном, еще не вовсе облетелом уголке у обыкновенного круглого колодца с ведром на цепи. Мой спутник все щедро

заснял — дом, комнаты, сад, колодец и милых хозяев,— их лица улыбаются сейчас с фотографии, как будто говоря мне: мы — французский народ, простой французский народ, но с убеждениями и с чувством достоинства, национального, классового или просто народного, воспитанного почти двумястами лет свободного дыхания.

Часы на фотографии, как тогда в жизни, указывают половину третьего. Время было расставаться с домиком. Я не сказала еще, что этот бретонский домик имел название «Les Roses» (Розы), написанное вверху на фасаде.

— Здесь было раньше множество роз,— сказала, прощаясь, мадам Плэзанс,— сейчас осталось от них только два куста. Розы мелкие, но хорошо пахнут. Вот увезите эту: она нынешний год последняя — в подарок от вождя большевиков.

Маленькая белая роза, протянутая мне хозяйкой, действительно сильно пахла, так сильно, что, уложенная в конверт, она пропитала потом своим южным, крепким запахом весь чемодан и даже сейчас, правда, очень слабо, но еще дышит ароматом. Возбужденные и счастливые, мы помчались на «симке» к океану и наконец-то спустились на пляж, где Ленин «много купался в море, много гонял на велосипеде,— море и морской ветер он очень любил»... Не успела я очутиться на пустынном берегу, как тотчас нашла сухого краба и тоже спрятала его в конверт, он, однако же, скоро рассыпался в прах и не оставил после себя ничего похожего на засушенную розу. Все-таки было хорошо найти его. И хорошо бегать по камушкам, дышать зимним холодом океана, смотреть, как подбираются и лижут берег волны и опять уходят. Мы в Порни́ке. Мы нашли домик, где жил Ленин. И мы нашли его, справляясь у народа, от народа, через народ, как, по убеждению моему, только и нужно искать следы Ильича.

Но это не было последним уроком нашей счастливой поездки. Фраза Надежды Константиновны, которую я цитирую выше, не кончалась точкой после слов «он любил». Дальше идет запятая и новая, тоже еще не окончательная фраза «весело болтал о всякой всячине с Костицыными». Задумайтесь: весело болтал. О чем? О всякой всячине. С кем? С Костицыными. А Костицыны были члены группы «впередовцев»! Путаники в теории, они

мешали чистоте линии партии своими требованиями свободы философской мысли (от марксизма, добавлял Ленин), свободы богостроительства (хуже, чем поповство, добавлял Ленин), тайной приверженностью к махизму, к эмпириокритицизму, открыто стоять за которые после работы Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», вышедшей в мае 1909 года, было уже не совсем удобно. С «впередовцами», как и с «ликвидаторами» и «отзовистами», которым «впередовцы» явно сочувствовали, Ленин яростно полемизировал в Париже. Это были представители той «левой фразы», которую Владимир Ильич органически ненавидел и не выносил. Той самой «левой фразы», которая на деле всегда вела и ведет направо, к реакции. И вдруг с членами группы «Вперед», рыцарями этой левой фразы, Ильич искренне смеется, болтает о всякой всячине, проводит время по-добрососедски. Что это значит?

На лестнице, ведущей с балкона, той самой, где Ленин любил сидеть с тетрадкой и заниматься и которой сейчас уже нет, можно мысленно представить себе согнутую перочинным ножиком фигуру Ильича, погруженного в работу. Он любил так набрасывать свои мысли, согнувшись в три погибели, где-нибудь на приступочке во время конгрессов, на дачной лесенке. Над чем же тогда работал Ильич? Он писал одну-единственную статью, непримиримо острую, против группы «Вперед». Статья называется «О фракции «впередовцев». Она была напечатана позднее (12 сентября 1910 года) в № 15—16 «Социал-Демократа». Ленин объясняет в этой статье, как всегда чеканно и просто:

«Объективные условия контрреволюционной эпохи, эпохи распада, эпохи богостроительства, эпохи махизма, отзовизма, ликвидаторства,— эти объективные условия *поставили* нашу партию в условия борьбы с кружками литераторов, организующих свои фракции, и от этой борьбы фразой отделаться нельзя. Отстраниться же от этой борьбы значит отстраниться от одной из современных задач рабочей с.-д. партии». Однако — и какое замечательное «однако» имеется у Ленина в самом начале того же абзаца:

«Еще и еще раз надо повторить, что это лицемерие впередовцев объясняется не личными качествами Петра или Сидора, а *политической* фальшью всей их позиции,

объясняется тем, что литераторы-махисты и отзовисты *не могут* вступить *прямо и открыто* в борьбу за дорогие им не социал-демократические идейки» [1].

Политическая фальшь позиции не означает фальши характера. Она не касается у Петра или Сидора их личных качеств. С великой человечностью различает тут Ленин за фальшью политической позиции живого человека. И в свете этих ленинских слов такой простой и понятной становится веселая болтовня Ленина «о всякой всячине» на отдыхе с «впередовцами» Костицыными. А ведь бывало у нас, что ошибочная и фальшивая позиция целиком покрывала всего Петра или Сидора, словно перестали они быть живыми людьми со всеми их личными качествами. Перестали быть, а вокруг них, как вокруг зачумленных, вдруг образовывалась пустота. От них разбегались лучшие друзья-товарищи. И последний урок, полученный нами в Порнике, учит, что поступать так—значило поступать не по-ленински.

Мы уезжали из Порни́ка в теплой волне любви к Ленину, словно и в самом деле повидались с ним, подышали одним с ним воздухом. Было так полно и хорошо, как в редкие минуты счастья, и верилось: придет время, когда все мы научимся не только мыслить, но и жить и чувствовать по-ленински.

Март—апрель, 1967.
Ялта.

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 19, стр. 318. Подчеркнуто Лениным.

УРОК ТРЕТИЙ

В БИБЛИОТЕКЕ БРИТАНСКОГО МУЗЕЯ

1

Было то самое «дождестояние» в Лондоне, когда мельчайшая влага не сыплется, а как бы стоит в воздухе, и газеты коротко, в графе о погоде, оповещают: «шаор»[1]. Этот стоячий душ не беспокоит лондонцев; и зонтики, никогда в Англии не выходившие из моды — даже в эпоху плащей,— не раскрываются.

Я шла под таким шаором не своей дорогой, а совсем противоположной. Моей дорогой было бы доехать до станции метро «Тотенхем-корт-роуд», свернуть на Грэт-Рассел-стрит и через две минуты быть у цели. Но вместо этого, отнюдь не по ошибке, а после долгих ковыряний в мельчайших квадратиках многостраничного плана Лондона, озаглавленного «От А до Z»,— я очутилась на станции «Кингс-Кросс», зашагала по длинной и мрачноватой, старой диккенсовской улице Грэйс-Инн и свернула по Гильфорд-стрит к Рассел-сквэр. Не просто шла, а словно ступала по зеркалу, оглядывая дома по сторонам и тротуар под ногами.

Этой дорогой, или почти что этой,— каждый день, с девяти утра — шел Владимир Ильич Ленин. Шел под дождем и солнцем, под снегом и смогом, при фонарях и при слабом лондонском утреннем свете,— должно быть, с такою же приятной зябкостью ожиданья или — хорошее русское слово — предвкушения, с какой торопишься на свиданье с чем-то любимым. Ильич очень любил место, куда он ежедневно уходил на половину дня.

Жизнь человеческая проходит. Она течет удивительно быстро. Но в памяти, как в несгораемом шкафу, долго

[1] Shower.

хранятся ощущения пережитых нами прочных радостей, не теряя своего первоначального вкуса. Я уверена, что Ильич хранил в памяти ощущение своих занятий в библиотеке. Среди немногих личных часов счастья было счастьем для него занятие в знаменитой Ридинг-Рум — читальном зале Британского музея.

Надежда Константиновна рассказывает:

«Когда мы жили в Лондоне в 1902—1903 г., Владимир Ильич половину времени проводил в Британском музее, где имеется богатейшая в мире библиотека с прекрасно налаженной техникой обслуживания» [1]. Он пристрастился к ней, полюбил ее настолько, что: «Во время второй эмиграции, когда разгорелись споры по философским вопросам и Владимир Ильич засел за писание «Материализма и эмпириокритицизма» в мае 1908 года, **он поехал из Женевы в Лондон, где пробыл больше месяца специально для работы в Британском музее»** [2]. Словно с улицы на улицу — из одного государства в другое, далеко не соседнее,— только чтоб засесть в любимой библиотеке!

Н. А. Алексеев добавляет к воспоминаниям Крупской о годах их первой эмиграции, как они «нашли себе две комнаты без мебели недалеко от станции городской железной дороги — Кингс-Кросс-роуд» и как «в этих двух комнатах, для которых пришлось приобрести самую скромную меблировку (кровати, столы, стулья и несколько простых полок для книг), Владимир Ильич и Надежда Константиновна прожили все время до переселения «Искры» в Швейцарию (весной 1903 года)» [3]. Алексеев долго жил в Лондоне и считал себя «до известной степени старожилом», но Ленин, по всегдашней своей привычке предварять живой практический опыт общим и цельным знанием, полученным из чтения,— еще до переезда в Лондон внимательно изучил его план. И Алексеев вынужден признаться, что Владимир Ильич поразил его, старого лондонца, своим «уменьем выбирать кратчайший путь, когда нам приходилось куда-нибудь ходить вместе (пользоваться конкой или городской железной дорогой

---

[1] Воспоминания родных о Ленине. Госполитиздат, Москва, 1955, стр. 204.

[2] Там же, стр. 204. Выделено мной.

[3] Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Госполитиздат, Москва, 1956. Том I, стр. 215—216.

мы по возможности избегали по финансовым соображениям)»[1].

Вот почему и я, пройдя в первый раз по прямому своему пути, пустилась вторично по закоулкам. Мне хотелось угадать, где прокладывал Ленин свой «кратчайший путь». Англичане — народ надежный, не знающий того «бешенства превращений», каким окрестил некогда Сперанский любовь русского человека к постоянным переменам. За десятки лет, даже за сотни, сколько ни омолаживай здесь старую архитектуру, сколько ни воздвигай, как это нынче делают, умеренных небоскребов в самом сердце города,— Лондон бережно хранит старые названия улиц, старые их очертания,— и все те же названия стояли на углах тех же закоулков, по которым сокращал себе Ленин дорогу от Кингс-Кросс до Бритиш-мьюзеума. И хотя вместо станции железной дороги появилась станция метро, но в тех же местах, с тем же названием, с таким же назначением. А дождь все стоял и стоял в воздухе серебристой рыбьей чешуйкой. В его мельчайших штрихах, словно в штриховом пунктире Ван-Гога, проступили наконец передо мной величественные колонны одного из прекраснейших и любимейших зданий Лондона.

2

Я не была новичком в Британском музее. Несколько лет назад (чтоб быть точной — в 1956 году) мне пришлось поработать в его библиотеке. Сейчас я тоже пришла сюда не как турист, а как читатель. Те, кто ходят смотреть музей, понятия не имеют о разнице таких двух посещений. Чтоб иметь право заниматься в читальном зале Британского музея, нужны две солидные рекомендации, да и то,— если накопилось большое количество заявок,— вы не сразу получите входной билет. Первый раз мне очень помог Кристофер Мэхью, ведавший в те годы упраздненным ныне русским отделом «Британского Совета». А сейчас я привезла с собой рекомендацию директора нашей Ленинской библиотеки, Ивана Петровича Кондакова, и этой единственной рекомендации, как раньше — мистера Мэхью, оказалось достаточно.

Но в 1956 году увидеть место, где сидел и работал

[1] Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Госполитиздат, Москва, 1956. Том 1, стр. 215—216.

Ильич, и узнать толком, каков порядок занятий в знаменитом читальном зале (Reading Room), мне не удалось. Дело тогда шло о рукописи английского востоковеда Джона Хэддона Хиндлея, находившейся в отделе восточных манускриптов, где она, по молодости своих лет (почти современная!), выглядела младенцем, хотя и была в своем роде уникальной. Хиндлей перевел с фарси на английский труднейшую философскую поэму Низами Гянджеви «Сокровищницу Тайн», и это был первый перевод поэмы на европейский язык. Нужен он был мне до зарезу, чтоб критически сравнить его с собственным стихотворным переложением «Сокровищницы» по подстрочнику покойного советского иранолога Ромаскевича. Этот большой ученый, дословно выполнивший свою задачу, создал такой легион туманностей, такое безбрежное море загадочных ассоциаций, такие зашифрованные ребусы, что не одна я, но и несколько образованных иранцев, которым я показала раздобытый мной подлинник, стали в тупик уже не перед подстрочником, а перед самим оригиналом поэмы.

Полюбив и переведя «Сокровищницу Тайн», я не бросила Низами, а продолжала изучать все, что о нем написано в Европе. За десятки лет европейские ученые проложили тропинки к его пониманью. Они шли в одиночку. Англичане облюбовали басню о двух совах из «Сокровищницы» и печатали ее много лет в детских литературных хрестоматиях; немцы (иранолог Хаммер) перевели немало кусков из его поэм. Гёте дал целый очерк о Низами в своем «Западно-Восточном Диване». Но полный перевод «Сокровищницы Тайн» отважился сделать только один Хиндлей. Весь невероятный, беспримерный в истории размах советской деятельности,— того, что можно назвать г о с у д а р с т в е н н ы м решением чисто культурной задачи, когда созваны и связаны в содружестве виднейшие ученые и поэты, заказаны и оплачены полные научные переводы и стихотворные их переложения; и все это, под шефством лучших иранологов многих республик, издано с комментариями, иллюстрациями и даже, на родине Низами, с параллельными текстами оригинала и перевода,— весь этот размах словно вызвал великого поэта вторично к жизни. Рядом с таким размахом одинокие усилия западных ученых, часто нигде не находившие поддержки, казались каким-то «гласом вопиющего в пусты-

не». Но тем более привлекательным и заманчивым был для меня, углубившейся в Низами и не бросившей заниматься им по окончании юбилея,— одинокий перевод «Сокровищницы Тайн» Хиндлея, бескорыстный труд ученого, так и оставшийся в рукописи.

Написав в английской анкете, что я хочу ознакомиться именно с этим трудом, я получила входной билет для занятий в отдел восточных рукописей и прошла в небольшой кабинет, уставленный длинными столами с удобными пюпитрами для расстановки больших рукописных фолиантов. Память моя благодарно хранит часы, проведенные в этом кабинете, и удивительное внимание работника отдела, положившего передо мной не только желанного Хиндлея с его слегка выцветшим, но разборчивым почерком, а и огромный печатный том с библиографией находящихся в отделе армянских рукописей,— по фамилии он узнал, что я армянка, и захотел сделать мне приятное.

Повторяю, однако, что было это давно, свыше десятилетия назад. Отдел восточных манускриптов лежит в стороне от центрального читального зала. И мне даже краешком глаза не пришлось тогда увидеть сердце Британского музея,— тот круглый зал, увенчанный высочайшим, как в византийском храме, просторным куполом, ту самую Ридинг-Рум, в которой ежедневно сидел и занимался Владимир Ильич Ленин.

Но зато вступить в него и увидеть его мне предстояло теперь, в юбилейном году 1967.

3

Туристы, ежедневно тысячами посещающие знаменитый на весь мир Британский музей, связывают его обычно с сокровищами египетского отдела обоих этажей, с мумиями, с предметами античных и азиатских культур, остатками народов майя, греко-римскими, индийскими, персидскими, хеттитскими и другими древностями. Когда с путеводителем в руках они идут из комнаты в комнату, из галереи в галерею, им и в голову не приходит, что двигаются они по четырем сторонам квадрата вокруг укромно вместившегося в их центре и протянувшегося вверх на два этажа своеобразного круга в квадрате. Библиотека внедрена в музей необыкновенно удачно, с той редчай-

шей экономией и отжатостью пространства, каким вообще отличается архитектура этого необыкновенного здания. Двадцать раз посетив выставочные залы музея, вы можете ее попросту не заметить. Больше того, если вы обычный торопливый турист, вы можете даже и не знать о ней, не подозревать входа в нее и вообще ею не интересоваться. А ведь она — сердце здания. Она — ее собирательный нерв, от нее все росло и отпочковывалось. Ее история, полная национального своеобразия и в том, как она развивалась, и в том, как сами англичане о ней рассказывают, чисто английская, ярко передающая английский характер, английский юмор, английские народные черты. Современному человеку может показаться странным, но людям моего поколения естественно думать, что в Британском музее главное — это его знаменитая библиотека, а предметы его коллекций — это уже второстепенное и прикладное.

Люди моего поколения считали привычным и законным сочетание библиотеки с музеем под одной крышей. Студентами мы говорили: «Иду в Румянцевский музей». Это означало, что мы идем заниматься в библиотеку Румянцевского музея. За все годы моей молодости я, как и все мои товарищи по факультету, не знала и не интересовалась, что за экспонаты имеются в «Румянцевке» и есть ли они вообще,— единственным существующим для нас предметом в ней была книга. Поэтому фраза в воспоминаниях Н. К. Крупской о том, что Ленин, не ходивший в Лондоне по музеям за исключением Британского,— и в Британский ходил отнюдь не для того, чтоб смотреть собранные там драгоценные коллекции, а влекла его «богатейшая в мире библиотека, те удобства, с которыми можно было там научно работать»[1], фраза эта воспринималась мною как нечто глубоко естественное. Когда наконец, побывав в дирекции и получив на месяц свой пропуск № 1399533, я перешагнула впервые через порог Ридинг-Рум, меня, как воздухом, охватило особое чувство дома, куда вступаешь в новое свое существование, «у порога оставив туфли»,— забыв все личное, мелкое, бытовое, несущественное, беспокойное, рассеивающее.

Кто хочет хорошо понять человека Ленина, вжиться в

---

[1] Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине. Партиздат, 1933, стр. 55.

его характер, тому не миновать глубокого раздумья о роли библиотеки в сложной ленинской жизни.

Библиотека — это не только книга. Это прежде всего колоссальный концентрат спрессованного времени, как бы сопряжение тысячелетий человеческой мысли, перенесенной на пергамент, папирус, бумагу,— для жизни в постоянстве, а не в текучести. Вы входите в храм Сбереженного Времени, чтоб приобщиться к этому великому постоянству в текучести,— как бы становитесь его частицей. Вы становитесь его естественной, органической частицей, потому что здесь нельзя читать без отдачи своей собственной творческой энергии для понимания и усвоения прочитанного. В библиотеке, как нигде, вы переживаете всю глубину знаменитой латинской формулы «Do ut des»,— даю, чтоб ты дал,— изрядно опошленной ее узкопрактическим пониманием.

Замечательно, что именно в Лондоне Владимир Ильич вспомнил об этой формуле в ее глубоком творческом смысле. Когда оставшиеся в Москве социал-демократы, которым посылалась нелегальная литература из Лондона для освоения, распределения, читки и комментирования в рабочих кружках, стали вопить «мало», «мало», «недостаточно массово», «недостаточно понятно», в то же время не утруждая себя освоением этой литературы, не вчитываясь в нее сами, не двигая ее в кружки, не комментируя, не разъясняя, не используя и сотой доли того, что им послано,— Ленин хлестнул по этой пассивности товарищей таким грозным и гневным окриком в своем письме к Ленгнику, каким гремел лишь в редчайшие минуты негодования на своих соратников: а «Сумели ли вы использовать те *сотни,* которые вам *доставили, привезли, в рот положили??* Нет, вы не сумели этого сделать... увертка, отлыниванье, неуменье и вялость, желание получить прямо в рот жареных рябчиков» — и формула, выделенная Лениным в скобки, как бы для того, чтоб подчеркнуть ее безусловный, зависящий не только от данного момента, вечный смысл:

«(Никто и никогда ничего вам не **даст,** ежели не сумеете *брать:* запомните это)»[1].

Но библиотека не только концентрат времени, читаль-

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 46, стр. 271. «Несколько мыслей по поводу письма 7 ц. 6 ф.». Написано во второй половине января 1903 года в Лондоне. Выделено Лениным.

ный зал не только связывает читающего с книгой. Читальный зал вводит читателей в творческую атмосферу сотен и тысяч других людей, читающих рядом с ними, смешивая воедино их сосредоточенные дыхания и невидимые флюиды токов их мышления. Если есть гипноз общего действия толпы на улицах, в театрах, на митингах, где люди заражаются друг от друга чувствами и поступками, то незримый и тихий взаимогипноз читателей в библиотеке, отрешенных от текучести жизни, ушедших в творческое освоение чужой мудрости, которую нельзя взять, не привнеся в нее частицу себя самого,— этот взаимогипноз очень велик и реален.

Есть в воспоминаниях об Ильиче два удивительных рассказа, на первый взгляд противоречащих друг другу. В одном Н. А. Алексеев рассказывает, как он встретил приехавшего в Лондон Ленина: «Владимир Ильич объяснил мне тотчас по приезде, что прочие искровцы будут жить коммуной, он же **совершенно неспособен жить в коммуне, не любит быть постоянно на людях.** Предвидя, что приезжающие из России и из-за границы товарищи будут по российской привычке, не считаясь с его временем, надоедать ему, он просил по возможности ограждать его от слишком частых посещений» [1]. Но вот, почти в это же время — за несколько дней до приезда в Лондон, Ильич остановился в Брюсселе. Его там встретил Н. Л. Мещеряков: «...я повел Владимира Ильича показывать город, учреждения рабочей партии, знаменитый тамошний кооператив и т. д. Когда мы вышли из кооператива, вдруг показались толпы рабочих... Ленин при виде этой толпы сейчас же оживился и обнаруживал большое тяготение примкнуть к демонстрации. Мне пришлось чуть не повиснуть на нем, чтобы как-нибудь замедлить его движение» [2]. Читаешь — и почти видишь, почти физически чувствуешь непроизвольную тягу Ленина к толпе, к массе, чувствуешь физическое усилие Мещерякова оттянуть его, чтоб не попасть в неприятности на чужой земле. Как будто — противоречие. На самом же деле — слитное свойство характера: потребность сосредоточиться, быть с самим собой; и страстная тяга — быть с народом, в народе. Тут, может быть, и корни любви Ильича к

[1] Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Госполитиздат, Москва, 1956. Том I, стр. 216. Выделено мной.

[2] Там же, стр. 221.

библиотеке. Ты один, сосредоточен в себе, ничто и никто не отвлекает; а в то же время,— ты в волне умственных энергий огромного числа людей, работающих с тобой рядом.

Удачная архитектура Ридинг-Рум, ее круг с большим диаметром, проходы, не в длину и ширину, а главным образом вдоль стен по кругу; его скамьи, расположенные радиусами от центра; стены, сплошь опоясанные полками, уставленные книгами, до которых помогают добраться удобные передвижные лесенки, а выше предела лестниц — вторые этажи, обведенные дорожкой с железными перильцами,— все это, позволяющее множеству людей заниматься рядом, но не мешая друг другу, и множеству книг расположиться всегда очень доступным для читателя образом,— удивительно способствует и сосредоточенному одиночеству и взаимослиянию творческих энергий читателей,— одновременному бытию с самим собой и в массе, подмеченному современниками у Ленина.

4

Я вступила в Ридинг-Рум не одна. Со мной был сотрудник библиотеки, мистер Фэйрс, специалист по русскому и румынскому языкам, с которым меня познакомили в дирекции. Мистер Фэйрс помог мне для начала разобраться, где выдают справки и куда идти, чтоб заказать и получить книгу; как и что писать на бумагах для заявок; где искать каталоги и как с ними обращаться.

Отдел для справок был у самого входа, а стол заказов и получения книг — в центре круга. Все как будто похоже на наши порядки, но есть разница: надо обязательно *самому* найти шифр книги и проставить его в заявке, а кроме того,— найти и проставить, тоже в заявке, *номер занятого вами места*.

Шифр найти очень легко. Здесь нет «карточной системы», туго набитых длинных ящиков с карточками на стержне, которые не так-то легко перебирать и удерживать на нужном для списыванья месте. Вместо них — каталоги, огромные фолианты с крупно помеченными на корешках буквами,— тут же, рядами, под столом заказов; раскройте, и на широких белых страницах маленькие печатные наклейки, броско, удобно для глаз,

с оставлением белых пространств для будущих наклеек. Заполнив заказ, вы через полчаса уже сидите и занимаетесь.

Что до номера места... Я, было, размашисто прошлась вдоль скамей и сразу положила тетрадку на свободный стол. Но мистер Фэйрс покачал головой. Он подвел меня к круглому проходу вдоль стен, куда эти скамьи, ряд за рядом, выходили геометрией радиусов или, если хотите, музыкой струн, и указал на четкие отметки каждого ряда: латинская буква и цифра, буква и цифра. Оказывается, не каждый свободный стол — свободное место для вас; искать себе место требовалось не анархически, а в соответствии с заглавными буквами своего имени, как оно помечено на входном пропуске. И если все места в вашем ряду были уже заняты, вам следовало терпеливо ждать, покуда одно из них освободится, а не усаживаться за любой свободный стол.

— Мы не знаем точно, где сидел Ленин,— сказал мне мистер Фэйрс, давно угадав, какое именно место интересует меня в этом зале.— Он жил в Лондоне и работал у нас под именем «Якоб Рихтер» и, значит, сидеть мог примерно вот тут...

Мы подошли к двум рядам, недалеко от главного прохода в холл. Прошло 65 лет. Но ряды по радиусу, буквы и цифры на рядах остались, вероятно, теми же, как и система рассаживания. Она идеальна для контроля и в то же время требовательна к читающему: чтоб заполучить свободное место в узком, предназначенном тебе буквенно-цифровом ряду, надо рано вставать. И Ленин, как мы знаем, уходил в библиотеку с раннего утра. Он любил точность и систему; в его лондонской комнате всегда был порядок. Современник пишет: «Всем известно, что Ленин вел очень скромный образ жизни как за границей, так и в России. Жил он невероятно скромно. Он любил порядок, царивший всегда в его кабинете и в его комнате, в отличие, например, от комнаты Мартова: у Мартова всегда был самый хаотический беспорядок — всюду валялись окурки и пепел, сахар был смешан с табаком, так что посетители, которых Мартов угощал чаем, часто затруднялись брать сахар. То же самое творилось и у Веры Засулич. У Ленина, напротив, был необыкновенный порядок, воздух в комнате всегда чистый. Если у него в комнате закуривали, он хотя в то время еще и не запре-

щал курить, но начинал морщиться, открывал форточки и вообще обнаруживал большое неудовольствие»[1].

Приходя в библиотеку, Ленин попадал в любимые им условия: точность, система, курить запрещено, воздух чист. Весь уклад Библиотеки Британского музея должен был особенно ему нравиться: при всей его сложной точности, этот уклад очень легко, словно играючи, запоминается. Никакой казенщины в правилах,— может быть, потому, что в них есть какой-то элемент изящества и непринужденности, как в правилах детской игры. Вы подчиняетесь ему легко, с удовольствием, а между тем он сразу и очень твердо организует вас, вводит или, как моряки говорят о своем судне, «кладет на курс», дает чудесное чувство целенаправленности.

Среди условий для занятий в Библиотеке Британского музея имеется одно, очень важное. Если нужную вам книгу можно легко достать в любой другой библиотеке Лондона, вам это укажут и адресуют вас туда. Есть ходячий рассказ об одном пожилом англичанине, десятки лет прожившем в Центральной Африке. Вернувшись в Лондон, он вспомнил о любимой своей книге, читанной в молодые годы в библиотеке музея, отправился туда и спросил себе входной билет. Узнав, что «любимая книга» старика была «Опыты» Бэкона, ему ответили, что он найдет ее в любой публичной библиотеке и может даже купить за шесть пенсов в десяти шагах от Британского музея. Получить право на место, осаждаемое сейчас сотнями ученых со всех концов мира, может поэтому лишь тот, кто нуждается в специальных книгах по специальной тематике, имеющихся и легче всего получаемых именно в Библиотеке Британского музея.

В этот приезд мне нужны были комплекты газеты «Таймс» за вторую половину восьмидесятых годов прошлого века. Кроме того, уже будучи в Лондоне, я прочитала в одной из воскресных газет обстоятельную рецензию на только что вышедшую книгу оксфордского историка Сетона Уатсона «Российская империя 1801—1917»[2] и загорелась ее прочесть. Старые газеты уже давно в

---

[1] Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Госполитиздат, Москва, 1956. Том 1, стр. 222.

[2] Hug Seton Watson. The Russian Empire 1801—1917. Oxford, 1967, «The Oxford History of Modern Europe».

огромных тюках, целыми вагонами были переправлены в газетное отделение Британского музея за полтора часа езды от Лондона. Но это относилось к газетам, выходившим до девятнадцатого века, и меня не касалось. А книгу Уатсона еще нигде, даже в продаже, получить было нельзя, и, спокойно заполнив свою анкету, я получила пропуск без всяких затруднений. Однако мистер Фэйрс покачал головой. Библиотека — да; но Ридинг-Рум — нет!

Для чтения газет в библиотеке специально имеется так называемая Periodical Gallery, Галерея периодики. Для чтения новейших, только что полученных, но еще не зарегистрированных и не внесенных в каталог книг — нужно пройти в так называемую North Library,— Северную библиотеку. К той и другой ход был из Ридинг-Рум. Нечего делать! Пришлось мне каждое утро двигаться по окружности, верней, полуокружию прохода в круглой Ридинг-Рум, любовно поглядывая на радиусы ее именных рядов, уходящих к центру круга; и ровно на половине пути сворачивать в длинный коридор, слева от которого железная лесенка вела меня наверх в Галерею периодики, а прямо в конце коридора были двери в Северную библиотеку. Так целый месяц и продолжалось, хотя все-таки, в ожидании позднейших своих заказов, я и посиживала иной раз в круглой Ридинг-Рум, читая взятые с полок интересные журналы.

5

Но прежде чем продолжить свой рассказ об Ильиче, его отношении к книге и чтению, мне хочется ближе познакомить нашего читателя с самой Библиотекой Британского музея. Англия не имеет ни одного учреждения более демократичного и в то же время более национального, чем эта библиотека. Жаль,— мало у нас, о наших двух огромных книгохранилищах Ленинской в Москве и Публичной в Ленинграде — занимательно, без формалистики и казенщины рассказанных историй их возникновения, развития и быта. Те же, что есть, например, книга И. Романовского[1] о Ленинской библиотеке,— малоизвестны. А ведь для читающего человека, в огромном боль-

[1] И. Романовский. Книга и жизнь. Очерки о Государственной библиотеке имени Ленина. Московский рабочий, 1950.

шинстве случаев автодидакта, дающего себе «самообразование» подчас до конца жизни, даже и в звании академика,— большая государственная библиотека больше достойна имени «Alma mater», чем университет. Сколько исторически интересного, яркого, как открытие, узнали бы мы о самих себе, о своих народах, об их выдающихся представителях, о хороших и смешных, трагических и дурных сторонах русской истории в описаниях наших двух библиотек и даже в том изложении, каким эти описания были бы сделаны!

Говоря «типично английское», наиболее характерное для английского народа,— я как раз имею в виду не только «биографию библиотеки», факты и списки имен,— а и способ самого изложения этих фактов. Об англичанах сложилось мнение, будто они самоуверенные гордецы,— но что такое настоящая гордость? Когда в 1958 году на выставочных стендах английского павильона в Брюсселе появились надписи: «Мы первые открыли то-то», «У нас первых сделано было то-то», «Впервые то-то и то-то придумано было именно в Англии»,— то впечатление возникало не об английской гордости, а только о великобританском хвастовстве. Но когда в самой Англии, в ее книгах о своей стране, в ее массовых туристических гидах читаешь умную насмешку над собственными недостатками или серьезный укор за них самим себе, невольно проникаешься симпатией к английской гордости, той гордости, что родится из спокойного самоуважения.

Приведу для примера два больших справочника, писанных для чужого глаза и по своим задачам граничащих почти с рекламой. Об одном я где-то уже рассказывала, это огромный гид по Англии, очень дорогой, считающийся чуть ли не лучшим. В самом его начале с неистребимым английским юмором говорится: «Наша страна никогда не отличалась уменьем вкусно готовить, зато она славилась свежестью своих продуктов; приехав к нам сейчас,— вы увидите, что готовить вкусно мы не научились, зато продукты наши утратили свою свежесть». Глазам своим не веришь — сказать о себе этакое в туристическом гиде! А вот другой путеводитель — по истории Библиотеки Британского музея. В главе о начале движения за публичность библиотек сказано серьезно и укоризненно, уже отнюдь не с юмором: «Для такого большого города, как Лондон, открытие общей публичной библио-

теки произошло очень поздно, гораздо, например, позднее, чем в Париже, где библиотека Мазарини открылась для публики в 1643 году, а Королевская, практически тоже уже доступная, формально была открыта в 1753 году»[1]. Нации с меньшим чувством самоуважения наверняка написали бы о своей публичной библиотеке в подобных же обстоятельствах, как об «Одной из первых», или «В ряду первых библиотек Европы», или «Среди зачинателей публичного использования библиотек, наша...» и т. д. Что, впрочем, лишь на какую-то йоту неточности не соответствовало бы в данном случае правде,— Библиотека Британского музея была открыта всего на 6 лет позже Королевской в Париже (15 января 1759 года). Но все же — йота!

Черта эта,— очень маленькая, малозаметная для самих авторов, встречается в манере изложения английских книг, говорящих о себе и своем народе, очень часто. Я привела ее именно как манеру изложения фактов. Но еще больше национально-английского найдет читатель не только в манере изложения, а и в самих фактах истории Библиотеки Британского музея. Есть среди них вещи забавные, в чисто английском духе: еще в середине прошлого века, например, женщины (леди), допущенные к занятиям в библиотеке гораздо позже мужчин,— должны были приходить туда не иначе, как парочками. Почему? Потому ли, что, садясь за стол (а в библиотеке, как и в столовой, стол играет решающую роль), в комнате, сплошь наполненной мужчинами, женщина должна для приличия быть в защитном сопровождении другой женщины? Или еще забавный пример английской дисциплины: первые годы существования библиотеки, когда читальный зал был маленький и плохо проветривался, а допускались в него лишь «люди с положением», он частенько бывал пуст, но служащие (как правило, крупные ученые преклонного возраста) должны были высиживать положенные часы до конца. Однажды старый доктор Петер Темпльмен, заведовавший читальным залом, задыхаясь от духоты и видя, что зал пуст, вздумал было выйти на минуту подышать свежим воздухом. «Назад, сэр!» — громовым голосом закричал на него «опекун» или «шеф» библиотеки («Trustee» по-английски): довольно сильное

[1] The British Museum Library, London, 1948. 388 p., p. 31.

выражение «назад!» (get back!) — но непременно и неизменно с добавкой «сэр'а». Самое страшное ругательство, произносившееся по-английски в самом яростном пылу драки,— неизменно вылетало из уст англичанина с этим хвостиком «сэр'а».

От таких забавных случаев, накопившихся в анналах библиотеки за два столетия, веет чисто английским духом, Диккенсом, Теккереем; — кстати, и Диккенс, и Теккерей были в свое время завзятыми ее читателями. Но есть в истории Британского музея и нечто другое, чисто английское, глубоко симпатичное во всех его проявлениях. Я не говорю тут о черте, присущей *каждому* публичному книгохранилищу,— раскрытой двери для бесплатного пользования сокровищами человеческого ума и постоянного, тоже повсеместного, интернационализма, то есть преимущественного доступа иностранцам: даже в Англии, вообще говоря недолюбливающей чужестранца, alien,— в Библиотеке Британского музея всегда есть для этого «нелюбимого» гостя вежливый и добрый прием. Не говорю тут и о неоспоримом факте широкой доступности читального зала для революционеров-эмигрантов, от итальянского антиклерикала-изгнанника Габриэля Россети — и до Маркса и Ленина. Это все черты, можно сказать, общие, вытекающие из самого бытия книги, из общего гуманитарного настроения библиотек, их мировой переклички, их взаимообмена, их «национализации», то есть перехода на бюджет нации и бесплатности ими пользования. Но есть в истории Библиотеки Британского музея оригинальные эпизоды, в которых наглядно проявляется свой особый, только англичанам присущий, национальный характер. О двух из них хочется рассказать читателю.

6

Закончилась знаменитая кампания 12-го года. Наполеону нанесен удар. Союзные силы ездят друг к другу с дружественными визитами. В 1814 году царь Александр I приезжает в гости к английскому королю и желает осмотреть Библиотеку Британского музея. Начало века вообще славится тем, что правительства хвастают не только военными своими силами и блеском дипломатий, но и сокровищами высшего порядка. Большая часть евро-

пейских библиотек насчитывала со дня своего открытия почти два столетия. Испания хвастает своим «Эскуриалом», Бавария—Мюнхенской, Италия—Ватиканской, Лауренцианой, Амврозианой, Габсбурги—Венской, Польша—Ягеллонской... На весь мир прославлена знаменитая Вольфенбюттельская библиотека в Германии. Но Александру I хвастаться, особенно по сравнению с книгохранилищами, созданными еще в XVI веке, было нечем; подражая Наполеону, порядочно пограбившему Европу для Франции, он тоже изрядно пограбил: попросту перевез огромную польскую библиотеку из Варшавы к себе в Петербург. И вот теперь он ходит по Ридинг-Рум и осматривает британскую, сравнительно молодую,— ей было в то время всего 55 лет.

По библиотеке водит Александра I один из тогдашних служащих, в виде исключения не из ученого звания, а бывший дипломат, Иосиф Планта. Царь критически осматривает книжное наличие и бросает замечание о «небольшом размере национальной библиотеки». Иосиф Планта по-французски (как велся весь разговор) отвечает: «Но, Ваше величество, ведь все здесь оплачено!» (Mais, Sire, tout est payê içi!)[1]. Сейчас о таком ответе царю-книгокраду, только что присвоившему «задарма» польское книгохранилище, сказали бы: «Здо̀рово!» Не знаю, попал ли этот эпизод в русские истории александровской эпохи, но в анналы Библиотеки Британского музея он попал.

А вот второй эпизод, еще более смелый, в еще более английском духе. В 1830 году выходит в Лондоне книга «Наблюдения над состоянием исторической литературы», написанная «острым на язык» (как его аттестуют сами англичане) антикварием, сэром Николас'ом Харрис Николас (заметьте, читатель, тоже «сэром», то есть лицом привилегированным). В этой книге он нападает на состав «опекунов» (Trustee's) Библиотеки Британского музея: «Там, где, как следовало бы ожидать, должны быть выбраны люди согласно их заслугам, нет ни одного лица, кто выделился бы в науке, в искусстве, в литературе; вместо этого они состоят из одного герцога, трех маркизов, пяти графов, четырех баронов и двух членов парламента! Это лишь добавляет к многочисленным дру-

[1] The British Museum Library. London, 1948. Ch. III, p. 57.

гим примерам лишнее доказательство того пренебрежения (neglect), с которым относится к гению британское правительство»[1]. Дело не только в том, что «острый на язык англичанин» замахнулся на консервативные порядки в национальной библиотеке. А в том, что и сейчас цитируются его слова с великим удовольствием и одобрением в официальном историческом очерке библиотеки, написанном ее сотрудниками — тоже большей частью «сэрами».

Еще несколько слов — уже о сегодняшнем своеобразии всего, связанного с библиотекой. Всякий раз, когда в тихой Рассел-стрит вырастало передо мной за чугунной решеткой величественное здание Британского музея, я поражалась цыганской панораме вокруг него. У самого входа, на ступенях лестницы — толпятся десятки приезжих, главным образом молодежи,— с фотокамерами, чемоданами, рюкзаками. Копошатся, двигаются наподобие голубиной стаи, читают газету, часами сидя вдоль стен на складных стульчиках или на камнях. У входной двери в музей есть маленькая ниша с краном. Закусывая из бумажек, люди попросту подходят к крану и пьют, подставляя губы под водяную струйку. Тут же разгуливает бобби в белых перчатках, не обращая на эти «кэмпинги» у стен мирового музея никакого внимания. Никто не останавливает, не гонит молодежь, и я никогда не видела, чтоб после них оставался мусор...

Не знаю, имел ли Владимир Ильич представление об исторических английских чертах, которые я выше коротко описала, верней, о фактах, в которых эти черты проявились в истории библиотеки. Книга, мною цитированная, была издана почти полвека спустя после года работы Ильича в Ридинг-Рум. Мало кто из посетителей-туристов и сейчас знаком с нею: ведь книге этой, изданной в 1948 году, суждено скоро стать библиографической редкостью. Но самый «дух» библиотеки, ее широкое, умное гостеприимство, удивительно экономное использование пространства для удобной «укладки» ее фондов и каталогов, удивительная быстрота нахождения и вручения нужной книги читателю — все это, дважды упомянутое Надеждой Константиновной в воспоминаниях, как «удобство работы» и «прекрасно налаженная техника

[1] The British Museum Library, Ch. III, p. 90—91. Выделено автором.

обслуживания»[1], не могло не быть хорошо известно Ильичу и прочно им полюблено. Ведь и характеристика, данная библиотеке Н. К. Крупской, могла быть приведена ею только со слов самого Владимира Ильича.

Добавлю еще, что и особая любовь Ленина к Лондону в немалой степени вызвана была качествами библиотеки. А что за все время двух своих эмиграций он неизменно предпочитал Лондон, расставался с ним тяжело и нехотя, известно из писем и воспоминаний. Во вторую эмиграцию, как уже рассказано читателю, он попросту «сбежал» из Женевы в Лондон (в 1908 году), чтоб свыше месяца в Библиотеке Британского музея изучать книги по философии для «Материализма и эмпириокритицизма». А в конце первого пребывания в Лондоне, весной 1903 года, когда Плеханов настаивал и настоял на переброске печатания «Искры» в Швейцарию, Ленин настойчиво этому противился.

«Недаром я один был против переезда из Лондона»[2],— писал он Алексееву, жалуясь на тяжелую атмосферу, сложившуюся для него в Женеве.

7

Когда я только еще во вкус входила своих чтений в библиотеке, мистер Фэйрс, не забывавший меня, поднес мне драгоценный подарок. Это были фотографии с пяти документов из «Департамента печатных книг» музея, связанные с работой Ленина в Ридинг-Рум. Правда, три документа были уже опубликованы у нас в 1957 году, известны они и по книге В. М. Семенова «По ленинским местам в Лондоне»,— и все же осталось кое-что новое в них, о чем можно было бы поразмыслить.

Перепишу их для читателя такими, какими они лежат сейчас передо мной.

21 апреля 1902 года, то есть почти сразу же по приезде в Лондон, Ильич подает прошение директору Библиотеки Британского музея о выдаче ему билета для занятий в читальном зале. Он пишет, что приехал из

[1] В первом случае в «Воспоминаниях о Ленине». Партиздат, 1933, стр. 55; а во втором в «Воспоминаниях родных о Ленине». Госполитиздат, 1955, стр. 204.

[2] Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Госполитиздат, 1956. Т. I, стр. 219.

России для изучения земельного вопроса. В свое прошение он вкладывает рекомендательное письмо от генерального секретаря Всеобщей федерации профсоюзов И. Х. Митчелла. Своим тонким, необыкновенно ясным и разборчивым почерком Ильич пишет по-английски, строго в общепринятой форме обращения и подписи:

25. 4. 1902

30. Holford Square.
Pentonville W.C.

Sir,

I beg to apply for a ticket of admission to the Reading Room of the British Museum. I came from Russia in order to study the land question. I enclose the reference letter of Mr. Mitchell.

Believe me, Sir, to
be Yours faithfully
Jacob Richter.

April 21. 1902

To the Director of the British Museum.

30. Holford Square. Pentonville W. C.

Sir,

j beg to apply for a ticket of admission to the Reading Room of the British Museum.

j came from Russia in order to study the land question, j enclose the reference letter of Mr. Mitchell.

Believe me, Sir, to be

Yours faithfully Jacob Richter.

April 21. 1902

To the Director of the British Museum[1].

Проходит целых три дня. Большой срок для английского обычая отвечать тотчас же. Почему такая задержка? Приложенная к заявлению Ленина рекомендация И. Х. Митчелла как будто в порядке. Вот она, днем раньше написанная:

April 20

Dear Sir,

I have pleasure in recommending Mr. Jacob Richter LLD, St. Petersburg for admission to the Reading Room. My friend's purpose in desiring admission is to study the Land Question.

I trust you will be able to comply with this request.

Yours truly

I. H. Mitchell

Gen. Secretary General Federation of Trade Unions (дальше неразборчиво)[2].

168 Temple Chambers
Templ . . . . . .

---

[1] 30. Хольфорд-сквэр Пентонвиль У. С.

Сэр,

Я прошу о входном билете в Читальный Зал Британского Музея.

Я приехал из России, чтоб изучить земельный вопрос. Я прилагаю рекомендательное письмо г-на Митчелла.

Заверяю вас, Сэр,
в полной преданности
Ваш Якоб Рихтер

Апрель 21. 1902

Директору Британского Музея.

[2] Апрель 20.

Дорогой Сэр,

Я имею удовольствие рекомендовать мистера Якоба Рихтера, доктора прав (из С.-Петербурга) для входа в Читальный Зал. Намерение моего друга, ходатайствующего о допущении,— изучить Земельный Вопрос.

Я уверен, что Вы сможете удовлетворить ходатайство.

Искренне Ваш

И. Х. Митчелл.

Генеральный секретарь Всеобщей
Федерации тред-юнионов
168 Тэмпл Чэмберс
Тэмпл...

Повторяя просьбу своего друга Якоба Рихтера о допущении его к чтению в Ридинг-Рум, Митчелл добавляет к имени Рихтера три буквы, означающие доктора юриспруденции, члена высоко чтимой в Англии корпорации юристов. Повторяет он и причину просьбы — изучить земельный вопрос. Почерк Митчелла довольно небрежен, а чин и адрес проставлены под самым письмом почти неразборчиво. Но причина задержки ответа дирекции не из-за этого. Заявления и рекомендации обычно требуется сопроводить не только служебным, но и своим личным адресом. Тут-то и оказалось «слабое место».

23 апреля он снова дает Ильичу рекомендацию, на этот раз сугубо официальную, не на бумажке с небрежным и неразборчивым почерком, а на печатном бланке федерации, не от руки, а на машинке, с печатью тред-юнионов, изображающей двух мастеров в центре круга, с каким-то рабочим орудием в руках, и сам объясняет задержку:

General Federation of Trade Unions
Chief Office: 168—170, Temple Chambers Temple Avenue
London, April 23d 1902

Sir,

With reference to my recommendation of Mr. Richter for admission to the Reading Room, the difficulty no doubt arises through the street where I reside (Voltaire Street Clapham) being only recently built, and may not yet be in the Directory. I now desire to repeat the recommendation from the above address. Here again however you may not find it correct in the Directory as prior to December 1901 the address was 40 Bridge House, 181 Queen Victoria Str. E. C.: that address will be found in the Directory.

Trust this may be satisfactory. Yours truly

J. H. MITCHELL[1]

---

[1] Всеобщая Федерация Тред-Юнионов.
Главная контора: 168—170 Тэмпл Чэмберс Тэмпл Авеню
Лондон, Апрель, 23, 1902

Сэр,

С моей рекомендацией м-ру Рихтеру для допуска в Ридинг-Рум трудность, без сомнения, произошла из за улицы, где я живу (Вольтер-Стрит, Клапам), только недавно застроенной и, может быть, еще не попавшей в справочник.

Я теперь желаю повторить мою рекомендацию — с упомянутым выше адресом. Вы можете опять не найти его правильным по справочнику, поскольку до декабря 1901 года адрес был 40 Бриджхоуз 181 Куин Виктория-Стр. Е. С.: этот адрес и остался в справочнике.

Надеюсь, это объяснение удовлетворит Вас.

Искренне Ваш И. Х. Митчелл.

Получив новую рекомендацию от Митчелла, Владимир Ильич препроводил ее в дирекцию со своим вторым письмом 24 апреля:

30 Holford Square
Pentonville W.C.

4332

Sir,
In addition to my letter and with reference to Your information № 4332 j enclose the new recommendation of Mr. Mitchell.

Yours faithfully
Jacob Richter.

24 April 1902

Sir,
In addition to my letter and with reference to Your information № 4332 j enclose the new recommendation of Mr. Mitchell

Yours faithfully Jacob RICHTER

24. April 1902[1].

[1] Сэр, в дополнение к моему письму и к Вашей информации № 4332, я включаю сюда новую рекомендацию мр. Митчелла.

С полным уважением Ваш Якоб Рихтер.

24 апреля 1902.

А 29 апреля, спустя неделю после поданного заявления, Ленин пошел получать свой билет, приготовленный для него еще 25 апреля. Кроме него, получившего в этот день билет вторым по счету, первым, точней первой расписалась Изабелла Мэри Гербель, жившая на Монтэгю-стрит в Блумсбери, рядом с Британским музеем, а третьим, вслед за Ильичем,— Теодор Трэси Норгэйт. Они обязались соблюдать директивы читального зала и дали заверение, что им «не меньше двадцати одного года» — возраст, с которого стали допускать в библиотеку вместо прежних 25 лет.

Что же вычитывается из этой канцелярской переписки, помимо прямого ее смысла? Прежде всего более подробный адрес Ильича. До получения подарка от мистера Фэйрса я имела из мемуарной литературы только общее указание: жил недалеко от станции Кингс-Кросс. А вот, оказывается, сам Ленин написал свой адрес с абсолютной точностью: не так уж близко, в стороне от Кингс-Кросс, в доме № 30 по Хольфорд-сквэр, в районе Пентонвильской тюрьмы. Это уже точное указание, и Ленин словно придвинулся, стал осязаемым, стал увиденным по достоверному месту жительства.

Во-вторых, что там ни говори, а в Лондоне 65 лет назад можно было жить под любым именем и работать в государственной библиотеке, не предъявляя паспорта. Замечательно, что и сейчас, даря мне снимки с документов и показывая приблизительное место, где сидел Ильич, мистер Фэйрс совершенно просто, мимоходом, как нечто обыкновенное и отнюдь не предосудительное, упомянул, что Ленин «жил в Лондоне под фамилией Рихтера». Жил — и никто его не беспокоил.

В-третьих, тут, может быть, я слегка фантазирую, объясняя не совсем обычную манеру Владимира Ильича в английском написании буквы «и». Дело в том, что столбик английской буквы «и» (J) равносилен у нас прежнему русскому написанию так называемой «и с точкой», а в своем гордом прямолинейном одиночестве означает у англичан местоимение личное — «я». И пишется это «я» («ай») англичанами всегда с большой буквы, в то время как «вы» — второе лицо, вежливо проставляемое у нас с большой буквы (Вы), у англичан пишется с маленькой. Но навязчивый столбик «ай» не только пишется заглавною буквой, а и не может быть заменен в английской

речи одним глаголом без «я», как у нас: «прошу», «говорю», «хочу». По-английски надо обязательно сказать: «я прошу», «я говорю», «я хочу»; и в рассказе от первого лица это «я» перед многочисленными обозначениями действия всегда торчит, как частокол, предваряя глаголы и надоедая своим повторением. Но пропускать и не писать его было бы в английском языке простой неграмотностью, и Ленин не мог убрать или уменьшить число своих «я» из коротенького письма. В первом же заявлении, состоящем из семи строк, ему пришлось употребить его три раза и притом не в середине (как бы мимоходом), а в самом начале речи: «Я прошу», «Я приехал», «Я включаю».

И вот теперь я подхожу к той маленькой странности Ильича, о которой упомянула выше. Дело в том, что «и с точкой» пишется с точкой лишь в маленькой букве, а когда она большая, то есть заглавная, ставить над ней точку не принято. Я не видела нигде и никогда, ни в одном европейском факсимиле (автографе), чтоб кто-либо ставил над заглавной латинской буквой «и» (столбиком, похожим на единицу) неожиданно крепкую и явственную точку. Англичане пишут свое «Ай» — «Я» — всячески: большим рогом, хлыстом, полукружием, даже всякими закорюками и завихрениями,— но никто, нигде и ни разу, судя по личному моему опыту, не поставил над своим большим заглавным «и» точку. А вот Ильич в своих заявлениях директору Британского музея, красиво опуская заглавное «ай» под строку, всюду возносил над его головой отчетливую, крепкую, маленькую черную точку. Это удивительно, потому что до Ленина этого никто не делал. Каюсь, для меня, когда думаю и пишу о Ленине или когда его читаю, нет мелочи даже в самомалейшей мелочи. Все хотелось бы объяснить, понять, свести к целому. И тут мне начинает казаться: может быть, выросшее английское «Я» смущало Ленина, доставляло ему чувство неловкости, тем более, когда приходилось «вы» писать с маленькой буквы? Может быть, твердо, с нажимом ставя свою точку над этой вознесенной головой «Я», Ильич хотел поставить его в строй остальных слов фразы, как бы несколько приравнять его к остальному алфавиту маленьких букв?

Когда я поделилась моей догадкой с одним знакомым товарищем в Лондоне, он ответил: «Ну уж это вы приня-

лись фантазировать». Хорошо. Если это совершеннейший плод фантазии, то почему же, почему во втором своем заявлении (от 24 апреля) Ильич, отлично знавший правила английской орфографии, взял да и написал (посмотрите сами!) слово «вашему», никогда не пишущееся англичанами с большой буквы, именно с заглавной, соблюдая русскую манеру:

«...to Your information»

«к Вашему сведению» — ?!!

Можно тут увлечься и написать с три короба о механизме привычек в момент писания, хотя Ильич всегда отлично сознавал, что делает, но это ведь не объяснит явно не случайной, постоянно повторяющейся, отнюдь не общепринятой, а, наоборот, присущей только ему одному манеры ставить с нажимом черную точку везде над заглавной буквой «И».

8

Что же еще можно вычитать из подаренных мне мистером Фэйрсом документов? Самое главное: цель занятий Ленина в Ридинг-Рум. Он написал о ней очень точно: приехал из России, чтоб заняться изучением земельного вопроса; и Митчелл в своей рекомендации подтвердил, что Якоб Рихтер намеревается читать в библиотеке по земельному вопросу, только, как истый англичанин, снабдил эти два слова заглавными буквами.

Начало двадцатого века, время первой эмиграции Владимира Ильича, было для него очень напряженным, а для читателей произведений Ленина, писанных в те годы (1901—1903), исключительно интересным. Напряженным оно было, как у бойца передового фронта в момент боя: атакуя и отражая атаки на все четыре стороны, Ильич страстно боролся с приверженцами стихийной практики,— «экономистами» «Рабочего дела»; с левацкою фразой тех, кто получит позднее название ликвидаторов; с правеющими все более и более плехановцами, будущим лагерем «меньшевиков»; и с опасным дилетантизмом эсеров, бесшабашно возрождавших народничество и терроризм. Буквально мечом и стилетом сверкает проза Ленина в этих атаках. Ответственнейший момент в истории революции — создание программы молодой

русской социал-демократической партии! Если мы заглянем хотя бы только в список работ Ленина, падающих на эти годы, мы увидим, как он бьется за точность теории, за выковку основных теоретических положений — в борьбе с бесконечными, осаждающими его со всех концов уклонами. Подобно скале среди встречных бурунов, встает его капитальный труд «Что делать?», казалось бы, сотканный из полемики «текущего момента», а на самом деле незыблемый во все времена, удивительно злободневный и для нашего времени. Свыше восьми статей «Материалов к выработке программы РСДРП». Огромное количество писем, ответов на письма, небольших статей в «Искре». «Аграрный вопрос и «критики» Маркса»; «Аграрная программа русской социал-демократии»; конспекты лекций «Марксистские взгляды на аграрный вопрос в Европе и в России». Наконец, брошюра «К деревенской бедноте. Объяснение для крестьян, чего хотят социал-демократы» — около двухсот тридцати пяти убористых страниц только об одном аграрном вопросе. И уже по заглавиям можем мы догадаться, как много читал Ленин по аграрному вопросу и что именно мог заказывать в Библиотеке Британского музея.

Он подходил к своей теме очень широко. Всю западную литературу требовалось привлечь, чтоб показать положение земельного вопроса на Западе и у нас; отношение к нему марксистов на Западе и у нас; критику Маркса на Западе и у нас. Как всегда бывает у подлинного творца, вершиной этих огромных знаний, огромного чтения с карандашом в руках (как читал Ильич), глубинного освоения темы, рождается простота, солнечная простота, несущая в себе все краски спектра слиянно,— брошюра, адресованная простому, малограмотному и вовсе неграмотному читателю — русскому крестьянину. Надежда Константиновна пишет: «Из работ, которые не нервировали Владимира Ильича в Лондоне, а дали ему известное удовлетворение, было писание брошюры «К деревенской бедноте»[1].

Чтоб правильно понять всю ярость борьбы Ленина в те годы (1901—1903), нужно хорошо помнить лицо и суть направлений (или уклонов), с которыми он боролся,

---

[1] Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине. Партиздат, 1933, стр. 67.

и поэтому ясно видеть, чем они грозили развитию революции на Руси.

Термин «экономисты» неудачен. Ленин принимал его с оговорками и ставил в кавычках. Дело в том, что слова «экономист», «экономизм» ассоциируются в головах у читателей с чем-то кабинетным, книжным, теоретичным и уважающим теорию. А на деле было как раз наоборот. «Экономистами», группировавшимися вокруг «Рабочего дела» и «Рабочей мысли», были те, кто считал главным практическую борьбу за экономические требования рабочих и шел в хвосте стихийного развития рабочего движения. По самой своей цели «экономисты» суживали деятельность революционера в России. По самой своей узости они ставили во главе движения кустарничество рабочих масс, действия самих рабочих, стихийные вспышки и стачки. Словом, все, что ограничивалось борьбой за улучшение жизни рабочего класса. И только. Такая узость губила все движение в целом, сводила его к буржуазному тред-юнионизму. Против такой узости Ленин метал свои молнии, подчас очень жестокие: «...на стоячей воде «экономической борьбы с хозяевами и с правительством» образовалась у нас, к несчастью, плесень, появились люди, которые становятся на колени и молятся на стихийность, благоговейно созерцая (по выражению Плеханова) «заднюю «русского пролетариата» [1]. Не кустарничество, не одна лишь узкая борьба за лишнюю копейку от хозяев — рабочему движению надо было вдохнуть высокие политические задачи: свержение царизма, великую цель всенародного скачка из азиатского самодержавия в мир более свободных и развитых государственных форм; а для этого не плестись в хвосте у стихийности, а идти с проповедью социализма, «уметь устраивать собрания с представителями всех и всяческих классов населения, какие только хотят слушать демократа. Ибо тот не социал-демократ, кто забывает на деле, что «коммунисты поддерживают всякое революционное движение», что мы обязаны поэтому *пред всем народом* излагать и подчеркивать *общедемократические задачи,* не скрывая ни на минуту своих социалистических убеждений. Тот не социал-демократ, кто забывает на деле о своей обязанности

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 6, стр. 107.

быть *впереди всех* в постановке, обострении и разрешении *всякого* общедемократического вопроса»[1].

Он обрушивается на тех, кого называет влюбленными в мелкое кустарничество, напоминая им о широте и героизме прошлого: «Вы хвастаетесь своей практичностью, а не видите того, знакомого всякому русскому практику факта, какие чудеса способна совершить в революционном деле энергия не только кружка, но даже отдельной личности. Или вы думаете, что в нашем движении не может быть таких корифеев, которые были в 70-х годах?»[2].

Он размаскировывает «экономистов» в самом главном — в неумении из-за пренебрежения к теории правильно решать даже практические задачи: «Эти люди, которые без пренебрежительной гримасы не могут произносить слово: «теоретик», которые называют «чутьем к жизни» свое коленопреклонение пред житейской неподготовленностью и неразвитостью, обнаруживают на деле непонимание самых настоятельных наших *практических* задач... это буквально такое же «чутье к жизни», которое обнаруживал герой народного эпоса, кричавший: «таскать вам не перетаскать!» при виде похоронной процессии»[3].

Он дает, наконец, ужасный по своей беспощадности портрет русского «экономиста»:

«Дряблый и шаткий в вопросах теоретических, с узким кругозором, ссылающийся на стихийность массы в оправдание своей вялости, более похожий на секретаря тред-юниона, чем на народного трибуна, не умеющий выдвинуть широкого и смелого плана, который бы внушил уважение и противникам, неопытный и неловкий в своем профессиональном искусстве,— борьбе с политической полицией,— помилуйте! это — не революционер, а какой-то жалкий кустарь»[4].

Читаешь эти страстные бичевания — и в памяти невольно встает латинская классика, речи Цицерона против Катилины — по их построению, гневу, ледяному огню. Но Ильич — это Ильич, он не менее беспощаден к себе самому.

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 6, стр. 83. Выделено всюду Лениным.
[2] Там же, стр. 107.
[3] Там же, стр. 105—106.
[4] Там же, стр. 127.

Выше я назвала произведения Ленина этих лет, 1901—1903, особенно интересными для чтения. Они особенно интересны потому, что Ленин, страстный полемист — в противоположность многим другим писателям-полемистам и даже в противоположность жанру литературной полемики,— с величайшей редкостью, почти в единичных случаях допускал то, что мы называем «личными моментами»,— ссылку на какой-нибудь случай из собственной жизни, пример личного опыта, противопоставление себя: «а вот у меня», «а я в таких случаях», «мне приходилось» и т. д. Искать что-нибудь личное у Ленина — все равно, что искать иголку в стоге сена. По его книгам нельзя составить не только биографии, но даже хотя бы странички из его биографии. Однако в годы 1901—1903 эта поразительная скупость на все личное вдруг покидает Ленина.

Тотчас же после грозного обвинения в адрес «экономистов» он обращает это обвинение против себя: «Пусть не обижается на меня за это резкое слово ни один практик, ибо, поскольку речь идет о неподготовленности, я отношу его прежде всего к самому себе»[1]. И дальше буквально пронзает читателя место, совсем непохожее на обычные страницы Ленина, место, содержащее внезапный, полностью открытый перед нами «личный момент», не защищенное ничем окно во внутренний мир Ильича:

«Я работал в кружке*, который ставил себе очень широкие, всеобъемлющие задачи,— и всем нам, членам этого кружка, приходилось мучительно, до боли страдать от сознания того, что мы оказываемся кустарями в такой исторический момент, когда можно было бы, видоизменяя известное изречение, сказать: дайте нам организацию революционеров — и мы перевернем Россию! И чем чаще мне с тех пор приходилось вспоминать о том жгучем чувстве стыда, которое я тогда испытывал, тем больше у меня накоплялось горечи против тех лжесоциал-

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, Том 6, стр. 127.

* В. И. Ленин имеет в виду возглавлявшийся им кружок петербургских социал-демократов («стариков»). На его основе в 1895 году был создан «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Примечание редакции Сочинений, Том 6, стр. 498.

демократов, которые своей проповедью «позорят революционера сан», которые не понимают того, что наша задача — не защищать принижение революционера до кустаря, а *поднимать* кустарей до революционеров» [1].

В разгаре борьбы на все четыре стороны он, как мы видим, не щадит и себя, не ищет смягчающих выражений, беспощаден, свиреп на слова, бьет наотмашь. Не менее беспощаден он и к «сползающим» теоретикам — будущим меньшевикам. Плеханов в те годы — еще огромный авторитет для него, учитель. Но вот перед нами первый проект Программы партии, предложенный Плехановым. Слева — двенадцать параграфов этого проекта, справа — замечания Ленина. Только два из двенадцати, очень коротеньких — седьмой в 7 строк, десятый в 5 строк,— остались у Ленина без критики; зато к первому параграфу Ленин делает 5 замечаний, ко второму — 5, к третьему — 3, к четвертому — 2, к пятому — 5, к шестому — 4, к восьмому — 2, к девятому — одно (но какое!), к одиннадцатому — 3, к двенадцатому — 5 — итого 35 замечаний. В них поражают своей резкостью такие выражения: «весьма непопулярно, абстрактно», «к чему повторение?», «слишком узко», «надо назвать прямее. Непопулярно»,— а всю десятую страницу параграфа девятого Ленин убил единственным словечком «nil» (nihil) — ничто, пустышка [2]. Можно себе представить, как обиделся Плеханов!

Необычайно поучительны сейчас для мыслителя и особенно для писателя эти страницы Плеханова с карандашными поправками Ленина. Перед нами от этих поправок плехановские страницы вдруг потухают, стираются резинкой, предстают небрежным наброском ума равнодушного, руки неряшливой, как если б для учителя русских социал-демократов содержание Программы партии не требовало особо точной формы, а было чем-то вроде официального канцелярского документа. А каждое слово Ленина — алмаз по стеклу, неоспоримый урок мастерства точной прозы. О втором варианте Программы, предложенном Плехановым, Ленин дал еще более резкий отзыв. Перечислив «четыре основных недостатка»,

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 6, стр. 127. Выделено Лениным.

[2] Там же, стр. 238.

проникающих собою весь проект и делающих его «совершенно неприемлемым», он заключает свою критику словами: «Проект постоянно сбивается с программы в собственном смысле на *комментарий*. Программа должна давать *краткие*, ни одного лишнего слова не содержащие, *положения*, предоставляя *объяснение* комментариям, брошюрам, агитации и пр.» [1].

Если Владимир Ильич не мог, борясь за точность формулировок, пощадить даже Плеханова, можно представить себе, как не щадил его алмазный резец многословия и пустословия вокруг важнейших вопросов теории. Казалось бы, борьба с какими-то миллиметрами. Но проводится водораздел между теми, кого поздней размежует съезд на большевиков и меньшевиков. «От упрочения того или другого «оттенка» может зависеть будущее русской социал-демократии на много и много лет»,— писал Ленин в «Что делать?» еще до переезда в Лондон [2]. Тот или иной «оттенок» мог просочиться в программу в одном-единственном слове, как это было, например, со словечком «выкуп» в споре, возвращать ли крестьянам «отрезки» с выкупом или без выкупа. В ранней моей юности, еще подростком, мне довелось в дачном вагончике швейцарской железной дороги услышать этот яростный спор между соседями — двумя русскими эмигрантами и долго потом допытываться, что же это такое — таинственные «отрезки»... Ленин всей силой логики обрушился на слово «выкуп» в «Поправке к аграрной части программы» в апреле 1902 года. Он считал, что допущение этого слова д е г р а д и р у е т революционное значение возврата отрезков крестьянам до простой либеральной реформы. Он назвал выкуп равнозначным слову «покупка», а значит, носящим «специфический привкус пошло-благонамеренной и буржуазной меры». Он прибег к слову «пакость»: «Ухватившись за *допущение* нами выкупа, не невозможно испакостить всю суть нашего требования (а пакостников для этой операции найдется более чем довольно)» [3]. Вчитайтесь: одно только «допущение» (а не прямой закон о выкупе), в результа-

---

[1] В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений. Том 6, стр. 238.
[2] Там же, стр. 24.
[3] Там же, стр. 239—240. Выделено Лениным.

те которого одна только «не невозможная» (вместо «возможная» или «неизбежная») порча программы — иначе сказать, одна лишь щель для проскальзывания «оттенка» в программу — может повлиять на всю дальнейшую судьбу русской социал-демократии!

Я привожу все эти примеры, потому что за «словесной» борьбой стояла жизненно важная ленинская борьба,— как говорится, не на жизнь, а на смерть — за бытие социализма на Руси. Весь лондонский период жизни Ленина прошел в этой борьбе. Но, кроме леса «уклонов», среди которого приходилось ему прорубать дорогу, стеной наступали на Ильича личные на него нападки. Человека, вошедшего в нашу эпоху безмерно деликатным и скромным, чутким и добрым, простым и равным — и любимым за это как никто другой на земле,— этого человека в чем только ни обвиняли! В антидемократизме, догматизме, насилии над чужим мнением, желании диктаторства, зажиме критики, «литературщине» * и даже horribile dictu** — в создании культа своей персоны! Но на личные нападки Ильич отвечал почти равнодушно и даже с иронией. Когда кто-то спросил у него, что представляет собой группа «Борьба», он ответил репликой в «Искре», что это бывшие сотрудники «Зари», несколько статей которых редакция отклонила. Тогда они выступили в печати, «жалуясь на наш «недемократизм» и ратуя даже... против Personencultus! Как опытный человек, вы уже из одного этого, бесподобного и несравненного, словечка поймете, в чем тут суть»,— пишет Ильич и отсылает своего корреспондента посмотреть относительно «демократизма» в «Что делать?»[1]. Кстати сказать, «Personencultus»*** — словечко немецкое. Переведя его у нас как «культ личности», мы лишили это слово его более узкого и мелкого смысла. В точности оно означает «персональный культ». Это далеко не совпадает со словом «личность», имеющим в нашем понимании более положитель-

---

* До этого додумался Л. Надеждин в брошюре «Канун революции» (у Ленина упомянуто в томе 5, стр. 460).

** Страшно сказать *(лат.)*.

[1] В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений. Том 6, стр. 359.

*** «Личность» в русском понимании этого слова больше соответствует немецкому «Persönlichkeit», а не «Person», означающее «особу», «персону».

ный и глубокий смысл, чем «персона», которая может и не быть личностью, а претендовать на культ по своему служебному положению. Применение этого немецкого словечка к Ленину было не только оскорбительно — оно было смешно по своей нелепости. Вот почему Ленин иронически назвал его «бесподобным и несравненным». Но личные нападки не могли все же, вплетаясь в идейную борьбу, не запутывать этой борьбы, не изводить и не мучить его. «Нервы у Владимира Ильича так разгулялись, что он заболел тяжелой нервной болезнью — «священный огонь», которая заключается в том, что воспаляются кончики грудных и спинных нервов» [1],— писала в конце лондонского периода Надежда Константиновна.

И все же, опять повторяю, Ленин любил Лондон, любил свое пребывание в Лондоне, свой стол в Библиотеке Британского музея, за которым так отчеканенно-ясно, так легко писалась его работа «К деревенской бедноте» — сгусток почти годового чтения «по земельному вопросу». Когда вся группа «Освобождение труда» во главе с Плехановым стала настойчиво требовать перенесения «Искры» в Женеву и всеобщего переезда в Швейцарию, Ленин долго сопротивлялся. Он не хотел переезжать из Лондона в Швейцарию. И до самого конца «один только Владимир Ильич голосовал против переезда туда» [2].

9

«Личные моменты» в произведениях Ленина особо заметны как раз в этот лондонский период. Они помогают понять ту внутреннюю диалектику его писаний, какая попросту ускользает от читателя, прошедшего через старые формы нашей обязательной партучебы. Была у нас такая «выборочная» манера — «задавать» Ильича кусками: не всю книгу, а «от — до». Работы Ленина делились для нас на места «более важные» и «менее важные», и читать надо было только самые важные — отмеченные группы страниц, иногда отдельные страницы книги и даже отдельные абзацы в страницах. Мне, например, ка-

[1] Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине. Партиздат, 1933, стр. 66.
[2] Там же.

залось, что я наизусть знаю «Что делать?» — еще бы: «сдала на экзамене» (слово-то какое: «сдать»!). Но, прочитав перед занятиями в лондонской Библиотеке Британского музея томы 5-й и 6-й четвертого издания, убедилась, как эта особая внутренняя ленинская диалектика вся ушла сквозь пропущенные школьной партучебой страницы, словно рыба через слишком большие ячеи рыбачьей сети.

Особое, не всегда и не всем заметное качество произведений Ленина — это, как я считаю, диалектическое соотношение знака времени и места, то есть фактора сугубо исторического, который нельзя отнести или применить ни к какому другому времени и месту без искажения его смысла,— и фактора абсолютно истинного, предельно правильного, который будет истинным и правильным в применении к любому времени и месту. Казалось бы, например, сугубо исторично все то, чего требовал Ленин от своих товарищей, оставшихся в России, в цитированном мною выше лондонском письме Ф. В. Ленгнику «Несколько мыслей по поводу письма 7 ц. 6 ф.», написанном вдобавок «не для печати». Но вот же формула «d o u t d e s», извлекаемая из слов, взятых Лениным в скобку и как бы отделенных этим от текста: «(Никто и никогда ничего вам не д а с т, ежели не сумеете б р а т ь: запомните это.)», как я уже показала читателю, носит вневременный, абсолютный характер.

В том же письме, кстати, есть еще одна драгоценная ленинская мысль, далеко выходящая за пределы времени и места и, к сожалению, совсем не обратившая на себя внимания наших издателей и редакторов. С течением лет мы всё ускоряем процесс погони за н о в ы м и авторами и н о в ы м и книгами старых авторов, считая как будто духовную пищу совершенно адекватной пище кулинарной, где свежесть продукции — требование каждодневное. Революционеры в России в самом начале века (1901—1903) тоже требовали от Ильича новых и новых брошюр новых и новых авторов, они называли то, что им шлют из-за границы, «старьем». Ильич яростно отвечает, опять же отделяя свои слова от общего текста тем, что опускает их в сноску:

«Это старо! — вопите вы. Да. Все партии, имеющие *хорошую* популярную литературу, распространяют старье: Гэда и Лафарга, Бебеля, Бракке, Либкнехта и пр.

по десятилетиям. Слышите ли: по десятилетиям! И популярная литература *только та и хороша, только та и годится,* которая служит *десятилетия*. Ибо популярная литература есть ряд *учебников для народа,* а учебники излагают азы, не меняющиеся *по полустолетиям*. Та «популярная» литература, которая вас «пленяет» и которую «Свобода» и с.-р. издают пудами ежемесячно, есть *макулатура* и *шарлатанство*. Шарлатаны всегда суетливые и шумят больше, а некоторые наивные люди принимают это за энергию»[1].

Тоже как будто о конкретном случае времени и места. Но оглянемся, призадумаемся: пятьдесят лет жизни, как минимум, для брошюр, для учебников... Ну, а вершины советской литературы, сумевшие запечатлеть а з ы новой жизни общества,— разве не стали они сейчас недоступной редкостью, затопляемой все новой и новой литературой? И разве долгая жизнь одной хорошей книги старого автора, как пламя костра поддерживаемая переизданиями, не лучше, чем десять менее ценных, менее удачных книг новых авторов? Я, может быть, преувеличиваю, но процесс о с в о е н и я хорошей книги не тысячью-другой читателей, а миллионными народными массами был, несомненно, дороже Ленину, чем непрерывная погоня за новым и новым, неусвояемым, недолговечным, «макулатурным».

Освоение—процесс творческий. Он не должен, не смеет стать механическим. Вспоминается мне первое наше знакомство с Лениным, задолго до сложившихся форм партучебы. То были годы выхода первого издания его сочинений, в еще очень бедных, светло-палевых, гнущихся под руками обложках. Помню, когда раскрылись передо мною эти тома, я испытала не то страх, не то разочарование: все в них мне показалось движущимся, возражающим, отвечающим на возражения — сплошь полемическим, и только полемическим, и, честно говоря, я не знала, как это все уляжется в моей голове, да и как за это попросту взяться. Закончив в дореволюционное время историко-философский факультет, где главными моими учителями были идеалист Челпанов и юмист Н. Д. Виноградов, я привыкла видеть истины неподвиж-

[1] В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений. Том 46, стр. 270 (сноска).

ными, как звезды в ночном небе, все равно, даются ли они абсолютными у идеалиста или предметом для сомнения у скептика. Но тут «небо в звездах» закружилось над моей головой, мысли в ней сталкивались, как отраженные от удара мечом, рождались от других таких ударов, и было неизвестно, существуют ли они сами по себе, вне ударов и без ударов о чужие мысли, есть ли вообще абсолютные утверждения в сплошной полемике, как их искать, где их искать, что́ это за метод — полемически раскрывать перед человечеством новую систему?

И вот, очутившись впервые перед полемической манерой Ленина, я решила — с нахальством новичка — «оправдать» ее перед собой, ища какое-нибудь сравнение с прошлым, с классической философией. Мне уже было известно (и страшно нравилось!), что Ленин любил классическую латынь (мне тоже пришлось в свое время «сдавать» латынь и греческий), а кто-то из писателей, кажется, Сергей Третьяков, нашел даже в прозе Ленина сходство с латинским синтаксисом. И тут вдруг «звезды в небе» перестали надо мной кружиться и остановились. Я вспомнила Платона. А Федр, а Феэтет, а Симпозион, а Федон, а Тимей Платона, из которых человечество извлекло позднее стабильные истины,— разве они не были диалогами, ударами меча о меч, вопросами и ответами? А любимые мною «Беседы о торговле зерном» аббата Галиани — разве не были они на границе диалектического материализма своими полемическими зигзагами вопросов и ответов? Разве в поэзии не выросла трагически из полемики человека с дьяволом, Мефистофеля с Вечно-Женственным, бессмертная вершина человеческой мысли — «Фауст» Гёте? Тот самый «Фауст» Гёте, томик которого, единственный из художественной литературы, кроме еще стихов Некрасова, взят был Ильичем в далекий путь своей первой долгой эмиграции? И вообще разве полемика — не главный метод для оттачивания своей истины, своей философской позиции с древнейших времен? Так, подкрепив себя Платоном, Галиани и вечной своей любовью к Гёте, я стала вчитываться в первое издание Ленина, со страницы на страницу, подбирая искорки от ударов его меча, выписывая их для памяти. И только многие годы спустя научилась понимать звезды-искорки в их глубокой связи с целым — со всем, что писал Ильич.

Я говорю с читателем откровенно, потому что лишь так можно говорить о чтении Ленина. В те годы, двадцатые, мы все были смелее в своем мышлении, и не только наедине с собой. Это были священные для меня годы глубокого увлечения молодежи и людей моего возраста теорией. Красота и увлекательность теорий была огнем, пожиравшим наши сердца в вузах, на рабфаках, в специальных школах, какой была, например, Плановая академия, куда я поступила, чтоб переучиваться. Изумительная, музыкальная прелесть второго тома «Капитала» Маркса поглощала меня вечерами, как никакое другое наслаждение от искусства. Диалектический материализм в «обращении капитала» воспринимался как художественный, как фуги Баха. На кафедре математики читала в то время лекции профессор Яновская, а мы бегали слушать ее и пьянели от изложения математических тетрадей Маркса, где Маркс бросил мысль о «нуле» как не о нуле, потому что, если б ноль был только ноль, от него невозможен был бы переход к единице... Больно и жалко видеть, как далеки многие из современных молодых людей от этого пьянящего увлечения человеческой мыслью!

Но виноваты в этом отчасти мы сами. Научить человечество мыслить по-новому, раскрыть перед ним все безмерное богатство идей Ленина — дело великого умения и великого горения. Есть времена, когда теория, всякая теория, мертвеет, слеживается в догму, превращается из яркого, пронизанного жизнью учения в сухой и черствый катехизис; есть времена, когда начетническое, неумное и равнодушное, слепое и начальственное отношение к теории, как к оружию для тормоза мысли, вызывает резкую ответную реакцию у людей и особенно у молодежи — против всякой теории, за стихийное «нутро». А у нас в России соблазны «нутра» всегда были особенно сильны. Они принимали формы бакунианства, эсеровства, анархизма, терроризма, нечаевщины, ухода с головой в практику, какой вырождается в «проповедь мелких дел», в тред-юнионизм, в постепенное схождение самого действия на нет, к положению, когда «гора родила мышь». И, наконец, еще хуже, еще опаснее: ухода в западные идеологии бессознательного и подсознательного, эти психологические синонимы стихийного.

Ставить знак равенства между подсознательным, бессознательным и стихийным может на первый взгляд показаться неверным или необоснованным. Но роднит их одно: они находятся вне сознания, за скобками процесса сознания. Та «внутренняя диалектика» в произведениях Ленина, особенно в период первой эмиграции, о которой я говорю выше, медленно подводит читателя к этому выводу.

«Что делать?» — неисчерпаемый источник мыслей — мы привыкли воспринимать как борьбу за создание организации революционеров, четко и твердо знающих теорию социализма и несущих эту теорию в массы. Но самый ход утверждений Ленина и особенности его борьбы за теорию изучались (если изучались) гораздо меньше. Между тем полное раскрытие всех логических путей мышления Ленина в этой удивительной книге, раскрытие брошенных им там и тут, как бы на ходу, идей, заключенных в сноски или скобки, могло бы, мне кажется, само по себе стать могучим философским оружием в нашем поединке с современной западной философией.

Есть один драгоценный, взятый из опыта, «личный момент» Ильича — в сноске, казалось бы, имеющей сугубо практическое значение, под текстом, тоже сугубо практическим, относящимся все к той же теме неподготовленности русского революционера к четкой организационной работе. Он, этот «личный момент», особенно близок нам, писателям.

«Как сейчас помню свой «первый опыт»,— пишет Владимир Ильич в этой сноске,— которого бы я никогда не повторил. Я возился много недель, допрашивая «с пристрастием» одного ходившего ко мне рабочего о всех и всяческих порядках на громадном заводе, где он работал. Правда, описание (одного только завода!) я, хотя и с громадным трудом, все же кое-как составил, но зато рабочий, бывало, вытирая пот, говорил под конец занятий с улыбкой: «мне легче экстру проработать, чем вам на вопросы отвечать!»[1].

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 6, стр. 152 (сноска).

В той же сноске он делает вывод из опыта, которого «никогда бы не повторил». Называя способ неподготовленного «внедрения в жизнь» и опроса самих рабочих «нелегальным», поскольку он запрещался и преследовался полицией, а чтение множества выходящих тогда и не запрещенных цензурой печатных книг «легальным материалом», Ленин разъясняет дальше: «...мы понапрасну тратим массу сил революционера (которого в этом легко заменил бы легальный деятель) и все-таки никогда не получаем хорошего материала, ибо рабочим, знающим сплошь да рядом только одно отделение большой фабрики и почти всегда знающим экономические результаты, а не общие условия и нормы своей работы, невозможно и приобрести таких знаний, какие есть у фабричных служащих, инспекторов, врачей и т. п. и какие в массе рассеяны в мелких газетных корреспонденциях и в специальных промышленных, санитарных, земских и пр. изданиях» [1]. Значит ли это, что не надо «внедряться в жизнь», а лучше изучить вопрос по книгам? Нет, конечно. Необходимо и то и другое. «...следовало бы собирать и систематически группировать *легальный* и нелегальный материал» [2]. Но слово «легальный» Ленин подчеркивает, и это к нему он пишет приведенную мной выше сноску, давая читателю заглянуть в интимный уголок своей памяти, где невольно заговариваешь от первого лица.

«Легальный», то есть печатный, материал Ленин выделяет и подчеркивает не потому, что считает его более важным, а потому, что «экономисты», с которыми он яростно спорил в «Что делать?», на первое место для революционера ставили стихийные движения самих рабочих, практическую борьбу их за лучшие условия труда, и отсюда естественно вытекал неизбежный эмпиризм «экономистов», снижение ими значения теории, малая теоретическая подготовка, иронический попрек «книжностью» в сторону Ленина и ленинцев. Подчеркнутое Лениным слово «легальный» означало не преимущество книги перед «опросом рабочих», а недостаточное внимание к книге у экономистов, увлеченных потоком «стихийности» и «практицизма»: «...мы особенно отстали в умении системати-

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 6, стр. 152 (сноска).

[2] Там же, в тексте. Выделено Лениным.

чески собирать и утилизировать его» [1],— пишет Ленин о печатном материале в том же тексте. Опять это скромное, человечное, ленинское «мы», приписывание общего недостатка и себе, хотя сам Ильич еще в тюрьме и в далеком Шушенском настойчиво запрашивал и читал всевозможные статистические сборники, поглощен был этим «легальным материалом» и, главное, блестяще умел его классифицировать и использовать.

Но не только на книгу, как на источник общего, подготовительного знания перед «внедрением в жизнь», указывает Ильич «экономистам». В полемике с апологетами нутра и стихийности он напоминает им, что ведь теоретическое рождение социализма возникло отнюдь не из стихийности революционного движения,— социализм привнесен этому движению извне; и не самими рабочими, а мыслящей интеллигенцией и даже — Ленин не убоялся сказать — «буржуазной» интеллигенцией, поскольку никакой другой тогда еще не существовало.

«Учение же социализма выросло из тех философских, исторических, экономических теорий, которые разрабатывались образованными представителями имущих классов, интеллигенцией. Основатели современного научного социализма, Маркс и Энгельс, принадлежали и сами, по своему социальному положению, к буржуазной интеллигенции. Точно так же и в России теоретическое учение социал-демократии возникло совершенно независимо от стихийного роста рабочего движения, возникло как естественный и неизбежный результат развития мысли у революционно-социалистической интеллигенции» [2].

Высокую роль революционной интеллигенции как носительницы с о з н а н и я Ленин подчеркнул в ответ на принижение роли теории у своих противников.

Казалось бы, спор этот носил чисто политический характер, исчерпываясь теми положениями, какие мы заучивали в нашей обязательной партучебе. Но присмотримся, прислушаемся, углубимся в читаемое. Ленин страстно спорит. Он наносит удары. И вдруг он останавливается и останавливает нас в чтении, целиком приводя главное обвинение противника против себя самого. Он не только приводит целиком это главное обвинение. Он его

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 6, стр. 152 (сноска).

[2] Там же, стр. 30—31.

подчеркивает. Вчитайтесь, как вчитался в него сам Ленин:

«Обвинительный тезис «Рабоч. Дела» (органа «экономистов».— **М. Ш.**) гласит: *преуменьшение значения объективного или стихийного элемента развития»* [1]. До сих пор «стихийность» противопоставлялась «экономистами» всем теоретическим формам сознательности. Но тут, в этой главной формуле обвинения против Ильича, его противники отождествляют «стихийность» уже с «объективным элементом развития». Стихийность становится самою природой, жизнью, приматом, а значит, чем-то противоположным сознанию. На одном полюсе — «субъект», «сознание», на другом — бессознательное, природа, объективный элемент развития.

Может быть, именно слово «объективный», отождествление стихийности рабочих масс с самой природой, с объектом — и остановило внимание Ильича настолько, что заставило привести все обвинение и подчеркнуть его. Понятие «объективный элемент развития», противостоящее сознательности, переводило спор из пределов конкретной политики в область чистой философии.

Но почему я пишу «Ленин остановился, Ленин останавливает нас у этого обвинения»? Потому, что, приведя его, Ленин говорит:

«Мы скажем на это: если бы полемика «Искры» и «Зари» не дала даже ровно никаких других результатов, кроме того, что побудило «Р. Дело» додуматься до этого «общего разногласия», то и один этот результат дал бы нам большое удовлетворение: до такой степени многозначителен этот тезис, до такой степени ярко освещает он всю суть современных теоретических и политических разногласий между русскими социал-демократами.

Вот почему вопрос об отношении сознательности к стихийности представляет громадный общий интерес, и на этом вопросе следует остановиться со всей подробностью» [2].

Мы присутствуем тут при яркой вспышке той самой звездной искры удара меча о меч в полемике, когда проблема конкретного спора переходит в о б щ у ю сферу философии, теряет знак исторического времени и места.

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 6, стр. 29. Выделено Лениным.

[2] Там же.

Ленин охвачен «громадным общим интересом». Он считает, что «на этом вопросе следует остановиться со всей подробностью». И он останавливается. Стихийность не есть статика; стихийность — понятие динамическое. Стихийное движение рабочих масс — это переход от статики бессознательного, внесознательного в некий вид динамики. И Ленин как бы охватывает мыслью всю историю революционных рабочих движений в России от первых вспышек 60-х и 70-х годов. Тогда рабочие в знак протеста еще только «стихийно» бунтовали, разбивая и калеча орудия производства, машины; но стачки 90-х годов, когда сознание рабочих выросло,— это уже не бунты, а значительный шаг вперед в истории рабочего движения. Такой экскурс в прошлое понадобился Ленину как разбег для оформления гигантской мысли, общей мысли, абсолютное значение которой в полной своей мере раскрывается в наше время:

«Это показывает нам, что «стихийный элемент» представляет из себя, в сущности, не что иное, как *зачаточную форму* сознательности»[1].

Знак времени, места, обстоятельств полемики отпадает в этой гениальной формуле, потому что Ленин пишет «в сущности», он говорит о существе предмета. Стихийность, движение бессознательного к действию, не противостоит сознанию. Оно не объект, а лишь начало субъекта,— стихийный элемент — это лишь зачаточная форма сознательности! Можно десятки диссертаций написать на эту формулу, заключенную Лениным в три строки.

11

Обернемся на Запад. Развитие философской мысли на Западе шло в последние десятилетия все к большему и большему утверждению стихийно-бессознательного начала. Когда прочитываешь новые философские работы, начиная с Бергсона, развитие человечества начинает казаться графиком перехода от «беспомощного» разума, ставшего как бы уже бесплодным, к неразработанному

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 6, стр. 29—30.

богатейшему океану бессознательного, «грядущему дню» философии. Тем же путем развивается западное искусство. В нем воцарился Фрейд. Что такое фрейдизм? О нем много писалось и пишется. Пытались писать и у нас. Не сказано было только самое главное: фрейдизм — это вынесение на свет божий того, что великий инстинкт самосохранения человечества сумел тысячелетиями подавлять, вырабатывая предохранители в виде тормозов моральных, запретов юридических и ужаса физиологического перед недозволенным, грешным, чудовищным, приводящим к дегенерации рода человеческого. Раскопав в глубине человеческой психики атавистические отростки древних эмоций, связанных с кровосмесительством («эдипов комплекс»), загнанные в самую глубь беспамятства, Фрейд как бы одним взмахом свел на нет работу тысячелетий над самосохранением биологического вида человека — высшего создания природы, homo sapiens. И это вынесение на свет божий того, что человечество сумело, руководясь самосохранением, подавить,— сделалось у Фрейда предметом изучения, провозглашено прогрессивнейшим, самоновейшим методом самопознания и психотерапии. Развязывание «подсознательного» — это, может быть, самая горькая и обесчеловечивающая нас катастрофа современности. Она приводит и к тому разорванному беспорядку в логике формы, какой стал обычной манерой крайнего западного искусства, и мнимо побеждает своей «стихийностью» опороченное временем ratio, логику разума. Мнимо — потому, что даже у гениальных творцов, соблазненных Фрейдом, таких, как шведский режиссер Ингмар Бергман, в итоге их творческих усилий жизнь обнаруживает не бездонность, а близкое дно, не стихийность, а худосочие обнаженной сексуальности, ее быструю исчерпываемость, ее безбудущность. Эта безбудущность характерна в самых сильных вещах современного искусства.

Бессознательное не бездонно. Оно не противостоит разуму, не имеет своего собственного «будущего», оно лишь почва для роста сознания, «зачаточная форма» сознания. Считать «бессознательное» особым, отдельным качеством психики, существующим вне разума,— огромная ошибка, новый вид того самого вечно меняющего окраску и форму хамелеона «идеализма», с которым всю жизнь

боролся Ленин. Вот это и раскрывается в его простой и ясной формуле, в его удивительно здоровой, жизненной философии.

Но как же сам Ленин? Ведь были же другие времена и другие обстоятельства, где сам Ленин восставал против избытка рассудочности и теоретичности, где он цитировал знаменитый стих Гёте:

Сера, друг, всякая теория
И вечно зелено дерево жизни.

В том-то и весь секрет. Бессознательное, стихийность не есть прогрессивный результат развития бытия и мышления, «океан будущей философии», как это представляется некоторым философам и художникам на Западе, а только младенчество, утренняя пора, исток, зачаточная форма сознательности, по Ленину, и возвращаться к ней временами есть диалектическая потребность для разума, для развивающейся сознательности, как диалектически необходим отдых, как необходимо было для легендарного Антея припадение к матери-Земле. Но испытывающий, эксплуатирующий исследовательский поход в «бессознательное», или «несознательное», как в материал для будущего нашей философии, использование его как новой, более прогрессивной ступени гносеологии — значит истощение и безумный перерасход того, что является истоком и питанием для развивающейся человеческой мысли. Взгляд на «бессознательное» как на что-то, противоположно разуму существующее, как на новый потенциал для построения философских систем грозит человечеству страшной минутой худосочия, когда лопата жестко стукнет о дно, а корень засохнет под деревом и «вечно зеленое дерево жизни» перестанет быть зеленым. Бессознательное надо сугубо беречь от истощения и загрязнения, как берегут люди источники питьевой воды и младенца во чреве матери, потому что оно зачаточная форма нашей сознательности.

Ленин часто припадал к истоку жизни. Его любовь к природе, постоянная тяга к ней хорошо известны человечеству. О любви его к «бессловесным тварям», животным, любви почти детской, говорят фотографии последних лет Ильича в Горках — с котенком, с собакой.

Н. А. Алексеев рассказывает: «Великолепный естественнонаучный музей в Южном Кенсингтоне не произвел на него особенного впечатления, зато лондонский Зоологический Сад весьма ему понравился: живые животные занимали его больше, нежели чучела»[1]. Вечное младенчество и возвращение к нему временами свойственны каждому здоровому человеку. Непосредственного ребенка хранил в себе и наш Ильич. Лучший его портрет — гениальный портрет — оставил нам Горький:

«Он любил смешное и смеялся всем телом, действительно «заливался» смехом, иногда до слез... Коренастый, плотный, с черепом Сократа и всевидящими глазами, он нередко принимал странную и немножко комическую позу — закинет голову назад и, наклонив ее к плечу, сунет пальцы рук куда-то под мышки, за жилет. В этой позе было что-то удивительно милое и смешное, что-то победоносно петушиное, и весь он в такую минуту светился радостью, великое дитя окаянного мира сего, прекрасный человек, которому нужно было принести себя в жертву вражды и ненависти ради осуществления дела любви»[2].

12

Дни моего чтения в Библиотеке Британского музея подходили к концу, и я дорожила в ней каждой минутой. Но вот утром в метро, подобрав забытую кем-то газету «Дейли миррор», я неожиданно вычитала, что сегодня в Сохо, на Дин-стрит, там, где сейчас ресторан «Quo vadis»*, предстоит большое событие. Было еще только девять часов. Событие объявлено на 11 часов. Но все равно, идти в библиотеку, садиться за чтение не стоило. Я вышла из метро, взволнованная и тем, что могла бы пропустить событие, и случайностью, подсунувшей мне вовремя газету, и развернула свой справочник «От А до Z». Сохо — это совсем близко, свернуть в первый же пере-

---

[1] Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Москва. Госполитиздат, 1956. Том I, стр. 218.

[2] М. Горький. В. И. Ленин. Сборник «О Ленине», «Молодая гвардия», 1967, стр. 38—39.

* Камо грядеши (куда идешь).

улок налево по Оксфорд-стрит, прямо против выхода из моей станции Тоттенхем-корт-роуд. Я прошла переулком в Сохо, старый знаменитый уголок Лондона, села в скверике против церкви св. Патрика и еще раз перечитала газету.

Товарищ мой по перу Орестов долго разыскивал в Лондоне квартиры, где жил Карл Маркс. Он поставил вопрос о помещении мемориальной доски на одной из них. Препятствие было не во властях города. Препятствие оказалось в независимости домовладельцев от властей города. Без согласия этих домовладельцев на стенах их домов нельзя было ничего вывешивать. Маркс жил во многих местах. Один за другим домовладельцы, где были его квартиры, отказывались «портить фасады». Согласился только ресторанчик, над которым в верхнем этаже Маркс снимал квартиру несколько лет подряд, где он писал «Капитал», где потерял двух своих детей. Сегодня и предстояло открытие мемориальной доски на фасаде этого дома, Дин-стрит, 28.

Долго высидеть в скверике Сохо было невозможно. Всего несколько шагов вело из него, по переулочку, на Дин-стрит. А когда я очутилась на Дин-стрит, сразу же увидела нужный дом. Ресторан под названием «Quo vadis» занял весь первый этаж. Его большие окна были парадно начищены, столики за ними в новых белых скатертях. На порог то и дело выскакивали официанты — не вылощенные джентльмены в форменных кителях, а что-то, как мне показалось, отчасти даже русское, опоясанное чем-то вроде фартуков,— любопытные, молодые, быстроглазые парни.

К одиннадцати весь тротуар, всю улицу перед домом запрудили люди. Наверху, между вторым и третьим этажами, раскачивалась под ветром небольшая занавесочка, от которой вниз спускалась веревка. Толпа потеснилась. Пожилой человек прошел к стене ресторана. Это был профессор Андрью Ротштейн, хорошо знакомый советским людям директор Библиотеки-музея имени Маркса в Лондоне. Засуетились фотографы, нацелились фотокамеры. Андрью Ротштейн дернул веревку, занавеска свернулась, и мемориальная доска, небольшая, круглая, с именем Маркса, годами его рождения и смерти и годами проживания здесь, открылась очень скромно, совсем не импозантно, даже не особенно разборчиво в надписи. По-

лилась английская речь профессора, очень внятная, очень доступная тем членораздельным, легко постижимым английским языком, каким говорят обычно русские, прижившиеся в Англии. Я радовалась, что слышу и понимаю, радовалась милым, незнакомым, но явно своим людям вокруг, тихому августовскому дню, тому, что попала вовремя, не пропустила и стою на улице, где когда-то тяжело ступал стареющий седокудрый создатель «Капитала», шла легкая Женни, бегали ножки их девочек...

Сблизились время и пространство. И было хорошо думать, что в центре между радиусами Дин-стрит, где жил Маркс, и Хольфорд-сквэр, где жил Ленин,— совсем недалеко друг от друга — находится вечно молодой, нестареющий очаг человеческого познания, вознесенный над временами и политическими волнениями, открытый для пытливой мысли и прилежного изучения, гостеприимно встречающий своего и чужестранца, давший много счастливых часов Ленину — Британский музей с его бессмертной Ридинг-Рум.

Ноябрь—декабрь, 1967,
Переделкино.

УРОК ЧЕТВЕРТЫЙ

РОЖДЕСТВО В СОРРЕНТО

Дорогая мамочка! Шлю большой привет из Неаполя. Доехал сюда пароходом из Марселя: дешево и приятно. Ехал как по Волге. Двигаюсь отсюда на Капри ненадолго.

Крепко, крепко обнимаю. Всем привет!

Твой В. У.

Письмо В. И. Ленина матери от 1 июля 1910 года[1].

I. ГЕНУЯ

1

«Доброе рождество» — Buona Natale,— как его называют итальянцы, наступает по всей Италии, да и по всей Европе, задолго до его собственной даты. Оно встретило меня уже в конце ноября, когда я спустилась из Швейцарии в Италию. Ехала я медленно, помале́ньку, с севера на юг, подолгу останавливаясь в попутных городах, захваченная, по правде сказать, совсем не этими городами, а своей большой темой, мерещившейся мне пока еще в тумане,— разрозненными цитатами, строками из чужого письма, тем притяжением случайностей, когда, как пословица говорит,— на ловца и зверь бежит. Вы глубоко задумались перед вступленьем в работу, вас крепко обняла, как страсть обнимает сердце, одна-единственная тема, пока еще вопросительная, нерешенная,

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 55, стр. 315.

совсем для вас новая, а со всех сторон, словно трава на колесо тележки, вдруг накручиваются и накручиваются подсказки, совпаденья, открытия, неуклонно направляя мысль вашу к решению.

Я ходила по старинным улицам, рассеянно глядя на зазыванье витрин. Над улицами, на цветных полотнищах, огромные буквы оповещали «Buona Natale». Вечером зажигались тысячи цветных огоньков. Шла предрождественская ярмарка. Чего только не выставлялось в окнах! Крохотные деревца из марципана; громадины свечи, витые, в лентах, в блестках; переливы стеклянных шаров, гирлянды золотых цепей и волны серебристой паутины. Только деды в бороде и традиционных колпаках еще не появлялись, час их пока не пробил. Но улицы уже лихорадило этим длинным, на недели растянутым кануном праздника. Даже и то, что все было похоже на наши собственные елочные украшенья, навивалось как-то на колесо моих размышлений. Общечеловеческое, человеческое... Но вот поди ж ты! Такая невозможная — на первый взгляд — цитата. Она уже несколько дней, словно мелодия, ворочалась у меня в голове во всем своем неподобающем, еретическом смысле,— так, по крайней мере, мне тогда казалось под гипнозом усвоенных за десятки лет привычек мышления.

Почти полвека назад в Москве — полуголодной, холодной, полной восторженного чувства новизны и свежести восприятия мира — очень скромно, как всегда в те дни, отмечали пятидесятилетие Владимира Ильича. Московский Комитет РКП(б) устроил 23 апреля 1920 года собрание, на которое пригласили Горького, чтоб Горький сказал свое слово. Глуховатым голосом, немного с задышкой, сперва тихо, потом все громче Горький произнес это чудесное слово, начало которого, когда я перечитала его несколько лет спустя, помню, остановило, недоуменно обидело и — запомнилось с налетом чего-то еретического. Горький сказал:

«Товарищи, есть люди, значение которых как-то не объемлется человеческим словом. Русская история, к сожалению, бедна такими людьми. Западная Европа знает их. Вот, например, Христофор Колумб... И мы можем назвать в Западной Европе целый ряд таких людей — людей, которые как будто играли как бы каким-то рычагом, поворачивая историю в свою сторону. У нас в истории

был,— я бы сказал: почти был — Петр Великий таким человеком для России. Вот таким человеком, только не для [одной] России, а для всего мира, для всей нашей планеты является Владимир Ильич»[1].

Еретическим в ту минуту показалось мне сравнение Ленина — Ленина! — с Христофором Колумбом. Кто такой Христофор Колумб, чтоб сметь его сравнивать с Лениным... Обида окрасилась негодованьем, недоуменьем по адресу Горького, а впереди, в Сорренто, ждал меня месяц работы над заключительной темой книги — главой «Ленин и Горький». Мне хотелось не просто написать эту главу, засев в Сорренто — самом оторванном от родины, самом одиноком в жизни Горького месте, где он писал «Клима Самгина». Мне хотелось для себя решить, что́ эти два человека дали друг другу, за что и почему полюбили друг друга и чем были нужны друг для друга. И вдруг — такое неожиданное сравненье, еще при жизни Ленина сделанное Горьким. Генуя на долгом пути в Сорренто была первой моей остановкой, затянувшейся, может быть, потому, что цитата Горького, как ребус, требовала своей разгадки сразу же, на первом этапе путешествия, в городе, где родился Колумб.

Я понимала, как у импульсивного Горького с его колоссальной памятью-копилкой могло возникнуть, а верней, подвернуться под руку, сравнение с Колумбом. Горький по-своему понимал людей, иногда совершенно не считаясь с историей. Замученного и раздерганного посетителями на Капри, тяжело переживавшего полемику и разрыв Ленина с Богдановым и Луначарским, Марья Федоровна Андреева убедила его поехать попутешествовать на север Италии, чтоб отдохнуть и набраться новых впечатлений. В Генуе, не успев выйти на привокзальную площадь, Горький столкнулся с огромной толпой народа, встречавшей поезд из Пармы с голодными ребятишками бастующих пармских рабочих. Он увидел, как итальянцы, тоже рабочие, разбирали в свои семьи детишек, чтоб их подкормить, а над ними на площади возвышалась статуя Христофора Колумба. И в своем ярком, сердечном очерке, в самом его начале и в конце, он связал эту ста-

---

[1] М. Горький. «50-летие Владимира Ильича Ульянова-Ленина». Собрание сочинений. М. Государственное издательство художественной литературы, 1949—1953. Том 24, стр. 204.

тую с толпою рабочих: «...благородная фигура человека, открывшего Новый Свет...», «...на высоком пьедестале — фигура Колумба, мечтателя, который много пострадал за то, что верил, и — победил, потому что верил. Он и теперь смотрит вниз на людей, как бы говоря мраморными устами: «Побеждают только верующие»[1]. Может быть, в этой романтической характеристике Колумба отразилась тогдашняя полемичность самого Горького, его заступничество за Богданова?

Генуя с ее дворцами и виллами, с сотнями разноцветных флагов в порту, Генуя Великолепная, раскинутая тремя этажами впритык к морю, представилась мне совсем другою. Она казалась городом особенного для Италии духа, городом генуэзца — предпринимателя, мореплавателя, открывателя и — хапуги-филантропа с кающейся католической совестью. Если говорить в общеевропейском плане, то вся она, весь город,— это массивная каменная память огромных человеческих страстей, бешеного эгоизма и неустойчивой романтики.

В первый же день я вскарабкалась на второй этаж этого города, чтоб посмотреть странный средневековый памятник филантропии генуэзских грабителей — «Гостиницу для бедных», «Albergo dei poveri»,— дворец, величаво сходивший ступенями в парк. Он оказался сейчас убежищем для престарелых. С каменных стен его гулких коридоров до сих пор глядят темные полотна старинной живописи, а сами коридоры голы. Служители в фартуках молча развозили по ним на тележках ужин, а по сумрачным углам, беззубо шушукая, сидели старики и старухи,— и старость была тут такая же унизительная, такая же ненужная для живых людей, как, может быть, жалкая бездомная нищета паломников, заполнявших эти стены несколько веков назад. Оттуда я пешком добралась до центра и у ворот Сопрано увидела домик Колумба, каменную глыбу без окон и дверей, похожую на каземат. Окна и двери в ней, впрочем, имелись, но поросли густейшим навесом каких-то мхов. Он был окружен высокой каменной стеной, заглянуть за которую мне удалось, только поднявшись на цыпочки; там был запущенный сад, где

---

[1] М. Горький. «Сказки об Италии». Собрание сочинений. М. Государственное издательство художественной литературы, 1949—1953. Том 10, стр. 14 и 11.

на четырех колонках, под красивым каменным перекрытием стоит бельведерчик... вот и всё. Но нет, не всё: надо еще сказать о Колумбовых кошках.

В этом зеленеющем зимою саду мы вдруг увидели что-то необычное. Одна, две, три... кошки, самые разные, всех цветов, всех возрастов, не три, а тридцать, а может, и триста, в сидячем, лежачем, стоячем положении, серые, белые, дымчатые, черные, тигроватые, с круглыми, как бусины, разноцветными глазами. Бездомные кошки в Италии любят развалины. Я как-то подцепила, снимаясь в Колизее, сиамского бродячего котенка себе на плечо. Но здешние, Колумбовы, держались тут оседло, они были как дома. Подошел старый худощавый генуэзец в очках и шляпе; он снял перчатки, развернул бумажный пакет. Кошки начали вставать, потягиваться и медленно подходить к нему. И генуэзец стал их кормить сырыми рыбками, бросая их через ограду за хвост.

Ночью я долго не могла заснуть после первого дня в Генуе. Колумб, но ведь он даже имя свое не дал открытой им новой стране! Колумб, даже и не знавший, что он такое открывает... Даже и не хотевший открыть новую часть света, а мечтавший о новом ближайшем пути для выгодной морской торговли... Колумб...

2

Я проснулась с твердым намереньем хорошо изучить Геную.

Среди сынов, вылетевших из нее на широкое небо истории, был и такой, как демон-скрипач. Николò (ударение на последнем слоге!) Паганини; и такой, как мечтатель-интеллигент Джузеппе Мадзини, перевернувший страницу в истории своей родины — на дате ее объединения.

Сперва мы пошли разыскивать домик Паганини. По разным справочникам нам было известно, что находится он в переулке Гатаморa, но, когда развернули план и стали его искать, оказалось, что переулок Гатамора ни на каком плане не числится. К кому бы мы ни обращались с вопросами, все пожимали плечами. А наиболее услужливые посылали нас то туда, то сюда, и мы все время кружили и возвращались на прежнее место.

Мой спутник — сотрудник агентства «Новости» — был такой же упрямец, как я; чем недоступней казался неуловимый Гатамора, тем настойчивей мы повторяли всем встречным-поперечным на все лады его названье, пахнувшее Эдгаром По. Наконец какой-то мальчуган с лицом великого мореплавателя повернул нас спиной и подтолкнул, резко изменив наши вращательные движенья на прямолинейное вниз, под уклон. Взглянули — и обмерли. Перед нами была куча мусора; эта куча опускалась в овраг, весь забитый сломанными ящиками, кирпичами, бутылками, тряпьем, стеклом, всякой нечистью—совсем как мусорная куча Бофина из «Нашего общего друга» Диккенса. И на грязной облупленной стене, идущей вниз вдоль мусорной кучи, мы прочли магическое слово: Г а т а м о р а.

Держась друг за друга, стали мы спускаться вниз, пока не возникло перед нами нечто, как сиплый удар смычка по заржавелым спущенным струнам: дом, едва живой, на честном слове, нет, на железных канатах, обвязавших и поддерживающих его ветхие стены от паденья. Не дверь, а намек на дверь, забитую и тоже, как стены, охваченную цепью. Ниша над дверью — треугольником, в форме избяного чердачка, с разбитым барельефом, когда-то, должно быть, прекрасным. И надпись, читаемая с трудом:

В этом доме
в день 27 октября года MDCCL XXXII
родился
украшение Генуи и наслаждение мира

Николо ПАГАНИНИ,

звуков своего божественного искусства
непревзойденный мастер.

Мы молча стояли и были счастливы, что сумели добраться до этого дома, которому вряд ли еще суждено простоять долго. И Паганини нам улыбнулся. Нагнувшись, я случайно подобрала кусочек разбитого барельефа: часть лица с округлой щекой, началом рта, носом и глазом, как будто смотревшим на нас. Над этим ущельем мусора — (нэвэрмóр — никогда—Гатамора) — взлетали вдали здания современных модерн, элегантные в своей прямизне, молодость города, как высокая сосновая по-

рость среди гниющих старых пней,— Генуя, подобно всем городам Европы, растет сейчас вверх сквозь память веков.

Разумеется (хотя бы ради доходной статьи от туризма!), все, что мы видели, будет восстановлено и, как старинная фамильная драгоценность, умеючи вкраплено в стройные струны новых высотных зданий,— и «каза» Паганини, и мрачный каземат Колумба, и башни ворот Сопрано. А все же — как жестоко ответили люди тому, кто был «наслажденнем мира»: виденный мною в прошлом году безвкусный памятник на могиле Паганини в Парме; и сползающий в мусорную яму отчий дом его в Генуе...

Многие потом спрашивали: «Как это вам удалось отыскать дом Паганини? Мы бродили, бродили и никак, ну решительно никак...»

Да, мы с моим спутником отыскали его, и это было нелегко. Но, идя обратно, верней — осиливая мусорную кучу вверх, мы оба подавленно молчали. И чтоб хоть как-то освежить и высветлить впечатленье, отправились к Джузеппе Мадзини.

Сперва мы пошли по улице Бальби, сплошь уставленной дворцами. Шли, не жалея времени и стараясь удержать в памяти длительным оттиском всю величавую красоту этих дворцов,— внутренний дворик Палаццо Реале с его мозаикой под ногами и балюстрадой над лежащей внизу старинной частью Генуи, ее «подвальным этажом». Широкие ступени лестницы в университете, зовущие вас ступени, но охраняемые львами на ее выступах справа и слева. Вырезы окон со строгими орнаментами, с каменным кружевом гербов и надписей и с неизменными чугунными решетками на каждом окне. Решетки напоминали о несметных богатствах генуэзских дожей, о начальной,— грабительской,— фазе капитализма, о далеко не мечтательном, далеко не идиллическом открытии Нового Света. Старая Генуя, плебейская, торговая, портовая, лежала внизу, и к ней, как ручейки, сбегали очень узкие — ослу с поклажей не повернуться,— темные и грязные старинные улички-щели без тротуаров. На углу одной из таких опускавшихся вниз улиц мы увидели дом Мадзини, с Музеем Рисорджименто.

Эти музеи «Объединения Италии» находятся почти в каждом крупном итальянском городе, потому что каж-

дый внес свою долю борьбы в это историческое событие, один меньше, другой больше, а Генуя — как чуть ли не главная арена борьбы,— разумеется, бо̀льшую, если не са́мую большую. Но когда мы вошли в музей, там было пусто и темно. Одинокий служитель продал билеты, и он же пошел с нами, последовательно зажигая и туша свет по мере нашего продвижения.

Из мрака оживали великолепные портреты Мадзини, Гарибальди, Гофредо Мамели, рукописи стихов Мамели, его маска, гравюры, газеты, автограф сицилийской прокламации Гарибальди, письмо Мадзини к графу Кавуру, написанное мелким выразительным почерком «человека букв» и оратора, с эмоционально взвивающимися концами слов. Вся история объединения прошла перед нами в боях, зажигаясь и потухая,— переговоры, переписка, воззвания... Но перед одним документом я остановилась. Вынув свой блокнотик, я старательно переписала этот документ для читателя. Он был составлен на немецком языке ненавистным для итальянцев австрийцем — директором полиции, носившим такое же имя, как у Мадзини, только на немецкий лад,— Иозеф. А фамилия его была, как это ни горько,— чешская,— Ванечек. В то время, когда сами чехи вели борьбу против австрийского ига...

Но, может быть, я несправедлива к этому Ванечку. Дело в том, что, работая в архивах, я просто не могла не чувствовать всякий раз горячей благодарности полицейским, жандармским и прочим «охранным» писакам: не будь их канцелярской работы, множество ценнейших материалов пропало бы для писателя-историка. И австрийский чех-полицейский заслужил, мне кажется, сугубую благодарность. Ни один художник не смог бы оставить Италии такого портрета Мадзини, какой вышел из-под его пера. Если б Горький прочитал его «приказ», он, наверное, так же тщательно и с тем же чувством переписал бы его, как я.

Австрийская полиция разыскивала опасного генуэзского адвоката-революционера, еще в 1831 году основавшего революционный союз «Молодая Италия»,— и верный слуга австрийской империи, губернский советник и директор полиции в Инсбруке, Иозеф Ванечек, издает в 1852 году подробное описание внешности Мадзини для задержания его на любой границе, ареста и доставки под

строгой охраной. Вот опознавательные знаки Мадзини в этом документе:

> «Возраст: около 55 лет; волосы—густые, седеющие; лоб: высокий и выдающийся, исключительно прекрасный (ausgezeichnet schön); брови черные, глаза — темно-карие, с мечтательным выражением; нос прямой, рот маленький, улыбающийся; борода серая с узкими, но длинными усами; подбородок острый, лицо продолговатое, цвет лица желто-коричневый, болезненный. У него глубоко сидящие глаза, его походка легка, хотя чуть сутуловата, руки и ноги пропорционально небольшие. Чаще всего одет он в черное. Он говорит слегка аффектированно тосканским диалектом, голос у него слабый, и курит он легкие сигары»[1].

Может быть, этот портрет, показавший Мадзини, как живого; а может, и пример Горького-очеркиста, описывавшего при своих поездках по Италии главным образом современных ему итальянцев — рабочих-мостовщиков, забастовщиков, прохожих, бродячих музыкантов, рыбаков,— нас тоже потянуло на живых генуэзцев. И словно отвечая на душевную тягу, в гостинице нас ожидало письмо. Были мы от хождения по городу нестерпимо утомлены, ноги ныли, хотелось надеть ночные туфли и засесть пить чай в номере с запасенными вкусными пи́ццами (разогретыми лепешками-бутербродами). Но письмо было пригласительное, очень заманчивое:

> « Se Loro desiderano incontrare un gruppo di intellettuali di sinistra ... questa sera alle ore 22 fino alle 23,30 ci sarà una tavola rotonda al Carabaga Club d'Arte. . . »
>
> (Если хотите встретиться с группой левых интеллектуалов... этим вечером с десяти до одиннадцати тридцати будет круглый стол в художественном клубе «Карабага»).

И откуда только взялась у нас сила — снова отправиться поздно вечером в темную и неведомую сеть переулков далекой окраины Генуи, Сампьердарены! Мы даже передохнуть не успели, взяли и отправились.

---

[1] «Genova Mazziniana e Garibaldiana». 1849—1860. Saga-Genova, 1960, стр. 33.

3

Приглашенье не было для нас неожиданностью. Еще только приехав в гостиницу и показывая наши паспорта, мы услышали от быстроглазого молодого портье, что у него есть знакомый скульптор-коммунист, продающий свои изделия приезжим... вот не хотите ли? Он тотчас написал нам адрес и сунул в руки. Левый скульптор, Гвидо Цивери, жил как раз на той самой пролетарской окраине Генуи, Сампьердарена, куда я все равно мечтала отправиться в первый же день. В Сампьердарена родился предмет моего очередного увлеченья, очень большой, очень интересный человек, которого Паустовский метко окрестил «конквистадором»,— тоже один из завоевателей и открывателей современного генуэзского периода. И мы с моим спутником тогда же отправились в Сампьердарена.

Для Генуи — это совсем особое место, и если идешь туда пешком (мы всюду старались ходить пешком), минуешь как будто столетия. У начала пути широким змеиным зигзагом простирается над городом эстакада. Такие эстакады, для разгрузки уличного движенья возносящие дорогу наверх, на воздух, вместо спуска ее в подземные туннели, строят сейчас все чаще, начали строить и у нас, и, по правде говоря, всегда кажется, что они не столь разгружают, сколь утесняют улицу для пешеходов, шествуя по земле своими толстенными чугунно-бетонными ногами, и застят перед глазами и без того узкие уличные горизонты. Но генуэзская эстакада очень элегантна и кокетлива, она сразу вводит вас из музейной старины в век развернутой индустрии.

Проходя под ней, вы чувствуете порт невдалеке, слышите шелест жуков-машин над собой по сухому асфальту — и все дальше отступает город дворцов, все проще, мещанистей домишки вокруг, бедней магазинчики с дешевой дребеденью, простоватей люди, безвкусней одежда,— идти можно час и два, а все те же вокруг грязно-серые улицы с умирающими постепенно отголосками большого центра. Тише, тише... ни машин, ни гудков, ни топота, но в тишине каким-то странно-напевным тоном, словно в старинной, сейчас навеки уже исчезнувшей «шарманке», стеклянно-переливчато окликнет вдруг прохожий с противоположного тротуара вышедшую из две-

рей магазинчика толстуху хозяйку своим музыкальным «джорно» — здравствуй.

А мне мерещилось, что еще не было тут улиц. Семьдесят лет назад лигурийские волны омывали эти берега, застроенные лачугами рыбаков. И, купая в песке свои голые пятки, подвернув старые штанишки, здесь бегал сын бедняка-сампьердаренца, черный, как жук, носатый, с глубоким взглядом из-под тенистых ресниц,— будущий гений итальянской индустрии, создавший ее полвека спустя в том самом городе, где другой гениальный итальянец, тоже, как он, курчавый и глубокоглазый изпод тени густых своих итальянских ресниц,— Антонио Грамши, создал — в противовес ему, итальянскую компартию. Но все это произойдет куда поздней того времени, когда Ленин полушутя, полусерьезно писал Горькому из Парижа на Капри: «...марксистов только нет в Италии, вот чем она мерзка»[1]. Марксистов — и породившей их крупной индустрии.

Добравшись наконец до тупика, где стоял домик с надписью на дверях «Цивери», мы постучали. Высокий молодой итальянец в бархатных штанах и джемпере прямо скатился на нас с крутой лестницы и тотчас же, словно мы годы были знакомы, потащил к себе наверх. Открытая площадка над лестницей; пластинки темной керамики вдоль стен; низкие, мягкие кресла — он утопил нас в них, а сам взгромоздился на что-то твердое и сразу же, решительным тоном, определил свою позицию: «Я принимаю всё у вас, всё, всё, всё, что в политике; но ваши взгляды на искусство — нет, нет, нет! Непостижимо, почему так отстаете, где корень? откуда это?»

С места в карьер мы были, поскольку назвались москвичами, окрещены «конформистами». Но, говоря с нами ругательной скороговоркой (разговор шел по-французски), хозяин все время гостеприимно улыбался нам, и, как это ни странно, в ту же секунду, даже меньше, чем в секунду, между нами установилось то, что политики именуют словом «контакт». Беседа наша буквально разразилась, как разражаются грозы летом,— иного слова не подберу. Хозяин раз двадцать вскакивал, хватал книги с полки, перелистывал, совал нам. Раз двадцать хва-

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 48, стр. 13.

тали мы друг друга за пуговицу, за рукав, крича что-то одновременно. Над лестницей вынырнула стриженная под мальчика шатенка, каких встречаешь на наших поэтических диспутах. Она представилась художницей Ольгой Каза, директором клуба «Карабага». Пришла пора передышки и питья неизменного кофе. Потом Гвидо Цивери подарил нам три выпуска своего журнала, начинающегося не с первого, а с нулевого номера (Numero Zero — я вспомнила математические тетрадки Маркса!),— под названьем «Трое красных» (Tre Rosso). И тут же приглашение — встретиться еще раз в клубе. Вот в этот клуб мы теперь и спешили, усталые до одури. На самой, казалось бы, глухой улице Сампьердарена неожиданно возник ярко освещенный небоскреб. Внизу, в его холле, и расположился Клуб левых мастеров искусства, «Карабага».

В первом же зале, куда мы вошли, была устроена выставка. Спустя год в Париже я видела такую же выставку под названием «Свет и Движение» (Lumieré et Mouvement) — последнее слово левого искусства, где вся материя живописи,— полотно, картон, уголь, краски,— уже исчезла, а предмет искусства создавала игра электричества с помощью электроники: на экранах или даже без них возникала сверкающая беготня цветов и света, в первую минуту интересная, но нестерпимая для глаз, если смотреть ее долго. В зале «Карабага» все это было проще и бедней, но принцип тот же: творческая воля художника заменена случайностью и физикой; игра музыканта на клавишах — математической или импровизированной пробой клавиш теми, кто вовсе не умеет или не хочет играть. «В природе все уже есть, художник не может выдумать ничего такого, что уже не имелось бы в мастерской самой природы». Приблизительно так объяснял нам Цивери, бегая пальцами по какой-то «электронной» клавиатуре.

Но это случилось позднее, а сперва мы прошли через выставочный зал в другую комнату, где стоял круглый стол, а за столом разместилось человек тридцать молодежи. По стенам развешаны были картоны, изображающие уже вполне материальные квадраты и только квадраты— самых разных видов,— с симметричными спиралями внутри и завитками, уходящими в их глубину. Произведения эти, как стояло в программе, принадлежали кисти

падуанского художника Гаэтано Пеше, приехавшего с ними из Падуи в Геную. Мы попали на обсуждение его картин. Милая Ольга Каза тотчас поднялась нам навстречу, помогла раздеться и усадила. На столе стоял магнитофон. За столом сидел наш новый друг Гвидо Цивери и вел собрание. Возле него — критик с густо разросшимися волосами и бровями, в очках, держал речь с микрофоном в руках,— он делал доклад. А прямо перед нами, слегка вытянув ноги и спрятав руки в карманы брюк, сидел герой обсуждения, молодой человек с открытым бледным лицом, явно склонный к полноте, в безукоризненном костюме и красном галстуке навыпуск,— Гаэтано Пеше. Разговор шел по-итальянски и по-французски.

Докладчик долго объяснял философскую систему восприятия мира у Гаэтано Пеше в изысканно-запутанных и невразумительных терминах. Выступавшие то находили в квадратах эту «новую философию видимого пространства», то отрицали ее. Присутствовавший инженер-электроник робко осмелился спросить, каково содержание в этих квадратах, то есть, иначе говоря, что нового в смысле понимания пространства? Высокая мужеподобная студентка деловито предложила использовать все это в промышленности, в частности, может быть, в «Фиате»... Каждому, кто выступал, Гвидо Цивери давал в руки микрофон.

Я жадно смотрела на эту молодежь. Подобно нашей, подобно всякой молодежи в о в с е м м и р е и молодой поре в жизни каждого человека на земле,— она горела своим великим, неистребимым стремленьем найти необычное, новое, не такое, как у стариков, как у прошедших поколений. Курили очень мало, меньше, чем на заседаниях пожилых людей. Одна-единственная бутылка с минеральной водой стояла возле докладчика, с одним-единственным стаканом. Студенты, может быть, мелкие служащие, артисты-студийцы, вот этот инженер с завода; все — крайних левых направлений в политике, крайних левых направлений в искусстве; и все — с теми честными, агрессивно глядящими на вас глазами юности, когда страстно хочется расчистить себе свое место в мире, выпихивая старое (нельзя занять уже занятое пространство!), противореча, опровергая, не соглашаясь, волнуясь неведомо отчего, от безграничного чувства

жизни, подступающего к горлу. Что мне особенно понравилось — чистота атмосферы, совсем как в молодости моего поколенья: ни на грамм эротики и секса, ни на грамм хулиганства, ни на грамм грубости. Мне казалось, я очутилась в самом начале века, в собственной студенческой среде.

Наконец дошла очередь до героя диспута, творца квадратов. Гаэтано Пеше приподнялся с ленивой грацией, сложил губы улыбкой — с ямочкой на полной щеке — и объявил, ошеломив всю аудиторию, что в его произведениях нет и не было ровно никакой философии пространства: он просто любит писать разные квадраты, какими их представляет себе... После хохота (громче всех хохотал сконфуженный докладчик) и аплодисментов, под жужжанье магнитофона, Гвидо неожиданно протянул микрофончик... мне. Я увидела, как вздрогнул мой спутник.

Застенчивой в таких случаях до одури в нашей собственной обстановке, особенно перед задиристой молодежью, мне вдруг, словно шестьдесят лет назад, неудержимо захотелось выступить. Я схватила микрофон и ринулась в бой. Откуда только взялось у меня такое свободное обращение с французским математико-философским лексиконом! Гаэтано я назвала о т с т а л ы м. После Эйнштейна,— объявила я с апломбом,— смешно барахтаться в симметрии. Пространство криво. Две параллельные встречаются. Его квадрат — Эвклидов. Он не сумел преодолеть отсталость своего ви́дения мира, он даже внутри — внутри — dedans! — самого квадрата видит пространство перпендикулярно, чертит его наивными законами симметрии, забыв о разнице правого и левого... И все это аккуратно, журча, как кот, записывал магнитофон — на память генуэзскому потомству.

Но тут вдруг я осеклась. Став еще бледнее, побледнев буквально, как мел, медленно-медленно, как привидение, поднимался со стула Гаэтано Пеше. Улыбка его исчезла, ямочка на щеке выровнялась: «Вы считаете меня натуралистом? НАТУРАЛИСТОМ?» Набирая это страшное слово заглавными буквами, не сказал, а как-то проскрежетал творец квадратов. Мне почудилось, что я становлюсь гоголевским Вием. Еще секунда — и закричу: вот он к о н ф о р м и с т! — мстя за нанесенную Гвидо Цивери мне самой обиду. Но через секунду все успокоилось,

Пеше выдохся, магнитофон умолк, я начала прощаться, целуясь с женщинами, двадцать раз тряся руки мужчинам, обмениваясь адресами, приглашая в гости в Москву. Гвидо Цивери стал объяснять нам на прощанье выставку в холле. А потом милая молодая пара отвезла нас на своей маленькой машине в гостиницу.

4

И вот опять ночь без сна,— ночь без сна из-за сравнения с Христофором Колумбом. Но в хаосе дневных впечатлений, умноженных вечером в «Карабага», вставала какая-то новая нота, назойливая, вроде комариного жужжанья: а почему, собственно, не сравнивать Горькому Ленина, которого он знал лучше, чем я, отделенная от него исторически целым поколением (двадцать лет!),— сравнивать с кем хочет и как хочет? Вечер в «Карабага» оставил во мне какую-то резкость оппозиции — самой себе. Новая нота была в повороте вниманья,— от цитаты из речи Горького — к тому, как я сама эту цитату восприняла. И дело тут было вовсе не в Колумбе.

Итальянские кровати в гостиницах жестки; и подушки, тоже очень жесткие,— лепешкообразны. Если вы не заснули сразу, то вам кажется, что мысли прямо натекают вам в голову, лежащую очень низко на этой лепешке, натекают, словно из дождевого желоба, и никак их не вытряхнуть. Воспоминанья, ассоциации, далекое прошлое, совсем далекое детство: родители разговаривают с гостем, няня слушает в дверях из освещенной лампадкой детской*; гость говорит, что патриарх страшно похож лицом на писателя Писемского, няня шепчет негодующе: как это мыслимо лицо духовное сравнивать с обыкновенным (няня произносит, как ей полагается, «обнаковенным») господином... Мыслимо, мыслимо... Спустя семьдесят пять лет за одним столом со мной сидит редактор, старый друг и человек не глупый. Карандаш его, пока он читает мою рукопись, наготове,— прикушен зубами,— и я вижу, как он ставит им птичку на полях. «Немыслимо»,

---

* Как стареют слова! Нынче написать просто «детская» (Kinderstube) может показаться уже непонятным. А добавлять «комната» — громоздко.

«не вяжется с Лениным»... очень мягко и дружески говорит он моей особе: «Вы пишете «окрик» — нельзя сказать «окрик» в отношении Ильича, это не его метод. Поставьте слово «возражение». Я тогда здóрово накричала сама на редактора. Я совала ему цитаты из ленинских писем: «...сегодня прочту одного эмпириокритика и ругаюсь площадными словами, завтра — другого и матерными»[1] или совет Горькому: «наплюйте в харю упрекающим»[2] или — в бешенстве на того же Богданова: «Сам он есть минус (а не 0). Удивляюсь я, что в «Прибое» голосуют за Богданова, не защищая его фальшивых пошлостей... Это не коллегиально. Вы забыли. Пишите. Объясните. Аргументируйте. А то голосовать без коллегиального обмена мнений. Трусливо. Дико. Пошло. Вредно. Пусть объяснят... ради чего они тащат в рабочую среду пропаганду гнили»[3]. Как Ленин ненавидит! Даже нет восклицательных знаков — это от холодной иронии бешенства, это, как удар кулаком по столу, а Вы — Ленин «возражает», «возражение». Да тут тысяча криков, а не только окрик!

Я вертелась на плоской подушке, а мысли все лезли, миллионы примеров вертелись в голове, и опять наплыло в память: санаторий, те далекие годы, когда я, писатель, очутилась в одной палате со старой большевичкой, крупной работницей, хорошо знавшей Ленина. Вечером перед сном она, помню, перебирала свою седую косицу на ночь, доплегая ее, а я — не знаю, как к слову пришлось, спросила о речи Горького на 50-летии Ленина. «Уж и не любил же этих юбилеев Ильич,— сказала старая большевичка,— терпеть их не мог. Ну а Горький, большой писатель, занесся, конечно, размахнулся,— он всю жизнь размахивается. Христофор Колумб,— выдумал тоже Алексей Максимыч!» Она тогда посмеялась, а я на нее уставилась. Ей в этом сравнении, хорошо знавшей человека Ильича,— почудилось смешное преувеличенье, гипербола, размах. Почему? Потому ли, что Колумб из глубины истории взирает сейчас на нас, как башня, как миф, как легенда? А Ленин для нее был еще живой и теплый, еще всегдашний — чудный человек, гениальный че-

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 47, стр. 148.
[2] Там же Том 48, стр 162.
[3] Там же, стр. 263.

ловек, неповторимый, но — живой, теплый. И до чего человек!

Когда-то я для себя стала выписывать, как Ленин, подобно нам, грешным, звал людей уменьшительными именами в письмах: «Сафарчиком» [1] — Г. Сафарова, «Коллонтайшей» [2] — А. Коллонтай, а царя — «Николашей» [3], как презрительно именовали жалкого Романова в те годы. И Ленин удивительно выдумывал слова — например, у него мне в первый раз встретилось слово «читабельный», «читабельны» [4],— а уж слово «министериализм» в применении к меньшевикам, «министериабельный негодяй» о циммервальдовце Роберте Гримме [5]! «Это все — в интимной переписке»,— опять слышу редактора. И опять мысленно «возражаю» ему, если уж говорить о «возраженье» в этом страшном ночном кошмаре, когда одурело устал, а сна нет и мысли грызут мозг: «Почему интимной? Ничего не интимной, Ленин черным по белому пишет, живой Ленин: «Никогда ни за что не променял бы я резкой борьбы течений у социал-демократов на прилизанную пустоту и убожество эсеров и К°» [6].

Прилизанность... и я встала и села на своей железной кровати. Милая Генуя, милые молодые люди, с которыми, расхрабрившись, вообразила себя чуть ли не студенткой. Дело-то не в Колумбе, не в сравнении, не в Горьком и даже, вот сейчас, не в Ленине, дело идет о моем собственном существовании, тоже человека на земле, какого ни на есть, но человека же. Что произошло со мною за истекшие несколько десятков лет, если я, как неграмотная орловская нянька (мы с сестрой звали ее ласкательно «нюга»), вот как эта нюга, стала вдруг чувствовать «табу», расстояние между «светским господином» и «духовным лицом», воспринимать са́мого дорогого, са́мого любимого из людей, Ленина, как что-то не человеческое, над человеческое, с чем нельзя сравнивать никого другого, будь это архи-Колумбы? Что произошло со мною, человеком восьми десятков лет, потерявшим ощущенье живого бытия настолько, что воспринимаю

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 49, стр. 290.
[2] Там же, стр. 92.
[3] Там же. Том 48, стр. 155.
[4] Там же.
[5] Там же. Том 49, стр. 443.
[6] Там же. Том 48, стр. 81.

просто живое, как ересь, возрождаю понятие «еретический»? Начинаю возводить условности, участвовать в в создании мифа, делать из фактов жизни — мифологемы? Это корка — сказала я сама себе очень громко, потому что мне захотелось выговорить всю мысль вслух.

С годами человеческое сознанье обрастает коркой. Мы начинаем видеть вещи, как на остановленной пленке, застылыми в движенье. И это не высокая неподвижность искусства, когда остановилось то, что совершенно. Это — остановка предмета в движенье, прерванность развития. Чьего? Моего собственного. Корка старости, корка отпада от жизни. Оттого что я выскочила со своей задорной речью на совещании молодых, я почувствовала в эту ночь как бы прояснение своих кристалликов, своего внутреннего зрения — на простые и очень понятные вещи вокруг.

Закон времени для всех обязателен, он медленно, мазок за мазком, намазывает эти корки старости — они выглядят как штампы, как трафареты, как «модели» — модное слово современности,— модели, в которых, в сущности, закупорено остановленное на ходу развитие человеческого сознания. Мы суем эти штампы и модели потомкам, как заработанную нами историческую истину,— а потомки видят лишь корку, лишь катаракту на кристаллике, и совершенно неважен предмет их борьбы против нас, предмет их буйства,— важен самый факт вот этих «буйств» молодости, потому что приводят они объективно к соскабливанию корок. Растущий коралл — мягок; он затвердевает, когда перестает расти. Я записываю все эти рассужденья очень скучными фразами, может быть, спорными, но в ту минуту, когда они возникали в моем бессонном мозгу, я ими не думала, они горели, были похожи на какие-то картины. Однажды, когда воду из озера Севан еще не стали спускать, и островок на нем еще был островом, а не выпуклой частью суши, я подсмотрела на нем из кустов, как змея меняла кожу. Змея была небольшая, в черной, шуршистой, разношенной какой-то корке, похожей на кольчугу. Она медленно, извиваясь и вздрагивая (дрожь ходуном проходила по всему ее телу, с головы до хвоста), вползала в узкую щель между двумя камнями. И пока вползала (видно было, что с трудом, против воли, насильственно, больно), части корки, слов-

но лохмотья, соскабливались с нее и грязной грудой накапливались у входа в расщелину.

А с другой стороны расщелины показалось голое, розовое тело обновленной змейки. Этому телу было холодно от прикосновенья воздуха, его обжигало солнце, но змея ползла и ползла, пока не выползла на траву вся и замерла, обновленная в свежей новизне бытия,— отдыхая от трудов, не двигаясь, вбирая тепло и жизнь...

Вот так надо нам уметь соскабливать с себя корку. Нельзя нам стареть и обрастать ею — слишком много еще дела на земле, слишком важно с живым трепетом осваивать прошлое, потому что прошлое — еще в росте, его нельзя останавливать на ходу, нельзя создавать из него штампы и «модели». А тем более — в работе над темой о Ленине...

Так прошла у меня последняя ночь перед отъездом из Генуи Великолепной.

II. БОЛОНЬЯ

1

Не знаю, почему... Нет, даже знаю, почему,— но этот город я полюбила еще десять лет назад больше всех остальных городов Италии. В истории «Ленин — Горький» он играет, правда, роль микроскопическую и притом неприятную. Десятые годы нашего века для революционной русской эмиграции были годами «школ». В разных городах — в Париже, в Лонжюмо, на Капри — открывались школы для рабочих из России, важные не только потому, что передовые рабочие должны были осваивать в них марксизм, но и для самих учителей, через учеников как бы соприкасавшихся с далекой родиной, с революционной массой. Нельзя жить человеку без общения, основанного на главной для тебя идее, главной для тебя работе. В Болонье тоже открылась такая школа, но, как и «каприйская», с преобладаньем «впередовцев»; и больше чем «каприйская» — ставшая фракционной.

Третьего января 1911 года Ленин написал Горькому: «Получил из Болоньи приглашение ехать в школу (20 рабочих). Ответил отказом. Со впередовцами дел

иметь не хочу. Перетаскиваем опять рабочих сюда»[1]. Сюда — означало в Париж, где Ленин организовал большевистскую школу пропагандистов; «опять» — потому что Ленин уже перетащил из каприйской школы к себе часть рабочих[2].

Итак, Болонья в моей теме предстает со знаком минус и даже — после Вероны, которая хоть и упомянута Лениным только одной фразой, но с восклицательными знаками и охотой приехать: «Как я чертовски злился в Берне и потом!! Думаю: если Вы в Вероне... ведь я бы в Верону *мог* приехать из Берна!!»[3]. И все же — на пути в Сорренто — вторую остановку я сделала в Болонье.

Со времени «впередовской» школы утекло немало воды, Болонья не год и не два выбирает себе в синдаки (мэры) — коммунистов. В Болонье сразу чувствуешь хозяина-коммуниста — больше заботы о городском быте, проще в гостиницах, дешевле и лучше в столовых и среди них — одна замечательная «Самообслуга» (Selfservice), каких нигде в Италии, да, пожалуй, и во всей Европе не сыщешь, потому что, бывая в этой столовой через промежутки двух и трех лет, всякий раз нахожу ее все на том же высоком уровне, отнюдь не ухудшающейся, как это происходит с самообслугами в Париже на Рю Риволи и в Лондоне с Лайонсами. Короче говоря, в Болонье удобней жить. Я и приехала, чтоб пожить, подумать, порыться в прихваченных книжках. А ж и т ь в иностранном городе — это совсем не то, что приехать туристом.

Есть такое слово в ботанике «ареал» — полный смысл его я никогда не могла освоить научно, а только чувством, переводя на свой писательский язык: пространство, очерченное вокруг вас в лимите возможности вашего распространения. Ну, турист бегает; сегодня он тут, завтра — за десятки улиц; он — не на цепочке каких-то лимитов, а в букете звездочек путеводителя: то посмотреть, это посмотреть... Бегает, ест, где попало, даже помоется, побреется где-нибудь на ходу, во встречных

---

[1] В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений. Том 48, стр. 14.

[2] Из каприйской школы в Париж во главе с рабочим Н. А. Вилоновым выехало сперва шесть человек, а потом и остальные. См. о школах в эмиграции брошюру Н. В. Н е л и д о в а и П. В. Б а р ч у г о в а. «Ленинская школа в Лонжюмо». М. Издательство политической литературы, 1967.

[3] В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений. Том 48, стр. 210.

lavabo* — и все это каждый день разное, в разном районе. Для туриста европейские (и наши) города всегда — б о л ь ш и е, хотя сами по себе они, может быть, и вовсе не велики.

Но для «проживающих» в городе — каждый город всегда очень маленький, даже если он необъятен, как Лондон. Вы проживаете с деловой целью (почитать, порыться в архиве, поработать дома за письменным столом); и цель становится вашим «ареалом», очерчивая вокруг вас лимиты вашего (максимум — районного или все того же транспортного) передвижения туда и обратно.

В Болонье, например, несколько лет назад я работала в музыкальном архиве Коммунальной библиотеки на площади Россини, а жила возле вокзала. Каждый день я ходила по одному и тому же маршруту, мимо тех же памятников, магазинов, киосков; забирала газету у той же стойки, того же продавца; обедала в той же столовой и все там же покупала себе неизменную югурту и пиццу на ужин — ясное дело, город замыкался для меня в небольшой круг и возникало не совсем приятное чувство своей «видимости» для окружающих. Вы встречали все тех же прохожих, и даже собаки, которых прогуливали хозяева, были все те же, на тех же улицах. Но если прохожие, продавцы, приказчики, пёсики сделались вам знакомы — себя вы тоже невольно ощущаете привычной и знакомой для них фигурой. И город кажется, как дом, улицы, как комнаты, и весь мир, вся планета-земля, кажутся, в сущности, очень тесными.

Закрыв сейчас глаза, отчетливо вижу длинную улицу Индепенденца, идущую, как и все улицы Болоньи, сплошным крытым портиком; подземный туннель-соттопассаджо, из которого выходишь на все четыре стороны: направо на улицу Уго Басси, где можно так вкусно пообедать в знаменитой «сельфсёрвис»,— блюдом, которое тут, в Болонье, называют «тортеллини», в Турине «каполетти», в Венеции «равиоли», а у нас, по всему Советскому Союзу,— ушками, пельменями, колдунами, бере́ками; выйдешь прямо — к гиганту Нептуну, попирающему фонтан; налево — на короткую улицу Виа Риццоли, а за ней к университету, к театру и к уединенной

* общественных уборных *(итал.)*.

красоте дворца, где ютится архив имени Падре Мартини с узеньким читальным залом. Я, конечно, могла бы вдвое сократить этот путь, занимающий в целом двадцать минут, если б боковыми уличками без тротуаров пошла по диагонали от своей гостиницы. Но не было охоты сокращать. Вниманье цеплялось за каждую знакомую встречу,— помню в соттопассаджо лица бродячих музыкантов, пиликавших какой-то невозможный джазоподобный «модерн», филателистский магазин марок, хозяин которого именовался по-русски и странным образом — Марковым,— и живших в тот месяц, буквально живших в каменных проходах туннеля, лежа и сидя на своем ярком тряпье, цыган. А главное — мне каждое утро хотелось, пройдя Виа Риззоли, сказать свое buona matina * двум болонским красоткам, башням Азинелли и Гаризенда, тоже как будто вам кланявшимся в своей удивительной архитектурной кривизне.

Каждый город, как человек, имеет свой характер. Еще в самый первый приезд сюда я купила у букиниста, под портиками университета, гравюру старой Болоньи семнадцатого века. Если б не тускло-кирпичный колорит самого города, не его равнинность и не ломко-песочная краска старости самой гравюры, я приняла бы Болонью за горную Сванетию. Ни в одном итальянском городе, да и нигде в мире не было ничего подобного! Старинная Болонья вся, как еж, ощетинилась в небо сотнями тонких игл-башен. Будто толпа трубачей трубила, задрав их кверху, множеством дудок-труб. Будто огромная масса молящихся воздела к богу свои худые, длинные руки. Думаешь — ну и город, ну и характер,— возвышенно живет, возвышенно думает. А этот же самый город в то же самое время спрятал своих жителей от неба, как ни один другой город в мире. Все его улицы, круглым счетом все,— это крытые переходы, идущие бесконечными рядами портиков, поддерживаемых колоннами. Для пешеходов — ни дождя, ни снега, ни солнца, ни неба,— ни зонтиков, ни плащей,— нынешние плащи-болоньи это принципиальный дождевик, лишенный капюшона, его заменяет пелеринка. Не нужен капюшон в Болонье!

Помню, я где-то писала, как в полном отчаянии от этой «опущенной долу», как люди глаза опускают, от

---

* доброе утро *(итал.)*.

этой уткнувшейся в землю манеры строить улицы портиками, я решила выбраться за город, чтоб подышать открытым над головой небом,— дошла до «заставы»,— ворот Сарагоцца,— чтоб подняться на гору к «святой» мадонне Сан-Лука, очаровательной церкви на горе, покровительнице Болоньи,— и вдруг ахнула: змеиными зигзагами поднималась к ней на гору всё та же лента портиков, крытая в колоннах дорога! Портики идут три километра, шестьсот шестьюдесятью шестью арками на высоту около трехсот метров над уровнем моря. Вот и выбралась под открытое небо...

С веками, в результате войн и разрушений, почти все башни в Болонье исчезли, словно резинкой стерлись с гравюры; кое-где, может быть, и остались, но их закрыли новые многоэтажные дома. И только из этих сотен рук, воздетых к небу, остались два длинных пальца, один выше, другой ниже, прямой и наклонный, во всей выразительности их двоеперстия: Азинелли и Гаризенда. Но приземленность долу, глаза, опущенные к земле,— портики, или аркады, как их чаще называют,— остались не тронутые временем.

Мне кажется, есть в этой архитектурной диалектике, в победе земного над небесным, что-то общее и с диалектикой истории самого города. Старейшие, рожденные в средние века, насчитывавшиеся когда-то единицами на весь мир, университеты Европы и особенно Италии — унаследовали от прошлого несколько сумрачную теологическую черту даже там, где нет специальных кафедр теологии. Они так долго были под гипнозом формулы: философия — служанка богословия, что дальний отсвет этой давным-давно похороненной формулы все же таится, как тень в углах, в самой архитектуре старых университетских зданий, в латинских названиях их аул (аудиторий), в надписях, высеченных на массивных стенах, в решетках на окнах. А Болонья — выбрала трезвый, реалистический путь образования очень смолоду, много десятков лет назад, и это придает ее интеллигенции особую, дорогую для нас черту.

В век увлечения техникой я всегда с большим уважением прохожу длинным рядом солидных зданий на Замбони — отделений знаменитого на весь мир университета: зоология, антропология, сравнительная анатомия, гистология, патология, гигиена, медицина (как искусство

врачебное)... В прошлом Болонья славилась своими юристами; сейчас готовит врачей и хирургов. В то время как в Генуе господствуют инженер и техника, в Болонье — медицина и хирург.

Можно, разумеется, считать наш век — инженерным веком, но даже если физике и технике удалось сдвинуть на второе место науки гуманитарные, они не смогли отодвинуть биологию,— и открытия в биологии не уступают по своему мировому значению и не меньше волнуют человечество, нежели открытия в физике. А это значит очень много. Это придает техническому лицу эпохи смягчающее выражение великого социального гуманизма, а математико-абстрактному характеру мышления — живой материалистический оттенок.

2

Когда я поделилась всеми этими размышлениями с одним из своих болонских друзей, он сперва посоветовал мне уж не очень-то «идеализировать» и не увлекаться тем, что пишут в «гидах», а приглядеться к недовольству студентов, к студенческим демонстрациям, послушать рабочих, когда они ругают своего синдака за «подхалимаж» у кардиналов и Ватикана. Но потом он вдруг и сам загорелся и добавил от себя, что Болонья «все-таки передовая» — не только в медицине и хирургии, а, например, в музыке:

«Где в Италии впервые была поставлена опера Вагнера? У нас, в болонском оперном театре. Он, между прочим, когда-то весь сгорел, а мы его полностью восстановили, каким он был при вашем Мысливечке. И сейчас намечается у нас в старом оперном искусстве нечто новое. Сходите, обязательно сходите послушать премьеру «Турка в Италии», мы тут впервые воскрешаем эту оперу совсем молодого Россини... Но не думайте, что с помощью трюков или зауми какой-нибудь или вывертов наизнанку. А впрочем, молчу,— интересно, что вы сами найдете».

Я решила — будь что будет — непременно пойти не на премьеру, конечно, а на скромный дневной спектакль в воскресенье.

«Будь что будет» — потому что с оперой были у меня

связаны довольно конфузные воспоминания. Когда, не глядя ни в афиши, ни в газеты,— лишь бы только попасть в миланскую «Ля Скала», лишь бы послушать в ней хоть какую-нибудь оперу, я уселась в первом ряду (почти одна в нем!) этого знаменитого театра и с трепетом взглянула на сцену,— глаза мои встретились с другой парой глаз, крайне удивленных: с дирижерского пульта смотрел на меня Кондрашин! В миланской «Ля Скала» в этот вечер не опера шла, а концерт из произведений Шостаковича и Прокофьева, под управлением нашего дирижера... Другой «оперный» опыт произошел у меня в Неаполе и тоже пять лет назад. Желая во что бы то ни стало попасть на премьеру в театр «Сан-Карло», где в XVIII веке царил мой Мысливечек со своими лучшими операми, я рискнула заплатить за место в первом ряду огромную (тогда) сумму — десять тысяч лир, но не учла одного: в партер «Сан-Карло», в день премьеры, без вечернего туалета никого не пускали, а вечернего туалета у меня не было. С некоторым колебаньем подошла я поэтому к кассе «Театро Коммунале» и, расспросив кассиршу, можно ли прийти за́просто, в свитере, купила билет, неуверенная, поняла ли она что-нибудь из моих речей.

Наступило воскресенье. «Театро Коммунале», восстановленный точь-в-точь в том самом виде, каким он был двести лет назад,— уютно, бо́ком стоит на маленькой площади. Люди в пальто и шляпах проходили по широким лестницам, празднично освещенным, и только снимали, как перед входом в церковь, у дверей в партер свои шляпы. Дамы в мехах (меха в Европе носят не столько из-за холода, сколько из снобизма) рассаживались рядом со мною, не снимая пальто. По мягкому ковровому проходу их всякий раз сопровождал на место человек восемнадцатого века: все служители были тут в белых чулках до колен в обтяжку, лакированных туфлях, коротких атласных штанах, камзолах и красных жилетах, словно век рококо надвинулся к нам из прошлого. Зал, воссозданный по рисунку 1756 года, уходил своим куполом высоко вверх, и хрустальная люстра бросала вниз очень мягкий, скользящий свет. Все в этом зале — от потолка до позолоченных орнаментов на ложах, от мягких кресел партера до многоярусной системы с галеркой,— говорило о восемнадцатом веке, о родине оперно-

го искусства, о той сказочной поэзии театра, которую мы знаем по нашей бывшей Мариинке в Ленинграде и по Большому в Москве; отсюда, из Европы, сверкающе праздничный тип этого театра начал свое странствование по всему миру.

Мне не пришлось конфузиться за свой свитер в демократической Болонье,— люди тут же, на спинках кресел, вешали свои пальто и шарфы, сворачивали трубкой плащи и, как в лондонских кино, совали их под сиденья; меха и брильянты никому не мешали, кроме тех, на ком они были. Я развернула программу. «Турок в Италии» написан двадцатидвухлетним Россини и первый раз появился на сцене в «Ля Скала» в 1814 году. Тогда же он был освистан и жестоко провалился. Зрители приветствовали только певцов, а сконфуженного автора, сидевшего в оркестре за чембало (обычай, еще в то время не исчезнувший), никто не замечал.

На следующий день газеты презрительно писали, что «вульгарную буффонаду», вещь, которая еще туда-сюда сойдет в провинции,— нельзя ставить на столичных сценах. Так писалось на заре XIX века, называвшего вульгарной буффонадой вкусы и приемы прошлого, восемнадцатого века, любившего в опере выводить народ на сцене, портовую толпу, цыган, праздных девиц и подгулявших моряков, а также шум и гам толпы, любующейся если не балетом, так цирковой акробатикой. Пьесу Феличе Романи, легшую в основу оперы Россини, называли грубым площадным фарсом. Содержанье ее (фривольная горожанка отбивает у цыганки богатого приезжего турка, а рогоносец муж горожанки страдает вместе с брошенным ею прежним любовником) — еще целиком в духе комедий конца восемнадцатого века. Только, в виде новшества, Романи вставляет в действие оперы сухой речитатив (secco — тоже отголосок века рококо!) некоего «Иль поэто», введенного в пьесу, как ее автор, участвующий в игре, верней, руководящий игрой на самой сцене.

Но даже и в то время у Россини оказался один восхищенный зритель, только один-единственный,— зато какой! Итальянцы звали его по-свойски Арриго Бейль. И был это Анри Бейль, известный всему читающему человечеству как Стендаль... Я вычитала историю «Турка» в программе, пока не начался спектакль, а после оконча-

ния его, неподвижно просидев два акта в течение почти трех часов, я мысленно благодарила судьбу за редкостное, освежающее наслаждение, снявшее с меня всякую усталость, потому что оно не только пережилось, как счастье, но и зажгло мою мысль.

Говорят, отцы и дети хуже понимают друг друга, чем деды и внуки. Если смена поколений исторически конфликтна, то пониманье через голову поколенья налицо не только в семьях, а и в культуре, в науке. С каким величайшим презреньем смотрел девятнадцатый век,— «железный», по Блоку,— на алхимию восемнадцатого, на его материализм, на его наивную музыку и наивные драмы Метастазио. А мы сейчас смотрим в лицо людям восемнадцатого, нашим «дедам»,— с любовью и пониманьем, и химия нашего века отнюдь не смеется над алхимией... Но это к слову.

Что нового сделали болонский театр и его режиссер Альдо Трионфео на сцене с «Турком» Россини, если добрый знакомый посоветовал мне пойти на этот спектакль, как на нечто передовое в оперном искусстве? Поняла я это далеко не сразу. И поняла, может быть, по-своему — не так, как сами постановщики. Прежде всего — тут действительно не было никаких трюков, все происходило просто и реально, как обычная драма человеческих страстей; не было попытки дать условную портовую толпу, условных цыганят и девиц,— но и подчеркиванья «реальности» их, как делали когда-то наши «художественники», тоже совсем не было. Поэт,— чудесный актер Альберто Ринальди,— в одежде эпохи молодого Гёте, с тем же отблеском восемнадцатого века на ней, как на само́м театре, расхаживал по сцене с тетрадью и карандашом в руках, всматривался в своих героев, говорил сам с собой, записывал в тетрадку и направлял действие — сперва к драматической кульминации, потом к счастливому концу. Во всем этом как будто не было ничего нового, а, наоборот, отдавало традицией совсем так, как чудесной,— драгоценной, на мой взгляд,— традиционностью пахнут спектакли Островского, особенно «Волки и овцы», в исполнении на сценах приволжских театров, в Ярославле, Костроме, Ульяновске... Однако что же освежило и сняло усталость — и держало в неослабном внимании три битых часа? В чем обнаружился новый подход к опере?

Завязка и развязка «Турка в Италии» заключена была, по-моему, в центральной сцене встречи мужа-рогоносца и турка, влюбленного в его жену. Добродушный и смешной муж любит свою легкомысленную жену; влюбленный турок хочет откупить ее у мужа. Два характера необычайно ярко отразились и засверкали в музыке, сопровождаемые высоким реализмом жестов на сцене: восточный элемент этой музыки зазвучал для меня у Россини так знакомо, словно сам Россини наслышался наших дудуков и сазандарей. Родной для моего уха ритм весь перевоплотился в отрывистые, страстные движения турка, в ту цепь удивительно точных нюансов при вставании, сгибе ладоней, присаживании на корточках, мимике, какая неоспоримо передает для нас атмосферу и типаж Востока. Привычное россиниевское острое стаккато, быстрая скороговорка (знакомая нам по «Севильскому цирюльнику»)—и в ответ ей задушевные, чуть тронутые знаком вопроса европейские арии — создали удивительную сцену, где турок и муж-рогоносец разговаривают, не понимая друг друга. Турок хочет купить у мужа его жену за золото, считая это обыкновенной честной операцией. Муж не понимает, чего хочет турок, он не понимает, что *можно купить человека у человека*... И вдруг опера-буфф, написанная свыше полутораста лет назад, раскрывает в гениальной музыке и в глубокой игре певцов, что она вовсе не пустяк на один вечер, вовсе не чередование «номеров» на сцене, а настоящая интересная пьеса. Ее завязка — как я уже сказала — таит в себе и развязку. С легкомысленной жены спадает ее увлеченье, она тянется назад, к мужу, туда, где обнаружилось уваженье к ней, как к человеку, или, переводя на сухой язык наших дней, туда, где для нее — знакомый мир привычных социальных отношений.

Все это, повторяю, субъективное восприятие оперы. Но один вопрос всплыл у меня над всеми впечатлениями: условность искусства прошлого, скажем — опера XVIII века с ее типизированными персонажами,— была ли она *условностью* в восприятии этого искусства современниками или творцами самих этих опер? То есть сидел ли автор, грызя ручку, чтоб преднамеренно сочинить именно абстрактно-типовые фигуры, которые потом получили бы хождение, как типовые маски? И сидели ль зрители в театре, воспринимая зрелище именно как абстрактно-

типовое, намеренно-условное? А не наросла ли «условность» и не возникло ли представленье об условности гораздо позднее, сквозь призму времени? Да и что такое «условность», все эти бесконечные споры и разговоры конца девятнадцатого века о масках, о «Comedia del Arte», о персонифицированных человеческих «качествах вообще», абстрактных типах, отвлеченных от конкретных множеств, как некие общие черты, связанные — по условной договоренности между собой (чтоб легче было строить выдуманную «реальность») — лишь — логической, формальной связью? Короче говоря — существовала ли такая преднамеренная условность в эпоху, когда эти вещи, воспринимаемые нами нынче, как условные, создавались? И не есть ли это аберрация позднейшего времени? Захваченная такими мыслями, я дошла вдруг до открытия, в чем новизна спектакля, созданного болонским «Театро Коммунале».

3

Я дошла до него не в театре и не сразу, а за своим шатким столиком в гостинице, где работала по утрам над привезенными с собой выписками. Я вздумала вообразить себя древним греком. Сижу я, древний грек, в театре и смотрю на всякие там «облака» и «лягушки» Аристофана. Вокруг меня хохот, и сама я хохочу до колик. Так было. Но разве мог бы древний грек хохотать над абстрактными облаками, связанными между собой формальною связью? Что ему Гекуба и что он Гекубе? Чтоб искусство — даже аллегорическое, даже замаскированное — могло задевать и захватывать зрителя, приводить его к резкой эмоциональной разрядке, оно должно покоиться не на формально-логических, а на конкретно-социальных связях, которые зритель узнаёт и которыми может заинтересоваться.

Новизна, с какой сумел болонский театр воскресить старика Россини, и заключается, по-моему, в том, что постановщик не поверил в «преднамеренную условность» далекого искусства прошлого. Он взглянул на шутливые, мелодраматические коллизии старой оперы, как на выросшие в тогдашней реальной обстановке и передавшие тогдашнюю реальную разницу двух социальных систем, которая и породила в свою очередь две конкретные пси-

хологии — мужа-европейца и турка, владельца гарема. Он, болонский театр, снял с наших глаз и слуха «чувство условности», словно катаракту, отнюдь для этого не прибегнув ни к каким навязчивым дидактизмам и натурализмам, а только глубже раскрыв текст и музыку, то есть то, с чем опера и была написана.

Выписки, привезенные мною в Италию, были главным образом из переписки Ленина с Горьким — и одно место, меньше всего известное и даже, кажется, не попавшее в сборники, посвященное ленинским высказываньям об искусстве,— неотступно стояло передо мной, когда я думала о болонском спектакле.

Напомню читателю, что самый достоверный свидетель жизни Ленина, Крупская, спустя шесть лет после его смерти, в мае 1930 года в своем письме к Горькому оставила нам доказательство особой важности этой переписки: «Знаете, Владимир Ильич очень любил Вас... Когда Вы приехали, мне ужасно хотелось поговорить с Вами об Ильиче, попросту по-бабьи пореветь в Вашем присутствии, в присутствии человека, с которым Ильич говорил о себе больше, чем с кем-либо»[1]. Горький, по словам этого письма, был человеком, с которым Ленин говорил о себе больше, чем с кем-либо. О себе — не значит, разумеется, что Ленин рассказывал Горькому о своем прошлом, своих чувствах, своих житейских радостях и горестях. О себе — по духу письма Крупской значит «раскрывал себя» — в сужденьях о людях, о работе, о событиях, то есть обо всем, что происходило, больше, чем перед другими.

И вот голосом этой большой внутренней интимности, когда Ленин спорит с Горьким,— очень осторожно, стараясь не травмировать его, а в то же время предельно точно, чтоб не оставлять его в заблуждении,— о непримиримом расколе между ним и «впередовцами» по философским вопросам, он неожиданно высказывается и об искусстве. Ловя с величайшим добродушием Горького на противоречиях («некругло у Вас выходит» — дважды в письме это словечко «некругло»),— Ленин вдруг сам высказывает что-то «некругло», словно са-

[1] В. И. Ленин и А. М. Горький. Письма, воспоминания, документы. М. Издательство Академии наук СССР, 1961, стр. 219—220.

мому себе противореча. Так как это место очень важно, а в цитате оно выглядит очень сложно, я остановлюсь на нем подробно.

Горький, силясь примирить дорогих ему людей,— Луначарского и Богданова,— с Лениным, а в то же время понимая, что он плохо разбирается в существе раскола и сам этот раскол не кажется ему уж очень необходимым или важным,— договаривается до фразы «Людей понимаю, а дела их не понимаю». Ленин отвечает ему с той своей всегдашней стремительностью, с какой слова у него льются на бумагу: «Ошибаетесь Вы насчет теперешнего раскола и справедливо говорите: «людей понимаю, а дела их не понимаю»[1]. Написал это Ильич и тут же увидел, что не то написал, не то, что хотел,— «справедливо»-то относится, собственно, не к самой фразе и даже... даже не то слово, а если подумать — наоборот! И около слова «справедливо» Ленин ставит звездочку, а в сноске пишет: «Добавление насчет «справедливо»: оговариваюсь. Не понимая дел, нельзя понять и людей иначе, как... внешне». Если б он ограничился только этой гениальнейшей оговоркой, а верней, полным разносом признания Горького, полным отрицанием пониманья людей у Горького, раз тот не понимает их дел,— перед нами была бы законченная формула материалистической теории искусства. Но великодушный и деликатный Ильич захотел обстоятельней развить то, что он лично считал важным критерием искусства, и — добавил: «Т. е. можно понять психологию того или другого участника борьбы, но не *смысл* борьбы, не *значение* ее партийное и политическое»[2].

Поскольку я обещала читателю содрать с себя корку официального «страха божия» и не бояться впадать даже в такую «ересь», как разбор сказанного Ильичем, как если б он был обыкновенным человеком, я выскажу тут нормальное свое мнение, что Ильич вдруг добавленьем уничтожил сказанное раньше и как бы вместо оговорки — повторил Горького! Ну разве фраза «можно понять психологию того или другого участника борьбы, но не *смысл* борьбы, не *значение* ее партийное и политическое» — не то же самое, что сказал Горький —

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 47, стр. 221.
[2] Там же, стр. 221. (Курсив всюду Ленина.— М. Ш.)

«людей понимаю, а дела их не понимаю»? Совершенно то же самое, и если б Ильич действительно согласился с такой формулой, он не стал бы и оговорку писать. А он написал, и я повторяю ее, на этот раз прибегнув к собственному подчеркиванью: «Не понимая *дел,* нельзя понять и *людей* иначе, как... *внешне».*

Сейчас объясню читателю, почему я придаю такое огромное значение мысли Ленина, сказанной в виде оговорки,— в ее первой части. Но до этого хочу попытаться объяснить противоречие, в которое тут впал сам Ленин. Может быть, он не мог позволить себе сказать крупному художнику, что тот не понимает подлинной психологии людей, если не вник в глубокий политический смысл борьбы, в которой эти люди участвуют,— и сказал это обратным ходом, переведя центр тяжести вопроса с «людей» на «борьбу», то есть на их «дело». Может быть, тут просто, от спешки, с какой добавлялась оговорка, произошли переползание смысла и синтаксическая перевернутость. Но что бы там ни было, факт остается фактом. Ленин прежде всего сказал (и этого топором не вырубишь): «Не понимая дел, нельзя понять и людей иначе, как... внешне».

Для меня это краеугольный камень эстетики Ленина, его понимания лепки художественного образа в литературе. Только лишь обличье человека, восприятие его по признакам, открытым для всех,— ну скажем — на улице, на скамейке в парке, на фотографии и даже — при разговоре, в гостях, в вагоне поезда (хотя и тут не остается человек без дела в прямом смысле слова, то есть без пассивного участия своего в каком-то общем движенье) — не может привести к глубинному пониманию психологии этого человека, а разве что к конкретным штрихам условного в целом портрета,— к «в н е ш н е м у образу». Большой советский актер спросил у меня как-то: пробовали вы, сидя в театре, разгадывать для себя настоящий характер актера, каков он в жизни, когда видите его игру на сцене? Должно быть, он и сам, спрашивая это, не понял, какую глубокую и очень сложную вещь сказал,— ведь не только остроумная тренировка наблюдательности, а еще и дар диалектики нужны для такой разгадки,— поскольку «игра на сцене» — дело жизни актера...

Мы сами себя не очень знаем, мучаемся то неверием

в себя, то преувеличением своих возможностей,— с тех незапамятных времен, когда древний философ вывесил трудную задачу для нашего самоэкзамена: «познай самого себя». А мудрейший поэт человечества, Гёте, решил эту задачу очень просто, он ответил: начни действовать, и ты сразу поймешь, что в тебе есть, на что ты годен. Ленин (как, кстати, не однажды) — совпал тут в своей формулировке познания людей — в точности с Гёте. Но только действие, дело он понимал глубже,— не «общечеловечно», а по-марксистски, корнями уходящими в экономику, в класс, в производственные отношения, а не только в одни производительные силы. Мне хочется привести тут пример, на который приходилось и в прошлом ссылаться.

Однажды чудесная советская писательница на большом собранье заявила, что художнику не надо знать экономические законы или торговлю, чтоб создать художественный образ. Я тогда ответила ей (экспромтом в ту минуту и много, много раз сознательно в последующие разы, как и сейчас): а как же лучший русский писатель после Пушкина — Гоголь,— настойчиво просил у друзей и знакомых, когда засел за «Мертвые души», книг по статистике, экономике, о русском сельском хозяйстве? Отнюдь не потому только, что хотел знать последние данные о помещичьих усадьбах на Руси, по которым собирался поездить вместе со своим Чичиковым, это—само собой. И не потому только, что его интересовала механика взятия подушных налогов за крестьян у помещика. Это — тоже само собой, ведь он должен был знать, прекращается ли налог за «душу» сразу, как эта душа помрет, или — надо помещику платить и за мертвого до новой «ревизской сказки» — ведь на этом был построен весь его замысел, на это именно, как на удивительный казус, полный необыкновенных возможностей для романа,— обратил его внимание Пушкин. Но роль Гоголя, как великого творца-художника, вовсе не исчерпывалась этими, как мы их назвали бы сейчас, техническими моментами. Гоголь оставил нам галерею бессмертных художественных образов,— я не представляю себе ни единого грамотного человека в нашей стране, кто, прочитав «Мертвые души», при одном только упоминании имен «Коробочка, Собакевич, Манилов, Чичиков» — не представил бы их себе, как живых, с плотью и кровью той

человеческой особенности, какую мы именуем характером. Как живых — а не внешне-условно.

Однако же разберемся аналитически, чем и в чем достиг Гоголь этой бессмертной передачи живого человеческого характера? Описаньем главного дела их встречи: купли-продажи. Уберите из романа страницы, где Манилов, в результате туманного «заумного» философствования, мягкотело отдает свои «мертвые души» — витающие в его мозгу где-то абстрактно — задаром Чичикову; вычеркните сцену, где, на первый взгляд, добродушная, но кулачница до мозга костей, Коробочка, понимающая своих мертвых крестьян, как матерьяльные трупы и кости в земле,— изматывает Чичикова своей нерешительностью: «Право... мое гакое неопытное вдовье дело! лучше я маненько повременю, авось понаедут купцы, да применюсь к ценам»; снимите у Собакевича, прожженного дельца, во всем любящего прочность, как он торгуется с Чичиковым: «Вам нужно мертвых душ? — ...без малейшего удивленья, как бы речь шла о хлебе» — и тут же запрашивает за мертвую душу аховую цену — сто рублей. Для него эти души, поскольку они понадобились,— товар, он перечисляет их качества: «Милушкин, кирпичник! мог поставить печь в каком угодно доме. Максим Телятников, сапожник: что шилом кольнет, то и сапоги, что сапоги, то и спасибо, и хоть бы в рот хмельного! А Еремей Сорокоплёхин!.. в Москве торговал, одного оброку приносил...» [1]. И на все конфузливые напоминания Чичикова, что ведь это, так сказать, мертвые, «неосязаемый чувствами звук», «предмет просто фу-фу»,— он отвечает: а много ли проку от тех, кто «числятся теперь живущими»? Попробуйте убрать все эти сценки торговли — и тогда образы, словно из камня выточенные в вашей памяти, вдруг сразу обмякнут, потеряют характер, станут более или менее общими, внешними. Бессмертно, в полноте характеристики, возникают они именно в момент купли-продажи. А вместе с ними — возникает картина всей русской крепостной деревни до реформы, весь конкретный исторический уклад отсталой русской экономики. «Не понимая дел, нельзя понять и людей иначе, как... внешне».

---

[1] Н. В. Гоголь. Собрание сочинений. М. Государственное издательство художественной литературы. 1953. Том 5, стр. 55, 104, 106 и др.

Обратил ли Горький особое внимание на эту фразу в письме Ленина? У нас есть важные свидетельства. Весной 1930 года готовилось к печати новое издание воспоминаний Горького о Ленине. Но вот Горький получил уже упомянутое мною письмо Надежды Константиновны от 25 мая. И он делает вещь, показывающую, как глубоко отозвалось в нем это письмо,— он пишет 20 июня своему секретарю: «Я предлагаю задержать выпуск воспоминаний, потому что могу дополнить их теперь, имея в руках письмо Н. К. Крупской, в котором она свидетельствует, что со мною «Ильич говорил о себе больше, чем с кем-либо»[1].

Чем же он хочет дополнить свои воспоминания?

В этот же год, 1930-й, Горький набрасывает хранящиеся сейчас в архиве «Заметки», где есть очень важное место о Ленине. Это место показывает, что Горький правильно понял Крупскую, именно так, как сказано мною выше: для Ленина говорить о себе — не значило делиться интимными личными горем-радостью, а полнее, откровеннее раскрывать себя в своих мыслях и суждениях о вещах. Именно в этом смысле напрягает Горький свою память, стараясь припомнить,— чтоб не исчезло! — как раскрывался Ильич перед ним в своих внутренних настроеньях, какие удивительные, необычные мысли высказывал. Он припомнил встречу с Лениным у Екатерины Павловны Пешковой 20 октября 1920 года в Москве. Я приведу ее почти всю. Начинает Горький сокрушенно, как исповедь-покаяние:

«Люди читали, учились, а я, начиная с 907 года, усердно копался в пыли и мусоре литературы и публицистики той интеллигенции, которая отвернулась от рабочего класса и пошла на службу буржуазии. Это — тяжелая работа, но я должен был сделать ее для того, чтоб знать по возможности все, что может отравить, задержать рост революционного правосознания пролетариата. Сколько подлого и глупого прочитано мною! И остались непрочитанными умнейшие статьи Ильича, друга,

---

[1] В. И. Ленин и А. М. Горький. Письма, воспоминания, документы. М. Издательство Академии наук СССР. 1961, стр. 446.

учителя, так трогательно заботливо относившегося ко мне.

Когда у Екатерины Павловны я сказал ему об этом, он засмеялся и ответил:

— А — я? Гегеля не успел проработать как следует. Да — что Гегеля! Много не знаю, что должен бы знать. Я вовсе не оправдываю вас и себя тоже. Но ваше дело все-таки другое. Не по существу, а по форме. Дураком вообразить себя я не имею права, а вы — должны, иначе не покажете дурака. Вот — разница.

И — великодушно похвалил:

— Зато дела дурацкие вы знаете назубок. Слушая ваши рассказы, даже боишься: не успеет написать»[1].

Тут Ленин — за три с лишним года до своей смерти — с удивительной силой указывает разницу между политиком и художником. Чтоб создать художественный образ «дурака», писатель должен «дураком вообразить себя», а для этого — напитаться «дурацкими делами». Новая ли это мысль у Ленина? Впервые ли он так категорично делит («не по существу, а по форме») работу политика и работу художника? Нет, еше в самом начале их дружбы с Горьким, в разгар борьбы с идеалистическими тенденциями «впередовцев», Горький присылает в газету «Пролетарий» (которая, по мнению Ленина, должна оставаться абсолютно нейтральной к расхождению большевиков в философии) статью, излагающую взгляды только одного течения — богдановского, враждебного Ленину. И что же пишет Ленин Горькому, отклоняя его статью, в острую минуту, когда сам он «прямо бесновался от негодования», читая «эмпириокритиков, эмпириомонистов и эмпириосимволистов»,— что пишет он писателю пролетариата? Вот что:

«Я не знаю, конечно, как и что у Вас вышло бы в целом. Кроме того, я считаю, что художник может почерпнуть для себя много полезного во всякой философии. Наконец, я вполне и безусловно согласен с тем, что в вопросах художественного творчества Вам все книги в руки и что, извлекая *этого* рода воззрения и из своего художественного опыта *и из философии хотя бы идеали-*

---

[1] В. И. Ленин и А. М. Горький. Письма, воспоминания, документы. М. Издательство Академии наук СССР. 1961, стр. 316.

стической, Вы можете прийти к выводам, которые рабочей партии принесут огромную пользу»[1].

«Пролетарий», орган политический, должен идти своим, политическим путем, не печатая фракционного материала. Но художник, писатель Горький, может извлекать свой опыт из любого источника, хотя бы из идеалистической философии (Ленин даже подчеркивает — идеалистическую философию!), потому что он может извлечь для себя из нее нечто, необходимое в его творчестве, приносящее в итоге пользу рабочей партии, огромную пользу, как пишет Ленин. Художник, чтоб создавать образы, должен осваивать почву, питающую эти образы,— иначе вряд ли будут они реальными.

Мне вспоминается тут, к слову сказать, письмо Блока, где, критикуя раннюю мою пьесу, он пишет мне, что для правильного изображения отрицательных персонажей надо в них «сатирически влюбиться». Это как будто «из другой оперы», но по существу исходит из того же глубинного понимания художественного творчества, огромной силы бесстрашного знания, знания до влюбленности, знания до перевоплощения в изображаемого человека. Политик, руководитель, стратег дураком вообразить себя — не имеет права; он органически не смеет влюбиться в дурака — до самоперевоплощения в него; а художник должен и смеет, иначе он никогда не покажет дурака в искусстве.

Ленин широко понимает это, он широко открывает двери всяческой информации и всяческим «любвям до перевоплощения» — для творческого работника. Заметки, в которых Горький силился восстановить в памяти сказанное ему Лениным, говорят о профессиональном характере восстановленных слов, об отношении их к психологии творчества писателя и к так называемой специфике этого творчества. Но кроме сказанного Лениным у Пешковой: «Дураком вообразить себя я не имею права, а вы — должны, иначе не покажете дурака. Вот — разница»,— Ленин добавляет (и Горькому кажется, что это из великодушного желания похвалить): «Зато дела дурацкие вы знаете назубок». Такое

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 47, стр. 143. (Курсив всюду Ленина.— **М. Ш.**)

коротенькое добавление! А между тем оно в точности совпадает с ленинской формулой: «Не понимая дел, нельзя понять и людей иначе, как... внешне».

Помню, когда я впервые, несколько лет назад, нáчала читать «Клима Самгина», я испытала странное чувство невыносимой сухости от непрерывного, бездейственного говорения множества персонажей, почти нигде не показанных Горьким во время их профессиональных, служебных, общественных занятий, то есть когда они что-нибудь д е л а л и б ы,—а только в бесплодном словоговорении. Особенно это относилось к Самгину, молчаливо и тоже совершенно бездейственно пребывающему в центре словоговорения, иногда, не слушая собеседника, поглощенному в безостановочный самоанализ. Даже когда по ходу романа он должен поступить на службу в Земгорсоюз, в тексте появляется пропуск. Комментарий к роману говорит: «Объясняется этот пропуск тем, что Алексей Максимович, нуждаясь в каких-то дополнительных справках, отложил написание этих сцен, перейдя непосредственно к дальнейшему изложению» [1]. Но и в первых трех книгах герои этой многонаселенной гигантской эпопеи почти не действуют, а только говорят; даже положительные образы, эсдеки (социал-демократы), проходят по страницам, лишь роняя слова.

Правда, в первой книге происходит событие, прямым участником которого становится Клим Самгин. Его товарищ детских игр, мальчик Борис, катаясь с ним на коньках, тонет в полынье. Клим ползет к ней, а из воды, моля о спасении, протягиваются ему навстречу красные, израненные об лед руки тонущего мальчика. Но — из трусости не доползает, не спасает товарища. Действие со знаком минус. Однако все же действие. И вот, в продолжение всего романа, эта реальная рука реально тонущего товарища медленно теряет свою реальность, принимая в воспоминаниях Самгина иллюзорный характер: «да был ли мальчик-то?» Реальный лейтмотив романа как бы переворачивается к вам спиной, становясь иллюзией... Сознательно ли избрал Горький такой прием для

[1] М. Г о р ь к и й. Собрание сочинений. М. Государственное издательство художественной литературы. 1949—1953. Том 22, стр. 556—557.

медленного развенчивания Самгина, не воплотившего себя перед читателем ни в одном акте человеческой деятельности, кроме серии любовных связей?

Тут невольно приходят в голову собственные слова Горького, как он, «начиная с 907 года, усердно копался в пыли и мусоре литературы и публицистики той интеллигенции, которая отвернулась от рабочего класса и пошла на службу буржуазии»,— и навстречу этому самопризнанию встает ответ Ленина: «Зато дела дурацкие вы знаете назубок». Не в великодушную похвалу, как подумалось Горькому,— это сказано было гораздо глубже и серьезней. Огромный книжный материал,— и притом односторонний,— глыбой навис над широчайшим полотном, призванным воссоздать не узкий круг, а несколько десятилетий важнейшей эпохи в русской предреволюционной жизни. И многие из нас, горячо полюбивших Горького, как любят свежий ветер, ворвавшийся в форточку, как раз в эти же годы, в эти же предреволюционные дни,— молча спрашивали себя, вспоминая свои счастливые слезы над его страницами: где же тут Горький, создавший «Мать», «Страсти-мордасти», «Рождение человека», «Фому Гордеева»? Где тут биение сердца Горького? Его умение увидеть лилию на мусорной куче, свет в темноте?

Биографические «Заметки», в которых Горький силился восстановить сказанное ему Лениным, писались как раз в те годы, когда он заканчивал четвертую часть «Клима Самгина». Как известно, роман этот остался неоконченным... Но не совсем. И тут, как мне кажется, можно услышать отголоски сказанных Горькому ленинских слов.

В архиве Горького нашлись отдельные наброски и отрывочки, относящиеся к концу романа, доведенному до Октябрьской революции: сцены приезда Ленина в Петербург. Ленин в понимании народа, Ленин, каким он кажется интеллигенции и Климу Самгину; сцены финала, и, напоследок, даже конец,— так и озаглавленный «Конец» с большой буквы,— очень страшный.

Я напомню его читателю, но сперва несколько слов об одном отрывочке.

В потоке имен гигантской эпопеи есть имя, как будто малозначащее: Любаша. Простая девушка, стихийно, по классовой принадлежности своей, тянущаяся к револю-

ционерам. Горький выделяет ее и вот что пишет о ней в своем отрывке:

«Любаша... померла. Скончалась. Не идет к ней — померла. Зря жила девушка. Рубашки эсерам шила и чинила, а ей надо бы на заводах, на фабр[иках] работать»[1]. Кто это говорит, Самгин? Нет, это говорит Горький, пожалевший д е й с т в е н н о е лицо своего романа. Он хотел бы дать ей настоящее дело, он чтит ее словом «скончалась», потому что Любаше, труженице, как-то не идет менее уважительное слово «померла». И вот мы подходим к сценке, озаглавленной «Конец»:

«— Уйди! Уйди с дороги, таракан. И — эх, тар-ракан!

Он отставил ногу назад, размахнулся ею и ударил Самгина в живот...

Ревел густым басом:

— Делай свое дело, делай!

— Порядок, товарищи, пор-рядок. Порядка хотите. Мешок костей.

С[амгин].

Грязный мешок, наполненный мелкими, угловатыми вещами.

Кровь текла из-под шапки и еще откуда-то, у ног его росла кровавая лужа, и казалось, что он тает.

Женщина наклонилась и попробовала пальцем прикрыть глаз, но ей не удалось это, тогда она взяла дощечку от разбитого снарядного ящика, положила ее на щеку»[2].

Тут все страшно. Почему «тар-ракан» в адрес Самгина? Не совсем обычное ругательство для униженья человека... Но приходит в память выраженье «лучше маленькая рыбка, чем большой таракан»[3], употребленное Лениным в письме к Горькому,— не оно ли всплыло из подсознанья писателя? И это убийственное «делай свое дело, делай» — трижды корень от «делать», наконец-то появившийся — для уничтоженья бездельника Самгина. И — грязный мешок с костями. Жутко расправился

---

[1] М. Г о р ь к и й. Собрание сочинений. М. Государственное издательство художественной литературы, 1949—1953. Том 22, стр. 551.

[2] Там же, стр. 552.

[3] В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений. Том 48, стр. 154.

Горький с созданным им на тысячах страниц персонажем. Есть и еще одна деталь: не два глаза, только один глаз оказался открытым у мертвого. Врачи сказали бы, что эта асимметрия (один закрылся, другой остался открытым) встречается чаще всего у сифилитиков. Сколько нужно было ненависти к своему герою, чтоб, еще не дописав книгу, создать (сознательно? интуитивно?) такую деталь и набросать заранее такой полный, такой страшный его конец...

День уже угасал в Болонье, когда я вышла проститься с городом. Мне было отрадно, что и он, этот любимый мной город в Италии, чем-то вмешался и обогатил мою тему, которой я жила мысленно все эти дни.

Среди итальянских городов Болонья стоит особняком. Другие захватывают вас отдельными красотами — соборными площадями с их «дуомами» и «кампаниллами», всякий раз неповторимо разными, как во Флоренции, Падуе, Павии, Парме; громадинами средневековых замков-крепостей, давящих своей квадратной массивностью хрупкие современные улицы вокруг, как в Милане; остатками античных руин, словно зубами гигантов прорезывающими уличный асфальт, как в Вероне; перламутровым таяньем воды и неба и кружевными фасадами истертых временем дворцов, как в Венеции... Но Болонья — особая. Она — вся. То есть вся она целая, как бы из одного куска. У нее в центре, как на окраинах, один и тот же колорит багрового оттенка, как у заходящего при сильном ветре солнца.

Быть может, оттого, что в центре ее стоит статуя Нептуна, держащего трезубец, Болонья всегда напоминает мне что-то геральдическое,— старинные гербы на щитах и всякие символы-эмблемы на фасадах, печатках, гробницах, во всей их колючей витиеватости, в самоутверждении их остроконечных форм,—когда еще ничто смягчающее, ничто чувственное не коснулось этих жестких орлиных клювов, рыцарей в железных наколенниках, скрещенных мечей и пик. Но несмотря на колючий облик,— как хорошо и просто жилось в Болонье! И мне захотелось тихонько бросить монетку («на возвращенье») в дивный бассейн у ног Нептуна, как делают с фонтаном Треви туристы в Риме.

III. СОРРЕНТО

...Und wenn der Mensch in seiner
Qual verstummt,
Gab mir ein Gott zu sagen, wie
ich leide.
*Goethe**

1

Ехать на машине из Неаполя в Сорренто — сплошное мученье. Спутник, сидящий у баранки, начинает вас ненавидеть. Я раздумывала в дороге, почему. Откуда у водителя рождается ненависть к седоку? И поняла, что сам ты — сидишь и больше ничего, сидишь и думаешь, может быть, даже нос уткнул в прихваченную желтую итальянскую книжонку (дешевые детективы так и зовутся в Италии желтыми, джало). А водитель переживает драму непрерывной аритмии, худшей, чем сердечная. Дело в том, что все дороги на выезде из Неаполя, даже в раннее утро, почти в ночь, забиты машинами до полной непроходимости, как кишки. Двигаешься не только шагом,— счастливые пешеходы давно обогнали вас, и — вон они где, уже за поворотом! Двигаешься — толчками. Шаг вперед — стоп, два шага — стоп. И эта страшная аритмия длится час и два, и три. С ненавистью косит на вас глаз водитель: захотела ехать машиной!

А мне действительно было отнюдь не плохо. Я сидела и думала. Отсутствие дорожных впечатлений справа и слева, спереди и сзади, почти не менявшихся у вас на глазах, не мешало, а помогало развитию мыслей. Я думала о двух людях, очень близких друг другу, но сознавших (или, может быть, только почувствовавших) степень этой близости лишь перед самой своей смертью. Вокруг, хоть и стиснувшее нас боками и носами автомобилей, было преддверие рождества; сама неистовость этого «движенья толчком» говорила о кануне рождественского праздника; на ежемгновенных стоянках ухитрялись пробираться к сидящим в машинах безумные лотош-

---

* И если человек немеет в скорби,—
Мне бог судил сказать, как я страдаю.
Гёте. «Торквато Тассо»
Goethes sämmtliche Werke. Zwölfter Band, Reclam-Verlag, s. 126.

ники со всевозможным удешевленным товаром; поперечные ленты плакатов кричали над дорогой: «Доброе рождество! Доброе рождество!»,— а я думала о том, как два близких друг другу человека — умирали. Они удивительно умирали.

Я везла с собой, разумеется, не джало. В сумке у меня лежала свернутая тетрадь записей из нужных книг, которые, по толщине их, невозможно было захватить за рубеж. Записи эти и читать не стоило, я знала их наизусть, знала так, что глазами видела, о чем они говорят. Глазами видела, как первая из них писалась — с бегущими по щекам слезами у того, кто писал, потому со слезами, что и сейчас, читая ее, плачешь:

«Дорогой Алексей Максимович, похоронили мы вчера Владимира Ильича,— писала Крупская Горькому.— ...Около газеты, которую мы читали каждый день, у нас шла беседа. Раз он очень взволновался, когда прочитал в газете о том, что Вы больны. Все спрашивал взволнованно: «Что, что?»... И еще. В книжке Гильбо он нашел ссылку на Вашу статью о Ленине от 18-го года, * помещенную в Коммунистическом Интернационале, и попросил перечесть ему эту статью. Когда я читала ему ее — он слушал с глубоким вниманием...»[1].

Шесть лет прошло с тех пор, как Надежда Константиновна писала это, а слезы еще не были выплаканы — ни у нее, ни у тех, кто пошел за Лениным. 25 мая 1930 года она опять пишет Горькому: «...Когда Вы приехали, мне ужасно хотелось поговорить с Вами об Ильиче, попросту по-бабьи пореветь в Вашем присутствии, в присутствии человека, с которым Ильич говорил о себе больше, чем с кем-либо... И все вспоминалось мне,— я раз уже писала Вам об этом,— как Ильич в последний месяц своей жизни отыскал книгу, где Вы писали о нем, и велел мне вслух читать Вашу статью. Стоит у меня перед глазами лицо Ильича, как он слушал и смотрел в окно куда-то вдаль — итоги жизни подводил и о Вас думал...» [2].

---

* Описка самой Надежды Константиновны: 20 года *(Ред.)*.

[1] Журнал «Октябрь». Июнь 1941 г., стр. 20. В. И. Ленин и А. М. Горький. Письма, воспоминания, документы. М. Издательство Академии наук СССР. 1961, стр. 218—219.

[2] Журнал «Октябрь». Июнь 1941 г., стр. 22.

Спустя двенадцать лет после ухода Ленина умирал и Горький. Тот Горький, кто говорил сам о себе, что питает «органическое отвращение к политике»[1], кого огрехи революции, непониманье необходимых ее жестокостей, злобные стенанья буржуазной интеллигенции, голод и неразбериха в Петрограде, уже не столице, но полном столичной мути,— оттолкнули от первых лет Октября, грозных, но таких захватывающе счастливых своей нравственной силой; Горький, кто отдалился от Ленина и большевиков, а потом,— вернувшись, в тридцатых годах был действенно с ними и, по словам Крупской, «по уши в политике, пишет горячие публицистические статьи, видит рабочих, сколько хочет»[2],— этот живой, любимый Горький был при смерти. Вокруг его смертной постели тоже стоял мысленно советский народ. Но реально — был с ним один из самых тонких и умных врачей-физиологов, А. Д. Сперанский. Он дежурил у Горького в последние ночи и, когда Горький умер, напечатал в «Правде», чему был свидетелем в эти часы ночных бдений.

По его словам, умирающий «несколько раз вспоминал Ленина. Однажды ночью начал рассказывать о первой с ним встрече: «Я об этом не писал, да, кажется, и не говорил. Увиделись мы в Петербурге, не помню где. Он маленький, лысый, с лукавым взглядом, а я большой, нелепый, с лицом и ухватками мордвина. Сначала как-то все не шло у нас, а потом посмотрели мы друг на друга повнимательней, рассмеялись и сразу обоим стало легко говорить»...[3]

Умирающий Ленин думал о Горьком, «подводя итоги жизни», и ему захотелось перечесть, что написал о нем Горький в своей статье. Умирающий Горький думал о Ленине, и ему захотелось высказать то, о чем он еще никому не говорил и написать не успел,— как они в первый раз встретились, один — маленький, лысый, с лукавством в глазах, а другой неуклюжий, большой, скуластый, как мордвин, поглядели друг на друга внимательней,— раньше «не шло», а тут засмеялись и все стало

---

[1] В. И. Ленин и А. М. Горький. Письма, воспоминания, документы. М. Издательство Академии наук СССР, 1961, стр. 257.

[2] М. Горький в воспоминаниях современников. М. Гослитиздат. 1955. Н. К. Крупская о Горьком

[3] «Правда». 20 июня 1936 года.

легко. У Ленина — через мысль, у Горького — через пластику образов,— такова удивительная предсмертная «встреча памятью» двух людей, кончающих жизнь. Она так знаменательна в биографии обоих, что хочешь углубиться в нее, подумать о ней, как о заданной жизнью загадке.

И прежде всего: о чем говорила статья Горького, написанная в июле 1920 года — еще при жизни Ленина — и тогда же, в 12-м номере «Коммунистического Интернационала» напечатанная? Что заставило тяжко больного, умирающего Ленина все свое внимание напрячь, слушая эту статью, и глядеть вдаль, в окно, как бы подводя «итоги жизни»?

Горький писал о Ленине, как о романтике, об утописте, о человеке, видевшем впереди — чудесный мир счастья всего человечества: «...я не могу представить его себе без этой прекрасной мечты о будущем счастье всех людей, о светлой, радостной жизни... Ленин больше человек, чем кто-либо иной из моих современников, и хотя его мысль, конечно, занята по преимуществу теми соображениями политики, которые романтик должен назвать «узко практическими», но я уверен, что в редкие минуты отдыха эта боевая мысль уносится в прекрасное будущее гораздо дальше и видит больше, чем я могу представить себе. Основная цель всей жизни Ленина — общечеловеческое благо, и он неизбежно должен прозревать в отдалении веков конец того великого процесса, началу коего аскетически и мужественно служит вся его воля...»[1].

Надежде Константиновне казалось: в эти последние часы жизни (оставалось ее, если судить по Летописи, подготовленной Институтом мировой литературы имени А. М. Горького, во всяком случае не больше, чем две трети месяца, а возможно, и несколько дней) Ленин, слушая статью Горького, подводил итоги жизни и думал об авторе статьи. Читателю сейчас, после знакомства со статьей Горького, кажется, что Ленин весь ушел мыслью в будущее, в светлый мир счастья человечества. Но возможно и третье, и это третье — вероятней всего, ведь Ленин захотел перечесть, что написал Горький о нем

[1] «Коммунистический Интернационал», № 12, 1920, стр. 1932—1933.

самом, о Ленине, написал еще при его жизни. Вряд ли, слушая слово друга о себе, представляя его словами свой путь человеческий, личный путь одного из миллионов людей,— если не «на отдыхе», то — перед вечным отдыхом, перед уходом в небытие,— не оглянулся Ленин на себя самого, не задумался о своем прошлом и о себе, как о человеке, мыслившем, боровшемся, страдавшем, любившем, чувствовавшем...

Могут возразить мне, что это лишь домысел,— и заглянуть в душу Ленина, когда он умирал, ни для кого не возможно. Однако есть очень веское обстоятельство в пользу именно этого «третьего». Читатель обратил, конечно, внимание на слова Надежды Константиновны «попросил перечесть». Статья Горького «Владимир Ильич Ленин» была прочитана Лениным уже три года назад, когда она появилась в печати. Сомнения в этом быть не может, потому что она тогда же вызвала у него очень бурную реакцию недовольства и специальное решение Центрального Комитета. Вот что пишет об этом А. А. Андреев в своих воспоминаниях: когда появились статья и вдобавок письмо Горького к Уэллсу (в том же номере напечатанное), содержащие, кроме высокой хвалы Ленину в первой статье,— еще и неверные положенья о русском крестьянстве, о взаимоотношении Востока и Запада, и т. д., в письме к Уэллсу,— Ленин был **возмущен.** Он «потребовал строгого решения ЦК, указывающего на неуместность подобных статей и запрещающего впредь помещать их в журнале. Такое решение по предложению Ленина было принято»[1].

В проекте этого решения имеются такие слова: «...ибо в этих статьях не только нет *ничего* коммунистического, но много *анти*коммунистического»[2].

Мог ли Владимир Ильич забыть и это решение, и свою бурную реакцию на хвалебный тон статьи? Вряд ли. Почему же вдруг, спустя три года, тяжко больной,

---

[1] Журнал «Коммунист», № 5, 1956 г., стр. 56 (Подчеркнуто мною.— **М. Ш.**) Мотивировка Ленина — «неуместность подобных статей... в журнале» — говорит о том, что возмущение его вызвано было не только «неверными положениями», но и хвалебными фразами Горького в его адрес.

[2] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 54, стр. 429.

не могший ни говорить, ни читать, а только слушать, как читают ему вслух, захотел он снова воскресить в памяти слова о нем Горького? Ведь не для политически неверных мест, чтоб повторить мысленно свое осуждение? Не для недовольства «высокой оценкой», показавшейся ему в первом же чтении неуместной? Заглянуть в тот миг в его душу было нельзя, но Надежда Константиновна глядела в его лицо,— хорошее, задумчивое, отнюдь не возмущенное: «Стоит у меня перед глазами лицо Ильича, как он слушал и смотрел в окно куда-то вдаль — итоги жизни подводил и о Вас думал...»

А ведь — вспомним — с каким огромным грузом на плечах должен был уходить Ленин из жизни! Он оставлял за собой созданный им, недостроенный новый мир и огромные трудности его сохраненья и развития; он знал, что за дверями ждут от него его верные соратники указанья, совета, помощи; он о каждом из них глубоко задумывался в последние годы, каждого как бы остерег и предупредил анализом его достоинств и недостатков о степени пригодности для революционной работы; и, наконец, он сердцем чувствовал, не мог не чувствовать горячую боль и тревогу дорогих ему — жены, сестры... сколько всего! А между тем — взгляд, уходящий вдаль, в окно,— словно не в будущее, а — в п р о ш е д ш е е, тишина памяти. Словно набег волны Времени п о в е р х в с е г о — поднял и понес память не от себя к миру, а от мира к себе, может быть, в первый раз с вопросом — какой я, какова прожитая жизнь, каким представляет меня воображенье художника, друга.

Горький тоже оставлял за собой груз недоделанного: был недописан «Клим Самгин», казавшийся ему самым важным трудом его жизни; он оставлял мир профессиональной работы,— все эти письма, требовавшие ответов, чужие рукописи, требовавшие прочтения,— соратников, выпестованных им людей пера. И в его жизни было много любвей, а вокруг — много привязанностей. Но мысль его обращалась перед смертью — к Ленину. Он не то что бы «вспомнил его». Сперанский пишет: «Несколько раз вспоминал».

Я назвала эту предсмертную «встречу памятью» двух людей — «удивительной». А ведь если подумать — удивительного в этом ничего не было. Удивительно, что этой дружбы-любви между вождем-политиком, отцом рево-

люции, и художником-самородком из народа, этой необходимости таких двух разных людей друг для друга — еще не коснулось большое искусство. И еще удивительней,— как до сих пор относимся мы к человеческому в биографии Ленина, покрыв непроницаемой шторкой то самое «окно вдаль», куда перед смертью смотрел уходящий взгляд человека — Ленина.

«Аскетически и мужественно», написал Горький. Мужественно — да. Но «аскетически» — тут Горький ошибся! Ленин ненавидел аскетизм, он страстно любил жизнь. Он прошел через благодатную личную любовь. Он людей любил горячо, глубоко, влюбленно. Он даже о Марксе и Энгельсе страстно писал: «Я все еще «влюблен» в Маркса и Энгельса, и никакой хулы на них выносить не могу спокойно» [1]. Помню, каким откровением для меня была страница из книги Дридзо о Крупской. Там рассказано, как целомудренно-сдержанная Надежда Константиновна просто не выдержала, десятки раз читая книжки и рукописи, где на все лады повторяется, будто они с Лениным в селе Шушенском только и делали, что Веббов переводили. Переводили Веббов! Молодожены были, любили друг друга, все радовало в те дни, «молодая страсть» была,— эти два слова принадлежат ей самой, их приводит в своих воспоминаньях Вера Дридзо [2],— а тут вдруг «Веббов переводили». Чувствуешь, как велико негодованье этой сдержанной женщины, сохранившей в двадцатом веке все чистые черты революционерки прошлого века, если, не выдержав, произносит она «молодая страсть». Но ведь признаемся: чем другим занято было немало писателей, историков, исследователей, как не набрасыванием на пламенную жизнь величайшего человека современности, из года в год, для детей и для взрослых, домотканой кисеи: «Веббов переводили»...

Огромная жизнь прожита, но не аскетическая. Жизнь на отказах, да, на «отречении»,— Entsagung по Гёте,— на том великом отказе от увлекательного, захватыва-

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 49, стр. 378.

[2] Вера Дридзо. Надежда Константиновна Крупская. М. Госполитиздат, 1958, стр. 20. Вот полная цитата из Крупской: «Мы ведь молодожены были,— и скрашивало это ссылку. То, что я не пишу об этом в воспоминаниях, вовсе не значит, что не было в нашей жизни ни поэзии, ни молодой страсти». «...А он — «все Веббов переводили».

ющего, отвлекающего, личного, во имя народного счастья,— великого творческого счастья главной любви, главной темы жизни. От «шахмат» — во имя политики...

Я вдруг очнулась от мыслей, как от прерванного сна. Словно внутренний толчок прервал их, хотя это был совсем не толчок, а как раз наоборот: плавный, легко шуршащий шелест ритмично летевшей машины. Мы выбрались, оказывается, из «толчеи непротолчёной» — по выдуманному Надеждой Константиновной словечку[1],— и мчались теперь по узкому берегу Неаполитанского гольфа. Справа синели воды залива, синели — не то слово. Синь была, не глядя на месяц декабрь, раскаленная, как на окалинах расплавленного металла, с затаенной краснотой огня. Солнце жарило не по сезону. Слева висели песочного цвета скалы с пыльной растительностью и яркой, тоже до боли в глазах, белизной редких строений. Флора исчезала, фауны не было — на всем, залитом солнцем, как жидким золотом, побережье в одиночку катилась мячиком наша машина с подобревшим товарищем у руля. Где-то за ущельями осталась Помпея, миновали «Китайскую землю» — Террачину. Ехать стало очень интересно. Я уложила тетрадь с выписками, по которым осторожно, словно дитя за руку, вела свои несмелые мысли, обратно в сумочку и стала глядеть по сторонам. Но тут — отступление.

2

Гётевский термин «Entsagung» и само упоминание о Гёте многим может показаться странным рядом с именем Ленина. Хотя сам Ленин — в случайных воспоминаниях — дважды упоминается рядом с именем Гёте, сперва — когда захватил с собой в эмиграцию среди немногих книг томик «Фауста» (видимо, на немецком языке), и вторично — когда попросил уже из эмиграции — выслать ему «Фауста» в русском переводе, но дело, разумеется, не в этих случайных упоминаниях.

Ленин был величайшим революционером нашей эпохи, а Гёте вошел в историю литературы, как «консерва-

[1] Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине. М. Партиздат, 1933, стр. 156.

тор». Но последнее верно лишь отчасти и притом в той же мере, в какой применимо и к Ленину, не раз требовавшему уважения к прошлой культуре, освоения всего лучшего в ней, сбережения ее,— и утверждавшему даже, что без такого освоения — коммунизма не построить. Не только от молодежи, то есть от тех, кто сел за школьную парту у ч и т ь с я,— требовал этого Ильич. Замечательно, что он хотел этого от старых учителей, тех, кто будет у ч и т ь новое поколенье,— и к сожалению, слова его об учителях цитируются куда реже, чем речь к комсомолу. Вот что сказал Владимир Ильич на совещании политпросветов 3 ноября 1920 года:

«...цель политической культуры, политического образования — воспитать истых коммунистов, способных победить ложь, предрассудки... и вести дело строительства государства без капиталистов, без эксплуататоров, без помещиков. А как это можно сделать? Это возможно, только о в л а д е в в с е й с у м м о й з н а н и й, к о т о р у ю у н а с л е д о в а л и у ч и т е л я о т б у р ж у а з и и. Все технические завоевания коммунизма были бы без этого невозможными, и была бы пуста всякая мечта об этом». Пусть будут эти старые учителя «пропитаны недостатками капиталистической культуры»,— но все равно их надо «брать... в ряды работников просветительной политической работы, так как эти учителя обладают знаниями, без которых мы не можем добиться своей цели» [1].

Все это, однако же, лишь попутно. Главное, почему я не боюсь вставить имя Гёте в свои размышленья о Ленине,— потому, что в области мысли и Гёте был величайшим революционером. Он стоял на хребте двух эпох, когда средневековое, феодальное мышление еще не исчезло, и оно начинало перерождаться в кабинетную, абстрактную мысль идеалистической философии нового времени. А Гёте — вот в чем величие созданного им — стал на переломе этих двух эпох как бы маяком для эпохи б у д у щ е г о, ясным, трезвым, глубоким материалистом-диалектиком. Недаром его наследие дало огромный цитатный материал для Гегеля, Маркса, Энгельса. И часто, читая Ленина, я встречала почти до-

[1] Н. К. К р у п с к а я. Ленинские установки в области культуры. М. Партиздат, 1934, стр. 21—22.

словное выраженье глубочайшей диалектической идеи, которая у Ленина восходила к Марксу — Гегелю, как к первоистоку, а у Гегеля восходила к высказанному у Гёте. В одной из десяти тетрадей Ленина по философии имеется отрывок, озаглавленный «К вопросу о диалектике», где Ленин как бы суммирует глубоко захватившее его у Гегеля соотношенье релятивного и абсолютного, частного и общего, единичного (которое он называет «отдельным») и всеобщего. И Ленин, суммируя свои мысли, создает для себя такую формулу:

«...отдельное не существует иначе как в той связи, которая ведет к общему. Общее существует лишь в отдельном, через отдельное. Всякое отдельное есть (так или иначе) общее. Всякое общее есть (частичка или сторона или сущность) отдельного»[1].

Если б Ленину попался в ту пору девятнадцатый том сочинений Гёте в издании Хемпеля (лучшем, на мой взгляд, издании Гёте) и он развернул его на странице 195, ему бросилась бы в глаза его собственная «суммирующая» мысль в лаконичном изложении поэта:

Что есть общее?
— Единичный случай.
А что есть отдельное?
— Миллионы случаев[2].

Г. В. Плеханов, с которым Ленин, как с близким соратником, почти всегда боролся бок о бок в философских спорах*, выступая с ним вместе против Богданова, цитирует (в примечаньях к своему переводу «Людвига Фейербаха» Энгельса) знаменитое шестистишие Гёте о познаваемости мира:

Вы должны, при изучении природы,
Всегда воспринимать единичное, как всеобщее;
Ничего нет внутри, ничего нет снаружи,

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 29, стр. 318.

[2] Was ist Allgemeine?
— Der einezelne Fall.
Was ist das Besondere?
— Millionen Fälle. (Goethes Werke. Hempel-Ausgabe, B. XIX, S. 195).

* Ленин поправлял Плеханова, когда тот ошибался (в книге «Материализм и эмпириокритицизм», например, см: В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 18, стр. 155 и дальше).

> Ибо то, что внутри, то и снаружи.
> Так схватывайте ж без промедленья
> Святую открытую тайну [1].

И, процитировав, пишет: «В этих немногих словах заключается, можно сказать, вся «гносеология» материализма...» [2].

А кардинальнейшая идея собственно ленинской философии, идея, без которой, в сущности, не было бы и марксизма,— что всякая теория проверяется практикой и практика является критерием теории,— эта идея ведь — сердце гётеанства, любимое дитя гётевского мышления. Гёте говорил об этом множество раз, он неоднократно к этому возвращался, как бы подчеркивая повторением важность и неизменность мысли: «Моим пробным камнем для всякой теории остается практика» [3]. Но как тут не вспомнить раздел «Критерий практики в теории познания» в «Материализме и эмпириокритицизме», раздел, где Ленин вводит практику, как критерий, в самую основу гносеологии и громит идеалистов за отделение теории от практики; как не вспомнить и постоянные указанья Ильича — практикой проверять теорию! До самых последних дней жизни делал Ленин эти указанья. В последнем, что он написал, «Лучше меньше, да лучше», он наблюдает в советских, еще хаотических и не нашедших себя учреждениях, «интереснейшее явление, как в общественной жизни величайший прыжок вперед соединяется с чудовищной робостью перед самыми маленькими изменениями» [4]. Что означает такое несоответствие? Отрыв теории от практики, уход теории в абстракцию. Мизерная, трусливая практика (неумение внести ничтожнейшие практические реформы при полете прожектёрской мысли под облака) — становится как бы критерием этой заоблачной теории, подвергает критике самый «прыжок вперед». Отсюда вывод: лучше меньше, да лучше. Когда, например, слишком много и легко разглагольствуют о пролетарской культуре, Ильич тянет

[1] Goethes Werke. Hempel-Ausgabe, B. II. S. 230 (Перевод мой, дословный. — **М. Ш.**)

[2] Г. В. Плеханов. Сочинения. М.-П. Государственное издательство, 1923—1927. Том VIII, стр. 387.

[3] В. О. Лихтенштадт. Гёте. Спб. Государственное издательство, 1920, стр. 387.

[4] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 45, стр. 400.

«теорию» назад, применив «пробный камень практики»: «нам бы для начала достаточно настоящей буржуазной культуры, нам бы для начала обойтись без особенно махровых типов культур добуржуазного порядка, т. е. культур чиновничьей, или крепостнической и т. п. В вопросах культуры торопливость и размашистость вреднее всего. Это многим из наших юных литераторов и коммунистов следовало бы намотать себе хорошенечко на ус» [1].

Сфера этих идей,— материалистическая диалектика познания мира и проверка критерием практики всякой теории — не только марксо-ленинская,— она и гётеанская сфера. И я останавливаюсь на ней так долго потому, что,— как ни странно прозвучит это для современного советского уха,— личный мой путь к марксизму проложен был гётеанством. А так как все это вместе имеет и прямое касание к проблеме Ленин — Горький, я решаюсь начать издалека и обо всем, как на духу, рассказать читателю, не боясь утомительных, быть может, для него отступлений...

Мы подъезжали тем временем к Сорренто. Почему я вздумала провести рождественские две недели в Сорренто, хотя друзья настойчиво уговаривали меня остаться и под Генуей, и над Болоньей, где сулили «красивейшее в мире место», названное так самим Наполеоном? Сюда привело, как на свидание с чем-то единственно милым сердцу,— страстное желание быть ближе к месту моей темы и еще — несколько беглых фраз из воспоминаний М. Ф. Андреевой. Она писала: «Горький с увлечением показывал Ленину Помпею, Неаполитанский музей, где он знал буквально каждый уголок. Они ездили вместе на Везувий и по окрестностям Неаполя. Горький удивительно рассказывал. Он умел двумя-тремя словами нарисовать пейзаж, обрисовать событие, человека. Это его свойство особенно восхищало Ленина. Со своей стороны, Горький не переставал восхищаться четкостью мысли и яркостью ума Владимира Ильича, его умением подойти к человеку и явлению прямо, просто и необыкновенно ясно. Мне кажется, что именно с того времени Ленин нежно полюбил Горького. Не помню случая, чтобы Ленин сердился на него. Горький любил Ленина

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 45, стр. 389.

горячо, порывисто н восхищался им пламенно»[1]. В этнх немногнх словах большая артистка сумела ярко противопоставить две нндивидуальности, сохранив эмоциональный оттенок нх отношенья друг ко другу. И кроме того — Неаполь, Везувнй, Неаполитанский музей, исхоженные и мною вдоль и поперек... И ко всему прочему — происхождение самого слова «Сорренто»,— от древнего латинского корня «улыбка»; уже несколько лет оно как бы улыбалось мне. Я никогда раньше не жила в Сорренто, но несколько раз проезжала его. И до Октября, и после,— на старом фаэтоне и в современном автобусе; и случалось все время так, что это было ночью или поздно вечером с торопливой необходимостью добраться на ночевку в Амальфн илн назад, в Неаполь. Мне запомнились погруженные в черноту спящне улички, неожиданно ярко освещенные витрнны магазннчнков н настежь раскрытые двери этих магазннчиков, прямо в ночь, с выставленнымн наружу необыкновенной красоты изделиями — парчой, кружевамн, деревянными ящичками с цветной ннкрустацией, керамнкой, фарфоровыми статуэтками. Туристы хищно набрасывалнсь на них, а нздалека откуда-то шел монотонный гул,— это Тнрренское море металось у берегов взад и вперед.

С тех пор воображенье хранило почему-то Сорренто, как прибрежную деревушку, полого идущую к морю, где можно сндеть на песке и подставлять голые ноги воде морской. Но сейчас, при дневном свете, все это оказалось иллюзией. Никаких берегов — словно сорочье гнездо на голом дереве,— в будний день и вне сезона — Сорренто закинуто на крутые скалы, совсем пусто и чудовищно скучно. Обойти его, со всеми пригородамн и ландшафтами, можно было в первый же день, а заглянуть вниз, в те места под скаламн, где ютнлось нечто вроде тряпичных обрезков,— отдельные чуть вытянутые за язык у скалы крохотные кусочки «пляжей», куда спуски были только искусственные, значило вдохнуть чуть ли не трупный запах устойчивой зимней сырости н мокрой осклизости каменных стен, спускавшихся вниз. За две недели я ни разу не побывала внизу у моря, зато море затягивало мой горизонт с трех сторон, когда я выгля-

[1] М. Ф. Андреева. Переписка. Воспоминания. Статьи... М. Государственное издательство «Искусство», 1961, стр. 98—99.

дывала из окна своей комнаты. Получить ее удалось сразу, и очень дешево, в отеле второй категории, то есть выше среднего. Мы въехали на машине куда-то прямо к каменной баллюстраде, за которой необъятно синело море, исчерканное белыми хвостиками пены от ветра, редкого здесь даже зимой. Справа — нас перепугала вывеска отеля-люкс «Империал Трамонтано». Слева, скромнее,— отель с гомеровским названием «Сирена». Там я и остановилась. Поскольку почти все время, за вычетом рождественских праздников, я жила в этой «Сирене» одна, мне думается, скромная моя плата поддерживала общее отопление в ожидании настоящей гостевой публики.

Если б не работа, делать в Сорренто мне было бы решительно нечего, но зато работа моя получила сразу же неожиданную помощь. Рано утром, проснувшись от воя ветра в оконных ставнях и типичного запаха английского завтрака (бэкон энд эгс!), единственно для меня одной, я быстро вскочила с жадным чувством исследователя. Какой-никакой, а город был новый. Сколько раз потом пришлось мне повторять эти «открытия» первого дня, и сейчас, закрыв глаза, я их отчетливо себе представляю. Вот я выхожу из «Сирены» на площадь-сквер, где стоит, прямо перед «Сиреной», дом, где родился Торквато Тассо. Фасад его так обветшал, что стал похож на аквамариновый цвет моря, усиленно стертый школьной резинкой. Доска — со стихами Тассо к «Сирене»... Но эта «каза» (дом) закрыта, и, по-видимому, только постояльцы «Империала Трамонтано», расположенного в парке за ее «спиной», могут иметь к ней доступ вне сезона. Сколько я ни просила черноглазых портье как-нибудь свести меня туда, их жаркие обещания так и остались втуне... Дальше, на скверик выходит католическая школа, и каждый день озорные ребята играют тут во время перемены, метая по всем направленьям увесистые мячи. С опаской иду по узкой щели к центру — тротуаров нет, машины влезают в щель непрерывно, иногда с двух сторон, и пешеход, чтоб не быть раздавленным, должен вскакивать на ступеньки лавочек. А лавочек много, очень провинциальных; до субботы и воскресенья, когда наезжают туристы, никакой россыпи «сувениров», хотя на удивительный, уникальный фарфор,— жанровые сценки и портретные статуэтки, сделанные в единствен-

ном числе большими художниками и стоящие многие тысячи лир,— вы всегда можете любоваться в окнах. Ни один из этих шедевров поражающей тонкости и раскраски не был куплен за две недели моей отсидки в Сорренто.

Узкая щель называется Страда Тассо, а школа — Святого Павла. Центр пройти из конца в конец, от статуи святого Антония, патрона Сорренто, до статуи Тассо — минута, не больше. Сперва я не стала смотреть «достопримечательности», а разговорилась со старым извозчиком, сидевшим на облучке очень задрипанной коляски. Дело в том, что в Сорренто было много изящных беговых дрожек с очаровательнейшими лошадьми и элегантными вентурино, похожими на берейторов,— подступиться к ним было страшновато. А вот этот, пробудясь от старческой дрёмы, радостно разговорился со мной о «Массимо Горки». Хотя и на извозчичьих колымагах в Италии есть счетчики, мы ударили с ним по рукам за тысячу лир. И поехали на виллу, где Горький жил несколько лет, начиная с 1924 года, и где писал Клима Самгина. Ехали все вверх и вверх почти шагом, а старик сидел на облучке вполоборота ко мне, как на дамском седле, и рассказывал по-итальянски о Горьком. Единственное, что дошло до меня из его рассказов,— это «Madre», «Madre»,— «Мать» Горького, любимая, популярная у простого итальянского люда и тесно связанная с именем писателя. Не раз слышала я это любовное «Мадре», сопровождаемое доброй улыбкой, от носильщиков в Риме, от газетчиков и портье в Болонье и от официанта, носившего мне еду, в моей «Сирене». Вилла, где жил Горький, имеет мемориальную доску на стене — и стоит высоко над городом. Воздух там горный. Старик повел меня вокруг нее к уступу, где любил Горький сидеть на солнышке, на легендарном «камне Торквато Тассо».

Горький любил Сорренто, ходил летом на хвостики пляжей купаться — и других с собой звал. В июне 1931 года, ведя беседу «с молодыми ударниками, вошедшими в литературу», он не без гордости рассказал им: «В маленьком городе Сорренто в 1924 году на одной улице было написано: «Вива Ленин». Полиция закрасила надпись желтой краской. Написали красной: «Вива Ленин». Полиция закрасила бурой. Написали белой: «Вива Ленин».

Так и написано по сию пору...»[1].

Сколько времени длилось это «по сию пору» — не знаю, но сейчас надписи нет. Обжившись, я почувствовала особое зеленое очарование этого городка — он весь мандариновый, словно это не город, а плантация. Маленькие кудрявые мандариновые деревца окаймляли все улицы и желтели в эту зиму неслыханным обилием плодов. На рождество их увесили электрическими свечками, и под цветным огнем мандарины кругло сняли, как золотые шары елочных украшений. В два-три дня все тут стало мне родным — два убогих кино, дешевенькое кафе, в котором я часто встречалась и обменивалась любезными приветствиями со стариком извозчиком,— он пил у стойки бурый кофе, а его кляча стоя спала у входа. Стали родными и, признаться, порядком опостылели,— и единственная элегантная улица Корреале с надписью «зона тишины» (Silenzio), где расположились богатые виллы и отели; и стена, тянущаяся чуть ли не на квартал, за которой помещались конюшни и школа верховой езды,— оттуда тянуло любимым мною теплым запахом лошадиного пота. И другая стена, уцелевшая от XV века, cinquecentesche. Вокзал окружной везувианской дороги — по ней придется уезжать в Неаполь... Казалось бы, откуда здесь придет помощь в работе? А помощь пришла.

На третий день, идя по Корреале, я уперлась в здание муниципалитета, где находился уже осмотренный мною музей всякой всячины, и вздумала прочесть огромный список имен на мраморной доске, помещенной на фасаде музея. Это были имена всех знаменитостей, побывавших в Сорренто. Надев острые очки, кого только не насчитала я в этом списке: конечно же, первым — Гёте. За ним Байрон, Берлиоз, Альфред де Мюссе, Сент-Бёв, Ламартин, Теодор Моммсен, Лев Толстой, мадам де Сталь, Фридрих Ницше, Томас Рид, Анатоль Франс, Марион Крауфорд... Я читала и читала, потом начала перечитывать сначала, но нет: того, кто прожил в Сорренто несколько лет, нашего Максима Горького, в списке не было! Почему? За революционность? Но ведь он знаменит в Италии больше, чем три четверти перечисленных имен...

---

[1] В. И. Ленин и А. М. Горький. Письма, воспоминания, документы. М. Издательство Академии наук СССР, 1961, стр. 303.

Рядом со мной кто-то пригласительно закашлял. Я увидела старичка, прилично одетого, со шляпой в руке, он, видимо, снял ее из вежливости, желая приступить к разговору. Должно быть, уж очень был у меня советский вид — старичок сразу угадал, кого я ищу и не нахожу. Встретясь со мной глазами, он как-то предположительно начал: «Massimo Gorki?» И тут же докончил: «Горький, мне кажется, приехал позже, чем вывесили доску. Горький в Сорренто — это уже наше с вами время, gentile signora,— наше время, nostro tempo...»

Я поблагодарила и пошла домой с чувством внезапного озарения. Наше время! Не сразу даже до конца понятно стало, какая помощь пришла ко мне.

Читатель, может быть, заметил, а скорей всего, не заметил (как и я сама), что, работая над темой «Ленин», я мыслила и жила в прошлом, в той отодвинутости времени, когда мы, люди пера, или, как нас окрестили, люди буквы (литеры), воспринимаем его исторически. А воспринимать время исторически — это значит чувствовать себя отсутствующими (или, точней, не присутствующими лично) в этой эпохе, какую стараемся описать. И еще одно наблюденье, может, и не ускользнувшее от читателя,— он, во всяком случае, волен его тут же проверить: есть такой жанр, кроме романа, который естественно было бы назвать «историческим», поскольку он говорит о прошлом,— это мемуары. А между тем нет в мире, и абсолютно быть не может, таких «воспоминаний», которые писались бы «исторически». Дело в том, что в них стержнем (или осью) сидит живое человеческое «я», вокруг которого и вертится материал, сразу становящийся не фактами истории, а фактами жизни. Пока жив сам мемуарист, живет и поживает его «я»,— жив и материал вокруг него, пульсирующий кровью сегодняшнего дня, хотя бы описывался мемуаристом день вчерашний и позавчерашний. Только после смерти стержня, то есть — самого мемуариста, факты его жизни, мертвея, уходят в историю. Наше время!

Я шла домой, занятая внутренней перестройкой, происходившей в моем сознании. Цифры 1924—1936, от переезда Горького в Сорренто и до его смерти в Москве, стояли перед глазами с яркостью зажженной иллюминации. Но вот они стали тускнеть, и вместо них загоре-

лись 1905—1936, годы, охватывающие мою тему, годы знакомства, дружбы, конфликта и предсмертной близости Ленина и Горького. В них было одно, о чем раньше я как-то совсем забыла. В них был тот непреложный факт, что годы эти были и моей со-временностью, я сама жила в эти годы,— пусть в их начале мелкой, обыденной жизнью еще несмышлёныша, но в том же времени и пространстве, в той же приблизительно обстановке. Память, как шахматные фигуры на доске, начала тотчас же услужливо передвигать передо мной кадры, открылось светящееся окошечко в прошлое,— год 1905-й, Москва, мне 17 лет. Зима, баррикады в том переулке, где мы с сестрой, отпущенные на рождественские каникулы из пансиона домой, таскали от тетки с ее милостивого дозволения какие-то старые ведра и заношенные матрацы на стихийно громоздившуюся баррикаду. Зима 1906-го — делегаты из реального училища Фидлера в нашей гимназии Ржевской... и лето в Швейцарии, то самое лето, когда в дачном вагончике я подслушала русский разговор о непонятных «отрезках». И мы с еще молодой моей матерью поднялись — из Montreux или Glion'а, уж не помню,— мы тогда жили в Лозанне,— на самую вершину Rocher de Naye, шли целый день, а заночевали в гостинице, чтоб, как принято, восход солнца встретить... Rocher de Naye! Спустя 10 лет, в декабре 1916 года, Ленин писал Инессе Арманд в Кларан: «Гуляйте по горам на лыжах около Rocher de Naye» [1]. Значит, будь я сознательней, учись и вращайся в другой среде, я могла бы при своих выездах за границу встретиться где-нибудь с Инессой и вдруг — чего только не бывает в жизни — на улице, в вагоне, в лесу, на прогулке, в Париже, в берлинском Тиргартене пройти мимо небольшого, простого на вид, в смятом пиджаке, в котелке — величайшего человека эпохи, которого мне предстояло на всю жизнь заключить в сердце и разуме,— и которого я никогда, ни разу в жизни не видела. Выезды мои до революции в зарубежные страны — Швейцарию, Австрию, Германию, Францию — совпадали во времени не только с годами эмиграции Ленина, но и с местами его жизни на чужбине, а я — так близко — ничего не знала и не увидела. Может быть, создадут в математике такую отрасль, которая ря-

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 49, стр. 339.

дом с теорией вероятностей разработает теорию «утерянных возможностей»...

Писать о Ленине, переходя с девяностых годов в эпоху собственного сознательного существованья, значило — изменить метод показа времени. Эпоха придвинулась с большой дозой требовательности и ответственности. Ленина увидеть не пришлось. Но Горького я знала и видела, и тотчас же вошли в работу отсветы лично пережитого, отзвук человеческих голосов тех лет, панорама пейзажей и городов, опыт современника, и не привлечь его в работу уже стало невозможно. Мне много раз приходилось отказываться от просьбы написать воспоминанья о Горьком — они казались такими незначительными, так мало было личного общенья. Но знала я Горького длительно, протяжением жизни, хотя личное наше общенье и было ничтожно. Знала его и той молодостью знания, когда — с тысячами других современников почувствовала свежий ветер его прихода в литературу,— а это уже некий плюс перед густо насыщенными личным общением воспоминаниями тех, кто знал Горького только уже зрелым. Я была свидетельницей того смешного высокомерия с примесью зависти, с каким относились к нему в годы 1908—1912 в среде декадентов. И, наконец, я лично встретилась с ним в 1920 году и уже не переставала изредка видеть его вплоть до лета 1936-го, когда пришлось вместе с товарищами по перу постоять в почетном карауле у его гроба...

3

В начале девятисотых годов, как любят писать учебники, дышать становилось душно, и эта политическая духота чувствовалась даже теми, кто не участвовал в политике и ничего о ней не думал. Но я хочу быть искренней. Я не помню — на протяжении всей долгой жизни,— чтоб новое поколенье, новая молодежь человечества, выходила на так называемую «историческую арену» пессимистически,— молодежь в массе. Молодость сама в себе носит потенцию счастья: биологически — от нерастраченности сил, нервов, органов восприятия; душевно — от сознанья большого времени жизни впереди. Это как шахматный игрок в самом начале соревнованья.

Вспоминая себя на пороге жизни,— не в одиночку, а с однолетками вокруг, завистливо думаешь, до чего же мало значили тогда всевозможные личные невзгоды, жизнь впроголодь, прогорклая котлета в студенческой столовке, спанье на верхней багажной полке в бесплацкартном вагоне третьего класса, муки занятий с балбесами, оторванная подошва. Даже то, что нависало извне,— избиение демонстраций, увольнение студентов из университета, арест любимых профессоров и писателей, имело в себе нечто от счастья или от эйфории,— подъемное желанье протеста, борьбы. Главное же — это подъемное чувство сливало с массой, выводило на широкий простор из комнатного мирка.

В кругу, где я училась, не было профессиональных революционеров. Но все равно мы что-то делали для революции, мало в этом разбираясь: бегали по самым дорогим московским магазинам, таинственно требуя у хозяев-кассиров «жертвовать на революцию» — и гордо отрывали нумерованный листок от эсеровской книжки с бланками для расписок; молча, без вопросов принимали у неизвестно кого связки неведомой нелегальщины и совали их под матрац, пока не придет за ними такой же молчаливый человек. Но среди всей этой подъемной, божественно увлекательной суеты явление Горького было наиболее ярким. Приход его в литературу мне напоминает сейчас косые лучи солнца вечером, когда тень человека удлиняется, и сам человек, возникая на пустой дороге, заслоняет горизонт и кажется гигантской фигурой. Он был ни на кого до него не похожий. От него веяло незнакомым человечеством, словно с другой планеты. Люди в его книгах были тоже огромные, как он, по чувствам и характерам; речи их необыкновенно смелы и пронизывающи, любовь — ошеломлявшая в своей откровенности, в прямоте показа. Горький, один, вдруг занял всю литературу. Помню, как всем нам хотелось бродить, помогать рождению человека на больших дорогах, греться у костров, своими глазами увидеть бедного калеку в ящике, собиравшего жуков и кузнечиков... мир людей, о которых думалось с дрожью, но они высокой своей человечностью заставляли нас плакать, и слезы текли при чтении — они и сейчас начинают течь, когда перечитываешь «Страсти-мордасти». Таким свежим, смелым, сильным открылся моему поколенью молодежи но-

вый писатель со странным именем Максим Горький. А уж «Сокола» и «Буревестника» мы знали наизусть.

Потом пошли годы спада. Изменился весь тон в газетах, в разговорах. Усилилась у знакомых студентов критика философии Маркса. Я тогда понятия не имела ни об «экономике», ни о «философии» Маркса, но в памяти цепко удержала фразу знакомого, казавшегося до крайности авторитетным, очкастого армянина студента по фамилии Амиров, ходившего к нам с сестрой в гости: «В политэкономии дальше Маркса никто не пошел, но в философии Маркс слаб, философия — слабое место марксизма». Это звучало безапелляционно, частенько повторялось в разных местах, где собирались студенты. А у нас, на Высших женских курсах Герье, в Мерзляковском переулке, в доме, подъезд которого утиным носом вылезал на угол Поварской, тоже начались новшества. Перед аудиториями, на площадке лестницы, расположился книжный киоск. Странные книги, точней книжки, листовки, брошюрки, по копеечке, по пятаку — отказавшись от расхода на конку, можно было раскошелиться на них,— до того необычными были их названья: «Агнец божий», «Оптина Пустынь», «Философия Отцов Церкви», «Логос в понимании старцев», «Когда все мертвые воскреснут». Необычны были названья не столько сами по себе, сколько в сочетаньи с именами авторов — Владимира Соловьева, Сергея Булгакова, Николая Федорова, Льва Тихомирова и чаще всего Михаила Новоселова, творца и составителя всей этой «религиозно-философской библиотеки», отрывочков, снабженных, кажется, им самим выдуманными названиями. Он и сам, Новоселов, стоял возле своего киоска, невысокий, кругловатый мужчина с лицом Пикквика и слегка подмасленными со лба жидкими волосами клопиного цвета. Помню, как, протянув мне книжку Льва Тихомирова, он ласковым голосом сказал: «Ознакомьтесь, если не пугает вас имя бывшего террориста»,— и не захотел взять за нее три копейки. А я, признаться, с благодарностью принимая даровую книжку, не знала этого Льва Тихомирова ни как «до», ни как «после» его появленья в кругу «православной» философии.

Новоселов был московским уловителем душ, с типично московским оттенком черносотенного славянофильства. В Петербурге тяга к религиозным вопросам окра-

силась несколько западнически. Две фразы, точней, два стиха в поэзии встали эпиграфом к этим годам спада и опустошенности. Брюсовское:

О, закрой свои бледные ноги [1]

и гиппиусовское:

Мне нужно то, чего нет на свете, чего нет на свете [2].

Ритмически они закрывали еще недавно звеневшие нам колоколом ритмы «Буревестника». Они делали прежние ритмы примитивными, наивными, безвкусными. Они импонировали своей таинственной необычностью.

Помню, как, сидя на тумбочке в нашей с сестрой комнате, почти лишенной мебели и окна, и свесив вниз худые, как палочки, ноги в элегантных серых брюках, наш частый гость, Владя Ходасевич, снисходительно объяснял нам смысл этого непонятного брюсовского стиха, состоявшего из одной единственной строчки: «Бледные голые ноги на ремесленных фигурах богоматери, по всем проезжим дорогам Польши, например,— это натурализм, опошление культа Мадонны,— брюсовский моностих выразил пасквильность, нечистоплотность натурализма... О, закрой свои бледные ноги! — это целая философия, целый бунт в искусстве!»

Ну а гиппиусовское «Мне нужно то, чего нет на свете» неожиданно ранило мою собственную душу. В эпоху спада среди окружающей молодежи вспыхнула эпидемия разочарованья, безнадежности, неверия в пользу человеческих действий на земле. Факт стал принимать очертанья неубедительности, условности, вроде кантовской вещи в себе. И несравненно реальней, несравненно желанней всего фактического вставала в душах потребность чуда, вера в чудо. Я раздобыла первую книгу стихов Гиппиус (вторая, уже по просьбе самой Гиппиус, печаталась под моим собственным шефством в московском издательстве «Альциона» у тогдашнего издателя Кожебаткина) и выучила ее наизусть. Мне казалось: евангельское «у неимущего отни-

---

[1] В. Брюсов. Избранные стихи. М. Academia, 1933, стр. 157.
[2] З. Н. Гиппиус. Собрание стихов, 1889—1903. М. Книгоиздательство «Скорпион», 1904, стр. 2.

мается и то, что он имеет, и отдастся имущему много», которое я понимала, как имение высшего духовного богатства, обладание высшей духовной реальностью по сравнению с духовным убожеством «нищих духом»,— целиком применимо к этой книге. Нечто вроде физического закона — огромная масса, притягивая к себе,— нарастает, мелкая пылюга — окончательно распыляется... Вот почему не удалась революция! Ей не хватило веры. Нельзя идти в революцию, не обладая высшей реальностью, богом в сердце! Революция с богом в сердце — вот о чем поют эти стихи с их новым, изломанным, спиральным ритмом! И я, выкарабкавшись из уловительных сетей Новоселова, села строчить письмо своему новому божеству. Пишу эти — с теперешней моей точки зрения просто чудовищные — строки о безмерном одурении тогдашнего моего внутреннего мира, потому что оно было типовым, показательным для времени и моего круга. Из песни, как говорится, слова не выкинешь, а песня у меня начиналась одуряющая. Божество отозвалось на письмо. Оно позвало в Питер, к тем, кто собирается делать «религиозную революцию». И договорившись с дирекцией курсов, что буду приезжать на семинары и на экзамены, не посещая лекций из-за глуховатости,— я наскребла денег на «максимку» (так звали самый дешевый и самый долгий поезд из Москвы в Питер) и поехала на новый этап своего духовного становленья.

Это не мемуары, и писать, как я пребывала у Мережковских в роли своеобразной девочки-послушницы, как участвовала по вечерам у них на чтениях евангелия и самодельных молитвах, как написала первую свою книжку прозы, вышедшую в «Альционе» под двусмысленным для читателя названием «О блаженстве имущего», я здесь не буду, это никаким концом не связано с моей темой. Но о главном, что было с ней связано, расскажу. Одной из моих «негласных» обязанностей у Мережковских, живших тогда втроем в доме Мурузи на Литейном,— сухонького, маленького, с блестящим черным пробором Дмитрия Сергеевича Мережковского; слегка инфантильного, барственно-крупного и выхоленного, с голубыми навыкат глазами, Дмитрия Владимировича Философова и самой Зинаиды Николаевны Гиппиус, очень высокой и тоненькой, с русалочьим взглядом из-под пыш-

ной русой прически и хрипловатым, от вечного курения душистых папиросок, голосом,— одной из моих обязанностей у этой троицы было доставление им, на предмет религиозно-революционной пропаганды, самых настоящих рабочих (как нынче сказали бы: от станка), разочарованных «неудачей 1905 года». А эта обязанность привела меня на Гагаринские курсы, где в то время читались студентами общеобразовательные лекции для рабочих.

Группа слушателей захотела познакомиться с предметом, не входившим в программу курсов, с «древнегреческой философией». И этот предмет был предложен мне, поскольку я числилась на историко-философском факультете. Предложенье было отчасти конспиративное. Читать нужно было на дому у рабочих, с осторожностью. Главой группы стал путиловец, рабочий Кузьмин. Я сразу увлеклась предметом. Набросала тезисы. И по всегдашней своей страсти к преждевременным обобщеньям, ринулась вперед к новой, обобщающей идее своих лекций, конечно — собственной,— новые идеи слетались в ту пору к моей голове такими же стаями, как голуби в Венеции на площади святого Марка.

Все было прекрасно и реально в этом эпизоде моего питерского житья, реально, хоть и сопряжено с тайной. Вечером заходил ко мне всякий раз новый рабочий, и мы выходили в темную сырость старого Петербурга, садились на конку — рабочий не позволял мне платить за себя — и ехали не знаю куда, ехали долго, на окраину. Выходили уже в другую темень, где зажженные глаза окон глядели не со второго и третьего этажей, а словно из-под земли, подслеповато, из деревянных домишек, и шагать надо было осторожно, оглядываясь. Каждый раз встреча была назначаема в новом месте. И каждый раз повторялось одно и то же: прибранная комнатка со столом на середине, табуретками вокруг. Садились не все, остальные стояли, набиваясь в комнату. На стол озабоченная, приветливая женщина ставила стакан чаю с сахаром и печенье на блюдце, говоря: «Кушайте, не стесняйтесь». Я разворачивала бумажку с конспектом. Никогда с тех пор не испытывала я такого «счастья отдачи» от живого своего слова, от лекции, от выступленья на собраньях, как в те часы. Вокруг были внимательные, удивительно хорошие человеческие лица. А перед моим

умственным взором возникали Гераклит и Пифагор, Демокрит и Эпикур, Платон и Диоген... И осенившая меня общая «идея» вдруг придала курсу какой-то особый для рабочих интерес. Идея была не из учебников, не из Куно Фишера, не из Виндельбанда, а из собственной моей авторской головы: древние философы свою философию всегда проводили в жизнь.

Я так с нее и начала свой курс,— эпикуровским изречением: нет пользы в медицине, не лечащей тело, как нет пользы в философии, не очищающей душу, не влияющей на поведение человека.

Особенно яркими примерами служили для меня киренаики, гениальный философ счастья Аристипп, материалист Эпикур, циник Диоген. Я видела их перед собой, когда о них говорила. Видела тяжко больного Аристиппа с его кровавой рвотой и невыносимыми болями, худого, как скелет, в хитоне, с венком на блеклых, развитых, ставших ломкими от болезни и потерявших блеск локонах — в саду под портиком у входа, в кругу друзей, с пиалой вина в исхудалых руках, вина, запрещенного Эскулапом. Силой воли, я говорила — силой своей идеи,— он заставлял себя не чувствовать боль, побеждать болезнь, отодвигать смерть. Он был убежден, что цель человечества — счастье, а быть счастливым — значит вкушать наслажденье, питать свои органы чувств, давать главному из них, ощущенью, живущему во чреве,— его законную, природой назначенную пищу; и вот он, хоть и терзает его болезнь,— смеется над своей болезнью и живет — согласно своей философии, наслаждаясь даже больным, истерзанным телом. Ученики и друзья, восхищенные Аристиппом, поднимали пиалы в честь безмерной победы духа над телом, идеи над материей... Но Эпикур был совсем другой,— Эпикур был здоровяк и мыслитель, учившийся у Демокрита. Термин «эпикурейство» — зря спекулируют его именем,— свое содержанье термин украл у Аристиппа. А Эпикур жил нормальной жизнью, проповедуя материализм, как единственную истину. Он был, в сущности, образцом нормального человека, сына природы. А вот циник Диоген,— «цинизм» тоже вошел в обиход человеческой речи, хотя тоже с другим, наслоившимся за тысячелетия оттенком,— Диоген проповедовал философию полного пренебрежения к чувствам, к потребностям тела, к его капризам; он требо-

вал полного безоглядного опрощения, наготы телесной и духовной,— и совершенно опростился сам, отказался ото всего, нагишом залез в бочку, таким и остался в памяти человечества, проповедником опрощенья из пустой бочки. Не то важно, что философия эта примитивна, смешна в своей наивности и категоричности, а то важно, что философ, проповедуя ее, сам жил по своей проповеди, теорию превратил в поведение, теория в античной древности не отрывалась от практики...

— Слово с делом у них не расходилось,— вставил вдруг один из моих слушателей. Рабочие не только не скучали, не только не путались в лесу терминологии из-за моей школярской привычки приводить ученые термины,— они преспокойно разбирались в них и откликались не на одни лишь образы и картины, а и на главную мою идею; и они прекрасно поняли историзм первых философских учений греков. Когда лекции кончились (на смерти Сократа) и я гордо произнесла «вот какова была древняя греческая философия»,— главный заправила этого «сверхпрограммного» курса, путиловец Кузьмин, как бы подвел итог:

— Начало они положили правильное,— ну а как впоследствии пошло развитие мысли, можете вы вкратце изложить?

Я, помню, остановилась. Привыкнув мыслить прежде всего образами, я вдруг увидела целую пчелиную башню ячеек, в которых сидели философы девятнадцатого века. То было особое мышление, уходившее вглубь, мышление сидячей жизни, мышление о мышлении, паутина — отнюдь не обязывавшая, не звавшая жить по себе,— и невозможно было жить по ней... хотя пессимист Шопенгауэр, например, мог бы, конечно, застрелиться, чтоб уйти в мировую волю, но он любил играть на скрипке... Гартман,— но Гартман одной рукой написал свою диссертацию, а другой рукой сам себя анонимно опроверг. Вообще... Я смутилась, я любила в те дни Гегеля и страстно изучала его, упиваясь страницами «Логики» и «Феноменологии»; по уши увязала и в «Критике Практического разума» Канта. Мне казалось: вот сейчас совершу какое-то предательство в отношении своих любимцев. И я вяло промямлила:

— Потом наступила эра исследования самого процесса человеческого мышления, очень важная эра.

Обратно я всегда ездила одна, меня лишь доводил кто-нибудь до конки. Но на этот раз маленький черномазый человек в картузе и промасленных рукавах, стоявший во время лекции в самых дверях, сел со мной рядом на скамейку. Меня строго предупреждали о «шпиках», которыми кишела тогда наша жизнь, и советовали ни с кем не говорить вне своей лекции. А маленький человек ерзал, желая заговорить, и наконец сказал: «Были, товарищ, и в наши времена философы, у кого теория рядом с практикой шла. Слышали, может, про философию Карла Маркса?» Я ответила, отодвигаясь от него: «Политика меня не интересует».

Но то было предохранительное вранье,— на всякий случай, если черномазый в промасленных рукавах окажется шпиком. А в мыслях у меня всю дорогу и дома весь оставшийся вечер фраза эта перекликалась с другой фразой — о философии Маркса, будто философия эта — слаба. Кто и когда так сказал? Студент Амиров после неудачной революции 1905 года? Не потому ли, что мозги его съедены пассивной, созерцательной, размышляющей по своим пчелиным ячейкам философией девятнадцатого века? Не потому ли и называет он философию Маркса слабой, что она а к т и в н а, как в эпоху древних греков? Интересно, что это за философия? И почему я все повторяю, как попугай, «неудачная революция»? Вон мои слушатели — живые, интересные, заинтересованные, далекие от нытиков-интеллигентов. Раз есть такие, как можно говорить «неудачная»,— для них уж наверное что-то удалось в ней... Я незаметно сползала в «ересь» из позиции скромной послушницы. И ни одного из моих милых слушателей не привела тогда к Мережковским.

Переживаемое не проходит даром, оно незаметно наслаивается на вас, покуда количество не переходит в качество. Через два года перо мое, раньше благоговейно выводившее «О блаженстве имущего», настрочило резкую рецензию на новый роман Гиппиус. Роман носил название «Чертова кукла» и в нем, как чертовы куклы, как куклы в руках у зла, деревянно-ходульными были выведены марксисты-большевики. А рецензия моя называлась «Театр марионеток», и в ней я написала, что сам этот роман — ходульно-деревянный, искусственный, с марионетками в руках у автора, порожденными незна-

нием людей и жизни... Рецензия, напечатанная в «Приазовском крае», стала одной из причин резкого разрыва с Мережковскими и благополучно увела меня из Питера назад, в Москву.

Прошли годы — несколько долгих лет ученья и бродяжничества, проведенных под знаком Гёте, годы первой империалистической войны и новой революции. И вот я опять перебралась из Москвы в Питер и стою с пятью красивыми, купленными в Гейдельберге тетрадками, исписанными еще молодым, бисерным почерком, у многоэтажного дома на Кронверкском проспекте, тщетно выискивая «парадный ход» с улицы. Не найдя его, прошла в ворота, поднялась по черной лестнице и, постучавши, оказалась в большой полупустой кухне. Высокий человек, насупленный, видимо, очень недовольный, не сразу показался в дверях.

Есть одна фотография от 1920 года, снятая в Петрограде,— Горький, Андреева, Уэллс. Горький и Уэллс сидят, а Мария Федоровна стоит за ними, облокотившись на спинку стула Горького. Удивительно не типичное, разлаженное какое-то лицо у Горького на этой фотографии, а глаза — печальные, с острым внутренним недовольством и каким-то стеснением. И еще есть, такой же не типичный,— рисунок художника Н. А. Андреева от 23 июля 1921 года, где Горький дан остро, в три четверти, с заостренным кончиком носа, почти лысым черепом и — злым, пронизывающим, недоверчивым взглядом, сузившим почти до точек зрачки [1].

Вот такое лицо было у Алексея Максимовича,— недовольство, стеснение, тяжелая внутренняя печаль,— когда я увидела его первый раз в жизни,— зимой 20-го года, в его тогдашней питерской квартире. За рукав проведя меня из кухни в свой кабинет, Горький первым долгом излил свое недовольство: что это за унижение паче гордости, манера приходить к человеку с черного хода, когда есть обыкновенная входная дверь,— нельзя так, нельзя унижать себя, достоинство надо свое беречь... Пока он так отрывисто,— усаживая меня,— опять при-

---

[1] Первое фото я видела в книге: М. Андреева. Переписка. Воспоминания. Статьи... М. «Искусство», 1961. А рисунок Андреева — в книге: В. И. Ленин и А. М. Горький. Письма, воспоминания, документы. М. Издательство Академии наук СССР, 1961.

нудительным жестом за плечо,— и сам усаживаясь,— обрушивал на меня свои нравоученья, не давая слово сказать, я поняла, что «слово» вообще не стоит говорить, все равно он может не поверить мне. Я, разумеется, в жизни своей никаких различий между «черным» и «парадным» ходом не делала, шла, куда попало, а тут просто не отыскала дверей к нему и вынуждена была пойти со двора, чтоб расспросить кого-нибудь. Расспросила первую встречную старушку — и пошла, куда она показала пальцем.

Подождала, пока отрывочные фразы кончились резким переходом к другому тону:

— Ну как? Устроились? Слышал — в «Доме Искусств» — там много интересных молодых писателей. Что у вас в руках?

В руках у меня была рукопись «Путешествия в Веймар», проделанного мной перед самым началом первой мировой войны пешком, из Гейдельберга в Веймар. Я собиралась просить Горького устроить эту мою книгу в издательстве Гржебина или вообще, где это возможно. Кроме нее — ничего не было у меня для печати, а нужно жить.

Горький взял одну из моих тетрадок, перелистал ее без особенного интереса, о чем-то, видимо, совсем постороннем задумался, потом закрыл тетрадь, отложил ее и опять сказал:

— Ну-с, я слушаю.

Об этой первой встрече с Горьким я долго мечтала; и что именно собиралась сказать ему — долго повторяла в уме. Я хотела рассказать, как важно сейчас, перед новой эпохой философии, все огромное явление Гёте, которого у нас совершенно не знают; как важно воскресить его, снова о нем заговорить и притом не о поэте, а о философе, мыслителе Гёте, очень близком новому нашему миросозерцанию... Хотя сложившаяся десятками лет его совершенно неверная, искаженная репутация мешает этому. Мыслей накопилось множество, они друг друга теснили, я была уверена, что изложить их — не хватит назначенного мне часа. Но вот — сижу, вижу чуть припухлые в веках горьковские печальные глаза, повисший ус, такое знакомое по фотографиям и рисункам, такое родное простонародное лицо,— а слова куда-то попрятались, в голове пусто и не могу ничего путного ска-

зать. Горький мне помогает, вдруг назвав совсем незнакомое имя:

— Лихтенштадт много поработал над Гёте, рекомендую прочесть, обязательно поищите и прочтите.

О Лихтенштадте я услышала впервые, записываю его фамилию на обложке одной из своих тетрадок и прорываюсь наконец к своей главной фразе: книга моя о Гёте может показаться не марксистской, я еще очень плохо знаю Маркса, а когда она писалась, почти вовсе не знала, но с тех пор очень много...

И тут Горький сказал вещь, положившую конец нашей первой с ним встрече. Сухо и коротко он прервал меня словами:

— Я не марксист.

Что потом говорилось — не помню. Я была сбита с толку и смущена. И мне, грешным делом, показалось, что Горький, как раньше с черной лестницей, так сейчас — понял меня превратно, подумав, может быть, что я пытаюсь с марксизмом своим так же сознательно, с особой целью войти к нему «с парадного хода», как сознательно и с особой целью самое себя привела к нему с черного. Вот и не получилась у нас встреча с Горьким, первая и единственная, где мы разговаривали с глазу на глаз. Горький, так хорошо знавший людей, совершенно не понял меня. А я, хранившая нежно в памяти «Страсти-мордасти» и «Мать»,— отшатнулась от Горького.

4

В 1965 году вышла книга, очень помогающая хорошо понять Горького и любовь к нему Ленина. Это — семьдесят второй том «Литературного наследства», содержащий неизданную переписку Горького с Леонидом Андреевым. Трудно найти еще пример в мировом эпистолярном наследии, где было бы больше блеска, остроумия, веселой молодой жизнерадостности и — драматического развития конфликта двух разных индивидуальностей, сперва как будто растущих из одного и того же корня (реалистического понимания искусства и революционного отношенья к самодержавному русскому строю); потом — не сразу, а ступень за ступенью, трещина за тре-

щиной раскрывающих чуждость этих друзей друг другу,— одного, настоящего самородка из народа, для которого его позиция в искусстве и политике была продиктована классом и коренилась в глубине сознанья; другого — бунтовщика лишь по видимости, по молодости, с натурой по сути путаной, с воспитанием и бытом богемно-мещанским и с двигательной пружиной поведения — тщеславием. Читая, как Горький постепенно отодвигает от себя Леонида Андреева, как Леонид Андреев делает вид, что не видит реальных причин для этого; и как Горький — проницательно замечая, что друг его только притворяется не видящим, не понимающим глубины расхожденья, а сам отлично понимает и видит,— все-таки жалеет его, все-таки еще остерегает и поучает со своей горьковской неподражаемой суровостью,— читая все это подряд, испытываешь наслажденье, как от трагедии Еврипида.

В мутной общественной атмосфере декадентских лет, среди множества «малых сих», унесенных модой, опустошенностью, разочарованьем, отчаянием, скукой, любопытством, стихийной тягой к беспочвенному, безответственному забвению всего того, что еще годы назад казалось традицией русских классиков, потребностью народной совести и главным делом передового русского человека,— фигура Горького-борца, вставшего во весь рост наперерез мутному течению, не может не покорить читателя, не привлечь к нему сердце, не обнадежить, не стать его духовной опорой. Замечательная это переписка. Горький, в занятой им общественно-политической позиции, а не только по силе и яркости своего самобытного таланта, был настолько выше окружающей его среды, что не заметить его и не полюбить Ленин просто не мог; «Максим Горький» была та самая «практика» в области литературы, существование которой подтверждало марксистскую теорию.

Заметил Горького Ленин еще в 1899 году, когда в письме к А. Н. Потресову похвалил в журнале «Жизнь» беллетристику, а беллетристикой этой были пять глав «Фомы Гордеева» и ранние рассказы Горького. В 1901 году, вспоминает Е. Д. Стасова, «В. И. Ленин очень интересовался всем, что выходило из-под пера М. Горького. И мы, работники партии, старались держать Ленина в курсе того, что писал Горький. Так, его рассказ

«О писателе, который зазнался», появившийся в Петербурге нелегально, был переписан В. Ф. Кожевниковой и мною химическими чернилами между строк диссертации К. А. Крестникова «К морфологии крови при свинке»[1]. Выраженье «писатель, который зазнался» так понравилось Ленину, что он употребляет его в «Что делать?», в главе о псевдолевацких требованиях «свободы критики» и обвинениях ядра партии в «догматизме». В последующие годы Горький и Ленин подходят друг к другу все ближе и ближе, хотя личной встречи у них еще нет. Горький посылает деньги за границу на издание большевистского органа, еще не будучи в партии. Он уже свой. Он перенес крещение арестами. В январе 1905-го М. М. Литвинов видит, как в одном вагоне с ним, из Риги в Петербург, жандармы «тащат» арестованного Горького. И, наконец, этот медленный, все усиливающийся процесс сближения писателя с большевиками завершается вхождением его в партию во второй половине 1905 года. И все это время продолжается его переписка с Леонидом Андреевым.

Но если крепнет и мужает голос Горького в его письмах к другу, хотя он не пишет ему о своих политических связях; если чувствуется за критическим тоном какая-то твердая почва, идейная и позиционная, а не только простой профессионализм,— то все особенности мышления Горького, поздней обнаруживающиеся в конфликте с Лениным по поводу Богданова и «богостроительства», остаются при нем, остаются с самого начала, со дня вступления в партию, и, думается мне, дойдут во всей своей силе до того сумрачного питерского часа, когда я приду к нему через кухню и услышу его сухое и твердое: «Я не марксист».

Вот Горький вступил в партию, он необычайно горд этим. Он будет, как ребенок, счастлив возможностью побывать на Лондонском съезде и долго потом вспоминать это. Он уже встретился с Лениным,— произошла та самая знаменательная для него встреча 27 ноября 1905 года в Петербурге, о которой он с нежностью будет говорить Сперанскому за несколько часов до смерти.

---

[1] М. Горький в эпоху революции 1905—1907 годов. М., Издательство Академии наук СССР, 1957, стр. 71.

И после такой встречи, решающей в его жизни, вот что пишет о себе Горький Леониду Андрееву в ответ на его очередное туманное письмо:

«Судишь ты обо мне не очень глубокомысленно. Я социал-демократ, потому что я — революционер, а социал-демократическое учение — суть наиболее революционное. Ты скажешь — «казарма»! Мой друг — во всякой философии — важна часть критическая, часть же положительная — даже не всегда интересна, не только что важна. Анархизм — нечто очень уж примитивное. Отрицание ради утверждения абсолютной автономии моего «я» — это великолепно, но ради отрицания — не остроумно. В конце концов — анархизм мертвая точка, а человеческое «я» суть начало активное...»[1].

Здесь, хоть и в отрывочной форме, отражающей естественный поток его мыслей, дан весь Горький, сначала и до конца, даже с его упрямой привычкой употреблять множественное «суть», где надо ставить в единственном числе «есть». Весь Горький — с его кажущейся наивностью, а в то же время с его удивительной верностью своим убеждениям, точней — характеру своего мышления. Думаю, что лучше, полней, искренней Горький о себе нигде не высказывался, нежели в этих строках, писанных в медовый месяц его пребыванья в партии. И потому очень стоит остановиться на них, разобраться в них, представить их себе яснее.

Как некогда «Человек — это звучит гордо», у Горького с настоящей, торжественной гордостью звучит «Я социал-демократ, потому что я — революционер». Но он понимает, что революционеры и революции бывают разные, а поэтому приводит определение для «социал-демократического ученья»: оно — наиболее революционное. Почему «наиболее» — не объясняет, хотя речь идет об «учении», а тут уж непременно нужно бы объяснить. Но знание своего друга и его, андреевских, собственных вкусов и воззрений — сразу подсказывает ему тут, что́ именно должен возразить Леонид Андреев: «Казарма»! Социал-демократизм

---

[1] Литературное наследство. Том 72. Горький и Леонид Андреев. Неизданная переписка. Письмо Горького Андрееву от 2... 5/15... 18 марта 1906 г. М. «Наука», 1965, стр. 264.

мерещится туманно революционной русской интеллигенции, для которой 1905 год пришел в обличии ликующего, стихийного восстания, импровизации уличных баррикад, импровизации форм управленья, Советов,— как льющийся поток звуков под рукой гениального пианиста-импровизатора,— социал-демократизм для этой интеллигенции, во всей «сухости» своей дисциплины, во всей «категоричности» своих требований, во всей строгости своего жизненного устава — мерещится именно скучной, обязательной, насильственной казармой, как Гиппиус мерещился он куклой в руках у Дьявола. И тут бы Горькому раскрыть великие идеи Маркса, весь новый гуманизм, который целостно, полностью, приращенно, implicite, то есть, как бы целиком уже содержащийся в практике большевиков, представляет новую грандиозную страницу в книге истории человечества, меньше всего похожую на «казарму». Но вместо этого Горький сразу как бы соглашается с Леонидом Андреевым, лишь снисходительно объясняя ему, что «во всякой философии — в а ж н а ч а с т ь к р и т и ч е с к а я, ч а с т ь ж е п о л о ж и т е л ь н а я — д а ж е н е в с е г д а и н т е р е с н а, н е т о л ь к о ч т о в а ж н а». Не обращай на это вниманья,— как бы поучает он Леонида Андреева, боящегося «казармы». Важна критика, важно отрицание!.. Но тут опять встает на пути его мышления заминка. Горький спотыкается об анархизм. Ведь куда проще — анархизм из рук вон революционен, анархизм вовсе, как будто, лишен «положительной части», он весь с головой и хвостом укладывается в критику и отрицание... Но нет! Горький не хочет сползать неведомо куда, он не анархист, он в социал-демократической партии. Словно говоря с самим собой (как это часто случается в его письмах к Андрееву), словно рассуждая и споря внутри себя, как в шахматы играют сами с собой, Горький отвечает себе: анархизм — нечто очень уж примитивное. Отрицать — ради утверждения полной, абсолютной независимости своего человеческого «я» — это великолепно (это, как ты, друг Андреев, хочешь в своих драмах),— но отрицать для отрицанья — бессмыслица, «не остроумно». И тут Горький подходит к гениальному выводу, ярко озаряющему и весь жизненный путь его, и весь его внутренний мир, и — объяснивший мне всю степень любви к нему Ленина именно з а э т о, за наличие э т о г о в Горьком... Он пи-

шет: «В конце концов — анархизм мертвая точка, а человеческое «я» суть начало активное...» Тут даже и «суть» простишь ему! Тут даже и все остальное простишь ему! Да, человеческое «я» — начало активное! Да, оно противостоит всем пассивным философиям мира, всему, что ведет к мертвой точке. Да, да, в человеческом «я», как в главном фокусе, природа заложила свою кульминацию роста, движения, преодоления, стремления, познавания — назовите, как хотите,— великий хоботок действенного процесса, заключенного для человека в вечную проблему «смысла жизни». А проще сказать — человеческое «я» это то, что живет, это жизнь в наиболее интенсивной — сознательной — ее форме,— в росте. «Человеческое «я» — начало активное»,— эта формула Горького сильней, содержательней и потенциальней, на мой взгляд, чем повторяемое на все лады «Человек — это звучит гордо».

На протяжении всех лет дружбы Ленина с Горьким было у них много не только расхождений во взглядах, не только споров, но и фактического «принятия мер» против появлений в печати обоюдных взглядов, отрицавшихся то одной, то другой стороной. Мы уже видели, как Ленин «принял меры», потребовав специального постановления ЦК, чтоб статьи, подобные горьковской «Владимир Ильич Ленин», не появлялись в журналах, «как неуместные». Ленин, несмотря на просьбу Горького возобновить выход «Новой жизни»,—оставил эту просьбу без внимания. И больно читать, когда на просьбу самого Ленина в январе 1916 года помочь издать его брошюру, где он «старался как можно популярнее изложить новые данные об Америке, которые... особенно пригодны для популяризации марксизма и для фактического обоснования его», просьбу, сопровождаемую фразой, от которой сжимается сердце: «В силу военного времени я крайне нуждаюсь в заработке и потому просил бы, если это возможно и не затруднит Вас чересчур, ускорить издание брошюры»[1], ответа, по-видимому, от Горького не последовало, и, во всяком случае, в издательстве «Парус», куда она была послана и где Горький был почти хозяином,— брошюра Ленина «Капитализм и земледелие в Соединенных Шта-

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 49, стр. 170.

тах Америки» не появилась. Она была напечатана только в 1925 году, в 22 томе первого ленинского собрания. Но самым жестоким, на мой взгляд, в истории этой дружбы — и самым характерным для непонимания Горьким марксизма — было письмо Горького к Пятницкому, предупреждавшее, чтоб Пятницкий не издавал в России «Материализма и эмпириокритицизма»:

«...Относительно издания книги Ленина: я против этого...» (дальше идут объяснения, почему «против», с комплиментами по адресу Ильича,— он боец, он назовет дурачками своих противников, издающих эту книгу) ...«Спор, разгоревшийся между Лениным — Плехановым, с одной стороны, Богдановым — Базаровым и К°, с другой — очень важен и глубок. Двое первых, расходясь в вопросах тактики, оба веруют и проповедуют исторический фатализм, противная сторона — исповедует философию активности. Для меня ясно, на чьей стороне больше правды...» [1]

Это Ленин и Плеханов, марксисты,— проповедуют исторический фатализм! Хотя и ребенок знает,— а тем более должен знать член социал-демократической партии, что «философы до сих пор только объясняли мир», а существо философии Маркса — в задаче «преобразовать мир». Ленин — «фаталист», создавший передовой отряд преобразователей мира, перевернувший страницу в истории общества! «Фаталистично» учение о свободе, предполагающее в человеке величайший самостоятельный акт его «я» — сознание необходимости! И рядом — компания эпигонов умирающей философии девятнадцатого века, эпигонов, не сумевших даже понять Гегеля, перешагнувших через Гегеля,— вся пресловутая «философия активности» которых заключалась в изготовлени «и нашим, и вашим» окрошки, где можно было бы залить противоположность между идеализмом и материализмом растворителем — домашним русским квасом. Я понимаю, как бешено мог ругаться Ленин. Но, ругаясь бешено, во всю мощь своей кипучей натуры, Ленин никогда не поднимал руку на Горького, на свою любовь к Горькому. В четвертом «Письме из далека», в трудней-

---

[1] В. И. Ленин и А. М. Горький. Письма, воспоминания, документы. М. Издательство Академии наук СССР, 1961, стр. 42.

шее для Ленина время, сразу после Февральской революции, в марте 1917 года,— земля горела у него под ногами в Цюрихе, и каждым нервом своим он тянулся в Россию,— и тут даже не смог он устоять перед Горьким, перед его улыбкой. А разбушеваться по-ленински было за что:

«Горькое чувство испытываешь, читая это письмо,— пишет Ленин о послании Горького после Февральской революции Временному правительству и Исполнительному комитету,— насквозь пропитанное ходячими обывательскими предрассудками. Пишущему эти строки случалось, при свиданиях на острове Капри с Горьким, предупреждать его и упрекать за его политические ошибки. Горький парировал эти упреки своей неподражаемо-милой улыбкой и прямодушным заявлением: «Я знаю, что я плохой марксист. И потом, все мы, художники, немного невменяемые люди». Нелегко спорить против этого.

Нет сомнения, что Горький — громадный художественный талант, который принес и принесет много пользы всемирному пролетарскому движению.

Но зачем же Горькому браться за политику?» [1] Максим Горький в своем обращении к февральскому правительству выразил, по мнению Ленина, «чрезвычайно распространенные предрассудки не только мелкой буржуазии, но и части находящихся под ее влиянием рабочих» [2].

О том, что делалось с ним в это время, мы можем представить себе по массовым чувствам обывателей, по стихийному доверию толпы, по влюбленной вере в Керенского, охватившей не только гимназисток и «мелкую буржуазию», но и часть рабочего класса, и многих, многих в нашей собственной среде. Горький поверил в Февральскую революцию. А Ленину надо было поворачивать рычаг истории к Октябрю и все силы партии, все

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 31, стр. 48—49

[2] Там же, стр. 49. Позднее, в 1933 году, в письме к И. А. Груздеву Горький отрицал, но, правда, не очень убедительно, существование такого «обращения» и приписал его выдумке иностранной прессы. См.: М. Горький. Собрание сочинений. М. Государственное издательство художественной литературы. Том 30, стр. 303.

силы сознательных рабочих — грудью бросить на руль, на рычаг, отягощенный напором масс в другую сторону. Надо было повести «упорную, настойчивую, всестороннюю борьбу» с «обывательскими предрассудками»,— чтоб из русла буржуазно-республиканских иллюзий повернуть Россию в русло социализма. Гигантские усилия тех месяцев еще не нашли себе художника в их полный рост. А Горький, такой нужный именно тогда, такой любимый товарищ, чье усилие могло бы стать решающим для студенчества и для интеллигенции,— в эти именно месяцы ушел из партии. Он считал, что не время еще социализму на Руси.

В гениальной горьковской формуле об активности человеческого «я» — недостало расшифровки понятия «активности», как ведущей, направляющей ход истории вперед, положительной силы, противопоставленной «мертвой точке анархизма». Горький остался верен «критической стороне» своей философии. Мы знаем, что всей своей последующей жизнью — учителя и собирателя советских писателей, гневного публициста против врагов нового общества, верного помощника партии — он искупил свою ошибку. Но и тогда — ошибавшегося, недовольного, больного, которому «жить противно», Ленин любил Горького. Он настолько любил Горького, что — занятый по горло, 31 июля 1919 года, в нечеловечески трудной, напряженной обстановке яростной войны с интервентами и голода в стране — нашел время и силы ответить на озлобленное «критическое» письмо писателя, измученного петербургской жизнью, так мудро и так подробно, как только отец мог ответить сыну. Привожу отрывки из этого письма Ленина, говорящие и сейчас совести каждого творческого работника:

«...Если *наблюдать*, надо наблюдать внизу, где можно *обозреть* работу нового строения жизни, в рабочем поселке провинции или в деревне,— там не надо политически охватывать сумму сложнейших данных, там можно только наблюдать. Вместо этого Вы поставили себя в положение профессионального редактора переводов и т. п., положение, в котором наблюдать нового строения новой жизни нельзя, положение, в котором все силы ухлопываются на больное брюзжание больной интеллигенции, на наблюдение «бывшей» столицы в условиях отчаянной военной опасности и свирепой нужды.

Вы поставили себя в положение, в котором непосредственно наблюдать нового в жизни рабочих и крестьян, т. е. 9/10 населения России, Вы *не можете;* в котором Вы вынуждены наблюдать обрывки жизни бывшей столицы, из коей цвет рабочих ушел на фронты и в деревню и где осталось непропорционально много безместной и безработной интеллигенции, *специально* Вас *«осаждающей»*. Советы уехать Вы упорно отвергаете.

Понятно, что довели себя до болезни: жить Вам, Вы пишете, не только тяжело, но и «весьма противно»!!! Еще бы! В такое время приковать себя к самому больному пункту в качестве редактора переводной литературы (самое подходящее занятие для наблюдения людей, для художника!). Ни нового в армии, ни нового в деревне, ни нового на фабрике Вы здесь, как художник, наблюдать и изучать *не можете*. Вы отняли у себя возможность то делать, что удовлетворило бы художника,— в Питере можно работать политику, но Вы не политик. Сегодня — зря разбитые стекла, завтра — выстрелы и вопли из тюрьмы, потом обрывки речей самых усталых из оставшихся в Питере нерабочих, затем миллион впечатлений от интеллигенции, столичной интеллигенции без столицы, потом сотни жалоб от обиженных, в свободное от редакторства время, никакого строительства жизни видеть *нельзя* (оно идет по-особому и меньше всего в Питере),— как тут не довести себя до того, что жить весьма противно.

Страна живет лихорадкой борьбы против буржуазии всего мира, мстящей бешено за ее свержение. Естественно. За первую Советскую республику — первые удары *отовсюду*. Естественно. Тут жить надо либо активным политиком, а если не лежит к политике душа, то как художнику наблюдать, как строят жизнь по-новому там, где нет центра бешеной атаки на столицу, бешеной борьбы с заговорами, бешеной злобы столичной интеллигенции, в деревне или на провинциальной фабрике (или на фронте). Там легко простым наблюдением отделить разложение старого от ростков нового...»

«...Высказал Вам откровенно мои мысли по поводу Вашего письма... Не хочу навязываться с советами, а не могу не сказать: радикально измените обстановку, и сре-

ду, и местожительство, и занятие, иначе опротиветь может жизнь окончательно.

Крепко жму руку

Ваш Ленин»[1].

Огромным накалом воли полны эти строки. Как удар колокола, утверждающий, подтверждающий, звучит дважды ленинское «естественно», образец его ударного стиля, где словесность и письменность слиты в одно. Для Ленина бешеная месть буржуазии за ее свержение — это естественно. Первые удары со всех сторон на первую Советскую республику — это естественно. Гремит гром, сверкает молния, идет буря — это естественно, как сама природа. Ильич целиком в борьбе, в своей революционной стихии, он стал ликующей, направляющей, победительной силой самой истории, как бы ставшей природой.

Ну а Горький, тот, кто пел навстречу буре, когда ее еще не было, кто звал ее — «пусть сильнее грянет буря»? Горький был тем, за что до конца жизни любил Ленин Горького, за что он не только прощал его, уча и наставляя, как отец сына, но и за то любил он Горького, и в этом глубочайшая разгадка их взаимоотношений, их дружбы — до «встречи памятью» перед смертью,— что он был ему жизненно нужен. Горький был большим, настоящим художником.

Вчитаемся, как перечисляет Ленин обстоятельства жизни в Питере, столице, потерявшей свою столичность. «Зря разбитые стекла», «выстрелы и вопли из тюрьмы», «сотни жалоб от обиженных», «обрывки речей самых усталых из оставшихся в Питере нерабочих»... В стремительном вихре письма это все несется, как клочки бумаги, легкий мусор, брошенные черепки из покидаемой, уже пустой квартиры. Оно сдувается ветром истории в небытие. Оно несущественно, оно видится Ильичу в потоке ослепляющего света Грядущего, которое очистительно, грозными шагами идет в мир и завтра станет реальностью.

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 51, стр. 25—27. (Курсив Ленина — **М. Ш.**).

А теперь представим себе, как этот звон разбитых стекол, выстрелы, вопли, жалобы обиженных воспринимает Горький, стоящий в самом центре потрясенного города и, как радиоантенна, принимающий всеми нервами, всем восприятием художника,— особой, сугубо-чувствительной человеческой организацией,— стоны страданья, шум обрушивающегося старого мира, случайность, ставшую хозяйкой расстроенного, неслаженного, потерявшего ритм оркестра, случайность, оправданную народом в жестокой пословице «Лес рубят — щепки летят». Художник никогда не оправдывал горя человеческого. Не важно, кто они, откуда. Люди. Люди — не щепки. И люди к нему — к художнику-антенне — кидают свои жалобы, свой скрежет зубов. Горький становится голосом протеста человеческого, в своем роде фигурой старинного романа Жан-Поля-Рихтера «Зибенкейзом, адвокатом бедных». И — для Ленина, к Ленину,— обвинителем за сумасшедший оркестр страданья, все равно какого,— но человеческого. Он не желает покидать Петербург, не желает ехать за границу, не желает плыть по Волге на пароходе с Надеждой Константиновной, как предлагает Ленин. Больной, измученный, он отвечает «нет, нет, нет» на все предложенья Ленина. И вот он становится «полпредом» уходящего, старого, страдающего мира, а вместе с этим — помощником, собирателем, организатором всего, что осталось в нестоличной столице талантливого, ценного, умного. Пайки для ученых, квартиры для бездомных, дрова для квартир, собаки для Павлова, грандиозная система кормленья интеллигенции, — кормленья не только тела, но и духа,— в невиданного размаха издательстве «Всемирная литература». И тут же, на ходу, он успевает обогатить зашедшего к нему писателя незнакомым (но таким родным и нужным впоследствии) именем Лихтенштадта.

Ленин был великим диалектиком, ненавидевшим все стоячее, и особенно — остановившееся, обезжизненное слово. Надо понять и помнить его гениальное рассужденье в письме к Инессе Арманд:

«Люди большей частью (99% из буржуазии, 98% из ликвидаторов, около 60—70% из большевиков) не умеют *думать*, а только *заучивают* **слова**. Заучили слово «подполье». Твердо. Повторить могут. Наизусть знают.

А *как* надо изменить *его формы* в новой обстановке, как для этого заново учиться и думать надо, этого мы не понимаем» [1].

Ленин остался таким же до самой смерти. Во всяком случае, в тех последних трудах своих, которые он уже не может писать, а только диктует,— он тот же могучий и гибкий диалектик. В 1923 году 4-го и 6-го января он диктует статью «О кооперации». Разговор о кооперации до революции вызывал у большевиков «законные насмешки, улыбку, пренебрежительное отношение»,— но изменилась обстановка, она стала новой, все средства производства в руках у народной власти, а «улыбки» у 60—70% все те же. «И вот не все товарищи дают себе отчет в том, какое теперь гигантское, необъятное значение приобретает для нас кооперирование России... В сущности говоря, кооперировать в достаточной степени широко и глубоко русское население при господстве нэпа есть все, что нам нужно...»[2]. До самой смерти, уже потеряв возможность держать ручку в руке, он учит товарищей пониманию диалектики, необходимости думать, переосмысливать слово при каждой перемене обстановки.

И Ленин — в органической связи с прирожденным даром диалектического мышления — глубоко, до самозабвения любил жизнь, «вечно зеленое древо жизни». Жизнь была для него великим корректором. Уроки жизни он схватывал сразу и охотно говаривал, получая их, что «ошибался жестоко». Так оно вырвалось у него однажды в письме Горькому.

«Прав был философ Гегель, ей-богу: жизнь идет вперед противоречиями, и живые противоречия во много раз богаче, разностороннее, содержательнее, чем уму человека спервоначалу кажется» [3].

Вот этим жизнелюбием, связанным с гибкой диалектичностью мышления, Ленин любил Горького, тянулся к нему. Ошибутся те, кто думает, что в своей с ним переписке один только Ленин учил Горького и был односторонне нужен Горькому. Вчитавшись в каждое слово

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 48, стр. 242—243.

[2] Там же. Том 45, стр. 369—370.

[3] Там же. Том 47, стр. 219.

этой переписки, начинаешь чувствовать, каким необходимым был мятущийся, отступающий, упрямый, впечатлительный, яркий Горький для Ильича, обтачивавшего свои мысли об эту дружбу, об ответы, казалось бы, такого несхожего, разного, чуждого человека,— политику нужен художник, как воздух, как хлеб, как правой ноге нужна левая; давным-давно какой-то философ сказал, что, двигаясь, мы последовательно падаем, и если б не было левой ноги, человек падал бы в одну сторону, а если б не было правой — в другую — и только потому, что он падает то на одну, то на другую — получается движение вперед. Может быть, это сильно сказано,— чересчур. Но мне думается, будь Горький другим, не ошибайся он в 1908-м, в 1917-м и, может быть, не один раз до и после,— Ильич не смог бы любить его так, как любил, заряжаясь, настаиваясь, оттачиваясь от своего спора с ним.

И тут я опять подхожу к последней их «встрече памятью» у порога смерти.

Не только перед одной Надеждой Константиновной, но и перед каждым из нас, жизнью связанных с Ильичем, должны встать перед глазами это лицо и этот взгляд, когда Ленин слушал и смотрел в окно куда-то вдаль... «В последний месяц жизни», писала Крупская Горькому,— значит, зимой. Когда в окно видны заснеженные деревья, но сквозь ветви все же проглядывает даль, быть может, аллея парка в Горках, быть может, дальний просвет между елей. Зима, птицы не поют, скованы льдом сосульки, не слышно сквозь стены треска мороза, тихо. Надежда Константиновна читает спокойно, не повышая голоса, чтоб не взволновать больного. Она читает статью Горького:

«...Основная цель всей жизни Ленина — общечеловеческое благо, и он неизбежно должен прозревать в отдалении веков конец того великого процесса, началу коего аскетически и мужественно служит вся его воля...»[1]

И тут, мне кажется, углы губ Ильича чуть тронула едва заметная улыбка. Доказательств нет. Единственный

[1] «Коммунистический Интернационал», № 12, 1920, стр. 1932—1933.

свидетель, Крупская, об этом ни слова не сказала. А улыбка мерещится мне, когда закрою глаза, когда, медленно ступая в очереди, всматриваюсь в неподвижные черты, скованные,— в вечной тишине Мавзолея. Улыбка, чуть-чуть,— должна была быть. Почему Владимир Ильич вздумал прослушать давным-давно знакомую, порядком обозлившую его статью старого друга? Ведь не для того же, чтоб обласкать себя волной хвалебных слов на прощанье? И не для того, чтоб проверить, правильно ли он тогда возмутился статьей?

Я вхожу теперь в область догадок. И каждый, кому дан ключ в эту область, имеет право в нее войти. Ключ — любовь. И ключ этот дан мне в руки.

...Гм, гм... мог сказать себе Ильич. «Краткому, характерному восклицанию «гм-гм» он умел придавать бесконечную гамму оттенков, от язвительной иронии до осторожного сомнения, и часто в этом «гм-гм» звучал острый юмор, доступный человеку очень зоркому, хорошо знающему дьявольские нелепости жизни» [1], как написал о нем Горький после его смерти.

Что же мог бы он выразить этим «гм-гм» сейчас? В последние годы, вот и в это лежачее, насильственно-неподвижное время, ему, бойцу, сильно не хватало своего старого спора с другом; он, боец, скучал без полемики. Он хотел коснуться, дотронуться до этих строчек, зарядку получить, отпрянуть от них, чтоб горячее дыхание жизни, «живые противоречия, во много раз богаче, разностороннее, содержательнее, чем уму человека спервоначалу кажется»,— окропили его своей живой водой, раз уж врачи запрещают споры, свиданья, а встать, на лыжах пойти туда вдаль — нельзя и уже никогда нельзя будет. Возможно, он этого не думал ясно. Возможно, это шевелилось где-то в душе, в инстинкте,— без слов. Но толчок и — отпрядывание: живительный контакт с противником в споре тотчас произошел.

Гм-гм... «аскетически и мужественно». Неверно формально: аскеза несовместима с мужеством, бегство от жизни — трусость, а не мужество. И фактически неверно.... никогда он не был аскетом. Он был борец.

---

[1] В. И. Ленин и А. М. Горький. Письма, воспоминания, документы. М. Издательство Академии наук СССР, 1961, стр. 262.

Говорят, перед уходом из жизни проплывают перед глазами образы прожитого с детских до последних дней. Какие образы проплыли тогда перед взглядом Ленина, устремленным вдаль? Он глядел в заснеженную аллею парка. Недавно по этой аллее шел кузнец с глуховской фабрики — удивительный старик, словно сошедший со страниц раннего Горького. Кузнец крепко обнял Ленина и все твердил: «Я рабочий, кузнец, Владимир Ильич. Я — кузнец, мы скуем все намеченное тобою»,— и плакал старик[1]. Тепло народной любви охватило Ленина... Они, глуховцы, привезли вишневые деревца для посадки. Это хорошо — деревца, природа. И может быть, память унесла его далеко-далеко, к подножию Ротхорна, в швейцарскую деревушку Сёренберг, где втроем они бродят по лесу, собирают грибы — грибов уйма была... И его уголок в саду, рабочий стол, счастье работы.

Много позднее Крупская расскажет в своих воспоминаниях: «Вставали рано, и до обеда, который давался, как во всей Швейцарии, в 12 часов, занимался каждый из нас в своем углу в саду. Инесса часто играла в эти часы на рояле, и особенно хорошо занималось под звуки доносившейся музыки»[2]. Теплая волна музыки, смешанная с благоуханием леса, белых грибов, сухих, мшистых ложбинок под солнцем,— гора «Красный Рог» — Ротхорн, белые альпийские розы...

Ленин умел ненавидеть в борьбе, как это свойственно человеку. И Ленин умел любить, как это свойственно сердцу человеческому. А если б этого не было, если б был он аскетом,— человечество не могло бы так горячо полюбить его самого,— родного и близкого, нужного и своего, как оно любит Ленина сейчас.

28 мая 1968. Ялта

---

[1] Об этом см.: «Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине». М. Государственное издательство политической литературы, 1960. Том 3, стр. 369—370.

[2] Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине. М. Партиздат, 1933, стр. 237—238.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ЛЕНИНИАНА МАРИЭТТЫ ШАГИНЯН

1.

Три самостоятельных, в разное время написанных произведения — «Семья Ульяновых», «Первая Всероссийская», «Четыре урока у Ленина» — составили на редкость цельную книгу Мариэтты Сергеевны Шагинян о Ленине. Книга эта необыкновенно органична и по своему идейно-художественному замыслу, и по композиционному построению, а главное — по своему творческому пафосу, хотя роман-хронику «Семья Ульяновых» от последнего, «Четыре урока у Ленина», отделяют добрых тридцать лет. «Семья Ульяновых» давно стала любимой настольной книгой советских людей. Она выдержала не одно издание и у нас в стране, и за рубежом. «Четыре урока у Ленина» только что появились в журналах, но сразу обратили на себя внимание читающей публики своей публицистической заостренностью, актуальностью морально-этических проблем.

Созданию книги о Ленине писательница отдала более сорока лет своей литературной жизни. Ленинская тема стала главной, ведущей темой в многообразном творчестве Мариэтты Шагинян. По утверждению писательницы, она была захвачена Лениным уже в первые дни и месяцы революции, когда ей довелось познакомиться с мудрыми ленинскими декретами, внушавшими ей уверенность в новые формы общественного бытия. «Мне, страстно любившей всю жизнь логику и ясность,— вспоминает М. Шагинян,— ненавидевшей путаницу и смуту,— первой ступенью к познанию Ленина, первой любовью к Ленину стали эти декреты.

Я читала их, как читают стихотворения. Мне было отрадно следить, как они четко организовывают человеческую жизнь. Могу честно сказать, что уже тогда я сделалась одержимой «ленинской темой».

Эта увлеченность Лениным во многом определила послеоктябрьскую судьбу писательницы, привела ее в ряды активных строителей советской литературы, социалистической культуры. Ленин был и ос-

тается для Мариэтты Шагинян и самой большой любовью, и самым бесценным счастьем, и примером, и призывом, и знанием, и оружием.

В первые годы после смерти Владимира Ильича Мариэтта Шагинян с жаром, с огромным увлечением штудирует ленинское литературное наследие. Она конспектирует главные ленинские работы, делает обширные выписки, пытаясь вникнуть в суть ленинского учения о строительстве социализма. Об этом периоде она потом напишет: «Это были священные для меня годы глубокого увлечения молодежи и людей моего возраста теорией. Красота и увлекательность теории была огнем, пожиравшим наши сердца в вузах, на рабфаках, в специальных школах, какой была, например, Плановая академия, куда я поступила, чтобы переучиваться. Изумительная, музыкальная прелесть второго тома «Капитала» Маркса поглощала меня вечерами, как никакое другое наслаждение от искусства. Диалектический материализм в «обращении капитала» воспринимался как художественный, как фуги Баха... Больно и жалко видеть, как далеки многие из современных молодых людей от этого пьянящего увлечения человеческой мыслью!»

Ленин был для писательницы прежде всего воплощением живого дела, борьбу за которое после его смерти продолжала партия коммунистов. Эта борьба вовлекала в свою историческую орбиту миллионы трудящихся, требовала от них огромной самодисциплины, революционного мужества и отваги. И все, что тогда делала Мариэтта Шагинян, исходило из ее страстной потребности быть полезной делу Ленина, его победе. Она пишет первые производственные очерки о реконструируемых советских предприятиях. Для серии «Промышленная беллетристика», предпринятой к изданию ВСНХ, М. Шагинян создает очерки о двух ленинградских текстильных фабриках — «Невская нитка» и «Фабрика Торнтон», которые и сегодня могут служить эталоном очерка о рабочей жизни. В них была и история, и статистика, и техника, а главное были портреты новых людей, новых героев, советских рабочих. Писательница показывает, как рождается социалистическое отношение к труду как к делу чести, славы и доблести.

Затем появляются в печати очерки М. Шагинян «Нагорный Карабах», «Зангезурская медь», «Восхождение на Алагёз», «Ткварчельский уголь», посвященные Закавказью, его горнорудной промышленности. Возникает роман «Гидроцентраль», о строительстве горной электростанции в Армении. Все эти произведения, по утверждению М. Шагинян, написаны ею с думой о Ленине. И даже работая над «Месс-Менд», первым советским приключенческим романом, направленным против фашизма, писательница была насторожена ленинской

мыслью об опасности нападения мирового империализма на Страну Советов.

В течение многих лет М. Шагинян знакомится с архивами, связанными с жизнью и бытом семьи Ульяновых. Она совершает длительные поездки в Ульяновск, Казань, Астрахань, Пензу, Горький. Там знакомится с местной печатью второй половины прошлого века, изучает этнографическую, статистическую и историческую литературу тех лет. Возникает материал, на основе которого создается первая книга о Ленине, вернее книга о семье его отца — «Семья Ульяновых».

Спустя тридцать лет, в 1965 году, появляется продолжение — книга о педагогической деятельности Ильи Николаевича Ульянова «Первая Всероссийская». В этом романе-хронике жизнь семьи инспектора народных училищ, ее духовный мир, ее общественные интересы, воспитание детей показаны на широком историческом фоне пореформенной России. В центре событий первая Всероссийская политехническая выставка в Москве 1872 года, давшая сильный толчок к развитию общественно-политической и научной мысли в России.

Однако эти значительные и интересные произведения были для Мариэтты Шагинян только подступами к основной, главной теме: Ленину — вождю и учителю, великому революционеру, преобразователю жизни, его философии, этике, эстетике. Значению ленинизма в сегодняшнем мире посвящена последняя работа писательницы, скромно озаглавленная «Четыре урока у Ленина». В четырех главах-уроках затрагиваются главным образом отдельные моменты ленинского мышления, его отношение к нравственности, к творчеству художника, к поведению человека, его теория познания. Вот сумма вопросов, которые, по мысли автора, особенно остро выдвигаются сегодня нашим общественным развитием, потребностью дня, проблемами воспитания молодежи. Это уроки, которые писательница извлекла для себя из чтения произведений В. И. Ленина и книг о нем, уроки, как надо жить, работать и творить по-ленински. Писательница особенно адресуется к молодежи. «Я бы хотела, чтобы советские люди прочли мою книгу,— замечает М. Шагинян,— она пишется с думой о нашей молодежи и о будущем нашей страны, которое ей предстоит строить».

Заключительная часть книги полна светлой веры в чистоту и силу ленинской мысли, ленинского слова, ленинского примера. Она написана с полемическим запалом, с критическим жаром против всех и всяких отступлений от норм ленинской этики, против догматизма и холодного начетничества в пропаганде ленинизма, написана иногда резко и зло, но всегда с партийных ленинских позиций.

II.

Мариэтта Сергеевна Шагинян родилась 21 марта 1888 года в Москве в интеллигентной армянской семье, где было высоко уважение к русскому языку, русской культуре. «Мы выросли на русских песнях и сказках...» — вспоминает Мариэтта Шагинян. Семья Шагинян жила большими общественными интересами того времени, и это наложило свой отпечаток на воспитание детей, на духовный облик будущей писательницы.

Уже в гимназии Мариэтта Шагинян знакомится с произведениями русских революционных демократов — Чернышевского, Добролюбова, Писарева — и на всю жизнь остается очарованной их благородством, их политической и революционной отвагой. В те же годы она соприкасается и с первыми революционными выступлениями русских трудящихся против произвола и угнетения самодержавия. Получает первые уроки революции, пока, правда, со стороны, но они затрагивают нервные струны ее чуткой души, заставляют задуматься над смыслом бытия, заставляют искать ответы на «проклятые» вопросы жизни.

Писать и печататься Мариэтта Шагинян начала очень рано. Ее первый стихотворный фельетон «Геленджикские мотивы» появился 27 июля 1903 года в газете «Черноморское побережье»; автору было немногим более пятнадцати лет. Дальнейшая ее журналистская работа связана с московскими рабочими изданиями. Начинающая писательница имела возможность непосредственно встретиться с производственными рабочими.

Исследователи дореволюционного творчества Мариэтты Шагинян много пишут о том, что ее «путь был не прям и не легок». Однако при этом забывают, что это был не только ее собственный путь, а путь ее эпохи, когда начал складываться самобытный талант писательницы. То было время сложных идейных и литературных завихрений. И приходится удивляться не столь ее «заблуждениям», сколько тому, как она, тогда начинающая писательница, сумела выработать свой голос, найти свой путь в большую литературу. Пишут и о том, что ей были свойственны эстетические заблуждения. Действительно, она близко сходится с Мережковским, Зинаидой Гиппиус, Философовым, увлекается идеализмом. Это верно. Но верно и то, что эти годы были для Мариэтты Шагинян не только годами издержек, но и годами овладения драгоценными сокровищами старой культуры, годами серьезной литературной учебы, в том числе и у старших символистов.

Живой ум, вечное стремление проверять теорию практикой, де-

лом жизни, кипучая энергия Мариэтты Шагинян, а главное установившиеся связи с питерскими рабочими вырвали ее из удушливой салонно-эстетской кельи Мережковских. Она пишет резкую рецензию на роман З. Гиппиус «Чертова кукла». Рецензия называлась «Театр марионеток», и в ней писательница зло высмеивала ходульно-деревянный, ложно-искусственный сюжет романа Гиппиус, в котором отразилось полное незнание автором людей революции, незнание жизни. Рецензия привела к разрыву М. Шагинян с Мережковскими.

Словом, те годы были не только пыткой, не только болью, не только поиском идейных путей, но и годами реального бытия, приносящего счастье, годами познания своего собственного «я», своего места под солнцем. «В начале девятисотых годов, — вспоминает Мариэтта Шагинян,— как любят писать учебники, дышать становилось душно, и эта политическая духота чувствовалась даже теми, кто не участвовал в политике и ничего о ней не думал. Но я хочу быть искренней. Я не помню — на протяжении всей долгой жизни,— чтоб новое поколение, новая молодежь человечества выходила на так называемую «историческую арену» пессимистически — молодежь в массе. Молодость сама в себе носит потенцию счастья душевно — от сознания большого времени жизни впереди. Это как шахматный игрок в самом начале соревнования».

Мариэтта Шагинян глубоко права, утверждая, что исторический оптимизм поколений — вечный двигатель общественной мысли, та внутренняя пружина развития общества, которая помогает ему преодолевать неизбежные завалы и трудности на пути прогресса. Не время делает людей бескрылыми, а люди, лишенные фантазии, лишают себя крыльев. И в те лихие годы внутри общества шла созидательная работа, ковались в партийных кузницах мечи для будущих классовых схваток. Жизнь брала верх над мертвечиной. И в творчестве М. Шагинян здоровые порывы одерживали верх над слабостью и заблуждениями.

Идейное становление проявилось уже в первом крупном произведении Мариэтты Шагинян — в романе «Своя судьба». Он был написан еще до революции, в самый ее канун, а опубликован полностью только после гражданской войны. В этом произведении писательница сводила счеты «сама с собой», отказывалась от своих прежних философских привязанностей, привязанностей к идеализму, хотя еще многое от старых верований оставалось в романе. И среди них рассуждения о самоотречении в пользу ближнего, о красоте самопожертвования. Всем ходом реалистического повествования роман приводил читателя к мысли, что человек хозяин своей судьбы.

Октябрьскую революцию и гражданскую войну Мариэтта Шаги-

нян пережила на Дону, в этой русской Вандее. Она видела в непосредственной близости деятелей белого движения, зверства белогвардейщины, идейный и моральный распад русской либеральной интеллигенции. Те, кто когда-то занимался богостроительным шаманством, теперь благословляли вешателей и истязателей из деникинской контрразведки. Жизненные наблюдения этого периода легли в основу большого романа о гражданской войне на юге России «Перемена», который Мариэтта Шагинян писала по горячим следам событий. Роман был окончен в середине 1923 года. С ним М. Шагинян связало одно из самых дорогих ей воспоминаний. Роман был замечен Владимиром Ильичем Лениным. Тогдашний редактор журнала «Красная новь» А. Воронский писал автору: «Да, знаете, очень Ваши вещи нравятся Ленину. Он как-то сказал об этом Сталину, а Сталин мне». Отзыв Ленина был для писательницы и наградой, и компасом, направляющим, указывающим путь творчества и исканий.

С романом «Перемена» М. Шагинян вошла в советскую литературу как художник больших социальных обобщений, как судья своего времени и своих в недалеком прошлом близких, но временных друзей, оставшихся по другую сторону баррикады. Она заняла сразу видное место в молодой послеоктябрьской литературе как художник пламенный, темпераментный, склонный к философским раздумьям над смыслом жизни, над становлением нового общественного бытия.

Вслед за производственными очерками середины тридцатых годов, в которых Мариэтта Шагинян торопится художественно зафиксировать начало большого похода советских людей на фронте мирного строительства, появляется ее озорной, полный буйства молодых сил и фантазии авантюрно-приключенческий роман-трилогия «Месс-Менд». В нем союз рабочих противостоит международному заговору империалистов, направленному против Страны Советов. Причем главными организаторами заговора выступают фашисты, заклятые враги социализма и трудящихся масс. Этот роман, написанный от имени американского рабочего Джима Доллара, принес Мариэтте Шагинян огромный литературный успех.

Затем Мариэтта Шагинян пишет роман «Кик». В нем она отдает дань формальному экспериментаторству. Отрыв формальных поисков без конкретных эстетических задач от жизненного материала приводит к напрасному растрачиванию сил. И все же эти поиски писательницы нельзя считать только потерями. Она должна была пройти через них, как проходит через корь ребенок,— переболеть ими, чтобы выработать свой иммунитет против крайностей формалистических увлечений и в то же время найти свою новую форму для выражения

нового содержания. Этого ей удалось достичь в романе «Гидроцентраль».

«Гидроцентраль» стоит в ряду лучших произведений советской литературы о строительном пафосе первой пятилетки, о преобразовании общества на социалистических началах. Это — страстное слово художника о плане великих работ, намеченных партией, об исполнении заветов Владимира Ильича Ленина.

«Гидроцентраль»,— вспоминает М. Шагинян,— писалась очень медленно, не быстрее, чем строилась реальная ГЭС. И люди, вошедшие в роман, были обобщением, отражением живых, дорогих мне, ставших предельно узнанными людей. В этой работе, которой я отдалась всей своей душой,— впервые в жизни, с величайшим творческим напряжением, пробивалась я, по мере отпущенных мне природой возможностей, к подлинно социалистическому реализму. Этот роман — самая серьезная и лучшая моя работа».

«Гидроцентраль» — роман этапный в творчестве Мариэтты Шагинян. Он надолго определил ее глубокий интерес к социалистической экономике, где создаются не только материальные, но и духовные ценности, где в сфере труда формируются черты нового человека, борца и созидателя. И потому она не раз и в довоенные годы, и после войны будет писать очерки внешне сугубо производственные, даже почти профессиональные, но каждый раз вне зависимости от того, о чем в них будет идти речь — о сланцах ли Эстонии, керченской ли селедке, или вторых железнодорожных путях на Восток, в них наряду с чистой экономикой всегда будут затронуты проблемы этические, проблемы моральные, в них всегда будет борьба за человека, за его интересы. Соединение глубокого, подлинно научного экономического подхода к проблеме с пристальным вниманием к нравственным вопросам станет манерой, творческой особенностью Мариэтты Шагинян как публициста. И это придаст ее очерковым произведениям значение художественных памятников времени.

Среди литературных пристрастий Мариэтты Шагинян — увлечение Арменией, ее исторической судьбой, ее культурой, народным бытом, ростками нового, советского, социалистического. К Армении писательница периодически обращалась в своих газетных и журнальных выступлениях. Это были этюды будущей большой книги, тоже значительной в творчестве писательницы, которую она назвала «Путешествие по Советской Армении» и за которую в 1946 году получила Государственную премию.

Очерки Мариэтты Шагинян при их внешней описательности активны. Это всегда не только кусок живой жизни, но и вмешательство писательницы в жизнь с партийных позиций, с позиций защиты передового, нового, рождающегося.

Вспоминая о первых годах социалистического строительства и о своей работе очеркиста в те годы, Мариэтта Шагинян писала: «...Главной и основной формой литературной моей деятельности этих лет был газетный очерк. Начиная с первых газетных заданий (двадцатых годов): написать очерки о концессии Гарримана в Чиатуре, написать очерк о положении вещей с зангезурской медью, написать очерки о горнорудном районе Ткварчели, находившемся еще в процессе геологического разведочного бурения,— очерк мой был оперативным и давал мне широкую свободу не только самостоятельного исследования темы и суждения о ней, но истинного вмешательства в жизнь, если бы оно требовалось по ходу изучения материала».

В первый год Великой Отечественной войны Мариэтта Шагинян вступает в партию, с которой ее уже много лет связывало идейное родство. Теперь она, называвшая себя и раньше большевичкой-ленинцем, оформляет эту идейную близость организационно. Она едет на Урал и оттуда пишет очерки о работе тыла, об уральской кузнице флота. Публицистическая деятельность писательницы в годы войны отмечена высоким патриотизмом, яростной ненавистью к немецко-фашистским захватчикам.

В послевоенные годы, несмотря на возраст, Мариэтта Шагинян много путешествует по стране и за рубежом. Ее путевые очерки появляются на страницах газет и журналов, издаются отдельными книжками.

В 1965 году выходит книга путевых очерков Мариэтты Шагинян «Зарубежные письма». Их отличает острая актуальность проблематики и познавательность. В «чужих» странах Мариэтту Шагинян привлекали не внешние, поверхностные, быстротекущие явления жизни, а ее глубинное движение.

В книге исследуются многие сложные проблемы европейской культуры. М. Шагинян всегда живо интересовала творческая, созидательная работа человечества, волновала судьба культурного наследия, созданного трудом и гением народов. В «Зарубежных письмах» писательница ведет серьезный разговор об овладении всеми богатствами культуры прошлого, о приятии в наше социалистическое сегодня всего истинно современного, прекрасного и мудрого. Жанр писем, избранный писательницей для изложения своих наблюдений, продолжает лучшие традиции русского классического путевого очерка. Он позволил Мариэтте Шагинян создать широкую, исторически верную панораму культурной жизни Европы во всей ее сложности и противоречивости.

Книга «густо населена». На ее страницах читатель встретится с деятелями культуры прошлого и с ее современными мастерами. Ша-

гинян называет их не для того, чтобы продемонстрировать свою энциклопедическую эрудицию. Это обычный строй ее мышления, ее творческая манера осмысления познанного и увиденного в тесной связи с поступательным движением культурного процесса. О чем бы ни писала Мариэтта Шагинян — о старинных улочках Праги, музеях Рима, зеленых каналах Венеции или о Всемирной выставке в Брюсселе,— она пишет о своем мироощущении, о своем видении бытия и времени.

Мариэтта Шагинян счастливо сочетает в себе искрометный темперамент публициста, тонкую наблюдательность художника с научной фундаментальностью знаний и неутомимостью исследователя. В музеи, картинные галереи, архивы она входит вооруженная современными знаниями. Писательница смотрит на поблекшие от времени листы пергамента глазами нашего современника, глазами взволнованного художника. И это нередко приводит ее к поразительным открытиям, которым могут позавидовать профессиональные историки.

И в то же время Шагинян продолжает с энтузиазмом работать в газетах. «Разумеется,— пишет М. Шагинян,— оперативная работа в газете — дело незаметное для широкого читателя и живет она короткой жизнью: не дольше газетного листа. Бывает подчас больно думать, что десятки больших тем и целые папки заготовленных материалов, рассчитанных на художественное полотно романа, так и не удалось реализовать со дня окончания «Гидроцентрали». Но я гордилась и горжусь тем, что принадлежу к славной армии советских очеркистов».

Мариэтта Шагинян отлично эрудированный литературовед. В эти годы она пишет монографии, посвященные творчеству Тараса Шевченко, Гёте, выпускает книжку о Крылове, пишет об основоположнике осетинской литературы Коста Хетагурове, классике азербайджанской литературы Низами Гянджеви, создает ряд маленьких монографий о Яне Коменском, Ярославе Гашеке, Вильяме Блэйке, Моцарте, Швейцере, М. Налбандяне, Х. Абовяне, Александре Ширванзаде и других.

Работая в одном из зарубежных архивов, М. Шагинян нашла партитуры забытой оперы забытого чешского композитора XVIII века Иозефа Мысливечка и, как часто с ней случалось, увлеклась его музыкой, его личностью и написала большое произведение «Воскрешение из мертвых». Она вернула чехословацкой культуре выдающегося музыканта, восстановила его имя в народной памяти. А книга М. Шагинян о его жизни, творчестве, музыке стала одним из важных связующих факторов советско-чехословацкого культурного сотрудничества. Она встречена у нас и в Чехословакии с чувством искреннего восхищения и благодарности,

Заканчивая краткий набросок биографии писательницы, следует сказать, что ее заслуги в области развития советской литературы отмечены орденом Ленина, четырьмя орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, орденом «Знак Почета» и несколькими медалями. Мариэтта Шагинян — доктор филологических наук, член-корреспондент Академии наук Армянской ССР.

Художник-мыслитель, мастер глубоких философских обобщений, Мариэтта Шагинян создала значительные, оригинальные по форме и содержанию произведения. У нее свой стиль, ее емкую многослойную прозу не спутаешь с письмом других писателей. Она угадывается сразу. Шагинян нелегко читать. Но каждая ее страница приносит радость познания, радость открытия. Они обогащают читателя. Писатель ведет за собой читателя, подымает его до своего уровня. Мариэтта Шагинян одновременно и учитель, и наставник, и добрый, мудрый друг, ведущий серьезный разговор без литературного панибратства. И потому ее трудные книги не задерживаются на полках библиотек.

III.

Более тридцати лет назад, в 1938 году, в январской книжке журнала «Красная новь» появился новый роман Мариэтты Шагинян — «Семья Ульяновых». Он сразу привлек к себе внимание читателей. Близкие В. И. Ленина — Надежда Константиновна Крупская и Дмитрий Ильич Ульянов — высоко оценили труд писательницы. С тех пор М. Шагинян не оставляла работы над этим произведением. В 1958 году писательница делает новую авторскую редакцию романа, которая и становится канонической.

Не умиляясь, не идеализируя своих героев, оставаясь всегда верной исторической правде, писательница вводит нас в светлый мир семьи Ульяновых, знакомит с кругом ее интересов, с ее идеалами, надеждами, мечтаниями. Причем полная благородных устремлений жизнь семьи Ульяновых показывается на фоне бурных событий 60—70-х годов прошлого столетия.

Выходец из демократических низов — сын портного, который выбился из нищеты лишь под конец жизни,— Илья Николаевич Ульянов испытал много лишений, имел возможность хорошо узнать быт народа, закабаленного крепостной неволей. Только настойчивость и трудолюбие позволили Илье Николаевичу вырваться из болота мещанства, одолеть трудный, тернистый путь к знаниям — окончить гимназию, Казанский университет, высоко подняться по общественной лестнице.

Эти ценные качества Ильи Николаевича, так привлекательно обрисованные в романе писательницей, складывались и формировались под решающим влиянием родной среды, его кровной связи с социальными низами, с народной жизнью, отражая в себе типичные черты русского национального характера. Сын своего народа Илья Николаевич Ульянов видел смысл жизни в служении народу. Образованный педагог, выдающийся организатор, он являл собой пример честного, бескорыстного и неутомимого деятеля на ниве народного просвещения.

И хотя другая общественная среда, другие социальные условия сформировали незаурядную натуру Марии Александровны, в ней было много общего с мужем. Та же любовь к труду и народу, то же презрение к красивой фразе, к безделью, та же душевная чистота и высокая нравственность. Но было в ней и другое. Культура, накопленная многими поколениями ее предков, собранность и целеустремленная систематичность во всем — в большом и малом, отшлифованная строгим воспитанием, систематичность, которая, однако, никогда не переходила в педантизм.

Мариэтта Шагинян умеет вдохнуть живую жизнь в факты, добытые кропотливыми поисками в архивах, придать им убедительное образное выражение. Внимательная к деталям, писательница всегда за частным видит общее целое. Она исследует явления жизни в их сложной взаимосвязи и взаимозависимости, философски осмысливая действительность. В романе «Семья Ульяновых» эти черты самобытного дарования Мариэтты Шагинян раскрылись с наибольшей полнотой. Именно поэтому ей и удалось создать правдивые картины жизни Ульяновых, нарисовать привлекательные образы родителей Ленина.

Дмитрий Ильич Ульянов, познакомившись с романом, отмечал, что «М. Шагинян не просто фиксировала исторические факты о семье Ульяновых, а воплотила их в художественные образы. Тем не менее она не исказила исторических фактов. Перед читателем встают живые, исторически правдивые образы, книга вводит его в круг интересов и чаяний, которыми жила семья Ульяновых».

Когда Мариэтта Шагинян вчерне закончила первую часть, она послала ее на отзыв Надежде Константиновне Крупской. Последняя, прочитав рукопись, писала М. Шагинян:

«Признаться сказать — я очень против романа, повестей, сценариев из жизни Ильича. Как ни старается писатель, у него обычно получается не образ Ильича, живого Ильича, а образ какого-то другого человека, а главное искажается и эпоха. Я обычно ворчу ужасно. Обычно получается затемнение личности Ильича... С некоторой боязнью я приступила и к чтению Вашей рукописи. Пишущие вос-

поминания пишут их обычно несколько односторонне. Читая Вашу рукопись, я вижу, насколько правильно подошли Вы к вопросу. Пожалуй, только опытный писатель может, на основе изученных материалов, дать картину той эпохи. Это имеет большое значение и с точки зрения исторической. Мне понравился не только Ваш замысел, но и сама рукопись».

И хотя писательница, стремясь наиболее выпукло обрисовать главных героев, скупо рассказывает об их окружении, ограничиваясь иногда для характеристики друзей и близких Ульяновых лишь отдельными штрихами, читатель запомнит и полюбит образы правдоборца учителя-словесника Захарова, коллеги Ильи Николаевича по Пензенскому дворянскому институту, студента Странденя, которые разделяли революционно-демократические взгляды Чернышевского.

Слабее в романе показаны силы противоборствующего лагеря, враги прогресса, поборники крепостничества. Они действуют где-то за пределами повествования. Об их темных, реакционных делах мы узнаем лишь из кратких авторских замечаний. Писательница непосредственно не сталкивает Илью Николаевича и Марию Александровну с носителями старого и тем, в известной мере, лишает себя дополнительных возможностей для того, чтобы более полнокровно, более ярко показать становление и развитие характера главных героев.

В романе нет замысловатой интриги, хитро построенных сюжетных ходов, нет той тяжелой наукоподобной значительности, которые свойственны литературным произведениям, посвященным жизни выдающихся исторических деятелей. Мариэтта Шагинян строго придерживается рамок избранного жанра. Действие романа развертывается вокруг достоверных фактов семейной хроники Ульяновых. Писательница сознательно ограничивает свои изобразительные средства, умеряет свою палитру, стремясь к предельной выразительности. Она гармонически сочетается с идейным замыслом книги. Это простота, которая свойственна лишь произведениям истинно прекрасным, высокохудожественным.

Лаконичен и строг язык романа. Писательница избегает красивых слов, звучных фраз, но она не жалеет труда и времени, чтобы найти то единственно верное, необходимое слово, которое предельно точно выражает ход мысли, ее тончайшие оттенки. Вот почему каждое слово в романе зримо выразительно, вот почему каждая фраза наполнена такой притягательной внутренней силой, которая заставляет читателя восхищаться и изумляться зрелому мастерству писателя.

В романе-хронике «Первая Всероссийская» Мариэтта Шагинян

продолжает историческое повествование о жизни Ульяновых, о кипучей педагогической деятельности Ильи Николаевича.

Мариэтту Шагинян всегда привлекали проблемы воспитания, становления человеческого характера. Она проявляла живейший интерес к вопросам педагогики. Им писательница уделяла внимание и в своих художественных произведениях, и в публицистических статьях, и в научно-исследовательских монографиях. Как и в «Семье Ульяновых», в этом романе-хронике писательница отводит много места волнующей ее теме — воспитанию и обучению в школе, народному учителю, его роли в духовном становлении подрастающих поколений, в прогрессе общества. Мариэтта Шагинян рассматривает проблемы народного образования широко, исходя из исторических потребностей общества. Она закономерно сравнивает труд народного учителя с трудом пахаря, чьи нелегкие усилия вознаграждаются зелеными побегами всходов, что обещает богатые плоды в будущем. Труду народного учителя посвящены многие с блеском написанные страницы романа.

Роман воспроизводит духовную атмосферу семидесятых годов XIX столетия. Этим годам не очень повезло. Они обойдены нашей советской художественной литературой, да и историческая не много им уделяла внимания. Активно исследовались шестидесятые годы, когда назревала революционная ситуация. Между тем, семидесятые годы во многом примечательны. То было время нарастания большого глубинного подъема национального духв, проявления его творческих сил и возможностей. Ведь именно в эти годы начали свою прогрессивную деятельность художники-передвижники, оказавшие своим демократизмом глубокое влияние на молодежь. В эти годы зазвучали чудесные произведения «могучей кучки» русских композиторов, создавших русскую музыкальную классику, прославивших нашу музыку во всем мире.

Это было время расцвета могучего таланта Л. Толстого. В эти годы жили и творили И. Тургенев, Ф. Достоевский, действовали герои «Народной воли». Передовая русская революционная молодежь устанавливала связи с международным товариществом рабочих Карла Маркса. Именно тогда в Россию проникают первые марксистские книги. Передовые деятели России понимают необходимость перемен. Атмосфера общественного национального подъема находит свое отражение и в умственных интересах семьи Ульяновых. Илья Николаевич — страстный поборник всего передового, всего прогрессивного, что касалось его любимого дела — народного просвещения.

Мариэтта Шагинян с большим тактом изображает жизнь семьи Ульяновых. Она поквзывает своего героя в кругу его повседневных

служебных и домашних забот, занятого конкретным делом. Она не стремится его приподнять, опоэтизировать. Перед читателем встает облик талантливого педагога, неутомимого организатора народного просвещения, общественного деятеля семидесятых годов. Он не совершает никаких героических поступков, не признает высокопарных фраз о необходимости служить народу, но всеми своими помыслами, всеми своими деяниями служит ему.

Инспектор Ульянов устраивает школы в глухих чувашских селах, организует свою порецкую учительскую семинарию, везет учителей в Москву на выставку. Он проводит учительские съезды, где учит молодых коллег педагогическому мастерству, добывает наглядные пособия для классов, собирает вокруг себя учителей-энтузиастов. Упорно и настойчиво И. Н. Ульянов делает свое будничное дело — сеет зерна народного просвещения. Деятельность — главная черта его незаурядной натуры. И он радуется, когда дело идет вперед, пускай небольшое, но полезное, нужное. Илья Николаевич явно понимал, что большое, великое складывается из малого. Эту черту его характера усвоил Владимир Ильич. Он не выносил пустых революционных фраз и всегда с интересом откликался на каждое живое, конкретное дело. Так было в годы собирания в России революционных сил и в первый период строительства Советской власти, нового социалистического общества в нашей стране.

Роман воспроизводит события, связанные с открытием в Москве первой в России политехнической выставки. Она была приурочена к празднованию двухсотлетия со дня рождения Петра I. Однако выставка — только стержень сюжета, только своеобразный фокус, через который автор прослеживает развитие русской общественной мысли на этом важном этапе нашей отечественной истории.

В центре романа «Первая Всероссийская», как и романа «Семья Ульяновых», по-прежнему стоит Илья Николаевич Ульянов с его думами, хлопотами, делами. Правда, писательница не скрывает, что у нее есть еще один любимый герой. Он не появляется на страницах романа, но с его именем связано главное событие, вокруг которого развертываются действия в повествовании. О нем много и увлеченно говорят персонажи хроники, ему посвящает слова восторга и уважения писательница. Герой этот — царь Петр. Но не тот — хрестоматийный, которого мы знаем со школьной скамьи,— царь-плотник, прорубивший окно в Европу. Писательница воздает должное Петру Великому за его стремление сблизить Россию с Европой, но ее, в первую очередь, интересует Петр Первый — государственный муж, мудрый и жестокий строитель единого централизованного Российского государства.

Две противоборствующие силы, размышляет писательница, опре-

деляли развитие русской общественной жизни — петровское начало, с его утверждением централизма, с возвышением над всем интересов науки, государства, и анархизм, боярское своеволие, разгул вольницы низов, берущие свое начало в славянской племенной раздробленности. Этот славянский анархизм, по мнению М. Шагинян, нашел свое выражение в нашумевшем в те годы деле Нечаева. Трудно сказать, насколько исторически обоснованны эти суждения писательницы, но отказать им в оригинальности нельзя.

«Первая Всероссийская» охватывает небольшой период жизни семьи Ульяновых — всего три года (1870—1873 годы), но на его материале Мариэтта Шагинян создает произведение значительное, объемное. В нем писательница совершенствует полюбившийся ее перу жанр романа-хроники, жанр, редко встречающийся в нашей литературной практике. В романе строго соблюдается достоверность исторических событий, действуют реальные герои. При этом подлинные факты органически входят в ткань повествования, двигают произведение, его фабулу, развивают его сюжет, становятся важным средством художественного изображения. Мариэтта Шагинян смело вводит в роман данные статистики, экономические выкладки, газетные факты, различные документы. Роман, отмеченный чертами высокой прозы, насквозь пронизан воинствующей публицистикой. Вот почему роман хочется особенно рекомендовать молодым людям, вступающим в самостоятельную жизнь, учителям, комсомольским работникам, пионервожатым, родителям, всем тем, кому народ доверяет сложное и ответственное дело воспитания подрастающего поколения. В романе они найдут для себя много полезного и поучительного.

В «Первой Всероссийской» Володя Ульянов только делает свои первые шаги в родном доме. Однако события, описанные в романе, вся духовная обстановка, общественные идеалы русской интеллигентной семьи Ульяновых создают предпосылки для развития в нем тех нравственных начал, которые потом так ярко проявились в Ленине — вожде революции.

Всем ходом своего повествования Мариэтта Шагинян стремится показать в «Семье Ульяновых», в «Первой Всероссийской» национальные, русские истоки ленинизма, вобравшего в себя все передовое, все истинно народное, что было выработано русской общественной мыслью. В революционном соединении с марксизмом, с теоретическим наследием мирового пролетариата ленинское учение стало великим интернациональным учением борцов за новый мир социального равенства и справедливости. Романы «Семья Ульяновых» и «Первая Всероссийская» — это история одной семьи — семьи Ульяновых, в то же время предыстория нового общества, нашего совет-

ского общества, в котором торжествуют идеи ленинизма. В этом главный художественный и идейный смысл романов Мариэтты Шагинян о семье Ульяновых, которые заняли видное место в нашей литературно-художественной Лениниане.

IV.

Но и эти романы — «Семья Ульяновых» и «Первая Всероссийская» — были для М. Шагинян лишь подступом к самой дорогой, главной теме: Ленин и современность, Ленин в нашей жизни сегодня,— ей посвящена книга «Четыре урока у Ленина». После Владимира Маяковского эта тема почти не разрабатывалась советской художественной литературой. При этом писательница не спешит пополнить ряды толкователей ленинского учения. У нее другая задача. Мариэтта Шагинян — художник. Исследуя ленинскую мысль, воспоминания родных, близких, друзей Ильича, посещая ленинские места, она пытается представить, воссоздать облик живого Ленина, Ленина-человека, во всей его многогранности и конкретности, Ленина, которому ничто человеческое не было чуждо.

В книгах Ленина писательница видит не только драгоценный свод его идейных, теоретических, политических взглядов и убеждений, не только сокровищницу его заветов партии и народу, но прежде всего самого Ленина, единственного, неповторимого, самобытного. Она старается угадать ход ленинской мысли, вскрыть, какие ленинские действия кроются за той или иной его фразой, полюбившейся писательнице, давшей толчок для разбега ее творческой фантазии, что есть в этой фразе от самого Ленина, от его характера, от его духовного и физического облика. Словом, для писательницы ленинские строчки — это ключ к его художественному образу потому, что, как пишет М. Шагинян, Ленин, «давая целиком самого себя, свой характер, свою личность в каждой произнесенной и написанной им фразе, давая так ясно и убедительно, с такой почти телесной осязательностью, с таким непосредственным воспроизведением всего своего облика вплоть до интонации, что мы остро переживаем в чтении близость живого человека, Ильича, убеждены, что знаем его и знали всю свою жизнь».

Давать возможность людям испытать счастье — почувствовать близость с Лениным сегодня, ощутить зримо Ленина в нашем строю — это благородная и бесконечно трудная задача художника. Время неумолимо. Оно стремительно летит вперед. Все меньше и меньше остается людей, которым довелось быть рядом с Ильичем — работать с ним, слушать его речи, видеть его, все меньше остается

живых свидетелей Ленина, но время не властно над вечно живым ленинским словом. Надо только обладать умением видеть, видеть главное, основное. Мариэтта Шагинян это умеет делать. И потому страницы заключительной части книги полны высокого нравственного очарования. Мариэтта Шагинян не просто толкует Ленина, она старается понять, как бы Ленин действовал сегодня, исходя из конкретной обстановки наших дней, и что призваны делать сегодня люди, именующие себя ленинцами, если они сегодня хотят походить на Ильича.

Конечно, такое конструирование ленинского образа всегда в известной мере условно и всегда очень рискованно. Потому что пылкому воображению увлеченного художника всегда невыносимо тесно в рамках хрестоматийного портрета. Больше того, оно может расходиться с установившимися историческими канонами. Но это не беда. Потому что без художественного образа история бесплотна. И только верный, написанный художником, стоящим на партийных позициях, портрет соединяет историю с современной действительностью.

Широкий круг вопросов политики и философии, литературы и искусства, эстетики и этики, морали и коммунистической нравственности становится предметом полемического исследования писательницы в заключительных главах книги. Она все стремится мерить высокой ленинской мерой, просвечивать лучами ленинской мысли. И хотя не со всеми ее выводами читатель может согласиться, а некоторые будет даже оспаривать, он останется бесконечно благодарным писательнице за то, что она доставила ему чудесные часы драгоценного мысленного общения с родным Ильичем.

Ленин и современность — тема грандиозная, неисчерпаемая. Это хорошо понимает писательница и потому сосредоточивает свое внимание лишь на проблемах коммунистической нравственности, которые, на ее взгляд, сегодня требуют особо пристального внимания, требуют проверки ленинским компасом. При этом она подчеркивает, что в наши дни очень важно, чтобы каждый коммунист не только пропагандировал ленинизм, но и сам жил по своей проповеди, превратив теорию в норму своего личного поведения.

Проблемы коммунистической нравственности в их движении, диалектическом развитии составляют ту сердцевину, ту ось, вокруг которой вращаются мысли писательницы, ее рассуждения, составляя своеобразную сюжетную основу главы «Воспитание коммуниста». С присущим ей темпераментом М. Шагинян выступает здесь против прилизанности, косности, бездушия в пропаганде ленинских морально-этических норм жизни, отстаивая живое ленинское слово от правоверных догматиков, чьи печатные и устные проповеди лишены ди-

намической силы, присущей каждой ленинской мысли, и составляют лишь цепь механически сцепленных штампов.

Потрясающую по силе художественной выразительности, по остроте посылки притчу о змее, меняющей кожу, М. Шагинян заканчивает словами: «...Нам надо уметь соскабливать с себя корку. Нельзя нам стареть и обрастать ею — слишком много еще дела на земле, слишком важно с живым трепетом осваивать прошлое, потому что прошлое — еще в росте, его нельзя останавливать на ходу, нельзя создавать из него штампы и «модели». А тем более — в работе над темой о Ленине».

В этом очерке писательница стремится исследовать и дать почувствовать читателям, какие качества коммуниста сделали Ленина вождем международного движения, почему и за что он стал таким любимым человечеством и каким свойствам его характера нужно научиться подражать. Ибо «тайна характера,— как справедливо подмечает М. Шагинян,— это ведь и тайна поведения, ключ к тому комплексу, который влияет на нас в другом человеке, вызывает доверие и уважение к нему, жажду за ним следовать».

Какие же качества должен вырабатывать в себе коммунист, чтобы иметь право именоваться ленинцем? На этот вопрос писательница, в отличие от многих наших пропагандистов и моралистов, прямого ответа не дает. Но она всем ходом своих рассуждений подводит читателя не к ответу, хотя бы и лично им выработанному, а к внутреннему решению его совести — стремиться жить по-ленински.

Люди всегда индивидуальны. Они разны во всем, и не только по внешнему облику. Они разны по жизненному опыту, таланту, характеру, возрасту и по многому, многому другому. И поэтому общие обращения мало приносят пользы делу. М. Шагинян ведет разговор с читателем на равных, видя в читателе прежде всего личность. Она не навязывает читателю своих убеждений, а только приглашает его вместе с Лениным подумать над смыслом бытия.

Формированию личности, ее нравственных устоев посвящены многие с блеском написанные страницы книги. И особенно те, которые относятся к личности самого Ильича. Мы видим Ленина во многих ракурсах — на трибуне и в семейной обстановке, в дружеской беседе со старой коммунисткой Кларой Цеткин и в горячем споре с ершистым шотландцем Галлахером, который приехал в Москву, чтобы «учить» Ленина делать революцию,— Мариэтта Шагинян высвечивает фигуру Ильича с разных сторон, чтобы показать читателю черты его характера, которые надо вырабатывать и нам, чтобы хотя в малой мере походить на Ильича.

Писательница показывает, что Ленину — великому политику и революционеру, решительному и непреклонному — было свойствен-

но великое человеколюбие. В книге есть свидетельство Надежды Константиновны Крупской о том, что «у Владимира Ильича постоянно бывали... полосы увлечения людьми. Подметит в человеке какую-нибудь ценную черту и вцепится в него».

Ленин, пишет М. Шагинян, с особым удовольствием общался с людьми, у которых было развито чувство собственного достоинства. Это были русские рабочие, приезжавшие к нему в эмиграцию, крестьяне, которых «мир» посылал к нему ходоками в первые годы революции, ученые. Ленин обладал умением пробуждать и укреплять чувство достоинства в людях. Это чувство собственного достоинства несовместимо ни с холуйством, ни с заискиванием, ни с трусостью, ни с наглой самоуверенностью. Неизмеримая прочность отделяет это спокойное и твердое сознание себя человеком от самолюбивого тщеславия, наглости и ячества.

Ленин умел пробуждать и укреплять в человеке чувство собственного достоинства. Это было его методом воспитания кадров. Это остается его заветом для нас, и потому глубоко права М. Шагинян, когда заканчивает главу «Воспитание коммуниста» назидательным выводом:

«Педагогика — это наука о росте человека, она обращена к становящемуся, развивающемуся, совершенствующемуся в человеке. Никакие старые понятия о доброте, о сердечности не покрывают и не составляют всей полноты того нового, с чем Ильич подходил к людям и что заставляло людей обращаться к нему лучшими своими сторонами, делаться с ним лучше. Этика Ленина всеми своими корнями уходит в глубину диалектико-материалистического сознания и ощущения мира, это новая этика материалиста, для которого бытие всех других людей существует так же реально, как и его собственное, и он верит в это чужое бытие, в его рост, в его живые, жизнеспособные стороны. Тут больше, чем обыкновенная старая доброта. И ответная любовь людей к Ленину неизмеримо больше простой ответной любви за простую, обыкновенную доброту».

Мариэтта Шагинян воспевает на страницах книги ленинское восхищение человеком — борцом, строителем, создателем всего сущего на земле. Она ведет яростную партийную атаку на модные философские модели западных растлителей человеческих душ, против системы взглядов их духовного отца Зигмунда Фрейда. Она показывает, как несостоятельны и пагубны эти философские изыски, стремящиеся увести человека из живой жизни в область психонаркотических абстракций, увести от борьбы и политики, увести от реального бытия.

В книге много говорится об отношении Ленина к интеллигенции, молодежи, к культурному наследию прошлого. Писательница

обращает наше внимание на ленинские привычки, что составляли черты его необозримой гигантской фигуры. Это любовь Ленина к книге, его пристрастие к иностранным языкам, уважение, прямо скажем, благоговение перед библиотекой — хранительницей человеческих знаний и мудрости и многое другое.

И все это написано в картинах живых, ярко изобразительных, без малейшего намека на назидательность.

Большое место в заключительных главах Мариэтта Шагинян отводит художественному анализу ленинской эстетики. Страницы книги, посвященные процессу творчества, связи художника с жизнью, с трудом общества, художественного творчества и политики, взаимоотношений политика и писателя, дышат партийной страстью. Они утверждают незыблемость основ ленинской эстетики для наших дней, для литературы и искусства социалистического реализма, для всего мирового прогрессивного искусства. Эти рассуждения писательницы остры и актуальны, ибо они связывают ленинские взгляды на художественное творчество с литературной практикой наших дней, с борьбой партии против чуждых влияний на нашу литературу и искусство. Они утверждают принцип партийности нашей литературы, на который в последние годы ведутся бешеные атаки врагами марксизма-ленинизма за рубежом, отголоски их находят свое проявление в нашей литературной и художнической среде.

В главе «Рождество в Сорренто», завершающей книгу, дается широкая панорама ленинских взглядов на литературу и искусство, на место художника в революции, в строительстве нового, социалистического мира. И одновременно ведется взволнованный рассказ о великой дружбе Ленина и Горького.

О взаимоотношениях Ленина и Горького Мариэтта Шагинян пишет с «еретической» смелостью, не скрывая ни того прекрасного человеческого, что было в этой дружбе, ни тех серьезных расхождений и отчуждения, которые возникали временами между этими бесконечно дорогими для нашей культуры людьми. И потому страницы этой главы стоят многих томов.

Не все в рассказе, написанном с огромной любовью к Ленину и Горькому, в рассказе необычайного драматического накала можно принять как бесспорную истину. Но в главном и основном Мариэтта Шагинян права.

«Ленин любил Горького, тянулся к нему. Ошибутся те, кто думает, что в своей с ним переписке один только Ленин учил Горького и был односторонне нужен Горькому. Вчитавшись в каждое слово этой переписки, начинаешь чувствовать, каким необходимым был мятущийся, отступающий, упрямый, впечатлительный, яркий Горький для Ильича...— политику нужен художник».

Народный вождь и народный писатель были подняты на гребень века одной волной, они вышли из недр одного народа, и каждый из них, хотя и по-своему, служил одному народному делу. Горький становился сильней, ярче, значительней, когда он сближался с Лениным, и слабел, когда отходил от него. Художнику всегда необходим друг политик, как необходим кораблю, отправляющемуся в дальнее плавание, хорошо выверенный компас. И Ленин чувствовал себя обездоленным, когда от него отходил Горький. Великому политику был необходим великий художник. Талант ведь тоже оружие политика. Это хорошо понимал Ильич, и, конечно, он больше любил Горького не ошибающегося, а того Горького, что шел навстречу буре, но он умел прощать ему его заблуждения, ценя его великолепный талант. Такова диалектика этой дружбы.

«Четыре урока у Ленина» — произведение многожанровое. Здесь на равных правах соседствуют философское эссе и путевой очерк, моралите и короткое, но глубокое научное исследование, рассказ и воспоминания. И всеми этими жанрами писательница пользуется со свободной изящностью и вдохновенным искусством. Подобно тому, как синхрофазотрон ускоряет бег частиц до скорости света, чтобы пробиться в глубь ядра, расколоть, раскрыть его, Мариэтта Шагинян гонит творчески воспаленную мысль по полочкам своего воображения, стремясь обнажить ее идейный смысл, ее содержание, увлекая читателя, незаметно подводя его к необходимому ей выводу. Она гонит свою мысль через призму наблюдений, ассоциаций, неожиданных сравнений, рискованных параллелей, через восприятие фактов, на первый взгляд, не имеющих никакого отношения к теме, мало заботясь о соблюдении требований, законов жанра, создавая свою самобытную, оригинальную литературную форму, соответствующую ее идейно-художественному замыслу.

Мариэтта Шагинян — художник мысли. Это составляет ее творческое своеобразие. Мысль,— революционная, окрыленная, организующая людское бытие,— вот что является главным предметом ее исследования в заключительной части трилогии. Она любит сталкивать свою мысль с мыслью других. Сталкивать так, как удары меча о меч, чтобы летели искры и при ударе о чужие мысли рождались новые, свои, продолжающие познание.

В заключительных очерках книги Мариэтта Шагинян часто ссылается на труды В. И. Ленина, приводит обширные выдержки из воспоминаний современников Ильича. Цитат много, но они «не режут» уха. И происходит это оттого, что эти высказывания органически входят в художественную ткань повествования. Писательница пользуется ими не для научного оснащения своих рассуждений, не для того, чтобы подтвердить правильность своих выводов и дога-

док, а использует их как один из изобразительных приемов, составляющий особенность ее философской прозы.

Цитирование — широко практикуемый литературный прием в нашей публицистике. Однако часто цитаты выглядят эдаким драгоценным камнем, механически вправленным в строй авторских рассуждений. Между собственными мыслями автора и цитатой нет внутренней, логической связи, и потому даже интересные цитаты воспринимаются как инородные тела. Для Мариэтты Шагинян цитата всегда лишь первая ступенька к познанию, всегда лишь отправная точка для развития ее собственной мысли, которую она гонит сквозь груды материала и наблюдений поистине с космической скоростью.

И тогда из сплава реальных фактов ленинской биографии и творческого воображения писательницы возникают небольшие шедевры, вроде рассказа о посещении И. Скворцовым-Степановым и О. Пятницким в октябре 1923 года больного Ленина. Рассказец этот состоит из авторского вступления, выдержки из воспоминаний О. Пятницкого и заключения писательницы. Всего одна страничка книжного текста! Но каким живым, человечным предстает перед нами Ленин, борющийся с тяжелым недугом. Кажется, слышишь его «вот-вот» — то единственное слово, которое он тогда из-за болезни мог произносить и с помощью которого он комментировал поправки рабочих к наказу исполкому Московского Совета. Видишь, как встрепенулся Ильич, собирая свои последние силы, когда речь зашла о запросах рабочих, об их неудовлетворенных нуждах. Такова сила конкретной детали, умело подмеченной писательницей.

В названиях глав и подглав «Четырех уроков у Ленина» много географических обозначений. И потому эти главы воспринимаются неискушенным читателем, как путевые очерки. И хотя в них действительно содержится великолепное, остро современное описание знаменитых зарубежных музеев, картинных галерей, библиотек, модных курортных местечек, не эти описания составляют главную суть повествования. Они даже не являются для него необходимым временным и географическим фоном. Это скорее обозначение места, где возник замысел вещи, где она вынашивалась художником и частично писалась. Мариэтта Шагинян называет Лондон, Нормандию, Бретань, Геную, Болонью, Сорренто. Эти географические пункты составляют своеобразную конструкцию, на которой, как на каркасе, держатся многоплановые, философские, полные полемического задора рассуждения автора о Ленине и нашем времени.

Характерна и примечательна сама манера отбора материала. «Каюсь,— пишет Шагинян,— для меня, когда думаю и пишу о Ленине или когда его читаю, нет мелочи даже в самомалейшей мелочи.

Все хотелось бы объяснить, понять, свести к целому». Вот это стремление все объяснить и главное все свести к целому и придает хроникам Шагинян историческую объемность, полифоническую силу звучания.

Факты нужны писательнице не сами по себе, хотя она знает им цену, а как опорные точки для построения единого целого. И потому она так скрупулезно, так настойчиво их собирает, отбирает, проверяет и шлифует. Целое должно покоиться на основательном фундаменте познания истории и жизни. Отсюда подробности, детальнейшие подробности в описаниях того, что довелось увидеть. Писательница как бы рассуждает вслух, примеряет на глазах читателя, насколько увиденное ценно, чтобы быть достойным включения в общий строй ее рассуждений.

И потому все, что, хотя бы в самой малой мере, касалось Ильича в жизни, все это дорого и значительно для писательницы. Она совершает далекое путешествие на север Франции, в маленький курортный городок Порник, где летом 1910 года Владимир Ильич отдыхал вместе с Надеждой Константиновной Крупской. Мариэтта Шагинян едет туда, чтобы отыскать дом, в котором двадцать шесть дней жил тогда Ленин. И находит этот дом. Она подробно описывает его, сообщает, что дом имел даже свое название — «Розы». При этом она не ограничивается простой констатацией фактов. Холодные плиты, по которым когда-то ходил Ленин и которых коснулась ее нога, немедленно дают импульс необычайно чуткому воображению писательницы. И вот она уже видит, как носит Ильич из колодца, расположенного в саду, воду ведрами на второй этаж, где Надежда Константиновна вела их немудреное хозяйство. И как потом сидит Ильич на ступеньке крутой лестницы, согнувшись над книгой, делая какие-то выписки в тетради.

В другой раз — в Библиотеке Британского музея в Лондоне — Мариэтта Шагинян с придирчивостью эксперта-почерковеда изучает текст заявления Владимира Ильича директору Библиотеки, в котором он просит о выдаче ему билета для занятий в читальном зале. Заявление это было написано Ильичем по-английски. В английском языке личное местоимение «я» всегда пишется с большой буквы. А в заявлении Ильича везде это «я» написано с маленькой. А Ленин хорошо знал английский. Почему же это произошло? И вот, споткнувшись на точке, которую Ильич ставил над английской буквой, чтобы таким образом писать местоимение «я» не с большой, а с маленькой буквы, Мариэтта Шагинян дает простор своей фантазии. Ей начинает казаться, что Ильич преднамеренно искажал английское правописание в угоду этическим соображениям. «Может быть, выросшее английское «я» смущало Ленина,—пишет Шагинян,—

доставляло ему чувство неловкости, тем более, когда приходилось «вы» писать с маленькой?»

И читатель верит, что так это в действительности и было. И верит не из простого уважения к авторитету писательницы. В правоте этого вывода читателя убеждает сам демократичный характер Ильича.

В послесловии не принято делать критических замечаний. Но я не могу удержаться от одного возражения.

Мне хочется поддержать редактора, которого Мариэтта Шагинян называет старым другом и человеком неглупым и с которым она ведет спор на страницах книги.

Редактор возражает против слова «окрик» в приложении его к Ильичу. Писательница возмущается и приводит несколько резких выражений Ленина из его переписки с друзьями. Они были. Но в самой книге есть множество примеров обратного — примеров, говорящих о ленинской выдержанности, товариществе, о его ненависти к чванству, начальническому тону, барству. И дальше. Ленин был человек. Он умел любить и ненавидеть. Он мог возмущаться и доходить в отдельных случаях до крика. Но крик — это, во-первых, не окрик, это не идентичные понятия, а во-вторых, и что является самым главным: из приводимого автором ленинского текста «окрик» не возникает. Это лишь констатация самой писательницы. Так она оценивает тон письма Ленина из-за границы одному партийному товарищу в России в предреволюционные годы. И здесь, нам кажется, прав редактор, а не писательница.

Почему прав? Да потому, что редактор, будучи политиком, видит, что оправдание «окрика» будет на руку тем советским бюрократам, которые метод убеждения нередко подменяют административным окриком и грубыми наставлениями. И потому он возражает против морального обоснования грубости. Редактор — политик, для него художественное произведение — всегда оружие, и он, естественно, хочет, чтобы оно было верно использовано. Писатель — художник, и ему свойственно увлечение. Об этом так хорошо написала сама Мариэтта Шагинян, рассказывая о сложной и прекрасной дружбе Ленина и Горького. И потому художнику всегда нужен политик, писателю — умный редактор, не как поводырь, а как друг, а иногда и как сейсмограф, сигнализирующий о смещениях понятий.

«Четыре урока у Ленина» — это лучшее, что создала советская литература после Горького и Маяковского о Ленине — вожде, мыслителе и человеке. И остается только сожалеть, что это выдающееся произведение советской публицистики и художественного лениноведения не нашло должной оценки ни в нашей критике, ни у нашей общественности. Но такое случалось не раз и в прошлом.

Значительные создания литературы, как высотные здания, видны лучше на расстоянии, нежели в непосредственной близости. Время еще оценит вклад Мариэтты Шагинян в нашу художественную Лениниану, оценит ее творческий подвиг.

Мариэтта Шагинян ни разу не видела и не слышала Ильича, хотя и была его современницей. И об этом она пишет с нескрываемой болью. «Будь я сознательнее, учись и вращайся в другой среде, я могла бы при своих выездах за границу встретиться где-нибудь с Инессой и вдруг — чего только не бывает в жизни — на улице, в вагоне, в метро, на прогулке, в Париже, в берлинском Тиргартене, пройти мимо небольшого, простого на вид, в смятом пиджаке, в котелке — величайшего человека эпохи, которого мне предстояло на всю жизнь заключить в сердце и разуме». Однако это «вдруг» не состоялось. И вот пусть прикинет читатель, сколько понадобилось труда, таланта, вдохновения, чтобы писать о Ленине с такой покоряющей достоверностью. Для этого нужно было заключить его образ на всю жизнь в разуме и сердце художника. И это сделала Мариэтта Шагинян.

Заканчивая главу «Поездка в Нормандию и Бретань», Мариэтта Шагинян писала: «Мы уезжали из Порника в теплой волне любви к Ленину, словно и в самом деле повидались с ним, подышали одним с ним воздухом. Было так полно и хорошо, как в редкие минуты счастья, и верилось: придет время, когда все мы научимся не только мыслить, но и жить, и чувствовать по-ленински».

Минуты такого счастья, наверное, испытал и ты, читатель, знакомясь с мудрой и доброй книгой Мариэтты Шагинян о Ленине. Она вводит нас в светлый мир идей Ильича с той подкупающей искренностью, которая всегда порождает доверие и желание подражать примеру. Думаю, что и ты, читатель, не раз, перелистывая ее страницы, пережил ощущение встречи с Лениным, с Лениным не книжным, а живым.

Книга Мариэтты Шагинян, лишенная малейшего намека на дидактику, учит жить, трудиться, мыслить, чувствовать и бороться по-ленински. И потому закрываешь ее с чувством глубокой благодарности к писательнице.

Вал. ГОЛЬЦЕВ

КРАТКИЙ ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

Аберрация — *здесь:* заблуждение, отклонение от истины, смещение представлений.

Аввакум Петрович (родился в 1620 или 1621, умер в 1682 году) — протопоп, основатель русского старообрядчества и писатель, автор свыше 50 сочинений, в том числе «Жития».

Автодидакт — самоучка.

Аид — царство теней усопших, а также владыка царства, бог подземного мира, в древнегреческой мифологии.

Адепт — 1) посвященный в тайны какого-либо учения, секты; 2) последователь, приверженец какого-либо учения, идеи.

Аксаков Константин Сергеевич (1817—1860) — литератор, филолог; член кружка славянофилов.

Аппарель — пологий спуск, устраиваемый при рытье окопов, или пологая насыпь.

Ареал — область распространения какого-либо явления (полезных ископаемых, вида животных или растений).

Астролябия — угломерный прибор; до XVIII века служил для определения положения небесных светил, позднее — для геодезических измерений. Сейчас заменен теодолитом.

Бебель Август (1840—1913) — один из основателей и виднейших деятелей германской социал-демократии и II Интернационала.

Бедекер — путеводитель для путешественников, туристов. (По имени немецкого издателя путеводителей по разным странам.)

Бельведер — *здесь:* вышка, беседка на возвышении. Буквально: прекрасный вид *(итальянск.)*

Берви Вильгельм (Василий Федорович) (1792—1859) — профессор физиологии в Казанском университете; автор книги «Физиологически-психологический сравнительный взгляд на начало и конец жизни» (о магнетизме и бессмертии души).

Бергсон Анри (1859—1941) — французский философ-идеалист, реакционер в политике и философии. Автор философии интуитивизма. (Интуиция — особый род познания.)

Берейтор — специалист и учитель верховой езды.

Беркли Джордж (1684—1753) — английский философ, представитель субъективного идеализма, епископ англиканской церкви.

Блан Луи (1811—1882) — представитель французского утопического социализма, историк, журналист, деятель революции 1848 года.

Богданов (псевдоним Малиновского) Александр Александрович (1873—1928) — философ и экономист, публицист, социал-демократ. Один из теоретиков эмпириокритицизма. Врач по профессии.

Бракке Вильгельм (1842—1880) — немецкий социал-демократ, один из руководителей эйзенахской партии. В 1877—1879 гг. был членом социал-демократической фракции рейхстага.

Бурхан — идол у монголов-буддистов.

Бэкон Роджер (родился около 1214, умер в 1294 году) — английский философ и естествоиспытатель, монах францисканского ордена.

Бэкон Фрэнсис (1561—1626) — выдающийся английский философ; основатель материализма. Автор «Новой Атлантиды».

Вебб (Уэбб) — английские общественные деятели, супруги: Беатриса (1858—1943), член правительственных комиссий по обследованию быта рабочих и безработных и комитета по изучению положения женщин; и Сидней (1859—1947) — профессор Лондонской экономической школы, член парламента, лейборист, министр торговли, позже министр колоний и доминионов. Авторы книг по истории английского рабочего движения.

Верхарн Эмиль (1855—1916) — бельгийский поэт, драматург и критик.

Ветрувий (Витрувий) (2-я половина I в. до н. э.) — римский архитектор и инженер, автор трактата «Десять книг об архитектуре».

Галиани Фернандо (1728—1787) — выдающийся итальянский экономист, аббат; много лет был послом в Париже; автор нескольких работ по экономике. Самая известная — «Беседы о торговле зерном».

Галлахер Вильям (Уильям) (1881—1965) — один из руководителей компартии Англии. В 1935—1950 годах депутат парламента. Делегат II, V и VII конгрессов Коминтерна. С 1943 года — председатель исполкома Коммунистической партии Англии.

Гацисский Александр Серафимович (1838—1893) — буржуазно-либеральный деятель земского и городского самоуправления. Историк, статистик, исследователь Нижегородского края.

Герострат — житель Эфеса; желая обессмертить свое имя, сжег в 356 г. до н. э. храм Артемиды Эфесской. В переносном смысле — разрушитель.

Гид — *здесь*: путеводитель, справочная книга для путешественников.

Гиньоль — главный персонаж французского кукольного театра, возникшего в XVIII веке в Лионе. *Здесь:* по названию парижского театра Гран-Гиньоль зрелище ужасов.

Гносеология — раздел философии, изучающий теорию познания.

Готы — германское племя, жившее на южном побережье Балтийского моря, в области нижнего течения Вислы. Во 2-й половине II века стали передвигаться на юго-восток.

Грамши Антонио (1891—1937) — вождь рабочего класса Италии, основатель компартии.

Гримм Роберт (1881—1958) — один из оппортунистических лидеров швейцарской социал-демократической партии и II Интернационала. С 1911 года — член Национального совета (палата парламента), который возглавлял в 1945—1946 годах.

Гук Роберт (1635—1703) — английский естествоиспытатель. В 1660 году открыл Закон пропорциональности между силой, приложенной к упругому телу, и его деформацией. Автор трактата «Опыт доказательства вращения Земли» (1674).

Гюйс — флаг особой расцветки, поднимаемый на носу военных кораблей, стоящих на якоре. Также флаг приморских крепостей.

Даламбер Жан Лерон (1717—1783) — французский математик и философ, просветитель; член Парижской академии наук, Петербургской. Один из создателей «Энциклопедии наук, искусств и ремесел».

Дамаскин Иоанн (конец VII в.— умер около 754 года) — византийский богослов и философ.

Дерпт — немецкое название города Тарту в Эстонии.

Дидактично — поучительно.

Диосеза (Диоцез) — епархиальные округа, подчиненные архиепископу (у католиков) или суперинтенденту и декану (у протестантов).

Дрэпер Джон-Вильям (1811—1882) — американский ученый, профессор. Физик, химик, физиолог, историк. В России известен глав-

ным образом своим основным трудом «История умственного развития Европы».

Дуализм — 1) философское учение (Декарт, Кант), признающее материю и сознание, бытие и мышление; 2) двойственность, раздвоенность; 3) одна из буржуазных систем управления многонациональным государством.

Дудуки — дудки с пронзительным звуком — духовой музыкальный инструмент народов Кавказа.

Жакото Жан Жозеф (1770—1840) — французский педагог, профессор в Лувене (Бельгия), известный своим методом самодеятельности учащихся, развития их памяти и мышления. Главные сочинения — «Всеобщее обучение», «Родной язык».

Кабо (Кабот, Кабото) Джон (Джованни) (1450—1498) — итальянский мореплаватель. 24/VI 1494 года открыл Северную Америку, нынешнюю Канаду.

Кавеньяк Луи Эжен (1802—1857) — французский политический деятель, генерал, палач июньского восстания 1848 года, военный диктатор.

Каракозов Дмитрий Владимирович (1840—1866) — революционер. 4/IV 1866 года стрелял в Александра II.

Картье Жак (1494—1557) — французский путешественник, вторично открывший Канаду после Кабо.

Катилина Луций Сергий (108—62 до н. э.) — политический деятель Древнего Рима периода кризиса Республики. Дважды организовывал заговор против сената. Цицерон выступил с обвинительной речью против Катилины и готовящегося им переворота, чем вызвал экстренные военные меры сената.

Кельты — группа племен, обитавших уже во II тысячелетии до н. э. в Западной Европе к северу и западу от Альп, от реки Роны до областей по верхнему течению Дуная. IV век до н. э.— время наибольшего территориального распространения кельтов.

Ко́менский Ян Амос (1592—1670) — великий чешский педагог. Автор учебников, книг для классного чтения и знаменитых трудов по педагогике, до сих пор сохранивших свое значение. Требовал обязательного школьного обучения детей всех классов и состояний, мальчиков и девочек.

Кон Феликс Яковлевич (1864—1941) — известный деятель революционного рабочего движения. После Февральской буржуазно-

демократической революции 1917 года приехал из эмиграции в Россию, стал большевиком; вел большую партийную и литературную работу.

Корнель Пьер (1606—1684) — французский драматург, один из создателей так называемого «ложного классицизма» во Франции. Автор знаменитой патриотической трагедии «Сид».

Коронер — судебное должностное лицо в Англии, расследующее причины смерти лиц, умерших при «загадочных обстоятельствах». По окончании следствия прекращает дело или предает суду обвиняемого.

Корф Николай Александрович (1834—1883) — видный русский педагог и методист, прогрессивный деятель народного образования.

Лавров Петр Лаврович (1823—1900) — социолог и публицист, член общества «Земля и воля», позднее — партии «Народная воля»; автор «Исторических писем», опубликованных под псевдонимом Миртов.

Лама — буддийский монах в Тибете и Монголии. Ламы делятся по степеням старшинства: гэлун (гелюн), гэцул (гецуль) и баньди (низшая степень).

Ландскнехты — наемные немецкие солдаты XV—XVII веков, комплектовались из разорившихся дворян, патрициев и ремесленников, позднее также из крестьян и горожан.

Ларош Герман Августович (1845—1904) — русский музыкальный критик.

Лафонтен Жан (1621—1695) — знаменитый французский поэт-баснописец.

Ле Корбюзье (псевдоним Шарля Эдуарда Жаннере, родился в 1887 году) — знаменитый французский архитектор, лидер «новой архитектуры».

Ленгник Фридрих Вильгельмович (1873—1936) — видный деятель русской Коммунистической партии. Один из помощников В. И. Ленина по организации общерусской нелегальной газеты «Искра». II съездом РСДРП заочно был избран в члены ЦК и в Совет партии. После революции был на ответственной хозяйственной и партийной работе.

Лепорелло — имя преданного слуги Дон Жуана, героя многочисленных литературных произведений.

Лигурийское море — часть Средиземного моря между островами Корсикой, Эльбой и побережьем Франции и Италии. Образует Генуэзский залив.

Литтров Йозеф Иоганн (1781—1840) — австрийский астроном. Член-корреспондент Петербургской академии наук. С 1810 до 1816 года профессор в Казанском университете.

Лифляндия — прежнее, немецкое название области в южной Прибалтике, территории нынешней Видземе Латвийской ССР.

Ляхи — *здесь*: старое название поляков у русских, украинцев и белорусов.

Мабли Габриель Бонно (1709—1785) — аббат, французский социально-политический мыслитель XVIII века, утопический коммунист.

Мадзини (Маццини) Джузеппе (1805—1872) — итальянский революционер, участник движения карбонариев, основатель тайного общества «Молодая Италия»; во время буржуазной революции 1848—1849 годов создал «Итальянскую национальную ассоциацию». После поражения революции эмигрировал.

Майя — группа индейских племен и народностей, создавших древнюю развитую культуру на территории современных: Гватемалы, Гондураса и юго-восточной части Мексики.

Мах Эрнст (1838—1916) — австрийский буржуазный философ-идеалист и физик.

Медресе — мусульманская духовная школа.

Метастазио Пьетро Антонио Доменико (1698—1782) — итальянский поэт и драматург-либреттист.

Милль Джон Стюарт (1806—1873) — английский буржуазный философ, логик и экономист.

Михайловский Николай Константинович (1842—1904) — русский социолог, публицист и литературный критик, идеолог либерального народничества.

Мысливечек Йозеф (1737—1781) — знаменитый чешский композитор, автор около 30 опер, 26 симфоний. Бо́льшую часть жизни провел в Италии.

Нечаев Сергей Геннадиевич (1847—1882) — революционер-заговорщик, создатель организации «Народная расправа». Обвинил в предательстве и убил студента Н. Иванова, возражавшего против провокационных методов работы Нечаева.

Низами Гянджеви (около 1141 года — около 1203 года) — великий азербайджанский поэт и мыслитель.

Нойон — родовой вождь у калмыков.

Нониус (верньер) — вспомогательная шкала измерительных инструментов; служит для отсчета дробных долей делений основной шкалы.

Орография — раздел науки, занимающийся описанием рельефа земной коры.

Палладио Андреа (настоящее имя Андреа ди Пьетро да Падова; 1508—1580) — итальянский архитектор. Автор трактатов «Четыре книги об архитектуре», «Римские древности» и «Комментарии к Юлию Цезарю».

Песталоцци Иоганн Генрих (1746—1827) — швейцарский педагог-демократ. Автор популярных книг по методам педагогики и романа «Лингард и Гертруда».

Повытчик — в Русском государстве XVI—XVII веков столоначальник, служитель канцелярии, которая делилась на столы и участки (повытья). Должность ликвидирована после издания Петром I в 1720 году Генерального регламента.

Рабле Франсуа (родился в 1483 или 1494 году, умер в 1553 году) — великий французский писатель и ученый-гуманист. Автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Ратман — член городских магистратов, учрежденных в России Петром I.

Рашель (настоящая фамилия и имя — Феликс Элиза Рашель; 1821—1858) — знаменитая французская трагическая актриса.

Ревель — прежнее название города Таллина.

Релятивный — относительный.

Реминисценция — *здесь:* смутное воспоминание.

Рескрипт — *здесь*: опубликованное ко всеобщему сведению письмо царя с выражением благодарности подданному.

Решт — город на севере Ирана, в Гиляне. Центр страны по торговле рисом.

Рихтер Жан-Поль. Имеется в виду Рихтер Иоганн Пауль Фридрих (1763—1825) — немецкий писатель, известен под псевдонимом Жан Поль.

Романи Феличе (умер в 1865 году) — итальянский драматург и либреттист.

Россети Габриэль (1783—1854) — итальянский поэт, автор гимна революции 1820 года. Эмигрировал в Лондон.

Роялисты — приверженцы королевской власти, монархисты.

Руны — карельские и финские народные эпические песни.

Рюбецаль — горный дух исполинских гор Богемии и Силезии. Часто упоминается в немецкой народной поэзии и сказках. По преданию, помогает хорошим людям и мешает дурным.

Сад Донасьен Альфонс-Франсуа, граф (литературное имя — маркиз де Сад; 1740—1814) — французский порнографический писатель. Прославился жестокостью и развратом. От его имени пошел термин «садизм».

Сазандари — народный инструментальный ансамбль. Состоит из тара, кяманчи и бубна. Распространен в Азербайджане, Армении, Грузии.

Саксы — название группы немцев, живущих в Трансильвании (территория Румынии).

Сен-Катаяма (1859—1933) — выдающийся деятель японского и международного рабочего движения, вождь Коммунистической партии Японии. Участник Амстердамского конгресса II Интернационала 1904 года и представитель Коминтерна на конференции трех Интернационалов в Берлине в 1922 году. Трижды эмигрировал в США и Мексику.

Смоллет (Смоллетт) Тобайас (1721—1771) — английский писатель. Шотландец по происхождению. Автор трактатов, памфлетов, «Истории Англии». Известный романист.

Солипсизм — доведенный до крайних выводов субъективный идеализм; признание единственной реальностью только своего «я», индивидуального сознания и отрицание существования внешнего мира.

Спа — город в Бельгии. Курорт с минеральными источниками.

Спенсер Герберт (1820—1903) — английский ученый, философ; психолог и социолог.

Стикс — в древнегреческой мифологии одна из рек подземного царства, обиталище душ умерших.

Столетняя война — война между Англией и Францией, длившаяся с перерывами более сга лет (с 1337 до 1453 года).

Таксатор — специалист, производящий таксацию леса — мзтериальную оценку, определяющую запас и прирост древесины, обьем заготовляемых лесоматериалов, а также оценку качества.

Торквато Тассо (1544—1595) — великий итальянский поэт эпохи Возрождения.

У л у с — становище кочевников; табор юрт, кибиток; аул, селение, деревня.

У л ы б ы ш е в Александр Дмитриевич (1794—1858) — музыкальный критик, литератор, публицист.

Ф а р с и (от Фарс — провинция на юге Ирана) — фарсидский язык, то есть персидский; от него произошел и современный таджикский.

Ф е д о н — древнегреческий философ, ученик Сократа.

Ф е д р (I век до н.э.) — первый римский баснописец.

Ф е р м о п и л ы — горный проход из Фессалии (Северная Греция) в Локриду (Средняя Греция). Там в 480 году до н. э. произошла битва между греками и персами.

Ф о к и о н (родился около 402 года, умер в 318 году до н.э.) — афинский полководец и государственный деятель.

Ф р е б е л ь Фридрих (1782—1852) — немецкий педагог, теоретик дошкольного воспитания.

Ф р и з ы — народ, живущий на территории Нидерландов, Германии и Дании.

Ф р о н д а — движение против абсолютизма во Франции в 1648—1653 годах. Сейчас слово употребляется в переносном смысле, означает оппозицию.

Х е т т ы, или хеттиты,— общее название племен и народностей, населявших центральную и восточную части Малой Азии и Северной Сирии во II — начале I тысячелетия до н э.

Х о м я к о в Алексей Степанович (1804—1860) — русский общественный деятель, философ, писатель; убежденный славянофил.

Х у р у л (хурултай, курултай) — у монгольских и тюркских народов собрание, съезд; у калмыков означал также место богослужения, храм.

Ч е м б а л о (чимбало) — итальянское название раннего клавишного инструмента.

Ч е р н о г о л о в ы е — *здесь*: общества холостых иностранных купцов в прибалтийских городах, известные с XIV века. Название связано с гербом общества — изображением святого Маврикия, мавра по происхождению. «Дома черноголовых» были в Риме, Таллине, Вильнюсе. Цель обществ — защита интересов иностранных купцов, их религиозной и общественной жизни.

Ч и л и м н и к — прозвище астраханцев, означающее: любитель соленых водяных орехов (название растения — чилим).

Чосер Джефри (1340—1400) — великий английский поэт; основоположник английского литературного языка.

Шатобриан Франсуа Рене (1768—1848) — французский писатель и дипломат. Во время революции эмигрировал в Англию.

Шемаха — город в Азербайджаие.

Эберс Георг (1837—1898) — немецкий ученый-историк и писатель. Профессор египтологии в Лейпциге.

Эвристический. Эвристическая беседа — беседа, в процессе которой один из собеседников подводит других участников к новому для них выводу.

Эйфория — повышенно радостное настроение.

Экзерциргауз — здание, в котором происходило строевое обучение солдат.

Эклога — жанр восхваления в античной, а позднее в европейской поэзии — в частности, воспевание пастушеской жизни.

Экспликация — объяснение условных обозначений, символов на планах, картах, рисунках.

Эллиот Джордж — псевдоним Мэри Анн Эванс (1819—1880) — английской писательницы, романистки.

Эманация — лучеиспускание; *здесь:* в древнеримской философии периода упадка античного общества фантастическое объяснение происхождения мира путем мистического излучения творческой энергии божества.

Энгельгардт Александр Николаевич (1823—1893) — известный русский публицист, автор «Писем из деревни». Бедственное положение крестьян объяснял остатками крепостничества. Сторонник передачи земли крестьянам и организации артельного хозяйства в крестьянских общинах.

Энгр Жан Огюст Доминик (1780—1867) — французский живописец и рисовальщик.

Энзель (Энзели) — прежнее, до 1925 года, название города и порта Пехлеви на севере Ирана.

Юнг Томас (1773—1829) — английский физик, врач и астроном, один из создателей волновой теории света.

СОДЕРЖАНИЕ

СЕМЬЯ УЛЬЯНОВЫХ

ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ

ЧЕТЫРЕ УРОКА У ЛЕНИНА

Мариэтта Сергеевна ШАГИНЯН

СЕМЬЯ УЛЬЯНОВЫХ

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1970, 688 стр. с илл.

Редактор приложений **Е. Усыскина**

Редактор **В. Полонская**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **Н. Карнаушкина**

Корректор **Н. Жаворонкова**

А 10855 Подписано в печать 24/XII 1969 г. Формат 84×108¹/₃₂. Бум. печ. № 1. Печ. л. 21,5 + 0,25 печ. л. вклеек. Усл. печ. л. 36,54. Уч.-изд. л. 36,61. Зак. 12. Тираж 100.000 экз.

Цена 1 руб. 44 коп.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.

Набрано и сматрицировано в типографии «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Отпечатано на полиграфкомбинате имени Я. Коласа, Минск, Красная, 23.







